A full-length portrait of Catherine II of Russia, wearing a crown and an elaborate white and blue gown with a large ermine cape. She is holding a scepter in her left hand and a globe in her right. The background is dark and textured.

Ангелина  
Вачева

# ПОТОМСТВУ ЕКАТЕРИНА II

Идеи и нарративные  
стратегии в  
автобиографии  
императрицы

**ПОТОМСТВУ**

**ЕКАТЕРИНА II**

**Идеи и нарративные стратегии  
в автобиографии императрицы**





**Ангелина Вачева**

**ПОТОМСТВУ**

**ЕКАТЕРИНА II**

**Идеи и нарративные стратегии  
в автобиографии императрицы**

**София • 2015**

**Университетско издателство „Св. Климент Охридски“**

© 2015 Ангелина Вачева

© 2015 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“  
ISBN 978-954-07-3993-9

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>К читателю</b> .....	9
-------------------------	---

### **КНИГА ПЕРВАЯ**

#### **„РОМАН ИМПЕРАТРИЦЫ“. РОМАННЫЙ ДИСКУРС В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСКАХ ЕКАТЕРИНЫ II**

<b>Введение</b> .....	15
-----------------------	----

#### **Глава первая**

##### **АВТОБИОГРАФИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ ИЛИ РОМАН.**

<b>ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА</b> .....	31
Редакции мемуаров Екатерины II. Особенности паратекста .....	33
Автобиография как жанр и ее трансформации в записках Екатерины II. . .	48
Литературоведческие подходы к жанру .....	48
История и эволюция мемуаров и автобиографии в России в XVIII веке .....	55
Поэтика автобиографии .....	60
Автобиографический пакт .....	66
Автобиографический пакт в „Собственноручных записках“ .....	69

#### **Глава вторая**

##### **РОМАННАЯ ТОПИКА В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСКАХ**

<b>ЕКАТЕРИНЫ II</b> .....	90
Спор о романе в XVIII веке и литературные интересы Екатерины II .....	90
Читательский репертуар русской императрицы .....	110
Романная топика в тексте .....	119
Романские топосы, связанные с детством и юностью .....	119
Романная топика, связанная со зрелостью .....	149
Топика женственности .....	149
Брак как топос .....	160
Формы протеста и самоутверждения .....	178
Ипохондрия .....	178
Самобийство – неприемлемый выход .....	180
Уединение как протест .....	183
Чтение и внутренняя свобода .....	186
Амазонка по пути к себе .....	187
Мужской костюм как средство завоевания свободы и власти. . . .	206
Пространственная топика в автобиографии Екатерины II. . . . .	215

**Глава третья****РОМАННЫЙ ИНТЕРТЕКСТ В АВТОБИОГРАФИИ****ЕКАТЕРИНЫ II** . . . . . 233

Гипотетический интертекст: автобиография Екатерины II  
и „Письма мисс Фанни Батлер“ г-жи Риккони . . . . . 233

„Жизнь и мнения Тристрама Шенди“ Лоуренса Стерна и автобиография  
Екатерины II. . . . . 272

**Заключение** . . . . . 296

**КНИГА ВТОРАЯ****ПРОБЛЕМА „ПРОСВЕЩЕННОГО МОНАРХА“ В АВТОБИОГРАФИИ  
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II**

**Введение** . . . . . 303

**Глава первая****ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ****ПРОСВЕЩЕНИЯ И В АВТОБИОГРАФИИ ЕКАТЕРИНЫ II** . . . . . 316

Античный контекст в автобиографии Екатерины II. . . . . 316

„Сравнительные жизнеописания“ Плутарха в европейской  
культуре эпохи Просвещения. Сюжет о законодателе и  
екатерининская автобиография . . . . . 317

„Философ на троне“ в „Размышлениях“ Марка Аврелия и  
в мемуарах императрицы. . . . . 340

Макиавеллизм в екатерининской автобиографии. . . . . 353

**Глава вторая****СИМВОЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МОНАРШЬЕГО ИМЕНИ** . . . . . 383**Глава третья****ГОСУДАРЬ И ДВОР** . . . . . 422**Глава четвертая****МЕЖДУ ПРАКТИКОЙ И МИФОМ. ДИАЛОГ ОБРАЗОВ В****ЕКАТЕРИНИНСКОЙ АВТОБИОГРАФИИ** . . . . . 460

Диады. . . . . 461

Екатерина II – Петр III . . . . . 461

Екатерина II – Елизавета Петровна. . . . . 503

Екатерининская тетрада . . . . . 547

---

<b>Заключение</b> .....	562
<b>Приложение</b>	
<b>РАКУРСЫ ПРОЧТЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА</b> .....	567
Автобиография Екатерины II и полемические контексты герценовской публицистики .....	567
Мемуары и литературные аспекты „женского вопроса“ во II половине XIX века .....	610
<b>Принятые сокращения</b> .....	623
<b>Список иллюстраций</b> .....	624
<b>Библиография</b> .....	627
<b>Указатель имен</b> .....	669
<b>Резюме</b> .....	699
<b>Summary</b> .....	709





## К ЧИТАТЕЛЮ

Настоящее издание объединяет две книги автора, в которых сделана попытка проследить относительно автономные аспекты сложной поэтики автобиографических записок русской императрицы Екатерины II (1729–1796). В книгах екатерининские мемуары, рассматриваемые в научной литературе преимущественно как исторический документ, воспринимаются по-иному – это текст, уникально сочетавший в себе литературность и публицистичность. Первая книга была издана в 2008 году на болгарском языке под заглавием „Романът на императрицата“. Романовият дискурс в автобиографичните записки на Екатерина II. Ракурси на четене през втората половина на XIX век“ (София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“). Давно исчерпанный тираж и интерес к этому труду со стороны не только болгарских, но и читателей других стран, недоступность понимания болгарского оригинала и постоянная необходимость посылать иностранным коллегам статьи на русском языке, соответствующие отдельным фрагментам книги, заставили автора взяться за автоперевод. В настоящем издании первой книги сохранена структура предыдущего издания, но внесены существенные добавления с учетом появившихся в последние годы публикаций о мемуарах императрицы и развитии русской культуры последней трети XVIII века. Совместное издание обеих книг имеет свое преимущество: отпадает необходимость повторять, хотя и в сокращенном виде, уже сказанное и есть возможность сосредоточиться на более важной проблематике.

Если первая книга „Роман императрицы“ Романский дискурс в автобиографических записках Екатерины II“ исследует екатерининскую автобиографию в ее связях с поэтикой западноевропейского романа, то вторая книга „Проблема „просвещенного монарха“ в автобиографии императрицы Екатерины II“ посвящена публицистическим посланиям мемуарного текста в связи с важнейшей философской проблемой эпохи Просвещения – поисками образа идеального „просвещенного государя“, способного реализовать в

своей личности и в своем правлении *союз знания и политики* и добиться создания гармонического (по ментальным стандартам того времени) общества. Эти два дискурса – романнный и философско-публицистический – находятся в постоянном взаимодействии и противоречии внутри рассматриваемого автобиографического текста. Первое обосновывает уместность публикации изучающих их текстов в одном издании, второе – возможность условной автономизации двух дискурсивных пластов как объектов независимого научного анализа и интерпретации. Иначе говоря, важнейшие концептуальные эпизоды екатерининских мемуаров очень похожи на памятные медали, которые выбивались по различным поводам во время правления героини. Их лицевая и оборотная сторона тщательно продуманы и, несмотря на различия в вычеканенных изображениях, обе дополняют друг друга в отправляемых посланиях и являются, по сути дела, проявлениями одного и того же предмета, сочетающего качества произведения искусства и политические символы, рассчитанные на публику. В эпизодах автобиографии, как и в медалях, сочетаются два временных плана: настоящее знаменательного события и будущее, которому „нетленный“ металл должен напоминать о совершившемся.

В автобиографии Екатерина II ведет диалог с прошлым и будущим, с традицией и потомством, не забывая также о настоящем, когда она создавала свои записки. Сложность и многоуровневость интертекстуальных отсылок, сочетание последовательно развитых тем с „коллажами“ из популярных произведений, трактатов, мемуаров в отдельных сценах позволяют сравнить мемуары государыни с партитурой, в которой каждый инструмент играет свою партию, важную для достижения симфонии голосов. Интересно, что такое построение текста выбрала женщина, жалующаяся на полное отсутствие музыкального слуха. Главные темы позволяют вплетение других знакомых мелодий – намеков на другие хорошо знакомые пьесы, украшения, подчеркивающие определенный момент. Построенный таким образом текст екатерининской автобиографии обладает исключительной сложностью в построении целостного смыслового ансамбля.

Автобиография Екатерины II – один из лучших образцов жанра литературной автобиографии не только в русской, но и в мировой литературе, который незаслуженно долго оставался в неизвестности и пренебрежении. Записки императрицы отличаются оригинальной поэтикой. Высокая насыщенность философских посланий, учитывающих как теоретический опыт Античности и Средневековья, поиски Нового времени, так и практический опыт мемуаристики, отдавшей свое имя целой эпохе русской истории и культуры, и сложное многослойное построение рассказа делают их одним из значительнейших автобиографических текстов не только русской литературы, но европейского Просвещения в целом.

Мемуарные тексты живут двойной жизнью: когда они создаются и когда они становятся достоянием аудитории. Екатерина II создавала свою автобиографию с надеждой на потомство, которое ей виделось своеобразным гарантом ее бессмертия. Тому, как оправдалась эта надежда, посвящено Приложение, ранее опубликованное в качестве четвертой главы первой книги. Рецепция екатерининских мемуаров во второй половине XIX века, на протяжении XX столетия и в современную эпоху составляет огромную научную проблему, которая требует многолетней архивной работы, поисков, которые, может быть, не под силу одному исследователю. В настоящем исследовании автор имеет целью привлечь внимание к этой проблеме как части восприятия культуры Просвещения последующими эпохами.

Высказываю свою искреннюю благодарность всем друзьям и коллегам, оказавшим мне поддержку мнениями, книгами, статьями, материалами в работе над книгами на протяжении многих лет. Их так много, что поименно перечисляя их, рискую невольно пропустить кого-то. Тем не менее, высказываю сердечную благодарность Ирине и Андрею Зориным, Наталье Дмитриевне Кочетковой, Татьяне Евгеньевне Автухович, Марии ди Салво, Джованне Мораччи, Иоакиму Клейну, Маркусу Левитту, Надежде Алексеевой, Эрнсту Зицеру, Эммануэлю Вагемансу, Эрин МакБерни, Сюзан Ван Дайк, Галине Николаевне Ермоленко, Елене Мараси-

новой, Валентине Брио, Софии Гурвич-Лицинер, Алине Орловской, Марии-Кристине Брагоне, Родольфу Бодену, Лидии Миховой. Благодарю Денку Кръстеву и Радославу Илчеву за активный творческий диалог, сопровождавший мою работу все эти годы, Ольгу Лазову за внимательное прочтение русского текста. Я признательна также коллегам, работавшим в последние годы над мемуарами Екатерины II, которые прислали мне свои книги – Марии Крючковой, Олегу Иванову, Елене Приказчиковой, Татьяне Акимовой, Ольге Мамаевой, Марине Савельевой, Елене Гречаной.

Написание этого труда было бы невозможным без неопценимой помощи на протяжении многих лет библиотек славистики, романистики и истории Университета в г. Саарбрюкене (Германия) и содействия проф. Ролана Марти, Анастасии Амманн и Мины Повевой. Бесценны сотрудничество и дружеский дух на кафедре русской литературы Софийского университета им. св. Климента Охридского, за что сердечно благодарю своих коллег.

Высказываю искреннюю благодарность редакциям журналов „Новое Литературное обозрение“, „Russian Literature“ и сборника „XVIII век“, редакционным коллегиям сборников материалов конференций Группы по изучению России в XVIII веке (SGECR) и других изданий за возможность использовать варианты ранее опубликованных статей в окончательном тексте исследования.

Посвящаю этот труд своим детям, Валерию и Александре, которые выросли вместе с книгами, были рядом со мной в тяжелые для нашей семьи дни и с терпением и уважением относились к моим научным занятиям. Перед ними я в неоплатном долгу, но надеюсь, что моя работа подаст им положительный пример в жизни.

София, август 2015 г.

Ангелина Вачева

**КНИГА ПЕРВАЯ**

**„РОМАН ИМПЕРАТРИЦЫ“.**  
**РОМАННЫЙ ДИСКУРС В**  
**АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСКАХ**  
**ЕКАТЕРИНЫ II**



## ВВЕДЕНИЕ

Мемуары Екатерины II попадали в фокус внимания ученых прежде всего как исторический документ. Не только широкая читательская аудитория, но и профессиональные историки воспринимали текст как правдивое свидетельство о прошлом и о юности императрицы, о придворной и политической жизни России в давно минувшую эпоху. Текст рассматривался как незаменимый источник культурных реалий, но в пренебрежении полностью оставалась его литературная природа. Мемуары оставались вне интереса тех редких ученых, которые обращались к литературному творчеству Екатерины. Необходимо отметить, что наблюдения литературоведов также укладывались в строго заданные рамки, преимущественно идеологические и преднамеренные. Едва в последние два десятилетия постепенно восстанавливается вся значимость литературного творчества императрицы и проводимой ею культурной политики, в которой она сама принимала активное участие. Литературные тексты, созданные Екатериной II, все больше начинают осмысливаться не только в русском, но и в европейском культурном контексте. Далеко не все послания, закодированные сиятельным автором в ее литературных сочинениях, были адресованы современникам – русским и западноевропейским читателям, зрителям постановок ее пьес, корреспондентам. Екатерина как писательница, и особенно как автобиограф, усиленно работала на будущего читателя.

Предмет этой книги – раскрытие литературных механизмов создания автобиографии императрицы, являющейся одним из талантливейших текстов ранней русской мемуарной прозы. Круг сюжетов и проблем, который предлагает автобиография высочайшего автора, связан с рядом актуальных вопросов современной интерпретации XVIII века и истории русской литературы этого столетия, а также ее рецепции в более позднее время. В первую очередь, это комплекс проблем, связанных с реальным представлением о литературной жизни России второй половины XVIII века и возник-



новением, распространением и эволюцией неканоничных жанров, согласно классицистской теории, какими являются роман и автобиография. В рассматриваемую эпоху оба жанра еще развивались, поэтому они все еще не выработали свои законы, не только в России, но и в Западной Европе.

История этих двух жанров, находящихся в непрерывном взаимодействии и взаимопроникновении, ставит проблемы рецепции, механизмов чтения, публикации, бытования текстов, новаторства и культурных предубеждений. В обоих жанрах отражались наступавшие перемены в быту. Они часто, с своей стороны, служили образцом новых тенденций. В этой связи чрезвычайно интересной представляется проблематика, связанная с женским авторством и личным вкладом Екатерины II в русскую литературу ее времени в качестве императрицы и одной из самых активных женщин-авторов.

Поэтика автобиографии русской императрицы без сомнения является частью мифологии ее правления, ее „сценария власти“ (Р. Уортман). Основной задачей в анализе разных редакций текста является выявление эволюции ее собственного мифотворчества, связанного с тем аспектом екатерининского мифа, которым Северная Минерва особенно дорожила: мифом о „философе на троне“, поощряющем и развивающем интеллектуальные аспекты власти. В этом отношении важнейшим инструментом в автобиографических записках является применение топики, характерной для романа.

Важнейшим моментом в мифологии царствования Екатерины II является мотив посредничества императрицы между Россией и Западной Европой, а также легкость, с которой рациональный человек Запада, следуя законам добродетели, может превратиться в „настоящего“ русского. В этом контексте значительным представляется факт, что написанная на французском языке автобиография Екатерины II является частью особой сферы русской литературы XVIII – XIX вв., которая создавалась на французском и предназначалась не только для русского высокообразованного читателя, но также для космополитной аудитории. Французский язык в качест-

ве языка повествования в автобиографии, написанной представителем другой нации, воспринимался в XVIII веке как объективирующий автобиографическую материю (Oehler 1997: 123).

Особенно важна мифопорождающая функция автобиографических записок Екатерины II в соответствии с новооткрытыми философскими контекстами Просвещения. Это, в первую очередь, проблема личного и всеобщего счастья, роль и ответственность просвещенного монарха для его достижения. В этом смысле существен гендерный аспект власти, находящейся в руках женщины, занимающей трон Российской империи. Этот аспект влечет за собой постановку в мемуарном тексте ряда актуальных проблем, как современности автора, так и более поздних эпох: интеллектуальное равенство полов, воспитание и социальная реализация женщин, их способность самим управлять своей судьбой и создавать свою личность.

Выбранное заглавие неоригинально. Таким же образом – „Роман императрицы“ – озаглавил написанную им в конце XIX века популярную биографию русской императрицы Екатерины II писатель Казимир Валишевский. Заглавие интригует. Оно рассчитывает на мифологию, связанную с личностью этой необыкновенной женщины и бытующую в массовом сознании аудитории, которая могла бы прочесть его как „любовный роман“ (чаще всего), „исторический“, „авантюрный“, а почему бы и не „криминальный роман“. Как роман читается добросовестно и занимательно написанная Валишевским биография Екатерины II, основывающаяся на известных тогда документах, научных исторических трудах и прежде всего на негласно инкриминированных в то время мемуарах императрицы. В любом случае читатель ждет встречи с необычной, не укладывающейся в общие рамки судьбой женщины. Остановливая свой выбор на том же заглавии, „Роман императрицы“, я имею ввиду сложную поэтику автобиографии Екатерины Великой, необычной для для русской женской литературы ее времени и сочетающую топику западноевропейского романа с публицистическими посланиями русской классицистской литературы.

Екатерина II – замечательная писательница своего времени. Но, как и многим другим женщинам-авторам, длительное время ей было отказано во внимании и признании из-за ее необычной роли в истории. В последние два десятилетия интерес к личности Екатерины II и к ее творчеству стал возвращаться, привлекая все большее внимание литературоведов. Если историческое бытие российской государыни как первостепенной фигуры европейской политики XVIII века было неоднократно объектом серьезных исследований, если ее дела и идеи вызвали многочисленные и противоречивые комментарии по поводу перспектив и последствий для русской внешней политики на века, то совсем не так обстоит вопрос с ее литературным наследием. Работ, посвященных литературным текстам Екатерины Великой, несравненно меньше, чем исторических трудов<sup>1</sup> об ее политических свершениях. После первых очерков, появившихся во второй половине XIX века (Щебальский 1869; Введенский 1893; Архангельский 1897) и академического 12-томного издания под редакцией акад. А. Н. Пыпина 1901–1907 гг. (Екатерина II 1907)<sup>2</sup>, среди более значительных о литературном творчестве императрицы следует назвать статью Г. А. Гуковского, опубликованную впервые в его истории русской литературы XVIII века 1939 г., а позже в расширенном виде в академической „Истории русской литературы“ 1947 г. (Гуковский 1998; 1947). Этот труд долго считался самым авторитетным, он был переведен на английский и опубликован выдающимся знатоком русского XVIII века Марком Раевым в сборнике статей, посвященном этому периоду развития русской культуры (Gukovskij 1972). До сих пор цитирование этой работы Г. А. Гуковского считается обязательным в западных исследованиях екатерининской эпохи. В советский период литературные занятия императрицы упорно игнорировались ис-

---

<sup>1</sup> Среди классических исторических исследований наследия Екатерины II необходимо назвать труды В. А. Бильбасова, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, А. Г. Брикнера.

<sup>2</sup> На самом деле вышло 11 томов (1–5; 7–12). Не был опубликован том шестой, который должен был содержать переписку императрицы.

ториками литературы, за исключением полемики Екатерины II с Н. И. Новиковым о сущности и задачах сатиры и сатирических журналов, причем прочтение этого пресловутого спора проводилось исключительно с идеологических позиций. Едва в последнее время стала переосмысливаться ожесточенность дискуссии, суть которой доказывает, что усилия как коронованного автора, так и одного из самых эмблематичных писателей русского Просвещения были направлены в одну и ту же цель (см. Клейн 2006; Живов 2007).

Другой текст Екатерины II, упоминаемый по необходимости в метатекстах советского времени, – ее педагогическая „Сказка о царевиче Хлоре“, из которой Г. Р. Державин заимствовал персонаж добродетельной царевны Фелицы для своей знаменитой одноименной оды. До недавнего времени не часто можно было найти наблюдения над комедиями императрицы, которые были довольно популярны в свое время и по своим художественным достоинствам соответствовали, по меньшей мере, общему уровню русской драматургии того периода. Это коренным образом изменилось и теперь комедиография императрицы, может быть, наиболее хорошо изученная часть ее литературного творчества. Обращение к историческим хроникам сиятельного автора также происходило в силу необходимости. Впрочем, это касается первой исторической хроники о Рюрике в связи с полемической интерпретацией того же сюжета о бунте Вадима в трагедии Я. Б. Княжнина „Вадим Новгородский“, создавшей плодотворную традицию в литературе русского романтизма. Все упомянутые тексты, как и все остальные литературные произведения коронованного автора, нуждаются в новом непредубежденном прочтении и комментировании их поэтики. В последние два десятилетия, когда усилился интерес к личности, делам и творчеству императрицы и были заново переизданы многие ее тексты, процесс осмысления значения ее литературного наследия уже не только начался, но все больше набирает силу. Статьи, монографии, сборники, круглые столы и панели на конгрессах и специальные конференции ставят цель объяснить феномен женщины, управля-

вшей одной из самых мощных империй в европейской истории на протяжении 34 лет<sup>3</sup>. Как и прежде, ведущим остается интерес

---

<sup>3</sup> Вслед за классическими исследованиями Исабель де Мадариага (Madariaga 1981; 1990; Мадариага 2002, а также ряд статей), Дж. П. Гууча (Gooch 1966), У. Гарета Джоунса (Gareth Jones 1984) и Джона Александра (Alexander 1989), сборника 1976 г. (Russian Literature 1976), надо отметить множество серьезных исторических и междисциплинарных трудов, заглавия которых, без претензий на исчерпательность, привожу здесь: портрет Екатерины II как политического деятеля на фоне ее внешней политики Э. Бонтрегера (Bonträger 1991); капитальный труд Клауса Шарфа о немецких корнях и связях Екатерины II с немецкой культурой (Scharf 1996; Шарф 2015), книга выдающегося знатока русского XVIII века и русско-британских культурных связей Э. Кросса (Cross 2001), сборники юбилейных конференций 1996 г., состоявшихся по поводу 200-летия со смерти императрицы (Catherine II et l'Europe 1997; Russland zur Zeit Katharinas II. 1998; Екатерина Великая. Эпоха Российской истории. 1996); первый сборник статей, специально посвященный литературному творчеству Екатерины II под редакцией Ф. Гепферта (Göpfert 1996b), монографии С. Дихона, Э. Каррер д'Анкосса, Э. Вагеманса и др. (Dixon 2001; Carrer d'Encosse 2003; Каррер д'Анкосс 2006; Waegemans 2010), книгу о драматургии Екатерины II Л. Доннелса О'Мали (Donnels O'Maley 2006), многочисленные статьи о драматургии императрицы Джованни Мораччи (Мораччи 2007; Moracci 1996; 2002a; Moracci 2007 и др.), работы И. Клейна (Клейн 2005; 2006), М. Левитта (Levitt 2009; 2011; Левитт 2015) и пр., и пр. Из серьезных русских исследований надо упомянуть обе книги А. Б. Каменского (Каменский 1992; 1997) и научную биографию Екатерины II Н. Павленко в научно-популярной серии „Жизнь замечательных людей“ (Павленко 2000). Перевод на русский язык книги Р. Уортмана „Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии“ (Уортман 2002–2004, I–II), монографии А. Зорина и В. Проскуриной и их статьи в журнале НЛЮ (Зорин 2002; Проскурина 2006), статьи В. М. Живова (Живов 2007 и др.) вызвали огромный интерес к правлению Екатерины II на фоне русской культуры в целом. Эти работы спровоцировали в свою очередь исследования, рассматривающие литературное творчество императрицы в контексте ее политических стратегий (Евстратов 2009; Ивинский 2009). Появились первые работы, специально посвященные мемуарам Екатерины II (Фатеева 2007; Вачева 2008; Крючкова 2009). Немало также таких работ, в которых екатерининские мемуары рассматриваются в контексте развития русской мемуарной литературы, женской литературы или же всего литературного творчества высочайшего автора (Приказчиков 2010; Савкина 2007; Мамаева 2010; Акимова 2013; Акимова 2015). Переворот 1762 г. и его последствия вызвали к жизни новые, основанные на кропотливой работе в архивах, труды, во многом пересмотревшие существующую инерцию в комментариях этого события (см. Иванов 2007а; 2007б, кн. 1–5; Иванов 2009, Т. 1–3). Было реализовано научное

историков общества, но и литературная историография наверстывает упущенное.

Основной проблематикой в литературоведческих исследованиях становится благотворное влияние Екатерины Великой на развитие русской культуры и литературы. Ученые уже непредубежденно анализируют личный вклад императрицы в литературную эволюцию России. Но при всем этом, лишь отдельные работы посвящаются мемуарам Екатерины II и они по-прежнему считаются больше историческим документом, предметом интереса историков общества и идей, социологов, культурологов, но не литературоведов. Этот подход к мемуарному жанру характерен в принципе для русской культуры на фоне моря трудов, посвященных поэтике мемуаров и автобиографии как разновидности последних в запад-

---

издание переписки Екатерины II и Потемкина (Екатерина II и Потемкин 1996), новое критическое французское издание переписки Вольтера и Екатерины II под редакцией А. Строева (Voltaire – Catherine II 2006), новое издание на французском и на русском языках „Антидота“. Идеи, тенденции и важные события екатерининского царствования стали предметом самостоятельного изучения (Савельева 2006; 2007; Ибнеева 2006; 2009; Смилянская&со 2012). Образ Екатерины Великой в изобразительном искусстве стал предметом недавно защищенной диссертации Э. МакБерни (McBurney 2014). Постоянно нарастающий интерес к личности и свершениям русской императрицы вызвал серию репринтных и новых изданий ее биографий, которые трудно подсчитать и перечислить (Валишевского, Г. Каус, А. Труайя). Внимание западных ученых и читателей к жизни и исторической роли Екатерины II всегда было заметным и привело к пику интереса к ее произведениям. В 2006 г. появился новый англоязычный перевод последней редакции мемуаров, осуществленной Х. Хугенбум и М. Крузе на основании подлинника и с восстановлением произведенных акад. Пыпиным купюр (Hoogenboom&Cruse 2006). Нельзя охватить растущий как снежный ком массив многочисленных студий, статей, монографий о личности, исторических делах и эпохе императрицы. В мою задачу не входит также обзор огромного потока научно-популярных биографий, среди которых есть добросовестные труды, такие как книги О. Елисеевой (Елисеева 1999; 2010а; 2010б), документальных, псевдодокументальных и романизированных биографий или исторических романов, в которых находят отражение массовые представления об императрице, среди которых наиболее известным образцом является „Фаворит“ В. Пикуля. Новая эпоха привела к возникновению и поддержке солидных сетевых ресурсов, облегчающих знакомство интересующейся аудитории с личностью, эпохой, документами и изучением жизни, свершений и творчеством императрицы.

ном литературоведении. Об этом говорит Г. Г. Елизаветина – один из немногочисленных до недавнего времени русских литературоведов, посвятивших свои усилия изучению поэтики мемуарных и автобиографических текстов с точки зрения их литературной специфики: „Однако именно истории жанров мемуарной прозы недостает внимания со стороны литературоведения. [...] Существует заметная диспропорция между бытованием и теоретическим осмыслением жанров автобиографий, дневников, путешествий – словом, всех тех произведений, которые можно объединить понятием „мемуаристика“. Нелегко найти книги более читаемые, чем разного рода „записки“, и так же трудно найти литературоведческие работы, специально этим жанрам посвященные“ (Елизаветина 1982а: 148). Соответствует действительности также констатация Елизаветиной, что в изучении мемуаристики историки заметно опережают филологов, и что в принципе этот тип литературы считается приоритетом исторической науки (там же, 149).

Мемуары Екатерины II, может быть, – самый читаемый и самый комментированный ее текст. Научный интерес, в котором получают реализацию как серьезные академические исследования, так и конъюнктурные послания, соседствует с нездоровыми массовыми ожиданиями аудитории, интересующейся пикантными подробностями политических интриг и интимной жизни автора. Записки являются благодатной основой мифотворчества, первоначально заданного им самой императрицей.

Екатерининская автобиография<sup>4</sup> – предмет повышенного интереса читателей. Только за последние двадцать пять лет текст неоднократно переиздавался, его легко найти в разнообразных форматах в сети. Пик его новых публикаций состоялся, по объяснимым причинам, в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. До тех пор русский читатель знал текст в двух его изданиях: осуществленном Герценом в 1858–1859 гг.<sup>5</sup> и академическом издании

---

<sup>4</sup> Жанровые конвенции текста и используемая в этой работе терминология обсуждаются ниже.

<sup>5</sup> Записки императрицы Екатерины II. Издание Искандера. Лондон, 1859. По мнению Я. Л. Барскова, русский перевод герценовского издания публиковался до

творчества императрицы под редакцией акад. А. Н. Пыпина (Екатерина II 1907, XII)<sup>6</sup>.

1907 г. еще пять раз за границей и трижды в России. Однако давно не оспаривается факт, что задолго до публикации записок Герценом, несмотря на всевозможные препятствия и затруднения (вплоть до преследования властями), распространились рукописные копии (РТ: III; О сокращении см. в конце книги). В отличие от России, на Западе существуют многочисленные публикации текста. Авторы последнего по времени англоязычного перевода (2005) мемуаров Екатерины II указывают на 10 переизданий обоих существовавших до тех пор переводов только в 50-е гг. XX века, а они сами осуществили четвертый по времени перевод на английский язык (Hoogenboom&Cruse 2006: XXXV–XXXVI).

<sup>6</sup> В двенадцатом томе академического издания были собраны все известные редакции текста, который опубликован в оригинале на французском языке, а также все сохранившиеся заметки, фрагменты, анекдоты (в значении, характерном для языка XVIII века, в смысле описания памятных случаев и ситуаций), письма, маргинальные комментарии и пр., имеющие автобиографический характер. Редактором тома и автором критических материалов был Я. Л. Барсков, завершивший работу после смерти А. Н. Пыпина. В томе опубликованы также подготовленные Пыпиным описания автобиографических материалов. Те же самые автобиографические материалы в переводе на русский язык были изданы в том же 1907 г. издательством Суворина. Русское издание в 1989 г. было репринтно воспроизведено московским издательством „Орбита“: Записки императрицы Екатерины Второй. Перевод с подлинника, изданного Императорской Академией наук, с 12 портретами и 5 автографами. СПб., Издание А. С. Суворина, 1907; Записки императрицы Екатерины Второй. Репринтное воспроизведение издания 1907 года. Орбита. Моск. филиал, 1989. В то же время репринтно было воспроизведено также издание Герцена (Записки императрицы Екатерины II. Репринтное воспроизведение издания А. И. Герцена и Н. П. Огарева, Лондон, 1859 г. Автор предслова к репр. изд. Е. В. Анисимов. М., Книга, 1990; Россия XVIII столетия в изданиях Вольной типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Записки императрицы Екатерины II, 1859, Лондон. Репринтное воспроизведение. М., Наука, 1990. Отдельно полностью или частично текст был опубликован в следующих книгах: Екатерина II. Сочинения. Составление, вступ. статья и прим. В. К. Былинкина и М. П. Одесского. М., Современник, 1990, 251–460, в этом издании помещены также другие автобиографические материалы; Сочинения Екатерины II. Сост. и вступ. статья О. Н. Михайлова. М., Советская Россия, 1990, 21–239; Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., Эксмо, 2003. Возможны также другие переиздания. В настоящий момент уже затруднительно отметить все, нашедшие новую жизнь в интернете. Необходимо отметить, что на Западе читатели могли познакомиться с текстом в нескольких французских, английских и немецких переводах, главным образом, редакции, опубликованной Герценом.



Материалы, опубликованные Я. Л. Барсковым в академическом издании, охватывают все известные до сих пор варианты текста, а также и другие фрагменты автобиографического характера и являются наиболее полным собранием собственноручных записок высочайшего автора. Все остальные издания представляют только позднейшую редакцию мемуаров, опубликованную Герценом. Интересно, что кроме репринтного воспроизведения русского перевода материалов, помещенных в XII томе академического издания, новые издания автобиографии императрицы не содержат более ранние варианты текста.

Авторы во вступительных статьях в большинстве изданий текста в силу длительности периодов между отдельными публикациями по традиции останавливаются на истории создания записок, на их редакциях и содержании, на некоторых особенностях автобиографического рассказа с точки зрения его достоверности и интерпретации фактов в переписке мемуаристки или в воспоминаниях современников и представителей ближайших поколений, на бытовании списков, вопреки официальным запретам властей. Обязательным сюжетом являются также факты вокруг публикации записок Вольной типографией Герцена и Огарева – таинственный посетитель, привезший текст<sup>7</sup>, одновременная публикация на четырех основных европейских языках: французском, немецком, английском и русском<sup>8</sup>, шумный успех переводов<sup>9</sup>, но... почти нет

---

<sup>7</sup> Едва Л. Б. Светлов раскрыл его самоличность: это был известный библиофил, исследователь литературы и издатель Петр Иванович Бартенев (Светлов 1951; ЛЖТГ 1983, III: 21).

<sup>8</sup> Помимо этих языков, текст вскоре был переведен на шведский (1859), датский, (1859), польский (1886) (Katharina II. in ihren Memoiren 1972: 421).

<sup>9</sup> Обычно по этому поводу цитируются воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой: „Записки Екатерины II явились сразу на четырех языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханное впечатление во всей Европе. Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки; другие недоумевали, как они попали в руки Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но это была тайна, которую, кроме самого NN, знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае I“ (Тучкова-Огарева 1959: 136).

библиографских указаний на какой бы то ни было современный отзыв. Такие сведения можно найти в библиографии творчества Герцена.

Написанные историками, вступительные статьи к изданиям автобиографии Екатерины II не дают представления об ее литературности. Текст читается не как литературный, а прежде всего как документальный и исторический, несмотря на то, что еще акад. Пыпин говорил о нем как о художественном произведении. Все-таки иногда можно встретить скупые заметки о возможном фикциональном характере некоторых эпизодов. Такое предположение высказывает один из первых комментаторов екатерининской автобиографии Ольга Корнилович, подробно анализируя автографы и фактологию, а также отмечая более подробное или сокращенное изложение отдельных эпизодов в разных редакциях. В статье „Записки императрицы Екатерины II“ (1914) она пишет: „... можем заключить, что записки Екатерины не представляют собой безыскусственных воспоминаний о ее жизни, а являются довольно сложным и обработанным, хотя и незаконченным, литературным произведением. Екатерина ничего не рассказывает просто так, как оно было, а всегда с рассчитанным желанием произвести известное впечатление. То она сострит язвительно (может быть, и в ущерб истине), чтобы выказать гибкость своего ума, то сгустит краски, чтобы самой ярче выступить на неприглядном фоне. То примется доказывать, что она и пальцем не шевельнула ради достижения престола, а сама судьба с детства ей эту участь приготавливала. Здесь – мы видим, как ловко она выпутывается из затруднительного положения, несмотря на тысячи препятствий, там – ее наивность и невинность смягчают самые жестокие сердца. И вот эту искусственность литературных приемов Екатерины нужно иметь в виду, приступая к чтению ее мемуаров“ (Корнилович 1914: 71–72). Исследовательница считает, что „записки знаменитой императрицы представляют самое ценное, самое удачное литературно произведение ее“ (там же, 72).

На литературный характер отдельных эпизодов обращают внимание также некоторые современные публикаторы и комментаторы

текста, такие как Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский и др., которые воспринимают и оценивают мемуары одновременно как исторический документ и литературный текст. Е. В. Анисимов справедливо связывает специфику мемуарного рассказа с богатой литературной практикой императрицы: „... Литературное творчество императрицы – подлинного руководителя империи, деятеля, любящего политику, не могло не выражать ее политических взглядов, той этики, которой всегда в России руководствовался самодержец, бесконтрольный повелитель миллионов подданных. Важно и другое – опыт писательской работы, как бы его ни расценивали привередливые потомки, налагает неизгладимый отпечаток на все другие виды деятельности человека, формирует специфическое восприятие им мира, в том числе собственного“ (Анисимов 1990: 10–11)<sup>10</sup>. По Анисимову, накопленный писательский опыт имеет прямое отношение к „Запискам“: „Несомненное достоинство, заметно отличающее их от писания многих мемуаристов, – литературность, умение организовать материал, наполнить его жизнью, воссоздать эмоциональный строй прошлого“ (там же, 11). А. Б. Каменский заявляет: „... Даже с учетом политической направленности „Записок“ Екатерины, их нельзя рассматривать вне контекста ее литературного творчества в целом“ (Каменский 1992: 34).

К сожалению, наблюдения этого рода, несмотря на свою основательность, не идут дальше обычных констатаций. Это объяснимо, так как в задачи историков общества не входят литературоведческие проблемы, несмотря на множество точек соприкосновения между обоими областями знания. Поэтому одна из целей данной работы – заполнить, насколько это будет возможно, пробелы и подойти к автобиографическим запискам русской императрицы Екатерины II с точки зрения анализа поэтики литературного текста.

---

<sup>10</sup> Автор довольно полно перечисляет самые известные произведения Екатерины II, жанры, в которых она писала, типологию персонажей: „Вывода на сцену недовольных правительством аристократов, дворянских либералов, а потом – масонов, Екатерина, с помощью оглупления подразумеваемых ею противников, стремилась упрочить престиж власти, показать никчемность надутых Спесовых, брюзжащих Ворчалкиных, пропойных Некопейкиных – всех, кто недоволен действиями режима“ (Анисимов, там же, 10).

Объектом исследования является нарративная структура мемуаров русской императрицы. Модели рассказа анализируются с точки зрения конвенций автобиографии как жанра (на фоне мемуаристики вообще), с учетом характерных для нее особенностей одновременно документального и фикционального текста. В работе представлены также соотношения автобиографии с близкими жанрами (литературным автопортретом, эпистолярией, и прежде всего романом). Это – предмет первой главы **„Автобиография, политический трактат или роман. Проблемы жанра“**, в которой рассматриваются также разные редакции анализируемого текста. Выявляются главные его особенности, которые отличают его от зарождавшегося тогда современного русского и западноевропейского автобиографического письма. Акцент делается на те характеристики текста, которые различают „мужскую“ от „женской“ манеры письма и восприятие собственного „я“ в автобиографии, а также на создание особой автомифологии. Жанровые характеристики автобиографии Екатерины II определены на основе теорий жанра и его истории и эволюции в русской и западноевропейских литературах. Рассматриваются жанровые конвенции, связи с другими близкими жанрами, проблемы терминологии, а также такая важная особенность поэтики автобиографии, какой является „автобиографический пакт“ (Ф. Лежен).

Главный предмет обсуждения в первой книге настоящего труда – „романный дискурс“ в автобиографии Екатерины II, т.е. модели построения рассказа, в которых используются заимствованные из романов типические приемы, ситуации, самоидентификация с популярными персонажами, описания действующих лиц, заимствованные из романной топики. Вторая глава – **„Романная топка в автобиографических записках Екатерины II“** исследует применение характерных романских топосов в тексте. Роман XVIII века вырабатывает свой особый нарративный космополитный „язык“, состоящий из устойчивых ситуаций, характеристик и отношений персонажей (Fauchery 1972: 72–73). В автобиографии Екатерины II этот условно названный мной „романный“ дискурс соседствует и постоянно взаимодействует, по моему мнению, с „публицистичес-

ким“, близким по своему содержанию к общему дискурсу русской одической, сатирической и эпической поэзии и русской публицистики того времени. Этот „публицистический“ дискурс, которому посвящена вторая книга этого труда, связан с проблемой просвещенного монарха и дворянскими обязанностями (долгом) перед обществом<sup>11</sup>. Имплицитно в „публицистический“ дискурс включается один из аспектов „русского миража“ (термин А. Лортолари), согласно которому европейские просветители XVIII века видели в личностях известнейших русских монархов (Петра Великого, Екатерины II) пропагандаторов и защитников общеевропейских ценностей и старающихся осуществить их на практике. „Публицистический“ дискурс ассоциируется с „мужским“ голосом в русской культуре XVIII века. „В русской литературе мужской принцип Просвещения сильнее всего выражен в неоклассицистической концептуализации литературы как абстрактной надперсональной системы точно соотносенных жанров и стилей, практикуемых русскими Пиндарами и Гомерами и пр., которые заполняли предварительно заданные формы“ – пишет известная американская исследовательница Гита Хаммарберг (Hammarberg 1994: 104). Роман как неканоническая жанровая форма, согласно классицистской теории, считался областью „женской“ рецепции и женского творчества преимущественно в Западной Европе. Его взаимодействие с другим ключевым неканоническим жанром Просвещения (Oehler 1997: 119) – автобиографией – глубоко и активно. Во второй главе исследуется обращение мемуаристики к топике романа, в особенности к топосам, применявшимся в описаниях женских судеб. Очерчен культурный фон эпохи; использование романного „языка“, рассматривается в контексте философских споров об эмансипации женщин (в том числе и кардинальных вопросов о воспитании и образовании девиц и социальной роли женщин). Учитываются литературные дискуссии о романе как жанре, имевшие место в крупнейших европейских литературах, включительно и русской.

---

<sup>11</sup> Оригинальную интерпретацию диалога русских государей (в особенности Петра I и Екатерина II) с русскими писателями и мыслителями в XVIII веке предлагает Цинтия Уиттакер (Whittaker 2003).

Третья глава первой книги – **„Романный интертекст в автобиографии Екатерины II“** представляет вниманию читателей интертекстуальные связи рассматриваемого текста с конкретными западноевропейскими романами XVIII века. Первое соотнесение – гипотетическое. Оно касается романа популярной французской писательницы того времени Мари-Жан Риккони „Письма мисс Фанни Батлер“ (1757). Мое предположение основывается на текстологическом сравнении обоих произведений. Второе соотнесение посвящено связям екатерининской автобиографии со знаменитым романом Л. Стерна „Жизнь и мнения Тристрама Шенди“, одной из любимых книг императрицы. Имитация этих двух текстов преследует разные цели.

Являясь противницей автобиографии как исповеди (модель, заданная жанру Ж.-Ж. Руссо), Екатерина скрывается за своеобразной „маской“ чужого текста, чтобы рассказать о своей первой любви, не признавая интимных подробностей, которые она оставляет самой себе. В то же время она идентифицирует себя с героиней французской писательницы – одним из самых ярких и независимых женских характеров в литературе Просвещения. Интертекст „Тристрама Шенди“ позволяет мемуаристке моделировать собственный образ в духе стоицизма – основной лейтмотив и в романе Стерна, а также дополнить антимиф о незрелом житейском поведении своего супруга – соперника перед судом истории.

Несколько слов об используемой терминологии. Жанровые характеристики рассматриваемого текста совпадают с литературной автобиографией как рассказ об эволюции личности автора. Основания такого жанрового определения записок императрицы Екатерины II обсуждаются в первой главе. Для удобства, однако, и с целью избежания стилистического однообразия и повторений в изложении в отношении к рассматриваемому тексту в исследовании используются синонимические термины „мемуары“, „записки“, „собственноручные записки“ и реже – „воспоминания“. Теоретическое разграничение этих понятий специально проведено, а синонимическая замена производится единственно со стилистической целью.

Термин „топика“ в настоящем труде употребляется в значении, воспринятом современной философией и коренящимся в античной риторике (Аристотеля и Цицерона), и переосмысленном впоследствии Эрнстом Робертом Курциусом. По Курциусу топосы (от гр. „topos“ – место, в мн. ч. topoi) – твердые клише или схемы мышления и выражения, формулы, фразы, цитаты, стереотипные образы, унаследованные мотивы, которые применялись в типических ситуациях, которые средновековая и ренессансная риторика, а позже и литература Нового времени (до конца на XVIII века) использует в качестве поэтического арсенала, фонда, из которого черпают поэтические произведения (Тамарченко 1999). „Топика“ применяется в настоящем исследовании в смысле совокупности подобных общих мест в романах. Под термином „топос“ подразумевается не только типизированная пространственная характеристика (к сожалению, в этом случае неизбежна семантическая тавтология „пространственный топос“), но прежде всего устойчивый романский мотив, ситуация, свойство персонажа. В данном случае используется методология Международного общества изучения романских топосов Société d'analyse de la topique romanesque (SATOR), основанного в 1986 г. Помимо своих годовых коллоквиумов, посвященных определенным аспектам поэтики романа и характерных для них топосов, эта научная организация поддерживает постоянно обновляющуюся базу данных в Сети ([www.satorbase.org](http://www.satorbase.org)) и исследует топику классического европейского романа XVII–XIX веков.

Текст автобиографии Екатерины II, оригинал которой написан большей частью по-французски, цитируется в русском переводе 1907 г. в соответствующей нормализации орфографии с современными нормами, с целью избежать трудностей перевода с архаического уже французского языка XVIII века и для облегчения современных читателей, круг которых, таким образом, заметно расширится.

## Глава первая

### АВТОБИОГРАФИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ ИЛИ РОМАН. ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА

Обычная терминология, применяемая к мемуарам русской императрицы Екатерины II, не предлагает достаточно ясных ориентиров для жанровых особенностей текста. Согласно русской традиции, это произведение императрицы определяется общепринятым международным термином „мемуары“. Он обозначает такой род сочинений, представляющих собой рассказ личности о ее собственной жизни и об эпохе, свидетелем которой она была. В русском языке как синоним используется термин „записки“ (реже „воспоминания“), а автобиографический характер текста отмечается, как это сделал Герцен в первом издании екатеринских мемуаров 1858 г., добавлением определения „собственно-ручные“ (или „своеручные“<sup>1</sup>). В XVII и XVIII веке, и даже в XIX, наличие этого эпитета очень важно. Оно подчеркивает аутентичность авторства и акцентирует внимание на автобиографическом характере, показывая насколько он есть в тексте, так как в названные периоды было массовой практикой сочинять мемуары с помощью другого лица, т.е. мемуарист был скорее всего своего рода консультантом настоящего автора (его) записок (Lejeune 1971: 46). Именно такой акцент на аутентичность екатерининского текста поставил Герцен в первой публикации, отклоняя возможные упреки в поиске сенсации, фальсификации или по меньшей мере в дописании текста, созданного императрицей. Необходимо учесть, что такие сомнения в подлинности авторства Екатерины высказывались неоднократно по поводу других ее произведений – ее публицистики, комедий, переписки

---

<sup>1</sup> Такое определение дает своим автобиографическим запискам первая русская мемуаристка – княгиня Н. Б. Долгорукая (Долгорукова), по отцу Шереметьева (1714–1771). См: Своеручные записки кн. Н. Б. Долгоруковой (1767) (Записки и воспоминания русских женщин 1990: 42–65).



с Вольтером<sup>2</sup>. Теза о „присвоении“ чужих текстов сиятельным автором была категорически отброшена еще одним из первых исследователей ее литературного творчества – Арсением Введенским: „За границей, а по примеру иностранцев и у нас, подвергали нередко сомнению самостоятельность литературной деятельности Екатерины. Говорилось, что императрица сама не могла писать по-русски и присваивала себе произведения, писанные не ею, а разве только ею внушенные. Позднейшие исторические изыскания совершенно опровергли этот взгляд; несомненно, она сама задумывала и сама писала произведения, которым присваивается ее имя. [...] Екатерине, при ее слабости в правописании, остался, однако, не чужд внутренний дух русской речи; и это будет понятно, когда мы узнаем, что она старалась освоиться не только с русским языком, а и с славянским [церковнославянским – А. В.], читала летописи, а от книжной литературы перешла к словесности народной, изучая дух и нравы русского народа в его пословицах, песнях и сказках. Словом, несмотря на свои „грешные падежи“, императрица, урожденная немецкая принцесса, несравненно более была подготовлена к деятельности на почве русской литературы, чем многие образованные русские, уже тогда воспитывавшиеся на иностранных языках и нередко в понятиях пренебрежение к русской народности и к русскому языку; а высокий ум и мощный характер Екатерины, так поражавшие современников, придали ее деятельности литературной свой отличительный характер“ (Введенский 1893: 4). Несмотря на сомнения подобного рода и предполагаемого редактирования русских текстов, стилистическое единство и характерная поэти-

---

<sup>2</sup> Автором писем Екатерины к Вольтеру считали графа А. П. Шувалова, который близко знал французского философа, а также славился как эрудицией и остроумием, так и таким знанием французского языка, что его „Эпистола к Нинон“, написанная по-французски, считалась одним из лучших текстов французской литературы того времени. Но, если это правда, как быть с упреками к высочайшей писательнице в не совсем правильной и устаревшей орфографии, с характерными для нее стилистическими особенностями, словотворчеством, окказионализмами и пр.? Трудно поверить, что переписывая чужой текст, она бы сознательно допускала один и тот же тип погрешностей.

ка свидетельствует об их принадлежности к творчеству одного и того же автора – русской императрицы, аутентичность которого сегодня уже категорически доказана. Окончательно отброшены также сомнения в авторстве ее мемуаров, особенно после публикации в академическом издании ранних редакций текста и других документов автобиографического характера.

## **Редакции мемуаров Екатерины II. Особенности паратекста**

Подробные описания документов автобиографического характера, созданных русской императрицей, уже могут быть найдены во всех серьезных исследованиях и биографиях Екатерины II. В большинстве своем они базируются на вступительной статье Я. Л. Барскова к академическому изданию и русскому переводу мемуаров (подразумевается также репринт 1989 г.), на заметках акад. Пыпина к подготовленному им тому автобиографических материалов (оба источника напечатаны в т. XII сочинений Екатерины II) и на упомянутой выше статье О. Корнилович, а также на некоторых западных изданиях текста и специальных статьях (Hogenboom&Cruse 2006; Greenleaf 2004). В последние годы ряд уточнений внесла М. А. Крючкова, работавшая с оригиналами в архивах (Крючкова 2009). Ученые обстоятельно рассматривают любой материал, имеющий автобиографическую ценность, и комментируют вид бумаги, наличие водяных знаков и пр. О. А. Иванов подчеркивает, что „все рукописи мемуаров Екатерины II собственноручные, нет ни одной писарской страницы“ (Иванов 2007а: 27). Надо отметить, что далеко не все материалы – более пятнадцати, не считая писем, в которых содержатся признания и данные о жизни Екатерины, адресованные близким людям, корреспондентам, даже оппонентам из рядов западной политической мысли, формируют целостный текст, объединенный единой сюжетной линией. Крупных фрагментов, представляющих связной текст большего или меньшего объема – 7. Их акад. Пыпин определил как редакции мемуаров, снабдил их нумерацией римскими цифрами и разместил в хронологическом порядке. Другие фрагменты содержат разнообразный по объему материал и отражают разные периоды жизни автора – до, во время и после главного собы-

тия в ее жизни – восшествия на русский престол, „революции“, как определяют произошедшее и сама Екатерина, и княгиня Дашкова, и как в большинстве случаев называют события в России июня-июля 1762 г. многие западные мемуаристы и философы. По всей видимости, некоторые из фрагментов должны были дополнить основной текст мемуаров: в позднейшей редакции то и дело встречаются указания издателей о начале вставки. В других случаях во фрагментах описывается какое-то событие или любопытный факт („анекдот“), или же представлены портреты современников. В некоторых случаях эти отрывки имеют характер психологического этюда, что-то вроде пробы пера. Например, такими психологическими этюдами являются рассказ о попытке самоубийства или об ухаживании за юной дамой во время маскарада как своего рода эксперимента мемуаристки сыграть „мужскую роль“ и наблюдать „со стороны“ за реакциями девушки. Все фрагменты, анекдоты и пр., кроме своей краткости и несвязанности в единый сюжет, отличаются также по языку написания. Большинство текстов написаны на французском, другая часть на русском. Иногда мемуаристка допускала смешение языков в рамках одного и того же текста, особенно когда желала подчеркнуть смысл фразы. Автографы отличаются друг от друга на внешний вид, особенностями бумаги и пр.

На протяжении всей своей жизни Екатерина активно „наблюдала“ за собой, старалась осмыслить свое прошлое, анализировать свои поступки, формулировать идеи и принципы своего существования. „По всей видимости, Екатерина искала и создавала глубокую связь между своим „я“ и своим творчеством. На протяжении более пятидесяти лет она использовала автобиографическое письмо, чтобы понять самое себя как человеческое существо, женщину, императрицу“, – отмечают американские переводчики мемуаров (Hogenboom&Cruse 2006: XIII).

Основная идея сохранившихся редакций, отрывков, „анекдотов“, а также автобиографических сюжетов некоторых писем – дополнить и скорректировать известные представления о своей личности и поддержать миф о себе, как идеале просвещенного монарха. Характерно в этом отношении письмо к Станиславу-Ав-

густу Понятовскому от 2.08.1762 г. о произошедших политических событиях и об обстоятельствах смерти Петра III, в котором только что взошедшая на престол императрица просит бывшего возлюбленного сообщить его содержание Вольтеру (РТ: 562–571 (с. 570)<sup>3</sup>. Сходна по смыслу, только в отношении к интимной жизни Екатерины, ее „Чистосердечная исповедь“ 1774 г. перед Потемкиным (РТ: 712–715).

В отличие от всех этих этюдов, анекдотов, записок, планов, писем и пр., текст собственно мемуаров отличается по своему объему и наличием ясной сюжетной линии. Основное содержание автобиографии Екатерины II – ее сознательная, последовательная подготовка к власти с юности, причем власть интерпретируется не как предопределение, но как кауза.

По традиции можно говорить о трех основных редакциях записок. Екатерина II активно работала над ними в период с 1771 до 1794 г., а возможно – и до последних дней своей жизни (РТ: VI–VII). Кроме того, сохранился краткий ранний вариант (V редакция по академическому изданию<sup>4</sup>), относящийся, по предположению редакторов, к концу 50-х гг. и предназначенный близкому лицу, вероятнее всего Станиславу-Августу Понятовскому (см. РТ: 467–499). Автограф этого фрагмента по внешнему виду отлича-

---

<sup>3</sup> В это время Екатерина еще не начала свою переписку с французским философом, а, по всей видимости, Понятовский был достаточно близок с Вольтером, который был влиятельным фактором в общественном мнении Европы. Императрица просит Понятовского об этой услуге, тем более, что она чувствовала себя „очерненной“ в глазах фернейского мудреца „самым низким и подлым среди людей“ И. И. Шуваловым, бывшим фаворитом Елизаветы Петровны и одним из сильнейших русских друзей мыслителя (там же).

Все цитаты из текста приводятся по репринтному изданию русского перевода материалов Академического издания: Записки императрицы Екатерины Второй. Репринтное воспроизведение издания 1907 года. М., 1989, в дальнейшем РТ (русский текст). Цитируемая редакция означена инициалами адресатов (Б, Ч) или сокращением СРЗ для „Собственноручных записок“ (позднейшая редакция).

<sup>4</sup> М. Крючкова предлагает свою классификацию редакций екатерининских мемуаров и обстоятельно излагает свои основания, внося коррективы в несколько хаотическую нумерацию А. Н. Пыпина. Она обозначает эту раннюю редакцию как первую (Крючкова 2009: 289–322; конкр. 294–295).

ется от более поздних рукописей (РГ: VI)<sup>5</sup>. Описанные в разных редакциях события охватывают время от рождения мемуаристки до 1759 г., т.е. за два года до ее восшествия на престол. Кроме трех основных редакций текста, сохранились планы записок, но нигде в них не указываются даты позже 1760 г. Событийность имеет прямое отношение к проблеме законченности автобиографических записок императрицы.

Формально текст не закончен, даже в наиболее поздней редакции, в которой повествование прерывается в крайне интересный и кризисный для автора момент, когда отношения между великой княгиней Екатериной и Елизаветой Петровной натянуты до предела и мемуаристка предпринимает решительный ход, ставя на кон не только свое положение супруги престолонаследника, но и всю свою дальнейшую судьбу. Но, если иметь в виду, что содержание автобиографии состоит в осмыслении основных моментов духовного развития молодой Екатерины как подготовки к ее миссии,

---

<sup>5</sup> С этим мнением согласна Ольга Корнилович, которая упоминает среди предполагаемых адресатов, кроме будущего польского короля и тогдашнего возлюбленного Екатерины, английского посла в Петербурге в то время сэра Чарльза Хэнбери-Уильямса, секретарем которого тогда был Понятовский, и с которым великая княгиня вела длительную тайную переписку. Исследовательница считает, что отрывок был написан до 1758 г. Об этом она судит по содержанию: в тексте говорится о канцлере графе А. П. Бестужева как о действующем политике, т.е. события происходят до его опалы. О том, что адресат иностранец, по мнению Корнилович, свидетельствуют разъяснения московских реалий. Сохранение этого раннего текста исследовательница объясняет тем, что он находился в руках человека, которому был предназначен, и поэтому не был сожжен с другими бумагами в ходе процесса против Бестужева в 1757 г. (Корнилович 1914: 41–43). Моника Гринлиф предполагает, что этот первый сохранившийся опыт автобиографии, рассказывающий о детстве великой княгини, проведенном в Германии, и ее стоическом поведении при русском дворе, является политическим документом, адресованным через посла английскому, шведскому и другим заинтересованным европейским дворам (Greenleaf 2004: 408, 413), на поддержку которых она очевидно надеялась. Авторы новейшего англоязычного перевода мемуаров также считают, что этот фрагмент, который они называют „ранними мемуарами“, в отличие от „средних“ (посвященных графине Брюс и барону Черкасову) и „поздних“ (редакция, опубликованная Герценом), был предназначен сэру Чарльзу Хэнбери-Уильямсу, наставнику великой княгини Екатерины в политических делах (Hogenboom&Cruse 2006: X, XXXIX).

1/

Dedie' a mon Amie la  
Comtesse de Vienne née  
Comtesse de Roumenzoff  
a laquelle je vous tout  
dise sans que cela tire  
a consequence.

+ Elle s'y voit mal avec ma  
mere aussi car elle la  
renvoye bientôt apres

Memories commencé le 21.  
d'Avril 1771.

Le lui ai le 21 Avril 1771. Elle de  
cela aujourd'hui 42 ans sa lettre  
en Pologne, on m'a dit que  
comme si l'on vouloit un fils on ne  
fut qu'une aie que je suis la gosse  
mon aspect, mon gros cependant  
marque plus de contentement que  
ceux qui l'ont vu. Ma mere  
pense mourir en me montrant au  
monde et encore long temps apres.  
On me donna deux nourris la  
femme d'un soldat <sup>qui</sup> qui s'en  
n'avait que 19 ans <sup>elle</sup> et étoit  
vive et jolie. On me mit entre  
les mains d'une Dame qui  
étoit accusée d'un <sup>crime</sup> d'Hohen  
d'ouf laquelle tenoit bien de  
Dame de compagnie a ma  
mere. On m'a dit que cette Dame  
avait su le mal si j'en rendrais  
moi quelle me rendit tres este  
be: <sup>elle</sup> comme elle étoit, mais que  
et quelle avait <sup>elle</sup> la voir <sup>elle</sup>  
et importante elle fit si bien  
que je ne fais oit jamais ce qu'  
voulait a moins qu'on me  
dit d'it au moins trois fois  
et cela avec un voix bien forte.  
A l'age de deux ans on me  
mit entre les mains d'une  
française réfugiée nommée  
Marguerite la Del qui étoit  
d'un caractere insinuant et flatte

а также, если учесть намеченные для описания события, думаю, что текст „Собственноручных записок“ принципиально закончен, а мемуаристка довела до конца главную цель своего рассказа.

Первую основную редакцию своей автобиографии Екатерина II начинает писать в свой сорок второй день рождения. Дата отмечена еще в заглавии: „Записки, начатые 21 апреля 1771 г.“. О. Корнилович высказывает предположение, что до восшествия на престол Екатерина не могла писать ни мемуары, ни вести дневник, так как за ней постоянно наблюдали (Корнилович 1914: 43). По мнению исследовательницы, в 60-е годы были созданы черновые заметки, которые должны были послужить Екатерине, ставшей уже императрицей, основой для ее будущих мемуаров. Это мнение не лишено резона относительно „анекдотов“ о перевороте 1762 г. Думается, однако, что концепция автобиографических записок была выработана в начальном варианте в 70-е годы. Несмотря на отмеченный всеми исследователями постоянный интерес Екатерины к своему духовному росту и склонности к самоанализу, проявившейся еще в пятнадцатилетнем возрасте написанием, благодаря внушению шведского графа Гюлленборга психологического автопортрета, озаглавленного „Философ в 15 лет“, думаю, что по меньшей мере о замысле мемуаров в тридцатилетнем возрасте рано говорить. Когда в 1771 г. Екатерина начинает писать историю своей молодости, у нее явно уже была идея, как это сделать, как создать целостный текст, который бы рассказал об ее формировании как личности. Текст должен был показать ее духовную эволюцию, которая, в конечном счете, привела мемуаристку к роли самодержавной императрицы, и доказать, что она вполне заслужила свое высокое положение, к которому старательно готовилась, и успех буквально выстрадан ею. Не надо забывать, что в 50-е или даже в 60-е годы XVIII века все еще не была создана мифология вокруг ее личности. В 50-е годы великая княгиня Екатерина Алексеевна все еще не добилась столь значительных успехов, чтобы думать о подробной автобиографии. Если судить по дипломатическим донесениям, она лишь производила хорошее впечатление своими интересами, умом и знаниями, своей любезностью. Но все еще это была личность, на которую смотрели с ожиданием ее буду-

щей роли, с надеждой, что она будет принимать активное участие в жизни своей новой родины, но никаким образом это не связывалось с ее амплуа самодержавной государыни. В 60-е годы, особенно в их второй половине, благодаря либеральной направленности ее раннего правления и начальному периоду ее отношений с западными философами, только начинает формироваться екатерининский миф. Поэтому логичнее предположить, что замысел автобиографии, который мог бы положительно дополнить миф, принял ясные очертания именно в начале 70-х годов, когда и была написана первая редакция текста. Другой важный момент, который надо учитывать, это „кризис доверия“, который переживает Екатерина в начале 70-х гг., из-за настроений фрондерствующих кругов дворянства в связи с наступающим совершеннолетием ее сына. Для большей части дворян императрица была регентом Павла. Это является следствием позиции бывших ее сподвижников в перевороте против Петра III, из так называемой „панинской партии“, во главе с воспитателем юного великого князя, графом Н. И. Паниным<sup>6</sup>. Отзвуки этой дискуссии слышны в литературе того времени, например, в одном из самых ярких и авторитетных текстов А. П. Сумарокова, трагедии „Дмитрий Самозванец“ (1771)<sup>7</sup>. Гораздо естественнее, чтобы имен-

---

<sup>6</sup> Граф Н. И. Панин – известная фигура эпохи Просвещения в России, политик, оказавший сильное влияние на саму Екатерину. Подробности об эволюции отношений между Екатериной II и Н. И. Паниным могут быть найдены в книге Д. Рансела „The Politics of Catherinian Russia. The Panin Party“ (Ransel 1975). Панин выражал настроения аристократической олигархии, которые имели целью ослабление самодержавия и усиление участия дворянской верхушки в управлении страной. Это главная направленность подготовленного близким к Н. И. Панину Д. И. Фонвизиным проект конституции (См. Ransel 1975; Эйдельман 1984, гл. V). Некоторые современные исследователи считают, что даже убийство Петра III вскоре после переворота, которое не планировалось Екатериной, было организовано панинской партией, которая рассчитывала, что таким образом будет держаться новую императрицу в руках (Иванов, О. Загадка писем Алексея Орлова из Ропши. Цит по: Екатерина II и Потемкин 1996: 498).

<sup>7</sup> А. П. Сумароков в реплике Пармена высказывает мысль, что не важно, имеет ли монарх кровное право на престол, а важно как он управляет страной и как исполняет свой долг перед обществом. Но наряду с этим толерантным и в каком-то смысле неожиданным мнением, трагическая судьба Самозванца, забывшего из-за



но в это время возник замысел написания целостного „текста своей жизни“, который должен был задать желанное направление в интерпретации образа мемуаристки перед судом времени. И еще, автобиография, воспоминания в принципе являются жанрами зрелого, даже третьего возраста<sup>8</sup>. Едва в XX веке начинается „омолаживание“ авторов, пишущих о своих крупных успехах в карьере, когда им исполнился третий десяток, тогда как традиционный „возраст для автобиографии“ – около 40–50-летия мемуариста (Lejeune 1971: 52). „Молодые“ автобиографы – редкие исключения, подтверждающие правило. В XVIII веке, когда измерения человеческого времени заметно различались от нынешних, сорокадвухлетний возраст женщины был более чем солидным и едва ли не считался началом старости. Так что вполне естественно, чтобы достижение этих лет стало для мемуаристки поводом для подтверждения итогов. Это происходило на фоне крупных международных успехов русской государыни. Автобиография должна была стать дополняющим положительным акцентом в формирующемся екатерининском мифе, который должен был заглушить неблагоприятные аспекты репутации императрицы. Еще в первой редакции задана основная идея, которая красной нитью пройдет сквозь более поздние редакции текста, над которым Екатерина II будет работать на протяжении более двадцати лет до конца жизни. В тексте мемуаров явно проступает философский дискурс Просвещения, посвященный личности правителя. Философский контекст в автобиографии императрицы звучит на фоне многоголосья европейских мыслителей, предложивших свое видение проблемы „просвещенного монарха“, отношения человека и власти, проблемы славы и бессмертия.

---

личных амбиций и страстей свой долг, обманувшего надежды народа и превратившегося в недостойного тирана, является серьезным предупреждением, которое этот дворянский идеолог адресует как императрице, так обществу в целом.

<sup>8</sup> Е. и Ж. Лекарм считают, что решение человека описать свою жизнь первоначально проявляется к концу юношества. Такие тексты, несмотря на неумелость авторов, составляют большой биографический интерес. Достижение тридцатилетия, по мнению обоих исследователей, уже более века является стимулом написания автопортретов и автобиографий (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 127).

Помимо названных „биографических“ аргументов, необходимо поискать также собственно литературные. Прежде всего это проблема образцов жанра, которым следовала мемуаристка. Вторая половина XVIII века – время рождения современной автобиографии, которая отделяется от общего массива мемуаристики и представляет собой не просто рассказ об услышанном и увиденном, но прежде всего повествование о духовной эволюции собственной личности, с учетом накопленного как положительного, так и отрицательного опыта. Создание собственного образа в записках созвучно поискам западноевропейской мемуаристики того времени. Подлежит уточнению, насколько Екатерина II следовала модели литературной автобиографии, которую задает Руссо в „Исповеди“, но ее чутье новизны безошибочно проявляется не только в ее журналистике и драматургии, но также в автобиографических записках.

Отдельные редакции различаются друг от друга не только своим содержанием, но и **паратекстом**. Первый вариант автобиографии посвящен графине Прасковье Александровне Брюс. Она была близкой подругой Екатерины с самого ее приезда в Россию. „Посвящается другу моему, графине Брюс, рожденной графине Румянцовой, которой могу сказать все, не опасаясь последствий“ – пишет Екатерина, начиная рассказ о своем детстве в сорок второй день рождения<sup>9</sup>. Впрочем, Я. Л. Барсков считает, что дата 1771 г. подводит. По его мнению, это черновой вариант текста, который был доработан в начале 90-х гг. XVIII века, когда написана и вторая часть, посвященная барону Черкасову (РТ: VI). Описанные события охватывают время от рождения мемуаристки (21 апреля 1729 г.) до дня ее свадьбы 21 августа 1745 г. Насколько была искренна в своих дружеских чувствах Екатерина, вопрос, на который трудно ответить. О ее настоящем отношении к подруге можно судить по ее письму к Станиславу-Августу Понятовскому от 9.08.1762 г., в котором она пишет: „Жена Брюса и фельдмаршалыша – недостой-

---

<sup>9</sup> Прасковья Александровна – сестра прославленного русского полководца Петра Александровича Румянцева и жена известного вельможи Якова Александровича Брюса.

ные женщины, особенно вторая. Они были преданы сердцем, телом и душой Петру III и очень зависели от его любовницы и ее планов, говоря тем, кто хотел это слышать, что она совсем еще не то, чем бы эти женщины желали, чтобы она была“ (РТ: 573). Это двусмысленное отношение заставляет видеть в посвящении не только лицемерие властьпридержащих. Адресование мемуаров не членам семьи, какова обычная практика и в западноевропейской, и особенно в русской мемуарной традиции, говорит о намерении мемуаристки предназначить свою автобиографию более широкой аудитории, а также о планированом интересе публикаций в будущем. Как текст, предназначенный для отложенной во времени публикации, екатерининские мемуары читает академик А. Н. Пыпин: „Написанные, конечно, не для современников, Записки, как автобиография великого исторического лица, представляют одно из замечательнейших явлений в целой литературе мемуаров“ (Пыпин 1903: 89). Если вспомнить мнение Я. Л. Барскова о подводящей дате 1771 г. и завершении редакции в начале 90-х гг., то предположение о намерении Екатерины об отложенной (посмертной) публикации получает косвенное подтверждение.

Помимо факта о том, что отношения обеих дам давно не были теплыми, как в дни их юности, нужно добавить, что графиня Брюкк к началу 90-х годов была уже покойницей. Это обстоятельство имеет аналогию в посвящении второй редакции, адресованной барону Александру Черкасову<sup>10</sup>: „Барону Александру Черкасову, из тела которого я честью обязалась извлекать ежедневно по крайней мере один взрыв смеха, или же спорить с ним с утра до вечера, потому что эти два удовольствия для него равносильны, я же люблю доставлять удовольствия своим друзьям“ (РТ–Ч: 73).

---

<sup>10</sup> Барон Александръ Иванович Черкасов (1728–1788), действительный тайный советник. Учился в Англии, служил в лейбгвардейском Преображенском полку. Барон Черкасов составил проект преобразования Медицинской коллегии и после его утверждения, с 1763 по 1775 г. был первым ее президентом. Его жена Екатерина Ивановна Бирон (принцесса Курляндская, дочь фаворита Анны Иоанновны Бирона), часто упоминается в записках Екатерины как объект любовной страсти великого князя (см. Федорченко 2003: 414).

39/

Seconde Partie

# A Monsieur le Baron

A la messe de 9 heures  
 du soir duquel je suis enga-  
 gée en bon cas de vous avoir  
 les jours au moins un salad  
 de rive ou bien aussi de  
 disputer avec lui depuis  
 le matin jus qu'au soir,  
 parce que les deux plaisirs  
 sont equivalent chers, et  
 et que j'aime a faire plaisir  
 a mes amis.

+ de Demande de differents  
 couleurs de baguette com-  
 posee de deux a quatre

le lendemain des nous nous alle-  
 mes apres que au la completion  
 de tout le monde d'hier  
 de tout le monde, d'aller chez l'Am  
 peintre au Palais d'été; elle vi-  
 gée en bon cas de vous avoir apporté le matin un coup  
 en avait envoyé une de luytes au  
 Grand Duc pour me le donner, le  
 soir il y eut bal au palais d'hier  
 a deux heures de la l'Impératrice  
 vint d'aller chez nous au palais  
 d'hier, les rejoins femme de ses  
 d'arriver de la soirée, l'y avait  
 entre autre une mascarade en  
 quadrille. la premiere quadrille  
 est celle du Grand Duc en de  
 couleur de rose et argent  
 la seconde en Domino blanc et  
 or l'estoit la même la troisi-  
 me celle de ma mere en Dom-  
 ano bleu enrouant et argent  
 la quatrieme en jeune et  
 argent l'estoit celle de mon  
 On la la voirie l'esquade  
 fubsc. A l'entree de la  
 Salle nous trouvames un ordre  
 pour chaque quadrille d'aller  
 point ce meler, mais que

Автограф редакции, посвященной барону Черкасову

Заглавие редакции имеет уточнение „записки, продолженные в 1791 г.“. Интересно, что и в этом случае ситуация повторяется. Барон Черкасов умер в 1788 г. На этот факт мало кто обратил внимание, несмотря на то, что в некоторых изданиях в указателе имен старательно и добросовестно указаны годы его жизни, титул и пр. Заключение, которое можно сделать, состоит в том, что или Екатерина опять использовала старую черновую редакцию и оставила посвящение, продолжив писать дальше, или просто текст был создан еще при жизни барона, т.е. самое позднее в 80-е годы. Так или иначе, ни один из обоих адресатов ранних вариантов не получил своей копии. В архивах их семей, а также других дворянских фамилий нет следов знакомства с текстом (Greenleaf 2004: 425). События, вошедшие в эту часть, начинаются там, где была прервана первая редакция: днем после свадьбы великокняжеской четы, и охватывают период до 1748 г. Эта часть наиболее „мемуарна“ и наименее „автобиографична“. Она изобилует многочисленными рассказами „о других“, содержит ряд портретов людей из окружения автора, сведения о них, даже сплетни.

Сразу же за редакцией, посвященной барону Черкасову, следует „третья часть“, у которой нет никакого другого паратекста. События в ней доведены до 1750 г. Я. Л. Барсков предполагает, что эта третья часть была написана не позже 1772 г. О том, что это черновая редакция, свидетельствует, по его мнению, содержание, в которое не вошли события 1751 г., рассказанные в последней редакции, опубликованной Герценом в 1858 г. (РТ: VII). Речь идет о самом скандальном эпизоде мемуаров, повествующем о романе Екатерины с Сергеем Салтыковым, предполагаемым отцом ее сына. Вывод, который не без основания делает Барсков, состоит в том, что „императрица, набросав все три части в 1771–1772 гг., приступила через 20 лет к их новой обработке“ (РТ: VII). Работу над последней по времени редакцией исследователи (В. Бильбасов, Я. Барсков) относят к более позднему времени, вероятно к 1794–1796 гг. (там же). Следовательно, условно можно говорить о ранней, первой редакции, состоящей из трех частей, которые предположительно были написаны в первоначальном варианте в

70-е годы и отредактированы в начале 90-х и в которых события излагаются в их хронологической последовательности, и второй, поздней, в которой изложение фактов снова начинается с пятнадцатилетнего возраста автора и прослеживает главные моменты в ее жизни до 1759 г. Именно эту редакцию опубликовал Герцен в 1858 г. В новейших публикациях по этому вопросу производит впечатление склонность исследователей рассматривать серию „неофициальных“, „черновых“ мемуаров (1756–1792: текст 50-х годов („ранние“ мемуары, „первая“ редакция), редакции Брюс и Черкасова („средние“), и „официальные“ автобиографические записки (1794–1796) (Greenleaf 2004; Hoogenboom&Cruse 2006; Крючкова 2009), которые императрица завещала своему сыну.

О том, какую редакцию текста сама императрица считала окончательной и осуществила ли она свой замысел до конца и не оставила ли свои записки „незаконченными“, свидетельствует факт, что сразу после смерти Екатерины, граф Ф. В. Ростопчин, разбиравший и описавший по распоряжению Павла секретные бумаги усопшей императрицы, нашел запечатанный пакет с надписью „Его Императорскому Высочеству, В. Князю Павлу Петровичу, моему любезнейшему сыну“. В пакете содержались, по воспоминаниям графа, два самых важных для матери нового императора документа: мемуары в редакции, изданной позже Герценом, и записка Алексея Орлова из Ропши об убийстве Петра III (Записки... 1990 б: V)<sup>11</sup>. Интересно отметить в этой связи, что пакет, о котором

---

<sup>11</sup> Заметка принадлежит А. И. Герцену. Граф Ф. В. Ростопчин – будущий губернатор Москвы и герой событий 1812 г., более известный современному читателю по роману Л. Н. Толстого „Война и мир“, был среди доверенных лиц Павла Петровича. Вызывает интерес также факт, что Ростопчин был родственником и одним из малочисленных близких людей ссыльной во времена павловского правления княгини Е. Р. Дашковой, одного из главных действующих лиц в „революции“ 1762 г. Граф даже посещал опальную княгиню в ее имени, где она отбывала ссылку. С именем Ростопчина связываются догадки об „утечке информации“ властям о тайной работе Дашковой над своими мемуарами.

О. А. Иванов оспаривает существование надписи на пакете: „Подлинная рукопись тетьего варианта Записок Екатерины II упомянутой надписи не содержит, хотя к ней отнесены пометы о вскрытиях пакета. Не отмечен подобный пакет

идет речь, явно был давно подготовлен, так как Екатерина II внезапно скончалась от инсульта, т.е. она не болела продолжительно, чтобы подготовиться к смерти, а ее конец наступил в каком-то смысле неожиданно. Это означает, что содержимое пакета считалось чем-то законченным и окончательным. Содержание пакета – „алиби“ Екатерины перед ее наследником по двум важнейшим для него вопросам: его рождение и отношения между родителями (автобиография) и как точно произошла смерть его отца (записка А. Орлова). Надо отметить, что оба документа двусмысленны по своему содержанию, аутентичность второго оспаривается современными исследователями (См. Иванов 2009, I; Крючкова 2013) и вряд ли достигли своей цели.

Поздняя редакция, помимо того, что является наиболее полной по своему содержанию, отмечена более сильным дидактизмом и философичностью, выраженном в передисловии к тексту, оформленном как „силлогизм“, посвященный важной в XVIII веке проблеме счастья. Он исполняет функцию важнейшего элемента поэтики любой автобиографии – „автобиографического пакта“ (термин Филиппа Лежена), который будет прокомментирован ниже. Повествование начинается в третьем лице, как-будто автор стремится придерживаться „летописной“ беспристрастности, характерной для русских мемуаров того времени<sup>12</sup> (один из известнейших образцов – автобиография Г. Р. Державина), но вскоре глагольные формы в 1 л. и в 3 л. ед. ч. начинают смешиваться, и после первых нескольких страниц мемуаристка переходит к привычному „я-повествованию“, в котором она писала в предыдущих вариантах воспоминаний. Императрица писала на половине страницы, оставляя другую половину пустой, и на ней она отмечала пункты

---

и надпись на нем в официальном цитированном нами выше документе о смерти Екатерины II. Не видел подобного текста Д. Н. Блудов, просматривавший по указанию Николая I секретные дела“ (Иванов 20076, II: 39; см. обсуждение этой проблемы – на с. 28–41).

<sup>12</sup> О зарождении и развитии русской мемуаристики в XVIII и первой половине XIX века и преобладающих в ней повествовательных моделях см. Тартаковский 1991.

плана записок. Наблюдаются также существенные различия в содержании, с точки зрения интерпретации отдельных эпизодов и характеристик разных лиц. Эти различия будут одним из основных предметов анализа, так как с ними, в большинстве случаев, связаны значительные изменения в идеологии произведения. Больше всего бросаются в глаза фрагменты, которые отсутствуют в прежних редакциях, – описание событий 1751 г. (любовная история с Салтыковым), участие мемуаристки в управлении Голштинией, ее роль в политической борьбе в России.

Далеко не последнее место в специфике автобиографии как жанра занимают проблемы, связанные с намерением автора издать текст (при жизни или после смерти), а также о выборе языка повествования. Проблема языка очень значительна в русской культуре XVIII–XIX веков, тем более, что в данном случае речь идет о тексте, автором которого является женщина. Литературным женским языком в России в XVIII и первой половине XIX века, как это хорошо известно, был французский. Ему оказывалось предпочтение в эпистолярных жанрах и жанрах, связанных с внутренним миром человека, – дневниках, письмах, и, разумеется, мемуарах (см. Лотман 1994). В этом контексте Екатерина II не делает исключения. Как и другие писательницы эпохи, она пишет свою автобиографию по-французски. С другой стороны было бы неправильно считать, что эта особенность продиктована единственно конвенциями „женского“ письма. Выбор языка, притом самого распространенного в то время в Европе, *lingua franca*, объединяющего высшее сословие, независимо от каких бы то ни было границ, политических союзов и противопоставлений, еще раз доказывает ориентацию мемуаристки на возможную более позднюю публикацию текста и ее намерение автобиографией дополнить миф о себе, причем не только на русской почве, но и на международной арене. Французский язык, кроме богатейшего стилистического запаса, по сравнению с тогдашним русским литературным языком, позволял применение распространенной романной топики, что позволяло вызывать искомые ассоциации с известными романами, создать нечто вроде своеобразного кода, который мог бы удачнее передать



отправляемые послания будущим читателям. Для сравнения можно обратиться к редким случаям, когда русские мемуаристки (кн. Н. Б. Долгорукая, Анна Лабзина) пишут на родном языке, преимущественно ассоциируя с ним следование традиционным агиографским моделям. Цель их автобиографий – подчеркнуть пережитые испытания (у Лабзиной это духовный подвиг во имя веры (см. Вачева 2013в) и страдания (кн. Долгорукая). Выбор языка; презумпция, что в будущем автобиография могла бы увидеть свет, выраженная в посвящениях первых двух частей людям из окружения императрицы, которые, несмотря на близость к ней, все же не могли бы претендовать быть ее наперсниками, и отличающимся от обычных адресатов подобного рода сочинений; наличие „философского силлогизма“ в качестве вступления к поздней редакции (адресование текста престолонаследнику Павлу находится на сверхтекстовом уровне), говорят о новом отношении к мемуарному жанру, по сравнению с русской традицией. Ориентация на возможную будущую публикацию, хотя и отложенную во времени, находится в созвучии с западноевропейской мемуарной традицией<sup>13</sup>, у которой была многовековая история, но которая именно в то же время перетерпевала серьезные изменения, в результате которых обособился жанр литературной автобиографии как повествование о собственном духовном росте на фоне пережитых событий.

## **Автобиография как жанр и ее трансформации в записках Екатерины II**

### **Литературоведческие подходы к жанру**

Осознание автобиографии как специфического литературного жанра происходит во второй половине XX века. Процесс заметно ускоряется в 60-е – 70-е годы. До тех пор автобиография рассма-

---

<sup>13</sup> Многие исследователи отмечают, что ориентация на публикацию не характерна для русской мемуаристики XVIII века (Пекарский, А. Н. Пыпин, С. С. Дмитриев, А. Г. Тартаковский). В какой-то мере это объясняется фактом, что до совсем недавнего времени русской культуре не было известно понятие об авторстве (Тартаковский 1991: 95–96).

тривалась как паралитературный жанр, основывающийся на документальных свидетельствах о прошлом и представляющий собой своего рода автопризнания, объясняющие жизнь того или иного лица. До этого в литературоведении еще не делались попытки выделить и разграничить этот жанр из мемуаристики. В русской культуре до недавнего времени и мемуары, и автобиография были объектом больше исторического и социологического интереса, а литературоведы в общем использовали автобиографические тексты как биографический источник о творчестве определенного автора. Значительно меньшим объектом внимания была техника построения рассказа, поэтика текста в целом, литературная интерпретация фактов.

В последнее десятилетие гендерные исследования женской автобиографии в России поставили вопрос о литературоведческом прочтении русских автобиографических текстов.

\* \* \*

Описания автобиографии как жанра в западном литературоведении после Второй мировой войны находят место в трудах Уейна Шумакера, Роя Паскала, Джеймса Олни, Уильяма Спенгемана, Жоржа Гусдорфа, Стивена Шапиро, А. Флейшмана, Элизабет Брюс (Shumaker 1954; Gusdorf 1956; Pascal 1960; Spengemann 1980; Bruss 1976; Olney 1980; Fleishman 1983). Если обобщить, можно установить существование трех национальных школ в осмыслении истории жанра: немецкой, выводящей его существование от античности; английской, которая ищет начало автобиографии в Средние века и конкретно в „Исповеди“ св. Августина и религиозной протестантской автобиографии; французской, связывающей начало современной (в смысле Нового времени) автобиографии с „Изповедью“ Жан-Жака Руссо. Однако, французская школа вовсе не отрицает „предысторию“ жанра, восходящую к св. Августину.

Самая популярная сегодня точка зрения принадлежит Филиппу Лежену, автору ряда исследований разных аспектов жанра (Lejeune 1971; 1975; 1978). Отдельные аспекты автобиографиче-

ского рассказа привлекают внимание Поля де Маня, Жерара Жеттета, Цветана Тодорова, Жана Старобинского. Большое значение для понимания поэтики автобиографии в свое время имели дискуссии с участием ряда ведущих теоретиков и знатоков мемуарной литературы, проведенные *Revue d'histoire littéraire de la France* (N6/1975) и *Modern Language Notes* (NN4, 5/1978). Все эти работы стали важной вехой в теоретическом осмыслении жанра в 70-е годы XX века. Сравнительно новым теоретическим исследованием автобиографии как жанра является книга Жака и Элиан Лекарм (*Lecarme&Lecarme-Tabone* 1997). Авторы обобщили накопленный опыт в осмыслении жанра разными школами – национальными, феминистскими, психоаналитическими и пр. Предметом рассуждений являются также противоречия, специфика прочтения автобиографии отдельными учеными, колебания в отношении точности формулировок, терминов и пр. Объектом внимания Лекармов являются преимущественно тексты XX века (как попадающие в русло классической автобиографии, так и более новые формы и носители – кино- и телефильмы, интервью в медиах, своеобразные эпилоги – объяснения после уже состоявшейся публикации (книжной или электронной). Авторы не пренебрегают также известнейшими текстами, созданными в XVIII–XIX вв. (автобиографии в строгом смысле слова).

80-е годы XX века поставили проблему женской автобиографии как специфической и равноценной формы жанра, хотя она и раньше привлекала внимание критиков в связи с проблемами эмансипации женщин и женского авторства. Вполне естественно, что тексты, написанные женщинами, были объектом интереса со стороны феминистской критики. В то же время, многие исследователи, далекие от феминизма, признают, что автобиография сильно нагружена гендерной проблематикой<sup>14</sup>. Женская автоби-

---

<sup>14</sup> См., например, параграф „Autobiography: engendered text“ и всю часть „Woman's Story and the Engenderings of Self-Representation“ в книге С. Смит *A Poetics of Women's Autobiography* (1987) (Smith 1987: 44–63), статьи в сборниках „Women's Autobiography“ (Estelle Jelinek ed.), Blomington, 1980; „The Femal Autograph“ (New York Literary Forum, 12–13), New York, 1984; „Writing and Sexual

ография по возрасту соперничает с текстами, созданными мужчинами, хотя в количественном отношении ее доля невелика. В отношении изученности, автобиографии женщин также находят меньше места в научных исследованиях. В самых серьезных трудах по истории и поэтике рассматриваемого жанра или не встречаются женские имена, или авторы ограничиваются религиозной автобиографией св. Тереза из Авилы и несколькими другими известными дамами, преимущественно англичанками. Долгое время написание автобиографии женщиной, как, впрочем, и женское литературное творчество вообще, сталкивалось с предрассудками, считалось скандальным или же неполноценным. Даже в Англии – стране с классической женской литературой, где современный вариант жанра начинает постепенно формироваться в конце XVII века, в период XVII–XVIII веков едва 10% текстов были созданы женщинами (Pomerleau 1980: 21). Что же касается установленных различий между мужскими и женскими автобиографическими рассказами, то очень мало из них находятся в сфере поэтики. Различия коренятся в отражении в текстах социокультурных представлений о ролях мужчин и женщин в обществе, в осознании норм и осмыслении собственной идентичности с точки зрения социальных проявлений пола. Теоретики женского письма отмечают типичные нарративные стратегии писательниц – манипуляции идентификациями между автором и повествователем, отношением к читателю, а также памятью (Kegan Gardiner 1982: 179); большее внимание на тело и физиологические состояния (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 95–97). В женских текстах уделяется также больше внимания отношениям героини с родителями, причем специально обговариваются отношения с матерью (покровительницей, враждебно настроенной или отсутствующей в жизни дочери) и отношения с отцом, опыт материнства и пр. Последние два аспекта практически комментируются большинством теоретиков женской автобиографии.

---

Difference“ (Elizabeth Abel ed.), Chicago, 1982; „Women’s Writing: a Challenge to Theory“ (Moira Monteith ed.), Brighon, Harvester Press, 1986, часть о женской автобиографии в книге Э. и Ж. Лекарм (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997) и пр.

Большое значение для понимания настоящей сути женской автобиографии имеют следующие основополагающие идеи феминистской критики: „Женская идентичность является процессом, а первичная идентичность женщин – гибче и относительно, чем идентичность мужчин. Женская гендерная идентичность стабильнее, чем мужская. Женские идентификации в детстве менее предсказуемы, чем мужские. Женские социальные роли более незыблемы и менее варьирующие, чем мужские. Женское соответствие мужскому кризису идентичности может развиваться более диффузно, пройти через разные стадии, или не проявиться видимо. Все это дает основания говорить о комплексном взаимодействии между женским идентификационным опытом и мужскими парадигмами человеческого опыта“ (Kegan Gardiner 1982: 184). Внимательный анализ особенностей автобиографических текстов, созданных женщинами, и накопление значительного опыта в этом анализе ведет к возникновению вопросов типа, знаем ли мы на самом деле, что же такое „мужская“ автобиография (Савкина 2001: 43–44)?

Большую роль в понимании настоящей сути жанра имеют труды, посвященные взаимодействию художественных систем автобиографии и романа. В данном случае это работы, в которых анализируется творчество романисток или же рассматривается специфика женских персонажей и амплуа в романах (например, Fauchery 1972; Meyer Spaaks 1976; Miller 1991; 1995; Lancer 1992; Stewart 1993; *Fictions in Autobiography* 1985).

\* \* \*

Термин „автобиография“ зародился в Англии около 1800 г. (Lejeune 1971: 9). Его изобретение свидетельствует, что семантика старого термина „мемуары“ уже не объясняла в достаточной степени все многообразие жанра. Рождение автобиографии означало совершенно новое явление в истории цивилизации, оно заявило о себе в середине XVIII века. Его суть состояла в осознании ценности отдельной личности и в попытке рассказать и опубликовать ее историю.

По мнению Лежена, жанр является одним из знаков трансформации понятия о личности, которая была связана с началом индустриальной цивилизации и приходом к власти буржуазии (Lejeune 1971: 10). Автобиография стремится целостно охватить индивидуальность в момент подведения итогов. Жанр предлагал новую концепцию индивидуальности, которая основывалась на персональной истории и получала объяснение своим развитием в детстве и юности. Результат этого действия – синтез собственного „Я“ (Lejeune 1971: 19).

Термин „автобиография“ медленно добивался гражданственности в других литературных традициях. Во Франции в середине XIX века об автобиографии говорится, как о жанре, свойственном английской и американской литературе, но не французской. Термин получает распространение едва тогда, когда во французской культуре новое явление, которое он обозначал, стало популярным. До этого, на протяжении века, не имело своего точного наименования во французском языке (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 7–8). Современная (модерная) автобиография является сравнительно новым феноменом. Ее возраст насчитывает немногим больше двух веков. Первым мастерским образцом жанра в Новое время считается „Исповедь“ (1782) Жан-Жака Руссо<sup>15</sup>. Дольф Ойлер сравнивает ее значение для истории жанра со значением Французской революции для общества: „Коротко говоря, „Исповедь“ Руссо для

---

<sup>15</sup> По мнению Лежена, „Исповедь“, которая написана между 1762 и 1770 гг., задает пять фундаментально новых аспектов в автобиографическом письме: 1) активное использование техник, характерных для романов в целях оживления прошлого, о котором не просто говорится, но которое воссоздается. Руссо пользуется всеми приемами рассказа от первого лица, чтобы установить сложную гамму отношений с читателем; 2) Руссо в поисках собственной идентичности не только сообщает то, что знает о себе, но для него работа над автобиографией возобновляет опознание самого себя; 3) Философ открывает роль детства в жизни человека как основу его личности; 4) Руссо ищет новую модель описания личности, учитывая сексуальность и проецирует ее не только в моральном и социальном плане, но также в интеллектуальном, т.е. то, что является предметом психоанализа; 5) Руссо одновременно вырабатывает проблематику и практику автобиографии (Lejeune 1971: 65–66).

истории автобиографии то, что 1789 г. для Истории: решительный и бесповоротный перелом“ (Oehler 1997: 121). В дискуссии, посвященной жанру, разгоревшейся на страницах RHLF, Ив Куаро вносит коррекцию в мнение Лежена. Для него 1782 г. является не началом современной автобиографии, а началом размежевания в автобиографическом письме (Coigault 1975: 937–953). По мнению Жоржа Мэ и без Руссо XVIII век стал бы началом современной автобиографии, даже если предположить, что обстоятельства могли бы быть иными (May 1978: 326).

Вопреки мнению современной критики о недавнем возникновении автобиографии как жанра, существует немало теоретических попыток в противоположном направлении. Историки жанра ищут его корни в античности и Средневековье. Представителем этой тенденции является Георг Миш, который опубликовал 7 томов автобиографий. Они включают всякого рода повествования автобиографического характера, независимо от того, каким образом автор рассказывает о себе (Misch 1949/1969). По Лежену, проблема дефинирования автобиографии как жанра связана с читательской аудиторией. С середины XVIII в. и в Англии, и во Франции появилась публика, которая интересовалась индивидуальностью, личной жизнью, описанной самим человеком. Это происходит на фоне массовой публикации мемуаров XVI и XVII веков, которые, однако, почти никто не читал (Lejeune 1971: 43). Именно тогда осознается ценность и уникальность опыта каждого, как и то, что у каждого – своя история развития. Автобиография открывает внутреннюю жизнь человека и выполняет еще одну важную функцию: она возвращает социальную стоимость личного переживания и показывает его другим. Жанр устанавливает новый тип отношений между автором и читателем, своего рода межличностное общение, посредником в котором становится текст (там же, 64). Эти особенности автобиографии как жанра устоялись не раньше конца XVIII века.

Идеи, высказанные Ф. Леженом, пользуются поддержкой большинства исследователей в последние три-четыре десятилетия, а его небольшой труд стал классическим в теории жанра. Со сво-

ей стороны, я бы прибавила, что выводы французского ученого подтверждаются также ситуацией в России, где в этот же период зарождающийся русский сентиментализм постепенно фокусировал внимание писателей и читателей на человеческой индивидуальности и его внутреннем мире. Трансформации происходят и в зародившейся с начала XVIII века русской мемуаристике.

### **История и эволюция мемуаров и автобиографии в России в XVIII веке**

По мнению выдающегося исследователя русской мемуарной традиции А. Г. Тартаковского, распространение жанра в России в последние десятилетия XVIII века объясняется европейским культурным влиянием, что нашло выражение в усвоении античных биографических традиций (переводы сочинений римских писателей, которые многократно переиздавались еще во второй половине столетия) и знакомстве с достижениями мемуаристики Франции, Англии, Италии. Распространение жанра в России происходит также в соответствии с возросшей образованностью дворянства. Тартаковский отмечает влияние романа, имитирующего мемуары (Тартаковский 1991: 27)<sup>16</sup>. Ученый обращает внимание

---

<sup>16</sup> Общие проблемы русской мемуаристики XVIII–XIX вв. рассматриваются в трудах А. Г. Тартаковского, Г. Е. Гюбиевой, Г. Г. Елизаветиной, М. Билинкиса, Н. Николиной, Е. Е. Приказчиковой, К. Херольд и др. (Тартаковский 1991; Гюбиева 1969; Елизаветина 1967; 1982а; 1982б; Билинкис 1995; Николина 2002; Приказчикова 2010; Herold 1998); о русской мемуарной традиции в целом и мемуарах XX века: Viatnikova-Prizel 1978; Garry Harris 1990 и др.). Сравнительно недавно был поставлен вопрос о русской женской автобиографии на фоне других автодокументальных жанров (дневников, писем) и в контексте развития русской женской литературы (Савкина 2001; 2007; Пушкарева 2000; Мамаева 2010). Е. Гречаная рассматривает ряд общих проблем автобиографических текстов на французском языке, принадлежащих русским аристократкам XVIII – первой половины XIX в. (Гречаная 1999; Gretchanaia 2004; Гречаная 2010). Одним из первых серьезных исследований на тему женской эго-литературы стала диссертация Ирины Савкиной „Пишу себя...“. Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века“ (2001), изданная позднее отдельной книгой (см. Савкина 2007). Автор рассматривает наиболее известные автобиографии русских женщин XVIII–XIX веков (Н. Б. Долгоруковой, Екатерины II, княгини Дашко-



также на влияние экстралитературных факторов (исторических событий, документов, например, Манифеста о вольности дворянской 1762 г.). В начале 60-х гг. XVIII века возросло чувство свободы у дворян, „которые заявляли права и на свою духовную автономию“. Рост сословного самосознания проявляется в „редкой для прежних времен остроте самоощущения личного достоинства“, которое отражается в автобиографическом повествовании (Тартаковский 1991: 59–60).

Ученый строит свою концепцию развития мемуарного жанра в России в XVIII веке на анализе 31 текста автобиографического характера (из 146 мемуаров того времени, достигших до наших дней). По мнению историка, автобиография – „самая развитая форма мемуаротворчества, с особой полнотой воплощавшая достижения мемуарной культуры“, которая получила заметное распространение в России лишь в последние десятилетия XVIII века (Тартаковский 1991: 38). Автор обращает внимание на такую специфическую для русской культуры проблему, как выражение личностного начала, которое определяет событийную и содержательные стороны автобиографических текстов. Он объясняет

---

вой, А. Лабзиной, В. Головиной, Н. Дуровой, С. Капнист-Скалон) на фоне других автодокументальных жанров (дневников, писем). Стремление охватить все эти тексты и жанры приводит, однако, к тому, что основная проблематика, связанная с автобиографией намечена в общем плане. Савкина учитывает важные поэтологические особенности текстов с точки зрения гендерных проявлений личности мемуаристок в отношении к общепринятым нормам, но, естественно, трудно ожидать исчерпания проблемы. Исследовательница ставит также важные методологические вопросы, применяя к русскому материалу аналитические стратегии, заимствованные у западного литературоведения.

В последние годы исследования русской мемуарной и автобиографической литературы становится все более популярным. Начинают исследоваться мемуарные памятники не только известных имен „большой“ литературы, но также тексты регионального масштаба, например, Урала, Сибири или же созданные маргиналами в отношении к этому жанру, характерного для аристократии, дворянства в целом и интеллигенции. Публикуются и комментируются воспоминания крестьян, купцов, духовенства и пр. При некоторых престижных университетах действуют лаборатории по исследованию эго-документов, поддерживающие свои сайты и находящиеся в активном сотрудничестве с подобными организациями в других странах.

влиянием национальной летописной традиции, отмеченным еще В. О. Ключевским, некоторые особенности зарождающейся русской мемуаристики в первой половине XVIII века.

Согласно другой русской исследовательнице – Г. Г. Елизаветиной, зарождающийся жанр воспринимался (но не столь читателями, сколь самими авторами) как продолжение традиций летописи (Елизаветина 1982б: 219). Такого же мнения придерживается А. Г. Тартаковский: „Они [мемуаристы, – А. В.] сознательно усваивали ее опыт, следовали ее старым канонам и веками складывавшимся приемам изображения действительности, стремясь вместить в них новое человеческое содержание, вызванное изменившимися общественными потребностями, ибо соответствующих им способов повествования русская культура еще не успела выработать“ (Тартаковский 1991: 43). Такой особенностью является „погодная“ структура рассказа – записи последовательно, по годам, произошедших событий, характерных для всех жизнеописаний аристократов и военачальников до 60-х годов XVIII века включительно, сохраняющих также общий тон летописного рассказа (Тартаковский 1991: 44).

Отличительная черта ранней русской мемуаристики – внимание авторов к внешним обстоятельствам их биографии. „Краткие, выдержанные в бесстрастно-отстраненных тонах отметки о родословии, предках, прохождении службы, парадах, маневрах, пожаловании чинов и наград, поездках за границу, посещения столиц, выходе в отставку, рождении и смерти близких, женитьбе и замужестве детей, наблюдения над погодой, эпидемиями, стихийными бедствиями, „достопамятными“ происшествиями перемешались в погодных „статьях“ событиями государственного, национального масштаба, касающимися войн, дипломатических акций, перемен на престоле, особ царствующего дома, знаменитых политических деятелей и т.д.“, – обобщает А. Г. Тартаковский (Тартаковский 1991: 45). Ученый комментирует не только содержание, но также повествовательную структуру ранних мемуаров: „внутри погодных „статей“ часты поденные заметки дневникового происхождения с точными указаниями месяца, числа, когда произошло то

или иное событие<sup>17</sup>, записываются иногда происшествия, произошедшие буквально за день, а датировка часто дается по старому и новому летоисчислению<sup>17</sup>, что опять-таки придает сходство с летописанием (Тартаковский 1991: 45-46).

Тартаковский обращает внимание на факт, что свойственное многим мемуаристам XIX века чувство исторической дистанции между автобиографическим повествованием и описываемой в нем эпохой не было характерно для жизнеописаний XVIII века. В отличие от более поздних автобиографических записок, которые обычно создаются как однократный акт (в конце жизни автора или вскоре после описываемых событий), ранние мемуары писались регулярно, каждый год, на протяжении длительного времени и таким образом воспроизводился сам процесс летописного повествования (там же, 47)<sup>18</sup>.

Г. Е. Гюбиева, а позже с ней соглашается и А. Г. Тартаковский, отмечает, что беспристрастный тон отвечал духу петровской эпохи и близких ей десятилетий, когда принцип „государственного служения“ является основополагающим в системе общественных ценностей, в бытовом поведении людей и ежедневной практике. В литературном отношении на мемуаристику влияет классицизм, который выражал мировоззрение дворянских кругов, выходцами из которых было старшее поколение русских мемуаристов XVIII века. Культ гражданских добродетелей и отказ от личного начала препятствовали раскрытию индивидуального самосознания, ха-

---

<sup>17</sup> В России до введения в 1700 г. нового календаря и летоисчисления от Рождества Христова Петром I, использовалось летоисчисление от сотворения мира.

<sup>18</sup> Автор отмечает устойчивость летописных моделей повествования в русской мемуаристике, которые особенно сильно проявлялись в мемуарных жизнеописаниях в 1700–1760-е годы и давали о себе знать до конца столетия. Они оказываются живучими даже после 1812 г., который положил начало новому этапу в развитии духовной жизни русского общества (с. 53). Представляет интерес, как эволюирует отношение к этой модели повествования. Постепенно летописный тип рассказа уходит из практики аристократии и образованного дворянства и продолжает бытовать в провинции, в „низовой“ в культурном отношении среде – мелкопоместном и служилом дворянстве, у провинциального купечества и духовенства (с. 51).

рактера, частной жизни людей (там же, 48–49). Влияние классицизма, по мнению Гюбиевой, было определяющим. В мемуарах середины века „следование долгу предполагало чуть ли не отказ от собственной личности“ и „признание государственной службы единственной формой ее проявления“ (Гюбиева 1969: 7–8). По мнению исследовательницы, это было характерно для всего XVIII века. Даже в поздних записках встречается „некоторая сухость, односторонность“ и „повышенное внимание к военной и государственной проблематике в ущерб личной“ (там же, 11–12).

Переход от летописной модели повествования к сюжетному и связанному мемуарному рассказу с выдвиганием на передний план личности мемуариста, совершается, по мнению Тартаковского, в переломные для русской культуры 60–70-е гг. XVIII века, когда становится заметным рост самосознания дворян и чувство независимости и личного достоинства личности. В эту эпоху не древность рода, а заслуги самого человека, его добрые дела и успехи на общественном поприще стали определять его ценности (Тартаковский 1991: 58–59). Это предпосылки возникновения в 60–70-е годы автобиографий с последовательным сюжетным рассказом автора о себе и своих близких. Повествование уже не зависело от хронологии событий, „не от того, как было, а от того, как вспоминалось“ (там же, 61). Расцвет личностного начала в русских мемуарных текстах ученый связывает с влиянием на сентиментализма в последней четверти века и предпочтением, которое отдавали сентименталисты „неканоническим видам литературы“ – дневникам, письмам и др., и их стремлению к занимательности. Все это сказывается на композиции текстов, использовании „романных“ заглавий, которые могли бы привлечь читательское внимание (там же, 69).

Вполне резонны наблюдения Г. Г. Елизаветиной о „пульсации“ в развитии мемуарных жанров, а также „волн“ читательского интереса к ним (Елизаветина 1982а: 147). Иллюстрацию правоты этого заключения можно увидеть в многочисленных изданиях и переизданиях эго-литературы и метатекстах на русском языке (оригинальных и переводных), изданных в последние два с половиной десятилетия.

Расширенный обзор формирования и особенностей мемуарного жанра в России и Западной Европе позволяет представить фон, на котором создавалась автобиография Екатерины II, в поэтике которой сочетаются черты, свойственные как западной, так и русской мемуарной традиции.

## Поэтика автобиографии

Длительное время автобиография была подвержена предрассудкам. Жанр считался „легким“, являлся данью суете автора, документалистикой, которая не считалась искусством в отличие от романа, который есть произведение искусства (Lejeune 1971: 8). Это обстоятельство придавало автобиографии двусмысленность, которая тем более характерна для русской литературной историографии или скорее для метаописаний мемуаров и автобиографии в России. Главная проблема в традиционных метаописаниях жанра и на Востоке, и на Западе, – проблема искренности автора и достоверности сообщенных фактов. Ф. Лежен отмечает: „Цель автобиографии состоит не в том, чтобы рассказать, то что уже известно, а изобрести, найти правду о себе, что чуть сложнее, чем приводить милые воспоминания“ (там же). Двусмысленное отношение к жанру ведет к смешению, неточности и взаимозаменяемости в употреблении терминов „автобиография“, „мемуары“, в русском варианте можно добавить еще „записки“, „воспоминания“. Трудность ясного терминологического обозначения связана с тем, что не существует „чистой“ автобиографии, а в каждом тексте можно найти элементы сходных жанров – автопортрета, мемуаров (в смысле рассказа о событиях и лицах, современником или свидетелем которых был рассказчик, но без акцента на его личность), дневника, писем (иногда те, что покороче, могут быть целиком воспроизведены в автобиографическом тексте)<sup>19</sup>. Жорж Мэ считает,

<sup>19</sup> О сходствах и различиях автобиографии и названных жанров см: Ph. Lejeune. *Opposition avec les autres formes de la littérature intime* (Lejeune 1971: 32–41). Автор основывает свою теорию на следующих тезисах: для автобиографии характерна прозаическая форма в отличие от автобиографической поэмы. Наблюдаются известные совпадения с эпистолярными жанрами постольку, поскольку существуют

что мемуары и автобиография только теоретически различаются, а фактическое положение предлагает целый спектр между тем и другим, причем в подавляющей части текстов обязательно присутствуют два элемента: завещание и самораскрытие, варьирует лишь их доля (May 1979: 323). Также, как любой другой жанр, автобиография эволюирует во времени, а критерии литературной ценности текстов могут быть самыми разнообразными.

В своей второй книге „Автобиографический пакт“ („Le pacte autobiographique“, 1975), Ф. Лежен предложил следующую дефиницию жанра „автобиография“<sup>20</sup>: „ретроспективный рассказ в прозе, в котором реальный человек представляет свое собственное существование, акцентируя на свою индивидуальную жизнь и, в частности, на историю своей личности“ (Lejeune 1975: 14)<sup>21</sup>.

---

письма или серии писем автобиографического характера, а некоторые автобиографии пишутся в форме писем к определенному адресату (в русской литературе XVIII века такой повествовательной модели следует А. Т. Болотов, – А. В.). Автобиография, как история индивида, отличается от автопортрета, представляющего собой опыт самоанализа, который, однако, хронологически не последователен, а если в нем вообще есть какие-то генетические и исторические перспективы, они вторичны. Авторы часто практикуют оба жанра. Это мнение разделяет также исследователь жанра „автопортрет“ М. Божур, который также считает, что автопортрет отличается от автобиографии отсутствием последовательного рассказа и наличием парадигмы разнообразных „тематических“ элементов (Beaujour 1980: 83). В отличие от дневника, по Лежену, автобиография представляет собой ретроспективный и всеохватный рассказ, тогда как дневник есть квазисовременное повествование, прерывается, не имеет строго определенной формы. Автобиография часто опирается на дневник, в тексты вводятся отрывки из дневников. По мнению Лежена, в отличие от дневника, один и тот же человек может написать только одну автобиографию, независимо от редакций текста и интервалов во времени (с. 36). Автобиография возникла как разновидность мемуаров, в которых автор ведет себя как свидетель. Личностное начало в мемуарах выражено в индивидуальной точке зрения, но объект рассказа – история конкретных социальных и исторических групп, к которым мемуарист принадлежит.

<sup>20</sup> Лежен уточнил дефиницию жанра, данную в первой его книге „Автобиография во Франции“ (L'autobiographie en France, 1971).

<sup>21</sup> В „L'autobiographie en France“ (1971) автор рассматривает три категории факторов, сочетание которых создает критерии определения текста как автобиографии:

1. Форма речи: а) рассказ; б) в прозе.

Основной вопрос анализа автобиографического текста, определяющий особенности его поэтики, – *подбор документального материала*. Все исследователи жанра соглашаются, что невозможно рассказать всю жизнь. Лежен говорит об автобиографии как серии выбранных эпизодов, причем подбор однажды уже сделан памятью, кроме того мемуарист сам делает свой собственный отбор материала. Рассказываются и привлекаются эпизоды, находящиеся в прямой связи с главной линией в жизни рассказчика (Lejeune 1971: 21). „Оригинальность автобиографии проявляется в нарративных и в интеллектуальных структурах, в стиле рассказа, в его способности передать свое видение мира“ (там же, 46). Проблема подбора документального материала и способ его представить тесно связана с фундаментальной для жанра проблемой искренности рассказа. Все исследователи единодушно придерживаются мнения, сформулированного Леженом: не существует абсолютной истины в описываемых фактах и событиях, истина всегда субъективна; для автобиографии важна перспектива, через

---

2. Сюжет: индивидуальная жизнь, история личности.

3. Ситуация автора: а) идентичность автора, рассказчика и персонажа; б) ретроспективная перспектива рассказа (Lejeune 1971: 14).

В „*Le pacte autobiographique*“ (1975) внесены известные уточнения в соотношение автора – повествователя – персонажа в автобиографическом рассказе. Уточняется ситуация автора (реальная личность), который идентичен с повествователем. В вышеприведенную парадигму введен еще один, 4 пункт, касающийся позиции повествователя:

1. Форма речи: а) рассказ; б) в прозе.

2. Сюжет: индивидуальная жизнь, история личности.

3. Ситуация автора: а) идентичность автора (чье имя отсылает к реальной личности) и повествователя.

4. Позиция повествователя: а) идентичность повествователя и главного действующего лица; б) ретроспективная перспектива рассказа (Lejeune 1975: 14).

Высказанный и заново подтвержденный тезис об идентичности автора, повествователя и персонажа ставит ряд проблем: как выражается идентичность повествователя и персонажа в тексте (повествование от 1, 2 или 3 л. ед. ч.); как проявляется идентичность автора и персонажа-повествователя в повествовании от 1 лица (соотношение автобиография/роман); существует ли разница между идентичностью и сходством (соотношение жанров автобиографии и биографии) (там же, с. 15).

призму которой человек, достигший определенного возраста, рассматривает развитие и смысл своей жизни (там же, 28). Согласно французскому теоретику, парадокс автобиографии состоит в том, что автобиограф должен добиться этой невозможной искренности, используя все обычные инструменты фикации. Исследователь констатирует напряжение между „историзирующим“ желанием (стремлением к точности и искренности) и „структурирующим“ желанием (поиски целостности и смысла, выработка персонального мифа) в автобиографическом повествовании (Lejeune 1971: 85). Другой французский теоретик жанра Серж Дубровский, говорит об „автофикции“ (Dobrovsky 1988: 69). Это фикция, которая основывается на сугубо реальных фактах и событиях. Для этого французского писателя и автобиографа автобиографический образ похож на зеркальное отражение и отличается зыбкостью. Ж. Мэ в свою очередь подчеркивает, что автобиографическая истина отличается от исторической и научной, а это затрудняет формирование общеприемлемой теории жанра, которая бы сочетала рациональный анализ с объяснением иррационального опыта (May 1978: 331). „Каждая автобиография – произведение искусства [...]; она представляет нам персонаж, увиденный извне в его видимом поведении, а личность в ее интимности, не такой, какова она была или такой, какова она есть, но такой, какой она думает или хочет быть, или думает, что была [когда-то]“, – уточняет психологический аспект проблемы Ж. Гюсдорф (Gusdorf 1956: 120). Ученый рассматривает жанр как „второе прочтение опыта, более истинное, чем первое, так как оно осознанно“ (Gusdorf 1956: 114).

Один из важнейших аспектов автобиографического письма – его *зависимость от романа*. Автобиография в истории литературы рассматривается как вторичный феномен, зависящий от уже воспринятого романного письма. Близкое родство обоих жанров давно производит впечатление. Французский историк литературы Альбер Тибодет определяет автобиографию как „роман тех, из кого не получился романист, искусство тех, из кого не вышел художник“ (Thibodet 1936: 248; рус перевод Ю. Ткаченко по Лежен 2012. www). Лежен говорит о жанре, как частном случае романа (Lejeune



1971: 23). Связям романа и автобиографии посвящено огромное количество исследований, в которых анализируется взаимозависимость обоих жанров<sup>22</sup>. Лекармы говорят об „автобиографосфере“ („autobiographosphère“, Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 34). Ф. Лежен предлагает понятие „автобиографическое пространство“ („espace autobiographique“ (Lejeune 1975: 41–43) о точках пересечения между поэтикой романа и поэтикой автобиографии и их взаимной интерференции. По мнению исследователей, на практике нет разницы в повествовании в автобиографии и романе от 1 л. Интересно отметить, что первоначально роман имитировал ситуацию интроспекции, характерной для автобиографии, уже потом автобиография вторично воспринимает эту фикциональную имитацию рассказа персонажа о его жизни в 1 л. ед. ч. (Lejeune 1971: 46–47)<sup>23</sup>. О специфике автобиографического текста говорит реплика персонажа А. Мальро: „Ни правда, ни ложь, но прожито“ (Цит. по: Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 70). „Автобиография пережита, сыграна, перед тем как быть написанной“, обобщает в свою очередь Гусдорф (Gusdorf 1956: 122).

---

<sup>22</sup> Среди известных теоретиков литературы, занимавшихся этой проблемой, необходимо назвать Ж. Женетта и его „Фигуры III“ (Genette 1969), Поля де Мана, а из работ по теории автобиографии, помимо работ Лежена, надо назвать еще труды Роя Паскала (Pascal 1960), А. Флейшмана (Fleishman 1983), У. Спенгеманна (Spengemann 1980), Жоржа Мэ (May 1979), Е. и Ж. Лекарм (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997) и мн. др. В названных работах обязательно присутствует глава о романе от первого лица, рассматриваемого через призму автобиографии, или же в анализе жанра автобиографии уделяется внимание романам, написанным в форме мемуарного рассказа героя о себе, о днях своей юности.

Например, Спенгеманн рассматривает роман Диккенса „Дейвид Копперфильд“ как образец „поэтической автобиографии“ (Spengemann 1980: 119–132), А. Флейшман рассматривает также „Дейвида Копперфильда“ и роман Ш. Бронте „Виллет“ как образцы фикции в автобиографии и романе (Fleishman 1983: 189–235). Ряд специализированных исследований сосредоточиваются на взаимоотношениях обоих жанров (например, Hipp 1976; Fauchery 1972; Meyer Spaaks 1976; Stewart 1993 и др.).

<sup>23</sup> В „Le pacte autobiographique“ Лежен повторяет свой тезис: „Надо признать, что если мы останемся в плоскости внутреннего анализа текста, нет никакой разницы (между автобиографией и автобиографическим романом). Роман может имитировать, и часто это делает, все приемы, которые автобиография использует, чтобы убедить нас в аутентичности рассказа“ (Lejeune 1975: 26).

Основное различие между обоими жанрами состоит в том, что в автобиографии наблюдается **идентичность автора, повествователя и протагониста**. Мнение, высказанное Ф. Леженом в его определении жанра, разделяется большинством исследователей. Использование в некоторых случаях 3 л. ед. числа с целью придать большую объективность автобиографии, ученые рассматривают как частный случай, исключение, которое подтверждает правило и не может „вести в заблуждение“ читателя. По мнению Женетта, выбор лица повествования для автобиографа – „чисто грамматический и риторический“, тогда как „выбор романиста делается не из двух грамматических форм, а из двух нарративных позиций: [...] либо повествование будет вести один из „персонажей“, либо повествователь, сторонний в отношении к этой истории (Женетт 1998, II: 252–253). В „Fictio et Dictio“, рассматривая отношения между автором, персонажем и рассказчиком в „фактуальном“ (история, ораторское искусство, эссе, автобиография) и „фикциональном“ повествовании, Женетт отмечает, что полное тождество автора и повествователя, насколько такого можно добиться, является определяющим для фактуального рассказа, тогда как отсутствие тождества предопределяет наличие вымысла, т.е. такого типа повествования, в котором автор не несет ответственности за его правдивость (там же, 397). С этой точки зрения, по Женетту, „автобиография от третьего лица“ должна бы скорее соотноситься с фикцией, чем с фактуальным повествованием, но именно тогда отчетливо проявляются методологические недостатки грамматического понятия „лицо“. Женетт комментирует также такую особенность рассказа в автобиографии как „автовымысел“. Женетт считает, что в реальной повествовательной практике „мы должны будем признать, что не существует ни чистого вымысла, ни настолько строго исторического повествования, чтобы в нем не оказалось никакого „оформления интриги“ и никаких романических приемов; что оба режима, таким образом, отстоят друг от друга вовсе не так далеко, и каждый из них, со своей стороны, отнюдь не так однороден, как может показаться на расстоянии...“ (Женетт 1998, II:

405–406). Как видно из приведенных рассуждений, поэтологические проблемы автобиографии как жанра тесно связаны с ее отношением к роману, а также с фундаментальной для нее проблемой искренности и правдивости рассказа, т.е. о степени его фикциональности. Серж Дубровский корригирует в известной степени Лежена и считает, что полной идентичности автора и героя нет, а преобладает все-таки авторское „я“; автобиографическая „истина“ не является точной копией пережитого, а подлежит конструированию (Doubrovsky 1988: 67, 77).

По мнению М. Спринкера, дублирование „Я“ как повествователя (narrating I) и „Я“ как объекта повествования (narrated I) и раздробление второго на многочисленные речевые положения (speaking postures) определяет автобиографический процесс как риторический артефакт, а авторство как мифографию (цит. по: Smith 1987: 17). Сидония Смит подчеркивает особую фикциональность нарративного „Я“: „Так как автобиограф никогда не может охватить полноты своей субъективности или понять все измерение своего опыта, нарративное „Я“ становится фиктивной личностью“ (Smith 1987: 16).

### Автобиографический пакт

Важнейшим компонентом автобиографического повествования является „автобиографический пакт“<sup>24</sup>. Термин принадлежит Филиппу Лежену и находится в центре внимания его второй книги по поэтике автобиографии. Автобиографический пакт имеет прямое отношение к фундаментальному для жанра автобиографии вопросу о доверии читателя к автору. Под „автобиографическим пактом“ Ф. Лежен понимает свойственный жанру вступительный ритуал, состоящий из всякого рода извинений, предисловий, объяснений, почему автобиограф берется за перо. Цель такого вступления – установить прямую коммуникацию с читателем (Lejeune 1971: 72). Исследователи единодушно отмечают, что автобиография унасле-

---

<sup>24</sup> Термин используется в русском переводе Ю. Ткаченко, как максимально близкий к авторскому (Лежен 2012 www). Б. Дубин переводит термин как „автобиографическое соглашение“ (Лежен 2000 www).

довала ритуал пакта у мемуаров, в которых он был обязателен и объяснял намерения автора.

По мнению Жоржа Гюсдорфа, такой компонент является своеобразным механизмом защиты. Каждая часть пакта представляет ответ на предполагаемые упреки со стороны воображаемого читателя. В нем могут быть отвергнуты обвинения в суете и эгоизме; чаще всего выражается мотивация автора; чувство долга, которое заставляет его писать, несмотря на его скромность, его благородство, альтруизм, дидактизм (Lejeune 1971: 82–83). Часто автобиограф надевает маску ученого, педагога, апостола (там же, 83).

Интересную интерпретацию проблемы предлагают Э. и Ж. Лекарм. Они рассматривают автобиографию как своеобразный треугольник, в котором, кроме „Я“ автобиографа, присутствует также образ Другого (всех тех, кто изображен в тексте и интерпретация образов которых часто спорна) и Читатель в роли третьего партнера, без которого текст не существовал бы. „Сложные связи между нарратором-протагонистом, другими персонажами и читателем составляют материю, которая обсуждается в предисловиях от имени автора, как в мемуарах, так и в автобиографии“ (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 64). Из-за специфики жанра, который в большинстве случаев становится достоянием читателя, когда автора уже нет в живых, реакция последнего „императивно запрограммирована“, „столь императивно, что автор пренебрегает мнением реального читателя“ (там же).

Автобиография – „жанр повышенного риска“, поэтому в „автобиографическом пакте“ нет ничего случайного, потому что автор подвержен всякого рода недоразумениям, упрекам в нескромности, неблагоприятности, недискретности, эксхибиционизме и пр.“ (там же, 63).

По мнению Сержа Дубровского, „автобиография – жанр недемократический. [...] она для правителей, вожаков, гигантов, набобов“, а автор – „великий-человек-в-вечере-своей-жизни-и-на-высоте-своего-лучшего-стиля“ (цит. по: Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 53). В своих автобиографиях известные личности опровергают легенды, которые распространяются на их счет и стараются

восстановить правду о себе (Lejeune 1971: 82). В то же время они задают желанное направление мифам о своей личности во времени истории (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 76). „И если столько автобиографов мотивирует предпринятое ими начинание желанием исправить искривленный образ их личности, укоренившийся в сознании публики, то автобиография предназначена рано или поздно [...] стать публичным объектом, который можно найти в книжных магазинах, библиотеках или, по меньшей мере, в частных или общественных архивах“ (там же, 20).

Декларация намерений обычно располагается в самом начале текста, но это не всегда обязательно. Она может находиться в заглавии, в посвящении, в ритуальном предисловии, в заключительной заметке, где-то внутри текста. В наши дни для этой цели используются также интервью. Так или иначе такая декларация всегда налицо. Жорж Мэ анализирует психологические мотивы изложения намерений, а также недостаточность предоставленных объяснений: „Почти все прочитанные нами автобиографии излагают мотивы автобиографа в тот момент, когда он берется за перо. Во время чтения почти всегда становится ясно, что объяснений недостаточно: на самом деле автора подталкивают силы, которые он не осознает или старается замаскировать“ (May 1979: 40). Поэтому содержание автобиографического пакта часто подвергается проверке со стороны биографов и историков, которые обращаются к другим документальным источникам в целях установления настоящих намерений автора и степени достоверности его рассказа. Лежен справедливо называет автобиографический пакт „риторикой искренности“. Для него это „постановка („mise en scène“) письма“, в которой повествователь устанавливает два типа дистанции: он обращается, с одной стороны, к своему прошлому и, с другой стороны, к своему творчеству (Lejeune 1971: 73). Мэ рассматривает две группы побуждений, заставляющих автобиографа взяться за перо: рациональные (апология собственной личности (*apologie*) и желание оставить свидетельство о пережитом (*témoignage*), и эмоциональные (более иррациональные и менее осознанные, например, чувство уязвимости воспоминаний, тревогу о будущем,

желание обрести смысл утекающей жизни) (May 1979: 40–41). Исследователь допускает возможность смешения побуждений, из-за суеты автобиографа (там же, 60).

### **Автобиографический пакт в „Собственноручных записках“**

Как и в других образцах жанра, автобиографический пакт в записках императрицы Екатерины II имеет важное значение для понимания поэтики текста и закодированных в нем авторских посланий. Выше были рассмотрены особенности паратекста в редакциях, посвященных графине Брюс и барону Черкасову. Посвящения исполняют роль автобиографического пакта и задают в известной степени режим рассказа: сообщение любопытных фактов, случаев из жизни, портреты известных при дворе людей, воспоминания ранних лет. В них есть известная апология личности рассказчицы, пытающейся создать собственную мифологию (например, рассказ о предсказании трех корон, „написанных“ на лбу маленькой Софии-Фредерики) и пр. Мемуаристка, по-видимому, очень рассчитывает на намеки, недосказанность, знание обстоятельств близкими ей людьми. Смысл всего этого безвозвратно потерян для современного читателя. Хильде Хугенбум комментирует разговорность повествования в обеих редакциях и характеризует их, как письма о придворной жизни в стиле писем г-жи де Севинье, тогда как „официальные“ мемуары императрицы представляют, по мнению переводчицы, другой жанр – биографию великого человека (цит. по Савкина 2001: 63).

Поздняя редакция екатерининской автобиографии начинается в духе научного трактата. Первоначальная концепция этого варианта записок вообще подразумевает сочинение о качествах будущего государя. Тексту предшествует силлогизм:

Счастье не так слепо, как себе его представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:

Качества и характер будут большей посылкой;  
Поведение – меньшей;  
Счастье или несчастье – заключением.  
Вот два разительных примера:  
Екатерина II,  
Петр III (РГ–СРЗ, с. 467).

Этот вступительный силлогизм предназначен подчеркнуть рациональную основу образа автора как просвещенного монарха. Эту свою репутацию Екатерина ставила особенно высоко, особенно дорожила ею в старости. Одна из главных особенностей текста, которая задана приведенным выше силлогизмом, – подчеркнутая философичность. Основное послание поздней редакции связано с фундаментальной для европейской теоретической мысли XVIII века проблемой счастья. Причем высочайшая мемуаристка задается целью комментировать именно проблему счастья (и несчастья) государя как результат не столь его предопределенности по рождению, сколь как плод его последовательных усилий и работы над собой.

Необходимо обратить внимание на оригинал текста. Екатерина II использует слово „fortune“: „La fortune n'est pas aussi aueugle qu'on se l' imagine...“ (Екатерина II 1907, XII: 197). Оно имеет более обобщающий смысл, включает в себя значение судьбы. В XVIII веке для обозначения счастливого случая использовались также французские слова „chance“ и „hazard“, которые отличаются оттенком мимолетности, а во втором случае возможно подключение нотки трагизма (Kavanagh 1993: 1–2). В философской прозе эпохи Просвещения объектом осмысления является также „перевернутый случай“: ирония судьбы, даже ее жестокость (там же, 182). Очевидно, что императрица выбрала в качестве основного понятия для своего силлогизма судьбу, а не мимолетную игру случая, „счастья“. В этом смысле перевод несколько подводит читателя. В оригинале мемуаристка настаивает на отсутствие „слепоты“ судьбы и на счастье как более длительное и устойчивое состояние („fortune“), а не на „слепом“ случае, и недолговечности счастья,

значение, которого свойственно русскому слову, использованному переводчицей Н. П. Грот.

Вступительный силлогизм говорит о том, что последняя редакция автобиографии была задумана не только как апология собственной жизни, но и как трактат о воспитании и самовоспитании будущего монарха. Не случайно именно этот вариант екатерининских мемуаров адресован ее сыну<sup>25</sup>. Императрица сочела несколько

---

<sup>25</sup> Оригинальную версию относительно предназначенности поздней редакции мемуаров „непоправимо отчужденному“ сыну Екатерины предлагает М. Гринлиф. Исследовательница рассматривает нарративную стратегию императрицы в разных редакциях с точки зрения реализации ее взглядов на гендерные роли женщины в обществе, в том числе и своей собственной. В редакции 1771 г. Гринлиф видит апологию способности героини в создании сильного женского характера, обращает внимание на мотив физического и духовного роста молодой Екатерины. В какой-то степени этот подход, считает ученая, вдохновлен диалогом с французскими философами и благоприятным общественным контекстом, поощряющим феминистские ценности. Тогда как в поздней редакции, созданной в „постреволюционные“ (после Французской революции) годы во враждебной Екатерине общественной атмосфере, когда в общеевропейском масштабе набирала силу волна мизогинии, императрица предпочла, следуя идее автоцензуры в автобиографическом письме, проповедуемой Гердером, обратиться к традиционным представлениям, соответствующим также русской допетровской национальной традиции мужского преимущества во власти, во имя национального консенсуса и интереса семьи.

Высказанная теория не лишена интереса, но кажется искусственной. Действительно, согласно ряду новейших исследований, в годы Французской революции и после нее, в европейском контексте возросло восприятие Екатерины II именно в качестве женщины на троне (Hogenboom&Cruse 2006: XXXIV; Alexander 1989, главы 11, 12, эпилог; Cross 2001, главы 1, 3, 5). Это восприятие скорее было отрицательным, чем положительным, причем на него наслаивались некоторые черты одиозного образа Марии-Антуанетты. Но именно в поздней редакции екатерининской автобиографии наиболее убедительно и последовательно разрабатывается образ сильной женщины в соперничестве со слабым и недостойным мужчиной, хотя и обладателем династического права. При этом мемуаристка переосмысливает и меняет многие акценты в повествовании, которые она использовала раньше. В поздней редакции проводятся, как это станет видно из предложенного анализа, не руссоистские, а антируссоистские идеи, направленные против мизогинии женевского гражданина. Екатерина использовала в поздней редакции топик французского феминистского романа, чтобы выразить идеологию своей личности. В последней редакции содержатся также самые щекотливые подробности, волновавшие престолонаследника Павла касательно его происхождения. Тайна



традиций в мемуарном жанре и конкретно в жанре автобиографии. Это, с одной стороны, поучение к потомкам, свойственное как русской, так западноевропейской мемуаристике, с другой – в тексте развиваются идеи, характерные для философских трактатов того времени о воспитании принца и о воспитании девиц. Все это делается в занимательной форме рассказа о прожитой жизни, который переплетается с апологией собственной личности, выдвинутой как образец рационализма Просвещения.

Идея счастья была новой для европейской философской мысли в XVIII века (См. Delon 1997a: 165–167; Mauzi 1960; Роже 2003: 51). В ее защиту использовались не только философские трактаты, но также всевозможные жанры: поэмы („Поэма о разрушении Лисабона“ Вольтера и поэма „Счастье“ Гельвеция), романы („Кандид“ Вольтера), философские сказки, нравоучительные истории

его рождения так и не была раскрыта. Причина этому, как и адресование ему текста, – далеко не страх скандальной славы (Екатерина до конца своих дней очень спокойно относилась ко всякого рода анекдотам о своей интимной жизни, она даже запрещала цензурировать такого рода сочинения), а дидактический заряд, который несет ее текст: противопоставление обоих примеров поведения правителя, которые символизировались обоими родителями Павла – обожествляемый им отец, но недостойный государь, и нелюбимая, ненавистная (и непонятая) мать, которая, однако, по словам самой Гринлиф, „дала свое имя целой эпохе“ (там же, 426). Имея ввиду игру посвящениями, которую Екатерина проводит в обеих более ранних редакциях, вряд ли можно полностью согласиться, что „ее позитивным антидотом против обвинений в двуличии, лицемерии и преступлении являются искренность и неформальность [в смысле оригинальности, – А. В.] ее автобиографического голоса“ (там же, 425) и что „в конце Екатерина порывает свой союз со сферой рекламы и посвящает свои мемуары семье и национальному интересу“ (там же, 426). По-моему, как это станет видно дальше, верна лишь последняя четверть этого утверждения (интерес семьи и национальный интерес), но Екатерину менее всего можно „заподозрить“ в искренности и отказе от рекламы. Гринлиф справедливо отмечает, что „ее импульсом, одновременно артистическим и „макиавеллистским“, было всегда „нравиться“ воображаемому читателю, прочтение мемуаров которому она заранее стремиться направить („even while she shaped his or her way of seeng“) (там же, 425). Адресуя, следуя традиции, рукопись поздней редакции сыну (после ее смерти он уже не будет соперником за власть), она может дать ему свой последний урок государственности, но в то же время она на самом деле рассчитывала, по словам американского историка, на возможность архивов хранить тайны для потомства“ (там же).

и даже непристойные новеллы (Роже 2003: 52). Идея связывалась с освобождением человека религиозных догм, прежде всего от догмы первородного греха; „стремление к счастью утратило важный элемент – идею наказания-награды в загробной жизни“ (Роже 2003: 54, 57). Идея счастья отстаивала право личности быть индивидуальностью. Это не исключало принадлежность к определенному сообществу, но акцент ставился на самостоятельную ценность человеческого существа, на его право на удовольствие и радость жизни, заботиться о своих интересах, утверждать себя в поисках собственного удовлетворения (Delon 1997a: 165)<sup>26</sup>. Особенно важны в этой связи взгляды, хотя и противоречивые, некоторых философов, среди которых Шафтсбери и Дидро, об отождествлении счастья и добродетели, как и о балансе между личным счастьем и вкладом человека в общее (общественное) счастье (Delon 1997a: 165; Роже 2003: 57). Настоящее счастье состоит в отрицании эгоизма, а также самоцельной, „совершенно асоциальной погони за наслаждением“ (Роже 2003: 55–56). Считаю, что именно смысл составленного Екатериной II философского силлогизма о сущности счастья как сочетания личных интересов и добродетелей с общественным (национальным) интересом – одна из основных линий в апологетике автобиографии императрицы. Это как нельзя лучше проявляется в публицистических посланиях екатерининской автобиографии. Тема счастья была важна для русской императрицы еще по одной причине. Ее можно понять в контексте вечного соперничества Екатерины II с Фридрихом Прусским, „который часто называл ее „счастливницей“, намекая на то, что ее судьба – следствие слепой удачи“ (Крючкова 2009: 314). А. Трачевский цитирует другое сходное по смыслу высказывание прусско-

---

<sup>26</sup> По мнению автора, эта идея имела огромное значение как для образования молодежи, так и для развития медицины, а также для развития некоторых социальных механизмов, позволявших поиски лучшей и более комфортабельной жизни для непривилегированных классов общества, для преодоления религиозных и традиционных предрассудков. По Делону, вопрос о счастье показателен для противоречий и напряжения между разными философскими идеями о человеке и обществе в антропологических теориях Просвещения (Delon 1997a: 166).

го короля: „Екатерину Фридрих иначе не называл тогда [1782 г., – А. В.], как „великою вседержавною повелительницей (grande pantocratrice), которая не дает дороги Провидению и будет предписывать деспотические законы потентатам нашей планеты“ (Трачевский 1877: 229). Делом чести для императрицы было доказать, и в русском, и в европейском масштабе, что ничего случайного в карьере одного из ведущих европейских политиков нет, а все ее успехи были закономерным следствием ее качеств, усилий и труда. Судить об этом она предоставила потомству.

Страсть Екатерины к силлогизмам, несвойственная для мышления дамы XVIII столетия<sup>27</sup>, коренится в ее молодости, когда великая княгиня активно занималась самообразованием, читая, наряду с другими серьезными работами, четырехтомный „Философский и критический словарь“ Бейля. Этот огромный труд, увидевший свет в 70-е годы XVII века, считается и по своей структуре, и по тому воздействию, которое он оказал на развитие европейской философской и политической мысли эпохи Просвещения, предшественником „Энциклопедии“. Он является синтезом достижений древности и Нового времени в осмыслении природных законов (части „Физика“ и „Метафизика“), истории, философии (с акцентом на логику, психологию, этику<sup>28</sup>). В „Словаре“ Бейля читатель мог найти как сведения об актуальных произведениях современности

---

<sup>27</sup> Показателен случай с матерью Фридриха Великого, отмеченный в маргинальной заметке Екатерины на полях биографии прусского короля аббата Денина. Ученый аббат отмечает, что отец Фридриха II, король Фридрих-Вильгельм читал чаще всего словарь Бейля. „Он так часто говорил о словаре, что крон-принцесса, его супруга, пожелала также прочесть его и она поручила одному пастору французской колонии отметить для нее те места, которые честной женщине можно читать безопасно“. На полях против этой, казалось бы, лестной характеристики интересов высокопоставленной дамы, Екатерина отметила: „Ну, что же! Я его читала и не нашла там ничего другого, кроме весьма философского духа, и мне показалось, что в нем нет ничего такого, чего не могла бы безопасно читать честная женщина. Тем не менее я дивлюсь такому чувству принцессы и должна признаться, что мне подобная мысль не приходила в голову; о дурном я никогда не думала“ (РТ: 687–688).

<sup>28</sup> „Système abrégé de philosophie, en quatre parties, La logique, la morale, la physique, la métaphysique“ (Bayle 1966, IV).

автора (рубрика „Nouvelles de la République des Lettres“ в т. I), так и рекомендации о полезных развлечениях, богато проиллюстрированные положительными и отрицательными примерами из жизни известных исторических личностей. Помимо этого, в словаре Бейля, который, по-моему, был спутником русской государыни не только в скучные и одинокие два года (1751–1752). Тогда, по ее утверждению, одолевала по одному тому за полгода<sup>29</sup>. Дума-

---

<sup>29</sup> В этой связи необходимо прокомментировать встречающиеся иногда иронические намеки о скорости, с которой молодая Екатерина одолевала четыре огромных фолианта Бейля, напечатанных самым мелким возможным шрифтом. Некоторые современные авторы высмеивают быстроту, с которой великая княгиня образовывала себя, но не надо забывать, что идет речь о совсем другой эпохе, когда традиционное женское воспитание, какое получила и будущая императрица, включало преимущественно усвоение светских умений. Сам факт упорного чтения этого текста, сложного для „неспециалиста“ и особенно женщины, рассчитывавшей только на стихийное и никем не направляемое самообучение, заслуживает уважения, а не пренебрежения. Этот словарь был своеобразным „университетом“ русской государыни. Видно и по ее делам, и по ее жизни, и по ее общению с философами, и, в конечном счете, по тексту ее автобиографии, что штудирование этого труда не прошло для нее бесследно. Тем более, считаю, что она многократно за свою жизнь обращалась к этому источнику мудрости и знания, особенно в сложные и трудные для нее моменты. Вполне вероятно, что молодая Екатерина, будучи все еще недостаточно подготовленной читательницей, просматривала словарь так, как это предполагает один из ее самых популярных биографов – К. Валишевский: „Что касается „Словаря“ Бейля, трудно себе представить, какое впечатление произвела подобная книга на читательницу двадцати двух – двадцати трех лет; первый том его она прочла в 1751 г. Екатерина уверяет, что она прочла целиком все четыре тома in-folio, в которых этот предшественник энциклопедистов излагает результаты интеллектуальной культуры своей эпохи. Но, не зная ни греческого, ни латинского языка, она, по-видимому, должна была пропустить многочисленные цитаты, которые составляют у Бейля добрую половину его труда. Присоединим к ним еще четвертую часть, посвященную религиозным спорам и философским диссертациям, в которых она вряд ли что-нибудь поняла. Она, вероятно, лишь пробежала остальное, так как трудно читать словарь, в обыкновенном смысле этого слова. Она, может быть, там и сям почерпнула кое-какие понятия, которыми и воспользовалась впоследствии. Доктрина о народовластии, смело выдвинутая автором, имела, по-видимому, некоторое, хотя и мимолетное, влияние на ее суждения и вдохновила ее первые законодательные попытки, хотя она и не сочла нужным „согласиться с Бейлем, что короли большие мошенники“. Но все же ее

ется, что и позже она находила в нем идеи для своих будущих действий.

Вступительный силлогизм на тему „счастье“ задает некоторые особенности поэтики текста поздней редакции, которых императрица строго придерживается в начале повествования. В первую очередь это „научный“ и „беспристрастный“ характер изложения, которое, по первоначальному замыслу, должно было быть организовано по главам – детальным портретам лиц, составляющих оба полюса силлогизма. Таким образом, текст, начинающийся очерком о Петре III, теряет как бы свой автобиографический характер. Сама повествовательница на первых страницах говорит о себе в 3 л. в начале (это первые три страницы печатного текста). Оригинал представляет собой тетрадь, исписанную по вертикали, причем текст занимает половину страницы, а на пустой половине введены рубрики, которые ясно маркируют план рассказа, и годы

---

поразила мысль, что „правила управления несовместимы с самой щепетильной честностью“ (Валишевский 1989: 69–70). Основание для такого вывода дает мне содержание статей Бейля типа „Принц“ и „Принцесса“, а также обсуждение этических проблем супружеских и любовных отношений высокопоставленных особ: недостойно ли, чтобы принцесса доверила кому-нибудь бессилие своего супруга (Bayle 1966, III: 635); возможно ли извинить мезальянс во втором браке королевы (Bayle 1966, III: 689). Совет Бейля состоит в том, чтобы по мере возможности не допускать мезальянс, или же, чтобы выбрать меньшее зло, второй брак должен остаться тайным и только в совсем крайнем случае о нем оповестить, это лучше, чем вступать в нелегитимные любовные связи) и пр. Нельзя сказать, чтобы Екатерина всегда считалась с мнением французского философа, но, по всей видимости, его суждения были для нее поводом для размышлений именно в житейском плане, когда высокое общественное положение требовало соответствующих действия в регулировании личных отношений. Кроме того, в словаре Бейля есть сведения не только об известных мужчинах в истории – героях и философах, но также о замечательных женщинах. И если верность мифической Пенелопы не была характерна для русской императрицы, то амбиция и риск взять на себя мужскую роль, как папесса Иоанна, вне сомнения были поводом для размышлений и восхищения. Так или иначе, права Гина Каус, отмечая: „Она затрачивает на это целых два года, но это не даром потерянное время: фундамент ее общего образования заложен, в душу Екатерины заброшено семя, которое принесет богатые всходы, – критический подход ко всему традиционному, общепринятому“ (Каус 2002: 99).

событий<sup>30</sup>. Эти текстологические особенности воспроизводятся в добротных научных изданиях текста. Примечательно, что этих рубрик, после начальных нескольких страниц, становится все меньше, а к концу текста они вовсе исчезают.

В содержании поздней редакции также наблюдаются существенные отличия. Из первоначального варианта 1771 г. пропущены все генеалогические подробности, воспоминания о детстве и воспитании, о путешествии в Россию, подробности о встрече при русском дворе юной Софии-Фредерики и ее матери и пр. Само повествование начинается очерком о происхождении Петра III и конспективно излагаются обстоятельства его юных лет и воспитания, тогда как в ранней редакции достаточно обширно говорится о его несчастном детстве. Основной сюжет рассказа – развитие взаимоотношений молодых супругов. Вступительный силлогизм задает одну из основных сюжетных линий в Екатерининской автобиографии – постоянное противопоставление и своеобразное соревнование между ними. Американский историк Джон Александр обращает внимание на одинаковую позицию в России обоих супругов (троюродных брата и сестры, которым соответственно 16 и 15 лет): „Фактически Петр и София имеют много общих проблем, Они должны быстро адаптироваться к чужой им стране и культуре, питать благорасположение императрицы, обладающей переменчивым характером, которая постоянно чувствует себя жертвой предательства; отсутствие родительских напутствий и эмоциональной поддержки, страсти и легкомыслие юношеского возраста – все эти трудности тогда связывали обоих кузенов“ (Alexander 1989: 26). Согласно силлогизму, Петр должен иллюстрировать отрицательный пример воспитания принца, а собственная личность Екатерины – успех, достигнутый в результате счастливого сочетания ее качеств, характера и поведения. Претензии на беспристрастность и выбор „нейтральной“ формы повествования, оформление текста в отличие от повествования от первого лица в ранних вариантах автобиографии, имитируют научный дискурс

---

<sup>30</sup> Интересное обращение к русской „летописной“ традиции и характерным для нее погодным записям.

педагогических и философских трактатов. По этой причине характерная для более ранних автобиографических материалов романная топика сведена до минимума и изложение начинается сухо и „объективно“. Акцент падает на отрицательные стороны детства и воспитания маленького Петра. Отсутствуют также эпизоды, в которых юная Екатерина выказывает известное сочувствие к рано осиротевшему троюродному брату, а позже к своему жениху, а также зарождения известной симпатии и близости между ними. Для автора уже важна именно позиция „равного старта“ обоих. Устранение использованной перед тем в ранних редакциях романной топика имеет целью уменьшить роль счастливого стечения обстоятельств, фатума<sup>31</sup>, и подчеркнуть личный вклад автобиографа в самовоспитание, лепку своего характера и создание блестящей политической карьеры. Екатерине не были чужды элементы поведения характерного для XVIII века типа авантюриста<sup>32</sup>. Она

---

<sup>31</sup> Практическое чутье Екатерины-государственного деятеля и твердое убеждение, что богатств и счастья надо добиться прежде всего собственными усилиями, находят место в запрете провести в России лотерею. Идея принадлежала Джакомо Казанове, который пребывал в поисках счастья в России. Инициатором другой лотереи выступил Пьер Бомарше, который также претерпел неудачу в этом начинании. В то время лотерея воспринималась как своеобразная модель судьбы, „случая“; ее гарантом выступало государство, извлекая определенную пользу для казны, пользуясь доверчивостью населения. „Думается, что подобное отношение объясняется не только презрением к организованному надувательству, но и стремлением императрицы сохранить личные отношения с подданными, нежеланием ассоциироваться с механическим колесом Фортуны. Ей хотелось, чтобы про нее говорили, что она обогащает, а не разоряет подданных“ (Строев 1998: 198, 200).

<sup>32</sup> Александр Строев исследует этот социально-психологический тип на основе биографий двух десятков известных искателей славы, богатства, почестей, авторов экономических и социальных проектов, самозванцев, обыкновенных мошенников, большинство которых, однако, были литераторами и строили свою жизнь, следуя литературным моделям. Среди самых известных авантюристов, жизнь и дела которых рассматривает Строев, – такие фигуры, как Джакомо Казанова и граф Калиостро, граф де Сен-Жермен, кавалер Д’Еон (чья женская или мужская идентичность до сих пор остается загадкой), писатель Бернарден де Сен-Пьер, Степан Занович, княжна Тараканова, барон Библиштейн. Элементы авантюризма есть также в поведении обоих идолов искателей приключений, которым

по-своему „поправляет Фортуну“, не довольствуясь „случайно“ выпавшим шансом. Для нее это повод самой сотворить сценарий своей жизни. Еще большая амбиция автобиографа проявляется в желании подчеркнуть свою самостоятельность и представить себя как „self-made man (woman)“, учитывая факт, что равный старт в действительности был не таким уж равным по чисто биографическим и биологическим причинам. Петр III имел преимущество быть родным племянником бездетной Елизаветы, внуком Петра Великого. Он – мужчина и по презумпции предназначен быть государем огромной империи. Его молодая супруга, провинциальная немецкая принцесса, которая имела необыкновенное счастье стать невестой русского великого князя, воспринимается многими, во главе с канцлером Бестужевым, как выскочка, которую надо поставить на место, а сентиментальные чувства императрицы Елизаветы к ней улетучиваются после первых стычек<sup>33</sup>. По мнению Х. Хугенбум, напряжение между мужским и женским началом проявляет себя даже на уровне жанра, так как Екатерина сочетает классическую биографию замечательных людей (мужчин) с обычными и индивидуальными историями мемуаров (Hoogenboom&Cruse 2006: LV).

---

те старались подражать, – Вольтера и Руссо, в жизни любимого корреспондента сиятельной мемуаристки, барона Ф.-М. Гримма. Главное сходство между русской государыней и этими искателями приключений, местом действия которых в тот или другой момент их жизни оказывается Россия, – именно стремление представить себя как философов, любовь к универсальному тогда французскому языку, литературные занятия, граничащие с графоманией: „Литературные персонажи, взрослея, оставляют романы; авантюристы переходят от любовных историй к научным трудам. Чтение из удовольствия превращается в работу. Читают, чтобы писать. Искатель приключений, желающий слечь литератором, законодателем, философом, экономистом, историком и т.д., производит огромное множество текстов“ (Строев 1998: 107). Различие между императрицей и авантюристами состоит в умеренном и хорошо обдуманном риске, рациональном подходе к обстоятельствам, глубоком знании национальных нравов и условий в стране, которые демонстрирует Екатерина II.

<sup>33</sup> Екатерина – родная племянница нелепо умершего жениха великой княжны Елизаветы Петровны, и в этом факте большинство историков видят причину благосклонности русской императрицы к Ангальт-Цербстскому дому, в том числе при выборе невесты наследника престола.



Екатерина не выдерживает долгое время сухой и „объективный“ тон первых страниц. Постепенно она возвращается к занимательности, не забывая своей главной цели: подчеркнуть целостность своего характера, который помог ей преодолеть враждебность, безразличие и неприязнь императрицы Елизаветы, собственного супруга, двора, уцелеть в самых суровых обстоятельствах и завоевать свое счастье, соответственно счастье успешного и влиятельного политика и главы государства. Мемуаристка быстро возвращается к топосам, заимствованным из романов и комедий, которые тщательно подобраны, чтобы служить убедительным доказательством построенного в начале силлогизма. С особым старанием подобраны также сюжетные ситуации и характеристики великой княгини Екатерины и Петра Федоровича, которые могут истолковаться с точки зрения их государственных добродетелей. Текст поздней редакции формально незакончен, но мемуаристка успела высказать свое мнение по чрезвычайно значимой для европейской философской мысли того времени проблеме воспитания будущего государя. Повествовательница последовательно сравнивает два по-классицистски четких и бескомпромиссных, примера – положительный и отрицательный<sup>34</sup>. Если иметь в виду, что среди адресатов текста на первом месте – собственные наследники императрицы (вспомним надпись на пакете: „Его Императорскому Высочеству, В. Князю Павлу Петровичу, моему любезнейшему сыну“), это противопоставление основывается на сравнении двух родительских примеров. Добродетельному поведению матери (Екатерины), поведение которой благодаря „благожелательной“ молве не звучало для Павла убедительно, противопоставляется отрицательное поведение отца (Петра III), которого сын боготворил и подражал ему

---

<sup>34</sup> Хугенбум и Крузе видят такое же метафизическое толкование собственного характера в эпизоде с черновым „автопортретом философа“, „случайно“ найденным через тринадцать лет после его написания: „Излагая свою идею о человеческой природе как неизменной, двадцативосьмилетняя Екатерина может заявить, что вполне знала себя в пятнадцать лет. Это – аристотелевское понимание личности, которая не меняется со временем и опытом, но только все больше раскрывается такой, какой она всегда была“ (Hogenboom&Cruse 2006: XXXVIII).

во многих отношениях. С точки зрения истории семьи, одна из целей рассказа – коррекция мифа об отце в желаемом Екатериной направлении и восстановление ее собственного имиджа в глазах ее прямых наследников. Тем более, это должно было произойти в контексте формировавшегося отрицательного общественного мнения о Павле, который обещал быть копией своего отца, что касается солдафонщины и непоследовательных политических действий<sup>35</sup>. В этом смысле текст играет роль предупреждения, В более отдаленной перспективе, мемуары, очевидно задуманные для публикации, также должны были предоставить пример удачной общественной карьеры на основании личного опыта императрицы и нейтрализовать некоторые упорно бытующие мифы (особенно такие, которые провозглашали Екатерину убийцей своего супруга) и подчеркнуть правильность ее каузы. Ненавязчиво, отказываясь от формы строгого научного и сухого трактата (в ее педагогической практике есть и такие образцы, например, инструкции к воспитателю Павла графу Н. И. Панину<sup>36</sup> и к наставнику великих князей Александра

---

<sup>35</sup> См. об этих опасениях и отрицательном имидже Павла в России и в Западной Европе, о противоречивом восприятии его действий мемуары Ш. Массона (Массон 1996). О популярности некоторых клеветнических биографий Екатерины II, созданных в Западной Европе в конце XVIII века, и их влиянии как на массовое сознание, така и на серьезную историографию см. Griffiths 1982.

<sup>36</sup> Противно распространенному мнению, Екатерина не была безразлична к Павлу. Сразу после смерти Елизаветы и особенно после восхождения на престол, она приняла серьезные меры для его воспитания и образования (например, опыт привлечь д<sup>3</sup>Аламбера в качестве воспитателя маленького престолонаследника). Вместе с графом Н. И. Паниным, одним из просвещеннейших людей в России того времени, выбор которого главным воспитателем сам по себе был многозначительным, она намечает впечатляющую программу подготовки сына (См. Ransel 1975: 204–227). Что же касается близости между матерью и сыном, она, впрочем, существовала в определенный период юности Павла. Однако непосредственное участие в его воспитании вряд ли недавно взшедшая на престол императрица, унаследовавшая огромную кучу проблем в государстве и задумавшая амбициозную программу реформирования страны, могла принимать и иметь достаточно времени для своего ребенка. Д. Рансел указывает, что Н. Панин, один из самых активных участников переворота 1762 г., имел возможность ежедневно видеть Екатерину именно в качестве воспитателя ее сына (Ransel 1975: 45). По мнению ученого, в 1771–1772 г. Екатерина сама руководила обучением Павла „день за

и Константина графу Н. И. Салтыкову<sup>37</sup>), она выбирает более занимательную и ненавязчивую форму романа о воспитании. Она заимствует некоторые черты жанра политического романа типа „Приключений Телемаха“ Фенелона и одновременно с этим особенностями бытового романа, который часто писался в виде исповеди и использовал форму автобиографии, имитируя ее „искренность“. „Мемуары Екатерины – это тоже исповедь, написанная с той мерой искренности, какая вообще была возможна для державного автора. Но, одновременно „Записки“ должны были выполнять и нравоучительную функцию. И именно поэтому описание механизма достижения успеха было уместно и необходимо, ведь если бы автор объяснял все лишь природными незаурядными качествами, то и рассказ ее мало чем отличался бы от сказки Шарля Перро. С учетом этого становится ясно, и почему все так называемые редакции „Записок“ заканчиваются переворотом 1762 г., – это за-

---

днем“ и ввела его в государственные дела (там же, 212). По мнению Б. Б. Глинского, период очень близких отношений матери и сына продолжался дольше – с 17-летнего возраста Павла до его женитьбы (Глинский 1899: 9, 145). Этот факт подтверждается новейшими исследованиями. У Павла Петровича было достаточно возможностей выработать систему своих убеждений и наметить ряд своих социальных практик еще будучи наследником престола (см. Скоробогатов 2005). С другой стороны, детство и юность Павла совпали со временем, в котором было принято, чтобы не только матери-царственные особы, но также аристократки, и даже представительницы крупной буржуазии в западных странах, не принимали никакого участия в воспитании детей. Во Франции была широко распространена практика отдавать грудных детей сельским кормилицам до достижения ими трехлетнего возраста. Поэтому идеи Руссо, а позже г-жи д’Эпине о непосредственном участии матери в воспитании детей с самого раннего возраста, в том числе пропаганда кормления грудью, воспринимались как революционные (НФО 1991, III: 46–58; ИЖЗ 2008, III: 46–51). В России и Германии, где разрыв между матерями и детьми в среде аристократии не был столь большим, все же существовали известные ограничения. Русский царский двор перенял некоторые требования к наследникам престола, характерные для немецкой традиции, которые подразумевали более сдержанное отношение венценосной матери к ее детям (Глинский, там же; Wortman 1978: 60–76).

<sup>37</sup> См. по этому поводу Plavinskaïa 2003, а также новые преиздания этих педагогических трудов: Екатерина II. Наставление к воспитанию внуков. М., 1994 и 1996; Екатерина II о воспитании и образовании внуков. СПб., 1994.

вершение сюжета. Дальше, как говорится, уже „другая история“, – констатирует А. Б. Каменский (Каменский 1992: 35). Сложность поставленных в автобиографии целей приводит также к тому, что в тексте ощутимы отсылки к популярнейшим текстам античной и западноевропейских литератур, которые могли быть привлечены к теме государственных добродетелей, которыми должен обладать будущий монарх.

Древнерусская книжная традиция, которую императрица отлично знала и которой живо интересовалась, не только часто лично финансируя начавшиеся во время ее правления активные публикации памятников старины, но и сама работая над ними, также могла дать подходящий пример для подражания. В 1793 г. было опубликовано „Поучение“ Владимира Мономаха. Памятник основывается на жизнеописании автора и лежит, по мнению многих ученых, в основе русской автобиографической традиции. Мономах ненавязчиво и в занимательной форме задушевного рассказа о собственном прошлом, трудных победах и допущенных ошибках передает мудрость своего государственного опыта своим прямым потомкам<sup>38</sup>.

Вопросы воспитания будущего правителя тесно переплетены в автобиографии с не менее важными для того времени проблемами воспитания девиц и места женщины в обществе, ставшими очень актуальными с середины XVIII века в крупных европейских литературах. Полем столкновения голосов „за“ и „против“ эмансипации женщин, помимо теоретических трудов и публицистики, был жанр романа. Активные взаимосвязи между жанрами романа и автобиографии делают естественным обращение автора к ряду топов, заимствованных из романов, которые императрица применяет в описании своей собственной судьбы<sup>39</sup>. Производит впечатление постепенный переход от „статичных“ по своему характеру топо-

---

<sup>38</sup> Благодарю Радославу Илчеву за эту идею.

<sup>39</sup> Можно указать на любопытное доказательство „романности“ автобиографии Екатерины II: решение современных американских переводчиков разделить повествование на главы, опираясь на оригинальные рубрики и маргинальные заметки (Memoirs of Catherine the Great 2006: LXXIX).

сов, свойственных в романной традиции для представления женских персонажей, к таким, которые означают активность автогероини для успешного проекта ее жизни. Таким образом, Екатерина II предлагает свою интерпретацию проблемы счастья в философском дискурсе Просвещения, которая основывается на идее „счастья-действия, счастья-взаимодействия, счастья-общения с вещами и людьми“, реализованной в политическом идеале „общественного человека“ (Роже 2003: 58).

Позднейшая редакция мемуаров содержит на последних страницах своего рода решения заявленных во вступительном силлогизме уравнений. Этот эпизод представляет собой психологический автопортрет автобиографа, который обобщает достижение поставленных целей при прибытии в Россию. Момент подведения итогов – одни из самых тяжелых в жизни мемуаристки. Он отражает кризис после падения Бестужева, когда великую княгиню заподозрили в недозволенном и неблагоприятном участии в государственных делах. Екатерина ожидает тогда решения Елизаветы Петровны о ее возвращении в Германию. Во времени эпизод расположен между двумя решительными объяснениями между обеими державными женщинами, последнее из которых, по всей видимости, решило окончательно и благоприятно судьбу великой княгини и укрепило ее позиции. Повествовательница только начала, но не закончила эпизод. Это обстоятельство дает основания многим исследователям считать текст незаконченным. По-моему, это не так. Возможно, что императрица и имела намерение продолжить рассказ о своем житие-бытие, об этом говорят также записанные случаи и анекдоты о событиях, сопровождавших смерть Елизаветы, шестимесячное правление Петра III, некоторые обстоятельства переворота июня 1762 г. В то же время считаю, что автор, „решая“ заданный в начале силлогизм и подводя итог своему поведению и наблюдениям над своим характером, чувствовала, что текст ее автобиографии закончен. Как принципиально заверченный его воспринимают также Клаус Шарф и Мария Крючкова (Шарф 2015: 67; Крючкова 2009: 317).

Эпизод подведения итогов достаточно обширен. Мемуаристка начинает его философским мотивом о стоицизме:

Впрочем, решение мое было принято<sup>40</sup>, и я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски; я нашлась бы в любом положении, в которое Провидению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей; я чувствовала в себе мужество подыматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились, или, в обратном направлении, не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству; мои намерения были всегда честны и чисты [...] (РТ–СРЗ: 443–444).

В этом отрывке производят впечатление отсылки к начальному силлогизму, к высказанной в нем мысли, что счастье отдельных личностей зависит от их качеств, характера и личного поведения. В самый критический момент единственные средства спасения, на которые рассчитывает героиня, – ум и талант. Тем более, что это женский персонаж, который отказывается от патронажа других лиц, родственников, традиционной в таких случаях защиты „слабой“ героини. Ее стоицизм, надежда на самое себя – черты ее „мужественного“ поведения и соответствуют новой этике, пропагандируемой эпохой.

В следующих строках мемуаристка обобщает осуществление своих намерений в браке (она не любит супруга, но вполне лояльна к нему). В то же время она подчеркивает свою гордость, которая не позволяет ей подчиниться несчастью и заставляет ее сопротивляться: „Природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна“ (РТ–СРЗ: 444). М. Левитт комментирует сдвиги, наступившие в русском культурном сознании в XVIII веке в отношении к этическим понятиям „гордость“, „честолюбие“ („любочестие“), „самолюбие“. Исследователь комментирует появление положительных коннотаций в

---

<sup>40</sup> Великая княгиня посылает через П. Шувалова письмо императрице, в котором ставит на кон все. Она просит Елизавету Петровну вернуть ее к ее родственникам в Германию, но прекратить незаслуженные подозрения, которые причиняла ей сильные нравственные и физические страдания (РТ–СРЗ: 440–441).

Эпизод подведения итогов совпадает с ожиданием решительной аудиенции.

этих словах, которые в допетровской традиции связывались с греховностью. Во второй половине XVIII столетия они уже обозначали добродетели, в тех случаях, когда усилия человека были направлены на благо общества, а „общественное благо основывается на просвещенной любви к себе“ (Левитт 2015: 238–252; 243<sup>41</sup>).

Счастливая или нет, судьба каждого человека – результат степени его стоицизма, которым он встречает и преодолевает превратности жизни: „Я говорила себе: „Счастье и несчастье – в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастье, станешь выше его и сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события“ (РТ–СРЗ: 444). Это решение заданного в начале силлогизма абсолютно исключает случайность и показывает качества личности автобиографа.

В заключительной части психологического автопортрета Екатерина акцентирует внимание на своей яркой индивидуальности, которая выходит за рамки конвенционального женского поведения и принимает многие „мужские“ черты, что позволило ей достигнуть своего счастья:

Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским; но в то же время, внешним образом, я ничем не походила на мужчину; в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви; да простят мне это выражение, во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью. Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере (РТ–СРЗ: 445).

Содержание автопортрета является квинтэссенцией самооценки Екатерины. Оно выражает ее исключительные способности на трезвый и реалистический самоанализ. В то же время она ловко

---

<sup>41</sup> Левитт строит свой анализ на основе автобиографий Е. Р. Дашковой и Г. Р. Державина, но его выводы имеют обобщающий характер и их можно отнести к восприятию этих понятий Екатериной II.

и удачно решает поставленные в автобиографии литературные задачи в сотворении необыкновенного женского персонажа, воплощавшего актуальнейшие тенденции времени, которые были направлены на признание прав и способностей женской личности, отбрасывающей традиционные нормы безличного поведения. Этот автопортрет создает своеобразную рамку повествования, обобщая основные линии в сотворении собственного образа мемуаристки.

Рациональное начало в автобиографическом рассказе, заданное вступительным силлогизмом и получившее подтверждение в „решении“ последнего в конце поздней редакции, вписывается как нельзя лучше в Екатерининский миф: российская императрица как Минерва, земное воплощение мудрости, или, в другом варианте, – Астрея, богиня счастья, приносящая с собой золотой век человечеству. Оба мифологических образа активно включались в литературные тексты, сценарии дворцовых праздников, которые должны были репрезентировать авторитет самодержавной власти в России<sup>42</sup>. Если вернуться к автобиографическому контексту, будет видно, как, вводя в последнюю редакцию своих записок философский силлогизм, Екатерина отсылала читателя к символике имени данного ей при рождении – София (мудрость), синонимической с образом римской богини. Такое автобиографическое прочтение не исключено, если иметь ввиду „концентрированную мифологию“ (Fauchery 1972: 70) этого имени, которое часто носили добродетельные героини романов и комедий. Всегда внимательная к символике, Екатерина ловко обыгрывает в автобиографии семантику своих имен – данного при рождении и приобретенного при переходе в православие. Но об этом любопытный читатель может узнать ниже.

---

<sup>42</sup> В отношении темы Астреи см. публикации В. Проскуриной (Проскурина 2003; 2006), Р. Уортмана и А. Зорина (Уортман 2002; Зорин 2002). Использование государственной мифологии и преемственность между царствованиями Елизаветы Петровны и Екатерины II в автобиографии императрицы подробно рассматриваются в Книге второй.



Российская императрица создает исключительно сложный по своей поэтике автобиографический текст. Его сведение лишь к „самооправданию и самоутверждению“ (Савкина 2001: 63 и сл.) не представляет его настоящей сущности. „Собственноручные записки“ сочетают модели теоретического трактата о воспитании – принцев, девиц, с апологией собственной личности. Желание императрицы, чтобы ласкающее ее самолюбие прозвище „философ на троне“ привело к осязаемому присутствию интертекста известных произведений древности и Нового времени, политических трактатов и философских теорий, связанных с идеалом „просвещенного правителя“. В тексте находят также отражение политические сценарии русской монархии, в которые Екатерина II внесла весомый вклад, развивая и дополняя унаследованное у своих предшественников. Текст ее автобиографии содержит яркие сатирические описания нравов, к которым высочайший автор подходит опять-таки с точки зрения своей сверхзадачи: представить историю своей молодости как старательную подготовку к власти. С другой стороны, автор, не принимавшая руссоистской концепции автобиографии как исповеди, щедро иллюстрирует события, опираясь на характерные романские топосы и реминисценции из популярных романов, интерпретирующих актуальные как для ее современности, так и по прошествию многих десятилетий проблемы. Философский силлогизм, помещенный в начале и решенный в конце поздней редакции екатерининских мемуаров, исполняющий роль „автобиографического пакта“, вбирает в себя всю эту проблематику, так как он представляет квинтэссенцию представления Екатерины II о самой себе. Ключ к сущности автобиографического образа находится в общем социальном и культурном контексте екатерининской эпохи, не только в России, но и в Европе в целом.



Великая княгиня Екатерина Алексеевна с орденом „Св. Екатерины“, 1745 г.

## **Глава вторая**

### **РОМАННАЯ ТОПИКА В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСКАХ ЕКАТЕРИНЫ II**

#### **Спор о романе в XVIII веке и литературные интересы Екатерины II**

Уже неоднократно было отмечено, что с литературной точки зрения автобиография русской императрицы вызывает интерес сочетанием разнообразных дискурсивных стратегий: публицистичности и романности. Объектом настоящей главы является использование характерной для романа топики в повествовании. Моей целью будет не доказывать, сказала или нет правду о себе и пережитых обстоятельствах мемуаристка, а как она это сделала, какую интерпретацию она бы желала придать фактам и событиям, обращаясь или отказываясь от той или другой типичной для романов ситуации. То, что Екатерина II очень хорошо разбиралась в законах романного письма, было плодом ее читательских пристрастий. Как и большинство дам эпохи, в годы своей юности она нашла утешение и забавление в романах, которые жадно читает. И несмотря на то, что позднее ориентировалась на литературу посерьезнее (об этом пойдет речь ниже), она до конца своей жизни остается страстной почитательницей этого жанра. Об этом свидетельствуют как автопризнания в мемуарах, так и записки ее секретаря Храповицкого, и корреспонденция с разными лицами – от тайной переписки с английским послом Уильямсом до разбросанным по всей объемистой корреспонденции с Гриммом, Вольтером и другими лицами реминисценциям с популярными романскими персонажами и ситуациями.

Текст автобиографии издает характерное для времени двойственное отношение к роману как жанру, которое, по всей видимости, сказалось на литературном мышлении Екатерины. В литературной среде в России XVIII века слышны отзвуки общеевропейского спора

о романе как жанре. Екатеринская эпоха – эпоха зарождения оригинальной русской романистики, первыми образцами которой, если не считать перевода Тредиаковским прециозного романа Тальмана „Езда в остров любви“ (1730), стали романы Федора Эмина, – они появляются немного спустя после прихода к власти Екатерины. В последнее время все больше ученых подчеркивают популярность романа как жанра в России еще до появления оригинальной русской романистики. Причем отмечается не только полуфольклорное-полулитературное распространение переводных рыцарских романов, характерное для конца XVII – начала XVIII века, но и активное чтение современных западноевропейских романов в оригинале и в переводах. Таким образом, временные границы бытования „нового“ романа в России отодвигаются на несколько десятилетий раньше. По мнению Гиты Хаммарберг, „во второй половине XVIII века, эти виды русской фикциональной прозы [переводные романы конца XVII – начала XVIII века, городские повести XVII века, повести Петровской эпохи, – А. В.] были уже, с одной стороны, собраны и опубликованы в неизменном виде, а другие издавались, адаптировались, украшались и комбинировались с другими видами прозы и публиковались в изменчивой форме“ (Hammarberg 1991: 1). Для исследовательницы особенно важен сам факт публикации текстов, который, вместе с расширяющейся читающей аудиторией стал импульсом признания „легитимности“ любой фикциональной прозы (там же). Таким образом, возникновение русского романа в 60-е годы XVIII века было подготовлено активной читательской практикой русской аудитории: „Как известно, появление в России „романов“ – переводных, а потом и оригинальных, в значительной степени подражательных – было весьма важным событием в истории русской литературы, и оно пришлось именно на XVIII век, точнее, на четверть века между 1730 и 1754 гг.“ – пишет авторитетный исследователь русской культуры XVIII века В. Н. Топоров в одном из недавних трудов по возникновению русской романистики (Топоров 2001: 386). Как в Западной Европе, так и в России во второй половине XVIII века „с известным основанием можно сказать, что русский читатель в это время жил романами“ (там же).

На Западе рассматриваемый период – время расцвета романа: „Между 1728 и 1736, в настоящем золотом веке французского романа, всущности появились почти все большие романы аббата Прево, большая часть романов Лессажа, г-жи де Тенсин, Мариво, Кребийона, шевалье де Муи, маркиза д'Аржанса, Гамильтона, г-жи Гомес, мадмуазель Люссан, чтобы не перечислять менее известных их собратьев и сестер“, – пишет Жорж Мэ (Мау 1963: 76). Распространению жанра способствовало снижение цен на книжную продукцию за счет развития книгопечатания – легального и нелегального (в нарушении прав авторов и издателей), причем последнее способствовало низким ценам, ставшим доступными для самой широкой аудитории (см. Шартье 2003: 299). На самом деле число переизданий и величина тиражей в XVIII веке очень условны: „... следует помнить, что в Европе распространение того или иного произведения зависело не только от официального тиража. Широкое хождение имели издательские подделки“ (Сейте 2003: 307). Нелегальные „пиратские“ копии наносили ущерб и авторам, и издателям, но увеличивали популярность их текстов. Топоров приводит статистические данные по России, сообщенные еще В. В. Сиповским, согласно которым за 70 лет в XVIII веке появилось 839 романов, а если учесть также переиздания – 1175 (Топоров 2001: 386). В первые 25 лет знакомства русского читателя с этим жанром в переводе на русском были переведены только пять романов. После этого периода число подобных книг лавинообразно росло. Цитированная статистика относится как к переводным, так и к оригинальным русским романам, которые начали появляться с середины 60-х годов.

Г. Хаммарберг также обращает внимание на переводы западных романов, которые стали появляться в небольшом объеме с 30-х гг. XVIII века, преимущественно в рукописной форме. Печатание современных переводных романов, по ее мнению, начинается с 50-х гг. века, а переводы уже осуществлялись такими профессиональными переводчиками, как И. П. Елагин, И. Шишкин, С. Порошин. Группа переводчиков объединилась вокруг первого частного журнала „Праздное время, в пользу употребленное“ (1759–1760), заглавие которого позволяет судить об их взглядах на фикциональную прозу

(Hammarberg 1991: 1). Но следует припомнить другое принципиальное положение: переводы в России в XVIII веке предназначались преимущественно тем, кто не мог читать в оригинале, т.е. для менее подготовленных читателей. Еще В. Шкловский указывает, что круг чтения высшего дворянства – французская проза и высокая русская стиховая культура (Шкловский 1933: 44). Широко известны факты быстрых доставок иностранных книг, в том числе (и прежде всего) романов, даже в отдаленные уголки глубокой русской провинции, куда только что вышедшие тексты французских авторов доставлялись через два-три месяца, т.е. за время почтовых сообщений. Таким образом, русский читатель был частью общеевропейского литературного процесса, факт, который был известен, но как-то пренебрегался. Русский читатель не всегда шел в ногу с новостями родной литературы, но был хорошо осведомлен о модных романах западноевропейских авторов. Этот процесс продолжался и гораздо позже, в первые десятилетия XIX века (см. Рейтблат 2001: 14–27).

Отношение к роману со стороны теоретической мысли в России было резко отрицательным. Наиболее авторитетным выразителем этой позиции был А. П. Сумароков, который опубликовал в 1759 г., т.е. за несколько лет до появления первых оригинальных русских романов, вышедших из-под пера Ф. Эмина, статью „О чтении романов“. В ней критик отрицал какую бы то ни было пользу романов. Для Сумарокова чтение романов – пустая трата времени:

Романов столько умножилось, что из них можно составить половину библиотеки целого света. Пользы от них мало, а вреда много. Говорят о них, что они умеряют скуку и сокращают время: век наш, который и без того краток. Чтение Романов не может назваться препровождением времени; оно погубление времени. Романы, писанные невежами читателей научают притворному и безобразному складу, и отводят от естественного, который един только важен и приятен. Мы не худым Романическим, но при просвещении нашем естественным складом, скотские изображения превосходим. Хорошие Романы хотя и содержат нечто достойное в себе, однако из Романов пуд весом, спиртом одного фунта не выйдет, и чтением онаго больше употребится времени на бесполезное, нежели на полезное. Я исключая Телемака, Донкишота и еще самое малое число достойных

Романов. Телемака причисляли к Епическим поэмам, что в предисловии его и напечатано, а многие сию книгу как Илияду или Енеиду, образцом Епической Поэмы поставляют; но что сево смешная? Кроме расположения [сюжета, – А. В.], Телемак не Поэма; нет ни Епической поэмы, ни оды в прозе. А Донкишот сатира на романы. Ежели кто скажет, что Романы служат к утешению неученым людям, для того что другие книги им непонятны; это неправда; ибо и самой височайшей математики основания, понятно, написать удобно; хотя то и подлинно, что книг таковых мало видно. Однако много еще книг и без Романов, осталось, которые вразумительны и самым неученым людям (Цит. по: Шкловский 1933: 157)<sup>1</sup>.

Е. Е. Приказчикова обращает внимание на парадоксальность ситуации в России: „Как известно, русское общество познакомилось с жанром романа в 1730 г., когда В. К. Тредиаковский сделал перевод любовного романа П. Тальмана „Езда в остров любви“. И это „модернистское“ по культурным меркам России того времени произведение получило мгновенное признание, имело огромный успех во всех слоях русского общества, в том числе и при дворе императрицы Анны Иоанновны. Но несмотря на этот безусловный успех и культурную необходимость произведений подобного рода, миф о романе-развратителе быстро овладел русским общественным сознанием, что создало парадоксальную ситуацию. Романов в России еще практически не было даже переводных, а культурный миф об их „вредности“ овладел сознанием русского просвещенного общества, писателей и литературных критиков“ (Приказчикова 2009: 76). Несмотря на яростное сопротивление Сумарокова, роман, как и слезная комедия, жанр также находящийся в остром противоречии с классицистской теорией, убежденным пропагандатором защитником которой был писатель, триумфально шествовали по России. В. Н. Топоров приводит список около пятнадцати русских романов, которые можно определить как „бестселлеры“ XVIII века,

---

<sup>1</sup> Тот же фрагмент приводит и В. Н. Топоров (Топоров 2001: 387–388). В цитате вероятно идет речь о прозаическом переводе романа Фенелона „Приключения Телемаха, сына Одиссея“, осуществленном в 1747, до появления стихотворного перевода В. К. Тредиаковского, придавшего тексту жанровую форму героической поэмы („Телемахида“, 1766), чтобы сохранить „высокость“ подлинника.

но в то же время констатирует, что „высокая“ романная линия, заданная переводными романами Таллемана, Баркляя, Фенелона, на русской почве в XVIII веке не получила сколько-нибудь существенного развития: роман в России того времени ориентировался на иную категорию читателей и поэтому стал жанром „низовой“ литературы“ (Топоров 2001: 387). Русские литераторы, претендующие на роль воспитателей вкусов дворянской аудитории, выражали одну из актуальных в общеевропейском масштабе тенденций в классицистской теории. В этом смысле, развитие русской романистики и теоретическое осмысление романа как жанра в России были частью общеевропейского процесса, при этом оно не отставало, хотя не в такой степени, в какой считалось до сих пор, от сходных явлений в других европейских странах. XVIII век – это время, когда большинство европейских литератур „открывают“ (независимо от существовавших в некоторых из них вековых традиций в прозе) для себя этот жанр, призванный прежде всего раскрыть историю отдельной человеческой личности. В этой связи необходимо вспомнить определение в „Энциклопедии“: „Вымышленный рассказ о разных чудесных или правдоподобных приключениях в человеческой жизни“ (цит. по Leborgne 1997: 950). Роман XVIII века как нельзя лучше иллюстрировал идею Бахтина о романе, как жанре в постоянном развитии (Leborgne 1997: 949). Жанр не вписывается полностью в рациональную парадигму классицизма, который, с своей стороны, пытался подчинить его своим дидактическим целям. Это породило ожесточенные споры о достоинствах жанра, причем эстетические критерии заменялись этическими (Май 1963: 8).

Вся первая половина XVIII века – эпоха ожесточенных дискуссий „за“ и „против“ романа, эпоха, исполненная противоречивыми мнениями, даже тогда, когда позиции тех, кто их высказывал, казались ясно определенными. Эта противоречивость, компромиссность видна также в приведенном выше высказывании Сумарокова, сторонника ортодоксальной классицистской доктрины. „Русский Буало“, как видно из цитируемого выше текста, отстаивает бескомпромиссную позицию „против“, характерную еще для его французского кумира в конце XVII века. В сущности, спор о романе был



одним из аспектов спора „древних“ и „новых“, наряду с дискуссиями об эпосе и трагедии. И если вопрос о трагедии был решен еще в конце XVII века в драматургической практике Расина, а вопрос об эпосе – в начале XVIII века, то спор о романе оставался актуальным во всех больших европейских культурах вплоть до 60-х годов XVIII века. Противники каузы романа в конце XVII – начале XVIII века протестовали против барочной прециозности, иррационализма, искусственности и нереалистичности тогдашнего романа. Некоторые выдающиеся романисты, такие как Шодерло де Лакло, даже в 80-е годы должны были опровергать обвинения в „пагубности“ жанра для добрых нравов и эстетического вкуса (May 1963: 10). Обвинения против романа и препятствия на его пути были особенно яростными во время „золотого века“, о котором шла речь выше:

„На самом деле, роман, может быть, никогда не имел больше препятствий, чем в период 1725–1760 гг. Со всех сторон шли атаки против этого парвеню в Республике словесности. Его без разбора обвиняли во всех преступлениях и бедах [...]. И впрочем, если внимательно исследовать неумеренность суждений, без замедления можно заметить удивительную регулярность, с которой противники романа повторяли два одни и те же обвинения против него: чтение романов портит вкус; оно развращает нравы. Примечательно, что обвинения во имя морали также многочисленны, как и те, которые основаны на неблагоприятных эстетических суждениях“ (May 1963: 8). Е. Е. Приказчикова обращает внимание на правительственные гонения на роман во Франции 1730-х гг., когда „запрет на роман“ и миф о „романе-развратителе“ добрых нравов, привели к „эмиграции“ многих произведений, которые печатались в соседних странах – Голландии, Швейцарии, Англии, Германии<sup>2</sup> (Приказчикова 2009: 75–76).

С своей стороны, защитники романа старались найти основания для „благородства“ жанра, выводя его поэтику из эпопеи. В

---

<sup>2</sup> Исследовательница подчеркивает, что „этот запрет на „антиэстетический“, „аморальный“ роман существовал во Франции вплоть до Французской революции 1789 г.“ и называет места издания некоторых из популярнейших французских романов XVIII века: Амстердам („Новая Элоиза“ и „Эмиль“ Руссо; „Опасные связи“ Шодерло де Лакло, Утрехт („Простодушный“ Вольтера), Неаполь („Влюбленный дьявол“ Казота) (Приказчикова 2009: 76).

этом процессе престиж „Телемаха“ Фенелона является основным фактором. Интересно, как на русской почве переплетаются эти две тенденции. Толерантный в принципе в отношении к классицистским жанрам (хотя бы по поводу результата спора „древних“ и „новых“, что касается комического эпоса (см. Вачева 1999), Сумароков явно воспринял отрицательную точку зрения, наиболее авторитетным защитником которой в XVII – первом десятилетии XVIII века был его кумир Буало. Автор „Поэтического искусства“ строил свое отношение к роману на основе аристотелевской поэтики и отсутствии романа в системе жанров античной литературы. Французский воспитанник Тредиаковский, несмотря на отрицание романа, выраженное в предисловии к „Телемахиде“ (не подобает интерпретировать столь высокий сюжет в „низкой“ романной форме), стихотворным переводом романа Фенелона, придающим ему форму героической поэмы, все-таки связал генеалогию романа с эпосом. Не надо забывать, однако, что Тредиаковский, заявивший о себе как о писателе именно переводом романа, явно принадлежал к симпатизантам жанра, хотя и подчинялся заимствованным из французской литературы критериям. Но дискуссия в России в отношении к роману скорее принимала форму своеобразного коллективного монолога литературной критики и теории<sup>3</sup>. Аудитория массово читала французские романы и приветствовала новопоявившиеся русские произведения в этом жанре, несмотря на подражательность и беспомощность многих авторов, не интересуясь мнением критики. Явно „русский Буало“, занявший героическую позу защитника ортодоксальных классицистских ценностей, осужден пережить очередное разочарование от непросвещенности своих сограждан. Несмотря на крайнюю бедность, в которой он живет в конце жизни, Сумароков так и не соблазняется доходоносным романским жанром и считал его высшей степенью унижения и изменой высокому назначению лите-

---

<sup>3</sup> Приказчикова отмечает также и призыв Ломоносова, высказанном в „Риторике“, об осторожном обращении русской публики к французским романам, которые не содержат в себе нравоучения и служат лишь развращению нравов и поощрению роскоши и плотским страстям (Приказчикова 2009: 76).

ратора (Топоров 2001: 388). К этому кризису можно прибавить и другой, в который он, провозглашенный единомышленниками также „Северным Расином“ за свои трагедии, впадает после торжества слезной драмы на русской сцене.

Открытая защита романа как жанра в России начинает робко пробиваться после смерти А. П. Сумарокова, в 80-е годы XVIII века. Едва Н. М. Карамзин в конце столетия – начале XIX века выразил более категорическую позицию в защиту романа. В статье „О книжной торговле и любви ко чтению в России“ (1802) писатель находит оправдание читательской страсти к романам в занимательности жанра и его правдоподобию, которое позволяло его любителям идентифицировать себя с романскими персонажами: „... сей род сочинений, без сомнения, пленителен для большей части публики, занимая сердце и воображение, представляя картину света и подобных нам людей в любопытных положениях, изображая сильнейшую и притом самую обыкновенную страсть в ее разнообразных действиях. Не всякий может философствовать или ставить себя на месте героев истории; но всякий любит, любил или хотел любить и находит в романическом герое самого себя. Читателю кажется, что автор говорит ему языком собственного его сердца; в одном романе питает надежду, в другом – приятное воспоминание“ (Карамзин 1984, II: 118). Для Карамзина самое ценное качество романа состоит в том, что он приучает аудиторию к чтению и по-своему способствует просвещению общества: „Не знаю, как другие, а я радуюсь, лишь бы только читали! И романы, самые посредственные, – даже без всякого таланта писанные, способствуют некоторым образом просвещению. [...] В самых дурных романах есть уже некоторая логика и риторика: кто их читает, будет говорить лучше и связнее совершенного невежды, который в жизнь свою не раскрывал книги. К тому же нынешние романы богаты всякого рода познаниями“ (там же, 119). Карамзин принимает характерную для конца XVIII века идею о воспитательном воздействии романа и его не пагубном, но благотворном влиянии на нравственность: „Напрасно думают, что романы могут быть вредны для сердца: все они представляют обыкновенно славу добродетели или нравоучительное следствие“ (там же).

На Западе апологетика романа прошла длительную эволюцию, в которой можно выявить несколько факторов: „облагорождение“ романа, связывая его происхождение с эпикой; выявление его преимуществ по сравнению с историей, в том числе, его морального превосходства и роли в воспитании читателей. Особенно высоко приверженники романа ценили роль жанра в подчеркивании значимости женской личности и возможности чрез него услышать голос женщин. Это было одно из завоеваний эпохи. Некоторые критики, отстаивающие право жанра на самостоятельное существование, высоко ценили реалистичность „нового“, современного романа и демократизацию персонажей, и не на последнем месте – состава его авторов<sup>4</sup>.

Примечательнее всего, с точки зрения исследуемой темы, идея о моральном превосходстве романа по сравнению с историей и его воспитательном воздействии на читателей. Эта мысль, связанная с главными вопросами в дискуссиях о жанре, была высказана в первой половине XVIII века. Например, в объемистом двухтомном трактате Ленгле-Дюфренуа „Об употреблении романов“ (Lenglet-Dufresnoy, „De l'usage des romans“<sup>5</sup>, 1734<sup>5</sup>) развивается идея, что исторические рассказы очень часто показывают торжествующий порок и страждущую добродетель, тогда как роман может подняться над этими унижительными реальностями и создать настоящие модели поведения (May 1963: 142)<sup>6</sup>. Ленгле-Дюфренуа выводит генеалогию рома-

---

<sup>4</sup> Это основные темы в многократно цитированном классическом исследовании Жоржа Мэ.

<sup>5</sup> Полное заглавие гласит: „De l'usage des romans, où l'on fait voir leur utilité et leurs différents caractères, avec une bibliothèque des romans, accompagnée de remarques critiques“. Т. 1–2. Amsterdam, Poilras, 1734 („О пользе романов, из чего видна их полезность и их различные характеры, с библиотекой романов и критическими заметками“) (Lenglet-Dufresnoy 1970).

Книга была знакома русскому читателю. В середине XVIII века в книжной лавке Московского университета продавалось ее второе издание 1737 г., наравне с трудами других авторов и многими романами (Копанев 1986: 145). Защита романа как жанра не помешала автору в следующем 1735 г. опубликовать прямо противоположное по духу сочинение „L'Histoire justifiée contre les romans“ („Справедливые обвинения против романов“), Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1735.

<sup>6</sup> Тут можно провести интересную параллель с спором между Сумароковым и Тредиаковским на русской почве в отношении того, как надо добиваться почи-

на от эпических поэм, приводит ряд „романных“ примеров из эпических текстов (например, сюжетная линия, связанная с Дидоной в „Энеиде“), говорит о романе, как о „героической поэме в прозе“ (Lenglet-Dufresnoy 1970: 188 (58 репр.). В разных главах своего труда теоретик рассматривает недостатки романа, которые надо избегать (обиды в отношении к религии и королю, критику бесправных и преследуемых, нарушения хороших нравов и пр.). В то же время ученый аббат перечисляет желательные „максимы“, которые могли бы способствовать воспитанию читателей („благородный сюжет“, который должен привлечь внимание почтенных людей, правдоподобие, пропаганда добродетели и хороших нравов, формирование ума и мышления). По его мнению, роман может быть гораздо поучительнее истории: „Итак, оставим истории славный титул „портрет человеческой нищеты“ и, напротив, признаем, что роман – картина человеческой мудрости“ (Lenglet-Dufresnoy 1970: 83 (31 репр.). Там же Ленгле советует читателям отдавать предпочтение романам, а не истории. Эта теория имела сторонников и в середине XVIII века. Среди них были известные романисты Бакуляр д’Арно, аббат Прево, Кребийон, Дюкло, Мариво, Ла Соль. Ее отзвук слышен в реакции Дидро по поводу романов С. Ричардсона „Памела“, „Кларисса“ и „Грандисон“. Дидро хвалит английского писателя за то, что он рисует человеческую природу, тогда как история представляет лишь несколько индивидов (Diderot 1878, V: 221). В этой связи особенно высоко ценился роман, написанный в форме автобиографии, который, наряду с эпистолярным, стал самым распространенным видом романа в XVIII веке (Leborgne 1997: 949). Баланс между историей

---

тельности в трагедии. Тредиаковский более консервативен в отношении к судьбе главных действующих лиц в трагедии, которая, по его мнению, должна следовать естественному ходу развязки, которая в большинстве случаев неблагоприятна для положительных персонажей. Следуя классической античной поэтике, он рассчитывает на катарсис. Сумароков, со своей стороны, защищает „право на жизнь“ добродетельных персонажей, так как, если драматург их „убьет“, страдает мораль: зритель не может понять этического послания, и трагедия не может до конца исполнить своей воспитательной роли. Именно поэтому положительные герои в большинстве трагедий „Северного Расина“, за исключением двух наиболее ранних, остаются „в живых“ на фоне традиционных кровавых развязок (см. Стенник 1983: 64).

и фикцией был найден в середине века, когда автобиографический роман не конкурировал больше с историческими сочинениями, а превратился в историю частной человеческой личности; как следствие концепт романной истины перешел в поле чувств (Leborgne 1997: 950). „Такая литература не скрывает своего фикционального характера (при наличии целой игры с конвенциями: предисловия, имена и пр.), но это делается, чтобы внимание лучше сконцентрировалось на психологическом и моральном анализе“ – отмечает Е. Леборн (там же).

С точки зрения проблематики этого труда, очень важна связь спора о романе с зарождающимся в это время феминизмом. Со второй половины XVII века проблема сущности женщины как человеческого существа и ее равноправия с мужчиной начинает постепенно занимать значительное место в общественных дискуссиях. Впечатляет число философских, религиозных, медицинских трактатов, в которых делались попытки обосновать или опровергнуть равенство между мужчиной и женщиной. Среди известнейших сочинений в защиту равноправия полов в области ментальных способностей и необходимости последовательного образования женщин был трактат Франсуа Пулен де ла Барра „О равенстве обоих полов“ (F. Poulain de la Barre „De l'égalité des deux sexes“, 1673), который впоследствии оказал значительное влияние на концепцию о женщине энциклопедистов (Mc Niven 1973; Schwartz 1984), как и широко популярный в России XVIII века труд Фенелона „О воспитании девиц“<sup>7</sup> („Traité de l'éducation des filles“, 1687), трактаты Флери, Лабрюйера, Крузаза, статьи о женщине в „Энциклопедии“ и пр.

Помимо этих публицистических сочинений, основным полем брани, на котором велась война приверженников и противников эмансипации, был роман. Роман – это жанр, который преимущественно рассчитывает на женскую читательскую аудиторию. Хотя классицистская теория, как на Западе (вж. Мау 1963), так и в России, и отрицала его, это был жанр, допускавший женское авторство. Он

---

<sup>7</sup> Показательно, что текст Фенелона упоминается в „Недоросле“ Фонвизина как обычное чтение добродетельной дворянской героини Софьи. О популярности Фенелона в России XVIII века см. Брагоне 2012.

был сферой самой быстрой и видимой эмансипации, хотя бы что касается приема со стороны читателей/ниц и тиражей. Иногда некоторые писательницы использовали свои романы для художественного воплощения дорогих им идей, иначе высказанных в немногочисленных полемических текстах (например, Фанни де Боарне, писавшая и памфлеты, и статьи, и романы, или же знаменитая мадам де Сталь) (Piau-Gillot 1997: 453). Эта проблема имела особую значимость, если учесть, что большая часть читателей романов на самом деле – женщины. Женщинами были и многие романисты. И если очень немногим удалось создать шедевры мировой литературы, то, без сомнения, многие оставили значимый след в своих национальных культурах. Защитники каузы романа высоко ценили женщин как благодарную публику жанра, а также акценты на женские персонажи, которые ставили авторы. Вообще роман XVIII века феминистичен, а даже самые известные писатели-мужчины, как, например, Ричардсон, приспосабливали сюжеты и повествовательную технику своих произведений к женскому голосу и имитировали женское письмо (García-Martínez 1996: 1419). Еще в XVII веке Сорель в трактате „О знании хороших книг“ („De la connaissance des bons livres“ (1671), выражал мнение, что мода на романы обязана прежде всего женщинам, потому что, „помимо того, что находят развлечение в романах, женщины и девицы понимают, что они созданы для их прославления, и, если говорить прямо, это триумф их пола“ (цит. по May 1963: 218). Любимый Екатериной Бейль также отмечал в словаре, что „наши лучшие французские романы давно уже пишутся девицами или женщинами“ (цит. по May 1963: 142). Упомянувшийся Ленгле-Дюфренуа считает, что роман ближе к реальности, чем история, так как он представляет роль женщин равной по важности той, которую они действительно играют в жизни, тогда как история старается свести ее до минимума или даже полностью пренебречь ролью нежного пола в развитии [исторических] событий.

Но в то же время многие горячие сторонники феминизма относились с большим недоверием к женскому авторству и склонялись отводить женщинам лишь роль читательниц, или в лучшем случае, хозяйек литературных салонов. Таков случай с Дидро, который не

раз противоречит себе. В статье „Женщины“ („Femmes“) в „Энциклопедии“ философ молчит об их писательских способностях, но в то же время приветствует и поощряет, например, первые шаги в литературе одной из самых известных французских романисток эпохи – г-жи Риккобони (см. следующую главу). Кроме того, в начале 60-х гг. XVIII века он обсуждает с мадам Риккобони принципы разрабатываемой им новой театральной эстетики (Diderot 1959, II: 77, 89). И Дидро, и Гримм привлекли к активному сотрудничеству в „Литературной корреспонденции“ („Correspondance littéraire“) известную писательницу г-жу д’Эпине, но их партнер Мейстер с одобрения Гримма умалчивает в ее некрологе о ее литературном творчестве<sup>8</sup>. Крайнюю и противоречивую позицию занимал также Жан-Жак Руссо, писатель, чей роман „Новая Элоиза“ совершил переворот в мышлении современников, и особенно, большей части женской аудитории. С одной стороны, Руссо, опираясь на собственный опыт, в „Исповеди“ оценивает высоко „предостерегающую“ роль романов, которые знакомят с миром и его опасностями, предоставляют модели поведения и раскрывают страсти<sup>9</sup> (Leborgne 1997: 952). С другой стороны, взгляды женевагражданина, высказанные и в предисловии к „Новой Элоизе“ и в главе V „Эмилия“ относительно женского воспитания, заставляют многих современных исследователей обвинять его в мизогинии. Выражение „Целомудренная девица романов не читает“ (Руссо 1968: 26) из предисловия к „Новой Элоизе“ обязательно цитируется во всех публикациях по истории французского романа того времени. Чтение романов может создавать комплекс вины (особенно если

---

<sup>8</sup> Этот факт отмечен К. Пио-Гийо (Piau-Gillot 1997: 453). Парадокс состоит в том, что г-жа д’Эпине на протяжении многих лет была любовницей Гримма, который иначе заботился о ней в нашедших на нее несчастьях, восторженно приветствовал ее награждение Французской академией именно за ее литературные произведения.

<sup>9</sup> Отношение Руссо к романам в „Новой Элоизе“ можно определить скорее как отрицательное. В „Предисловии“ он сравнивает их с низменными зрелищами: „Большим городам надобны зрелища, развращенным народам – романы“. В письме XXI части II, выраженная словами Сен-Пре, эта позиция чуть мягче: „Быть может, романы – последнее средство, к коему стоит прибегнуть, наставляя народ, до того испорченный, что все другие средства бесполезны“ (Руссо 1968: 25, 254).



касается повторного чтения любимых книг) у некоторых знатных читательниц, например, г-жи де Севинье, которая была одним из первых литературных кумиров юной Екатерины. Чтение романов, несмотря что было излюбленным занятием многих, рассматривалось как что-то, принижающее возвышенный литературный вкус аристократов/к (May 1963: 225–226)<sup>10</sup>. Сходным образом, в эпоху перехода от барокко к раннему классицизму в Европе, единственно высокопоставленным дамам, таким как г-же де Лафайет, прославленному автору „Принцессы Клевской“, было позволительно демонстрировать свое литературное творчество: „Только [...] графиня в 1678 г. могла себе позволить взяться за перо, не очень считаясь с мнением педантов и академиков. Единственно она могла бы себе позволить иметь успех, который, если бы принадлежал какому-нибудь кандидату в королевскую синекуру, стоил бы ему скандала и риска оказаться перед закрытыми дверьми Академии и быть вычеркнутым из списка светлых умов, находившихся на иждивении казны“ (May 1963: 225). И если ситуация во Франции и Англии еще в середине XVIII века изменилась коренным образом, и в этих странах уже существовала „целая армия романисток“, по выражению Жан Ларнака (там же, 206), принадлежащих скорее не аристократии, а третьему сословию, то в России того времени ситуация с женским авторством и кругом чтения дам походила больше на ту, которая была в этих странах век назад.

Русский роман последней трети XVIII века был областью доминирующего мужского авторства, он еще не знал женщин-авторов, которые бы дерзнули соперничать с мужчинами, особенно в обла-

---

<sup>10</sup> Ученый ссылается на письмо г-жи де Севинье, в котором писательница оправдывается, что перечитывает двенадцать томов (4153 страниц) романа „Клеопатра“ барочного автора Ла Кальпренеда (La Calprenède), но отмечает также, что такое кокетство и роскошь парадировать слабостью и ложной скромностью в отношении увлечения „плохой“ литературой, были вполне допустимыми для маркизы, тогда как они были бы плохо истолкованы, если бы касались дамы, занимающей ступени ниже социальной лестницы (May 1963: 225). Некоторые из первых серьезных биографов Екатерины II (Бильбасов, Валишевский) указывают на Ла Кальпренеда как на автора, произведения которого императрица предположительно читала в дни своей юности.

сти прозы. Несмотря на то, что тема о месте женщины в обществе ощутимо присутствует в русском романе с самого начала его существования (в „Письмах Эрнеста и Доравры“ Ф. Эмина и особенно в „Пригожей поварихе“ М. Чулкова, где героиня Мартона – активный и живой персонаж, борющийся за право не быть жертвой обстоятельств, а самой управлять своей судьбой), жанр считался даже сентименталистами, неподходящим для женщин-писательниц. Компромиссные формы – редкие переводы, осуществленные женщинами, обычно публиковались анонимно или обозначались инициалами, скрывающими самоличность переводчицы. Другой компромиссной формой женского авторства, которая не входила в парадигму канонической („мужской“) литературы, была мемуаристика и прежде всего автобиография (Heldt 1987: 9). Оригинальное наблюдение над своеобразным скачкообразным развитием женской литературы в России высказывает Ирина Савкина. По ее мнению, женщины выходят на сцену во время культурных переломов, когда рушатся культурные парадигмы и перестраивается канон. Тогда маргинальные и непрестижные с точки зрения старого канона элементы начинают вмешиваться в литературный процесс, и со временем они осмысляются как новаторские, порождающие несуществовавшие до тех пор формы и смыслы. В качестве таких узловых моментов, когда женское творчество выходит из-за „кулис“ на „авансцену“ культурной жизни, исследовательница указывает на конец XVIII века, 30–40-е и 60-е годы XIX века, „Серебряный век“ и современный период („перестройку“ и „постперестройку“) (Савкина 1998: 18).

Ситуация, в которой находилась Екатерина – читательница романов, походила на ту, в которой жили г-жа де Севинье и другие высокопоставленные дамы XVII–XVIII веков. Страсть к романам была захватывающей и всепоглощающей. Но в то же время они рассматривались как „низкое“ и незаслуживающее внимания чтение: серьезные книги определялись именно как „книги“, тогда как романы, упоминавшиеся чаще всего в множественном числе, „несерьезны“, их читают от скуки. Такое же отношение выказывает секретарь Екатерины Храповицкий, который отмечает в своем дневнике единственно покупку „Клариссы“ в 1789 г. и обобщает

только одним кратким предложением прочитанные императрицей несколько романов (Храповицкий 1990: 205).

В щекотливом положении находилась также Екатерина-писательница. Именно с высоты своего поста в государстве, она позволяла себе демонстрировать свое литературное творчество, чтобы подать личный пример русским авторам. „*Немка* по рождению, *французженка* по любимому языку и воспитанию, она занимает видное место в ряду русских писателей XVIII века“ (Ключевский 2000, III: 263).

Императрица очень хорошо знала литературную жизнь своей современности, ведущие и вновь возникающие тенденции в европейских литературах и стремилась перенести их в свою страну. „Обойтись без книги и пера для нее ей было также трудно, как Петру I без топора и струга“ (там же). Но Екатерина писала в конвенциональных для женского авторства, согласно тогдашним литературным представлениям, жанрах<sup>11</sup>. Так как стихотворные жанры никогда не были ей по сердцу, первые по времени тексты, которыми она заявляет о себе как автор, стали ее комедии начала 70-х гг.<sup>12</sup>. Обращение Екатерины к комедии и комической опере совпадает с

---

<sup>11</sup> Проблема публикации текстов первых русских писательниц (поэтесс, переводчиц) стала актуальной в 90-е гг. XX века, особенно после публикаций текстов под редакцией М. Фанштейна и Ф. Гепферта (Göpfert, Fainshtein 1998; 1999; Файнштейн 1995), а также серии сборников и монографий о русской женской литературе раннего периода (Kelly 1994; Andrew 1988; Barker, Gheith (eds) 2002; Rosslyn (ed.) 2003 и др.).

Характерно для первых публикаций русских писательниц их „маскирование“ под мужскими псевдонимами или чужим авторством. Так А. П. Сумароков, поощряя свою дочь Екатерину, будущую супругу крупного русского драматурга XVIII века Я. Б. Княжнина и известную русскую поэтессу, в ее первых шагах на литературном поприще, печатал многие ее стихотворения как свои, чтобы не скомпрометировать ее доброе имя (Rosslyn 2000: 407–438).

<sup>12</sup> Комедии императрицы сначала были анонимными, хотя кто был их автор, было секретом Полишинеля. Но так или иначе, Екатерина длительное время скрывается за анонимностью, и в своей журналистической практике во „Всякой Всячине“, где она пишет под различными псевдонимами (1769), и в комедиях. Однако, первым по времени литературным текстом императрицы считается перевод IX главы романа Мармонтеля „Велизарий“ (1767). За ним последовал полемический трактат „Антидог“ (1770).

пиком интереса русских писателей к этим жанрам в конце на 60-х – начале 70-х гг.<sup>13</sup>.

Интересно отметить, что в ее первых комедиях начала 70-х гг. в отличие от русских комедиографов-мужчин, у императрицы гораздо больше акцентов, связанных с поведением женщин (женское дворянское воспитание и необходимость современного образования, принципы семейной жизни; женщины как хранительницы старого порядка, носительницы невежества). Эта проблематика лишь частично будет затронута через десятилетие Фонвизиным в „Недоросле“ (1782). Другой популярный и традиционный „женский“ жанр, в котором Екатерина II добилась успеха, – педагогические сказки, написанные в начале 80-х годов для ее внуков. Общеизвестен факт, что по инициативе русской императрицы с начала 1769 г. начинается настоящее развитие русской журналистики и периодики, а также то, что Екатерина II принимает активное участие в издании инициированных правительством журналов. Но свои проявления в „мужском“ жанре журнальных публикаций и во „Всякой всячине“, и позже, в „Былях и небылицах“ русская государыня скрывает в коллективном труде и за мужскими псевдонимами (например, Афиноген Перочин в „Всякой всячине“). Впрочем, это характерный для Екатерины литературный „маскарад“, по выражению недавних публикаторов произведений сиятельного автора В. Былинина и М. Одесского, который сильно затруднил первых исследователей ее творчества в середине XIX века: „Исследователям пришлось преодолеть немало трудностей, обусловленных манерой императрицы прятаться за

---

<sup>13</sup> Тогда были написаны комедии императрицы „О, время!“, „Именины г-жи Ворчалкиной“, „Г-жа Вестникова с семьей“ (все 1772 г.) и др., которые соответствуют общей направленности русской комедии этого периода, после появления комедии „Бригадир“ Фонвизина и „склоненных на русские нравы“ переводных комедий Лукина, высмеивать реальные недостатки русского дворянского быта. В стороне от этого процесса не остается даже такой правоперный классицист, как Сумароков, чья поздняя комедия „Рогоносец по воображению“ (1772) высмеивает невежество и отсталость провинциального дворянства. На эту тему пишет свои комедии также Екатерина, которая критикует суеверие, отсталость, ханжество пожилых московских барынь, их любовь к сплетням и стремление задавать тон „общественному мнению“.

псевдонимами, иногда инкогнито выступать от мужского лица, нарочито неверно указывать год и место издания своих сочинений. К тому же многие ее произведения написаны по-французски и были изданы только за рубежом. Таким образом, приходилось сталкиваться с целым рядом специфических особенностей, которыми характеризовалась писательская деятельность императрицы Екатерины<sup>14</sup> (Былинин, Одесский 1990: 13). Типично „по-мужски“, согласно с аксиологией эпохи, русская царица ставила на первое место свои „маскулинные“ обязанности главы государства, говоря в частной переписке о своем литературном творчестве, как о забаве в свободное время: „Что касается моих сочинений, то я смотрю на них, как на пустяки; я любила делать опыты в разных родах; мне кажется, все, что я сделала довольно посредственно, также не придавала я им никогда никакой важности и считала развлечением“ (Письмо к д-ру Циммерману 1789 г. РТ: 611). Несмотря на эти уверения, думаю, что это очередное „женское“ кокетство, вписывающееся в конвенции времени. Широко известно, как высоко Екатерина ценила роль театра, литературы, искусства вообще для воспитания публики и активно пользовалась ими в своих политических сценариях, лично принимая активное участие в этом процессе<sup>14</sup>. Но в принципе, даже в первой половине XIX века занятия дам изящной словесностью считались диллетантскими, не создающими серьезных произведений, элегантным забавлением без особых претензий и, уважительно, не подлежащее серьезной критике. Такая концепция женской литературы связана с культурными стереотипами женщины и женственности (Савкина 1998: 23–26).

Если вернуться к творчеству Екатерины II, только в начале 80-х годов прочно утвердившийся на русском престоле царственный автор, играющий значительную роль в европейской политике и преодолевший ряд внутренних политических кризисов, вводит в другую группу своих комедий политические нападки, характерные больше для „мужского“ дискурса эпохи, и придает им памфлет-

---

<sup>14</sup> Следует, по меньшей мере, вспомнить часто цитированное мнение императрицы о роли театра и об ее собственном „амплуа“, выраженное в письме Сумарокову: „Театр есть школа народная... Я – первый учитель в этой школе“.

ный характер (это направленные против масонов комедии „Шаман Сибирский“, „Обольщенный“, „Обманщик“). В этот период Екатерина уже не боится посягнуть на „святую святых“ русского классицизма – политическую трагедию и становится первым русским драматургом, дерзнувшим разрушить каноны жанра в отношении времени и места действия в своих исторических хрониках 1786 г. в духе Шекспира („Историческое представление из жизни Рюрика“, „Начальное управление Олега“, „Игорь“). Уверенность и дерзость ей дает прежде всего ее авторитет сильного государственного деятеля. Таким образом, андрогинность власти помогает новаторским тенденциям проявить себя. Но даже тогда высочайший автор не набралась достаточно смелости обратиться к своей аудитории, используя спорную жанровую форму романа, несмотря на упражнение в переводе IX главы „Велизария“ Мармонтеля. Предполагаю, что в этом „сохранении для себя самой“ интереса к роману и в усвоении романной поэтики играли роль также соображения гендерного характера, связанные с личной совсем не целомудренной репутацией<sup>15</sup>. Это определяет в какой-то степени обращение Екатерины к жанру автобиографии, имитирующей искренность, подерживающей дидактизм, в достаточной мере свободной для экспериментов и тесно связанной с усвоенным из романов, но гораздо более подходящей для женщины, занимающей столь необычное место в социальной иерархии, желавшей поделиться своим личным опытом государя. Если г-жа д'Эпине, одна из известных писательниц – современниц русской императрицы, судьбой и и творчеством которой императрица сильно интересовалась, использует жанровую форму романа („История г-жи де Монбрильян“ („Histoire de Mme Montbrillant“, I изд. 1818), чтобы рассказать собственную историю, то „Северная Семирамида“ предпочитает обратное: жанр автобиографии, обогащенный романной топикой.

---

<sup>15</sup> В то же самое время Екатерина открыто принимает новый стиль в своем поведении, следуя „мужским“ моделям в интимной жизни. Тогда расцветает фаворитизм, традиционную конфигурацию которого (король-мужчина, выбирающий любовниц) она переворачивает, выбирая мужчин гораздо моложе ее самой (см. Проскурина 2006: 53; Строев 1998: 318).

## Читательский репертуар русской императрицы

Единичны упомянутые Екатериной заглавия прочитанных ею романов. Если руководствоваться лишь сообщенными императрицей именами писателей и заглавиями, невозможно даже неполно представить ее читательский репертуар, тем более вывести заключение о возможных интертекстуальных отношениях ее автобиографии с другими текстами. Как было уже отмечено, мемуаристка обобщающе говорит о „романах“, не входя в детали. То же самое можно сказать в какой-то мере и относительно „серьезного“ чтения, хотя насчет этого автор приводит в автобиографическом тексте больше подробностей. Она сообщает только самые престижные заглавия и имена, которые говорят о том, какими были интересы великой княгини Екатерины и как формировались ее идеи о развитии общества, нашедшие позднее практическое применение в ее деятельности главы государства и воплотившиеся во множестве политических документов. Многие из этих документов, обеспечивших ей славу просвещенной правительницы, например, знаменитый „Наказ“ 1767 г., были собственноручно подготовлены ею. Среди „серьезных“ заглавий, о которых говорится в автобиографии, – преимущественно известные исторические, мемуарные и философские сочинения античности и Нового времени (XVII и XVIII веков): „Сравнительные жизнеописания“ (в переводе 1907 г. – „Жизнь знаменитых мужей“) Плутарха, „Жизнь Цицерона“ Корнелия Непота, „Анналы“ Тацита, „Дух законов“ и „Размышления о причинах величия и падения римлян“ Монтескье, „История Германии“ отца Барра, „Опыт о нравах и духе народов“ Вольтера, „два огромных тома Барониуса“<sup>16</sup> (РТ–СРЗ: 366), „Мемуары“ Брантома, „Жизнь Генриха IV“ Перефикса (последние два – РТ–СРЗ: 272). В поздней редакции указываются еще произведения Платона (РТ–СРЗ: 280), а в некоторых черновых отрывках, не вошедших в окончательный текст, упоминается 5-томная „[Всемирная] История путешествий“ аббата Прево, которую мемуаристка читает „с картой на столе“, и первые тома „Энциклопедии“, которыми она

<sup>16</sup> „Дела церковные и гражданские“ (1719) Цезаря Барония.

„развлекается“ (РТ: 464). Но судить обо всем читательском репертуаре русской императрицы только по автобиографическим запискам было бы очень наивно, по меньшей мере из-за того, что они охватывают меньше первой половины ее жизни. Переписка Екатерины II с разными корреспондентами издает отличную ориентированность в современной литературе и в том, что уже тогда могло бы считаться классикой или же было признано такой: Рабле, Монтень, Амио, Шекспир, Расин и Корнель (кого она не любит), Ариосто, Сервантес, Оноре д'Юрфе, г-жа де Лафайет, Мольер, Шеридан, Фильдинг, Прево, Ричардсон, Стерн, обязательный для каждого правителя Фенелон, Мармонтель и, конечно, произведения Вольтера, Дидро, и даже не очень любимого Руссо<sup>17</sup>, немецкая библиотека Николаи, Тюмель<sup>18</sup> и многие другие, в том числе „все, что я нашла из русской литературы“<sup>19</sup>.

В автобиографии Екатерины II упоминаются всего лишь два заглавия романов. Первое, которое упоминается как в „черкасовской“, так и в поздней редакциях – роман „Tiran(t) le blanc“<sup>20</sup>, про-

---

<sup>17</sup> И. де Мадариага обращает внимание на двойственное отношение Екатерины к женевискому гражданину. Согласно исследовательнице, запрет „Эмиля“ в 1763 г. был следствием одновременного ввоза этой книги философа вместе с одной из новопоявившихся во Франции скандальных историй Петра III. Запрет мог бы проистекать также от Св. Синода, враждебно отнесшегося, как, впрочем, ряд европейских церковных институций, к „Исповеданию веры савойского викария“. Через два года фаворит Г. Орлов пригласит Руссо поселиться в России, а основанное Екатериной „Собрание, старающееся о переводе иностранных книг“ издаст в 60-е и 70-е годы на русском все сочинения философа, за исключением трактата „Об общественном договоре“ (Мадариага 2002: 411, 526, 540; см. также Lortholary 1951; Кобеко 1883: 603–617). Новый свет на эту проблему пролили материалы выставки „Catherine II, lectrice de Jean-Jacques Rousseau. Chemins des Lumières en Val d' Oise“. Montmorency, 20.09.1998–21.03.1999.

<sup>18</sup> О немецких авторах, произведения которых читала императрица см. Шарф 2015: 181–203.

<sup>19</sup> О составе личной библиотеки Екатерины II, насчитывавшей в конце ее жизни более 40 000 томов, см. Павлова 1987.

<sup>20</sup> В. Бильбасов не точно связывает этот роман с американской птицей *tirannus albus*. К. Валишевский доказывает, что речь идет о романе португальского писателя Жуанота Мартуреля, изданном в Валенсии в 1490 г., и известном европейской публике во множестве переводов (Валишевский 1989: 66).



читанный с удовольствием от начала до конца („de mon bon gré d'un bout à l'autre“ (Екатерина II 1907, XII: 75; русский перевод „по своей воле от начала до конца“ (РТ–Ч: 75) неточен) в конце 40-х годов. В редакции, посвященной барону Черкасову, мемуаристка делится тем, что произвело на нее впечатление в этой книге: „... мне очень нравилась принцесса, у которой кожа была так тонка, что, когда она пила красное вино, видно было, как оно течет у нее в горле“<sup>21</sup> (РТ–Ч: 75). Роман Мартуреля пользовался огромной популярностью по всей Европе и распространялся в многочисленных переводах, наиболее известный из которых – перевод известного французского романиста графа Кайлюса „Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc“. Предположительно эту версию читала героиня мемуаров. Этот роман был высоко оценен Сервантесом, который называет его „сокровищницей удовольствия и кладом для препровождения времени“ (Валишевский 1989: 66). Как всегда, ничего из „случайно“ упомянутых мемуаристкой подробностей далеко не случайно. Персонаж, о котором она упоминает и который привлек ее внимание, – это своего рода „визитка“ этого романа. Героиня, о которой идет речь, совершенно эпизодическая, не участвует в основном сюжетном действии, но действительно запоминается, благодаря впечатляющему описанию. Главный герой романа – храбрый рыцарь Тирант Белый. Он участвует в обороне Константинополя против турков и обращает их в бегство, вдохновляя местных христиан преследовать и убивать нашествеников (Мартурель 2005: 285). Вообще действие целой части объемистого текста происходит в византийской столице (часть „Тирант в Греческой империи“). Другая часть посвящена вообще освобождению Византии („Тирант освобождает Греческую империю“). Мало того, герой прославляется своим участием в морских битвах в греческом архипелаге, в обороне Родоса против мавров, чьи корабли тонут (Мартурель 1996: 147–149). В тексте, в главе 127, высказывается дорогая Екатерине идея о единстве европейского Востока

---

<sup>21</sup> Ср.: „... такой белизны необыкновенной у инфанты кожа, что, когда пьет она красное вино, видно, как струится оно по ее горлу, всем на удивление“ (Мартурель 2005: 44).

и Запада, которую символично объединяет личность императора Константина, основателя города (Мартурель 1996: 196). В романе Мартуреля есть также замечательный образ принцессы (другой, а не той с прозрачной кожей), которая произносит речь, восхваляя мудрость и мудрецов, среди которых Вергилий, Цезарь, Овидий, Аристотель, Катон, царь Соломон и Константин Великий и пр. (Мартурель 1996: 331). Заглавие этого очень популярного в то время текста сообщало будущему читателю автобиографии о будущих политических амбициях героини, связанных с идеей освобождения Константинополя и восстановлении Византии (знаменитый „Греческий проект“). Батальные морские сцены известного романа могли бы ассоциироваться с экспедицией на Архипелаг и победоносной Чесменской битвой, во время которой был уничтожен османский флот. В „черкасовской“ редакции упомянуто еще одно конкретное романное заглавие – тоже очень популярного романа Жана-Поля (Джованни Паоло) Мараны „Турецкий шпион“ („L’Espion Turc“, 1684<sup>22</sup>). В нем турецкий шпион комментирует в своих донесениях увиденное в землях противников Османской империи, причем часть действия происходит в „Московии“. И в этом случае заглавие имеет определенный смысл. Эти два примера представляют собой иллюстрацию характерной для автобиографии императрицы игры с ожиданиями читателей и ее расчет на ассоциации, которые должны вызывать у читателей знакомые заглавия, сюжеты, персонажи. Заглавие первого „случайно“ попавшего ей в руки и запомнившегося романа располагается в контексте „серьезного“ чтения, и совсем неслучайно отмечает начальную точку в житейской амбиции мемуаристки. Производит впечатление, что в „черкасовской“ редакции этот роман прочитан перед свадьбой мемуаристки. В поздней редакции это, очевидно, немаловажное для автора событие перенесено на период после ее замужества:

---

<sup>22</sup> Это популярное заглавие в оригинале очень длинно: *L’espion du Grand-Seigneur, et ses relations secrètes envoyées au divan de Constantinople, et découvertes à Paris, pendant le règne, de Louis le Grand: contenant les événements les plus considérables arrivés pendant la vie de Louis le Grand, À Amsterdam: chez H. Wetstein et H. Des Bordes, 1684.*

С тех пор, как я была замужем, я только и делала, что читала; первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием „Tiran le blanc“, и целый год я читала одни романы; но когда они стали мне надоедать, я случайно нашла на письма г-жи де Севинье: это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера; после этого чтения я искала книг с большим разбором (РТ–СЗР: 255).

Показательно, что второе упоминание первого прочитанного романа связано с Ораниенбаумом – местом относительной свободы великокняжеской четы, где каждый из молодых супругов может заниматься своими излюбленными делами. На фоне грубой солдафонщины Петра Федоровича, чтение Екатерины и переход от „романов“ к внимательно подобранным „книгам“ говорит о ее духовном росте и начавшейся последовательной подготовке к ее житейской и политической миссии. И если в „черкасовской“ редакции автор признается, что вследствие постоянного чтения романов чрезвычайно (и излишне) разожглось ее воображение („эти последние не преминули разжечь мое воображение, в чем я вовсе не нуждалась: я и без того была в достаточной степени жива, и эта живость еще усиливалась впоследствии ненавистного образа жизни, какой меня заставляли вести“ (РТ–Ч: 94), то верна только первая часть этого утверждения. Даже „безобидные“ и презренные романы, по всей видимости, разожгли не только фантазию, но и социальные амбиции живой женской личности.

Один из самых значительных образцов мирового эпистолярного наследия – письма г-жи де Севинье и произведения Вольтера (без уточнения, какие именно), служат своеобразным переходом к более серьезной литературе, дающей пищу уму. В этом своем качестве они присутствуют в „черкасовской“ редакции, и, как уже стало видно из процитированного отрывка, в поздней, середины 90-х годов:

... вкус к романам у меня проходил, случайно попали мне в руки письма г-жи де Севинье, они меня очень развлекли; поглотивши их, я стала читать произведения Вольтера и не могла от них оторваться. Кончив

это чтение, я стала искать что-нибудь подходящее, но, не находя ничего подобного, я пока читала все, что попадало под руки, и про меня можно было тогда сказать, что я никогда не бывала без книги и никогда без горя... (РТ-Ч: 108).

Если сравнить оба варианта, становится очевидно использование более раннего варианта в качестве черновика. В более позднем видна большая экономность. В нем пропущены всякого рода подробности, которые могли бы нанести ущерб впечатлению целенаправленности подбора: предложение из более ранней редакции „кончив это чтение, я стала искать что-нибудь подходящее, но, не находя ничего подобного, я пока читала все, что попадало под руки“ удалено при относительной одинаковости формулировок в соответствующих эпизодах. Впрочем, в эпизоде перехода к серьезному чтению есть опять-таки элемент литературной игры. Заявление об отказе от романов, вкус к которым проходил, сильно напоминает подобный эпизод в „Исповеди“ Ж.-Ж. Руссо<sup>23</sup>. Интересно также мнение Бильбасова и Валишевского о степени знакомства молодой

---

<sup>23</sup> Для сравнения: „Романы кончились вместе с летом 1719 года. Следующей зимой пошло другое. Исчерпав библиотеку моей матери, мы прибегли к доставшейся нам части библиотеки ее отца. По счастью, там нашлись хорошие книги; впрочем, иначе и быть не могло, потому что библиотека была составлена, правда, священником и даже ученым, что тогда было в моде, но человеком со вкусом и с умом. „История церкви и империи“ Лесюэра, „Рассуждение о всемирной истории“ Боссюэ, „Знаменитые люди“ Плутарха, „История Венеции“ Нани, „Метаморфозы“ Овидия, Лабрюйер, „Миры“ Фонтенеля, его же „Диалоги мертвых“ и несколько томов Мольера были перенесены в мастерскую моего отца, и я читал их ему каждый день, пока он работал. Я получил к чтению редкое, а в моем возрасте, быть может, исключительное пристрастие. Любимым моим автором стал Плутарх. Удовольствие, которое я испытывал, постоянно перечитывая его, немного излечило меня от моей страсти к романам; скоро я стал предпочитать Агесилая, Брута, Аристида – Орондату, Артамену и Юбе. Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжение всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого“ (Руссо 2011: 9). Интересно, что и у Екатерины, и у Руссо, „Сравнительные жизнеописания“ Плутарха, например, относятся уже к „серьезному чтению“, заменившему романы.

Екатерины с произведениями Вольтера<sup>24</sup>. Оба исследователя в очередной раз подозревают мемуаристку в преувеличении фактов. В первом своем письме к Вольтеру в 1763 г. Екатерина делает что-то вроде „признания в любви“ читательницы писателю: „Могу вас уверить, что с тех пор, как я располагаю своим временем, т.е. с 1746 г., я многим вам обязана. До того я читала лишь романы, но случайно ваши сочинения попали мне в руки; с тех пор я их беспрестанно читаю и не хотела уже читать хуже написанных книг“ (Екатерина II и Вольтер 1802: 3). По мнению Валишевского, контекст, в котором отправительница письма располагает неназванные произведения Вольтера, не очень ласкателен для великого философа. Биограф считает, что высочайшая мемуаристка к тому времени читала не политические мемуары Брантома, а его „галантные“ сочинения, которые, может быть, разбудили ее чувственность. Валишевский упоминает также не особенно авторитетные исторические сочинения Перефикса об Анри IV<sup>25</sup>, „Историю Германии“ отца Барра (Валишевский 1989: 67). Эти аргументы важны по двум причинам. Во-первых, Валишевский улавливает характерную для Екатерины игру умолчаниями и фактами, до которых посвященный читатель должен трябва сам додуматься, а непосвященный так и не поймет, так как они не названы прямым текстом. Действительно, сочинение Барра, может быть и дало Екатерине первоначальные сведе-

---

<sup>24</sup> Современный исследователь все-таки подтверждает знакомство семнадцатилетней тогда Екатерины с произведениями философа. К. Писаренко цитирует письмо великой княгини своей матери от 1746 г., в котором она спрашивает, когда мать пришлет ей обещанное собрание сочинений Вольтера: „Кстати, именно Иоганна-Елизавета познакомила дочь с творчеством Вольтера. 1(12) марта 1746 года герцогиня отправила в Петербург копию письма великого философа, адресованного жене шведского кронпринца Адольфа-Фридриха. И тогда же пообещала прислать шеститомное собрание сочинений француза. 22 марта (2 апреля) в конце письма обер-гофмейстера Миниха, среди прочих, появились такие любопытные строки, начертанные рукой Екатерины: „Что касается до писма господина Волтера, то оно весьма изрядно писано... Я Вашу Светлость нижайше прошу присылкою его сочиненных книг поспешить“ (Писаренко 2003: 275–276).

<sup>25</sup> М. Гринлиф опровергает незначительность этого сочинения. Адресованная юному Людовику XIV биография его предка и прославленного короля представляла адаптацию учения Макиавелли к французским условиям (Greenleaf 2004: 414).

ния о состоянии внутренней политики Германии, которые позже были ей полезны в государственных делах, несмотря на то, что к описываемому моменту еще не все из 11 томов вышли из печати (там же, 69)<sup>26</sup>. Но более показательны все же двусмысленные отношения мемуаристки к названным ею авторитетам. О ее настоящем отношении к аббату Барру можно судить по ее корреспонденции с Ф.-М. Гриммом и Дидро, в которой со снисхождением говорится об этом старательном и трудолюбивом труженике, чья „История Германии“ не получила должной популярности и признания ни во Франции, ни в Германии<sup>27</sup>. Поэтому можно предположить, что здесь имеет место очередная *игра* автора именами, а также скрытое послание к читателям, намекающее о другом писателе, имеющем сходную фамилию, – указанном выше Пулене де ла Барр. С другой стороны, приведенная Валишевским цитата свидетельствует, что Екатерина со временем вырабатывала устойчивые интерпретации отдельных эпизодов своей жизни, которые рассказывались лично ею одним и тем же образом, иногда буквально одними и теми же словами в разных ее текстах, как это видно в данном случае, эпистолярном и автобиографическом. Такие устойчивые рассказы повторяются также в воспоминаниях других людей, которые не обязательно были связаны друг с другом, придерживались различных убеждений, не всегда были положительно настроены к императрице. Среди этих мемуаристов княгиня Дашкова, В. Головина, Ш. Массон, Рюльер, причем некоторые вероятно не слышали этих „анекдотов“ от самой Екатерины, а пересказывали услышанное. Императрица старательно скрывала на протяжении многих лет, что работает над мемуарами, при этом настолько успешно, что

---

<sup>26</sup> В отношении прочитанных молодой великой княгиней книг Брантома, мнение Бильбасова отличается. Он считает, что именно „галантных“ сочинений французского автора мемуаристка тогда не могла найти в России и читала „Жизнеописания знаменитых людей и великих французских полководцев“, и „Жизнеописания известных французских и иностранных дам“, но не „Жизнеописания знаменитых женщин и галантных дам“ (Бильбасов 1900: 276).

<sup>27</sup> Эта констатация по поводу авторитета читаемого Екатериной историка содержится в заметке по случаю его смерти в 1764 г. в „Correspondance littéraire“ (Grimm 1878, VI: 39).

не сохранились свидетельства об этом. Когда у корреспондентов все-таки прокрадывались сомнения о таких занятиях, она их категорически опровергала (Hoogenboom&Stuse 2006: XLVI–XLVII). Однако, императрица очень дорожила тоном дружеского разговора, атмосферой салона (там же, XXI). Такой же диалогизм, дух беседы с читателем свойствен роману того времени, который должен поучать, развлекая (Автухович 1995: 78–79). Повествовательные „модули“, по всей видимости, были многократно испробованы в устной речи мемуаристки, в ее корреспонденции, до того как быть письменно зафиксированными в ее автобиографических записках. При этом, самый значительный компонент „модулей“ – их мифопорождающая функция.

Очевидно, что читательский репертуар императрицы был исключительно широким. О нем невозможно и неправильно судить лишь по лично сообщенным в разных источниках и в автобиографии заглавиям. Огромная часть прочитанных книг и особенно романов, как образец „несерьезного“ чтения, остаются неназванными, несмотря на то, что их послания в качестве более или менее явного интертекста присутствуют в мемуарах русской государыни. О литературном мышлении Екатерины II в силу мысль Мери Джакоубс „Чтение женщины становится формой автобиографии или создания себя, что, в конце концов мало отличается от авторства (женщины)“ (Джакоубс 1997: 218–219). Разгадка загадки, какие романы именно читала императрица, – очень трудна и, если когда-то ей будет суждено быть решенной, это будет результатом долголетнего труда многих исследователей, специалистов не только по истории русской литературы, но и ряда западноевропейских литератур. Одно из своих предположений, я предлагаю в следующей главе. Кроме как возможный интертекст, чтение присутствует в автобиографических записках Екатерины II как романский топос, широко распространенный именно в характеристиках женских персонажей в романах Просвещения. Он тесно связан с мотивами закрытого, замкнутого пространства, одиночества, которые будут рассмотрены в специальной рубрике.

### **Романная топка в тексте**

Объектом анализа здесь будет использование в автобиографии Екатериной II топосов, характерных для описаний женской судьбы в романах эпохи высочайшего автора, созданных ее современник(ц)ами или бытовавших как популярное чтение, главным образом, среди дамской аудитории. Разумеется, это западноевропейские романы, преимущественно французские и английские. Об обращении к русской беллетристике невозможно говорить, так как в то время русский роман делал свои первые шаги, и к концу столетия, когда императрица заканчивает свой жизненный путь, он все еще находился в фазе становления и был все еще аморфным и почти беспомощным.

К анализу романной топки в тексте следует подходить очень внимательно. Помимо видимых случаев заимствования повествовательной техники из романов с целью выработки собственной мифологии, надо иметь в виду и другие аспекты проблемы, которые скорее неосознанны: литературность, усвоение в ежедневном поведении людей того времени образцов, заимствованных из романов, самоидентификация, свойственная каждому читателю, с определенными романскими ситуациями и персонажами. Часто невозможно провести разграничение между различными случаями, особенно после 200-летней временной дистанции и недостаточности множества экстралитературных сведений, которые могли бы помочь в „расшифровке“ закодированных посланий.

### **Романные топосы, связанные с детством и юностью**

Эти мотивы обязательны не только в автобиографии и мемуарах, но также в романе от 1 лица, поэтому отличаются устойчивостью и частым употреблением. В силу того, что рассматриваемый текст – автобиография, логично ожидать обычные для жанра описания рождения автобиографа, традиционные сведения о его происхождении, родителей, воспоминания детства.

Рассказ о детстве почти обязателен для жанра. Редко встречаются автобиографы, которые пренебрегают этим периодом своей



жизни (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 29). В практике Екатерины II представлены оба варианта. В автобиографии Екатерины II развернутый рассказ о детстве присутствует в первой редакции 1771 г. Известные сведения имеются также в планах, кратких автобиографических отрывках, предназначенных для близких. Таков ранний вариант (РТ: 467–499) конца 50-х годов XVIII века, адресованный, по всей вероятности, Станиславу-Августу Понятовскому или Хэнбери-Уильямсу<sup>28</sup>. В нем конспективно излагаются основные события в жизни мемуаристки до ноября 1754 г., т.е. до периода после рождения ее сына, когда, согласно заключительной фразе, мемуаристка заявляет: „я переменяла тон, он стал выше, меня больше щадят, и у меня больше покоя, чем прежде“ (РТ: 499). Во второй редакции, посвященной барону Черкасову, повествование начинается днем после свадьбы великокняжеской пары, и в этой части практически нет сведений о предшествующем событию периоде. В поздней редакции внимание мемуаристки сосредоточено на описании начального периода ее пребывания в России, и в тексте есть очень немного ссылок на ее прошлое. В этом варианте текста детство и юность как самостоятельный эпизод отсутствуют.

Начало первой редакции отвечает наиболее полно канону автобиографии. Текст начинается традиционным заявлением даты рождения автора и сведением об ее возрасте: „Я родилась 21 апреля (2 мая) 1729 г. (тому сегодня 42 года) в Штетине, в Померании“ (РТ–Б: 1). Эта редакция изобилует большим количеством откровенных романских топосов, которые повествовательница не стремится органически интегрировать в текст, как это она делает в бо-

---

<sup>28</sup> Финальное заявление в комментируемом отрывке в какой-то степени контрастирует с аналогичным эпизодом поздней редакции, в которой рассказчица оставлена „в покое“ после появления на свет Павла, но все еще не „переменяла тон“, а обсуждаемая перемена в ее поведении перенесена на следующие два-три года. Вероятно, психологическое состояние, в котором великая княгиня Екатерина писала эту раннюю записку („Если ви найдете, что много вещей пропущено, пеняйте на быстроту, с какой я пишу“ (с. 497), и стремление представить желанное как действительное, продиктовали этот финал документа, в отличие от поздней редакции, в которой равернут мотив активной работы над собой.

лее поздних вариантах. Первый топос находится в самом начале: *разочарование родителей появлением дочери*, а не первородного сына, *и трудные роды матери*, которые чуть не стоили ей жизни: „Мне рассказывали, что, так как желали сына, то вовсе не были рады, что я появилась первой; впрочем отец выказал больше удовольствия, нежели его окружавшие. Мать чуть не умерла, производя меня на свет, и еще долго спустя находилась между жизнью и смертью“ (РТ–Б: 1).



Иоганна-Елизавета Голштейн-Готторпская,  
княгиня Ангальт-Цербстская. Мать Екатерины II

Мотив нежеланной дочери вписывается в аксиологию эпохи, ценившей рождение мальчика (особенно первородного сына). Этот мотив очень активно используется в романах западноевропейских писателей именно в силу своей типичности<sup>29</sup>. „... В XVIII веке пол новорожденного – в романе, как в жизни – был не без значения [...] Вместе с рождением девочки на белый свет приходил негативизм: ее первый крик отзывается в плаче разочарованной семьи. [...] Аристократическая или буржуазная, каждая семья в романе смотрит на присутствие дочери как на „груз“ (Fauchery 1972: 121–122)<sup>30</sup>. Основания подозревать „романность“ в заявлении Екатерины о чувствах, с которыми ее семья встретила ее появление на свет, можно найти в противоречии, которое она допускает во второй части предложения: „впрочем, отец выказал больше удовольствия, нежели его окружавшие“. Эта констатация, по всей видимости, больше отвечает истине. Но мотив нежеланной дочери связан с другим популярным романским топосом: о *нелюбимой дочери*, а также холодного и даже враждебного отношения матери, вследствие трудных родов, и предпочтение, которое она отдает другим своим детям, и особенно сыновьям. Ощущением пренебрежения и детской зависти маленькой Софии-Фредерики из-за нежности матери к родившемуся два-три года позже брату, немецкая исследовательница Гина Каус объясняет особенности личностной индивидуальности русской императрицы, стремившейся с самого раннего детства к успешному исполнению мужского амплуа в жизни: „Ее несправедливо бранят, унижают, ставят в угол, а в ней тайно зреет упрямое вызывающее отношение к матери, к судьбе, к природе: она хочет стать мужчиной, быть равнозначущей мужчине, начать представлять

<sup>29</sup> О частоте использования романских топосов, а также о формулировке многих распространенных в романах классической эпохи (XVIII–XIX вв.) мотивов и ситуаций см. сайт Международного общества по изучению романной топики (Société d'analyse de la topique romanesque (SATOR) [www.satorbase.org](http://www.satorbase.org), а также сайт научного общества Women Writers, занимающегося творчеством женщин-писательниц [www.roquade.nl/womenwriters](http://www.roquade.nl/womenwriters).

<sup>30</sup> Автор доказывает свое наблюдение примерами из романов г-жи Риккбони, Х. Уолпола, Софи Ла Рош, Ричардсона, Дидро.

собой нечто большее, чем мужчина. Больше чем мужчина! Вот первичная, может быть, даже неосознанная, но проводимая с железной неуклонностью до самой смерти линия поведения этой единственной в своем роде женской индивидуальности“ (Каус 2002: 12). Интересно, что идентичная ситуация есть в автобиографических записках кавалерист-девицы Надежды Дуровой. В обоих текстах, авторы которых имеют одинаково „неженские“ судьбы, один из основных сюжетных мотивов – это враждебные отношения между матерью и дочерью от появления последней до момента ее выбора, после чего мать больше не присутствует активно в жизни дочери.

В отличие от образа матери, образ отца в автобиографии Екатерины только слегка намечен, как будто он не оказал никакого влияния на воспитание дочери. Два факта говорят против такой интерпретации. Первый – старательно составленное князем Ангальт-Цербстским наставление, написанное при отъезде Софии-Фредерики в Россию, которым он постарался укрепить ее верность протестантству, как и письма дочери, предназначенные успокоить отцовские тревоги и примирить его с переменой веры. Сам Христиан-Август прилагает немало усилий успокоить многочисленную немецкую родню, возмущенную этим актом. В. А. Бильбасов описывает сложную ситуацию, в которую попали родители новоиспеченной великой княжны, и особенно ее отец: „Бабка принцессы Софии, герцогиня Брауншвейгская, мать княгини, ее тетка, абатисса Кведлинбургская, и вообще женский персонал семьи особенно восставал против „затеи“ породниться с русским императорским домом, наиболее революционным, наименее прочным. Христиан-Август не умел защитить свою жену перед родными, вел крупную переписку, ссорился с ними; княгиня, как могла, поддерживала мужа своими письмами из Москвы“ (Бильбасов 1900, I: 127). Второй факт – глубокая скорбь великой княгини по поводу смерти отца и неуважение к ее чувствам со стороны императрицы Елизаветы и ее приближенных. Насчет первого факта в ранней редакции есть всего лишь одно предложение: „Он дал мне письменное наставление в нравственности“

(РТ–Б: 31). Второй факт отражен в обеих редакциях 90-х годов. В посвященной барону Черкасову это краткий эпизод, в котором подчеркнута как глубокая скорбь мемуаристки: „Я сильно плакала и была в таком глубоком горе, что заболела“, так и бестактность императрицы Елизаветы, в которую великой княгине даже не хочется поверить „из уважения к Ее Величеству“. Фрейлина Чоглокова передает Екатерине приказ Елизаветы: „Императрица велела приказать мне, чтоб я перестала плакать, что мой отец не был королем, и потеря не велика“ (РТ–Ч: 100). В поздней редакции эпизод развернут. Он приобретает смысл придворной интриги по поводу мнимого желания великой княгини, чтобы иностранные послы ей высказали соболезнования. Рассказ об унижении и неуважении к глубокой скорби и личных отношениях заменен уточнением положения великой княгини в государстве и отношения к ней императрицы и канцлера Бестужева, которые „поставили ее на место“ (РТ–СРЗ: 257–259). Образ отца развит единственно в черновой редакции конца 50-х гг., предположительно предназначенной Понятовскому. Он воссоздан главным образом на фоне предсвадебной подготовки и принятия решения о путешествии в Россию. До этого, в коротком эпизоде страшной детской болезни Софии-Фредерики, именно отец, сильно любивший дочь (РТ: 468), прилагает все усилия, чтобы она не осталась инвалидом. Мемуаристка представляет своего отца строгим, но справедливым, внушающим уважение, и великодушным человеком, который предоставляет своей дочери право выбора:

„Я заливалась слезами: это была одна из трогательнейших минут моей жизни; тысяча различных побуждений волновали меня: благодарность за доброту моего отца, страх не угодить ему, привычка слепо ему повиноваться, нежность, которую к нему всегда питала; уважение, которого он заслуживал, преодолело; действительно, никогда человек не заслуживал его больше, самая чистая добродетель направляла его шаги“ (РТ: 472).



Христиан-Август Ангальт-Цербстский, отец Екатерины II

Самая неожиданная черта отцовского характера – его „рьяная“ привязанность к „республиканскому образу правления“, которую Екатерина объясняет перечисленными ею моральными качествами. Она признается также в склонности к республиканским идеалам<sup>31</sup> („дело почти невероятное на месте, которое я занимаю, и обладая тем честолюбием, какое я имею“ (РТ: 472). Несмотря на реально сильное влияние на формирование ее личности, в основных вариантах автобиографии русская императрица не развивает образ своего отца. О причинах можно только гадать. Одна из них,

---

<sup>31</sup> О либеральных идеях во внутренней и внешней политике Екатерины II и ее „республиканизме“ (см. Griffiths 1973; Гриффитс 2013: 63–101).

без сомнения, связана с мотивом конверсии. Так сильно гордящаяся в переписке с Вольтером своей ролью главы „греческой церкви“ и так старательно создающая свой образ принявшей душой и сердцем православную веру христианки<sup>32</sup>, императрица явно не желала припоминать свое протестантское прошлое. Другая причина, как в случае с образом матери, а как мы увидим дальше, и с образами воспитателей, – желание мемуаристки, чтобы ее блестящая карьера воспринималась как плод единственно собственных усилий. Следующую из причин схематического образа отца следовало бы искать в литературе того времени, в которой роман не предоставлял подходящих моделей сердечных отношений отца и дочери.

В автобиографии Екатерины *безразличие матери* в раннем детстве, а позже соперничество и зависть к дочери – ведущие мотивы в первой редакции, которые переходят и в написанную двадцатью годами позже „черкасовскую“ редакцию и, хотя и слабее, в позднюю редакцию<sup>33</sup>. Реальное положение вещей, по всей вероятности, заметно отличалось. Если обратиться к фактам и не доверять полностью рассказу императрицы в разных вариантах ее автобиографии, можно установить существенные различия. Вряд ли ненависть матери к дочери была настолько сильной, как это описано в

---

<sup>32</sup> Тут можно вспомнить эпизоды споров с учителем вероучения в детстве, интерес к православию по приезду в Россию, впечатляющий ритуал принятия православия с прочувственным прочтением „Исповедания веры“ на русском языке, старательное соблюдение постов и религиозных ритуалов будучи великой княгиней и потом, находясь у власти.

Кл. Шарф предлагает детальный анализ религиозных взглядов убежденного пиетиста Христиана-Августа и влияние протестантских религиозных принципов, усвоенных Екатериной в детстве на ее убеждения и стиль поведения (Шарф 2015: 85–122).

<sup>33</sup> Здесь не обсуждается такая вариация этого топоса, как отношения с псевдо-матерью (свекровью, покровительницей и пр.), в случае императрицей Елизаветой Петровной, так как несмотря на бытовые аспекты, неизбежно присутствующие в автобиографии, гораздо важнее противопоставление с точки зрения государственного поведения обеих государынь, являющееся частью условно названного мной „публицистического дискурса“ в рассматриваемом тексте. Это – предмет главы IV Книги II.

мемуарах. На самом деле мать прилагает все посильные ей усилия, чтобы воспитать подобающе Софию-Фредерику, насколько ей позволяли скудные средства Ангальт-Цербстского двора. „Итак, даже если Иоганна Елизавета действительно обделяла любовью свою первую дочь, со своей главной задачей – матери княжеской дочери – в понимании XVIII века она справилась вполне. Воспоминания Екатерины не оставляют сомнения в том, что их автор очень хорошо сознавала, кому она обязана своим успехом“, – отмечает К. Шарф (Шарф 2015: 74). Тут можно отметить и многочисленные совместные поездки, во время которых юная принцесса введена в престижный круг своих родственников из разных немецких дворов, представлена при берлинском дворе. Иоганна-Елизавета прозорливо предпринимает удачные шаги и делает все необходимое, чтобы устроить будущее дочери. Она стремится привлечь к ней внимание царственных особ, которые могли бы впоследствии оказать покровительство ее дочери (прием у прусского короля Фридриха-Вильгельма, которого детская непосредственность девочки ставит в неловкое положение, посылка детского портрета юной Софии толко что взошедшей на престол Елизавете Петровне, как напоминание о существовании юной принцессы, с которой могли бы связаться матримониальные планы объявленного наследником русского престола Карла-Петра-Ульриха<sup>34</sup>). Конечно, можно задаться вопросом

<sup>34</sup> С этим сообразительным ходом принцессы Иоганны-Елизаветы некоторые ученые связывают последовавшее предложение со стороны русской императрицы, избравшей юную Софию-Фредерику невестой своему наследнику (Каус 2002: 22; Мадариага 2002: 25). В действительности в 1742 и 1743 гг. были посланы два портрета, а не один, кисти соответственно Бальгазара Денера и Антуана Песне (Hogenboom&Cruse 2006: XIV, LVIII). Мать Екатерины воспользовалась сентиментальностью новой русской императрицы, которая была невестой ее брата, нелепо умершего перед свадьбой, и хранила воспоминание о любви к нему. Кроме того, Елизавета Петровна была крестной матерью младшей сестры Софии-Фредерики – Елизабет (1742–1745) (РТ–Б: 29). Русская императрица часто делала щедрые подарки семье бывшего жениха: дает бабке Екатерины пожизненную пенсию, посылает ее матери после рождения ее сестры свой портрет, осыпанный алмазами и пр. Как отмечают Хугенбум и Крузе, несмотря на то, что София-Фредерика происходила из небольшого немецкого княжеского рода, она была хорошо подготовлена матерью к придворной жизни (Hogenboom&Cruse 2006: XIV).



насколько мать, которая была на шестнадцать лет старше и получила совсем конвенциональное воспитание, могла быть духовной наставницей дочери. Но и в этом отношении Иоганна-Елизавета сделала немало. Несмотря на интерпретацию ее образа в мемуарах как легкомысленной и эгоистически настроенной, Иоганна-Елизавета была довольно-таки просвещенной и неординарно мыслящей женщиной, о чем говорит ее личное знакомство и переписка с Вольтером<sup>35</sup>; общение, которое продолжается до самой ее смерти с такой незаурядной женщиной-эмансипанткой графиней Бентинк<sup>36</sup> и пр. После замужества великая княгиня не довольствуется официальными письмами к своим родителям, которые изготавливает от ее имени Иностранная коллегия, а поддерживает рискованную тайную переписку с матерью. Эпизод тайного получения записки от матери через посредничество кавалера Сакромозо и такого же тайного отправления ответа великой княгиней выдержано в духе лучших романских традиций: незаметная передача записки во время танца, добывание письменных принадлежностей, чернил, и бумаги (это удастся легче всего: Екатерина просто отрывает пустой лист из читаемой в тот момент книги); помощь доверенных лиц: музыкант, услужливо подставляющий пустой карман, чтобы сунуть в него письмо, ювелир, снабдивший героиню под зорким взглядом стороживших ее придворных „самопишущим пером“, полным чернил, и пр. Даже если эта почти криминальная история

<sup>35</sup> В корреспонденции Вольтера сохранились два ответа на письма княгини Ангальт-Цербстской.

<sup>36</sup> „Графиня Бентинк продолжала оставаться близкой подругой матери Екатерины вплоть до ее смерти. [...] Через Шарлотту фон Бентинк Иоганна Елизавета попыталась – впрочем, безуспешно – завязать переписку с Вольтером. Однако, когда графиня после его бегства из Берлина в 1754 году проживала сначала в цербстском замке, а затем в Лейпциге у Готтшедов, Иоганну Елизавету приняли в этот круг, где высоко ценились самостоятельные женщины и благородные покровители“ (Шарф 2015: 112). Переписка матери Екатерины с Вольтером не была продолжительной, но впоследствии философ неоднократно вспоминал о принцессе в своей корреспонденции с ее дочерью (Voltarie – Catherine II 2006: 43, 46, 108, 114). По сведениям (пра?)внучки графини Бентинк и ее биографа, объемистая переписка обеих дам продолжалась до 1758 г. Сохранилось письмо, в котором Иоганна-Елизавета объявляет подруге о рождении Павла (Le Blond 1912: 87–88).

является бытовой имитацией популярных мотивов поведения находящихся в тюрьме романских персонажей, она говорит не только о способности дочери рисковать (мотив, имеющий соответствие в романах), но также об ее настоящих чувствах к ее матери. Мотив безразличия матери, а также соперничества между матерью и дочерью во всех фрагментах текста должны подчеркнуть самостоятельность автора в выборе пути и в формировании собственной личности, несмотря на неблагоприятные обстоятельства детства. Во всех редакциях суэта, легкомыслие, интригантство матери, ее страсть к удовольствиям, которые едва не провалили „карьеру“ дочери, противопоставлены рациональности, умеренности, такту, дискретности, приветливому нраву юной принцессы, решившей несмотря ни на что не пропустить золотой шанс.

С дистанции времени и с позиции зрелости Екатерина II придает фактам и событиям дидактический привкус и иллюстрирует ненавязчиво, на примере своей жизни и отношений с собственной матерью недостатки женского воспитания того времени. Эпизоды соперничества между матерью и дочерью олицетворяют типичный для классицизма мотив противопоставления страстей, проявлением которых в мемуарном тексте является легкомысленное поведение матери, и долга, осознанного еще в ранней юности мемуаристкой как призвание, предназначение, подчиненного разуму и внушающего стоицизм молодой героине. Таким образом, романские топосы нелюбимой дочери и безразличной матери играют важную роль в выработке мифа о детстве героини. В этом смысле права Г. Каус, которая отмечает: „Каждый раз, когда Екатерина рассказывает впоследствии о своем детстве, она это делает с гордостью миллионера, повествующего о рваных ботинках, в которых ему некогда приходилось посещать школу“ (Каус 2002: 10). С точки зрения романной топики в этом случае наблюдается вариация топоса о нелюбимом ребенке, ставшем героем ([www.satorbase.org](http://www.satorbase.org)). В поздней редакции, в которой акцент поставлен на личные усилия великой княгини и на ее работу над собой в сравнении с отрицательным примером ее супруга, не оправдавшего своего высокого и полученного по рождению предназначения, образ

матери сильно редуцирован и эпизодичен. Он присутствует лишь в рассказе о начальном периоде пребывания будущей императрицы в России. Из прежних вариантов сохранены только наиболее яркие эпизоды: опрометчивое поведение матери во время тяжелой болезни Софии, ее отказ от кровопускания, который весь двор толкует как нежелание спасти, а навредить дочери; мелочная история с материей, которую мать отбирает у больной дочери; дипломатичность молодой Екатерины между женихом и матерью во время одной из наиболее тяжелых их ссор; разоблачение политических интриг Иоганны-Елизаветы в пользу французского двора и ее объяснение с императрицей Елизаветой Петровной. Каждый из этих эпизодов использован, чтобы раскрыть дополнительные штрихи в целеустремленной натуре юной героини. Тут можно добавить ее своеобразный героизм, проявившийся в упорном ночном изучении русского языка и догм православия, усердие, которое чуть не стоило ей жизни из-за тяжелого заболевания легких; желание в самый критический момент исповедоваться перед православным, а не лютеранским священником и пр. Такт и уступчивость, искреннее стремление пятнадцатилетней героини узнать как можно лучше и полюбить новую родину обеспечивают ей симпатии всего двора. Таким образом, популярный романский мотив враждебности между матерью и дочерью играет решающую роль в выработке мифологизированного образа юной Екатерины, что в разных редакциях текста неизменно подчеркивает ее независимость и самостоятельность в выборе пути.

И в мемуарах, и в романах среди самых распространенных топосов – сведения о *семье*, роде и среде, в которой растет и развивается персонаж. Особенно часто такие подробности встречаются, когда автор принадлежит к высшему обществу<sup>37</sup>. Исчерпательные генеалогические сведения, преимущественно относительно блестящих родственных связей матери будущей императрицы, должны подчеркнуть престижность ее происхождения, есть только в

---

<sup>37</sup> В базе данных satorbase рассматривается топос „принцесса“ (princesse), имеющий сходные характеристики.

первой редакции 1771 г. Иоганна-Елизавета была в родственных связях с самыми блистательными дворами Европы, хотя, по словам многих историков, играла в них роль бедной родственницы. Русская императрица подробно рассказывает о жизни, браках, привычках, стиле жизни многих родственников матери, имена которых, может быть, сохранились только в этом тексте<sup>38</sup>. В дальнейшем автор сводит подобные сведения почти к нулю. Такое решение можно объяснить стремлением мемуаристки представить свой успех („счастье“) не как следствие происхождения или расположения звезд, а как результат личных усилий и качеств.

Так же поступает Екатерина с рядом откровенно романских топосов, которые имеют древнее происхождение и фольклорные корни и которые она использует в редакции 1771 г. Это мотивы *чудесного исцеления* от тяжелой болезни, *предсказания* будущего, *некрасивости в детстве*. Екатерина рассказывает, согласно конвенциям мемуарного жанра, о некоторых запомнившихся бытовых происшествиях (например, когда в трехлетнем возрасте она оказалась накрытой огромным шкафом) и детских болезнях. Но под сильным влиянием литературной фикции строится ее рассказ о необычной болезни позвоночника, изогнувшегося после какой-то простуды в форме буквы Z. Единственное лекарство от этой страшной болезни находит городской палач, который не только изобретает специальный корсет, но рекомендует утренние растирания слюной голодной молодой служанки. Самое интересное, что эти меры быстро дают результат (РТ–Б: 5). Фигура палача, человека вне общества и посредника между его законами и смертью, согласно фольклору наделена некоторыми чудотворными умениями, что видно и в использовании необычного лекарства.

Другой сходный по характеру эпизод, это предсказание будущего, который часто связан с популярным в беллетристике мотивом некрасивости героини в детстве. Мотив предсказания блестящего и успешного будущего мемуариста часто встречается в автобиогра-

---

<sup>38</sup> Клаус Шарф тщательно рассматривает престижные генеалогические связи русской императрицы по материнской линии (Шарф 2015: 70–84).

фическом письме до Руссо, причем некоторые авторы не сообщают ничего другого о своем детстве, а останавливаются лишь на этом сюжете (Lecarme&Lecarme-Tabone 1997: 29). Рассказывая о детстве, Екатерина говорит о себе, как о совсем обычной, даже некрасивой девочке, о которой говорят, что у нее нет особых шансов на будущее с такой внешностью. Красота важна, особенно для небогатой принцессы, которая могла бы хоть внешностью привлечь внимание женихов: „Не знаю наверно, была ли я действительно некрасива в детстве; но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что поэтому следовало позаботиться о приобретении ума и достоинств, так что я была убеждена до 14 или 15 лет, будто я совсем дурнушка, и я действительно гораздо больше старалась о приобретении достоинств, нежели думала о своей наружности“ (РТ–Б: 12–13). На этом фоне все разговоры о возможном выгодном замужестве за каким-нибудь престолонаследником выглядят неправдоподобными и только разжигают амбицию, которую сама девушка отгоняет как невероятную и неосуществимую (рассуждения отцовского приятеля Больхагена по поводу королевской свадьбы в Англии, РТ–Б: 12). Этот эпизод ранней редакции текста предшествован другим, связанным с мотивом сбывшегося предсказания. Это посещение в Брауншвейге, где ученый монах совершенно неожиданно предвещает Софии-Фредерике не одну, а целых три короны:

Познакомилась я там еще со всей линией Брауншвейг-Бевернской, к которой принадлежала некая принцесса Марианна, мой близкий друг, обещавшая быть очень красивой. Моя мать очень ее любила и предрекала ей короны. Она однако умерла незамужней. Как-то приехал в Брауншвейг с епископом принцем Корвенским монах из дома Менгден, который брался предсказывать будущее по лицам. Он услышал похвалы, расточаемые моей матерью этой принцессе, и ее предсказания; он сказал ей, что в чертах этой принцессы не видит ни одной короны, но по крайней мере три короны видит на моем челе. События оправдали это предсказание (РТ–Б: 10)<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Три короны – короны Великой, Малой и Белой России, как гласит начало титула российского императора. Поэтому неуместна ирония, что императрица ошиблась числом, выраженная некоторыми современными комментаторами, неточно цитирующими высказывание В. О. Ключевского, что судьба поднесла

Эти два эпизода, а также эпизод семейных разговоров, „для развлечения“ обсуждавших тот же сюжет: о почти несбыточной гипотезе, чтобы молодой Голштинский герцог, только-что объявленный наследником русского трона, предложил брак принцессе Ангальт-Цербстской (РТ–Б: 22), вводят в автобиографию мотив свадьбы, как результат своеобразного предопределения. Им предшествует получение самого брачного предложения, прибывшего в Цербст, если верить мемуаристке, 1 января 1744 г. Так готовят читателя к рассказу о главном событии в юности автора: ее поездке в Россию в качестве избранницы русского престолонаследника. Действительно или нет, но дата начинающегося Нового года становится символом нового начала, предугаданного самой принцессой, как-будто самим сердцем (записка Софии ее недоверчивой матери с разгадкой содержания „гадания“: „Предвещаю по всему, что Петр III будет твоим супругом“ (РТ–Б: 30). Это гадание присутствует также в кратком варианте конца 50-х годов и, вероятно, нравилось делающей свои первые шаги в трудном жанре автобиографии мемуаристке. Русская императрица, может быть, имела в виду обычаи своей новой родины, в которой начало Нового года отмечалось девушками подблюдными песнями и гаданиями о замужестве. Все „предсвадебные“ эпизоды старательно пропущены в поздней редакции, в которой повествование сосредоточено на „русской“ жизни автора и ее отношений с супругом.

В поздней редакции в какой-то форме снова встречается мотив предсказания. В этом случае время действия – середина 50-х гг. Ораниенбаумский садовник Ламберти, славящийся своим провидческим даром („между прочим, предсказание, сделанное им императрице, сбылось. Он ей предрек, что она взойдет на престол“ (РТ–СРЗ: 375) предсказывает великой княгине будущее самодержавной императрицы:

---

Екатерине II не три, а одну корону, но стоящую десять немецких (Ключевский 2000: 239).

Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану Российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, слишком 80 лет от роду. Он сделал более того: он определил год моего восшествия на престол за шесть лет до того, как оно действительно произошло (РТ–СРЗ: 375).

Вроде бы, это предсказание не имеет той же концептуальной роли, как предыдущее. Но следует обратить внимание на место в тексте, в котором Екатерина помещает его. Хотя и упомянутый как-то вскользь, как любопытная подробность, этот незначительный эпизод имеет важное значение. Во-первых, он добавляет штрих к портрету императрицы Елизаветы, которая начинает недоброжелательно относиться к странному садовнику, так как он предрекает ей нежеланное ею будущее, а „он не мог больше обещать ей трона“ (РТ–СРЗ: 375). Во-вторых, этот эпизод занимает важное место в композиции автобиографического повествования. Он предшествует заключительной части поздней редакции, в которой будущая прославленная русская императрица начинает активно участвовать в политике. Первоначально она вмешивается в управление голштинскими делами, из-за небрежности и нежелания великого князя, который был государственным главой немецкого герцогства, заниматься ими. Потом последовало ее участие в решении русских государственных вопросов в сотрудничестве с великим канцлером Бестужевым. Сказочный характер первого предсказания заменен мнимым снисхождением автора к странностям слуги. В то же время, она ссылается на его авторитет, на „сбыточность“ его пророчеств, чтобы подготовить читателя к следующим „публицистическим“, „государственным“, а не романным эпизодам.

Таким же образом мемуаристка поступает и с подробностями своего *воспитания* и обучения в раннем детстве. В редакции 1771 года немало страниц посвящены няням, гувернанткам, учителям, преподававшим разные предметы маленькой Софии-Фредерике: педанты или пробуждающие интерес к знанию, вызывающие вопросы любознательной девочки, ласкающие ее самолюбие и прикрывающие ее слабости или же воспитывающие ее упорство,

характер и развивающие его интеллект. И описания гувернанток и учителей, и перечисление изучаемых предметов дают представление о конвенциональном воспитании маленькой принцессы („Меня учили всяким женским рукоделиям, но о них я заботилась столь же мало, как о чтении“ (РТ–Б: 8), какое давала своим дочерям каждая уважающая и занимающая высокое положение в обществе немецкая семья, единственной целью которой было впоследствии выгодно их выдать замуж. Как отмечает Пьер Фошри, „в известном смысле можно сказать, что воспитание – это первый „сексуальный“ опыт Женственности“ (Fauchery 1972: 157)<sup>40</sup>.

Но автор не пропускает возможности подчеркнуть такие штрихи своего характера и интересов, которые позже найдут реализацию в ее зрелой жизни, и говорят, как о предопределенности ее судьбы, так и об устойчивых свойствах ее личности. Особенно запоминающимся в этом отношении является эпизод с пастором, который должен наставлять любознательную девочку в лютеранстве („Он мне говорил – хаос, а я хотела знать, что такое хаос“ (РТ–Б: 7). Неестественно звучит воспоминание об интересе юной принцессы к церковным вопросам, предвещающее ее государственную карьеру и руководящую роль в отношении к православной церкви: „Я спросила однажды у этого священника [...] какая из христианских Церквей древнейшая? Он мне сказал, что греческая, и что она также больше всех приближалась к вере апостолов... с этой минуты я возымела большое уважение к православной Церкви и всегда интересовалась ее учением и обрядами; ныне я глава этой Церкви. Помню, у меня было несколько споров с моим наставником; из-за них я чуть не попробовала плети“ (РТ–Б: 6–7). Но этот спор, о котором больше не упоминается в более поздних редакциях и в описании которого есть нечто агиографическое (например, интерес к

---

<sup>40</sup> По поводу полученного мемуаристкой обычного воспитания, бросается в глаза параллель с Н. Дуровой, в автобиографии которой занимает много места борьба с ненавистными кружевами, которые ее заставляют плести. Что касается самой Екатерины, вопреки „мужским“ обязанностям и любви к чтению, она до конца жизни находила время также для такого рода „женских“ занятий: „После обеда императрица читала, или ей читали вслух, пока она шила или вышивала“ (Мадариага 2002: 913).



Богу, который испытывают святые с раннего детства), дает повод подчеркнуть штрих в характере героини, засвидетельствованный не только ею самой, но также множеством других мемуаристов, ее современников: умение принимать разумные аргументы. Единственный человек, имеющий влияние на маленькую принцессу, – ее гувернантка, улаживающая „схватки“ с пастором:

Бабет на этот раз заставила меня замолчать. Я уступала только ей: она смеялась исподтишка и уговаривала меня с величайшей кротостью, которой я не могла сопротивляться. Признаюсь, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор я отвечала отпором (РТ–Б: 7).

Имена преподавателей и подробности обучения Фике, как называли мемуаристку в детстве, отсутствуют в поздних редакциях автобиографии. Нет даже имени любимой гувернантки Бабет Кардель, которое часто встречается в переписке императрицы до последних ее дней и которой Екатерина обязана многими положительными качествами своей личности – трудолюбием, дисциплиной, интересом к литературе и хорошим знанием французского языка, неприятием внешнего лоска.

Из имен всех людей, причастных к воспитанию Софии-Фредерики, только одно присутствует в двух редакциях автобиографии: в ранней и в последней по времени. Это имя шведского графа Гюлленборга<sup>41</sup>. В жизни Екатерины, судя по концепции его образа в автобиографии, граф Гюлленборг сыграл роль *Ментора при Телемахе*. Екатерина вспоминает с благодарностью о личности графа, который, хотя и не числился в штате ее учителей, стал ее мудрым наставником, руководившим ею, как богиня Афина Паллада юным сыном

---

<sup>41</sup> Граф Гюлленборг (1714–1775) – шведский дипломат и политический деятель, занимавший ряд высоких должностей при шведском дворе и в парламенте. Это была высокообразованная и культурная личность. Помимо обязательного тогда для каждого образованного человека на Западе знания латинского, он хорошо владел семью живыми языками, в том числе русским и финским, читал на древнегреческом и на иврите. Граф состоял членом ученого общества Королевской Академии наук в Упсале, а в 1752 г. был избран в члены Королевской Академии наук в Стокгольме (Amburger 1933: 90).

Одиссея, в опасном водовороте придворной жизни. Шведский граф заставил ее осмыслить свое существование, задуматься над своим призванием, работать над своим интеллектом. Заслуживает внимания, однако, мнение Клауса Шарфа, который видит в герое записок собирательный образ всех мужчин (помимо самого графа, ученый называет английского посла Хэнбери-Уильямса и Станислава-Августа Понятовского), сыгравших роль наставников в интеллектуальном и политическом развитии великой княгини Екатерины: „Скорее всего в своей *intellectual autobiography* она приписала Гилленборгу роль, в которой соединились влияния сразу нескольких мужчин. И наоборот, руководствуясь политическими соображениями, она умалила значение Уильямса и тем более – Станислава Августа. Последний хотя и был самым блестящим из всех ее любовников, но, будучи королем Польши, не годился на роль идейного вдохновителя российской императрицы в описании ее жизни“ (Шарф 2015: 116).

Первая встреча будущей императрицы с ее Ментором происходит еще в Германии, когда ей исполнилось 14 лет, осенью 1743 г., незадолго до ее выбора в невесты великого князя России. Именно графу удалось разгадать в гадком утенке необыкновенную личность, чего не сумели сделать даже родители:

С последней поездки в Гамбург мать стала больше ценить меня, нежели прежде. [...] Граф Геннингс-Адольф Гюлленборг, [...] посещая каждый день дом моей бабушки, имел случай более близко познакомиться с матерью и со мной; он видел, что мать не обращала на меня большого внимания; он ей сказал однажды: „Ваше высочество, вы не знаете этого ребенка; ручаюсь вам, что он имеет гораздо больше ума и достоинств, нежели вы думаете; пожалуйста, обращайтесь на нее больше внимания, чем делали до сих пор, она вполне этого заслуживает“. Сей граф Гюлленборг не переставал возвышать мою душу самыми прекрасными чувствами и высокими правилами, какие только можно внушать молодым людям; я жадно их ловила и извлекала из них себе пользу (РТ–Б: 29).

По всей видимости, граф Гюлленборг был горячим сторонником женского образования, особенно что касается аристократок. По мнению Х. Хугенбум и М. Крузе, граф видел в шведской королеве Кристине (1626–1689), корреспондентке и покровительнице Де-

карта, идеал просвещенной правительницы (Hoogenboom&Cruse 2006: XXVI)<sup>42</sup>. Душа четырнадцатилетней Софии-Фредерики стала благодатной почвой для осуществления его педагогических взглядов. О предмете философических разговоров обоих можно судить по сохранившимся двум письмам юной корреспондентки графу, относящимся к концу 1743 – началу 1744 г.

Предметом обсуждения прежде всего является рабство женщин (*esclavage des femmes*), которое пока еще не совсем понятно юной девушке, по ее собственному признанию, а также своеобразное „рабство“ человека вообще, который не вполне волен *определять* свою судьбу (Amburger 1933: 96–97, письмо Софии-Фредерики графу Гюлленборгу от 9/20.11.1743). Молодая принцесса высоко ценит продолжающийся и после встречи в Гамбурге эпистолярный диалог с графом и делится с ним признанием том, что ее единственная цель сформировать свои „Дух и Мысли, а это не может получиться без размышлений“ (Amburger 1933: 97. Письмо от 15/26.12.1743). То, что привлекает девушку в этом диалоге, – возможность самой определять темы писем. В цитированном письме основная тема – это „Характер нашего Духа и Расположение нашего Сердца“, знание которых имеет свои преимущества, „так как оно учит нас ценить наши Таланты и исправлять наши плохие наклонности, оно может также привести нас к познанию Могущества Существа, нас создавшего“ (там же, с. 98).

Таким образом, морально-этические вопросы, наряду с религиозной проблематикой, были основным предметом бесед и писем обоих участников переписки.

По всей видимости, именно от шведского графа будущая корреспондентка Вольтера услышала имя французского философа, и у нее сложилось известное представление о его творчестве и его идеях, тем более, что в письмах она распознает некоторые выражения писателя (там же). Это означает, что нельзя доверять мему-

---

<sup>42</sup> В 1762 г., когда Екатерина II устанавливает свои диалог с философами, она сравнивает себя с легендарной шведской королевой в письме к д'Аламберу, прочитав его сочинение об этой исторической личности, в которой автор видел образец женщины у власти (Hoogenboom&Cruse 2006: XXVI).

арному свидетельству о том, что Екатерина стала читать тексты Вольтера через несколько лет после своего замужества. Очевидно, она их уже знала, хотя бы частично, вполне возможно отрывками или по пересказам графа Гюлленборга еще до своего приезда в Россию. Увлечение философией было так велико, что юной принцессе удалось заразить своим энтузиазмом даже свою совсем не философски настроенную мать. Факты, сохранившиеся в дошедших до нас письмах графу Гюлленборгу<sup>43</sup>, принадлежавших перу как будущей российской императрицы, так и ее матери, говорят, о том, что диалог между учителем и его ученицей был достаточно продолжительным и не ограничивался только несколькими встречами, какое впечатление может остаться у читателя после прочтения автобиографического текста. Но, хотя и сравнительно небольшие, рассказы о встречах со шведским дипломатом делают возможным введение в повествование характерного для воспитательного романа эпохи Просвещения вопроса об отношении между наставником и его воспитанником, а также проблемы воспитания будущего владельца, особенно когда последний относится к находившемуся тогда в пренебрежении женскому полу.

Следующая встреча с графом, которая описана в редакции 1771 г., происходит уже в Петербурге накануне бракосочетания великокняжеской пары, куда граф прибыл с дипломатической миссией поставить в известность русский двор о свадьбе шведского престолонаследника:

Остальной двор прибыл в Петербург; (с ним) иностранные министры и между прочим граф Геннингс-Адольф Гюлленборг, которого мы знали в Гамбурге и который приезжал в Москву от шведского двора, чтоб уведомить русский двор о свадьбе наследного принца Шведского с принцессой Прусской Луизой-Ульрикой. Все эти люди приходили ежедневно утром и вечером к нам. Дамы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалет по крайней

---

<sup>43</sup> Екатерина сожгла письма графа Гюлленборга и написанный по его просьбе „Набросок начерно характера философа в пятнадцать лет“ во время следствия над канцлером Бестужевым в 1758 г., чтобы отклонить возможные обвинения в государственной измене. Оба цитируемые письма были найдены в архиве графа Гюлленборга, хранящемся в Университетской библиотеке Упсалы.

мере два раза в день; императрица сама чрезвычайно любила наряды и почти никогда не надевала два раза одного и того же платья, но меняла их несколько раз в день; вот с этим примером все и сообразовывались: игра и туалет наполняли день. Я ставившая себе за правило нравиться людям, с какими мне приходилось жить, усваивала их образ действий, их манеру; я хотела быть русской, чтобы русские меня любили; мне было 15 лет, наряды не могут не нравиться в этом возрасте. Граф Гюлленборг, видя, что я с головой окунулась во все причуды двора, и заметив во мне, вероятно, больше благоразумия в Гамбурге, чем он усматривал, как ему думалось, в Петербурге, сказал мне однажды, что он удивляется поразительной перемене, которую он находит во мне: „Каким образом“, сказал он, „ваша душа, которая была сильной и мощной в Гамбурге, поддается расслабляющему влиянию двора, полного роскоши и удовольствия? Вы думаете только о нарядах; обратитесь снова к врожденному складу вашего ума; ваш гений рожден для великих подвигов, а вы пускаетесь во все эти ребячества. Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России“. Он довольно верно отгадал, но и в Германии-то я читала почти лишь то, что меня заставляли. Тогда я его спросила, какую книгу советует он мне читать; он мне рекомендовал три: во-первых, „Жизнь знаменитых мужей“ Плутарха, во-вторых, „Жизнь Цицерона“, в-третьих, „Причины величия и упадка Римской республики“ Монтескье [...] (РТ–Б: 61–62).

Этот эпизод еще настойчивее отсылает читателя к архетипу „Телемака“ Фенелона. По моему мнению, вторая встреча Екатерины и ее наставника проецируется на Четвертую книгу французского романа, в которой Ментор спасает наследника Одиссея от искушений роскошной, но праздной жизни обитателей острова Кипра (Ср. Fénelon 1927, I: 149–181). Как и Телемах, юная ангалт-цербстская принцесса оторвана на небольшой срок от своего наставника. Интересно, что у Фенелона рассказ об искушениях на острове Венеры также ведется от 1 лица от имени Телемаха. В автобиографии Екатерины описание расточительности русского двора, смена платья несколько раз в день, атмосфера вечного праздника соответствует описанию празднующих поданных Венеры<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> „По прибытии на остров я услышал сладостный воздух, который делал тела расслабленными и ленивыми, но который сообщал веселое и игривое настроение.

Критика роскоши – одна из ведущих идей как в „Приключениях Телемаха“, так и в других сочинениях Фенелона и лежит в основе его экономической доктрины. Камбрийский епископ анализирует страсть знатных к люксу и роскоши не только в моральном плане, но также в плане хозяйственном, и видит в ней препятствие экономическому процветанию страны (Bonolas 1987: 81). По Фенелону, роскошь не только развращает индивида, делает его рабом прибыли, разрушает качества человека и, таким образом, подрывает основания государства (там же).

Советы Ментора к Телемаху – избегать роскоши, работать над качествами души и человеческими добродетелями, которые имеют значение для благосостояния его страны: „Весь народ разоряется [...] Страсть приобретать блага, чтобы поддерживать праздное мотовство, развращает даже самые чистые души. Уже не важно быть богатым, бедность рассматривается как подлость. Будьте просвещенным, способным, добродетельным, обучайте своих людей, выигрывайте битвы, спасайте отечество; посвятите ему все свои интересы; вы будете достойны презрения, если не освободите все ваши таланты от [бремени] пышности“ (Fénelon 1927, II: 468). Особенно важно, по Фенелону, не допускать, чтобы у женщин развилась свойственная им склонность к роскоши и суете. Эту мысль французский архиепископ развивает как в „Приключениях Телемаха“, так и своем известном трактате „О воспитании девиц“. В начале его X части „О суете красоты и оде-

---

Я заметил, что поле, естественно плодородное и приятное, почти не возделано, настолько обитатели были врагами труда. Я видел со всех сторон женщин и девиц, суетно одетых, которые шли, воспевая хвалу Венере, чтобы посвятить себя в ее храм. Красота, изящество, радость, удовольствия блестели одинаково на их лицах: но их грация была наигранной; не было никакой благородной простоты и любезной стыдливости, которая придает наибольшее очарование красоте. Изнеженность, искусство красить свои лица, суета в одежде, их ленивая поступь, их взгляды, которые, кажется, искали взглядов мужчин, их ревность между собой, которая распалая их великие страсти, одним словом, все, что я видел в этих женщинах, казалось мне отвратительным и достойным презрения: вместо того, чтобы мне понравиться, они меня отвращали“ (Ср. Fénelon 1927, I: 156–157 – перевод мой, А. В.).

жде“ Фенелон пишет: „Ничего более не опасайтесь, кроме суеты девиц. Они появляются на свет с яростным желанием удовольствий; пути, которые ведут мужчин к власти и славе, для них закрыты, поэтому они стараются это компенсировать привлекательностью своего духа и тела; отсюда идет их сладкая и завораживающая речь, поэтому они воздыхают о красоте и внешней грации и поэтому так любят украшения; прическа, лоскуток банта, локон выше или ниже, выбор цвета – все это иногда очень важно для них“ (Fénelon 1983: 149).

Граф Гюленборг, очевидно, разделял подобные убеждения и старался предохранить воспитанницу от искушений роскоши. Однако в отличие от французского писателя, для него было недостаточно, чтобы она не впадала в суету. Он стремился развить ее ум и научить ее владеть страстями. В „женственном“ дворе Елизаветы, утопающем в роскоши и непрерывных празднествах, вырастает девушка, воспитывающая в себе типично „мужские“ ценности, готовые ее к ее миссии.

Перечисление заглавий книг, рекомендованных графом Гюленборгом, должно достичь той же воспитательной функции, какую оказывают на Телемаха разговоры Ментора и добродетельного финикийца Азаела о „происхождении богов, героях, поэтах, о золотом веке, потопах, начале рода человеческого, о реке забвения, куда утопают души умерших, о вечных муках безбожников в черной бездне ада и о счастливом мире, которому радуются праведники в Елисейских полях, не боясь, что могут его потерять“ (Fénelon 1927, I: 174–175).

Как Ментор в романе Фенелона, так и шведский граф поощряет свою воспитанницу в ее склонности к критическому самоанализу:

Второй разговор с графом Гюленборгом, который, казалось, все боялся, чтобы мой ум не измельчал от пустяков, которые меня окружали, привел к тому, что я обещала графу составить письменное начертание своего ума и характера, которых, как я утверждала, он не знал. Он принял это предложение, и на следующий день в течение дня я набросала сочинение, которое озаглавила: Набросок начерно характера философа

в пятнадцать лет – титул, который графу Гюлленборгу угодно было мне дать. Я нашла снова эту бумагу 1757 г.; признаюсь, я была поражена, что в пятнадцатилетнем возрасте я уже обладала таким большим знанием всех изгибов и тайников моей души; я увидела, что сочинение это было глубоко обдуманно и что в 1757 г. я ни одного слова не нашла прибавить к нему и что через тринадцать лет я также в себе ничего не открыла, чего бы я не знала в пятнадцатилетнем возрасте. [...] Я ему отдала записку и после продолжительного разговора у него вырвалось: „Как жаль, что вы выходите замуж“. Я хотела узнать, что он хотел этим сказать; но он не захотел мне этого сказать. Я должна прибавить, что во всех этих эпизодах, которые обыкновенно велись в комнате моей матери, он употреблял всевозможные старания, чтобы укрепить мою душу во всех принципах добродетели, нравственности и политики. Признаюсь, чем более он мне говорил в этом тоне, тем более я чувствовала к нему доверия, я называла его своим другом, который говорит мне правду, и на всю свою жизнь я сохранила к нему большую дружбу и благодарность. Ему я, конечно, обязана тем, что он укрепил мою душу и предупредил меня насчет тысячи опасностей, которые душе этой приходилось испытать со стороны двора, где образ мыслей был подлый и развратный (РТ–Б: 62–63).

В поздней редакции эпизод с графом Гюлленборгом сильно сокращен. Упоминается единственно вторая встреча с шведским дипломатом и его рекомендации насчет полезного чтения:

К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство... Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе Шведского наследного принца, брата матери, с принцессой Прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга; мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже не молодой и которого мать моя очень ценила; я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок старше своих лет. Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя



знать, и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендовал мне „Жизнь знаменитых мужей“ Плутарха, „Жизнь Цицерона“ и „Причины величия и упадка Римской республики“ Монтескье. Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя, или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила: „Портрет философа в пятнадцать лет“, и отдала ему. Много лет спустя и именно в 1758 году я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиной знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопровождал его дюжиной страниц разсуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другия качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души (РТ–СРЗ: 223–224)<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Прозвище „философ“ устойчиво применяется относительно юной Екатерины в переписке ее матери с графом Гюлленборгом. Нередко Иоганна-Елизавета передает приветы „молодого философа“. Даже о принятии православия ее дочерью она сообщает графу словами „большое здание, куда вошел юный философ“ (письмо от 8/19.07.1744 г.) (Amburger 1933: 92). Мотив Екатерины-„философа“ продолжает присутствовать и позже в переписке ее матери. В 1756 г. великая княгиня пишет Иоганне-Елизавете: „Я стараюсь вести себя как философ, никакая страсть не заставляет меня действовать“ (цит. по: Hoogenboom&Cruse 2006: XXIV, LXI).

У ученицы и учителя была еще одна заочная встреча в 1767 г., через несколько лет после воцарения императрицы на российский престол. Сын графа прибыл тогда в Петербург с извещением об очередной свадьбе в шведской королевской семье. Екатерина II оказала ему большое внимание и передала полное благодарностей письмо его отцу, которое заканчивалось следующим об-

Если сравнить варианты эпизода в ранней и поздней редакциях, помимо количественных различий, продиктованных, по всей видимости, опять-таки желанием подчеркнуть значимость собственных усилий (даже инициатива написания „Портрета 15-летнего философа“ ее, а не Гюлленборга), и переставить акцент с заслуг ментора на совершенное самой мемуаристкой, можно установить дополнительную „романизацию“ в созвучии с традицией. Так же, как в романе Фенелона, где Ментор – человек среднего возраста, предположительно обладающий достаточным жизненным опытом, так и тридцатилетний тогда граф (Amburger 1933: 89) описан как „уже немолодой“<sup>46</sup>. Если пятнадцатилетней человек одного с ее матерью возраста мог и казаться „пожилым“, то так не должна бы была думать автор „Собственно-ручных записок“, которой было уже за шестьдесят. Однако во всех случаях, независимо от переставления акцентов, очевидно следование сыгравшему исключительную роль в развитии романа воспитания топосу-архетипу о роли ментора в воспитании принца. Новым моментом в его интерпретации Екатериной II является связь этого топоса с проблемой воспитания девиц, аспект, находившийся в длительном пренебрежении как со стороны ее современников, так и со стороны следующих поколений. Сама императрица в своей реальной жизни повелительницы русского государства приложила исключительные усилия и заботы в обучении и воспитании своих внуков Александра и Константина, предназначавшихся ею соответственно для престолов Российской и Византийской империй. Она даже стремилась исполнить роль Минервы-Ментора в их жизни (см. Уортман 2002, I: 200–226; Plavinskaja 2003: 175–180). В то же время она лично не заботи-

---

разом: „Думаю, что у меня более, чем одна задолженность в отношении к Вам, и если я добилась какого-то успеха, Вы должны разделить его со мной, так как именно Вы развили во мне желание совершать большие дела“ (Amburger 1933: 96).

<sup>46</sup> Согласно биографическим данным, граф Гюлленборг был на несколько месяцев моложе матери Екатерины и производил впечатление своей красивой внешностью.

лась о воспитании своих четырех внуков, „осужденных“ на конвенциональное женское воспитание эпохи с предназначением выполнять традиционные женские социальные функции, хотя и на самой вершине общества. Это происходило на фоне всей „революционности“, для данной эпохи, предложенной Екатериной системы женского дворянского воспитания в Смольном институте благородных девиц. На самом деле российская императрица впала в очередное из характерных для нее противоречий между своими убеждениями и их реализацией в реальной жизни. Такие примеры изобилуют и в русской культуре того времени, и в Европе, и в мышлении самых блистательных личностей эпохи. Представители феминистской критики обращают особое внимание на тот факт, что именно женщины являются более ревностными охранительницами статуса кво и фалоцентрического порядка. Эпизоды с графом Гюлленборгом и в обеих редакциях несут на себе печать публицистичности, они представляют собой часть условно названного мной „публицистического дискурса“ в Екатерининской автобиографии, точно так же, как и вся традиция „высокого“ воспитательного романа Просвещения преследует дидактические и публицистические цели. Но если в редакции 1771 г. эпизод об отношениях между наставником и ученицей подробно развернут и фигура учителя хорошо очерчена, то в поздней редакции текста акцент переставлен на собственный образ мемуаристки и должен стать важным, но очередным штрихом ее мифологизированного образа.



Елизавета Петровна



Великая княгиня Екатерина Алексеевна, 1745 г.

## Романная топика, связанная со зрелостью

### *Топика женственности*

Послушаем одного любовника, находящегося в опьянении от своих чувств к возлюбленной годы спустя, после того как между ними все давно кончилось и их развели политические игры и интересы, унижения, выпавшие на его долю, и демонстрация силы и превосходства, которыми было отмечено ее бытие:

Ей было 25 лет. Она только – что оправилась от первых родов и была в полном расцвете своей обаятельной красоты. У нея были черные волосы, ослепительной свежести и белизны цвет лица, большие выразительные голубые глаза навывкат, черные очень длинные резницы, несколько заостренный носик, рот как бы созданный для поцелуев, очаровательная форма рук, гибкий, стройный стан, быстрая и в то же время благородная походка, приятный тембр голоса. Роста она была скорее высокого, смеялась заразительно. Живая и веселая от природы, она с удивительной легкостью переходила от самой веселой чуть не детской забавы к умственной работе, как бы она ни была трудна. Стеснение, в каком она жила со времени своего замужества, отсутствие подходящего ей по уму общества, заставило ее пристраститься к чтению. Она обладала большими познаниями, была ласкова, приветлива, умела понять слабую сторону каждого; она уже в то время пролагала себе путь к престолу, который она занимала впоследствии с такой славой (Понятовский 1915–1916, т. 164, № 12, с. 374).

Так Станислав-Август Понятовский описывает через многие годы великую княгиню Екатерину Алексеевну. Этот портрет можно сравнить с другим, созданным примерно лет через семь-восемь и описывающим облик только что вступившей на российский престол императрицы Екатерины II. Его автор – человек, которого с трудом можно заподозрить в особых симпатиях к ней. Современники даже считали его отъявленным ее недругом из-за намерения оставить правдивые и не вполне выгодные для имиджа Северной Семирамиды мемуары о совершенном ею перевороте. Вот как Рюльер передает свое впечатление о Екатерине:

Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд – все возвещало в ней великий характер. Возвышенная шея, особенно со стороны, образует отличительную красоту, какую она движением головы тщательно обнаруживала. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок. Волосы каштанового цвета отличительной красоты, черные брови и... прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны (Рюльер 1989: 264)<sup>47</sup>.

Сохранивший любовь в своем сердце, Станислав-Август Понятовский видит в своей возлюбленной изящную красавицу, он стремится передать не только прекрасные черты ее лица, но также ее очарование. Представленный им портрет находит соответствие прежде всего в одном из романых идеалов женской красоты, свойственных французской романной традиции XVII–XVIII вв.: черные, а не „более привычные“ и „компромиссные“ каштановые волосы и длинные ресницы, большие синие глаза, говорящие на романном языке о хрупкости женщины (Fauchery 1972: 187)<sup>3</sup>, прозрачный цвет лица, миленький носик, гармоническое телосложение и пр.

---

<sup>47</sup> И вот еще один портрет, описанный английским послом в России в 1762–1765 г. графом Джон Бекингхемширом: „Ее императорское величество ни мала, ни высока ростом; вид у нее величественный, и в ней чувствуется смешение достоинства и непринужденности, с первого же раза вызывающие в людях уважение к ней, дающие им чувствовать с нею свободно... Она никогда не была красавицей. Черты ее лица далеко не так тонки и правильны, чтобы могли составить то, что считается истинною красотой; но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно очерченный рот и роскошные, блестящие каштановые волосы создают, в общем такую наружность, к которой очень немного лет тому назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно [...] Она была, да и теперь остается, тем, что часто нравится и привязывает к себе более, чем красота. Сложена она чрезвычайно хорошо, шея и руки ее замечательно красивы, и все члены сформованы так изящно, что к ней одинаково подходит как женский, так и мужской костюм. Глаза у нее голубые, и живость их смягчается томностью взора, в котором много чувствительности, но нет вялости. Кажется, будто она не обращает на свой костюм никакого внимания, однако она всегда бывает одета слишком хорошо для женщины, равнодушной к своей внешности. Всего лучше идет ей мужской костюм; она надевает его всегда в тех случаях, когда ездит на коне. Трудно поверить, как искусно ездит она верхом, правя лошадьми – и даже горячими лошадьми, – с ловкостью и смелостью груга. Она превосходно танцует, изящно исполняет серьезные и легкие танцы...“ (Екатерина II в воспоминаниях 1998: 140–141).

В портрете Рюльера представляет интерес привнесение таких деталей восприятия внешности императрицы, которые связаны уже с ее амплуа российской государыни. Основными компонентами в нем становятся величественная осанка, элементы описания лица, которые семантически связываются с представлением об облеченной властью особе: большое открытое чело, римский нос (вместо „носика“ в портрете Понятовского) и неопределенный цвет глаз, хотя мемуарист не отрицает их красоту.

Сама Екатерина, как ни любит себя в мемуарах с позиции зрелого возраста, гораздо более сдержанна при описании своей внешности в молодости. В обеих редакциях текста 1790-х годов сохранены два лаконичных автопортрета. Ни в одном из них она не воспринимает себя как красавицу, но подчеркивает, как она похорошела в сравнении с тем гадким утенком, каким была в детстве. В „черкасовской“ редакции она посвятила этому небольшой отрывок:

В эту зиму [1747 – б. м., А. В.] я стала очень заботиться о нарядах; княжна Гагарина<sup>48</sup> часто говорила мне украдкой и тайком от Чоглоковой, – перед которой, мимоходом говоря, было непростительным преступлением похвалить меня, – что я со дня на день хорошею; этому пришла пора, мне было тогда восемнадцать лет. Там и сям я встречала льстецов, повторявших мне то же; я начинала им верить и дольше прежнего оставалась перед зеркалом. [...] я была высока ростом и очень хорошо сложена; следовало быть немного полнее: я была довольно худая. Я любила быть без пудры, волосы мои были великолепного каштанового цвета, очень густые и хорошо лежали; но мода быть без пудры уже проходила; я иногда пудрилась в эту зиму. Лесток сказала мне вскоре после свадьбы, что шведский посланник Вольфенштиерна находил меня очень красивой; я за это ничего против него не имела, но это приводило меня в некоторое замешательство, когда мне приходилось с ним разговаривать. По скромности ли, или по кокетству, я хорошенько не знаю, – но всегда это стеснение, действительно существовало (РТ–Ч: 115–116).

В сущности, в этом автопортрете очень мало конкретных деталей. Они касаются единственно роста и сложения. Мемуаристка старается передать скорее впечатление, которое она производила

---

<sup>48</sup> Одна из приближенных фрейлин великой княгини и ее доверенное лицо.



на окружающих. Следующий автопортрет еще более лаконичен: „... правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась и полагаю, что в этом и была моя сила“ (РГ–СЗР: 315). В нем подчеркивается единственно, как и в первом варианте, красота волос, очень длинных, густых и очень красивых (там же). В романе XVIII века эта деталь дамского портрета – один из наиболее сильных признаков женственности.

В своей автобиографии Екатерина II является сторонницей новой для ее времени тенденции в описании женской красоты, гораздо более близкой к реальности и к ее собственной достаточно реальной самооценке. С середины XVIII века с распространением эстетики сентиментализма, особенно высоко ставящей естественность, для романских героинь гораздо важнее было быть очаровательной, а красота считалась необязательной. Неотъемлемой ее чертой, однако, была *грация*. Особенно характерно это для раннего немецкого романтизма, воздвигшего в культ не ослепительную природную красоту, а „интересную“ красоту, прелесть общения (Fauchery 1972: 183). Очарование достигается сочетанием красоты и ума, в этом состоит „рецепт“ успеха светской женщины в XVIII веке (Hartmann 1998: 53–54), который становится популярным также в романах того времени, соблазняющих в свою очередь читателей естественностью героинь.

И в обоих вариантах автопортрета мемуаристка рассчитывает больше на реакцию окружающих, находящихся под воздействием грации и очарования великой княгини. Эти впечатления находят подтверждение и в ряде мемуарных свидетельств современников, которые имели случай встретиться с Екатериной или общались с ней как во времена ее молодости, так и в конце ее жизни. Мемуаристка же предпочитает подробному самоописанию и детальному самолюбованию в зеркале возможность передать свое воздействие на других. Интересно, что подобного приема придерживается в создании портрета Фелицы-Екатерины в знаменитой одноименной оде Державин, который строит описание „богоподобной царевны киргиз-кайсацкия орды“ больше на передаче восприятия ее окружающими, чем на конкретных портретных деталях.

Впечатление от очарования великой княгини усиливается в мемуарах и благодаря заимствованию другой излюбленной черты внешности модных тогда романских героинь. Это простота и элегантность их одежды на фоне всеобщей роскоши и чрезмерной пышности. Особенно красноречив в этом отношении следующий эпизод поздней редакции:

Помню, что как-то раз, [...] узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, и потеряв надежду превзойти всех женщин, я придумала надеть гродетуровый белый корсаж (у меня тогда была очень тонкая талия) и такую же юбку на очень маленьких фижмах; я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назад сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые; я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисья хвоста и приколола к ним одну только розу с бутонами и листьями, которые до неизвестности походили на настоящие; другую я приколола к корсажу; я надела на шею брызжи из очень белого газа, рукавички и маленький передник из того же газа, и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галлерею и вошла в покои, которые составляли другую половину; я встретила императрицу, которая мне сказала: „Боже мой, какая простота! как! Даже ни одной мушки?“ Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо. [...] Не помню, чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша [...] (РТ–СРЗ: 315).

Элегантность простого белого платья в сочетании с простотой прически и гармонирующего с белой розой в темно-каштановых волосах подчеркивают естественную свежесть юной восемнадцатилетней Екатерины. Но в то же самое время это говорит не только о ее вкусе, но также и о ее собственном мнении даже в вопросах моды.

Если абстрагироваться от бытового контекста, за этим описанием юношеского воспоминания и самолюбованием можно установить важный для идеологии автобиографического образа подтекст. Роза как символ добродетели, милосердия, божествен-

ной любви присутствует в арсенале религиозной и поэтической образности Средневековья. Этот символ особенно активно связывается с идеологическими концептами русского царствующего дома в XVII веке, которые находят выражение и в литературных текстах (например, в „Вертограде многоцветном“ Симеона Полоцкого) и в иконографской традиции, связанной с образом Богоматери (Кръстева 2013: 104–105). В „сценарии власти“ Елизаветы Петровны, образ которой осмысливался русскими поэтами как Девы на троне, роза, как один из знаков возвращающегося на землю гармонического царства Астреи<sup>49</sup>, занимает важное место. Роза (а также цветы, сад) как аллегория добродетели широко представлена еще в коронационных торжествах Петровой дщери – на триумфальных воротах, в одах, в либретто балета Арайи, исполненном в ходе праздника, в Коронационном альбоме, даже на платье и шлейфе коронационного платья новой императрицы (Кръстева 2013: 104–123, особенно 105–109). По мнению исследовательницы, идея восстановления пустующей России и превращения ее благодаря заботам новой государыни в цветущий сад контаминирует с древнерусской символикой вертограда, но и с западноевропейской символикой Богоматери-садовницы. „Адаптированная в сфере идеологии рассмотренная образность приобретает смысл политической символизации Милосердия и Человеколюбия. Можно настаивать на том, что она стоит в основе сакрализации женской власти, вписывая русский культ Богоматери в имперскую Религию государства“, – обобщает Денка Кръстева (Кръстева 2013: 105). Исследовательница исследует судьбу розы как символа в идеологических сценариях русского царизма и говорит о наличии особого кода – политического „розариума“<sup>50</sup>. Роза, как символ добродетели императрицы, присутствует

---

<sup>49</sup> Эта проблема будет обсуждена во Второй книге.

<sup>50</sup> Помимо символического аспекта использования розы, Денка Кръстева обращает внимание и на такую „бытовую“ деталь, как любовь Елизаветы Петровны к этому растению. Именно во время правления дочери Петра в России начинается культивирование махровых роз (Кръстева 2013: 110), а при Екатерине II получает распространение массовое выращивание розовых сортов. Помимо ассоциаций со

и в XIX веке и связывается с личностями русских великих княгинь или цариц, их мягкостью, женственностью, милосердием. Екатерина II, перенявшая многое из символического капитала елизаветинского царствования, заимствует и розу. „Роза без шипов“ – известный обобщающий символ добродетелей царевны, знающей путь к счастью подданных и указавшей его юному принцу, – основная аллегория педагогической сказки императрицы о царевиче Хлоре, вошедшая с легкой руки Державина в поэтический арсенал русской поэзии. Заимствует Екатерина и идею милосердия „русского Тита“ – Елизаветы Петровны, как основополагающую в русском женском политико-цивилизационном сценарии<sup>51</sup> („розариуме“).

Возвращаясь к бальному эпизоду, можно предложить и более углубленное прочтение его посланий. Одобрение наряда великой княгини императрицей, восхищение ее вкусом, удачно подчеркивающим ее юношескую красоту, но и способность найти точный баланс между собственным желанием выглядеть оригинально и не раздражить Елизавету, подразумевает также смелость юной великой княгини. Рассказывая в автобиографии о ревности предшественницы к красоте других дам, Екатерина II подразумевала трагическую историю одной из политических противниц Елизаветы Петровны – Натальи Федоровны Лопухиной. Рассказанный Казимиром Валишевским и интерпретированный во многих исторических романах и биографиях балльный сюжет о соперничестве одной из первых красавиц империи и царицы, был на самом деле

---

сферой морали, интересно отметить, что белая роза (*Rosa Alba*) является гибридом гальской розы и отличается своей морозостойчивостью, а лучшим сортом считается „Майденбланш“ (в переводе с немецкого – „девичья краса“) (Соколова 2004: 273). Можно с большой дозой уверенности предположить, что императрица, между прочим, активно интересовавшаяся садоводством, в очередной раз прибегает к сложной смысловой игре, значение которой доступно для немногих читателей.

<sup>51</sup> Эти аспекты преемственности между обеими императрицами – предмет исследования в IV главе Книги II.

Аллегория розы в политических сценариях обстоятельно комментируется Р. Уортманом (Уортман 2002, I: 200–224), а ее присутствие среди масонских символов и в русской масонской литературе – В. Сахаровым (Сахаров 2000).

одним из эпизодов многолетнего политического противостояния между обеими дамами и прелюдией жестокой расправы „милосердной“ Елизаветы<sup>52</sup>:

„Императрица строго следила за тем, чтобы никто не смел носить платья и прически нового фасона, пока она их не оставляла; но, ввиду того, что она меняла их ежедневно, а иногда и ежечасно, придворные дамы не слишком отставали от моды. Однажды Лопухина, славившаяся своею красотой и потому возбуждавшая ревность государыни, вздумала, по легкомыслию ли или в виде бравады, явиться с розой в волосах, тогда как государыня имела такую же розу в прическе. В разгаре бала Елизавета заставила виновную стать на колени, велела подать ножницы, срезала преступную розу вместе с прядью волос, к которой она была прикреплена, и, закатив виновнице две добрые пощечины, продолжала танцевать. Когда ей сказали, что несчастная Лопухина лишилась чувств, она пожала плечами:

– Ништо ей дуре!

С того дня Лопухина была намечена Елизаветой для руки палача, которой и не избежала (Валишевский 2002: 43–44).

Собственный стиль в одежде, оригинальность в сочетании с элегантностью и умеренность созвучны выбранной линии житейского

---

<sup>52</sup> Н. Ф. Лопухина, племянница казненного Петром I фаворита Екатерины I Виллима Монса, принадлежала к оппозиционно настроенной к правлению Елизаветы Петровны семье, связанной с первой женой Петра I Евдокией Лопухиной. Она была осуждена по так называемому делу Лопухиных (1743), подозреваемых в заговоре с австрийцами, вместе с мужем и сыном на смертную казнь колесованием, замененную в последний момент Елизаветой публичным наказанием кнутом и вырезанием языка и ссылкой. Многие исследователи считают, что „дамская дуэль“ на балу – лишь предлог для демонстрации силы со стороны Елизаветы, унизившей соперницу. Императрице нечего было опасаться за свою репутацию первой красавицы империи, будучи десятью годами моложе Лопухиной. До возникновения следствия противостояние между императрицей и высокопоставленной подданной велось в „галантном“ стиле. Доносы обличали Лопухиных, которые (и особенно Наталья Федоровна) в салонных разговорах неслестно отзывались о стиле жизни императрицы. „Елизавета в 1743 г. как самодержица начинающая, может быть, впервые из следственных бумаг Тайной канцелярии узнала о том, что о ней болтают в гостиных Петербурга, и эти сведения, полученные нередко под пытками, оказались особенно болезненны для самовлюбленной, хотя и незлой императрицы“, отмечает Е. В. Анисимов (Анисимов 1999: 122).

поведения<sup>53</sup>. Точный расчет эффекта простого белого платья и белой розы в волосах в сочетании с отказом от вызывающего следования моде говорит скорее о желании великой княгини посчитаться с задаваемым Елизаветой образцом, о своеобразной преемственности, и о том, что она знает свое место, сохраняя при этом свое достоинство. То, что ее расчет был правильным говорит реакция императрицы, которая в знак благосклонности лепит мушку на лице племянницы, все-таки добавляя деталь по своему вкусу. Жест Елизаветы – своеобразная „точка над і“ в этом негласном галантном диалоге. Наоборот, в тех случаях, когда юная и неопытная, только что прибывшая в Россию София-Фредерика решает поддаться всеобщей моде, это подвергает риску ее будущее (эпизод с популярной прической в стиле Анны Леопольдовны, которая вызывает сильное раздражение Елизаветы Петровны, отрицающей все, что было связано с ее предшественницей (РТ–Б: 37). Такое самолюбование – не редкость и в трех редакциях текста. Немало также эпизодов, в которых мемуаристка говорит о таких вещах, как материи, покрой платья, отмечает женскую зависть по поводу моделей, причесок императрицы, славившейся тем, что она не надевала второй раз ни одного из своих роскошных платьев. Отмечаются также редкие случаи искреннего одобрения (как уже цитированный). Увлечение красивыми и эффектными платьями не чуждо молодой героине мемуаров. Повествовательница признается в этой своей слабости и в своем стремлении производить эффект на публику, следуя заразительному примеру императрицы Елизаветы:

Я тогда очень любила танцы; на публичных балах я обыкновенно до трех раз меняла платья; наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я

---

<sup>53</sup> И это получает положительную оценку современников (например, описание, данное Бегингхемширом, который отмечает ее умение хорошо одеваться, несмотря на то, что она не слишком интересуется своей внешностью).

В скромном и неброском платье молодой великой княгини находит выражение еще одна из идей Фенелона, проповедующего „благородную простоту“ одежды по примеру древних и считавшего, что настоящая грация не зависит от пышных костюмов и украшений (Fénelon 1983: 150–151).

наверное ни разу больше его не надевала, потому что поставила себе за правило; раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший (РТ–СРЗ: 314).

Но эта слабость осознающей себя женственности может быть подчинена хорошо выработанным тактическим ходам в сложных отношениях с императрицей Елизаветой Петровной: „На придворных балах, где публика не присутствовала, я зато одевалась так просто, как могла, и в этом не мало угождала императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах“ (РТ–СРЗ: 314). Особенно тщательно, однако, мемуаристка обдумывает предназначенные для придворных маскарадов мужские костюмы: „Однако, когда дамам было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитых по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса...“ (РТ–СРЗ: 314–315).

В то же время суетная чисто по-женски Екатерина может относиться с абсолютным пренебрежением к тогдашним аристократическим нормам дамской красоты. Она легко расстается с производящей отменное впечатление белизны своего лица и позволяет себе „загореть как черт“ (РТ–Ч: 157), проводя верхом на лошади целые дни в окрестностях Ораниенбаума, а потом бывает искренне признательна впавшей в ужас при ее виде императрице Елизавете за отбеливающую помаду, причем тут же мемуаристка спешит поделиться рецептом с читателем:

Императрица, увидев меня, ужаснулась моей красноте и сказала, что пришлет умывание, чтобы снять загар. Действительно она тотчас же прислала мне пузырек, в котором была жидкость, составленная из лимона, яичных белков и французской водки [...] несколько дней спустя мой загар прошел и с тех пор я стала пользоваться этим средством и давала его многим лицам для употребления в подобных случаях (РТ–СРЗ: 284).

В отличие от романских героинь, Екатерина не боится выглядеть в глазах своих читателей „некрасивой“. Помимо упомянутого загара, входящего в острое противоречие с аристократическими

нормами красоты, она не боится поделиться всякого рода неблагоприятиями. Это всякие сыпи, синяки, воспаления. Ее чувство реальности заставляет повествовательницу таким же образом относиться к своим телесным страданиям. Кроме классических романских неврозов (“*vareurs*”), являвшихся основной причиной популярных в беллетристике того времени обмороков, это всевозможные телесные недомогания. Некоторые из них переданы натуралистично и без ложного стыда (зубные боли, желудочные страдания, „женские“ нерасположения – месячные, выкидыши, „легкие признаки беременности“ и освобождение от них)<sup>54</sup>. Все это входит в диссонанс с романной стилистикой, ищущей эстетику даже в заболеваниях героини. С другой стороны, эти описания отражают общие настроения XVIII века, выраженные тогдашней медициной и нашедшие место в романе теории о хрупкости женской природы, о неспособности женщины выдерживать напряжение и испытания. На этом фоне еще сильнее выделяется „мужественное“ поведение мемуаристки, которая не боится динамической и полной риска жизни в „мужском стиле“.

С таким же старанием автор подчеркивает свою энергию, ловкость, напоминает при каждом удобном случае о своей выносливости, независимо от вида нагрузки (во время танцев, верховой езды, охоты). Она предлагает в своей автобиографии новую, созвучную с новейшими тенденциями конца XVIII века концепцию женского тела, которая нашла отражение и в некоторых из наиболее прогрессивных романов эпохи. Эта концепция была связана также с новыми взглядами на воспитание девиц, проблематика которого была особенно актуальна на протяжении всего столетия. Она предложила общественному вниманию тезис о выведенной из привычной статике женщине, живой, гибкой, живущей динамической жизнью, способной преодолевать страдания и соперничать в ловкости и выносливости с мужчиной. Взгляд на собственное тело, которое демонстрирует повествовательница, подтверждает выбранную в автобиографии концепцию создания целостного образа

---

<sup>54</sup> На эту особенность екатерининской автобиографии обращают внимание в последнее время большинство исследователей (-льниц).



собственной личности, сочетающего женскую грацию и добродетели с заимствованием положительных мужских практик. В то же время, „незначительные“ с точки зрения развития повествования эпизоды, якобы сосредоточенные на бытовых деталях, говорят о стратегических качествах героини, вырабатывающей постепенно принципы своей политической практики.

### *Брак как топос*

Романная топика, связанная с жизнью женщины в зрелости, преимущественно изображает жизнь замужней женщины. Интересно в этом смысле проследить изменения в творческом замысле автобиографии Екатерины II. Ее первоначальная идея, по-видимому, состояла в том, чтобы создать целостное описание своей жизни, согласно конвенциям жанра – от своего рождения до определенного периода своей жизни. Редакция 1771 г. отвечает этому требованию, так как она заканчивается описанием свадьбы мемуаристки и в известном смысле корреспондирует с одним из распространенных вариантов развязки романа с главной героиней женщиной: добродетельная девушка выходит замуж за мечтанного избранника<sup>55</sup>.

Возобновляя работу над автобиографией двадцать лет спустя, в „черкасовской“ редакции мемуаристка начинает повествование рассказом о дне после свадьбы. Однако за время огромной паузы, она изменила концепцию, переосмыслила события, которые должны войти в текст и выбрала как сюжет свое пребывание в России. Это видно и по поздней редакции, в которой события начинаются по романному образцу *in media res* (если абстрагироваться от первых нескольких страниц, оформленных как трактат), а ретроспекций очень мало и они незначительны. Таким образом, поздние редакции автобиографии Екатерины II ближе к той линии в романной традиции, которая связана с повествованием о жизни замужней женщины. Не надо забывать, что в культуре того времени замужество рассматривалось как важнейшая задача в жизни жен-

---

<sup>55</sup> Пьер Фошри определяет этот тип повествования как „роман девушки“, в отличие от „романа женщины“. Так озаглавлены обе части его внушительного труда.

щины, миссия, которую должны были осуществить ее родители („дело матери было выдать меня замуж“ (РТ–Б: 44). Это был акт, благодаря которому женщина получала социальное признание. Действительно, шанс стать супругой русского престолонаследника, который выпал Софии-Фредерике не столь вследствие расположения звезд, сколь по стечению политических обстоятельств и в результате сложных дипломатических игр и расчетов между крупнейшими европейскими дворами – русским, прусским, французским, шведским, которые сопутствовали началу нового правление в России, должен был быть мечтой для любой принцессы ее ранга<sup>56</sup>. Несмотря на престижные родственные связи своей матери, ангальт-цербстская невеста вряд ли могла надеяться на хорошую партию. Но как в действительной жизни, так и в автобиографии, мемуаристка не довольствуется традиционной ролью супруги и своей основной задачей – дать стране наследника престола и утвердить династию на троне. Замужество за великим князем Петром Федоровичем становится начальной точкой ее амбиции,

---

<sup>56</sup> Быть замеченной среди двести германских принцесс, достигших к тому времени брачного возраста, бесспорно было шансом („счастьем“) (Rimbaud 1874: 571). Традиционно считается, что главную роль „свата“, по просьбе русской императрицы, сыграл Фридрих II, который было жаловался на „неблагодарность“ своего протеже. В браке Петра Федоровича и Екатерины Фридриха видел свой расчет, связанный как с непосредственными политическими обстоятельствами, так и далеко идущими планами. Ему хотелось помешать намечающемуся союзу России и Саксонии, сторонником которого был канцлер Бестужев. Бестужев хотел женить Петра на саксонской принцессе Марианне (случайно или нет, имя совпадает с именем той, которой все пророчили удачную партию и которая умерла незамужней – РТ–Б: 10). Чтобы обессилить саксонскую партию, по словам Рамбо, надо было „пожертвовать“ принцессой прусской королевской крови. Однако „Фридрих слишком любил своих сестер, чтобы рисковать их жизнью в кровавых интригах варварского Двора, [...] поэтому решил пожертвовать менее дорогой кровью принцессы второго ряда“ (Rimbaud 1874: 571). Примечательно, что „король не посчитал нужным даже спросить родителей Софии (там же). Фр. Штеллнер, однако, считает, что роль Фридриха не была уж столь важной, а инициатором свадьбы он вовсе не был, и влияние прусской дипломатии на выбор невесты было незначительным. В своих мемуарах король присвоил себе эту роль то ли по причине плохой памяти, то ли по желанию задней датой представить другую, более выгодную ему версию и уязвить соперницу (Штеллнер 2013: 120–121).

которая заставляет ее постепенно отказываться от традиционных представлений о роли женщины в обществе и государстве.

Несчастное супружество мемуаристки – одно из наиболее известных в истории человечества. В интерпретации отношений супружеской четы Петр III – Екатерина II есть много негативной мифологии, отчасти порожденной самой императрицей, которая воспользовалась непопулярностью своего супруга, чтобы создать положительные представления о себе и антимиф о нем. Надо признаться, что она преуспела в этом начинании, и результат влияет не только на массовые представления об этих двух личностях, но также на историческую мысль даже в наши дни. Основную роль в утверждений обоих мифов в сознании следующих поколений сыграл рассматриваемый текст. Поэтому очень важно понять мастерство автора в применении романной топики, которая наряду с откровенной публицистичностью способствует иллюзии достоверности в интерпретации фактов и подведенных итогов.

Житейские факты стали основанием интерпретации в автобиографии популярного топоса несчастного брака. Этот топос был (и есть) исключительно продуктивен в большей части романов на женскую тему и существует в многочисленных и всевозможных вариациях, в которых находит выражение интерпретация женской проблематики не только в фикциональной литературе, но и в публицистике того времени. В записках Екатерины этот топос также отличается разнообразием нюансов.

Топос несчастного замужества находится в целом ряду соотношений с другими популярными топосами. Это: *брак по расчету*; *топики, связанная с характером супружеских отношений* (верность – измена, дружба и безразличие, взаимное уважение); *возможность или невозможность любви в браке*; *воспитание девиц* и готовность для семейной жизни и пр. Рассказ о союзе двух людей, у которых „умы не были менее сходны, чем наши“ (РТ–Ч: 104), дает возможность мемуаристке высказать свое мнение на эту тему, как это делают многие женщины-писательницы в XVIII веке<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> См. топос RAPPORT\_DIEGESE\_MORALITES в [www.satorbase.org](http://www.satorbase.org).

Брак мемуаристки может быть истолкован в определенном смысле как брак по расчету, только это расчет политический, а не материальный; можно говорить скорее об „устроенном браке“ во имя политических интересов. В этом смысле амбиция героини – воспользоваться предоставленной судьбой возможностью корреспондирует со сложными дипломатическими играми и расчетами. Цена этого брака – то, что манит саму повествовательницу, – русская корона: „... по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа“ (РТ–Б: 44); „... в виду его настроения, он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона“ (РТ–СРЗ: 214)<sup>58</sup>. Присутствие этого топоса вводит другой мотив, соответствующий реальным чувствам обоих супругов друг к другу, – *отсутствие любви*, а впоследствии ее *невозможность*. В использовании названного мотива, однако, наблюдаются ряд вариантов в отдельных редакциях текста, некоторые из которых давно были замечены исследователями. В раннем варианте текста, посвященном графине Брюс, автор не отрицает известной симпатии между обоими в детстве (первая встреча кузенов состоялась еще в Германии, когда оба встретились у родственников, тогда Петру было 11, а Софии-Фредерики 10 лет), затем во время приезда невесты в Россию, незадолго до и после свадьбы. С известными колебаниями рассказ продолжается в том же духе и в редакции 1791 г., тогда как в позднем варианте целиком исключаются хорошие отношения между молодыми в начале их супружества, и рассказ строится на заданной в автобиографическом пакте оппозиции. Если в ранней редакции образ великого князя Петра Федоровича амбивалентен, то в „среднем“, „черкасовском“ варианте текста он становится все более отрицательным, а в поздней редакции, которая наиболее нагружена публицистическими функциями, он становится противоположностью должного поведения принца – будущего государя как в своем частном, так и в своем общественном бытии. Опыт противопоставления обоих образов есть еще в рассказе о первой встрече:

---

<sup>58</sup> Дискуссию политико-философского смысла этих заявлений мемуаристки см. в Кн. Второй, главы II и IV.

Тут я впервые увидела этого принца, который впоследствии был моим мужем: он казался тогда благовоспитанным и остроумным, однако за ним уже замечали склонность к вину и большую раздражительность из-за всего, что его стесняло; он привязался к моей матери, но меня терпеть не мог; завидовал свободе, которой я пользовалась, тогда как он был окружен педагогами и все шаги его были распределены и сосчитаны; что меня касается, то я очень мало обращала на него внимания... (РТ–Б: 17).

Еще здесь читателю внушается амбивалентное отношение к персонажу, которому суждено играть одну из главных ролей в жизни мемуаристки. В кратком автобиографическом очерке конца 50-х гг. детский образ Петра безусловно положителен:

Я там в первый раз увидела великого князя, который, действительно, был красив, любезен, хорошо воспитан, словом, чудеса рассказывали об этом одиннадцатилетнем ребенке, отец которого только что умер. Мать моя, очень тогда красивая, ему понравилась, он за ней ухаживал; я почти не обращала на него внимания, но я слушала, как у моих дядей, тетюшек, у Брюммера [воспитателя Петра, – А. В.] и у самых близких там и сям срывались слова, которые заставляли меня думать, что нас предназначают друг другу. Я не чувствовала никакого к тому отвращения; я знала, что рано или поздно он должен быть королем Шведским; хоть я и была еще ребенком, но титул королевы приятно звучал в моих ушах. С этого времени окружающие трунили надо мной по поводу его, и мало-по-малу я привыкла считать себя предназначенной ему (РТ: 469).

По-видимому, первоначально искушения перед автором использовать некоторые популярные, банальные романтические ситуации явно были большими. В цитированном отрывке, например, это предназначенность молодых друг другу с самого детства. Чуть дальше, в кратком очерке, Екатерина использует топос влюбленного по уши жениха: „великий князь любил меня страстно, и все содействовало тому, чтобы надеяться на счастливое будущее“ (РТ: 482). Этот стереотип связан с не менее стереотипным ожиданием окружающих, во главе с Елизаветой Петровной, именно такого „сказочного“ брака и попадают врасплох от первых недоразумений и конфликтов: „Императрица начала разговор с того, что мать

моя ей сказала, что я выхожу замуж за великого князя по склонности, но мать, очевидно, ее обманула...“ (РТ–Ч: 87). Преодолевая искушение легкого слащавого эффекта, мемуаристка предпочитает пойти до конца в противопоставлении обоих образов, следуя идее вступительного силлогизма. В поздней редакции она старательно стирает все положительные черты в образе своего супруга, а также и искры сочувствия и сентиментальности в воспоминаниях о прошлом. Причина этого – не в ее суровости и бесчувственности, а в повышенной публицистичности повествования, требующей резкого противопоставления двух полюсов в отношении критериев достойного/недостойного поведения будущего монарха. Образы обоих по-классицистски строго разделены на положительный и отрицательный, как это задано в автобиографическом пакте.

В соответствии с этой концепцией характеров Екатерина интерпретирует топос несчастного брака, который, однако, рассматривается в перспективе будущих ролей в обществе. Своеобразное соревнование начинается еще до свадьбы: усердие Софии-Фредерики выучить русский, принять не только умом, но и сердцем православную веру, узнать как можно больше об обычаях своей новой родины, превратиться, наконец, в настоящую русскую, роль, с которой будущая Екатерина Великая блестяще справляется. Между прочим, „легкость“, с которой этого можно добиться – один из распространенных мотивов в философском дискурсе Просвещения. Единственное условие превращения западноевропейца в русского – горячее желание и усвоение некоторых местных обычаев. Саму Екатерину будут воспринимать как красноречивое доказательство этой идеи, отстаиваемой ведущими философскими умами века, во главе с Вольтером, Гердером и др. (Вульф 2003: 318–320; Pénisson 1996: 149–150). Все эти старания представлены на фоне обширного очерка о воспитании Петра III, оказавшегося „неудачным по стечению несчастных обстоятельств“ (РТ–СРЗ: 205), в начале поздней редакции. Основные акценты в нем – противоречивое воспитание в результате противоборства политических интересов; поощрение его склонности к пьянству; одновременное сочетание религиозной нетолерантности, слепой привязанности к

протестантству, пренебрежение православием (в то время считавшееся синонимом русской идентичности), и атеизм; непоследовательное образование, страсть к военщине и презрение ко всему русскому (обычаям, быту, языку)<sup>59</sup>. Екатерина обобщает: „... в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив“ (РТ–СРЗ: 209). Некоторые из этих недостатков являются доминантами в образе Петра III не только в екатерининской автобиографии, но вообще в его облике российского государственного деятеля. Они – объект условно названного мной „публицистического“ дискурса в рассматриваемом тексте. С точки зрения избранной проблематики, эти характеристики образа становятся устойчивыми и предопределяют резкое противопоставление обоих персонажей и предположенную невозможность их счастливого семейного сожительства.

Топос несчастного замужества проявляется и в других когерентных топосах. Это топос *неконсуммированного брака* (на протяжении первых девяти лет совместного сожительства). Вместо того, чтобы обмениваться любовными ласками, целыми ночами оба играют в куклы в супружеском ложе, из-за слабости великого князя к этому удовольствию. Помимо того, что это происходило на самом деле, судя не только по екатерининским мемуарам, но также по свидетельствам других современников, топос нетронутой супруги был достаточно распространенным в романах XVIII века, от аббата Прево в начале столетия до Луве де Кувре в его конце (Fauchery 1972: 371)<sup>60</sup>.

<sup>59</sup> Идеологические аспекты противопоставления обоих персонажей комментируются в Главе IV Книги II.

<sup>60</sup> Исследователь цитирует как наиболее красноречивый пример судьбу графини де Линьоль из известного романа Луве де Кувре „Приключения шевалье де Фобласа“ (1788), которая была выдана замуж в 16 лет за мужчину, интересующегося только разгадыванием шарад; на супругу он не обращает никакого внимания. Когда подобные неблагоприятные интимные подробности из жизни вышестоящих получают известность, они становятся благодатной почвой для отрицательной мифологии. Такова, например, судьба другой известной несчастной четы того време-



Петр III, 1762 г.

ни: Людовика XVI и Марии-Антуанетты, брак которых оставался незавершенным, как тогда говорили, на протяжении первых семи лет. Возможно также перенесение отрицательных мифов, возникших в связи с этими историческими персонажами в интерпретацию пары Екатерина II – Петр III, так, как это происходит с ее образом самодержавной государыни во время Французской революции. Это видно также по некоторым преданиям и анекдотам, распространявшимся в России в XIX веке, некоторые из которых будут приведены в следующей главе (см. Черкасов 2001; Thomas, Ch. 1989; Van Crugten-André 1997). Проблема сексуальной инициации великого князя решается и в жизни, и в мемуарах романнным способом: молодая хорошенькая вдовушка просвещает его в этом деле (РТ–СРЗ: 334).



В тексте реализуется интересная вариация топоса признания в измене<sup>61</sup>: Екатерина – самая надежная наперсница своего мужа, которой он доверяет многочисленные любовные увлечения, причем почти всегда подчеркивается физическая уродливость, а часто также невежественность избранниц. Особенно показательны случаи с принцессой Курляндской в обеих редакциях 1790-х годов<sup>62</sup> и Елизаветой Воронцовой в последней по времени. В поздней редакции сожительство под одной крышей законной супруги и фаворитки соответствует не только фактам, но опять-таки является распространенным романнным топосом, подчеркивающим своеволие и безнаказанность мужа и смирение и добродетель жены.

Примечательно, что Екатерина пропускает в основных редакциях эпизод из одного из черновых планов мемуаров, касающийся кратковременного периода сожительства не только „трио“, но также „квартета“ Петр – Воронцова, Екатерина – Понятовский. Об этом вспоминает в своих мемуарах также польский король<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> EPOUX\_AVOUE\_INFIDELITE /www.satorbase.org .

<sup>62</sup> Речь идет о Екатерине Ивановне Бирон, дочери всесильного фаворита Анны Иоанновны Бирона и супруге барона А. И. Черкасова, которому посвящена вторая редакция автобиографии.

<sup>63</sup> Пытающийся проникнуть в Ораниенбаумский дворец, где находится в то время великокняжеская семья, Понятовский пойман стражей. Чтобы спастись от дипломатического скандала, он отказывается легитимизироваться. Когда его отвели к великому князю, тот понял, кто на самом деле пойман, и принимает это с улыбкой: „Ну не дурак ли ты, что не сказал мне все откровенно? Если бы ты это сделал, всей этой кутерьмы не было бы“. Я во всем признался и тотчас стал восхвалять военные способности Великого Князя. Это так польстило ему и привело его в столь прекрасное настроение духа, что через четверть часа он сказал мне: „ну вот мы и помирились, однако для полного удовольствия нам кое-кого не хватает“ и пройдя в спальню жены, он поднял ее с постели; она едва успела натянуть чулки и набросить капот, как он притащил ее к нам в комнату, как она была, без сапог и без юбок и, указывая на меня, произнес: „Ну вот. Надеюсь мною будут довольны“ (Понятовский 1915–1916, т. 165, № 2: 284).

После этого случая все четверо часто ужинают вместе: „С вехом Великого Князя я был еще 4 раза в Ораниенбауме. Я приезжал вечером; проходил по потайной лестнице к Великой Княгине; где заставал Великого Князя и его фаворитку. Мы ужинали вместе, после чего он уводил Воронцову, говоря: „ну, дети мои,

Любовные интрижки великого князя говорят как о его бескритичности, так и о его стремлении демонстрировать свою „свободу“ как знак мужественного поведения (при ущербном „немужском“ и „немужественном“ в интимной жизни пары) и унижить достоинство супруги. Для Екатерины влюбчивость мужа – повод не только очередного осуждения нравственности Петра, но и способ направить внимание на такие качества его личности, которые говорят об отсутствии качеств будущего государя:

Главное достоинство, какое она имела в его глазах, состояло в том, что она [Е. И. Бирон, – А. В.] была дочерью не русских родителей; уже тогда великий князь выказывал очень сильное пристрастие ко всем иностранцам и начало отвращения ко всему, что было русским или тянуло к России. Это отвращение впоследствии росло, но в то время Его Императорское высочество имел достаточно здравого смысла, чтобы не выставлять эти чувства напоказ, хотя часто у него вырывались уже очень многозначительные проблески такого настроения. Принцесса, кроме того достоинства, что она была иностранкой, имела в глазах великого князя еще ту неоцененную прелесть, что она охотно говорила по-немецки; и вот мой великий князь влюблен по уши. Настоящее достоинство принцессы Курляндской менее поразило его; нужно ей отдать справедливость, что она была очень умна; у нее были чудесные глаза, но лицом она была далеко не хороша, за исключением волос, которые были очень красивого кашта-

---

вам меня кажется, более не нужно“; и я оставался, сколько хотел“ (Понятовский 1915–1916, т. 165, № 2, с. 285).

Сравни в плане Екатерины: „Между двумя и тремя часами утра я услышала, как отдергивают занавес моей кровати и я разом проснулась; это был великий князь, который сказал мне, чтобы я встала и последовала за ним; кого я нахожу у него. И вот мы все трое лучшие друзья на свете. Как до отъезда графа Понятовского великий князь проводил два-три вечера в неделю в моем кружке и пил мое английское пиво...“ (РТ: 466).

Эпизод не попадает в текст автобиографии, так как мемуаристка чувствовала его скандальность для публики. С другой стороны, он бы представил ее супруга чрезвычайно толерантным и великодушным, что явно не вписывалось в концепцию его образа. Автор также умалчивает о другом факте, который засвидетельствован Понятовским, о заступничестве перед великим князем его фаворитки Елизаветы Воронцовой (Понятовский 1915–1916: 284). Это признание бы нанесло серьезный ущерб тщательно создаваемому имиджу из-за компромиссов, которые великая княгиня была вынуждена допустить.

нового цвета. Кроме того, она была маленького роста и не только кривоноса, но даже горбата; впрочем, это не могло быть недостатком в глазах одного из принцев Голштинского дома, которых в большинстве случаев никакое телесное уродство не отталкивало [...] Великий князь не совсем скрывал от меня эту склонность, но все-таки сказал мне, что это была только прекрасная дружба: я охотно этому поверила; впрочем, я знала, что это дальше перемигиваний не пойдет в виду особенностей названного господина, которые были все те же, хотя прошло уже около пяти лет, как мы были женаты (РТ-Ч: 176–177).

Таким образом, плохой вкус, странные предпочтения связываются с антипатриотическим поведением. Стоит особого внимания автоинтерпретация образа мемуаристки в рассматриваемом эпизоде. ИмPLICITно выражена ее терпимость к сопернице. Екатерина не подчеркивает собственного физического превосходства, особенно в отношении к недугу принцессы Курляндской. В то же время она демонстрирует свое умение оценить положительные качества другой женщины, и прежде всего ее ум. Это свидетельствует о высоких моральных качествах повествовательницы. В то же время великая княгиня придерживается ожидаемого, согласно общепринятым нормам, поведения со стороны жены. Она терпеливо сносит испытания брака с нелюбимым мужем и молчаливо принимает его измены. Героиня последовательно придерживается этой модели поведения на протяжении первых лет семейной жизни. Это полностью отвечает социальным представлениям о поведении замужней женщины и совпадает с распространенной интерпретацией семейных отношений в романе.

Мотив подчинения женщины в браке имPLICITно содержится в своеобразной программе поведения, которую составляет пятнадцатилетняя невеста:

Вот рассуждение или, вернее, заключение, которое я сделала, как только увидела, что твердо основалась в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту:

- 1) нравиться великому князю,
- 2) нравиться императрице,
- 3) нравиться народу.

Я хотела бы выполнить все три пункта и, если это мне не удалось, то либо (желанные) предметы не были расположены к тому, чтоб это было, или же Провидению это не было угодно; ибо по истине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность, все с моей стороны постоянно к тому было употребляемо с 1744 по 1761 г. (РТ–Б: 58).

Эта рациональная программа, согласно свидетельству мемуаристки, сотворена самостоятельно в пятнадцатилетнем возрасте „без чьего-либо участия“ и является плодом ее воспитания, ее ума и ее души (РТ–Б: 59). Она должна прийти на смену любви и привязанности в браке и имеет целью приобретение популярности. Но в то же время готовность „нравиться“ – выражение конвенциональной роли молодой женщины в семье, в патриархальном обществе, которую принимает великая княгиня.

В поздней редакции самостоятельность, независимость и сила духа демонстрируются другим характерным топосом европейского романа XVII–XVIII вв. Это мотив невозможности по презумпции любви в браке. Таков ведущий сюжетный мотив одного из известнейших дамских романов французской литературы – „Принцесса Клевская“ г-жи де Лафайет, в котором главная героиня отказывается выйти замуж за возлюбленного, несмотря на многолетнюю взаимную привязанность, так как считает, что брак уничтожит их любовь. Оппозиция „любовь–брак“ относится к коду куртуазной литературы (Pulcini 1998: 8, 12) еще с эпохи Средневековья. По мнению А. Кибеди Варга, несовместимость любви и брака – ведущая тема не только прециозной литературы, но и многих романистов, и особенно романисток следующего XVIII столетия (Kibedi Varga 1977: 519). „Брак и разум формируют пару более легитимную, чем любовь и брак [...] брак по любви чаще всего воспринимается как очень скандальная аномалия“, – пишет Пьер Фошри (Fauchery 1972: 396). Аналогичен смысл наблюдения Кибеди Варга: „В романе героиня вообще не может спастись от социального принуждения к браку; что касается любви, она решает отказаться от нее. И она должна это сделать, так как отказ от

любви – единственное средство выжить, строгое условие биологического и социального выживания; неотказанная любовь ведет к смерти“ (Kibedi Varga 1977: 520). Исследовательница констатирует, что даже в „Телемахе“ Фенелона содержится сходный совет, отправленный, естественно, Ментором сыну Одиссея: „Нельзя победить любовь, если не будем избегать ее; против такого врага единственное средство – бежать“ (там же, 521). Даже роман Руссо „Новая Элоиза“, который стал причиной переосмысления отношения к институции брака, принципиально отрицает необходимость создания семьи на основе взаимной любви супругов (Pulcini 1998: 8). Руссо проповедует как в „Эмиле“, так и в „Новой Элоизе“ привязанность, дружеские отношения между мужем и женой, наставничество со стороны супруга в отношении к жене (которая обычно младше него), ее признательность и разумность, но не страсть между ними. Мотив отказа от брака из-за желания сохранить любовь, характерен для героинь многих романисток XVIII века и особенно для героинь г-жи Риккони (Fauchery 1972: 657)<sup>64</sup>. Почти век спустя после выхода „Принцессы Клевской“, сходный мотив можно найти у одного из популярнейших романистов – Шодерло де Лакло. В „Опасных связях“ юная и только-что вышедшая замуж маркиза де Мертей сознательно отказывается полюбить супруга<sup>65</sup>. Использование мотива отказа от любви в браке в поведении этого яркого отрицательного (но захватывающего) женского персонажа, говорит о его распространенности. В обеих редакциях екатерининской автобиографии 90-х годов есть такой сознательный отказ от любви в браке:

---

<sup>64</sup> Исследователь указывает на существование целой гаммы воздержания от любви, характерной для творчества этой популярной романистки, о которой будет случай подробнее поговорить в следующей главе: отказ любить или быть любимой; отказ от замужества; отказ от счастья.

<sup>65</sup> „... верная своим принципам и, может быть, инстинктивно чувствуя, что никому не следует так мало доверять, как мужу, я – именно потому, что была чувственной, – решила в его глазах казаться бесстрастной“ (Шодерло де Лакло 1997: 162). Интересно, что автор „Опасных связей“ испытывал огромное уважение к творчеству г-жи Риккони и считал себя ее учеником. Он драматизировал ее роман „Эрнестина“.

Я бы очень любила своего нового супруга, если бы только он захотел или мог быть любезным; но у меня явилась жестокая для него мысль в самые первые дни моего замужества. Я сказала себе: если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле; по характеру, каков у тебя, ты пожелаешь взаимности; этот человек на тебя почти не смотрит, он говорит только о куклах или почти что так и обращает внимания на всякую другую женщину, чем на тебя; ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого, последовательно обуздывай себя, пожалуйста, насчет нежностей к этому господину; думайте о самой себе, сударыня. Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня, и эта мысль никогда не выходила мне из головы; но я остерегалась проронить слово о твердом решении, в котором я пребывала – никогда не любить безгранично того, кто не оплатит мне полной взаимностью; но по закалу, какой имело мое сердце, оно принадлежало бы всецело и без оговорок мужу, который любил бы только меня и с которым я не опасалась без обид, каким подвергалась с данным супругом; я всегда смотрела на ревность, сомнение и недоверие и на все, что из них последует, как на величайшее несчастье, и была всегда убеждена, что от мужа зависит быть любимым своей женой, если у последней доброе сердце и мягкий нрав; услужливость и хорошее обращение мужа покорят ее сердце (РТ–Ч: 75).

Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если я поддаюсь чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня не трудно: я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было (РТ–СРЗ: 241).

Эпизоды отличаются как по объему (в „черкасовской“ редакции эпизод вдвое длиннее и содержит пространное рассуждение о любви и браке), так и по содержанию в отношении образа героини. В более раннем варианте, несмотря на заявление об отказе от любви, все-таки мемуаристка рассчитывает на известную взаимность, для нее привязанность возможна при наличии доброй воли

у обоих. Во втором варианте многословность устранена, а позиция автора намного категоричнее: интимные переживания уже целиком подчиняются уму. Готовность исполнять традиционную роль, независимо от того насколько глубоко она была осмыслена (хотя это довольно сомнительно в столь раннем возрасте) и запрограммирована, уступает стремлению мемуаристки самой управлять своей судьбой. На этом фоне рациональная классицистская идея господства ума над чувствами воспринимается как обязательное условие истинного счастья. „В русской культуре после 1700 года [...] набирает силу идеология, требующая вовсе не самовыражения, а самоконтроля и делающая упор отнюдь не на акцентировании и культивировании чувств, а на их подавлении“, – отмечает К. Келли (Келли 2010: 56). Таким образом, Екатерина II типологически связывает автобиографическую проекцию своей личности с сильными женскими характерами, рационально контролирующими свои чувства и, следовательно, свою судьбу. В действительности, это опять-таки романский топос, встречающийся в европейской романистике XVII–XVIII веков<sup>66</sup>. Брак как важный институт в жизни (и романе) и женщины, и мужчины, тесно связан с проблемой счастья, но в XVIII веке средством его достижения мыслится разум, а не чувства.

Мотив рациональности, обдуманности всех действий молодой Екатериной контрастирует с описаниями иррационального, импульсивного и бесполезного, как для него самого, так и для общества, поведения Петра Федоровича. Это дает повод императрице для ряда публицистических рассуждений на тему воспитания, семейных отношений, поведения будущего государя, сопутствуемых сатирическими нападками против ее супруга. Интерпретация темы брака в автобиографии Екатерины II полемически соотнесена с концепцией семьи у нелюбимого ею Жан-Жака Руссо.

В екатерининских записках последовательно интерпретируется другая вариация топоса брака – топос морального угнетения<sup>67</sup>, от которого женщина страдает в семье и чаще всего от отношения к

---

<sup>66</sup> RAISON\_VRAI\_BONHEUR/ www.satorbase.org .

<sup>67</sup> MALTRAITER\_FEMME; TORTURER\_MORALEMENT/ www.satorbase.org .

ней мужа. Нравственные испытания, которым годами подвержена великая княгиня Екатерина – ведущая сюжетная линия в мемуарах. Это не только повод поделиться с читателем печальными подробностями пережитой бытовой драмы. Мотив морального угнетения философски нагружен и находится в прямой связи с концепциями счастья, характерными для XVIII столетия. На последние сильное влияние оказывала стоическая философия, постулаты которой переживают возрождение в Век Просвещения. Их влияние чувствуется также в романских интерпретациях поведения героев, в том числе и в судьбах героинь. „... Замужество и материнство изначально не могли быть решающими критериями для жизнеописания Екатерины. Ее задача заключалась скорее в том, чтобы, с одной стороны, представить с историко-прагматических позиций свое воспитание и показать внутреннюю готовность к замужеству и материнству, соответствовавшие нормам придворного общества, а с другой стороны, убедить читателя, что у нее было достаточно рациональных оснований, чтобы выбиться из наезженной колеи. С политической точки зрения ей достаточно было изобразить Петра смешным и опасным деспотом, а государственный переворот представить как неизбежное в данной ситуации деяние для спасения империи. Однако Екатерина пошла дальше, изобразив свое замужество как семнадцатилетнее мученичество и показав непримиримые противоречия не между мужчиной и женщиной вообще, а между этим мужчиной и собой, женщиной, во многом превосходившей своего мужа, наделенной чувством ответственности за Российскую империю и волей к знаниям, способной доказать, что она достойна своего предназначения, а кроме того – не лишена и „естественных“ эмоциональных потребностей“, – обобщает Клаус Шарф (Шарф 2015: 108–109).

В романе XVIII века стоическое поведение женщины противопоставляется своеволию ее семьи; его носителями обычно выступают мужчины (отец, братья). Но чаще всего право сильного заявляет супруг. О физических страданиях в романах речь заходит редко. Гораздо чаще встречается мотив психического угнетения, которое испытывает героиня от грубого, неуважительного, унижа-



ющего ее поведения собственного мужа. Эти мотивы активно используются в екатерининской автобиографии. Особенно интересна в ней травестия мифа о „пигмалионизме“ (термин П. Фошри) мужчины, характерного для западноевропейского романа того времени. Роман XVIII века проповедует дидактизм со стороны супруга, „обучение“ и „воспитание“, которое он должен осуществлять в отношении жены. Этот идеал, например, лежит в основе идеальных супружеских отношений в „Новой Элоизе“ Руссо. Романский миф о мужском „пигмалионизме“ очень хорошо вписывается в христианскую этику, требующую подчинения и послушания женщины. В поздней редакции Екатерина отказывается от „изобличительного“ ворчания редакции 1791 г. и предпочитает представить в ироническом плане „наставничество“ великого князя в отношении к ней самой. В романе того времени рассматриваемый топос обычно идет рука об руку с другим, также характерным для сюжетов на женскую тему. Это большая зрелость женской личности по сравнению с подготовленностью к жизни ее мужа (Fauchery 1972: 579).

Последовательное противопоставление будущих супругов именно по отношению к их психической (да и физической) зрелости, намеченное в ранней редакции, возобновляется через двадцать лет в других частях. Но если в редакции 1771 г. противоположность оправдана возрастным фактором (все-таки 15-летние девочки, как правило, более зрелые, чем их сверстники), то в следующих редакциях эта объективность отсутствует, и антитеза в поведении обоих супругов основывается на степени осознанности каждым из них житейских и государственных целей.

В обеих редакциях 90-х годов последовательно противопоставляются „ребячества“ великого князя, которым вынуждена подчиняться Екатерина, следуя супружескому долгу покорности и послушания, и ее собственное „разумное“ поведение, ориентированное на рациональное использование времени для самообучения и чтения. Среди ребяческих, незрелых занятий великого князя есть много странных для человека его возраста и ранга: игра в войну с лакеями или игра в оловянные солдатики; строение картонных крепо-

стей<sup>68</sup> с латунными орудиями, способными имитировать выстрел; беспощадная дрессировка своры собак, помещавшейся из-за запрета императрицы Елизаветы в соседней комнате („так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны Его Императорского Высочества“ (РТ–СРЗ: 262), откуда доносился невообразимый запах и был слышен постоянный лай и визг; неприятное и действующее на нервы пиликанье на скрипке часами подряд; пьянство и запанибратство со слугами. Молодая супруга вынуждена подчиняться и терпеть, а время от времени стоять на посту у двери комнаты(!) с мушкетом на плече, пока ее не освободят от наряда... Принятие Петром игры за действительную жизнь, неспособность различить забавление и досуг от обязанностей и серьезных занятий интерпретируются мемуаристкой не просто как запоздалое и неизжитое детство, а как отсутствие должного воспитания, которое бы способствовало созреванию человека (и принца) и дало бы ему критерии „взрослого“ поведения. Описание звукового фона, пластичность описаний, узкое и ограниченное пространство этих сцен, усиливают ощущение переживаемого угнетения и огорчения. И если все-таки для 16-летнего Петра подобные занятия в какой-то мере простительны, то акцент на нежелании великого князя „повзрослеть“ достигнут растяжением его игрового поведения и шутовства на весь период их совместного сожительства, только с течением времени к картонным крепостям и оловянным солдатикам добавляются „настоящее“ укрепление в Ораниенбауме и голштинский полк. Инфантильность и бессмысленность подобного поведения подчеркнуты таким же неуместным „воспитанием“ в воинском духе молодой супруги. Незрелость и, мягко говоря, странность великого князя еще больше выделяются на фоне его неадекватного поведения в плане интимности: игра в кукольный театр вместо любовных ласок, досадные разговоры по целым ночам, в том числе об его интрижках с фрейлинами, иногда удары в бок, которыми он на пьяную голову награждает жену и

---

<sup>68</sup> За разрушение одной из таких крепостей в назидание была казнена повешеньем огромная крыса, совершившая это „военное преступление“ и имевшая неосторожность съесть двух часовых из крахмала (РТ–СРЗ: 342).

пр. Это асексуальное поведение также растянуто во времени. Оно остается таким же на протяжении всех первых девяти лет семейной жизни. Терпение и молчаливое подчинение, кроме традиционных женских добродетелей в жизни, являются одним из способов существования романских героинь, в некоторых случаях, более слабые характеры выбирают их как форму протеста.

### ***Формы протеста и самоутверждения***

#### **Ипохондрия**

Одно из „лекарств“, которые предписывает роман героиням, попавшим в безвыходную ситуацию, – это *слезы*. По определению Пьера Фощри, слезы – „поливалентный ресурс“, лекарство, которым „не пренебрегают даже самые сильные“, „разрешающее наименьшими затратами эмоциональные противоречия“ (Fauchery 1972: 656). В обеих редакциях своей автобиографии 90-х годов Екатерина II не боится показаться слабой перед будущими читателями. Императрица описывает эпизод крайнего своего отчаяния в кризисный для нее 1746 год, что в психологии называется акедией: „По своим симптомам акедия напоминает сильную печаль. Ей также сопутствуют подавленность, беспокойство, неопределенная тоска, безутешность, отвращение к самому себе, вялость и бездеятельность. Душа словно разорвана на части. Или выжжена и бесплодна как пустыня. Исушение и опустошение. Неслучайно акедию считали самым грозным и мучительным состоянием, при котором человек бесконечно изводит сам себя“ (Юханнисон 2011: 78). Опять-таки „черкасовская“ редакция предлагает более пространную версию, которая может быть истолкована не совсем благоприятно предполагаемым читателем:

Я сидела и скучала дома одна или же с глазу на глаз с Чоглоковой, которая говорила мне лишь неприятности; от такой ли жизни, или от внутреннего предрасположения, но я почувствовала приступы ипохондрии, которая часто заставляла меня плакать. Не знаю, Чоглокова ли, или мои женщины, несмотря на мое старание скрыть слезы, заметили их; позвали д-ра Бургава, которого императрица очень любила; он мне посоветовал

пустить кровь; я согласилась, и Чоглокова, к моему великому изумлению, предложила мне прогулку в саду Екатериненталя и принесла мне три тысячи рублей в подарок от императрицы. Я ни от чего от этого не отказалась, как это можно легко себе представить и, действительно, почувствовала себя легче; я была очень худа в то время и после тяжелой болезни, которую я перенесла в Москве, Бургав в течение семи лет опасался, как бы у меня не было чахотки. Удивительно, что ее у меня не было, потому что в течение восемнадцати лет я вела такую жизнь, что десяток иных могли бы сойти с ума, а двадцать на моем месте умерли бы с горя (РТ–Ч: 93).

Как в других случаях, автор устраняет в позднем варианте из этого эпизода все, что могло бы навредить ее цельному образу и могло бы быть истолковано двусмысленно (заботливость всевидящей через своих шпионов императрицы, денежный подарок, который утешает, но также оставляет сомнение о компромиссе с собой, болезненное состояние, которое в романах является знаком постепенного угасания добродетельной, но хрупкой и слабой героини:

... я [...] начинала чувствовать большое расположение к грусти. Я чувствовала себя совершенно одинокой [...] Днем Чоглокова вошла ко мне в комнату и застала меня в слезах... она спросила, что со мною, и предложила, от имени императрицы, чтобы рассеять мою ипохондрию, [...] пройтись по саду (РТ–СРЗ: 252).

Слезы, как типичный атрибут несчастной романной героини, обильно льются в автобиографическом тексте как компенсация чувства принуждения и уязвленного достоинства. Но они – только отдушина и не являются признаком слабости, а дают необходимое утешение великой княгине, перед тем как она соберется с духом и осмелится противодействовать неблагоприятным событиям и эмоциям в своей жизни. „Действенным средством считались медитация, чтение молитв, пение псалмов, заучивание библейских текстов (эти же техники являются испытанным средством заглушения боли). Могли помочь слезы или мысли о загробной жизни и награде, которая ждет праведника после смерти. Но, по свидетельству опытных монахов, лучше всего помогала работа. [...] Сизифов труд как лекарство от слабости духа“, – так Карин Юханнисон коммен-

тирует средневековые способы преодоления этого тяжелого душевного состояния (Юханнисон 2011: 78). Последнее средство, очевидно, пришлось по вкусу героине автобиографии. Ее ждал поистине Сизифов интеллектуальный труд, который не только не позволил ей впасть в уныние и зачахнуть, но, напротив, помог ей вписать свое имя золотыми буквами в историю.

### **Самоубийство – неприемлемый выход**

Сильные женщины и в жизни, и в романах находят силы для более осязаемого сопротивления. Самая драматическая форма – это выбор в пользу смерти. Особенно эффектным в качестве развязки в конце XVIII века во время расцвета сентименталистского романа считалось *самоубийство*. В любом случае, смерть добродетельного персонажа в романе интерпретируется как своего рода моральная победа. Если сентиментализм утверждает добровольный уход как высшую форму человеческого самосознания и воли, то еще со времени классицизма и прежде всего классицистской трагедии он рассматривается как средство апофеоза героического поведения во имя определенной каузы. Но в то же время в мысли о самоубийстве находит выражение самолюбие персонажа: „...уверенность в близком конце трансформируется в наслаждение [...] близкая смерть заставляет персонаж перверзно любоваться самим собой, представляя себе свой собственный труп“ (Fauchery 1972: 790). Тут можно добавить, неожиданность для окружающих и их скорбь.

Эпизод на сюжет самоубийства есть в одном из черновых вариантов автобиографии Екатерины, в кратком тексте конца 50-х годы. В нем императрица рассказывает о своей якобы имевшей место попытке самоубийства, относящейся к тому же времени – 1746 г., как и о событиях, описанных в обоих цитированных выше отрывках. Попытка покончить с собой представлена как следствие депрессии и чувства безысходности, о которых уже шла речь:

Я была в таком сильном отчаянии, что, если прибавить к нему героические чувства, какие я питала, – это заставило меня решиться покончить с собою; такая полная волнений жизнь и столько со всех сторон

несправедливостей и никакого впереди выхода заставили меня думать, что смерть предпочтительнее такой жизни; я легла на канапе и, после получасу крайней горести, пошла за большим ножом, который был у меня на столе, и собиралась решительно вонзить его себе в сердце, как одна из моих девушек вошла, не знаю зачем, и застала меня за этой попыткой. Нож, который не был ни очень остер, ни очень отточен, лишь с трудом проходил через корсет, бывший на мне. Она схватилась за него; я была почти без чувств; я испугалась, увидев ее, потому что я ее не заметила. [...] Она постаралась заставить меня отказаться от этой неслыханной мысли и пустила в ход все утешения, какие могла придумать. Понемногу я раскаялась в этом прекрасном поступке и заставила ее поклясться, что она не будет о нем говорить, что она и сохранила свято (РТ: 489–490).

Этот эпизод не повторяется больше нигде: ни в какой-либо из редакций, ни в сохранившихся планах. Вероятно, это всего лишь психологический этюд, проба пера. По-видимому, Екатерина очень ясно давала себе отчет в наигранной театральности описанного случая, который представлял ее в неблагоприятном свете. Это видно также по легкой иронии: „героическое“ настроение, необдуманность поступка – удар тупым ножом по твердому корсету, который во всех случаях бы смягчил его силу. Но этот эпизод, даже если он действительно произошел, показывает сильное воздействие романной и драматургической поэтики на сознание мемуаристки. Это видно также в выборе традиционного для женщин оружия – ножа, светлый металлический цвет смотрелся бы прекрасно по контрасту с окровавленным острием, что подчеркнуло бы драматизм случившегося (Fauchery 1972: 793).

Самоубийство, однако, не было только романным топосом. Как философская проблема в конце XVIII века, оно ставило важнейший вопрос о смысле и назначении жизни индивидуального человека. У проблемы были также „государственные“ измерения, поскольку самоубийство, особенно в жанре высокой классицистской трагедии, связывалось с гражданской доблестью и ценой компромисса. Добровольный уход добродетельного персонажа расценивался как подвиг: „Самоубийство есть двойное отрицание, равнозначное

утверждению – здесь оно предстает как величайшая доблесть и не менее героично, чем смерть на поле боя или в борьбе с тираном“, – пишет современный исследователь жанра (Левитт 2015: 173). Отношение к добровольному уходу из жизни было связано с философией стоицизма, которая лежала в основе просвещенческих концепций человека. С точки зрения выбора между жизнью и смертью государственных деятелей, особенно актуальны были „Размышления“ Марка Аврелия, в которых римский император оправдывает выбор смерти, если нельзя сделать уже больше ничего полезного для общества. „Не переводи остаток жизни за представлениями о других, когда не соотносишь это с чем либо общепользным“, писал древний автор (Марк Аврелий 1985: 13 – III Книга: 4). Римский император видит в независимости непереносимое условие достойной жизни, а если ее нет, тогда допустим добровольный уход, как высшее выражение независимости: „А покуда ничто такое не уведит меня из жизни – я независим, и никто не помешает мне делать то, что я желаю в согласии с природой разумного и общественного существа“ (Марк Аврелий 1985: 28 – V Книга: 29). Верность себе – непереносимое условие для жизни по Марку Аврелию, но „если чувствуешь, что соскальзываешь, и что не довольно в тебе сил, спокойно зайди в какой-нибудь закоулок, который тебе по силам, а то и совсем уйди из жизни – без гнева, просто, благородно и скромно, хоть одно это деяние свершив в жизни, чтобы вот так уйти“ (Марк Аврелий 1985: 57 – X Книга: 8). Размышления римского императора о добровольном выборе между жизнью и смертью были плодом житейского и государственного опыта. Его максимы оказали заметное воздействие на европейскую философию эпохи Просвещения. И через посредство других авторов, и благодаря личным размышлениям, многие его суждения стали близкими „разумной душе“ Екатерины<sup>69</sup>. Героиня автобиографии в момент попытки покончить счеты с жизнью не совершила ничего заметного, она была далека от осуществления своих житейских намерений. В смерти от тупого ножа не было ничего героического и много бутафорно-те-

---

<sup>69</sup> См. здесь Главу I Книги Второй.

атрального. Если это и имело место<sup>70</sup>, то оно заслуживало лишь снисходительную улыбку.

Снисходительность зрелого автора фрагмента к юношеской экзальтации, однако, не мешает ей оценить неуместность подобного воспоминания, которое бы расколебало мифологизированный рациональный образ автобиографа.

### **Уединение как протест**

Более мягкая форма сопротивления романной героинь – *(само)изоляция*. Этот топос сильно распространен в описаниях женских судеб и отличается разнообразными вариациями. Его житейская достоверность и сходные обстоятельства жизни мемуаристки привели к активному его использованию в автобиографии императрицы.

Одно из средств самосохранения женщины в романе – уединение, чаще всего с книгой в руке. Мотив одиночества часто связан со стремлением романной героинь к самоусовершенствованию и обогащению духовного мира. Эта распространенная романная модель прекрасно подходила для выбранной повествовательницей концепции собственной личности. Топос одиночества подчеркивал ее силы сопротивления, а также последовательную работу над собой, рациональное начало, которым она руководствовалась, в противовес расхищению времени и душевных сил ее супругом-соперником. Одиночество – способ выжить в порочном окружении двора, где царствуют лицемерие и интриги. „Если лицемерие – единственное средство спасти себя от злонамеренности в обществе, если победы, которые оно приносит, сомнительны и мимолетны, благородная душа испытывает искушение прервать все вынужденные связи с миром и сосредоточиться на самой себе“ (Fauchery 1972: 676) – замечание Пьера Фошри об этом поведении романной героинь подхо-

---

<sup>70</sup> М. Крючкова, которая тщательно восстанавливает фактологическую основу описанных в екатерининской автобиографии событий, все-таки считает, с большой дозой уверенности, что это была реальная попытка. Это могло быть осуществление ранее задуманного намерения в стиле „идейного“ самоубийства или же розыгрыш, которым великая княгиня „хотела припугнуть императрицу Елизавету возможностью скандала“ (Крючкова 2009: 82–84, здесь 84).



дит как нельзя лучше самоописанию Екатерины. Из своей читательской практики она отлично знала типологию женских персонажей, предпочитающих одиночество: это преимущественно возвышенные и добродетельные героини. Подтверждение этого можно найти опять-таки в наблюдениях французского исследователя: „Романный опыт одиночества представляет собой, на самом деле, одно из самых верных средств расцвета души, можем сказать прямо: злые души не способны на одиночество, они сосредотачиваются в себе лишь для чего-то плохого. Одиночество, напротив, – благоприятный климат для „добрых душ“ (Fauchery 1972: 678). Маркус Левитт комментирует квазистоический уход в себя, характерный для героев классицистской трагедии. По мнению исследователя, это могло повлечь за собой даже уход с политической арены венценосных героев этого высокого жанра, которые остаются верными себе, но не делают компромисса с своими принципами (Левитт 2015: 189).

Испытанием силы „доброй души“ мемуаристки, как для многих ее романтических сестер, независимо от их социального статуса, стало ощущение тюрьмы, унизительности. Екатерина упоминает в автобиографии действительные распоряжения Елисаветы Петровны, запрещавшие самовольные действия и покидание покоев великокняжеской четы без специального разрешения, запрет на личную корреспонденцию, в том числе с родителями. Запрет простирался даже на содержание у себя письменных принадлежностей, писчей бумаги, чернил. Унизительное ощущение унизительности усиливается и от постоянной слежки глазами бесчисленных шпионов, доносящих о каждом движении, взгляде, слове, и от постоянных мелочных нареканий и упреков со стороны Чоглоковых, а позже и Шуваловых, приближенных императрицы Елизаветы Петровны, сторожей великокняжеской семьи. Чувство одиночества вызвано также безразличием мужа, его ежедневными маленькими предательствами на фоне ее лояльности. По-видимому, в пренаселенном дворце чувство одиночества было скорее иллюзорным, оно было действительно как ощущение, нашедшее романное выражение в повествовании. „Нигде человек не уединяется тише и покойнее, чем у себя в душе“, – писал древний мудрец Марк Аврелий в „Размышлениях“ (Марк

Аврелий 1985: 17 – IV книга: 3). Максима римского императора как нельзя лучше корреспондирует с настроениями героини мемуаров, воспользовавшейся одиночеством для активной работы над собой.

Одиночество было в этом смысле важной философской проблемой. Корреспондент императрицы д-р Циммерман был автором авторитетного четырехтомного трактата „Об уединении“ („Über die Einsamkeit“ 1-я редакция – 1756 г., последняя – 1784 – 85 гг.). „В этой книге, написанной в стиле немецкой Popularphilosophie (популярной философии) XVIII века, содержится обобщение просветительской концепции уединения, такого состояния, когда полностью реализуются возможности человеческого разума“, – отмечает Е. Земскова (Земскова 2005 www). Хотя в переписке эта проблема не обсуждается, Екатерина II хорошо знала взгляды собеседника и разделяла их<sup>71</sup>. Циммерману принадлежит суждение, ставшее крылатым выражением: „Дважды в жизни человек должен быть одиноким: в юности – чтобы бóльшему научиться и выработать себе, для руководства, образ мыслей, и в старости – чтобы взвесить всё пережитое“. Житейская мудрость Екатерины-автобиографа подтверждает ее правоту. Юной героине мемуаров предстояло продемонстрировать свои добродетели. „Из этого [ухода в себя, – А. В.], казалось бы, можно было бы заключить, что добродетель самодостаточна. Однако в России XVIII века она не была наградой сама по себе: она должна была стать зримой, замеченной, снискать похвалу [...]. Но и тогда высшей ценностью остается Божественная перспектива, поскольку Божественное зрение по самому своему определению безупречно и всеобъемлюще“ (Левитт 2015: 190). Зрительная перспектива пожилой Екатерины, осмысливающей в автобиографии свой опыт, вступала в конкуренцию с Божественной: она рассчитывала, что потомство лучше всего увидит ее прекрасное и высокое исполнение из зрительного зала будущего.

---

<sup>71</sup> В переписке императрицы с д-ром Циммерманом есть письмо от 29 мая 1785 г., в котором выражается благодарность за присланные книги. Екатерина заявляет, что трактат об одиночестве буквально спас ее в трудное для нее время, подразумевая свою глубокую скорбь по поводу смерти фаворита Ланского (Екатерина II и д-р Циммерман 1887: 281).

### Чтение и внутренняя свобода

*Чтение* – один из верных способов приобретения внутренней свободы. По причине упомянутых запретов и в отличие от многих известных романских героинь (Клариссы Ричардсона, Жюли Руссо, Фанни и Жулиетты г-жи Риккони и пр.), – молодая Екатерина – не пишущая<sup>72</sup>, а читающая героиня. Как это уже говорилось, репертуар чтения, сообщенный автобиографом, – именно такой, который бы способствовал развитию интеллекта, мышления и укреплению сопротивительных сил ее личности. Именно чтение, как средство (само)образования и самовоспитания, полезного и приятного времяпрепровождения – особенно частый топос в „дамских“ романах. Согласно Пьеру Фошри, женский автодидактизм – одно из самых привлекательных общих мест в романах XVIII века. Ученый находит нечто одинаково трогательное в „свежести и страсти, с которыми столько девушек в романах XVIII столетия (особенно в написанных женщинами), повторяя жесты своих создательниц, черпают из источника знания“, и в любовных переживаниях героинь (Fauchery 1972: 169). По мнению Фошри, никогда воспитание, полученное героиней, не вполне адекватно ситуации, в которой она находится, всегда, в каком-то смысле, оно дает повод для вмешательства судьбы (там же, 163).

В автобиографии Екатерины II топос читающей героини становится способом управления собственной участью. В какой-то мере эта кажущаяся пассивность великой княгини, ее первоначальная готовность *подчиняться* и соблюдать конвенциональное женское поведение<sup>73</sup> неожиданна. Но она находится в полном соответствии

---

<sup>72</sup> В самой распространенной форме романа XVIII века – эпистолярной – собственная комната – любимое место, где, пользуясь уединением, героиня может осмыслить происходящее и вызванные им мысли и чувства, берясь за перо и предназначая написанное как самой себе, так и близким людям. О пишущей героине и собственной комнате, как о месте для письменных занятий см. (Marsden Gillis 1979: 153–168).

<sup>73</sup> Между прочим, до конца жизни Екатерина ни в коем случае не мужеподобна, несмотря на некоторые особенности ее личного поведения в поздние годы, такие как открытая сексуальность и нескрытое предпочтение мужчинам гораздо моложе. В быту это черта, свойственная конвенциям мужского поведения: увле-

с концепцией романа о сильной женской личности. „Положение женщины [...] двойственно, оно одновременно является выражением конформизма и протеста; именно такова суть противоречий, которые являются в наших глазах гарантией истинности свидетельства“, – заявляет А. Кибеди Варга (Kibedi Varga 1977: 518). Другая исследовательница, Рут Томас, поддерживает идею о том, что сильные духом романские героини „выживают, потому что отказываются принять традиционную роль женщины. Беря в руки контроль над собственной судьбой, они сами создают себе идентичность, независимую от фаллоцентрического порядка“ (Thomas, R. 1986: 7)<sup>74</sup>.

### **Амазонка по пути к себе**

Романная топика, связанная с амазонкой, играет исключительно важную роль в концепции собственного образа в автобиографии Екатерины II. Русская императрица, которая славилась в молодости страстью к верховой езде, заимствует у романа значение мотива амазонки в выработывании новой идентичности романной героини. Воздействие этого мотива не было бы столь сильным, если бы езда верхом не была одним из малочисленных позволенных движений, кроме танца, в жизни благородной дамы. Верховая езда, занимая важное место среди светских умений аристократок, становится средством самовыражения ряда известных своей яркой индивидуальностью женщин. До того, как верховая езда стала важным мотивом в жизнеописании Екатерины II, она действитель-

---

чение мужчины юной девушкой и в наши дни воспринимается „нормально“, тогда как в обратной ситуации это не всегда так.

В интимном поведении, несмотря на распространенную мифологию, мемуаристка вела себя типично по-женски: она ожидала, чтобы за ней ухаживали именно как за женщиной, а не как за императрицей, чтобы ею завладела мужественность мужчины. Эта женщина, столь известная своей сексуальной свободой, которой подчинялась „половина света“, простаивала часами у двери своего фаворита Потемкина. Она даже могла вообще не осмелиться его обеспокоить, терпела его всевозможные прихоти и подчинялась ему (Мадариага 2002: 548 и след.).

<sup>74</sup> Среди перечисленных исследовательницей романских героинь – Сюзан Симонен из „Монахини“ Дидро, Марианна из „Жизни Марианны“ Мариво, г-жа де Мертей из „Опасных связей“ Шодерло де Лакло.

но сыграла решающую роль в выработке ее характера, став своеобразным символом в ее жизни. Красноречивым доказательством этого является поведение императрицы во время переворота, возведшего ее на престол: Екатерина завоевывает власть верхом, сидя по-мужски, в мужском офицерском костюме.

„Большая часть романов представляет женщину статически или же ее движения ограничены – в салоне, будуаре, замке, тюрьме, монастыре – там, где ее мобильность и свобода действий недостаточны“ [Simmons 1980: 1919]. Эта констатация справедлива не только в отношении поведения романских героинь; она отражает вообще жизнь тогдашней женщины. Поэтому движение, спорт в воспитании девочек становятся в XVIII веке предметом оживленной дискуссии сначала в Европе, а затем и в России (см. Лотман 1994: 305–306).

Романы превращаются в фактор распространения новых для того времени взглядов на необходимость физической активности прекрасного пола. Такие мотивы были особенно характерны для немецкой романистики XVIII в., из которой они проникли и в другие литературы. В немецких романах того времени одним из основных женских типов является, по определению П. Фошри, „Machtfrau“ (буквально „властная женщина“). Этот тип характеризуется силой характера, смелостью, обширными познаниями и высокой интеллигентностью, самостоятельностью в принятии решений, сравнительной независимостью в семье, презрением к общественному мнению. Machtfrau ездит верхом по-мужски и охотно надевает мужскую одежду, но в то же время сохраняет все атрибуты женственности, вплоть до слез. Обычно это женщина, принадлежащая к высшим слоям общества, это „тепличное растение, которое зачахло бы в низких слоях социальной атмосферы“ (Fauchery 1972; 613; 612–619).

Чрезвычайно интересна в этой связи роль верховой езды в воспитании девиц, на ней делает акцент французская писательница г-жа д'Эпине в своем педагогическом романе „Разговоры с Эмилией“ („Conversations d'Emilie“, 1-е издание 1774)<sup>75</sup>. Мотив езды

---

<sup>75</sup> Г-жа д'Эпине, которая теперь более известна как персонаж „Исповеди“ Руссо и корреспондентка аббата Галиани, была близка к кругу энциклопедистов. Дидро и Гримм привлекли ее к активному сотрудничеству в „Литературной

верхом чрезвычайно важен для понимания взглядов г-жи д'Эпине

корреспонденции“ („Correspondance littéraire“). В молодые годы писательница увлекалась идеями Руссо, была близким другом философа и протянула ему руку помощи в трудный момент, укрыв его от преследования властей и предложив убежище в одном из своих родовых имений – известном „Эрмитаже“. Позже, когда отношения с Руссо испортились, он стал считать ее своим врагом.

Русской императрице г-жа д'Эпине стала известна благодаря ее многолетней близости с Гриммом. Ее имя – одно из часто упоминаемых в переписке Екатерины II и философа. Между русской императрицей и г-жой д'Эпине не было непосредственного эпистолярного диалога – посредником служил Гримм. Ф.-М. Гримм выхлопотал у Екатерины II пенсию для тяжело больной писательницы, уговорил государыню стать крестной матерью правнуков г-жи д'Эпине, до конца своей жизни был в близких отношениях с семьей ее внучки. Об этом свидетельствуют многочисленные упоминания, более или менее подробные рассказы о жизни всех членов этой семьи в письмах философа, который регулярно освещал императрицу об успехах, замужестве, рождении детей, несчастьях, особенно во времена Французской революции, хлопотал о назначениях, денежных вспомоществованиях и т. п. перед „дочерью Юпитера“, как он называл Екатерину (См. СИРИО 1885, 44).

„Разговоры с Эмилией“, как я уже имела случай упомянуть, явились своеобразным ответом на теорию воспитания Руссо, изложенную в „Новой Элоизе“ и „Эмиле“. Концепция девического воспитания г-жи д'Эпине, с одной стороны, во многих отношениях продолжала предложенные Руссо принципы, но с другой, вносила в них необходимые коррективы, учитывая личный женский опыт автора – и как дочери, и как матери (Подробное сравнение обеих концепций в: Davison 1996; Schwartz 1989: 722–723). В отличие от Руссо, который (кроме проповеди кормления грудью) игнорировал участие самой матери в воспитании ребенка и провозглашал исключительный приоритет не родителей, а воспитателей, г-жа д'Эпине считала, что в воспитании маленькой девочки должна принимать участие вся семья. На первое место она ставит мать, которой и определяет роль основной наставницы и учительницы дочери. В „IV разговоре“ в редакции текста 1788 г., о котором будет идти речь и дальше, отец фигурирует в качестве воспитателя дочери наравне с матерью. Эта очень смелая для своего времени идея развита во вставной повести об Аделаиде Штольценберг (см. также Badinter 1983: 203). Опять-таки в отличие от Руссо, г-жа д'Эпине не отрицала необходимости светского воспитания для девочек, которое, по ее мнению, должно сочетаться с получением, наравне с мальчиками, сведений в основных областях знаний. И снова в отличие от Руссо писательница считает, что ребенку сызмальства следует учиться читать (с пятилетнего возраста!). Воспитание женщины, по ее мнению, должно быть не подчиненным, как говорит Руссо, интересам мужчины, но равноправным и т.д. При всей полемичности текста педагогического романа французской писательницы, его популярности способствовало то, что она старалась представить

на роль физических упражнений для воспитания „здорового духа и

естественную среду общения матери и ребенка, с которой могли идентифицировать себя многие читатели, и прежде всего читательницы, и, что самое главное, они могли захотеть сами воспитывать своих детей, заимствуя идеи из романа.

„Разговоры с Эмилией“ принесли г-же д’Эпине в 1783 г. награду Французской Академии „За полезность“, которую она выиграла в конкуренции с другой известной романисткой эпохи, г-жой де Жанлис, и ее популярным романом „Адель и Теодор“, в котором также рассматриваются проблемы девического воспитания. Получение г-жой д’Эпине почетного приза восторженно приветствовалось энциклопедистами.

Роман выдержал множество изданий, до 1822 г. его переиздавали каждый год. Он выходил не только на французском, но был переведен на несколько европейских языков. Очарованная романом Екатерина II имела планы организовать перевод текста на русский язык. До недавнего времени считалось, что это намерение не было реализовано, однако, К. Келли доказала, что текст был опубликован в 1784 г. под заглавием „Училище юных девиц, или Разговоры матери с дочерью [...] служащие продолжением Детского училища“, только ошибочно под именем мадам Лепренс де Бомон (Lepince de Beaumont) (Келли 2010: 55). До своей смерти в 1783 г. г-жа д’Эпине вносила исправления в текст романа, учитывая эволюцию своего опыта воспитательницы. Основной переработке подверглись главным образом пять первых „разговоров“, где рассказана интересующая нас история об амазонке. Несмотря на отсутствие прямых ссылок, ряд исследователей считают, что педагогическая теория г-жи д’Эпине значительно повлияла на концепции не только воспитания девиц, но также на развитие педагогической мысли в целом (например, на теорию Песталотци). Таково, впрочем, было и мнение Екатерины II, которая воспринимала роман как трактат о воспитании детей вообще, а не только девочек. В XIX в. книга долгое время продолжала быть популярной и актуальной. Почти век спустя Жорж Санд ввела реминисценции из романа г-жи д’Эпине в автобиографическую „Историю моей жизни“ („Histoire de ma vie“) (о творческой истории и редакциях романа, изданиях, отзвуках в развитии педагогической мысли см. Davison 1996).

Разговоры“ были хорошо известны Екатерине II, которая интересовалась как книгой г-жи д’Эпине, так и жизнью всей ее семьи и особенно судьбой образцово воспитанной, согласно рассмотренной модели, внучки писательницы Эмили де Бельзэнс (в замужестве графиня де Бюзэй), прототипа маленькой Эмили в романе.

Императрице, по всей видимости, было известно несколько редакций романа, начиная с первой (см. Вачева 2011: 55–56). Особенно довольна она была тем, что Французская Академия оценила по достоинству произведение г-жи д’Эпине (СИРИО 1878, 23: 272, письмо от 9 марта 1783 г.). Екатерина II была в курсе готовившихся автором изменений в содержании. В письме от 28 сентября 1783 г., в котором она соглашается на то, чтобы очередная редакция была посвящена ей, императрица отмечает, что присланная рукопись доставила ей удовольствие:

здорового тела“ юной девушки. В то же время повесть иллюстрировала концепцию писательницы о равной роли обоих родителей в воспитании дочери. И наконец, во вставной новелле, помещенной в разговоре IV, нашло выражение убеждение автора в необходимости сочетать типично „женские“, статичные занятия (чтение, занятия музыкой, рисование, рукоделие) с динамичными „мужскими“ (ездой верхом, охотой, работой в саду), причем последние должны совершаться под руководством отца. К тому же для большей свободы и пользы девушке предписывалось одеваться в удобную мужскую одежду, дающую свободу движениям (Mme d'Épinau 1996: 468). Это „разумное“ воспитание, в согласии осуществляемое обоими родителями, достигает своих целей и дает прекрасные плоды. Героиня вставной повести Аделаида Штольценберг в шестнадцать лет добивается гармонии в своих поступках и мышлении, обладая при этом изысканностью поведения, очарованием и физической грацией. Она становится „одной из самых интересных представительниц своего пола“ (Madame d'Épinau 1996: 469). Эти качества смягчают и дисциплинируют необузданный от рождения характер девушки.

Сознавая необычность и странность предлагаемой модели воспитания, г-жа д'Эпине использует чужой для своей родной культуры немецкий контекст. Место действия повести о девушке-ама-

---

„Охотно даю согласие на посвящение „Разговоров с Эмилией“. Рукопись, которую вы мне прислали, доставила мне удовольствие“ (СИРИО 1878, 23: 289). По всей вероятности, выход в свет именно этой редакции затянулся. Летом 1786 г. в письмах снова идет речь о посвящении. Екатерина II заявляет: „Я не люблю посвящений и не читаю больше никаких книг о воспитании девиц после „Разговоров с Эмилией““ (СИРИО 1878, 23: 380, письмо от 23 июля 1786 г.). Долгожданное издание появилось в 1788 г. В нем было осуществлено наибольшее число важных исправлений, одобренных автором перед кончиной. Оно сопровождалось посвящением русской императрице, написанным Эмили де Бельзэнс. С точки зрения рассматриваемой темы, необходимо отметить, что именно в этой редакции романа появляется концептуальный мотив о езде верхом как факторе, влияющим на формирование характера женщины.

В письмах Гримму Екатерина неоднократно признается, что активно использует идеи, развитые г-жой д'Эпине („практику этой книги“), в воспитании своего внука Александра, заказывает по несколько экземпляров очередных изданий (Вачева 2011: 56–57).



зонке, которую маленькая Эмилия читает и комментирует со своей матерью, – Германия, а герои – немцы; сам текст представлен в романе как перевод с немецкого. Таким образом, немецкие мотивы в романе г-жи д’Эпине в большой степени соответствуют „немецкому“ поведению будущей русской императрицы, непривычному для окружающих. Невозможно с полной уверенностью сказать, был ли какой-то реверанс в сторону высочайшей покровительницы Эмили де Бельзэнс в этих поздних вставках, добавленных ее бабушкой в текст своего педагогического романа, который сама Эмили опубликовала, предварив издание посвящением Екатерине II. Неизвестно, были ли эти вставки продиктованы известными аллюзиями на личный пример императрицы, в характере которой сходным гармоническим образом сочетались элементы „женского“ и „мужского“ поведения и которая заявила о себе как о стороннице нового женского воспитания, или же это совпадение, порожденное использованием одинаковой романной топики.

Все перечисленные положительные черты амазонки свойственны созданному Екатериной II в автобиографии мифологизированному собственному образу. Трудно сказать, в какой степени императрице были известны интерпретации этого женского типа в немецкой литературе того времени<sup>76</sup>, однако, он достаточно часто встречается в других крупных литературах эпохи – французской, английской, итальянской. Чуть позже он занял подобающее место и в русской литературе<sup>77</sup>. Так или иначе, в большинстве случаев

---

<sup>76</sup> Известно, что Екатерина знала хорошо „Библиотеку немецких романов“ Николаи, но не проявляла интереса к первым произведениям своего великого современника Гете. Трудно предположить, что именно достигло до высочайшей читательницы, чьи интересы были все же более направлены на французскую литературу и, через ее посредство, на английскую. Комментируемый тип более характерен для литературы немецкого предромантизма, для произведений движения „Бура и натиск“, к которому, по всей видимости, пожилая уже российская императрица была безразлична. Так что немецкие сюжеты и мотивы в ее автобиографии – интересная и неразработанная тема, ждущая своего исследователя.

<sup>77</sup> Например, Наталья из повести „Наталья, боярская дочь“ Н. М. Карамзина, анонимная повесть „Русская амазонка“ (о ней: Tosi 2002); житейская судьба и автобиография Надежды Дуровой и др.

участие девочек в подвижных играх, особенно наравне с мальчиками, или интерес молодой женщины к верховой езде и охоте воспринимались как признак непокорного и сильного характера. Вполне возможно, что концептуальный эпизод об амазонке в автобиографии императрицы, разработанный в поздних редакциях текста начала и середины 1790-х гг., был подсказан интерпретацией этого мотива в произведении популярной французской писательницы, чьей судьбой и творчеством Екатерина II живо интересовалась. Сходство эпизодов, история создания последней редакции книги г-жи д'Эпине, умелое использование императрицей романной топики в ее мемуарах и частые ссылки на популярные тексты западноевропейской беллетристики позволяют предположить наличие активного, хотя и заочного, творческого диалога между этими выдающимися женщинами и стремлением к успеху в объединявшем их деле воспитания „новых“ женщин.

Мотив безудержной страсти к верховой езде присутствует во всех редакциях автобиографии Екатерины II. Его интерпретация, однако, эволюирует во времени.

В первоначальном варианте текста 1771 г. у этого мотива есть своя „предыстория“, свидетельствующая о живости маленькой Фике, как называли в семье будущую царицу:

Моя живость была чрезвычайна в то время; меня укладывали спать очень рано [...] Я делала вид, что засыпала сразу, чтоб они [гувернантки и служанки, – А. В.] поскорее ушли, и, как только оставалась одна, садилась верхом на подушки и скакала в кровати до изнеможения. Помню, что поднимала в постели такую возню, что мои прислужницы прибегали посмотреть, в чем дело, но тогда они находили меня уже лежавшей, и я притворялась спящей; ни разу меня не поймали и никогда не узнали, что я носилась на почтовых у себя в постели верхом на подушках<sup>78</sup> (РТ–Б: 15).

---

<sup>78</sup> Считаю неправильным толкование этого эпизода, предложенное Анри Труайя (Труайя 2004). Писатель видит в езде на подушках первые проявления просыпающейся сексуальности тринадцатилетней девочки. Вполне объяснимо желание биографа привлечь интерес читателей, вводя ассоциации со скандальной славой зрелой Екатерины, даже допуская анахронизм. Мемуаристка располагает этот эпизод в рассказ о раннем детстве, это – один из многочисленных

Это детское воспоминание о „мальчишеских“, неуместных даже для маленькой девочки, проделках юной Софии-Фредерики должно подготовить читателя к встрече с незаурядным, не укладывающимся в общепринятые рамки характером, дававшим о себе знать даже в невинных забавах.

Первая же настоящая езда верхом связана в первой редакции со знаменательной для четырнадцатилетней принцессы встречей. Во время визита к своим родственникам София-Фредерика познакомилась с необычной и считавшейся скандальной женской личностью – графиней Бентинк. Это была одна из первых и редких женщин того времени, которые не хотели считаться с общественными условностями: „Эта дама нашумела в свете; я думаю, что если бы она была мужчиной, это был бы человек с достоинствами, но, как женщина, она слишком пренебрегала тем, что скажут“ (РТ–Б: 23). Графиня Бентинк – одна из „бунтовщиц“, которые не хотели мириться с необходимостью жизни с нелюбимым супругом. Одной из первых в Европе она решилась на дерзость потребовать у своего мужа<sup>79</sup> судебного развода. Она даже осмелилась официально иметь ребенка от своего любовника низкого происхождения. Дерзкая графиня обладала такими качествами, которые позволяли будущей мемуаристке идентифицировать себя с ней и превратить ее в свой образец для подражания: „Наружностью она походила на мужчину и была некрасива, но обладала умом и знаниями“ (РТ–Б: 23). Их знакомство происходит эффектно, графиня встретила юную Софию и ее родителей на коне, при том сидя по-мужски: „Бентинк выехала к нам навстречу верхом; я еще никогда не видела женщин верхом и была в восторге при виде ее: она ездила, как берейтор“ (РТ–Б: 23). Очарование этой женщиной в глазах четырнадцатилетней девушки вызвано ее неконвенциональным поведением: „она

---

„подвигов“, которые она совершает в 9–10-летнем возрасте к неудовольствию ее близких.

<sup>79</sup> „... который казался [судя по портрету, – А. В.] очень красивым мужчиной. Графиня говорила, глядя на него: „Если бы он не был моим мужем, то я любила бы его до безумия“ (РТ–Б: 24); производит впечатление опять-таки применение топоса отказа от любви в браке.

ездил верхом, танцевала, когда ей вздумается, пела, смеялась, прыгала, как дитя, хотя ей было уже за тридцать; она была уже в разводе с мужем“ (РТ–Б: 24). С графиней связаны и первые уроки верховой езды:

... она мне обещала, что я покатаюсь верхом после обеда, но главная трудность состояла в том, чтобы получить на это позволение отца; без него бы я не осмелилась поехать. Графиня взялась вести переговоры и своей назойливостью добилась разрешения; она посадила меня на лошадь, и я несколько раз объехала двор замка. С той минуты это упражнение стало моей господствующей страстью в течение очень долгого времени; как только я видела своих лошадей, я все для них бросала (РТ–Б: 24).

Производит впечатление параллель е вставной повестью об амазонке в романе г-жи д’Эпине: нетрадиционные занятия дочери происходят с санкции отца, хотя в этом случае Екатерина не отводит ему роль наставника. Несмотря на то, что мемуаристка отмечает скорый отъезд своей семьи, главным образом из-за опасений своих родителей насчет возможного отрицательного влияния на их дочь („чтобы вырвать меня из когтей этой женщины: она давала слишком много воли моей врожденной живости“ (РТ–Б: 25), встреча с графиней Бентинк является для принцессы первым уроком эмансипации. Важное место здесь занимает верховая езда, которая повторяется как лейтмотив в содержании всего обширного эпизода. Езда верхом, причем по-мужски, – неслыханная дерзость в то время. Как можно понять из приведенных цитат, даже сам вид женщины на коне является неожиданным сюрпризом для четырнадцатилетней девушки, которая до тех пор ничего подобного не видела, несмотря на светские контакты своей семьи, и при том, что это был один из немногих доступных для женщин аристократических видов спорта. Это корреспондирует е неконвенциональным поведением супруги, матери и дамы высшего общества и является знаком яркого и необычного женского характера. Как ни старается „умудренная опытом“ мемуаристка внушить своему предполагаемому читателю долю негативного отношения к этому персонажу, подчеркивая „назойливость“ графини и оправдываясь впе-

чатлительностью и „живостью“ своего юного возраста, очевидно сильное влияние, которое оказала на свою юную поклонницу эта дерзкая и необыкновенная личность, одна из первых европейских эмансипе. Подобное мнение разделяет Клаус Шарф: „Хотя Екатерина было известно о том, что графиня позволяла себе нарушать светские нормы, в своих воспоминаниях она постаралась проявить сдержанность, а по ее автобиографии ясно видно, насколько в четырнадцатилетнем возрасте ей imponировала женщина, начавшая бороться за свою эмансипацию целым поколением ранее“ (Шарф 2015: 113). Историк считает, что в графине Бентинк мемуаристка „нашла в ней подтверждение тому что до сих пор хранила втайне в глубине души: именно вне придворных норм и условностей жизнь может быть прекрасной. Сыграл ли пример графини фон Бентинк решающую роль или нет, однако Екатерина всю жизнь питала живую симпатию к сильным, образованным, независимым и необычным женщинам“ (там же). Пожилая Екатерина действительно поступает мудро: как и следовало ожидать, в более поздних редакциях текста этот эпизод вовсе отсутствует. Он не упоминается даже в виде краткой ретроспекции. Автор меняет даже место своих первых уроков верховой езды и из Германии переносит действие в Россию. Занятия ездой происходят в имении графини Румянцевой, первой „надзирательницы“ молодой великой княгини и доверенного лица императрицы Елизаветы Петровны (РТ–СРЗ: 233). Причины такой смены можно легко найти в скандальной славе самой Екатерины и ее явном нежелании увеличивать домыслы воспоминанием о компрометирующем влиянии графини Бентинк<sup>80</sup>. Доказа-

---

<sup>80</sup> Было бы преувеличением утверждать, что молодая Екатерина подражает графине Бентинк в первые годы своей жизни при русском дворе, как это делает В. Проскурина (Проскурина 2006: 30). Производит впечатление, однако, что императрица скрывает свою родственную связь со скандальной графиней, которая приходилась кухиной ее отцу, и в результате этого родства к князю отошло небольшое земельное владение. Бентинк, по всей видимости, не оставляла надежды на поддержку со стороны своей бывшей юной обожательницы даже после смерти ее матери. В 1768 г., когда ученица в верховой езде была полновластной российской императрицей, у сожителя графини появилась идея попросить Екатерину, чтобы она стала крестной матерью их новорожденного ребенка (Le Blond 1912: 37, 86; 65).

тельство в этом направлении можно найти также в реминисценции в образе графини с образом незадачливой воспитательницы Юлии и Клары из романа Руссо „Новая Элоиза“. В романе „бедняжка Шайо“ „была не очень осторожна“; „она без надобности пускалась в весьма нескромные признания, без конца занимала нас беседой об искусстве покорять сердца, о своих похождениях в молодости, о проделках любовников – и хотя, стремясь уберечь нас от сетей, расставляемых мужчинами, она и не учила нас самих расставлять эти сети, но зато преподавала нам многое, о чем девице и слышать не подобает“ (Руссо 1968: 38). В поздней редакции, в связи со сменой концепции рассказа, императрица резонно сочла нужным опустить компрометирующие ее ассоциации. „... Свободное, но ненадежное существование Шарлотты фон Бентинк не могло стать жизненным проектом для Екатерины и еще менее – проектом автобиографическим. Ее представление о себе как о государыне требовало от нее высочайшей дисциплины в делах управления и выполнении представительских функций, а репрезентация себя как писательницы – прилежания и постоянства. Далее, она сама подчеркивала важный момент, отличавший ее от графини фон Бентинк, упрекая последнюю в том, что будучи женщиной, „она слишком пренебрегала тем, что скажут“. Императрица России значительно сильнее зависела от общественного мнения“, – обобщает Клаус Шарф причины отказа императрицы от этого эпизода (Шарф 2015: 113–114).

В двух редакциях екатерининских мемуаров 90-ых годов топос амазонки, страстно любящей верховую езду, последовательно развертывается. В редакции 1790 г. одно из „наказаний“ великой княгини – не пригласить ее на охоту („хотя знали, что я страшно люблю верховую езду“ (РТ–Ч: 93), и это одна из причин ее депрессии. В позднейшей редакции езда верхом, особенно по-мужски, может толковаться недоброжелателями Екатерины не только как моральная неустойчивость. В глазах императрицы Елизаветы, которая также любила переодеваться в мужской костюм и ездить верхом по-мужски, это – причина отсутствия детей у великой княгини, так как это помеха тому, чтобы она исполнила

свой долг перед государством и родила ему наследника престола (РТ–СРЗ: 332)<sup>81</sup>.

В конце редакции 1791 г. езда верхом интерпретируется уже как один из элементов свободы в резиденции великокняжеской четы Ораниенбауме: „Там мы, и я в числе других, проводили весь день с утра до вечера на охоте. Помнится, в этом году я несколько раз проводила верхом на лошади по тринадцати часов из двадцати четырех. Я страстно любила это занятие и была неутомима“ (РТ–Ч: 192). Там же, в заключительном эпизоде „черкасовской“ редакции, рассказывается о безудержном веселье мемуаристки в стиле уроков графини Бентинк. Различие в том, что переполох, который поднимает великая княгиня, происходит в „домашней“ обстановке, только перед церберами Чоглоковыми, которые даже вынуждены улыбнуться (РТ–Ч: 193). Этот поступок также можно интерпретировать как своеобразную демонстрацию смелости автора перед шпионами императрицы.

В позднейшей редакции мемуаристка отказывается от привычных констатаций своей страсти к верховой езде. Это ее умение становится последовательно развернутым элементом в становлении ее характера, а на смену детским шалостям приходят дерзкие маскарадные переодевания и всевозможные приключения.

В „Собственноручных записках“ подчеркивается ловкость и искусство всадницы. Это удобный повод проявить свое женское превосходство, показать свою грацию в своеобразной „дуэли“ с другой женщиной. Таково содержание эпизода „соревнования“ с суетной г-жой Арним, супругой саксонского посла:

Арним пришла [...] одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном; куртка была зеленая гродетуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки и

---

<sup>81</sup> Сходные предрассудки „медицинского“ характера были свойственны массовому сознанию даже во второй половине XIX в. А. В. Никитенко, комментируя в 1864 г. в своем дневнике новшества в поведении молодых современниц, отметил: „Эмансипаторы женщин требуют равенства ее с мужчиною... Женщине полагается ехать верхом только боком. И на то есть основательные физиологические причины“ (Никитенко 1955: 423).

показалась нам довольно неуклюжей. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездил верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на брильянты, и черная шапочка моя была окружена шнурком из брильянтов. Я спустилась, чтобы садиться на лошадь; в эту минуту императрица пришла к нам в комнаты посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то, как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбка, которая у меня была разрезная, я спустила по бокам лошади. Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади; она спросила на каком я седле и, узнав, что на дамском, сказала: „Можно поклясться, что она на мужском седле“. Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью перед Ее Императорским Величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому; то была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая, и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями и наконец с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стремянах, и которая держалась рукой за луку (РТ–СРЗ: 304–305).

В этом эпизоде красноречиво демонстрируется разница между увлечением модой, желанием женщины выглядеть модно, эффектно и элегантно (злосчастная г-жа Арним, чьи злключения не закончились на описанном: она теряет то свою шляпу, то стремяна, а в конце, уже сойдя с лошади, растягивается во весь рост в луже и становится посмешищем двора и всего города на целую неделю) и настоящей страстью, превратившейся уже в мироощущение. Настоящий поединок ведется не с претенциозной саксонской дамой, которая, по-видимому, не учитывает собственные возможности, а с запретами и завистью императрицы Елизаветы, не менее ловкой наездницы и любительницы имитировать мужское поведение.





Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны  
в охотничьем костюме, 1740-е гг.

Очень важна семантика одежды в приведенном эпизоде. Мотив костюма в принципе тесно связан с мотивом верховой езды. Элегантный мужской костюм Арним в сочетании с ее неловкостью и неуклюжестью воспринимается как карнавальный. Выбор дамского“ костюма, соответствующего принятой манере одеваться в таких случаях, и способа езды (платье-,„амазонка“, дамское седло) говорят о воспринятом ею „другом“ стиле женского поведения, успешно сочетающемся с ловкостью и смелостью, от которых меуаристка испытывает, даже вопреки временной дистанции, нескрываемое удовольствие („я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и успевал“ (РТ–СЗР: 305)). Страсть к верховой езде пробуждает в великой княгине присущее мужчинам, по тогдашним меркам, качество – инвенцию. Ее платье-,„амазонки“, между прочим, сшитые только из добротной и дорогой шелковой материи (возможно, дань „женской“ суетности), – чрезвычайно находчивый и оригинальный для своей эпохи „андрогиный“ костюм, сочетавший видимость и благоприличие дамской модели одежды (включавшей в себя обязательное требование большей статики, даже когда речь шла об этом виде спортивного платья) с удобством и большей свободой мужской. Другая мелкая, но красноречивая деталь – количество этих самых платьев и постоянная необходимость в их частой смене, что даже вызывает удивление портного:

... однажды, когда я возвращалась домой вся промокшая, я встретила своего портного, который мне сказал: „Как вы себя отделали; не удивляюсь, что едва успеваю шить амазонки и что у меня постоянно требуют новых“. Я носила их только из шелкового камлота; от дождя они садились, от солнца выгорали, а следовательно мне и нужны были все новые (РТ–СРЗ: 306).

Отношение к одежде („от дождя они садились, от солнца выгорали“) выдает сущность повествовательницы. Ее небрежность скорее „мужская“: для нее важна функциональность, удобство платья. Количество вышедших из употребления амазонок не есть выражение суетности (хотя нотка самолюбования есть в описании голубой амазонки – материя, пуговички, шапочка – в эпизоде с г-жой

Арним), а выражает ее стиль жизни: странный, динамичный, не-свойственный знатной даме.

Исключительное значение имеет тот факт, что костюм для верховой езды, предшественник современной юбки-брюк, – изобретение самой Екатерины; так же, как плодом ее воображения<sup>82</sup> является другой, не менее важный для всадницы аксессуар – седло. Оно не менее „андрогинно“, чем костюм:

В это время я придумала себе седла, на которых можно было сидеть как угодно; они были с английским крючком и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски [...] Когда спрашивали у берейторов, как я езжу, они отвечали: „на дамском седле, согласно с волей императрицы“; они не лгали, я перекидывала ногу только тогда, когда была уверена, что меня не выдадут, и так как я вовсе не хвасталась своей выдумкой и все были рады мне угодить, то я и не имела никаких неприятностей; великому князю было все равно, как я езжу; что касается берейторов, то они находили, что для меня менее риску ездить по-мужски, особенно гоняясь постоянно на охоте, нежели на английском седле, которое они ненавидели, боясь всегда какого-нибудь несчастного случая, за который, может быть, их потом обвинят. По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду; чем это упражнение было во-льнее, тем оно было мне милее... (РТ–СРЗ: 306–307).

Последовательно развернутый в автобиографии Екатерины II мотив амазонки символизирует отказ мемуаристки от соблюдения лишних, подчиненных предрассудкам и находящихся в противоречии со здравым смыслом общественных условностей (реакция еге-

---

<sup>82</sup> По-видимому, Екатерина II имела талант к сходным вещам, отражавшим оригинальность ее мышления. Хорошо известно, что для своих внуков Александра и Константина она придумала новый тип свободной детской одежды, которая не стесняла движений маленьких детей. Благодаря высокому общественному статусу „дизайнера“, они произвели небольшую „революцию“ в моде для детей, которых до тех пор одевали как взрослых в неподходящие для их динамического возраста костюмы (см. Plavinskaia 2003; обсуждение темы и набросок в письмах Гримму см. в СИРИО 1878, 23: 205, 233, 251). Сохранены портреты маленьких великих князей Александра и Константина в таких костюмчиках, в которых реализовалось на практике восприятие новаторских тогда идей Ж.-Ж. Руссо о роли и движения и игры в развитии детей.

рей, доказывающая ее правоту), ее склонность к риску и необычное для тогдашней женщины деятельное „мужское“ поведение, основанное на вызове, смелости, инвенции. Условная андрогинность амазонки предшествует амбиции великой княгини доказать себя во власти, символическое завоевание которой Екатерина совершит снова на коне, но на этот раз в настоящем мужском костюме.

Императрица Екатерина II, находясь на вершине славы и с возрастом постепенно оставляет свое увлечение верховой ездой. Дела, желание установить другой стиль в ведении государственной работы по сравнению с хаотическими занятиями и переменчивыми настроениями императрицы Елизаветы, регулярные доклады министров, секретарей и обсуждение належащих проблем и документов – причины отказа от любимого увлечения. Вот что пишет императрица подруге своей матери г-же Бьелке през 1767 г., когда все еще поражала окружающих своей ловкостью:

Вы говорите мне, милостивая государыня, что вы измучились бы, следуя в продолжение восьми дней за принцессою Гессенскою, и, сказавши это, вы желаете быть со мной в Царском селе. Знаете ли вы, что это желание может доставить вам много труда, потому что нет человека подвижнее меня в этой местности. Я была проворна, как птица, то пешком, то на лошади; я хожу по десяти верст пешком, как ни в чем не бывало; это составит, кажется, полторы немецкие мили: не означает ли это испугать самого храброго лондонского ходока? (Письмо от 25 июня 1772 г. Фасад и задворки 2005: 336).

От прежних излюбленных занятий в зрелом возрасте осталось только чтение. Во второй половине жизни свои „мужские“ умения мемуаристка доказывает другими характерными для сильного пола видами деятельности: управлением государством, интеллектуальной работой, занятием литературой. К концу жизни императрицы от гибкой и подвижной великой княгини остался только дух. Ей уже не надо поражать свидетелей своей „мужской“ ловкостью. Амазонка уступила место Минерве. Мудрость в державных делах будет придавать неотразимое величие и достоинство достолепной и величественной фигуре Екатерины II.

Миф об амазонках занимает ведущее место в мифологии екатерининского правления. Знаменательно то, что символическое присутствие амазонок – знаковый сюжетный мотив в сценариях некоторых торжественных церемоний в екатерининскую эпоху. Рядом с гендерно амбивалентным образом Минервы (см. Уортман 2002, I: 154)<sup>83</sup> в коронационных торжествах, и прежде всего в программном маскараде „Торжествующая Минерва“, в сценариях многих праздников и написанных по их поводу литературных текстах присутствуют или образы амазонок, или же русские женщины ассоциируются с древними мифическими обитательницами Скифии. Таковую образность применяет в „Оде на великолепный карусель“<sup>84</sup> (1766) Василий Петров. Ода была написана по поводу придворного костюмированного праздника „карусель“, в котором также присутствуют аллегорические персонажи и есть определенный сценарий, полный символических посланий. В оде Петрова, представляющей значительный текст в истории одического жанра в русской поэзии, царица амазонок Пентезилея, видя, как „природные Российски дщери ... Оспорить тщатся лавр мужам“ (Петров, В. 1990: 174), жалеет, что такие девы-воины не приняли участия в защите Иллиона; если бы в рядах троянцев находились бы подобные героини, то не удалась бы хитрость „Уликса и Диомида“, а Ахилл пал бы от рук прекрасного пола и „Поднесь стояло б Трои царство/И гордый стен Пергамских вид“ (Петров, В. 1990: 175). В праздниках, устроенных Потемкиным во время знаменитого путешествия Екатерины II по новоприсоединенным южным территориям и Крыму, последовательно проводятся ассоциации с мифом

---

<sup>83</sup> Автор подчеркивает, что гендерная амбивалентность была привнесена в образ российской императрицы еще в Петровскую эпоху в связи с личностью Екатерины I (Уортман 2002, I: 101), а позднее была продолжена и в образе Елизаветы Петровны. Метафорический образ Екатерины II – Минервы продолжает эту традицию в символике русской государственности. Юбилейные медали по случаю коронации изображали ее в виде вооруженной древнегреческой богини в шлеме и кольчуге. Популярными были также изображения Екатерины в мужском гвардейском мундире.

<sup>84</sup> Благодарю Андрея Зорина за подсказку.

об амазонках<sup>85</sup>. Русская императрица в компании австрийского императора была встречена ротой экзотически одетых амазонок, которые были носительницами скифской темы в историко-культурных ассоциациях, связанных с путешествием (там же, 110). Андрей Зорин указывает, что, согласно древним мифам и „Истории“ Геродота, именно Северное Причерноморье – земля амазонок, которые вступили в брак со скифами. С другой стороны, в официальной историографии того времени скифы воспринимались как прародители славян, соответственно русских (там же). Такую же концепцию развивает сама Екатерина II в своем историческом труде „Записки касательно российской истории“, вышедшем в том же 1787 г., когда состоялось и ее путешествие в Тавриду. В нем она отмечает, что скифские женщины сражались наравне с мужчинами во время войны (там же). Есть еще один важный смысл, связанный с ездой и восприятием восточной части континента западной, на который обращает внимание Ларри Вульф: „Искусство верховой езды, предполагавшее воспитание через укрощение и взнуздывание, было важным элементом образа Восточной Европы в живописи 1780-х“ (Вульф 2003: 168). Ученый видит отзвук популярности этого мотива в знаменитом „Медном всаднике“, который Екатерина II торжественно открыла в 1782 г. в ознаменование столетней годовщины восшествия на трон Петра I (Вульф 2003: 168). Любовь к верховой езде, ловкое управление конем было очередной чертой „рускости“, которую императрица добавила к своему автопортрету.

Таким образом, миф об амазонке становится важной составляющей как в персональном мифе российской императрицы, так и в государственной мифологии Российской империи. Концептуальность топики, связанной с амазонкой в екатерининских мемуарах, является вариантом мифологии ее царствования и реализует один из главных компонентов персонального екатерининского мифа: сочетание „мужских“ качеств характера и личности мемуаристки с ее женственностью, а также выявляют силу и твердость мемуаристки, презирающей предрассудки и утверждающей дорогие ее

---

<sup>85</sup> См. подробно главу „Эдем в Тавриде. „Крымский миф“ в русской культуре 1780–1790-х годов“ в (Зорин 2002: 95–122).

сердцу идеи и в первую очередь – о воспитании просвещенных и независимых женских личностей.

### **Мужской костюм как средство завоевания свободы и власти**

Топос амазонки часто связывается с другим популярным романым топосом: *переодевание в одежду противоположного пола* и присвоение некоторых его поведенческих функций.

Проблема трансвестизма в екатерининской автобиографии усложняется тем, что в отдельных случаях описывается обычный факт бытового поведения мемуаристки, без отношения к концепции ее образа. Но в других случаях переодевание в мужской костюм функционально нагружено. К первому типу относится карнавальное переодевание по поводу частых при русском дворе маскарадов:

Императрице вздумалось в 1744 г. в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, а всех женщин – в мужском, без масок на лице [...] Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах, а дамы в таких платьях, в каких мужчины появлялись в этих случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений; большинство были в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна; мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде (РТ–СРЗ: 309–310).

Подобный эпизод существует и в ранней редакции 1771 г.

Помимо повторений в описаниях маскарадов и впечатлений от переодеваний в одежду противоположного пола („правда, что нет ничего безобразнее и в то же время забавнее, как множество мужчин столь нескладно наряженных, и ничего более жалкого, как фи-

гуры женщин, одетых мужчинами; вполне хороша была только императрица, к которой мужское платье отлично шло; она была очень хороша в этих костюмах“) (РТ–Б: 56), Екатерина рассказывает о забавном происшествии: непривычные к огромным фижмам кавалеры падают один за другим, завлекая за собой своих дам, а сама мемуаристка оказывается под юбкой долговязого партнера. В позднем варианте этот колоритный эпизод, к великому сожалению, опущен, а внимание читателей переключено на характер императрицы.

В поздней редакции эпизод маскарада предшествует также другому, в котором императрица Елизавета и великая княгиня обмениваются комплиментами, а нерасслышавшие их разговор придворные сплетники оказываются в затруднении, не зная о чем идет речь и какую тактику им следует предпринять. И здесь забавное описание маскарада сосредоточено на характерах участников, и повествовательница избегает „самоцельных“ картин.

В большинстве случаев, однако, трансвестизм – средство отвоевать, хотя и ненадолго, моменты свободы.

„Женщина, формируемая как негативная сущность, определяется через лишение ее тех или иных признаков. Поэтому ее собственные добродетели могут существовать только в виде двойного отрицания, например, как отвергнутый или как преодоленный порок, или минимизированное зло. Вся работа по социализации направлена на интериоризацию ограничений, касающихся в первую очередь тела [...]. Молодая кабилская женщина усваивала фундаментальные принципы женского искусства жизни, одновременно телесные и моральные правила поведения, учась одеваться и носить различные одежды, соответствующие различным этапам жизни (маленькой девочки, девственницы, достигшей половой зрелости, жены, матери семьи), незаметно для себя усваивая – как через бессознательное подражание, так и через открытое подчинение – правильный способ завязывания пояса или волос, правильную походку, взгляд и манеру представлять свое лицо. Это обучение, остающееся по преимуществу неявным, [...] стремится вписать в самые глубокие пласты бессознательного антагонистические принципы мужской и женской идентичности, эти зарубки



на теле, даже сегодня управляющие выбором призвания в соответствии с делениями, схожими с половыми разделениями труда в кабилском обществе“, – отмечает Пьер Бурдьё, комментируя в своей книге „Мужское господство“ механизмы гендерных отношений в культуре кабиллов, однако, актуальные во всех современных обществах (Бурдьё 2005: 322). Известный социолог рассматривает биологическое тело как тело политизированное, как инкорпорированную политику. „Поэтому базовое воспитание по сути своей является политическим. Оно стремится внушить способ управления телом в целом или какой-то его части (правая рука – мужская, левая – женская), манеры ходить, держать голову или направлять взгляд (в лицо, в глаза, или, наоборот, – на ноги и т.п.), которые полны этического, политического или космологического смысла. Это возможно потому, что все они дифференцированы по половому признаку и посредством этих различий, они [манеры] практически выражают фундаментальные оппозиции видения мира. Телесный экзис, дублируемый и закрепляемый одеждой, тоже дифференцируемой по половому признаку, это вечное и всегда имеющееся под рукой запоминающее устройство, которое регистрирует так, что это доступно зрительному восприятию и чувствам, все возможные мысли и действия, все практические возможности, определяющие габитус. Соматизация культурных навыков есть конструирование бессознательного“, – обобщает Бурдьё (Бурдьё 2005: 324–325).

В автобиографии Екатерины компромиссный вариант между предписываемой статикой „женской“ нормы и свободой „мужской“ в движениях и в одежде (ограничивающей или дающей простор) найден в гибридной „амазонке“ и хитроумно придуманном седле. Но чувство свободы дает именно мужской костюм и езда по-мужски в компании немногих доверенных лиц. Смена костюма связана с пространственной топикой. „Узаконенное“ переодевание в мужскую одежду совершается во время придворного маскарада в закрытом пространстве дворца, куда приглашают избранных („один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить...“; „придворные балы не превышали числом человек полтора-двадести; на тех же, которые

назывались публичными, (бывало до) 800 масок“ (РТ–СРЗ: 309). Мемуаристка „тайно“ надевает дающий свободу мужской охотничий костюм в спокойствии Ораниенбаума, резиденции великокняжеской четы, где каждый из молодых супругов посвящает время своим увлечениям:

Вот образ жизни, который я вела в Ораниенбауме. Я вставала в три часа утра, сама одевалась с головы до ног в мужское платье; старый егерь, который у меня был, ждал уже меня с ружьями; на берегу моря у него был совсем наготове рыбачий челнок. Мы пересекали сад пешком, с ружьем на плече и мы садились – он, я, лягавая собака и рыбак, который нас вез – в этот челнок и отправлялись стрелять уток в тростниках [...]. Мы [...] находились иногда в довольно бурную погоду в открытом море на этом челноке. Великий князь приезжал через час или два после нас, потому что ему надо было всегда тащить с собою завтрак и еще не весть что такое. Если он нас встречал, мы отправлялись вместе, если же нет, то каждый из нас ездил и охотился порознь. В десять часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду; после обеда отдыхала, а вечером или у великого князя была музыка, или мы катались верхом (РТ–СРЗ: 271–272).

Производит впечатление противопоставление образов великого князя и его супруги именно по проявлению „мужественности“ и „женственности“ в их поведении. Наблюдается инверсия гендерных ролей (Савкина 2007: 79). Мужской костюм – знак также „мужественного“ поведения мемуаристки: ее презрение к изнеженности (вставание в три часа утра), смелость, вплоть до пренебрежения элементарной предосторожностью, способность на риск<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> В этой связи интерес представляет свидетельство французского посла графа Сегюра, который вспоминает разговор с Екатериной, во время которого она просит собеседников предположить, какова была бы ее участь, если бы она родилась мужчиной:

„– Как вы полагаете, чем бы я была, если бы родилась мужчиной и частным человеком?“

В ответ на это Фитц-Герберт [пруссский посол, – А. В.] сказал, что она была бы мудрым законодателем, Кобенцель [австрийский посол, – А. В.] полагал что она бы сделалась знаменитым министром, а я уверял ее, что она сделалась бы знаменитым полководцем.

(лодка в бурном море), сочетание этого „развлечения“ с верховой ездой по вечерам.

Поведение великой княгини превосходит своей „мужественностью“ поведение великого князя, который поднимается позже, заботится о своем удобстве (завтрак, всякие мелочи, которые так и не уточняются, но внушают мысль об изнеженности, капризах, „женственности“, еще более явной на фоне всех описаний его демонстративного „мужского“ поведения и особенно его страсти к военным занятиям и атрибутам).

Мужской наряд – средство, благодаря которому повествовательница может почувствовать настоящую свободу, особенно когда под его прикрытием она может покинуть хоть на несколько часов роскошную тюрьму, какой на самом деле оказывается дворец. Переодевание в этом случае интерпретируется как отвоевание, хотя и временно, права на личную жизнь, на общение с друзьями вдали от шпионов. Таков смысл эпизода тайного визита к Анне Нарышкиной. В нем имплицитно присутствует также мотив тайного любовного свидания. Эпизоду предшествует „знакомство“ читателя со вторым возлюбленным Екатерины – будущим польским королем Станиславом Августом Понятовским и описание шуточной переписки со Львом Нарышкиным, близким другом мемуаристки до конца ее дней<sup>87</sup>, в которой настоящим корреспондентом был польский граф.

---

– На этот раз вы ошибаетесь, – возразила она. – Я знаю свою горячую голову; я бы отважилась на все для славы и в чине поручика в первую кампанию не снесла бы головы“ (Сегур 1989: 441).

По-видимому, Екатерина очень хорошо расценивала это основное „мужское“ свойство своей личности, одно из условий ее успешной „неженской“ карьеры, равно как и шанс быть женщиной, что спасает ее от бессмысленных и случайных „подвигов“ и предполагает гораздо более внимательное его использование.

<sup>87</sup> „Это была одна из самых странных личностей, какия я когда-либо знала и никто не заставлял меня так смеяться, как он. Это был врожденный арлекин и, если бы он не был знатного рода, к какому он принадлежал, то он мог бы иметь кусок хлеба и много зарабатывать своим действительно комическим талантом: он был очень неглуп, обо всем наслышан, и все укладывалось в его голове оригинальным образом“ (РТ–СРЗ: 320).

Об отношениях на Екатерины II и Л. А. Нарышкина, в том числе литературных, см. Морасси 2002: 243–249.

Под предлогом навестить якобы заболевшую приятельницу Анну Нарышкину, великая княгиня дает согласие на осуществление „безрассудного“ плана Льва Нарышкина – переодеться в мужское платье и выйти из дворца:

Это предприятие начало меня соблазнять; я всегда была одна в своей комнате, со своими книгами, без всякого общества. Наконец, по мере того, как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась, с целью доставить себе минуту развлечения и веселья. [...] Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше. Как только Владислава меня уложила и удалилась, я поднялась и оделась с головы до ног в мужской костюм; я подобрала волосы, как могла лучше; давно я уже имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась. В назначенный час Лев Нарышкин пришел [...] и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила; мы вышли через маленькую переднюю в сени и сели в его карету, никем не замеченные, смеясь как сумасшедшие над нашей проделкой. [...] Когда мы приехали в этот дом, там находилась Анна Никитична, ничего не подозревавшая; мы нашли там графа Понятовского; Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души (РТ–СРЗ: 380–381).

Эпизод сильно драматизирован. Приведенному отрывку предшествует обширный и живой диалог между обоими заговорщиками, которые обсуждают возможные последствия своего плана. Их поступки заимствованы из комедийной и романной практики, где часто встречаются подобные переодевания юных барышень, становящиеся поводом для возникновения любовной интриги. Осознание театральности происходящего, риск и огромный залог („Вас посадят в крепость, а мене за это Бог знает какая будет история“ (РТ–СРЗ: 379) опьяняют героев<sup>88</sup>. Дерзость, презрение опасностей

---

<sup>88</sup> „Алкоголь травести“ (Фошри) заставляет Екатерину и в будущем экспериментировать в этом духе и „исследовать“ в реакциях окружающих особенности мужской и женской психологии. Среди ее этюдов автобиографического характера

являются чертами „мужественного“ поведения, которые должны  
есть любопытнейшее описание мнимого ухаживания переодетой в маскарадное  
мужское платье императрицей за юной и неопытной барышней:

„После коронации в 1763 г. были маскарады как при дворе, так и у Локатели.

В один из них надела я офицерский мундир и сверх онаго розовую домину и, пришел в залу стала в кругу, где танцуют. Княжна Настасия Сергеевна Долгорукова, оттанцовав, остановилась предо мною и начала хвалить ей знакомую молодую девицу. Я, позади ее стоя, вздумала вздыхать и половину голосом, наклонясь к ней, молвила: „та, которая хвалит, не в пример лутче той, которую хвалить изволила“. Она, обратясь ко мне, молвила: „Шутишь, маска; кто ты таков? Я не имею честь тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?“ На сие я ответствовала: „Я говорю по своим чувствам и им влеком“. Она паки спросила: „Да кто ты таков?“ Я сказала: „Будьте милостивы ко мне, тогда сведаете“. „Пожалуй, скажи, кто ты таков“. „Обещайте быть милостивы“.

Тут подошли к ней другие девицы. Она, смотря на меня, почасту говорила с ними. Они увели ее. Я, обошед залу, нашла стула порожняго, на котором я села. Княжна, прошед мимо, оглянулась. Я встала и пошла за ней; и паки пришли к танцевальному месту, где я старалась занимать место позади ее ближнее. Она оглянулась и, увидя меня, спросила: „маска, танцуешь ли?“ Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцовать, и во время танцу я пожала ей руку, говоря: „Как я щастлив, что вы удостоили мне дать руку; от удовольствия я вне себя“. Я, оттанцовав, наклонилась так низко, что поцаловала у нее руку. Она покраснела и пошла от меня. Я опять обошла залу и встретилась с нею; она отвернулась, будто не видит. Я пошла за ней. Она, увидя меня, сказала: „Воля твоя, не знаю, кто ты таков“. На что я молвила: „Я ваш покорный слуга; употребите меня к чему хотите; вы сами увидите, как вы усердно услужены будете“. Усмехнувшись, она отвечала: „Ты весьма учтив и голос приятной имеешь“. Я сказала: „Все сие припишите своей красоте“. На сие она мне говорила: „Неужели что я для вас хороша?“ „Беспримерна“, вскричала я. „Пожалуй, скажи кто ты таков?“ – „Я ваш“. „Да, это все хорошо; да кто ты таков?“ „Я вас люблю, обожаю; будьте ко мне склонны, я скажу, кто я таков“. „О, много требуешь; я тебя, друг мой, не знаю“. Тут паки кончился наш разговор; я пошла в другие комнаты, а княжна пошла с своей компанией. Я села на лавку...“ (РГ: 589: 590).

Этот отрывок на русском языке, который не вошел в автобиографию императрицы, свидетельствует об ее интересе к эксперименту. Как следование маскарадным шаблонам елизаветинского времени объясняет этот эпизод и В. Проскурина, которая справедливо отбрасывает домыслы об особых сексуальных наклонностях мемуаристки (Проскурина 2006: 28). „Желтые“ биографии императрицы предлагают подобные намеки на основании именно этого рассказа. По-моему, любопытнее психологический эксперимент, проведенный Екатериной.

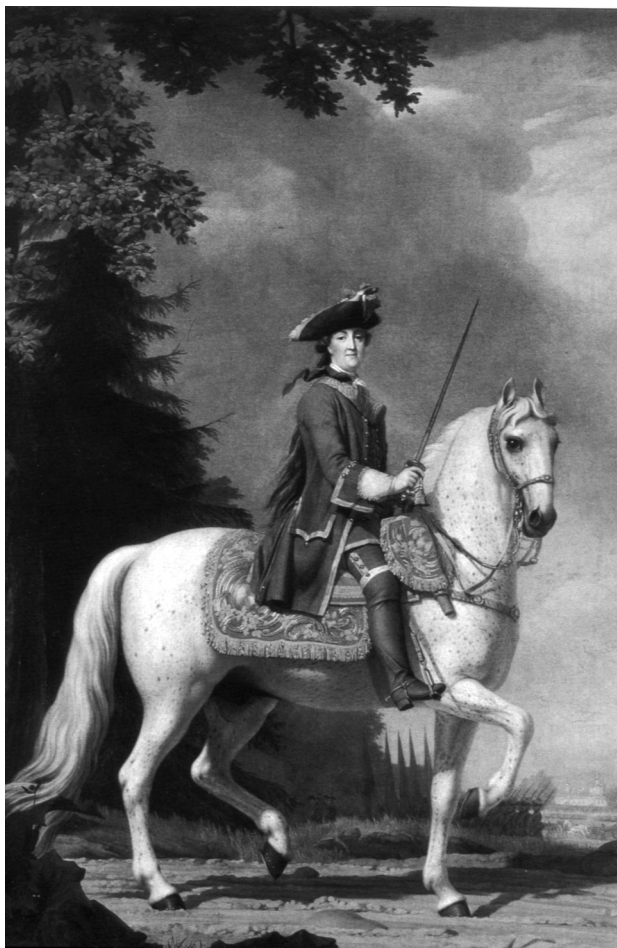
компенсировать недостатки женского одиночества и затворничества и трансформировать маскарадное переодевание в жест эмансипации, которое приобретет символическое значение во время одного из значительнейших политических актов в жизни Екатерины II: восшествие на престол в 1762 г. Перед этим Екатерина испробовала мужское амплуа в другой политической игре. В переписке с английским послом Хэнбери-Уильямсом, принадлежавшим „к тем немногочисленным людям, которым осторожная Екатерина могла раскрыть свою главную тайну – желание царствовать“ (Павленко 2000: 30), великая княгиня использует для маскировки мужской род (Correspondence... 1928: 23). „Игра в „амазонку“ получила политическое значение во время переворота 1762 года. Екатерина II довела елизаветинскую игру в переодевание до логического завершения, превратив придворный маскарад в политическую стратегию“ – отмечает В. Проскурина (Проскурина 2006: 31).

---

Зрелая женщина, уже очень хорошо изучившая и женскую, и мужскую психологию, развлекает себя, наблюдая за реакциями юной девушки. О ее неопытности и неискушенности говорит факт, что она не распознает все знаки, которые могли бы подсказать, что это маскарадная игра и что есть что-то такое, которое не вполне вписывается в ее ожидания. Розовое домино в сочетании с офицерским мундиром – знак гендерной амбивалентности маски.

Юная княжна освоила уже некоторые из маскарадных законов, например, разговор на „ты“ с маской. Но ее неопытность подводит ее, и она забывает условности маскарада и принимает ласкающее ее ухаживание неизвестным обожателем за чистую монету. Любопытство и страх не оттолкнуть его заставляют ее саму пригласить его танцевать. Настойчивое ухаживание прекращаются только тогда, когда маска категорически отказывается раскрыть кто она, и княжна Долгорукая чувствует себя под угрозой. Для маски-Екатерины это новая вариация сыгранных ею „мужских“ ролей, ей интересно амплуа охотника-мужчины, преследующего „добычу“, и она втайне соперничает волнению юной особы, может быть, представляя саму себя на ее месте.

Сходного мнения придерживается также М. Гринлиф, которая считает, что Екатерина пересоздает андрогинную божественность Елизаветы перед заслепленными глазами молодой девушки, какой была когда-то она сама на маскарадах при дворе предшественницы (Greenleaf 2004: 418).



Екатерина II верхом на коне, 1762 г.

Мифологизированный образ „Catherine Le Grand“ („Екатерина Великий“), как неоднократно называет ее позднее принц де Линь (Prince de Ligne 1990: 105), коренится в психологических экспериментах, сопровождавших маскарадные и „серьезные“ переодевания в мужское платье.

### *Пространственная топика в автобиографии Екатерины II*

В центре внимания здесь будут прежде всего топосы, связанные с эволюцией личности мемуаристки. Различия в их использовании в разных по времени написания частях записок говорят об изменениях, наступивших в намерениях автора и переосмыслении идеологии своего собственного образа.

В тексте екатерининской автобиографии читатель не найдет пространственных пейзажных и интерьерных зарисовок. Нет и подробного изложения дорожных впечатлений от увиденных мест и их достопримечательностей, несмотря на более чем достаточное количество упомянутых в мемуарах путешествий и пребывание в разных городах и местностях в Германии, по дороге из Германии в Россию и в России. Внимание автобиографа сосредоточено на самоописании и на рассказах об отношениях с другими людьми. Несколько разочарованный читатель найдет множество подробностей, например, о том, с кем юная Екатерина ехала в одной карете во время путешествия Елизаветы Петровны и ее двора в Киев, как дулись на их веселую компанию скучные дуэньи, назначенные императрицей „надзирать“ веселую компанию ангальт-цербстской принцессы (РТ–Б: 52). Но нигде в различных вариантах текста одни из наиболее широко эксплуатируемых сюжетобразующих мотивов в романном жанре, такие как дорога и дорожные встречи, не играют основную роль.

О пространственной топике приходится судить по скупым и очень лаконичным упоминаниям мест действия. Тем не менее именно эта лаконичность автора может быть прочтена как своеобразный код, заимствованный у современного ей романа, соотносенный с определенными психологическими состояниями и содержащий в себе дальнейшие возможности развития сюжета.

Если в начале наиболее раннего варианта своей автобиографии Екатерина и перечисляет пространственные топосы, то они „документальны“, соответствуют действительным пребываниям ее и ее матери у различных родственников при германских дворах. Такие пространственные топосы выполняют скорее служебную роль, знакомя с обязательной в мемуарном тексте родословной и



сведениями о престижных родственных связях автора воспоминаний. Подобную роль играют также сообщенные лаконичные сведения о произведенном на мемуаристку впечатлении от великолепного вида разлива Днепра у Киева („город Киев представляет удивительно красивую картину на другом берегу“, (РТ–Б: 53) – и только) или от посещения Печерской лавры. Лишь некоторые незначительные подробности в этих эпизодах добавляют отдельные штрихи не к портрету автора записок, а к портрету остальных персонажей рассказа, прежде всего императрицы Елизаветы Петровны. По мере работы над текстом своей автобиографии Екатерина все чаще переосмысливает использование пространственных описаний (скорее упоминаний), которые все больше связываются с интерпретацией ею своего собственного образа. Место действия становится маркером, связанным с качествами характера мемуаристки, свидетельствует о проявлении ее индивидуальности и намечает пути ее духовной эволюции.

По замечанию известного исследователя пространственной топике французского романа XVIII века Анри Лафона, роман эпохи Просвещения любит прежде всего закрытые, „построенные“ (bâtis) пространства: дом, парк, комнату, загородный домик, замок (Lafon 1997: 150). По мнению Лафона, к этим топосам можно отнести также двор как центр политической власти, пространство, которое социально характеризует персонаж, особенно как место испытания (там же).

В данном случае топосы дворца (замка) и двора являются естественным пространством жизни владетельной особы, жены престолонаследника, будущей императрицы. Они могут рассматриваться не столько в качестве социальной характеристики персонажа, который и так находится на вершине социальной пирамиды, сколько как место испытания, инициации, первых подвигов прежде всего с точки зрения его нравственной стойкости и осознания своего *высокого* предназначения в жизни. „... Вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств и что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе по всей Европе“ (РТ–СПЗ: 376–377), – это суждение, высказанное великой княгиней в разговоре с

одним из ее учителей в политике, английским послом Хэнбери-Уильямсом, становится в будущем аксиомой в житейской и управленческой практике: „Это замечание я считала всегда безошибочным, ибо нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца; можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что естественно всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца“ (РТ–СРЗ: 377). Смысл этой инициации героини автобиографии – в нравственном стоицизме и осознании своего высокого назначения<sup>89</sup>.

Пространство двора Елизаветы, независимо от того, происходит ли действие в Москве или Петербурге, Ревеле (Таллине) или Киеве, в зимних или летних дворцах, осознается мемуаристкой как единое во всех вариантах текста. Оно замкнуто и изолировано. Его основная характеристика – чувство враждебности, неуютности, сходство с тюрьмой, несмотря на все его великолепие и блеск. Особенно сильно она проявляется в поздних вариантах, присутствует как неизменный пункт даже в сохранившихся планах мемуаров, в которых то и дело встречаются записи „дурно помещены“ или рассказ о помещениях новых дворцов, таких же неуютных и неудобных.

Наиболее разработана система пространственной топики в поздней редакции. В этой редакции можно отметить эволюцию в интерпретации характеристик пространства именно с точки зрения раскрытия характера автобиографа. Во вступительной части редакции холодный пол московского дворца и вызванное им в результате слишком усердных ночных занятий тяжелое заболевание

---

<sup>89</sup> Существенны в этом смысле коннотации мифа о жертвоприношении Ифигении, которые присутствуют в государственной риторике времени Крымской кампании и путешествия Екатерины II в Тавриду в 1787 г. „История Ифигении могла резонировать в Екатерине и странным сходством с ее собственной участью. Она тоже, подобно эврипидовской героине, была принесена в жертву своей необыкновенной судьбой и заброшена повелевать народом, который ей неминуемо должен был казаться варварским и своеобразной пленницей она тоже была“ – пишет Андрей Зорин (Зорин 2002: 113). О высокой миссии, которую приписывали в этом отношении Екатерине французские философы во главе с Вольтером, см. (Вульф 2003: 316–317), а также мою статью „Святые места в переписке Екатерины II и Вольтера“ (Вачева 2003).

становятся для юной пятнадцатилетней принцессы Софии своеобразной инициацией, в которой она доказывает свою готовность стать достойной русской великой княгиней своим желанием скорее приобщиться к православию и своим интересом к русскому языку:

Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Адодуров; так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась – как вставала с постели, так и училась. На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. [...] Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. [...] поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы предложить мне это, и что я ответила: „зачем же? пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю“. [...] Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора“ (РТ–СРЗ: 210–211).

В первой редакции записок 1771 г., хотя в рассказе сообщаются подробности о ходе болезни, внимание переключено на отношения с матерью и заботы императрицы Елизаветы. В приведенном эпизоде „пространственный“ акцент подчеркивает важный элемент в выработке мифологии собственной личности автобиографом: ее желание еще до обручения заслужить свою судьбу, стать как можно быстрее „русской“ на фоне презрительного отношения и пренебрежения наследника российского престола ко всему русскому: вере, языку, обычаям. Это вписывается как нельзя лучше в заданное в „автобиографическом пакте“ сравнение между обоими супругами.

В дальнейшем пространственная топика должна акцентировать внимание прежде всего на стоицизме автогероини, ее выдержке в неблагоприятных обстоятельствах. Частые эпизоды бытовых неудобств, неуютность плохо спланированных комнат, лестниц, помещений, вечные сквозняки, в сочетании с надзором шпионов и необходимость сожительства с многочисленными фрейлинами и

слугами (впечатляющий случай, когда в одном из московских дворцов прорубают вход через окно для 17 дам из свиты великой княгини, чтобы те излишне не беспокоили свою госпожу (РТ–СЗР: 336), невозможность самовольно выходить из своих апартаментов и ходить без разрешения даже по дворцу, усиливают ощущение враждебности, холодности, даже злонамеренности окружающих, атмосферу отсутствия любви и душевного тепла. Эти мотивы достигают своей кульминации в рассказе о родах, произошедших в огромной, холодной и продуваемой насквозь комнате, в которой лежала выносившая свой „государственный долг“ забытая всеми роженица:

Я очень страдала, наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет; сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая – в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов. Я много потела; я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ. Наконец после трех часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте где она меня оставила, она вскрикнула и сказала что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах: а я сама не в силах была на нее перетаскаться. [...] Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец меня положили в мою постель и я ни души больше не видала во весь день и даже не посылали осведомиться обо мне (РТ–СЗР: 359–360).

Этот отрывок содержит, может быть, одно из наиболее подробных описаний интерьера в екатерининской автобиографии. Повторяющиеся детали плохо закрывающихся окон и дверей, сквозняк, промежуточность помещения, родильная постель на полу и близость (на самом деле „отдаленность“) настоящей, удобной и, по всей вероятности, защищенной постели, усиливают чувство не только физического бессилия, но также отчаяния и психологического кризиса, который переживает великая княгиня, не получившая даже малейшего знака человеческого тепла и внимания в столь трудный и важный момент своей жизни. Обе комнаты, специально приготовленные для родов, находящиеся в непосредственной близости к покоям императрицы и на самом деле являющиеся их частью, „скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств“ (РТ–СЗР: 358), в сравнение с которыми даже близость с покоями великого князя выглядит привлекательной, заставляют героиню чувствовать себя одинокой и глубоко несчастной. Краткое описание интерьера, помещенное перед эпизодом родов, подготавливает читателя не только к воспоминанию о психологическом кризисе от осознания пренебрежения к ней, но также к пережитой драме молодой матери, лишенной своего младенца сразу же после его рождения и не успевшей взглянуть на него. Снова, как и в случае с родильной постелью, мемуаристка использует мотив непосредственной близости, осмысленной как огромная и непреодолимая дистанция. Это происходит не в силу пространственных препятствий (ребенок находится рядом в покоях императрицы, буквально в какой-то из соседних комнат), а вследствие запрета матери общаться с младенцем.

До Ж.-Ж. Руссо западноевропейский роман XVIII века никогда не представляет романную героиню как мать, заботящуюся о своем малыше: „Роман XVIII века (и долгое время спустя) чрезвычайно поляризован по поводу мифических функций – божественных или inferнальных – женщины, чтобы представлять материнство каким-либо другим способом, кроме как эпизодически“ (Fauchery 1972: 405). Романский топос матери, лишенной свое-

го ребенка<sup>90</sup>, отражает характерную культурную норму в жизни европейской аристократии (во Франции это было свойственно даже низшим слоям дворянства и высшей буржуазии), которая состояла в помещении новорожденных, непосредственно после их появления на белый свет, до приблизительно их трехлетнего возраста у кормилиц, в большинстве случаев вдали от матери, имевшей сравнительно редко возможность видеть его (НФО, III: 48–49; ИЖЗ, III: 48–51). Несоответствие этой нормы русскому образу жизни (даже находясь на попечении кормилиц и нянек, малыши оставались дома, рядом с матерью) рассчитано повысить сочувствие читателя к действительной материнской драме молодой Екатерины, лишенной императрицей Елизаветой возможности общения со своими детьми: сначала с маленьким Павлом, а позже с дочерью Анной, умершей в два года<sup>91</sup>.

Важную роль и в романах, и в автобиографических записках Екатерины II играет топос своей комнаты, впрочем, один из наиболее комментируемых феминистской и психоаналитической критикой. Само наименование топоса становится исключительно популярным после одноименной книги Вирджинии Ульф. Некоторые его аспекты были прокомментированы выше в связи с топосами чтения и одиночества. Своя комната – интимное и наиболее защищенное от чужих взглядов и вторжений пространство, в ко-

<sup>90</sup> MÈRE PRIVÉE \_ DE \_ SES \_ ENFANTS/ [www.satorbase.org](http://www.satorbase.org) .

Отнятие новорожденного первенца у великой княгини бросает дополнительную тень на императрицу Елизавету и по другой причине. Широко бытовали легенды, что дочь Петра во время переворота собственными руками взяла из колыбели полуторагодовалого императора Ивана Антоновича. У С. М. Соловьева Елизавета разбудила спящую Анну Леопольдовну, пообещала ей не делать зла ее детям и отвезла в свой дворец, а маленького „императора взяла на руки, целовала и говорила: „Бедное дитя! Ты вовсе невинно; твои родители виноваты“ (Соловьев 1959, кн. XI, т. 21: 125). По мнению Е. В. Анисимова, обе версии об участии (респективно присутствии или отсутствии) Елизаветы Петровны при аресте Анны Леопольдовны и ее семьи равноценны. Сама Екатерина II отрицала присутствие предшественницы при этом событии, с ее слов, Елизавета не поднималась в покои племянницы, а оставалась внизу (Анисимов 1986: 38–39).

<sup>91</sup> Урок, однако, был хорошо усвоен. Двадцать лет спустя Екатерина II сама поступает таким же образом, отнимая у родителей Александра и Константина.

тором героиня может быть сама собой. В екатерининской автобиографии комната героини – место, связанное с последовательной и упорной интеллектуальной работой над собой, выраженной преимущественно в чтении. Однако утверждение чувства внутренней свободы, которое дает своя комната, очень трудно, если остальные не признают за великой княгиней права остаться наедине хоть ненадолго:

... Так как не было никаких развлечений в течение этой масленой [1748 г., – А. В.] при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате; он заставлял рядиться своих и моих слуг и моих женщин, и заставлял их плясать в моей спальне; он сам играл на скрипке и тоже подплясывал. Это продолжалось до поздней ночи; что меня касается, то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов, которые его чрезвычайно потешали (РТ–СЗР: 262).

Я читала у себя в комнате; одна из девушек обыкновенно входила ко мне и стояла сколько хотела, а потом выходила и другая занимала ее место, когда находила это кстати. Я дала понять Владиславовой, что это было ни к чему и только меня беспокоило; и без того мне приходилось страдать от близости комнат великого князя и от того, что в них происходило; что она страдала от этого столько же, сколько и я, потому что занимала маленькую комнату, которая составляла именно конец моих покоев. Она согласилась освободить девушек от этого своего рода этикета (РТ–СЗР: 280).

Таким образом, топос собственной комнаты связан с отстаиванием собственного „я“ под постоянной угрозой принудительного участия в лишенном смысла времяпрепровождении супруга, предпочитающего глупые забавы, военные упражнения и дрессировку собак. Это также повод твердо заявить о своей независимости перед неизменными шпионами. В редакции начала 90-х годов Екатерина говорит об этом прямым текстом, оправдывая свое решительное объяснение с „надзирательницей“ беспокойством о судьбе ее подчиненных, которых отстраняют при малейшем подозрении в привязанности к ней. Это также повод „избавиться от всех шпио-

нов, которые следили даже за малейшим из моих взглядов“ (РТ–Ч: 150). И в обоих процитированных отрывках есть очень мало конкретных пространственных деталей, но впечатление одиночества в окружении стольких людей<sup>92</sup>, с одной стороны, и неуютности, неудобства, стесненности, с другой, передаются при помощи описаний слуховых восприятий (почти круглосуточное визжание жестко дрессируемых собак и пиликанье на скрипке в минуты „спокойствия“) и агрессивного поведения великого князя<sup>93</sup>.

Своя комната, как и во многих романах эпохи, – место другого испытания героини: напряженного ожидания и болезненного страдания от любви и измены. С другой стороны, личные покои могут быть если не пространством любви (это очень рискованно при наличии стольких шпионов; на практике оно и есть таким во

---

<sup>92</sup> Эту проблему можно рассмотреть и под другим углом: как отражение бытовых и культурных норм тогдашней русской жизни. В России, в отличие от Западной Европы, даже на вершине общества, за вторым и третьим лицами в государстве, на практике не признается право на личное пространство. Л. В. Никифорова отмечает трудноразличимость приватного и публичного в дворцовой жизни, в которой монарх и его окружение воспринималось как одна большая семья, а все в повседневной жизни происходило публично (Никифорова 2006: 86). Пришедшее с сентиментализмом понимание права личности на уединение, столь важное в жизни аристократки, все еще не превратилось к тому моменту (середина XVIII века) в культурную норму. Оно становится таковой едва в самом конце XVIII столетия – начале XIX века (см. Hammarberg 2002: 306–307). Таким образом, имплицитно подчеркивается стоицизм привыкшей к другим культурным нормам немецкой принцессы. Может быть, речь идет также об известном анахронизме и о взгляде назад в прошлое с позиций культуры 90-х гг. XVIII века.

<sup>93</sup> Интересное прочтение этих мотивов через параллели с популярными баснями предлагает Л. В. Никифорова: В „Записках“ Екатерины, в рассказе о ее жизни при дворе до вступления на престол, весьма силен мотив противопоставления разума и неразумия. В роли мудрой и разумной выступает сама мемуаристка, против нее целый мир. Праздный, ребячливый, занятый пустыми забавами супруг (сюжет басни „Жалоба лягушек“) восхищается ужасными громкими звуками собственной скрипки (басня „Соловей и кукушка“), проводит время в обществе собутельников и дам сомнительного поведения (многочисленные варианты „Веселого общества“, „Драки за картами“, „Драки за игрой в кости“). Трудно сказать, какие сюжеты детского и взрослого неразумия, известные художественному пространству XVII–XVIII веков, остались не реализованы в образе великого князя“ (Никифорова 2006: 100).



время связи с Салтыковым, притом с санкции императрицы, но мемуаристка предпочитает не говорить о сопутствующих обстоятельствах своей первой любви), то местом веселых интимных встреч с близкими и верными друзьями. Тогда на помощь приходит такая особенность интерьера аристократических дамских апартаментов XVIII века, как *будуар*. Он представляет отдельное помещение (кабинет, уборную, где дама одевается, причесывается и пр.; павильон/беседка в парке), а также импровизированное внутри большой комнаты или зала, огороженное параванами, занавесями и пр. помещение. Будуар должен подчеркивать удобство малого по сравнению с дискомфортом большого пространства (Delon 1997b: 167). В нем проявляется изысканный вкус хозяйки, которая тщательно выбирает для него зеркала, картины, специальную модную мебель (оттоманка, кушетка); предпочтение отдается округлым формам, соответствующим женскому телу, и любовным жестам (там же). Как топос будуар „пронизан противоречием между чувством и роскошью, интимностью и показом, тайной и публичностью“ (Delon 1997b: 168).

В автобиографии Екатерина лишает импровизированный в ее комнате будуар свойственных этому топосу эротических коннотаций. В то же время она превращает его в место, где чувствует себя дерзкой и свободной, бросающей вызов врагам и смеющейся над ними. За богатой драпировкой, которая отгораживает будуар от остального помещения, она скрывает от ничего не подозревающих придворных надзирателей, которым и в голову не приходит, что она способна на такое, своих самых близких друзей. Ее дерзость тем сильнее на фоне запретов, ограничений и демонстративного игнорирования ее личности.

Эпизод с будуаром следует вслед за рождением второго ребенка мемуаристки, произошедшим при таких же обстоятельствах и таком же „внимании“, как и в первый раз: „... как только я родила, не только императрица в этот раз, как и в прошлый, унесла ребенка в свои покои, но также, под предлогом отдыха, который мне был нужен, меня оставили покинутой, как какую-то несчастную, и никто ни ногой не вступал в мою комнату и не осведомлялся и не велел осведомляться, как я себя чувствую“ (РТ–СЗР: 426). В отличие от

предыдущего раза, наученная горьким опытом великая княгиня не падает духом, а пользуется одиночеством, чтобы наслаждаться компанией немногих верных друзей. Место осуществить это иначе запрещенное общение – именно будуар:

Моя кровать выступала приблизительно до половины довольно длинной комнаты, окно было направо от кровати, налево от кровати был черный вход [...] От моей кровати до этой двери я велела поставить громадные ширмы, которые скрывали очень миленький кабинет, какой я только могла придумать, в виду этого помещения и обстоятельств. В этом кабинете были канапе, зеркала, переносные столики и несколько стульев. Когда занавес моей кровати был с этой стороны спущен, ничего не было видно; [...] те, кто входил в комнату, видели только большие ширмы. [...] 1 января 1759 г. придворные празднества окончились очень большим фейерверком [...] так как я еще лежала, то и не появлялась при дворе. Перед фейерверком граф Петр Шувалов<sup>94</sup> вздумал подойти к моим дверям, чтобы передать мне план фейерверка. [...] Владислава сказала ему, что я сплю [...] я не спала, это было неправда, но только я была в постели и у меня была моя обычная маленькая компания, которую составляли, как и прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский. [...] Владислава не знала точно, кто у меня, но у нее был слишком хороший нюх, чтобы не подозревать, что кто-то есть. [...] я задернула занавес со стороны ширм и сказала ей, чтобы она вошла... я велела ей впустить его. Она пошла за ним, а в это время мои гости за ширмами помирали со смеху от крайней необычности этой сцены, когда я собиралась принять визит графа Петра Шувалова, который мог бы поклясться, что застал меня одну, в моей постели, между тем как всего один занавес отделял мою маленькую и очень веселую компанию от этого лица, столь важного тогда, оракула двора и пользовавшегося в высокой степени доверием императрицы (РТ–СЗР: 426–427).

Веселый вечер кончается пирушкой, после которой „прислуга была немного удивлена моим аппетитом“ (РТ–СРЗ: 428).

Эпизод с будуаром отмечает новый момент в развитии характера мемуаристки, которая перестает воспринимать себя как жертву и берет инициативу в свои руки. Основной акцент в описании этого

---

<sup>94</sup> Брат фаворита Елизаветы Ивана Шувалова, гофмейстер великокняжеского двора, занявший место умершего Чоглокова, исполнявший, как и предшественник, шпионские функции.

случая – вызов, риск, игра с опасностью, которую великая княгиня ведет в сердце своей роскошной тюрьмы с одним из величайших и влиятельнейших своих врагов. Хладнокровие, самообладание, проявленные в рассматриваемом эпизоде, говорят об уже завершённом „мужском“ характере, скрывающемся, как за ширмой „кабинета“, за обманчивой внешностью нежной, страдающей и одинокой женщины. В будущем своя комната может превратиться в бастион, из которого мемуаристка ведет политическую битву крайними средствами. Таков случай с своеобразной „стачкой“ Екатерины, которая отказывается выйти из комнаты на протяжении почти целой недели и участвовать в больших дворцовых празднествах по случаю собственного дня рождения и в честь годовщины восшествия на престол Елизаветы. Сопротивление она прекращает только тогда, когда понимает, что ее поступок может быть злонамеренно использован врагами России, каким тогда выступал французский посол, который позволил себе хвалить ее на публике (РТ–СЗР: 459).

Чувство тюремного заключения, несвободы передается мемуаристкой не только упоминанием постоянной слежки и выговоров, запрещения писать и держать у себя бумагу и чернила (когда ей надо втайне писать матери, она скрывает перо под подвязкой, старается ничего не оставлять в карманах, боясь шпионирования), но также и действиями великой княгини и поведения ее друзей в „публичной“ части дворцового пространства – на концертах (передача записок матери кавалером Сакромозо), балах, светских вечеринках (известные эпизоды с ухаживанием за Екатериной Салтыкова на глазах у Чоглоковых). Это – „наблюдаемое пространство“ „праздников, балов, вечеров, салонов, прогулок, церквей, лавочек, иногда ограниченное и мимолетное: между двумя дверьми, на перекрестке двух аллей. Другие еще здесь, рядом, но на известной дистанции, отосланные изобретательной силой желания“ (Lafon 1997: 38). Эта пространственная топика идет рука об руку с использованием характерных романских и комедийных ситуаций, ставших общими местами во множестве литературных текстов (например, последовательное добывание чернил, пера, бумаги для тайного письма; ухаживание за возлюбленной под носом глупого опекуна, лаская

его самолюбие и пр.). Таким образом поступает, ухаживая за героиней, ее первый любовник Сергей Салтыков в одном из самых колоритных эпизодов поздней редакции: „Сергей Салтыков стал другом, поверенным и советчиком Чоглоковых; конечно никакой человек со здравым смыслом не стал бы принуждать себя к столь тяжелому делу, как выслушивание по целым дням бредней двух дураков, гордых, заносчивых и себялюбивых, если бы не имел в том очень большого интереса“ (РТ–СЗР: 331). Коронный номер ищущего близости с возлюбленной ухажера – хвалить страсть дурака Чоглокова сочинять и петь любовные песни и, пока последний занят этим делом, беспрепятственно разговаривать с дамой сердца:

Сергей Салтыков нашел необыкновенное средство занимать его. Не знаю, как он выискал в этом человеке, самом тупом и лишенном всякого воображения и ума, страстную склонность к сочинению песен, не имевших здравого смысла. Как только сделано было это открытие, каждый раз, как хотели отделаться от Чоглокова, просили его сочинить новую песню, он с большой готовностью сейчас же садился в угол комнаты, большую часть к печке, и принимался за свою песню, что заполняло весь вечер. Потом находили песню прелестной, это его поощряло сочинять все новые (РТ–СЗР: 327–328).

Приведенный отрывок – прекрасный образец применения в мемуарном тексте романских и комедийных приемов отстранения мешающего влюбленной паре субъекта. Успех предпринятой тактики<sup>95</sup> подчеркнут изолированием ненавистного Чоглокова в пространстве комнаты – в углу, у печки. Поиски удобства говорят об одержимости героя его страстью, но и о „коварстве“ влюбленных, „освободивших“ оставшуюся часть помещения и превративших ее в „территорию любви“.

Как это уже было показано, особую роль в автобиографии Екатерины играют „пространства свободы“. Это прежде всего резиденция великокняжеского двора в Ораниенбауме, где каждый из

---

<sup>95</sup> Предполагающей также использование других средств: „переглядываний, тайных записок, незаметных жестов, под носом, на виду у других, смотрящих спектакль, играющих, разговаривающих, гуляющих, ужинающих“ (Lafon 1997: 39).

супругов может посвятить себя своим излюбленным занятиям. Описания этого „свободного“ от надзора и чужой указки пространства находят параллели в характерном для романа топосе загородного дома. Символом свободы молодой Екатерины, как это было уже комментировано, становится верховая езда по-мужски в ораниенбаумских окрестностях или охота с риском для жизни в близлежащем заливе. У этого открытого пространства, лишённого конкретных ограничительных маркеров, есть „мужские“ характеристики, в отличие от типичного „женского“ замкнутого пространства комнаты, ассоциирующегося с ожиданием и страданием (Lafon 1997: 24; 45–46). Таким образом, пространство подчеркивает андрогинность амазонки и говорит о „мужских“ свойствах характера будущей императрицы.

Пространство свободы в Ораниенбауме, однако, обладает также своими „женскими“ измерениями. Это забота о саде, парке, где женщина выступает как созидательница. Интерес автора к возделыванию „своего“ парка контрастирует с бессмысленными военными играми с „потешным“ голштинским полком и постройкой „потешной“ крепости великим князем Петром Федоровичем<sup>96</sup>. В екатерининской автобиографии топос сада получает

---

<sup>96</sup> О крепости Петра III и „китайском“ дворце Екатерины в Ораниенбауме см. Швидковский 2001. В автобиографии императрица умалчивает о построенных известным архитектором А. Ринальди зданиях – изящном небольшом дворце Петра внутри крепости и прекрасном Китайском дворце для нее, считающиеся шедеврами стиля „рококо“ в Европе. Не упоминает мемуаристка и о большом Меншиковском дворце в Ораниенбауме. В тексте дворец только один, в котором сожительство крайне неудобно, тогда как жизнь обоих супругов был в достаточной степени независимым от присутствия другого.

Крепость Петерштадт возникла на месте более ранней „потешной“, но была достаточно велика и предназначалась для реальных, а не игровых военных учений: „В Ораниенбауме для военных игр наследника было устроено все необходимое – потешные крепости, небольшие артиллерийские батареи, земляная цитадель с деревянными стенами. Но через десять лет все это стало казаться Петру Федоровичу оскорбительно ненастоящим. Поэтому приехавшему в 1756 г. в Петербург итальянскому архитектору Антонио Ринальди, назначенному архитектором наследника престола, первым делом было поручено построить в Ораниенбауме военную крепость. И за несколько лет им была создана целая маленькая

философскую интерпретацию в стиле Волтеровского „Кандида“, как символ житейского выбора, поиска смысла жизни в самоусовершенствовании.

Я остановлюсь также на особенностях пространства одного из самых известных эпизодов позднейшей редакции мемуаров императрицы: любовное объяснение с Сергеем Салтыковым, которое прочитывается как заимствование из романной поэтики не только литературоведами, но и историками (Анисимов 1990: 11). Место действия этого эпизода – остров, где оба влюбленных находятся во время охоты. Мотив охоты, как одного из возможных способов достижения временной свободы для романного персонажа, сочетается с осмыслением любовных намерений мужчины-охотника, добывающегося благосклонности возлюбленной после продолжительного ухаживания.

Топос острова любви<sup>97</sup> был достаточно хорошо известен русскому читателю и по переводу Тредиаковским прециозного романа

---

страна, крошечная, изысканная и соответствовавшая последней европейской архитектурной моде. Она располагалась в саду, устроенном в духе рококо на берегу большого пруда... Регулярные клумбы и боскеты соседствовали здесь с изощренно извилистыми дорожками. В центре были возведены по всем правилам фортификации пять бастионов, окруженных рвами с подъемными мостами. За ними, также образуя пятиугольник, стояли казармы для солдат, дома офицеров, арсенал и пороховой погреб. [...] Игра велась всерьез, и сама крепость, полностью соответствовавшая требованиям фортификации XVIII столетия, несмотря на свою миниатюрность, словно сошла со страниц известных в то время трудов по военной архитектуре. В центре крепости стоял небольшой дворец Великого Князя. Камерные размеры позволили отделать его с необыкновенной тщательностью и изысканностью“ (Швидковский 2001: 73–74).

Мемуаристка сознательно допускает анахронизм и искривление фактов с целью дискредитации супруга.

Что же касается Китайского дворца, Л. В. Никифорова видит в нем архитектурную аналогию „Запискам“ Екатерины II (Никифорова 2006: 101).

<sup>97</sup> В этом значении тоpos острова присутствует в греческой мифологии как Китера (Цитера), остров богини любви Афродиты, или, например, в „Одиссее“ как остров нимфы Калипсо, задержавшей в любовном плену Одиссея на семь лет. О связанности „острова любви“ с тоposом амазонки и „женского царства“ в литературе Просвещения см. Stroeв 2004. О семантике острова в русской литературе XVIII–XX вв. см. Горницкая 2012.

Поля Талемана „Езда в остров любви“ („Voyage à l'Île d'amour“), одного из первых образцов жанра, с которым познакомилась русская аудитория еще в 1730 г. Остров любви как топос присутствует даже в таких образцах лубочной литературы, какими были „Приключения англинского милорда Георга“ Матвея Комарова. Русский сентиментализм также предложил свою интерпретацию острова как средоточия любви в повести Н. М. Карамзина „Остров Борнгольм“ (1797), опубликованной уже после смерти Екатерины II.

В западноевропейской литературе XVII–XVIII веков выстраивается целый „галантный архипелаг“ со своим символическим языком. „Остров любви“ присутствует в „Клелии“ мадмуазель де Скюдери, в „Острове кокетства“ Франсуа д'Обиньяка, в „Королевстве любви на острове Цитеры“ Тристана л'Эрмита, в знаменитой „Астрее“ Оноре д'Юрфе, в „Открытии Фривольного острова“ аббата Куайе и других популярных романах (Lestringant 2002: 295–321).

В романной топике XVIII века остров – источник неизвестного (Lafon 1997: 154). По мнению Франк Лестрингана, топос острова любви пользуется плохой репутацией в классическую эпоху из-за присущей ему амбивалентности. В этом топосе радость и счастье смешиваются с болью и грустью; это пространство мечты, но также место, где персонажи испытывают кошмары; на острове любви на любовное счастье бросает тень беспокойство (Lestringant 2002: 313, 314, 317). В то же время остров – это также своеобразное „закрытое“ пространство, которое акцентирует на неизбежности происходящего. Примечательно, что в автобиографии Екатерины первая ночь любви, проведенная в традиционном для жанра романа маленьком охотничьем домике, сопровождается в тексте опять-таки популярными романскими аксессуарами: грозой, проливным дождем, ветром, которые под стать тревожным переживаниям повествовательницы:

Вернувшись в дом, находившийся на острове, мы там поужинали; во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступеней лестницы и весь остров был покрыт водою на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чоглокова, пока не утихнет буря и не спа-

дет вода, что продолжалось часов до двух или до трех утра. В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною, и наговорил еще множество подобных вещей; он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно (РТ–СЗР: 330).

В романе буря, природные стихии обычно сопутствуют смущению героини, пережившей свое первое любовное испытание<sup>98</sup>. Они становятся выражением эмоционального „женского“ начала, которое бессильно побороть „мужское“ рациональное, аналитическое начало. В этом смысле показательны, как оба любовника толкуют сопровождавшую их первую ночь вместе природную стихию: смущение женщины, происходящее от сознания того, что, как бы ни хотела рационально управлять судьбой, она побеждена своей природой, перед которой бессильна, как перед бушующей бурей; удовольствие мужчины, видевшего в природном бедствии положительный знак, награду за успешно осуществленный план ухода, который был выработан с большим терпением, на протяжении длительного времени и, не на последнем месте, рационально. В интимности маленького охотничьего домика на острове любви в очередной раз реализуются характерные переживания романских героев: тревожность женщины по поводу возможных перспектив после ее „грехопадения“ и радость торжествующей любви и чувство победы, удовлетворения после мечтанного завоевания любящего (и любимого) мужчины.

Рассмотренные особенности пространства в автобиографии Екатерины II говорят об ее исключительном умении элегантно и ненавязчиво использовать романную топика, чтобы расставить желанные акценты в интерпретации своего собственного образа и рассказать историю своей личности, облекая факты в одежду фикции.

---

<sup>98</sup> Хрестоматийным примером в русской литературе конца XVIII века является буря, разразившаяся после потери Лизой невинности, в популярной повести Н. М. Карамзина „Бедная Лиза“.





Ворота крепости Петерштадт в Ораниенбауме

## Глава третья

# РОМАННЫЙ ИНТЕРТЕКСТ В АВТОБИОГРАФИИ ЕКАТЕРИНЫ II

### Гипотетический интертекст: автобиография Екатерины II и „Письма мисс Фанни Батлер“ г-жи Риккобони<sup>1</sup>

Воспоминания Екатерины II о первой любви и романе с Сергеем Салтыковым, без сомнения, представляют собой один из самых скандальных эпизодов в ее мемуарах. Как эпатаж норм благоприличия воспринимали его первые читатели. Этот эпизод появляется в позднейшей редакции текста „Записок“ императрицы, опубликованной Герценом в конце 1858-го – начале 1859 года. Может быть этот эпизод в большей степени способствовал скандальной славе автобиографических записок императрицы. Рассказ Екатерины о ее романе с Салтыковым стал в глазах читателей середины XIX века подтверждением закрепившегося много ранее мифа о „Мессалине на троне“ и преувеличенной сексуальности царицы. В эпоху публикации текста скандальным было само признание в супружеской неверности.

История „грехопадения“ Екатерины, описанная в этом обширном и представляющем собой своего рода отдельную новеллу эпизоде, до наших дней воспринимается читателем как „чистосердечное признание“. Черты литературности в этом повествовании обычно игнорируются, несмотря на то что факты, касающиеся связи с Салтыковым, предполагаемым физическим отцом престолонаследника<sup>2</sup>, облечены мемуаристкой в отчетливо романную форму.

Литературный характер этой новеллы был отмечен впервые Е. В. Анисимовым, пронизательно усмотревшим в сцене объяснения Салтыкова Екатерине отражение условностей романа того

---

<sup>1</sup> Эта часть была ранее опубликована в журнале НЛЮ (Вачева 2006в).

<sup>2</sup> Однозначного ответа на этот вопрос Екатерина така и не дает, единственным бесспорным доказательством был бы только генетический анализ.

времени: „Не правда ли – замечательный отрывок из романа, который можно назвать „Объяснение на охоте“?! Но это не роман, это – „Записки“ Екатерины II, так чудесно воспроизводящие то, что говорили и чувствовали двое молодых людей – Екатерина и Сергей Салтыков на солнечной поляне сорок лет назад. И не говорите мне, что императрица обладала феноменальной памятью! Кроме памяти, здесь нужны литературные способности, хотя, вероятно, и не очень большие: описание романтического объяснения прелестной амазонки с изящным кавалером – достаточно банальный литературный трафарет, при том что возможность такого свидания и объяснения отрицать не следует“ (Анисимов 1990: 11). Не отрицает литературность эпизода и Мария Крючкова, опубликовавшая в 2009 г. детальное исследование фактологии екатерининских мемуаров: „Потом происходит „драма на охоте“ – сюжет, пересказанный почти во всех жизнеописаниях Екатерины [...]. Он написан с беллетристическим и театральным оттенком, как утверждают историки, „в полном соответствии с канонами любовного романа XVIII века“. Не думаю, что это является доводом в пользу его достоверности, скорее наоборот (еще бы знать роман, из которого Екатерина его переписала)“ (Крючкова 2009: 165–166). Действительно, сцена объяснения Салтыкова и Екатерины напоминает распространенные шаблоны романного жанра. Позволю себе, однако, частично не согласиться с выдающимся историком. Для того чтобы придать живость шаблонам и читательскую привлекательность, требовались не только незаурядные „литературные способности“, но и глубокое знание литературных условностей и уверенное владение кодами романного письма, позволявшие превратить сладостно-горькое воспоминание о первой любви в эпизод романа, принципиальный для понимания концепции мемуаристики и собственного образа, созданного ею.

В предыдущей главе была прокомментирована семантика пространства в эпизоде любовного объяснения, который имеет характер коллажа, провоцирующего компетентность читателя. Текст екатерининской автобиографии в принципе имеет ярко выраженный интертекстуальный характер. В эпизоде, посвященном любов-

ной истории с Салтыковым, Екатерина II доказывает, что обладает недюжинным литературным талантом и прекрасным знанием литературных конвенций. На мой взгляд, роль своего рода повествовательной модели сыграл для Екатерины один из самых популярных эпистолярных романов XVIII века – „Письма мисс Фанни Батлер“ (1757), принадлежавший известной в то время французской писательнице Мари-Жан Риккобони (1714–1792).

\* \* \*

„Письма мисс Фанни Батлер“ („*Les lettres de Mistriss Fanni Butlerd*“, 1757) – первый оригинальный роман мадам Риккобони. Писательница дебютировала на литературном поприще, после того как оставила сцену. Сама она была слабой актрисой, но принадлежала к семье известного теоретика театра Луиджи Риккобони – была замужем за его сыном Антуаном-Франсуа. Литературная карьера ее сложилась успешно. Г-жа Риккобони была автором десятка известных во второй половине XVIII века романов, снискавших огромную популярность. Она прославилась также завершением одного из известнейших романов Мариво – „Жизнь Марианны“ („*La vie de Marianne*“), причем это произошло с одобрения самого писателя. Г-жа Риккобони занимала почетное место в самых престижных словарях и справочниках по французской литературе конца XVIII – начала XIX века. Книги Риккобони пользовались успехом даже после прекращения в 1780 году ее активной литературной деятельности. Ее собрание сочинений было переиздано трижды в конце XVIII века<sup>3</sup>, а некоторые из ее романов многократно печатались до 1870 года (Piau-Gillot 1999: II–III). „Современники Стендаля, сам Стендаль читали, без сомнения, Жан-Поля и Вальтера Скотта, [...] и г-жу Котен, но также и Прево, Ричардсона [...] и г-жу Риккобони. Таким образом, сила действия самых значительных – или скорее, самых замечательных – романов века простирается далеко за рамки одного поколения“, – отмечает Пьер

---

<sup>3</sup> Дж. Николс указывает на семь переизданий полного собрания сочинений романистки за период с 1780 по 1790 г. (см.: Nicholls 1976: 13–14).

Фошри (Fauchery 1972: 15). Маргарита Серафимова указывает на место первого романа г-жи Риккобони, а также написанного ею двадцатью годами позже романа „Письма Миледи Джулиет Катсби“ среди двадцати наиболее популярных эпистолярных романов в XVIII веке, в компании прославленных „Памеллы“ и „Клариссы“ Ричардсона, „Новой Элоизы“ Руссо, „Страданий юного Вертера“ Гете, „Опасных связей“ Шодерло де Лакло (Серафимова 2001: 192). Будучи одним из популярнейших французских романов эпохи Просвещения, „Письма мисс Фанни Батлер“ выдержали до смерти романистки в 1792 году двадцать два издания, а до 1836 года еще десять (Stewart 1979: XXXIII–XXXV). „Письма...“ вышли в свет в ключевой для эволюции французского романа момент, последовав за французскими переводами эпистолярных романов Ричардсона, но опередив на несколько лет „Новую Элоизу“ Руссо (Stewart 1979: XXV). По мнению Джоан Стюарт, роман Риккобони занимает важное место не только в истории европейского романа, но также и в истории феминизма. Он был написан женщиной, женщина была его главной героиней, и успех он имел главным образом в женской читательской аудитории (там же).

Роман был известен также русскому читателю. Влиятельный французский еженедельник „Mercure de France“, где в январе 1757 года было напечатано одно из „писем“, имел подписчиков и пользовался популярностью в России. Помимо этого, в России, как и во всей Европе, распространялись сборники материалов этого издания, которые, в свою очередь, были источниками переводов для русских литературных сборников и альманахов. Нередко более ранние сборники, содержащие материалы 1750-х, 1760-х, 1770-х годов, служили источниками переводных текстов в 1780-е и 1790-е годы (Рак 1998: 202–203).

В 1765 году, через восемь лет после выхода в свет во Франции, „Письма мисс Фанни Батлер“ были переведены на русский язык под заглавием: „Письмы от мистрис Фанни Буртлед, к милорду Карлу Алфреду де Кайтомбридж“ (ИРПЛ 1995, I: 178–179)<sup>4</sup>. Уже

---

<sup>4</sup> В 1779 г. появился частичный перевод другого романа мадам Риккобони „История мисс Дженни“ (ИРПЛ 1995, I: 178–179).

перевод заглавия (архаическая даже для середины XVIII века форма множественного числа от слова „письмо“, буквальное написание титула „мистрис“ и фамилии „Буртлед“, замена английского имени Чарльз его более привычным для русского уха немецким соответствием „Карл“ и пр.) выдает невысокую языковую компетентность анонимного переводчика, явно соблазненного сентиментальной историей и обращавшегося к не слишком взыскательной аудитории.

Появление русских переводов Риккобони само по себе свидетельствует о ее популярности в России. Как известно, переводы в эту эпоху предназначались для более широкого круга читателей, не владевших французским, тогда как образованная и более состоятельная аудитория предпочитала знакомиться с французской словесностью в оригинале. К концу столетия, когда отрицательное отношение к роману как жанру стало постепенно изживаться, книги г-жи Риккобони воспринимались уже как полезное и нравоучительное дамское чтение. Об этом можно судить по реплике персонажа из повести Н. Ф. Эмина „Роза“ (1788), перечисляющего рекомендуемые произведения, „более для девиц полезные“: „Мне кажется, что романы Фильдинговы, „*София и Емили*“, „*Новый Абелярд*“, Мармонтелевы сказки, сочинения г-жи Риккобони, „*Девушки Штернгейм*“, Виландовы и тому подобные наградят скуку красавицы, не повреждая нежных сердец и не подавляя душевных доброт...“ (ИРПЛ 1995, I: 9)<sup>5</sup>.

\* \* \*

Предположения об интертекстуальных связях между романом г-жи Риккобони и автобиографией Екатерины II неизбежно носят гипотетический характер. Как это было уже отмечено, мемуаристка почти не называет читаемых ею романов. Ни в автобиографических текстах Екатерины, ни в ее корреспонденции, которая пестрит

---

<sup>5</sup> Имеются в виду романы Руссо „Эмил, или О воспитании“, „Юлия, или Новая Элоиза“, роман Мари-Софи Ларош „История девицы Стернгейм“ (примечание Ю. Д. Левина). Курсив автора.

именами героев популярных романов, не упомянуты ни сама г-жа Риккобони, ни кто-либо из героев ее книг. Насколько можно судить по существующим исследованиям, этот роман не был обнаружен в числе книг, входивших в состав императорской библиотеки Эрмитажа (см: Павлова 1975; 1987; 1996; Копанев 1988; 1996; Федорова 1996; Вигасин&Прокопович 1996; Шилов 1999)<sup>6</sup>.

Тем не менее есть ряд косвенных доказательств, на основании которых можно предполагать знакомство Екатерины с „Письмами мисс Фанни Батлер“.

Существенно то, что у российской императрицы и бывшей актрисы парижской „Comédie Italienne“, при всей разнице их социальных статусов, были общие знакомые и корреспонденты. Среди поклонников романов Риккобони, пользовавшихся авторитетом в литературной и общественной жизни Франции того времени, были, в частности, такие известные гости и корреспонденты императрицы, как философ Дени Дидро и барон Фридрих Мельхиор Гримм. Гримм информировал императрицу о новостях парижской литературной жизни, был ее советчиком, „souffite-douleur“, исполнителем деликатных поручений, посредником в контактах с политическими и культурными знаменитостями (См. Карп 1998)<sup>7</sup>. Оба

---

<sup>6</sup> Состав всех двенадцати книжных собраний российских императоров, по мнению этих авторов, трудно установить как из-за небрежного составления более ранних каталогов, частичных и неполных, так и из-за бесконтрольного и необоснованного их разбрасывания по фондам разных библиотек в советскую эпоху.

<sup>7</sup> Барон Фридрих Мельхиор Гримм побывал в северной столице по приглашению императрицы в 1773–1774 г. и позже, в 1777 г., в свитах обеих невест Павла Петровича. Во время первого визита, который совпал во времени с пребыванием Дидро, произошло сближение между обоими долголетними корреспондентами, которое впоследствии стало основой их активной переписки и обеспечило Гримму исключительное доверие Екатерины даже по отношению щекотливых семейных дел. Таким было, например, „вразумление“ и погашение внушительных долгов побочного сына императрицы от Григория Орлова Алексея Бобринского, которые тот успел наделать в Париже за краткое время своего путешествия.

Именно Гримм выплачивал пенсию Дидро, посредничал при закупке предметов искусства. После его возвращения из России, он перестал издавать свою „Литературную корреспонденцию“ (продолженную Мейстером), а его письма

философа были среди самых известных иностранных посетителей петербургского двора и частых собеседников императрицы.

Известно, что Дидро очень благосклонно встретил романы мадам Риккони. Он находил время читать рукописи ее ранних произведений и обсуждал их с начинающей писательницей (Nicholls 1976: 15). Философ особенно высоко оценил именно „Письма мисс Фанни Батлер“ и даже в письмах стал в шутку называть романистку именем ее героини (письмо от 27.11.1758 (Diderot 1959, II: 89, 96). Дидро не только одобрил первые шаги бывшей актрисы на поприще беллетристики и ввел ее в престижные интеллектуальные круги (Nicholls 1976: 16)<sup>8</sup>, но и в дальнейшем, судя по их переписке и по его письмам к третьим лицам, вплоть до конца своей жизни продолжал помогать ей в трудных ситуациях, хотя его восторг от ее произведений со временем охладел. В его переписке с мадам Риккони обсуждается поэтика современной драмы и театрального спектакля. Некоторые из этих писем неизменно включаются не только в состав полных собраний сочинений и переписки философа, но также в состав сборников работ Дидро о театральном искусстве.

Гримм также восторженно приветствовал появление „Писем мисс Фанни Батлер“<sup>9</sup>, а позднее благосклонно откликнулся и на дру-

---

к русской императрице превратились в „индивидуализированное продолжение периодического издания“ (Шлобах 2000: 61). Интересно наблюдение Иохена Шлобаха над характером отношений философа и Екатерины: „Влияние Гримма на Екатерину заключалось, пожалуй, в том, что он побуждал императрицу к выражению ее собственных мыслей и оценок“ (Шлобах 2000: 61).

Во время своего второго пребывания в России в 1776–1777 гг. Ф.-М. Гримм был приглашен императрицей остаться в стране как минимум на два года, чтобы заняться реформой системы образования. Гримм получил тогда чин коллежского советника и до конца своей жизни исполнял посреднические и дипломатические поручения русского двора (Карп 1998: 180–196).

<sup>8</sup> Дидро вводит г-жу Риккони в салон Гольбаха, где она знакомится не только с французскими, но и с английскими интеллектуалами. Ее близким другом и корреспондентом на многие годы становится прославленный актер Дэвид Гаррик, с которым она познакомилась именно у Гольбахов.

<sup>9</sup> В 1757 г. он писал по поводу первого романа писательницы: „Вы прочитаете с удовольствием „Письма мисс Фанни Батлер к милорду Шарлю Альфреду, графу Кейтомбриджскому, написанные в 1735 и переведенные с английского в



гие произведения Риккобони. Целый ряд откликов такого рода можно найти в его „Литературной корреспонденции“ (*Correspondance littéraire*, 1753–1773), представлявшей собой своеобразный рукописный журнал о новостях интеллектуальной и литературной жизни Франции, который популяризировал французскую культуру при европейских дворах. Подписчиками этого журнала были главы большинства европейских государств того времени, а сама Екатерина регулярно получала это издание с 1764 года (Шлобах 2000: 60; Schlobach 1997).

Есть еще один вероятный канал, по которому Екатерина могла узнать о шумной славе романа и приобрести его экземпляр, – это актеры французской труппы в Петербурге, которые, по всей видимости, не раз снабжали ее книгами до восшествия на престол. О том, что великая княгиня прибегала к посредничеству французских актеров для пополнения своей библиотеки, свидетельствует, в частности, ее письмо к английскому послу сэру Чарльзу Хенбэри-Уильямсу (Письмо от 14.09.1756 г. *Correspondence of Catherine the Great* 1928: 137)<sup>10</sup>. Вероятнее всего, однако, книга попала в руки знатной читательницы из академической книжной лавки при Московском университете, где она продавалась, судя по каталогу, примерно в то же время, как и романы Юрфе, Прево, Ричардсона, Руссо, Свифта, Сервантеса, Мараны, письма г-жи де Севинье и др., не говоря о произведениях древних (Копанев 1986: 121)<sup>11</sup>.

---

1756 Аделаидой де Варэнсэ“ (*Grimm* 1878, III: 365). Имя мнимой переводчицы – псевдоним г-жи Риккобони.

<sup>10</sup> В данном случае речь идет о мемуарах морганатической супруги Людовика XIV г-жи де Ментенон, интерес к деятельности которой тогда завладевает Екатериной и достигает своего пика в эпоху создания Смольного, образцом для которого послужил основанный французской писательницей институт воспитания благородных девиц „Сен-Сир“. По всей видимости, этот канал получения французских книг был хорошо разработан. Гипотеза об этом источнике может получить основание также в известной театральной фамилии французской романистки.

<sup>11</sup> В каталоге, опубликованном Н. А. Копаневым, роман значится под именем героини: „*Butlerd Fanni. Lettres de Mistriss Fanni Butlerd à Milord Charles Alfred, duc de Caitombridge, écrites en 1735; trad. de l'anglois en 1756...* Paris, 1757.

Екатерина могла познакомиться с романом Риккобони самое позднее после приобретения библиотеки Дидро. Вполне вероятно, что творчество французской писательницы могло затрагиваться в ходе многочисленных бесед императрицы и философа о литературе, оказавшейся для них единственно удобной темой для разговоров во время шестимесячного пребывания Дидро в Петербурге, после того как Екатерина дала ему понять, что не склонна экспериментировать „на человеческой коже“ для реализации его социальных теорий. Литература, в особенности французская, была также одним из основных предметов ее разговоров с Гриммом во время двух его визитов к петербургскому двору, первый из которых как раз пришелся на время пребывания там Дидро. В эти месяцы Екатерина нередко удостаивала обоих гостей совместных и продолжительных аудиенций. Оба энциклопедиста были ангажированы проектами Екатерины о создании современной системы образования. Дидро пишет известный „Проект университета“ („Plan d'une université“, 1775), а в „Записках для Екатерины II“ („Mémoires pour Catherine II“) перечисляет свои замечания о состоянии уже существующих учебных заведений, например, Сухопутного Шляхетского корпуса, и свои идеи об их реформировании<sup>12</sup>. Гримм является автором „Опыта об образовании в России“ („Essai sur les études en Russie“), часто приписываемого его другу Дидро (Didier 1995: 82; Карп 1998: 191). Оба философа наносили визиты в Смольный, разговаривали с основателем Института И. И. Бецким и директрисой Софи де Лафон, беседовали с воспитанницами (Карп 1998: 183). Все эти факты делают вполне реалистической гипотезу о разговорах, в которых упоминалось творчество одной из известных романисток-эмансипанток того времени.

Стоит отметить, что известие о смерти Риккобони в 1792 году совпало по времени с возобновлением работы Екатерины над ме-

---

<sup>12</sup> Эти сочинения не пригодились императрице, равно как и „Наблюдения на „Наказ““ („Observations sur le Nakaz“, который императрица нашла в бумагах философа в 1785 г. Концепции, предложенные Дидро, страдали не только незнанием русских реалий, но также чрезмерной схематизацией теоретических построений (Didier 1995: 91).

муарами. Это событие могло напомнить императрице о романе и подсказать заимствование ряда сюжетных ситуаций и характеров персонажей из текста Риккобони.

Может быть, книга пришлось по вкусу сиятельной читательнице своим автобиографическим контекстом. Роман „Письма мисс Фанни Батлер“ был, как сразу поняли многие его первые читатели, произведением в значительной степени автобиографическим. Мадам Риккобони, будучи уже замужем, пережила бурный роман с богатым аристократом, графом Мейбуа, который оставил ее в 1745 году ради блестящей партии. Брак графа был продиктован, конечно, не столько материальными обстоятельствами, сколько подчинением принятым социальным конвенциям<sup>13</sup>. Мадам Риккобони предпочла выдать себя за переводчицу подлинных писем. Первоначально она опубликовала роман под псевдонимом, однако, тайну ее авторства вскоре после публикации раскрыла нескромная подруга. Следующие издания были подписаны инициалом одного из девичьих имен писательницы и звездочками<sup>14</sup> – достаточно распространенный в ту пору прием. Все это говорит о желании автора максимально размыть границу между реальным и фикциональным, сохранить у читателя ощущение подлинности публикуемых писем, насколько возможно завуалировав личность их создательницы. Как и автобиографические записки Екатерины, текст романа известен во множестве редакций, которые корректируют первоначальную версию.

Автобиографический характер романа подтверждается письмом Риккобони от 1772 года ее близкому другу, известному английскому актеру Дэвиду Гаррику: „Я положила в основу одного из моих произведений событие, которое изменило первоначальное расположение моей судьбы, и, не зная этого, публика была живо заинтересована моими несчастьями, которые она восприняла как вымысел“ (Madame Riccoboni 1976: 226–227. Перевод мой, –

---

<sup>13</sup> Этот факт отмечался еще в середине XIX века, когда была установлена личность возлюбленного писательницы, графа Мейбуа. Объявления о его свадьбе были опубликованы в „Mercure de France“ за февраль-март 1745 г. (Stewart 1979: X).

<sup>14</sup> М\*\*\* – от Mézières. Девичья фамилия г-жи Риккобони – de Laboras de Mézières. Она, однако, спорна по причине запутанных семейных отношений ее родителей (Stewart 1979: XXIX).

А. В.). Впрочем, „незнание“ публикой прототипической основы романа – это не более чем фигура речи. Еще в 1757 году Ф. М. Гримм отмечал в „Литературной корреспонденции“: „Это письма женщины к ее возлюбленному, которые никогда не существовали на английском языке. Они написаны очень правдиво, не для публики, но для дорогого любовника, и это видно по пылкости, беспорядку, безумию, естественности выражения и оригинальной композиции, которые им присущи“ (Grimm 1878, III: 365)<sup>15</sup>. Судя по тому, что Дидро обращался к романистке по имени ее героини, эти обстоятельства не были секретом и для него. Таким образом, оба собеседника Екатерины были осведомлены о том, что роман Риккобони построен на сложной игре фикциональности и правдоподобия. Все это заставляет думать, что эти факты были известны также императрице. Аналогичные повествовательные приемы использованы и в автобиографических записках Екатерины. Если во французском романе Просвещения было принято маскировать вымыслом действительные события и заменять звездочками имена прототипов романых героев, то Екатерина пользуется и роман-

<sup>15</sup> „Ce sont les lettres d'une femme à son amant, qui n'ont jamais existé en anglais. Elles ont été écrites très réellement, non pour le public, mais pour un amant chéri, et on le voit bien par la chaleur, le désordre, la folie, le naturel et le tour original qui y règnent“ (Grimm 1878, III: 365. Перевод мой – А. В.). Гримм лично знал писательницу. Встреча с ней через несколько лет после выхода в свет романа убедила его в том, что это настоящие письма, которые она писала возлюбленному, а потом слегка обработала, изменив обстоятельства так, чтобы нельзя было узнать прототипов, и издала (Grimm 2010: 95). Джоан Стюарт находит соответствия между романом и другим корпусом любовной переписки пожилой писательницы с ее молодым другом сердца, шотландцем Робертом Листоном (еще одна общая черта, которая объединяет французскую писательницу и российскую императрицу). Переписка относится к 1783 г., и в ней повторяются многие мотивы и стилистические приемы из романа, написанного более чем на два десятилетия раньше (Stewart 1995: XI). См. также издание переписки, осуществленное Николсом (Nicholls 1976).

Немного спустя, по поводу второго романа г-жи Риккобони „Мемуары г-на де Креси“, Гримм повторил данную им высокую оценку первого романа писательницы, указывая на его оригинальный характер и подчеркивая, что он написан очень реалистично (Grimm 1878, III: 459. Номер от 1.01.1758 г.). Такие же ласковые отзывы об очередных романах плодовитого автора появлялись в „Литературной корреспонденции“ вплоть до 1776 г., хотя и становились все лаконичнее и лаконичнее, по причине однообразной манеры письма г-жи Риккобони.

ной топикой, и реминисценциями из известных текстов не столько, чтобы скрыть правду о своей жизни, сколько для того, чтобы задать желательную для нее интерпретацию фактов. Именно „фикционализация“ реальной житейской истории сближает творческую манеру г-жи Риккобони с мемуарами российской императрицы.

Между произведениями обеих писательниц можно провести и содержательную параллель. Г-жа Риккобони – одна из основных фигур зарождающегося европейского феминизма XVIII века, которая выстрадала идею женского равноправия на собственном жизненном опыте, отразившемся в судьбах ее героинь. Высказанные устами Фанни мысли г-жи Риккобони свидетельствуют, что она смотрела на себя как на женщину, чьи поступки не вписываются в массовые представления о женском поведении и достоинстве: „Ne me jugez point sur le commun des femmes; jugez-moi sur mon caractère, sur mes principes, sur la suite de mes idées...“ (lettre XV)<sup>16</sup>. Смело можно заявить, что это основная идея также екатерининских мемуаров, так, думается, высочайший автор видела себя и хотела бы, чтобы так воспринимали ее личность. Кроме того, Екатерине могли оказаться созвучны и некоторые другие черты героини г-жи Риккобони: страсть к чтению, стремление к одиночеству, предоставляющему возможности для интеллектуальных занятий, привычка писать ради удовольствия от самого процесса письма – все эти склонности были присущи императрице на протяжении всей ее жизни.

\* \* \*

Сюжет „Писем мисс Фанни Батлер“ прост и бесхитроушен. Это тривиальная история соблазнения великосветским лордом девушки более низкого социального статуса. Фанни низкого происхож-

---

<sup>16</sup> „Не судите обо мне как о других женщинах; судите обо мне по моему характеру, по моим принципам, по следствиям моих мыслей...“ (Письмо 15) (Mme Riccoboni. Op. cit. P. 19–20. Перевод этой и других цитат из романа г-жи Риккобони мой. – А. В.). Интересно, что почти та же фраза встречается у горячего почитателя и ученика г-жи Риккобони Шодерло де Лакло. Его героиня маркиза де Мертей пишет Виконту де Вальмону: „Наконец-то вы успокоитесь, а главное – отдадите мне должное. Слушайте же и не смешивайте меня с другими женщинами“ (Шодерло де Лакло 1997: 172).

дения, „гражданка“. Фабула романа бедна событиями. Он состоит из 116 писем героини „одному-единственному читателю“, как сказано в предисловии от мнимого автора.

Перед тем как стать любовницей графа Альфреда Кейтомбриджа (он же лорд Эрфорд и пэр Англии, фамилия и титулы героя в разных изданиях меняются), Фанни переживает множество душевных волнений. Их счастье оказывается недолгим. Граф уезжает, и Фанни пишет ему любовные письма, которые дают представление о всей гамме ее чувств. Это – счастье любви, стремление делиться с возлюбленным всеми оттенками своих переживаний, надежда на скорую встречу, ожидание, которое становится все напряженнее, тревожнее и тягостнее, долгожданная встреча, не приносящая ожидаемой радости, потрясение вестью о помолвке лорда Эрфорда, разочарование, горе, презрение к его предательству.



Сергей Салтыков

Сравнивая роман Риккобони и автобиографию Екатерины II, необходимо иметь в виду различия в жанровых конвенциях эпистолярного романа и мемуаров. Письма, составляющие эпистолярный роман, должны передавать мгновенную экзальтацию пишущей героини, непосредственность переживаемых ею впечатлений, имитировать спонтанность реакций. Автобиографическое повествование основано на „воспоминании“, его основным компонентом является временная дистанция, которая предполагает, что страсти улеглись, события передаются „умудренным жизнью“ автором с налетом ностальгии, к которой примешиваются умиление и притупившаяся боль. Екатерина „переводит“ дискурс эпистолярного романа на дискурс мемуаров, гораздо более лаконичный и „беспристрастный“.

Эпистолярный роман почти бессобытиен, рассказ в нем носит экстенсивный характер, акцентируя внимание на непосредственности и импульсивности переживаний. Время фиксации впечатлений здесь почти совпадает с породившими их происшествиями или отражает момент, когда персонаж осмысливает происходящее и доверяет свои чувства бумаге. Эпистолярное повествование формируется из совокупности накопленных, следующих один за другим моментов. Важной приметой „Писем мисс Фанни Батлер“ служит отсутствие точной датировки и обозначение течения времени только днями недели. Более конкретные временные маркеры крайне лаконичны и теряются в массиве текста: „за последние шесть месяцев“, „еще двадцать дней“, „через десять дней“, „тридцать семь дней“ и т.п., но даже такие обозначения можно пересчитать по пальцам. Очень часто Фанни продолжает начатые письма после интервала в несколько часов, причем ее излюбленное время для письма – это ночь.

Мемуарный рассказ в основном лишен подобной спонтанности и эмоциональности. Когда она прокрадывается, это делается очень лаконично и экономно. Отсылки к известным романским и драматическим ситуациям позволяют здесь создать необходимое чувство объективности и дистанцированности повествования, обычно более динамичного и насыщенного событиями. Место пространных психологических этюдов занимают выразительные детали, воссоздающие характеры персонажей.

Рассказ Екатерины об истории ее любви к Салтыкову, в основном, соответствует фабуле романа г-жи Риккобони. Это ухаживания возлюбленного и первоначальное сопротивление героини, ее смущение и борьба с собой, мимолетное счастье разделенного чувства, постепенное охлаждение и удаление любовника, наконец, его неблагодарность. Героинь обоих произведений сближает и чувство горечи от сознания того, что их возлюбленные не любили вполне искренне, но лишь хотели потешить свое мужское самолюбие. Сходства в описываемых событиях в жизни обеих героинь, однако, не означают, что мемуаристка напрямую заимствовала сюжетные ходы из романа. Скорее можно говорить о реминисценциях, отсылках читателя к романному тексту, о скрытых сравнениях, но в то же время об отталкивании от него. Параллели между мемуарами Екатерины и романом г-жи Риккобони особенно многочисленны там, где речь идет о завязке и развязке обеих любовных историй. Помимо отсылок к роману г-жи Риккобони, в автобиографическом рассказе часто встречаются ситуации, заимствованные из драматургической практики, прежде всего комедийной, из новеллистики, ставшие частью общей романной топики. Таков, например, рассмотренный в предыдущей главе эпизод о преднамеренных и преувеличенных похвалах песен Чоглокова, которыми любовник стремится нейтрализовать „опекуна“.

Первую из таких параллелей можно обнаружить в эпизодах, рисующих настойчивое ухаживание со стороны воздыхателя и слабое сопротивление героини, начинающей осознавать свои чувства и свои желания. В романе г-жи Риккобони это письма II–VII. Сравним оба текста.

Г-жа Риккобони:

Je ne veux point que vous m'amiez, je ne veux point que vous soyez sérieux, je vous défends de me plaire, je vous défends de m'intéresser. Mon amitié devient si tendre qu'elle commence à m'inquiéter (lettre II, p. 6)<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> „Я не хочу, чтобы Вы меня любили, я не хочу, чтобы Вы были серьезны, запрещаю Вам мне нравиться, запрещаю Вам мною интересоваться. Моя привязанность так нежна, что начинает меня смущать“.



Mais quelle fantaisie vous porte à m'aimer, à vous efforcer de me plaire? Pourquoi me préférer à tant d'autres femmes, qui désirent peut-être de vous inspirer le sentiment que vous croyez ressentir pour moi? Vous dérangez tous mes projets, vous détruisez le plan du reste de ma vie: une foule d'idées m'embrasse et m'afflige; mon coeur adopte toutes celles qui vous sont favorables. Ma raison rejette tous mes voeux, combat tous mes désirs, s'élève contre tous mes sentiments... [...] Je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vous entendre... Est-il bien vrai que je ne le veux plus? ... Je ne sais... Mon dieu, Mylord, pourquoi m'aimez-vous? (lettre IV, p. 7–8)<sup>18</sup>.

Ah, laissez-moi, laissez-moi; votre langage est si flatteur, vous parlez si bien!.. (lettre V, p. 9)<sup>19</sup>.

Je vous ai dit que je vous aime, parce que je suis étourdie; je vous le répète, parce que je suis sincère; je vous dirai plus, votre joie m'a pénétrée d'un plaisir si vif, que je me suis presque repentie de vous avoir fait attendre cet aveu: cependant il ne m'engage à rien. Vous savez nos conditions, et je me flatte que vous ne pensez pas qu'elles soient un détour adroit pour augmenter vos désirs. <...> Je vous aime, mais je crains les suites d'une passion dont je sens que je frois ma seule affaire. N'abusez pas de ma confiance; songez y, c'est à mon meilleur ami que j'ai avoué mon penchant. Je n'exige pas qu'il m'aide à trouver des raisons pour le combattre; mais je veux que regardant cette confiance comme une marque de mon estime, il oublie mon secret dans les moments où je ne voudrai pas qu'il s'en souvienne (lettre IX, p. 9–10)<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> „Но какая фантазия заставляет Вас любить меня, нравиться мне? К чему предпочитать меня стольким женщинам, которые, быть может, горят желанием вдохнуть в Вас чувство, которое, как Вы думаете, Вы испытываете ко мне. Вы расстраиваете все мои намерения, разрушаете план всей моей оставшейся жизни; множество мыслей охватывает меня и наводит на меня тоску; [но] мое сердце принимает все те, которые говорят в Вашу пользу. Мой разум отвергает все мои порывы и борется со всеми моими желаниями, восстает против всех моих чувств. [...] Я не хочу больше Вас видеть, не хочу больше Вас слышать [...] Но вправду ли я не хочу этого? [...] Не знаю [...] Бог мой, Милорд, зачем Вы меня любите?“

<sup>19</sup> „Ах, оставьте меня, оставьте меня, Ваши речи льстят мне, Вы говорите так хорошо!..“

<sup>20</sup> „Я сказала Вам, что люблю Вас, потому что я легкомысленна, я повторяю это, потому что я искренна; скажу Вам больше, Ваша радость наполняет все мое существо таким живым удовольствием, что я почти раскаялась, что заставила Вас ждать этого признания; но между тем это признание ничем меня не обязывает. Вы знаете, каково наше положение, и я лгу себя надеждой, что Вы не будете думать,

Екатерина:

Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила; когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его: на что он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную картину счастья, на какое он рассчитывал; я ему сказала: „А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, – что она об этом скажет?“ Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли; я простодушно думала, что мне это удастся; мне было его жаль. К несчастью, я продолжила его слушать... [...] Я не поддавалась всю весну и часть лета; я видела его почти каждый день; я не меняла вовсе своего обращения с ним, была такая же, как всегда и со всеми [...]. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: „Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?“ Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот, я заметила, что преследования его стали еще жарче [...] (РТ–СРЗ: 328–329)<sup>21</sup>.

Сергей Салтыков улучил минуту... и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть

---

что это искусный способ распалить Ваши желания. [...] Я люблю Вас, но боюсь последствий страсти, которая, я это чувствую, будет в моей жизни единственной. Не злоупотребляйте моим доверием, подумайте только, я поверю свою склонность своему ближайшему другу. Я не требую, чтобы он помог мне найти доводы, чтобы с нею бороться, но хочу, чтобы, видя в этой откровенности знак моего уважения, он забыл о моей тайне тогда, когда я уже не захочу, чтобы он о ней помнил“.

<sup>21</sup> В оригинале (авторская орфография сохраняется): „Pendant un de ces concerts Serge Soltikof me fit entendre, quelle étoit la cause de ses assiduités. Je ne lui répondis pas d'abord; je lui demandois, lorsqu'il revint à me parler sur la même matière, ce qu'il s'en promettoit? Alors il se mit à faire un tableau aussi riant que passionné du bonheur qu'il s'en promettoit; je lui dis: „et votre femme, que vous avez épousé par passion il y a deux ans et dont vous passez pour être amoureux et elle de vous aussi à la folie, qu'est ce qu'elle dira de cela?“ Alors il se mit à me dire, que tout n'étoit pas or ce qui luisoit, et qu'il payoit cher un moment d'aveuglement. Je fis tout au monde pour lui faire changer d'idée; je croyois bonnement y réussir; il me faisoit pitié. Par malheur je l'écoutois... (Екатерина II 1907, XII: 313).

глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. [...] Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. [...] Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: „Да, да, но только убирайтесь“, а он: „Я это запомню“, и пришпорил лошадь; я крикнула ему вслед: „Нет, нет“, а он повторил „Да, да“. [...] Он считал себя уже счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно (РТ–СРЗ: 329–330)<sup>22</sup>.

Соответствия между этими фрагментами бросаются в глаза. Сходное освещение получают у обеих писательниц смущение их героинь притязанием кавалеров, их нежелание подчиниться зарождающемуся интересу к ухажерам. Обе героини стремятся выстроить своеобразную „защиту“ („запреты“ Фанни графу любить ее, „неподатливость“ и желание великой княгини „отделаться“ от Салтиков). И та, и другая пытаются направить внимание ухаже-

---

<sup>22</sup> „Serge Soltikof guettait le moment... et s'approcha de moi pour me parler de sa matière favorite; je l'écoutois patiemment qu'à l'ordinaire. Il me fit un tableau du plan, qu'il avoit arrangé pour envelopper d'un profond mystère, disoit-il, le bonheur dont quelquin pour-roit joir en pareil cas. Je ne disoit mot. Il profita de mon silence, pour me persuader qu'il me aimoit passionnément, et il me pria de lui permettre de croire qu'il pouvoit espérer, qu'il ne m'étoit indifférent du moins. Je lui dis qu'il pouvoit jouer d'imagination sans que je pourrois l'en empêcher. [...] Je riois de ce qu'il disoit, mais au fond je convins, qu'il me plaisoit assez. [...] Il me dit, qu'il ne s'en iroit pas, si je ne lui disois, qu'il étoit souffert; je lui répondis: „oui, oui, mais allez-vous en“. Il dit: „Je me le tiens pour dit“, et donna des deux à son cheval, et moi je lui criois: „non, non“, et lui répéta: „oui, oui“. [...] Il se croyoit déjà fort heureux, mais moi je ne l'étois guères, mille appréhensions me troubloient la tête et j'étois très moussade selon moi ce jour-là et très malcontente de moi-même; j'avois cru pouvoir gouverner et morigéner sa tête à lui et la mienne, et je compris, que l'un et l'autre étoit difficile si non impossible“ (Екатерина II 1907, XII: 314–315).

ров на других женщин (у г-жи Риккобони) или на собственную жену, с которой Салтыков уже два года живет в браке, заключенном по любви (у Екатерины). Второй сходный момент – это тревоги героинь о будущем и о последствиях зарождающейся страсти („*Vous dérangez tous mes projets, vous détruisez le plan du reste de ma vie*“; „*Je vous aime, mais je crains les suites d’une passion*“<sup>23</sup> (г-жа Риккобони); „тысяча опасений смущали мой ум“ (Екатерина). Обе они вынуждены осознать невозможность направлять свои чувства и выстроить с поклонником отношения, которые поначалу кажутся разумными („*Ma raison rejette tous mes vœux, combat tous mes desirs, s’élève contre tous mes sentiments...*“<sup>24</sup> (г-жа Риккобони); „я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно“ (Екатерина). И в том, и в другом случае, эмоциональная женская природа берет верх над усилиями рационально управлять чувствами в соответствии с реальностью.

Отношения внутри обеих пар и дальше развиваются сходным образом. В соответствии с принятым стереотипом, сопротивление девушки только усиливает настойчивость ухажера. Фанни осознает, что ее неуступчивость может быть истолкована как традиционное женское „оружие“, цель которого – распалить страсть мужчины, а не оттолкнуть его. Екатерина, прибегнув к ссылке на мнимого возлюбленного, испытывает на себе безотказное действие древнего закона „науки страсти нежной“, по которому воображаемый соперник лишь подогревает амбиции влюбленного мужчины.

Тревоги обеих героинь, их смущение от сознания зарождающейся любви, их сопротивление оказываются сломлены ласковыми речами возлюбленных. „*Votre langage est si flatteur, vous parlez si bien!*“<sup>25</sup>, – говорит графу Фанни. Екатерину соблазняет „пленитель-

---

<sup>23</sup> „Вы вносите путаницу во все мои намерения; вы разрушаете план всей оставшейся моей жизни“; „Я вас люблю, но боюсь последствий этой страсти.“

<sup>24</sup> „Мой разум отбрасывает все мои желания, борется со всеми моими мечтами, возмущается против моих чувств.“

<sup>25</sup> „Ваши речи так ласковы, вы так хорошо говорите!“

ная“ и „полная“ „картина счастья“, которую рисует Салтыков. И в обоих текстах мужские персонажи особенно настойчивы (упорное ухаживание со стороны Альфреда, которое Фанни передает своим волнением („Но какая фантазия заставляет Вас любить меня, нравится мне?“), корреспондирующее с изобретательностью ищущего взаимности Салтыкова). Увлечение постепенно заставляет героиню постепенно отказаться от сопротивления и поддаться охватившим их чувствам. Таким образом, начало любви великой княгини к Салтыкову оказывается описано по тем же схемам, по которым г-жа Риккобони воспроизводила все этапы и нюансы возникновения любви.

Другая легко заметная аналогия между двумя книгами – описание качеств возлюбленных.

Г-жа Риккобони:

Tantôt regardant mylord comme un simple ami, j'aime en lui son esprit, sa douceur, l'aménité de son caractère, ses moeurs, sa voix, sa gaité, ses talents. En songeant qu'il veut être mon amant, je me représente l'agrément de sa figure, la noblesse de son air, l'élégance de sa taille, et cette grace répandue sur tous ses mouvements. En m'avouant le tendre penchant qui m'attire vers lui, je me rappelle les qualités de son âme, la bonté de son coeur, la générosité, la candeur, l'élévation de tous ses sentiments; et puis rapprochant ce que j'ai séparé, je vois l'aimable portrait se former sous mes yeux; il m'offre un tout... Ah ce tout, est tout pour moi! (X lettre, p. 14)<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> „До недавнего времени, смотря на милорда просто как на друга, я любила его ум, его мягкость, его любезный нрав, его привычки, голос, его веселость, его дарования. Мечтая, чтобы он был моим любовником, я представляла себе его привлекательное лицо, его благородный облик, его элегантный стан и грацию, которой проникнуты все его движения. Признаваясь себе в нежной склонности, которую я к нему испытываю, я вспоминаю [прекрасные] качества его души, его сердечную доброту, его благородство, его искренность, возвышенность его чувств, и соединяя все это, что я было разделила, я вижу, как любезный портрет возникает перед моими глазами, он представляет мне единое целое... Это целое – все для меня!“ (Игра слов: „tout“ по-французски означает и „все“ и „целое“.)

Также:

Mais ne vas pas croire là-dessus que tu es beau comme le soleil; c'est mon amour qui t'embeillit, il te donne les graces avec lesquelles tu me séduis; tu les dois à ma tendresse (LXXXI lettre, p. 128)<sup>27</sup>.

Екатерина:

... Он был прекрасен как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах (РТ: 328–329)<sup>28</sup>.

Как видно из приведенных цитат, можно установить ряд сходств между мужскими персонажами, представленных влюбленными глазами героинь: оба красивы, как солнце/респективно день, в данном случае эти сравнения синонимические.

Героиня г-жи Риккобони идеализирует образ своего возлюбленного, хотя и отдает себе отчет, что причина этой идеализации в ее чувствах. Но Фанни находится внутри ситуации и переживает свою любовь непосредственно и спонтанно. Временная дистанция позволяет Екатерине увидеть недостатки своего первого возлюбленного, но она понимает, что миновавшие десятилетия изменили ее точку зрения.

---

<sup>27</sup> „Не думай, что ты красив как солнце; это моя любовь тебя красит и придает тебе прелести, которыми ты меня соблазняешь, ты обязан этим моей нежности“.

<sup>28</sup> „... il étoit beau comme le jour, et assurément personne ne l'égaloit ni à la grande cour, ni encore moins à la nôtre. Il ne manquoit ni d'esprit, ni de cette tournure de connoissances de manières, de manèges, que donne le grand monde, mais surtout la cour. Il avoit 26 ans; à tout prendre, c' étoit et par sa naissance et par plusieurs autres qualités un cavalier distingué; ses défauts il les savoit cacher: les plus grands de tout étoient l'esprit d'intrigue et la manque des principes; ceux-ci n'étoient pas développés alors à mes yeux“ (Екатерина II 1907, XII: 314).

Социальные характеристики обоих мужских персонажей совпадают. Герой г-жи Риккобони, граф Кейтомбридж, – знатнейшего происхождения, пэр Англии. Салтыков – представитель одной из самых знатных русских аристократических фамилий, находящихся в родстве с царской семьей (РТ–СРЗ: 308). Однако социальные характеристики повествовательниц противоположны. Фанни определяет себя как „simple citoyenne“ – обыкновенную гражданку. Не вполне ясно, дворянка ли она, из низших слоев или мещанка. Она гостит в провинциальных имениях своих знакомых, которые называют друг друга „сэр“, в романе упоминаются графы, наносящие визиты ее друзьям, с которыми общается и сам лорд Альфред. В любом случае Фанни не ровня своему избраннику и сама предчувствует недолговечность их связи. В то же время она категорически отвергает возможность продолжить роман и остаться любовницей графа после его женитьбы на гораздо более знатной женщине.

Связь Екатерины с Салтыковым также обречена из-за неравенства противоположного характера. Положение влюбленных начисто исключает традиционную благополучную развязку. К моменту начала любовного романа мемуаристка замужем уже девять лет, хотя ее брак все еще не скреплен плотской связью супругов. Салтыков, несмотря на традиционные „мужские“ жалобы и объяснения, счастливо женат уже два года.

Обе героини осознают бесперспективность своих любовных связей. Несмотря на это, и героиня г-жи Риккобони, и великая княгиня остаются во власти своих чувств. Это определяет силу последовавших разочарований. В автобиографии императрицы производит впечатление противоречие, в которое впадает мемуаристка: с одной стороны, ее связь „разрешена“ (см. ниже разговор с Чоглоковой), с другой стороны, автор использует хорошо знакомые сюжетные ходы в романах, когда инсценируется мнимое расставание с целью прикрыть любовные чувства, но которое со временем становится настоящим.

Внешней причиной длительной разлуки обеих пар становится болезнь. В романе г-жи Риккобони болен сам лорд, за которым нежно ухаживает его сестра. В автобиографических записках Екатерины

влюбленных разлучают сначала мнимая болезнь родителей Салтыкова и его друга Льва Нарышкина – предлог для удаления молодого человека от двора на известное время, чтобы успокоить возникшие подозрения, – а позже настоящая болезнь и смерть матери Салтыкова, ставшая причиной его длительного отсутствия (РТ–СРЗ: 333).

Многочисленные жалобы Фанни на разлуку с возлюбленным, его недостаточное внимание к ней, ее нарастающая убежденность в охлаждении его любовной страсти корреспондируют с коротким, но горьким заявлением Екатерины: „Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мною ухаживать, что он становится невнимательным, подчас фатоватым, надменным и рассеянным; меня это сердило; я говорила ему об этом, он приводил плохие доводы...“ (РТ–СРЗ: 335)<sup>29</sup>. Как и в письмах Фанни, непостоянство возлюбленного проявляется в невыполнении обещаний, опозданиях, что раздражает ожидающую его женщину: „Несмотря на все обещания, данные нам Сергеем Салтыковым, улизнуть с этого обеда, он вернулся только с Чоглоковым. От всего этого я была зла, как собака“<sup>30</sup> (РТ–СРЗ: 349).

Сходство между двумя текстами прослеживается и в описаниях страданий обеих героинь: их мигреней, ипохондрии, слез и нервических припадков.

Екатерина:

Скука, нездоровье, телесное и душевное беспокойство [и неудобство] моего положения нагнали на меня на весь день большую ипохондрию (РТ–СРЗ: 349)<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> „Il me parut que Serge Soltikof commençait à diminuer ses assiduités, qu’il devenoit distrait, quelques fois fat, arrogant et dissipé; j’en étois fâchée, je lui en parlois, il me donna des mauvaises raisons...“ (Екатерина II 1907, XII: 319).

<sup>30</sup> „Malgré toutes ses promesses, que S. Soltikof nous avoit fait de s’esquiver de ce dîner, mais il ne revint qu’avec Tschoglokof. Tout cela me donnoit une humeur de chien“ (Екатерина II 1907, XII: 332).

<sup>31</sup> „L’ennui, l’indisposition et l’incommodité physique et morale de ma situation m’avoient donné beaucoup d’hypochondrie pendant toute la journée“ (Екатерина II 1907, XII: 332).



Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня навертывались слезы на глаза и тысяча опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова<sup>32</sup> (РТ–СРЗ: 358).

Г-жа Риккобони:

Comment cacher mon trouble, ma douleur, des pleurs qui m'échappent? [...] J'ai eu la fièvre toute la nuit, une migraine horrible (XVIII Lettre, p. 24)<sup>33</sup>.

Depuis six mois je me trouve si heureuse que mon bonheur m'inquette; je consens qu'il soit troublé: mais si quelque événement doit le détruire, je prie le ciel que se soit ma mort...Ah, la maudite tête (XXIV Lettre, p. 32)<sup>34</sup>.

J'ai des vapeurs... de l'humeur, je crois... (Lettre XXVI, p. 35)<sup>35</sup>.

Другая параллель между обоими текстами – депрессия, в которую обе героини впадают накануне развязок любовных историй. В романе г-жи Риккобони решительное объяснение между Фанни и Альфредом уже состоялось:

Je ne me suis pressée, ni de vous répondre, ni de vous donner l'heure où je puis vous voir. Ce reste d'égards où vous vous soumettez est peut-être un poids pour votre coeur; et le mien est bien loin d'exiger des soins qui ne le touchent plus; insensible à tout, je ne mérite point d'attention. Triste objet de la nature, où l'on n'aperçoit plus que les traces de la douleur; je suis dans le même

---

<sup>32</sup> „Le Grand Duc y rétablit d'abord ses concerts. Ceci me donnoit quelque facilité pour faire la conversation, mais mon hypochondrie étoit devenue telle, car à tout moment et à tout propos j'avois toujours la larme à l'œil et mille appréhensions me passaient par la tête; en un mot je ne pouvois à m'ôter de l'esprit que tout tendoit à l'éloignement de Serge Soltikof“ (Екатерина II 1907, XII: 341).

<sup>33</sup> „Как скрыть мое волнение, мою боль, слезы, которые струятся из глаз? [...] Я была в лихорадке всю ночь, страдала ужасной мигренью“.

<sup>34</sup> „Уже шесть месяцев я так счастлива, что мое счастье меня тревожит; я могу допустить, что его что-нибудь расстроит: но если какое-то событие должно его разрушить, я молю небо, чтобы это была моя смерть... Ох, проклятая голова“.

<sup>35</sup> „У меня припадки... дурного настроения, думаю...“

état où vous m'avez vue. Tout l'art de la médecine ne peut rien sur un esprit profondément blessé, sur une âme détachée de tout intérêt, sur une machine affaiblie dont les ressorts dérangés n'ont qu'un mouvement lent et douloureux (CIV Lettre, p. 165)<sup>36</sup>.

В мемуарном рассказе любовная тоска усиливается послеродовой депрессией повествовательницы, усугубленной насильственным удалением от нее самых близких ей людей:

Что касается меня, то я все еще была в постели, больная и страдающая от сильной скуки; наконец выбрали семнадцатый день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первая, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию. Вторая, что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе; это значило попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше чем когда-либо в свою постель, где я только и делала, что горевала; чтобы не вставать с постели, отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать; но на самом деле, я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе (РТ–СРЗ: 364).

Впрочем, причины расставания Екатерины и Салтыкова – не только в их собственных чувствах. Не менее важны внешние обстоятельства – подозрения шпионов императрицы и супруга, условности придворной жизни („Я умирала от страха как бы Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина не оставили в Москве; но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту“ (РТ–СРЗ: 357); „Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел подойти ко мне ни близко, ни даже издали, из-за постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены“ (РТ–СРЗ: 358). В конечном счете,

---

<sup>36</sup> „Я не спешу ни отвечать вам, ни назначать час нашего свидания. Те последние знаки внимания, которые Вас связывают, быть может, тяготят Ваше сердце; мое же далеко не расположено требовать забот, которые его уже не трогают; бесчувственная ко всему, я больше не заслуживаю внимания. Грустный предмет природы, в котором заметны только следы страдания, я в том же состоянии, в каком Вы меня видели. Все искусство медицины не может ничего сделать для глубоко уязвленного ума, для души, лишенной всякого интереса, для ослабленной машины, расстроенные части которой могут только медленно и болезненно двигаться“.

Салтыкова отправляют из Петербурга послом сначала в Швецию<sup>37</sup>, а впоследствии в Гамбург (с. 364, 365, 367).

Близки друг к другу и рассказ Фанни о том, как она не могла заснуть до трех часов ночи после получения письма Альфреда с обещанием о скорой встрече (*lettre LXXXIX*, р. 146), и горестное описание Екатериной своих переживаний от несостоявшегося последнего свидания, обещанного ей Салтыковым:

Когда Сергей Салтыков вернулся, он послал мне сказать через Льва Нарышкина, чтобы я указала ему, если могу, средства меня видеть [...] я ждала его до трех часов утра<sup>38</sup>, но он совсем не пришел; я смертельно волновалась по поводу того, что могло помешать ему прийти. Я узнала на следующий день, что его увлек граф Роман Воронцов в ложу франкмасонов. Он уверял, что не мог выбраться оттуда, не возбудив подозрений. Но я так расспрашивала и выведывала у Льва Нарышкина, что мне стало ясно, как день, что он не явился по недостатку рвения и внимания ко мне без всякого уважения к тому, что я так долго страдала исключительно из-за моей привязанности к нему<sup>39</sup> (РТ–СРЗ: 368).

Отсутствие уважения к ее личности со стороны Альфреда – основная причина разочарования Фанни. Она отвергает возможность продолжения „нежной дружбы“ после женитьбы возлюбленного. Важнее всего для героини г-жи Риккобони – верность собственным принципам, отстаивание своего личного достоинства. Это смысловой стержень романа, который делает фигуру его героини столь заметной в европейской романистике XVIII века. Поэтому нельзя

---

<sup>37</sup> По иронии с сообщением о рождении престолонаследника Павла.

<sup>38</sup> М. Крючкова распознает в этом эпизоде содержание любовного письма под № 18 Екатерины графу З. Чернышеву (Крючкова 2009: 192). См. об этом ниже.

<sup>39</sup> „Quand Serge Soltikof fut revenu, il envoya me dire par Léon Nariskin de lui indiquer, si je pouvois, un moyen de me voir [...] je l’attendis jusqu’à trois heures du matin, mais il ne vint point; j’étois dans des transes mortelles de ce qui l’avoit pu l’empêcher de manquer de venir. J’appriis le lendemain, qu’il avoit été entraîné par le comte Roman Woronzof dans une loge de Franc-maçons. Il prétendoit, qu’il n’avoit pas pu s’en retirer sans donner du soupçon. Mais je questionnois et retournois Léon Nariskin, que je vis clair comme le jour, qu’il avoit manqué faute d’empressement et d’attention pour moi sans aucun égard à ce que je souffrois depuis si longtems, uniquement par l’attachement pour lui“ (Екатерина II 1907, XII: 349–350).

принимать на веру заявленное в „предисловии“ от „издательницы“ желание героини „увековечить, по мере возможного, страсть, которая была сутью ее счастья“, „воспоминание о котором будет всегда ей дорогим“, ни обвинения Фанни к бывшему возлюбленному в суете, неблагодарности и страданиях, которые он ей причинил<sup>40</sup>.

Идеология романа выходит далеко за рамки заурядной сентиментальной бытовой истории, которая в нем рассказывается. Французская исследовательница Андре Демай полагает, что „Письма мисс Фанни Батлер“ стали настоящей революцией в пропаганде женского равноправия: „Голос романистки провозглашает равенство полов, так же как в скором времени будут провозглашать равенство общественных классов и даже рас. Двумя словами, это – революция, которую прокламирует г-жа Риккобони, несмотря на банты и напудренные парики, которые все еще носят ее персонажи; она воспринимает женщин как класс, и она отстаивает их права. До тех пор им выказывали лишь благосклонность“ (Démay 1977: 54).

Верность героини своим принципам, как верность собственно-му „я“, заявлена еще в начале романа:

J'ai prié le ciel de me punir, si jamais j'étois assez foible pour préférer le bonheur d'un amant à mes principes, à ma tranquillité (XXVII Lettre, p. 37)<sup>41</sup>.

С развитием любовной истории героиня г-жи Риккобони оказывается смущена конфликтными отношениями, которые образуются между декларируемыми ею принципами и чувствительностью:

---

<sup>40</sup> „Le desir de faire admirer son esprit ne l'engage point à publier ces lettres; mais celui d'immortaliser, s'il est possible, une passion qui fit son bonheur, [...] dont le souvenir lui fera toujours cher“; „Elle n'accuse que vous des maux qu'elle a soufferts“ (Madame Riccoboni 1979: 3–4). Вот как колоритно звучит этот отрывок в русском переводе 1765 г.: „Не желание явить свой разум побуждает выдавать ее сии письма; но желание сохранить естли возможно память страсти, которая составляла блаженство ее, которой начальные приятности еще в уме воображаются и которой напоминовение ей всегда будет драгоценно. [...] Любовь в ней была источником всех благ; ты немилосердый! Превратил ее в яд!“ (цит. по ИРПЛ 1995, I: 179).

<sup>41</sup> „Я просила небо наказать меня, если я когда-нибудь стану такой слабой, что предпочту счастье любовника моим принципам, моему спокойствию“.

L'espèce de philosophie que j'ai adoptée, n'a rien de stoïque: elle me guide dans ma conduite; mais elle n'a jamais pu vaincre l'extrême sensibilité de mon coeur; elle l'emporte souvent sur mes principes (LXXXIII Lettre, p. 131)<sup>42</sup>.

Принципы и последовательное отстаивание личного достоинства в конечном счете – это то, что, по словам самой Фанни Батлер, формирует „силу и величие души“ героини („cette force et grandeur d'âme“, lettre LXXXII, p. 129) и делает ее яркой индивидуальностью, не покоровившейся превратностям судьбы. Именно верность принципам заставляет скромную Фанни обратиться к публике и предать гласности свою любовную историю. Транслируя эту историю, г-жа Риккобони защищает индивидуальность и личное достоинство женщин, отказывающихся от предначертанной им социальной роли:

La rigidité des principes auxquels je tiens le plus, n'est peut-être estimable que dans ma sphère; elle est peut-être partage de ceux qui, négligés de sa fortune, peu connus par leur dehors, ont continuellement besoin de descendre en eux-mêmes pour ne pas rougir de leur position (CXIV Lettre, p. 177–178)<sup>43</sup>.

В этой цитате обращает на себя внимание отмеченная Фанни связь между исповедуемыми ею принципами и ее социальным статусом, в значительной степени созвучная распространенной в ту пору критике пороков аристократии. Такая критика характерна также для публицистики и драматургии Екатерины II и занимает немалое место в ее автобиографии.

Верность своим принципам и собственному „я“ – один из ведущих мотивов в автобиографии Екатерины II. Печальный конец ее романа с Салтыковым, нанесенная ей возлюбленным обида, оказываются пробным камнем для ее принципов и личной самооценки. После испытания любовью она начинает свою рискованную

---

<sup>42</sup> „В том роде философии, который я восприняла, нет ничего стоического: он руководствует мной в моем поведении; но ему никогда не удастся победить крайнюю чувствительность моего сердца; часто она берет верх над моими принципами“.

<sup>43</sup> „Твердость принципов, которыми я более всего дорожу, может быть предметом уважения только среди мне подобных; она – удел тех, кого обошли богатство и известность, кто вынужден постоянно замыкаться в себе, чтобы не испытывать стыда от своего положения в обществе“.

политическую игру с целью осуществить честолюбивую мечту, владевшую ею с юности.

Ждущая, страдающая женщина, соблюдавшая традиционные условности в отношениях между полами, выходит за пределы отведенной ей роли и превращается в активную личность. Как свидетельствует рассказ о втором романе великой княгини со Станиславом Понятовским, Екатерина была готова проявлять решительность и самостоятельность как в любовных отношениях, так и в политических предприятиях, рассказ о которых преобладает в заключительной части позднейшей редакции текста.

\* \* \*

Выявленные параллели свидетельствуют, не только о знакомстве Екатерины с романом г-жи Риккобони, но и о сознательном конструировании автобиографического повествования, посвященного одному из ключевых эпизодов в жизни мемуаристки, по модели, заимствованной у французской писательницы. Теперь зададимся вопросом: зачем понадобилось российской императрице рассказывать один из наиболее интимных моментов своей жизни под маской Фанни Батлер?

По всей видимости, воспоминание о первой любви не оставляло императрицу до конца дней. У нее были основания считать себя жертвой политической интриги и подозревать, что страсть Салтыкова не была до конца искренней, а была хорошо разыгранным по воле императрицы Елизаветы спектаклем. Но сама императрица лукавит, и, как это в ее правилах, не склонна раскрыть всю правду. Детальное сравнение текста екатерининских мемуаров с документами описываемого времени позволило Марии Крюковой усомниться вообще в достоверности эпизода с Салтыковым и выдвинуть на роль „первого любовника“ будущей императрицы графа Захара Григорьевича Чернышева, позднее фельдмаршала и крупного сановника екатерининского царствования. Ранее эту идею высказал К. Валишевский, сославшись на опубликованную П. И. Бартеневым в 1881 г. без указания личности отправителя, любовную переписку к графу Чернышеву от лица высокопоставленной

дамы (Бартенев 1881). Биограф, однако, не развил свою догадку (Валишевский 1989: 72). М. Крючкова также основывает свое предположение на упомянутом источнике. Исследовательница относит начало любовной истории к 1752 году<sup>44</sup> (Крючкова 2009: 160). Мария Крючкова с основанием говорит об инерции в прочтении эпизода: „Главный источник, конечно, мемуары Екатерины, вернее, определенная тенденция и традиция их прочтения. Эта традиция сложилась, когда публике был известен всего один вариант, к его серьезному изучению еще и не приступали, и даже простое упоминание его в подцензурных изданиях могло кончиться для автора неприятностями. [...] Из всего этого сложилась причудливая смесь отдельных достоверных фактов, фактов, требующих проверки, но еще не проверенных, устных преданий, повествовательных клише и политических тенденций“ (Крючкова 2009: 143). Исследовательница отмечает роль слухов, генерированных свыше, от самого престола, о любовных делах и Петра Федоровича, и великой княгини для обеспечения „алиби“ рождения престолонаследника, а „слухам, сообщениям по секрету, верят больше всяких официальных заявлений, – на это и была сделана ставка“ (там же, с. 173). „... Проницательные читатели мемуаров Екатерины, отделенные от событий двухсотпятидесятилетним временным прериодом, точно знают, что летом 1752 г. Салтыков уже стал ее любовником [...]. Приведенный выше сюжет, который почему-то принято считать доказательством адюльтера великой княгини, на самом деле, если повнимательнее к нему присмотреться, скорее дезавуирует все предыдущие ее намеки на интимную связь с Салтыковым“ (Крючкова 2009: 176).

Мемуаристка пишет о том, как ее связь получила запоздалую официальную санкцию. Екатерина вспоминает бестактное пред-

<sup>44</sup> Детальные доказательства, среди которых Крючкова приводит, архивные данные, сличение событий в мемуарном рассказе с реальными фактами, почерпнутыми из документов см. в: Крючкова 2009: 139–206 (главы „У истоков династического скандала“ и „Тот и другой“). Исследовательница полагает, что Чернышев был отцом тайной побочной дочери великой княгини, родившейся в конце 1755 г., воспитывавшейся в семье верного слуги Василия Шкурина и носившей имя Марии, впоследствии фрейлины, а в конце жизни принявшей постриг под именем инокини Павлы (Крючкова 2009: 195–196).

ложение статс-дамы Чоглоковой, ревностно взявшей за задачу „просветить“ великокняжескую чету по вопросам семейной жизни и обеспечить престол наследником, и поставившей великую княгиню перед выбором из двух кавалеров – Сергея Салтыкова или Льва Нарышкина. Согласно „Запискам“, эта санкция „свыше“ приходит уже после начала романа:

Между тем Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: „Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно“. Я, понятно, вся обратилась вслух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения и отягощения уз супруга или супруги, и затем свернула на заявление, что бывают положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно. Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала: „Вот увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь сделали предпочтения: представляю вам выбрать между С(ергеем) С(алтыковым) и Л(ьвом) Н(арышкиным). Если не ошибаюсь, то (избранник ваш) последний“. На это я воскликнула: „Нет, нет, отнюдь нет“. Тогда она мне сказала: „Ну, если это не он, так другой наверно“. На это я не возразила ни слова, и она продолжала: „Вы увидите, что помехой вам буду не я“. Я притворилась настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи<sup>45</sup> (РТ–СРЗ: 337–338).

<sup>45</sup> Этот эпизод, а также другой, предыдущий, в котором императрица Елизавета заявляет, что мужской костюм мешает великой княгине иметь детей, а г-жа Чоглокова отвечает, что для того, чтобы у женщины были дети, нужна причина, а у великой княгини, несмотря на девятилетнее замужество, такой причины нет (РТ–СРЗ: 332), пропущены по цензурным соображениям в академическом издании 1907, но присутствуют в тексте, изданном Герценом, и воспроизведены в русском переводе 1907 г. Хугенбум и Крузе также восстановили эти купюры, следуя оригинальной рукописи..

Содержание эпизода было „испробовано“ и „отработано“ задолго до того, как он вошел в мемуарный текст, в так называемой „Чистосердечной исповеди“ Екатерины перед Потемкиным (РТ: 713–715), написанной около 1774 г.



О „высоких государственных соображениях“, негласно разрешивших любовную связь, ходили толки многие десятилетия. Слухи о том, что великая княгиня действительно оказалась жертвой не беспечности и самовлюбленности Салтыкова, а интриги императрицы Елизаветы Петровны и великого канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, распространялись и в XIX веке. (см. Приложение). Толки эти сопрягались с другими слухами „государственного значения“: о проекте Елизаветы и Бестужева передать престол великой княгине, обойдя великого князя Петра Федоровича. Сама Екатерина упоминает о проекте Бестужева провозгласить ее соправительницей мужа не только в рассматриваемом тексте (РТ–СРЗ: 433), но и в не вошедшем в текст автобиографии мемуарном отрывке, предположительно относящемся к 1760-м годам (РТ: 501). Пример такого литературно-исторического анекдота зафиксирован в мемуарах А. М. Тургенева<sup>46</sup>:

Императрица Елизавета видела, или, лучше сказать, канцлер Бестужев видел, ибо Елизавета, слабого ума, преданная пьянству и сладострастию, не могла, не умела видеть совершенную неспособность в назначенном наследнике престола к управлению не только обширнейшей империи Российской, но и к благоустроенному домоводству частного человека. Петр III никаким делом не хотел и не мог заниматься, кроме учения солдат экзерсиции, беспрестанного перекраивания мундиров, не переставая курил табак и непременно был пьян и не по одному разу.

Бестужев, владея слабым умом Елизаветы, преклонил убеждениями своими на согласие объявить наследницею престола великую княгиню Екатерину, супругу наследника, в которой все без изъятия видели великие дарования, а его провозгласить генералиссимусом по соврожденной и единственной его наклонности к делу и чину воинскому. [...]

Бестужев, преподавая лекции Екатерине, и без того уже ею много уважаемый, – она знала, что ему обязана удостоением разделять некогда трон императорский, – еще более приобрел ее доверенность, и наконец был ее министром, поверенным всех тайных ее помыслов. От нее непо-

---

<sup>46</sup> А. М. Тургенев внес весомый вклад в обогащение биографических мифов об Екатерине II, объявляя ее побочной дочерью канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, пребывавшего в молодости в составе дипломатической миссии при Ангальт-Цербстском дворе (см. Михайлов, О. 1990: 11–13).

средственно Бестужев сведал, что она с супругом своим всю ночь занимается экзерсициею ружьем, что они стоят попеременно на часах у дверей, что ей занятие это весьма наскучило, да и руки и плечи болят у нее от ружья. [...] Пораженная сею вестью, как громовым ударом, Елизавета казалась онемевшею, долго не могла вымолвить слова. Наконец зарыдала и, обращаясь к Бестужеву, сказала ему:

– Алексей Петрович, спаси государство, спаси меня, спаси все, придумай и делай, как знаешь! [...] Бестужев предложил для действия прекрасного собою, умного и отличного поведения перед прочими камергера Сергея Салтыкова. Обмануть и во всем уверить великого князя принял обязанность на себя. [...]

Более 6 месяцев продолжалось уже после того, как императрица с помощью Бестужева объявила ей прямое свое начертание, как должно событию совершиться [...]. Но все сознания в амурных делах Елизаветы остались бы без успеха, если бы великая княгиня не влюбилась в камергера Салтыкова, а камергер не влюбился страстно в великую княгиню. Взаимная страсть любовников мгновенно одолела все препятствия, сравняла состояния, отважила на все опасности, закрыла будущность, и желания Елизаветы с Бестужевым получили полное совершение. Результат совершения заключался в том, что камер-фрау и лейб-медик великой княгини доложили императрице о состоянии великой княгини в благословенной тяжести.

Бестужев, как хитрый и прозорливый политик, получив уведомление от государыни о состоянии телесного положения великой княгини, с самодовольствием принес императрице всеподданнейшее поздравление с изъявлением искреннейшего желания о благополучном разрешении наследником. Потом всеподданнейше доложил государыне: „Начертанное по премудрому соображению вашето величества восприяло благое и желанное начало, – присутствие исполнителя височайшей воли вашего величества теперь не только здесь не нужно, но даже к достижению всесовершенного исполнения и сокровению на вечные времена тайны было бы вредно. По уважению сих соображений благоволите, всемилостивейшая государыня, повелеть камергеру Салтыкову быть послом вашего величества в Стокгольме, при короле Швеции“.

Елизавета подписала указ. Бестужев через три дня вытурил нового посла к месту назначения.

Великая княгиня сердилась, дулась на канцлера, имела с ним объяснения. При случае канцлер сказал великой княгине:

– Ваше высочество, государи не должны любить. Вам угодно было, потребно было, чтобы Салтыков вашему высочеству служил. Он выполнил поручение по назначению, ныне польза службы всемилоостивейшей вашей императрицы требует, чтобы он служил в качестве посла в Швеции. Высочайшая воля августейшей монархини для всех и для каждого есть священный закон [...] (Тургенев 1919).

Версия А. М. Тургенева выдает знакомство рассказчика с текстом екатерининской автобиографии (может быть по причине его родственных связей с А. И. Тургеневым, у которого была свой экземпляр рукописных копий екатерининских записок первой волны 1824 г.). Мемуарист следует за Екатериной в описании поведения Петра III, отношений молодых супругов, страстной любви великой княгини и Салтыкова, но соединяет эту версию с получившими популярность слухами о проекте Елизаветы и Бестужева обзавестись продолжением династии, который мемуарист картинно разыгрывает „в лицах“.

Суть этого анекдота состоит в парадоксальности и цинизме „службы“ дворянина государю, а также природы обязанностей монарха перед обществом, призванного пренебрегать всем личным во имя общего блага.

До Екатерины доходили разговоры о причинах отъезда Салтыкова, наносившие ущерб ее репутации. Помимо упоминания о „нескромности“ Салтыкова (РТ–СРЗ: 377), об этом говорит запись в отрывке, предположительно адресованном Понятовскому. „Этим подвергли меня пересудам всего света“ (РТ, с. 496), – сказано здесь об отъезде Салтыкова в Швецию. Вполне вероятно, что покровительствуемая „свыше“ любовная история с Салтыковым имела целью поставить великую княгиню в щекотливое положение и сделать ее уязвимой и контролируемой. Распространявшиеся слухи и сплетни могли подорвать ее растущую популярность, особенно после рождения ее сына, события, вызвавшего в народе неописуемую радость (РТ: 496). Об успехе интриги можно судить по бытующим и в наше время биографическим мифам и массовым представлениям об императрице. Тут же, однако, необходимо

отметить справедливость наблюдений Марии Крючковой, предположившей, что Салтыков был удобной „ширмой“, за которой императрица скрывала своего настоящего первого любовника, и который, оказавшись пешкой в династической игре, своим постоянным мельканием при особе великой княгини мог отвести внимание от настоящего героя ее романа (Крючкова 2009: 203). Этим ходом умная и осторожная мемуаристка воспользовалась не только в жизни, но также в автобиографическом рассказе: „... К моменту, когда Екатерина начала писать свои мемуары (даже самый ранний вариант), история о ее любовных похождениях с Салтыковым уже стала достоянием публики, и с этим ей приходилось считаться. Нужно было либо прямо опровергать ее, а следовательно, „оправдываться“ (то чего так ждали всегда от Записок Екатерины), либо попытаться эту историю как-то обработать. На мой взгляд, Екатерина избрала второй путь“ (Крючкова 2009: 160–163).

Эпилог этой любовной истории имел еще один неблагоприятный для царственной мемуаристки аспект. По свидетельству Станислава-Августа Понятовского, занявшего в сердце Екатерины место, освобожденное Салтыковым, канцлер Бестужев, беспокоившийся о добром расположении духа своей воспитанницы, но не осведомленный о появлении у нее нового возлюбленного, прилагал все усилия, чтобы вернуть в Россию „красивого Сержа“. Охладевшая же к Салтыкову великая княгиня действовала в противоположном направлении и даже платила своему первому любовнику известную сумму, чтобы тот оставался в чужих краях подальше от Петербурга:

Выше я сказал, что Уильямсу было поручено сообщить Бестужеву об участии, которое принимала во мне Великая Княгиня; это было необходимо, так как канцлер, пустивший в ход все пружины, чтобы вернуть Салтыкова из Гамбурга, где он проживал, должен был изменить свою тактику, ибо Великая Княгиня предпочитала высылать Салтыкову известную сумму денег, нежели видеть его в России (Понятовский 1915–1916, т. 164, № 12, с. 375).

Впрочем, по мнению М. Крючковой, „единственный определенный и неоспоримый результат, которого достигла Екатерина,

пойдя на сближение с Чоглоковой и Салтыковым, был выход на канцлера Бестужева. Через Салтыкова она дала знать канцлеру, что вовсе не является его врагом, в ответ на что тот заверил ее в своей дружбе. Именно политический аспект всего того клубка интриг, который образовался при малом дворе в 1752–1753 гг., а именно – переориентация Екатерины на канцлера, а канцлера на нее, практически одинаково подтверждается и ранней, и поздней редакцией ее мемуаров, и всем дальнейшим ходом событий“ (Крючкова 2009: 185).

Двусмысленность ситуации не устраивала Екатерину – автора „Записок“, тщательно создававшую образ сильной и независимой женщины, сознающей собственное достоинство и подчиняющейся только раз и навсегда принятым ею принципам. Аристократический роман XVII и XVIII веков не предлагал ей образцов, которым она могла следовать в построении характера своей автобиографической героини. Екатерина воспользовалась в мемуарах топосом невозможности счастливой любви в браке, восходящим к „Принцессе Клевской“ мадам де Лафайет. Однако образ покинутой возлюбленной, восходящий к „Португальским письмам“ Гийерага<sup>47</sup>, не вполне соответствовал ее творческим задачам. Современный ей великосветский сентиментальный роман, где женщина могла быть только жертвой или соблазнительницей (и, как мадам де Мертей из „Опасных связей“ Лакло, носительницей отрицательных коннотаций), в принципе не мог послужить для нее моделью. Если верить воспоминаниям Понятовского, цинизм по отношению к бывшему любовнику вовсе не был чужд Екатерине, но, конечно, это чувство никак не вписывалось в тот идеализированный образ, который она стремилась создать. Однако литературный прототип для своей героини она могла позаимствовать из уже набравшего силу и популярность буржуазного романа, который предлагал ей искомые образцы сильных и деятельных женских характеров.

---

<sup>47</sup> О двух архетипах феминистского романа XVIII века см. Cragg 1989: 7.



Станислав-Август Понятовский

В первом романе г-жи Риккони Екатерина могла найти и дань романной традиции, и новую концепцию женского характера, которая была близка ее собственному видению. В „Письмах мисс Фанни Батлер“ г-жа Риккони в основном следовала жанровой

форме, канонизированной „Португальскими письмами“ Гийерага – одним из популярнейших романов XVII века. В обоих романах соблазненная и покинутая женщина пишет своему любовнику прочувственные письма в напрасной надежде на скорую встречу с ним. Как в „Португальских письмах“, так и в „Письмах мисс Фанни Батлер“ основной интерес представляет психология главной героини (Démaу 1977: 23).

Г-жа Риккобони увеличила число писем, сильно сократив их объем. Вместо пяти длинных и многословных писем португальской монахини Марианны она предложила своим читателям 116 коротких, но не менее эмоциональных писем Фанни. Писательница значительно обогатила их содержание, исследовав всю историю любовных отношений героев и динамику переживаний героини. Прежде всего Риккобони предложила вниманию аудитории новую концепцию женщины, требующей не снисхождения и сочувствия, а уважения к своей личности. В характерном для нее стиле г-жа Риккобони внушала эти представления своей аудитории без морализаторства, без описания невероятных приключений и невиданных страстей (Coulet 1967, I: 384).

Героиня „Писем мисс Фанни Батлер“ была жертвой великосветского соблазна. Ей, однако, удалось выйти из любовной драмы умудренной опытом и отстаивавшей свои принципы и человеческое достоинство. С таким персонажем российская императрица могла психологически самоидентифицироваться<sup>48</sup>. Ей должна была импонировать также своего рода философичность писем Фанни<sup>49</sup>,

---

<sup>48</sup> Такие самоидентификации характерны для автобиографического письма Екатерины и в дальнейшем будут рассмотрены другие примеры. М. Гринлиф доказывает убедительно интертекстуальную природу одного из отрывков автобиографического характера, созданного во второй половине 1762 г. по модели „Истории Анри IV“ Перефикса, в котором императрица заимствует основные сюжетные ходы и характеристики персонажей из французского текста (Greenleaf 2004: 414–416).

<sup>49</sup> Детальный анализ „смеси картезианизма и руссоизма“ в романе, а также свойственных французским моралистам того времени идей, которые восприняла и развила г-жа Риккобони в своей беллетристике, предлагает А. Демай в цитированном выше труде (Démaу 1977: 28–31).

важное место в которых занимает проблема счастья, очень важная для мемуаристики.

„Равновесие ума и чувств“, которое проповедовала в своих романах г-жа Риккобони (Coulet 1967, I: 384), должно было прийтись по вкусу российской императрице, высказавшей в самом начале позднейшей редакции автобиографии твердое убеждение, что „счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения“.

Роман известной французской писательницы должен был помочь Екатерине выстроить рассказ о своей первой любви, избежав опасностей, которые могло бы повлечь за собой „чистосердечное“ описание подлинных событий и отношений с Салтыковым, Бестужевым, Елизаветой Петровной. Одновременно ориентация на французский образец позволяла автору сочетать рассказ о первой любви с размышлениями философского плана и подвести и то, и другое под силлогизм, приведенный в начале мемуаров.

Эпизод с Салтыковым занимает ключевое место в композиции „Записок“ Екатерины, он непосредственно предшествует первым попыткам великой княгини принимать активное участие в государственных делах, началу ее отважной и рискованной политической игры. Драматические обстоятельства первого серьезного любовного увлечения завершили формирование характера будущей императрицы. Согласно той концепции собственной личности, которую Екатерина пыталась выстроить в мемуарах, это был рубеж зрелости, который она успешно преодолела и вышла победительницей.

Реализация этой концепции в тексте мемуаров оказалась убедительной во многом именно потому, что императрица имела возможность моделировать рассказ о своей молодости, изложив воспоминания о самых своих интимных переживаниях по образцу популярных литературных произведений, предоставивших ей удобные и успешные повествовательные модели для реализации своей философии личности. Литературность екатерининских мемуаров стала своего рода залогом их достоверности.



## **„Жизнь и мнения Тристрама Шенди“ Лоуренса Стерна и автобиография Екатерины II**

Один из наиболее популярных и значительных для европейской литературы XVIII в. романов, написанный в форме автобиографии, оказал ощутимое воздействие на повествование в целом и создание некоторых характеров в „Записках“ Екатерины II. Это роман Л. Стерна „Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена“. Вскоре после выхода в свет в 1760 г. первых его частей текст стал известен при русском дворе, предположительно благодаря английскому дипломату и другу автора Джорджу Маккартни, пребывавшему в России в качестве чрезвычайного посла с 1764 по 1767 г. (Lobytzyna 1998: 13)<sup>50</sup>. Однако, по мнению Э. Кросса, Екатерина хорошо знала и французский, и немецкий переводы романа, который при ее жизни еще не был полностью переведен на русский язык. Первое упоминание романа в переписке императрицы с Гриммом относится к 1777 г., а два года спустя, в 1779 г., прочитав книгу на немецком, Екатерина отметила достоинства перевода на ее родной язык, в отличие от французской версии. Позднейшее же упоминание книги в письмах к ее „souffre-douleur“ дало ей повод для сравнения собственных успехов с успехами английского писателя (Cross 2001: 79–80)<sup>51</sup>. Переписка с Гриммом пестрит многочисленными ссылками на ситуации из романа, цитатами популярных выражений и метонимическим использованием имен персонажей. Это убедительно говорит о симпатиях русской императрицы к английскому автору.

Мысль о соотнесенности „Записок“ Екатерины II с романом Стерна принадлежит Марии Лобыциной (Lobytzyna 1998). Исследовательница обращает внимание как на документальные дока-

---

<sup>50</sup> Несмотря на огромную популярность Стерна, и прежде всего его „Писем Йорика к Элизе“ и „Сентиментального путешествия“, в XVIII в. роман переводился на русский язык только частично, а полный перевод был осуществлен лишь в 1804–1807 гг. (ИРПЛ 1995, I: 277).

<sup>51</sup> Кросс подсчитал в письмах Екатерины Гримму как минимум семь ссылок на роман (Cross 2001: 80). Не претендуя на точную статистику, можно утверждать, что в ответах Гримма их не меньше.

зательства интереса императрицы к Стерну, так и на подражание некоторым нарративным техникам „Тристрама Шенди“ в „Былях и небылицах“<sup>52</sup>. Это аллогичность, открытые финалы. (Lobytzyna 1998; см. также Семенов 2014). Лобыцина подчеркивает, что интерес императрицы к Стерну связан с поиском новых литературных моделей (Lobytzyna 1998: 13–14). Исследовательница обнаруживает влияние новаторской поэтики Стерна в редакции екатерининских мемуаров 1771 г. По ее мнению, „вымышленные мемуары, написанные в мозаичной манере (puzzling manner) „Тристрама Шенди“, дали императрице уникальную возможность реализовать свой писательский потенциал и создать образ sentimentalного и чувствительного интеллектуала, „первого и последнего, занимавшего когда-то российский трон“<sup>53</sup> (Lobytzyna 1998: 14). М. Лобыцина указывает на жанровые компоненты, которые являются общими как для „Тристрама Шенди“, так и для мемуаров Екатерины II. Это: духовный (spiritual) дневник, посмертные мемуары и духовная биография и автобиография. Самый значительный из них у обоих авторов – последний из перечисленных: жанр духовной автобиографии, представляющий собой модификацию протестантских жизнеописаний XVII и XVIII веков и сочетающий традиции духовной и светской автобиографий (Lobytzyna 1998: 16). По мнению исследовательницы, интертекстуальные связи между романом Стерна и записками императрицы реализуются тремя основными путями: 1) использованием фикционального нарратора и литературной маски как оппозиция идее Ж.-Ж. Руссо об автобиографии как исповеди; 2) „гетероглоссией“ (по Бахтину) в текстах, сочетающей голоса различных персонажей и придающей повествованиям известный полифонизм; 3) идеей о цикличном характере жизни (Lobytzyna 1998: 17). Несмотря на чрезмерное акцентирование некоторых из высказанных идей и их недостаточную защищенность (они скорее только намечены в статье, которая из-за своего неболь-

---

<sup>52</sup> Сатирическая рубрика императрицы в журнале „Собеседник любителей русского слова“.

<sup>53</sup> Лобыцина цитирует мнение Гууча об Екатерине II: „The only Intellectual who has sat on the Russian throne“ (Gooch 1966: 72).

шого объема не позволяет их развитие)<sup>54</sup>, наблюдения М. Лобыцной имеют свои серьезные основания и стимулируют поиск других параллелей между сравниваемыми текстами.

Сходство между романом Стерна и автобиографией императрицы действительно можно найти на уровне композиции, в объединении в одно целое разнородных по происхождению жанровых элементов (например, „романные“ и („публицистические“ эпизоды, нравоописательная сатирическая проза, анекдоты, биографии и пр.). Но все-таки о мозаичной структуре автобиографии Екатерины следует говорить очень осторожно. Элементы разнородного жанрового происхождения, в принципе, свойственны мемуарам, в том числе и жанру автобиографии. Вряд ли их сочетание в тексте происходит только под влиянием романа Стерна. Рассказы о природных бедствиях, инцидентах, биографии отдельных персонажей, сплетни широко используются в романе как жанре и имеют свои функции в динамике рассказа, хотя не всегда связаны с основными сюжетными линиями. Поэтому едва ли можно утверждать, что наличие таких эпизодов является результатом имитации жанровой структуры „Тристрама Шенди“. Вероятно, Екатерине II приходились по вкусу рассуждения Стерна об организации пове-

---

<sup>54</sup> Вряд ли мемуары Екатерины II могут читаться как вариант духовной протестантской автобиографии. В тексте вопросы религии занимают важное место, однако, они интерпретируются преимущественно как знак особой патриотической привязанности мемуаристки к ее новой родине и как знак ее высокой просвещенности. Мотивы, связанные с символикой имени и житием небесной покровительницы императрицы св. Екатерины (см. главу II Второй книги), все же положены в светский контекст символики власти и связи с династией. В отличие от екатерининской автобиографии, в романе Стерна вопросы религии представляют собой ясно очерченную сюжетную линию. Важнейшую роль в ней играет образ пастора Йорика, герои читают случайно найденные проповеди, пересказываются целые дискуссии на религиозные темы. Другая уязвимая идея исследовательницы – наличие в екатерининских записках (тем более в их раннем варианте 1771 г.) ясно выраженной философской идеи о цикличности жизни по причине того, что текст адресован потомкам императрицы и ее намерения воспитать престолонаследника Александра как интеллектуала (с. 17). Философский контекст в автобиографии Екатерины II связан прежде всего с проблемой „просвещенного государя“ и нравственно-стоицистской проблематикой. В статье анализируется только „брюсовская“ редакция, тогда как „шендианский контекст“ ощутимо присутствует также в более поздних вариантах текста.

ствования в его романе: „... вся внутренняя механика моего произведения очень своеобразна: в нем согласно действуют два противоположных движения, считавшихся до сих пор несовместимыми“ (Стерн 1966: 81)<sup>55</sup>. Но если Стерн говорит о своей склонности часто прерывать рассказ и не доводить до конца начатые эпизоды, вводить вставные новеллы (например, повесть Слокенбергия о носсах), проповеди, диспуты и прочее (“Словом, произведение мое отступательное, но и поступательное в одно и то же время“, с. 81), то в автобиографии российской императрицы присутствуют условно названные мной философский (публицистический) и романский дискурсы. В тексте Екатерины II почти нет прерванных и незаконченных эпизодов. Также нет ясно обособленных коллажей из „цитируемых“ трактатов и „чужих“ произведений. Повествование создает впечатление гораздо большей гомогенности, подчиненной единственно дискурсу рассказчицы. Иное значение имеют и вставные эпизоды, описания землетрясений, пожаров, обвалов, гололедов и пр. Каждый из этих эпизодов вносит дополнительные штрихи в портрет кого-либо из персонажей (страх и отсутствие мужества у великого князя в момент обвала дома в Гостилицах; переполненные пустыми бутылками комоды во время московского пожара; многочисленные картины нравов при дворе и пр.).

Общая особенность романа Стерна и автобиографии Екатерины II – разговор с читателем, однако диалогичность гораздо сильнее выражена у Стерна:

Мой метод всегда заключается в том, чтобы указывать любознательным читателям различные пути исследования, по которым они могли бы добраться до истоков затрагиваемых мной событий; — не педантически, подобно школьному учителю, и не в решительной манере Тацита, который так мудрит, что сбивает с толку и себя и читателя, — но с услужливой скромностью человека, поставившего себе единую цель — помогать пытливым умам. — Для них я пишу, — и они будут читать меня, — если мыслимо предположить, что чтение подобных книг удержится очень долго, — до скончания века (с. 76–77).

---

<sup>55</sup> Все цитаты из романа Стерна даются по этому изданию и в дальнейшем указывается только страница.

У Екатерины же нет такой декларации, несмотря на следование модели светской беседы в начале „брюсовской“ или „черкасовской“ редакций. Ее тексту присуща диалогичность на более глубинном уровне, причем она ведет этот диалог с будущим читателем, обращаясь к множеству повествовательных традиций. Стерн неоднократно заявляет свою не очень соответствующую романной традиции позицию автора, призывающего читателя размышлять. С этим, по его мнению, связана польза чтения, и не просто чтения как развлечения, а чтения любого текста с целью извлечь из него определенное поучение, которое, однако, нельзя навязывать:

Надо бороться с дурной привычкой, свойственной тысячам людей [...], — читать, не думая, страницу за страницей, больше интересуясь приключениями, чем стремясь почерпнуть эрудицию и знания, которые непременно должна дать книга такого размаха, если ее прочесть как следует. — Ум надо приучить серьезно размышлять во время чтения и делать интересные выводы из прочитанного [...]. Истории Греции и Рима, прочитанные без должной серьезности и внимания, — принесут, я утверждаю, меньше пользы, нежели история „Паризма“ и „Паризмена“ или „Семерых английских героев“, прочитанные вдумчиво (с. 69).

По убеждению Стерна, пригодны все жанры, если читать внимательно и размышлять над прочитанным. Переосмысливая классицистскую аксиому (все жанры годятся для воспитания), Стерн прибавляет как неперемное условие участие читателя. Мысль о читателе имплицитно присутствует во всей литературе Просвещения. Стерн, однако, отказывается от монологического типа рассказа и рассчитывает на активный диалог с аудиторией.

Очевидно, Екатерине II пришлось по вкусу эта позиция английского писателя. Она демонстрирует на основании своего богатого читательского опыта, но и своей авторской практики, солидарность с идеей Стерна не только в автобиографии, но и в своей журнальной и педагогической прозе, обращаясь к жанру „были“ и сказки<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Широко известны „Сказка о царевиче Хлоре“ и „Сказка о царевиче Февее“, написанные Екатериной для ее любимых внуков Александра и Константина. Первая сказка получила сильный отклик в русской культуре, прежде всего благодаря одическому циклу Г. Р. Державина, который заимствовал образ муд-

Как и Стерн, Екатерина, очевидно, не приемлет монологическое и тем более откровенно дидактическое повествование. Несомненно, ей импонировало следующее утверждение Стерна:

Писание книг, когда оно делается умело [...], равносильно беседе. Как ни один человек, знающий, как себя вести в хорошем обществе, не решится высказать все, — так и ни один писатель, сознающий истинные границы приличия и благовоспитанности, не позволит себе все обдумать. Лучший способ оказать уважение уму читателя — поделиться с ним по-дружески своими мыслями, предоставив некоторую работу также и его воображению. Что касается меня, то я постоянно делаю ему эту любовь, прилагая все усилия к тому, чтобы держать его воображение в таком же деятельном состоянии, как и мое собственное (с. 110).

Верный этому правилу, Стерн поддерживает постоянный открытый диалог с читателем, обращается к нему, обсуждает с ним композицию всего произведения, персонажи, даже собственные убеждения. Беседа у Стерна часто эксплицирована. В ней находят выражение уже высказанные в ходе публикации отдельных томов мнения и накопившиеся читательские ожидания. В своей автобиографии Екатерина использует скрытый диалог с предполагаемым читателем. Причина этого различия между текстами кроется в какой-то степени и в их жанровых особенностях: автобиографический текст в принципе или не предполагает обнародования, или же предназначается для посмертной публикации. В более ранних редакциях „Записок“, посвященных графине П. А. Брюс и барону А. Черкасову, императрица рассчитывает на реакцию знающего факты читателя, у которого есть своя версия произошедшего.

---

рой киргиз-кайсацкой царевны Фелицы, в котором воспел Екатерину II. Первая ода цикла произвела переворот в русской поэзии того времени и опубликованная через год после своего написания в первом номере журнала „Собеседник любителей русского слова“ (1783), стала эмблематичной для нового культурного дискурса русского престола, инициированного императрицей именно в это время. Помимо всех хорошо известных нововведений в державинской „Фелице“, надо отметить отказ от прямого дидактизма и в „одических“, и в „сатирических“ эпизодах, и смягчение обличительных тирад, присущих русскому классицизму, снисхождение и юмор в описаниях „порочного“ образа жизни мурзы (татарского вельможи), противопоставленного в оде добродетельной царевне, автобиографизм.

В то же время автобиограф ясно отдает себе отчет в том, что в будущем текст может быть прочитан более широким кругом читателей. Этот скрытый диалог поддерживается и стремлением „романизировать“ текст, сделать его более занимательным, снабдить его множеством анекдотов, портретов, сплетен и пр. В последней по времени редакции в самом начале этот диалог снимается. Вступительный силлогизм задает подчеркнутую монологичность повествования, не допускающую чужой позиции и чужого мнения, которые имплицитно содержатся в диалоге. Однако, после первых страниц текст приобретает тот же характер, что и в предыдущих редакциях, хотя и не так ярко выраженный. Интереснейшей проблемой в этом смысле является очевидная „выработка“ авторских версий в устном общении мемуаристки. Но так или иначе, разные редакции мемуаров Екатерины II, и в особенности последняя, содержащая многие деликатные подробности об интимной жизни императрицы, вписываются в стернианское „авторское благоприличие“ и бросают вызов читательскому воображению. Стернианская игра с читательскими ожиданиями и „искренность“ повествовательницы, входящая в конвенцию жанра автобиографии, – одна из причин разных толкований „Записок“ в разные времена. В этой связи представляется убедительной мысль М. Лобыциной об оппозиции мемуаров Екатерины и „Тристрама Шенди“ руссоистской концепции автобиографии как исповеди.

Понимание того, что самооценка субъективна, представление об относительности ценностей, которое содержится в псевдоанонимном „Послании к евреям“<sup>57</sup>, якобы „случайно“ выпавшем из одной из книг по фортификации дяди Тоби, близки к размышлениям Екатерины II о человеческой сущности:

Если мы вообще мыслим, у нас не может быть никаких сомнений на этот счет, мы не можем не сознавать наших мыслей и наших желаний; — — мы не можем не помнить прошлых наших поступков и не обладать достоверным знанием истинных пружин и мотивов, управлявших

---

<sup>57</sup> Оригинальная проповедь самого Стерна, прочитанная в кафедральном соборе Йорка 27.07.1750 г., которая позднее была издана самостоятельно (Франковский 1966: 662).

обычно нашими поступками“ [...] В других вещах мы можем быть обмануты ложной видимостью; ибо, как жалуется мудрец, *с трудом строим мы правильные предположения о том, что существует на земле, и с усилием находим то, что лежит перед нами*. Но здесь ум в себе самом содержит все факты и все данные, могущие служить доказательством; – сознает ткань, которую он соткал; — ему известны ее плотность и чистота, а также точная доля участия каждой страсти и вышивания различных узоров, нарисованных перед ним добродетелью или пороком (с. 123–124. Курсив автора).

Высказанная Стерном идея о субъективности интерпретации фактов, о невозможности сказать „все“ лежит в основе подхода императрицы к рассказу о ее жизни. По всей видимости, она находила в „Тристрате Шенди“ суждения, которые могла соотнести с собой не только как с личностью, но и как с историческим лицом; правительницей, стремящейся представить миру свою автобиографию:

... Всякий раз, когда христианин садится писать книгу (не для собственной забавы, а) с намерением и с целью напечатать ее и выпустить в свет, первые его мысли всегда бывают искушениями лукавого. – Так обстоит дело с рядовыми писателями; когда же [...] писателем делается особа почтенная и занимающая высокое положение в церкви или в государстве, – то стоит ей только взять в руку перо, – как все черти, сколько их ни есть в аду, выскакивают из своих нор, чтобы обольщать ее. – Они тогда работают всю, — каждая мысль, от первой и до последней, содержит в себе подвох. – Какой бы она ни казалась невинной и благовидной, – в какой бы форме или в каких бы красках она ни рисовалась воображению, – всегда это удар, направленный на пишущего одним из этих исчадий ада, который необходимо отразить. – Таким образом, жизнь писателя, хотя бы он представлял ее себе совсем иначе, вовсе не идиллия сочинительства, а состояние войны; и свою пригодность к ней он доказывает, точь-в-точь как и всякий боец на земле, не столько остротой своего ума – сколько силой своего сопротивления“ (с. 318).

Предвзятое отношение публики к сильным мира сего, предрассудки, с одной стороны, и искушение самоидеализации, возможность ложного понимания истинных намерений автобиографа – с другой, несомненно, ассоциировались с рассуждениями Стерна о невозмож-



ности абсолютной истины и субъективности написанного, а также с мыслью о противоречивых толкованиях текста читателями. Это соответствует, по мнению английского писателя, двойственной природе человека. Стерн рассматривает человека вполне в духе современного психоанализа, как сочетание двух „душ“, мужской и женской: „Вы должны знать, что в последние просвещенные столетия в каждом живом человеке есть две души, – из которых одна, согласно великому Метеглингию, называется animus, а другая anima“ (с. 143). Но сочетание двух противоположностей, мужского и женского начал в амплуа государя, которое было основным для российской императрицы в ее жизни, проявляет себя как в мемуарном рассказе, так и в ряде ее произведений. Своеобразная андрогинность, предопределенная ее функциями главы государства, проявляет себя еще с ее юных лет, когда, согласно автобиографии, Екатерина оставляет типично „женский“ стиль поведения и воспринимает ряд „мужских“ черт.



Павел I

Другая основная идея „Тристрама Шенди“ также соотносится с лейтмотивом мемуаров Екатерины: верность собственному „я“, отстаивание раз и навсегда выбранных принципов поведения и справедливой каузы. Безусловно, метафорическая характеристика „шендианского“ характера (тело и душа человека уподобляются камзолу с хорошей подкладкой, качества которой не теряются даже при самом грубом обращении) могла позволить сиятельному автору отождествлять себя с древними стоиками и галереей шендианцев в мировой истории:

Тело человека и его душа, я это говорю с величайшим к ним уважением, в точности похожи на камзол и подкладку камзола; – изомните камзол, – вы изомнете эту подкладку. Есть, однако, одно несомненное исключение из этого правила, а именно, когда вам посчастливилось обзавестись камзолом из проклеенной тафты с подкладкой из тонкого флорентийского или персидского шелка.

Зенон, Клеанф, Диоген Вавилонский, Дионисий Гераклеот, Антипатр, Папэций и Посидоний среди греков; — Катон, Варрон и Сенека среди римлян; — Пантен, Климент Александрийский и Монтень среди христиан, да десятка три очень добрых, честных и беспечных шендианцев, имени которых не упомяну, — все утверждали, что камзолы их сшиты именно так; — можете мять и измять у них верх, складывать его вдоль и поперек, теревить и растеребить в клочки; — словом, можете над ним измываться сколько вам угодно, подкладка при этом ни капельки не страдает, что бы вы с ним ни вытворяли.

Я думаю по совести, что и мой камзол шит как-нибудь в этом роде: — ведь никогда несчастному камзолу столь доставалось, сколько вытерпел мой за последние девять месяцев; — а между тем я заявляю, что подкладка его, — сколько я могу понимать в этом деле, — ни на три пенса не потеряла своей цены... (с. 152).

Не столь метафорично, однако, так же последовательно, Екатерина II вводит мотив стоицизма во все редакции своей автобиографии. Ее дух не сломлен, несмотря на недоброежелательство, ежеминутный шпионаж и интриги. Целостный и законченный характер и хорошо осознанные принципы поведения и высокие цели, которые она себе ставит еще в юном возрасте, делают возможной

самоидентификацию с „шендианцами“. Вполне в „шендианском“ духе проявляется ее решимость после завершения любовной истории с Салтыковым показать своим врагам и всем, кто унижал ее, что дух ее не сломлен:

Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата, вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения. [...] Одним словом, я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее как глава очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный“ (РГ–СРЗ: 368–369).

В тексте мемуаров стернианская метафора платья как тела и души лишена переносного смысла, переведена на обыкновенный бытовой язык, но сам жест – надевание нового эффектного платья из дорогой материи – сохраняет свое символическое значение и демонстрирует позицию его обладательницы. Содержание приведенной цитаты соотносится с обращением Стерна к его критикам, на котором кончается пассаж о шендианцах: „Вы, господа ежемесеячные обозреватели! – Как решились вы настолько изрезать и искромсать мой камзол? Почем вы знали, что не изрежете также и его подкладки?“ (с. 152). К такому роду самоидентификации с высказанными Стерном суждениями можно отнести „простейший“, по Уолтеру Шенди, силлогизм (следует вспомнить страсть самой Екатерины к стройным силлогизмам, проявившуюся в начале поздней редакции). Отец Тристрама строит свою жизнь на основе двух неизменных аксиом, очень близких сердцу мемуаристки:

Отец исходил из двух следующих неоспоримых аксиом:

*Во-первых*, что одна унция своето ума стоит больше ума чужого, и

*Во-вторых* (аксиома эта, заметим в скобках, была основой первой, – хотя пришла ему в голову позже), что ум каждого из нас должен брать начало в собственной душе, – а не заимствоваться у других (с. 142).

К сходной житейской максиме, заимствованной из романа Стерна, которая имеет аналогию с дипломатичностью мемуарист-

ки, можно отнести также совет романиста не спешить разрубать узлы, которые не легко развязать, а сначала попытаться это сделать ногтями и зубами (эпизод с мешком с акушерскими принадлежностями д-р Слопа, который, после неуспешных усилий развязать затянувшиеся узлы, все же разрезает их ножом). Конкретный эпизод, как это обычно для Стерна, становится поводом для философского обобщения (с. 158).

Обращение Екатерины к шендианству как виду стоицизма связано с общим интересом русских писателей того времени к античным интерпретациям этой философской системы и к стоическим мотивам французской классицистской драматургии. Оно совпадает по времени и с возникновением автобиографии как жанра как в Западной Европе, так и в России, и с развертыванием интереса к внутреннему миру личности (Kahn 2002–2003: 672)<sup>58</sup>. „Интерес к внутренней жизни индивида и возможность достичь счастья философским созерцанием формируют доминирующее течение в (литературной) продукции в Екатерининскую эпоху“ – пишет Э. Кан (Kahn 2002–2003: 673).

Екатерина II могла найти в романе множество параллелей как со своими убеждениями, так и с ситуациями, иногда трагикомическими, в которые она попадала в разные моменты своей жизни. Если иметь в виду, что литературность была одной из норм бытового поведения эпохи, легко можно понять отсылки к известным текстам. Подобные ассоциации в случае с „Тристрамом Шенди“ придают дополнительный сатирический, а иногда саркастический оттенок повествованию, особенно в восприятии тех читателей, которым был известен романский интертекст.

Одна из очевидных аналогий связана с семейной жизнью мемуаристки. По мнению П. Фошри, в „Тристраме Шенди“ можно найти одно от самых „нероманных“ представлений о браке, даже когда речь идет о браке по расчету, вызванному доводами ума“ (Fauchery 1972: 397). Это заключение в полной мере относится к эпизоду в спальне супругов Шенди, поведение которых в их огромной кровати абсолютно лишено сексуальности и противоречит читатель-

---

<sup>58</sup> Это и есть время возникновения современной автобиографии в Европе.

ским ожиданиям. Фошри заявляет, что супружеская постель в романе Стерна – унылая имитация (*morne contra façon*) любовного ложа. Ученый видит в этом проявление свойственного буржуазному роману превращения супружеской постели в „театр недовольства, обманурых вожделений или же в место ночных советов, на которых решаются проблемы четы или домашнего хозяйства в их самой рутинной форме“ (там же, 397). С супружеским ложем связывается основная форма реализации женской личности не только в XVIII в., но и в гораздо более поздние эпохи: оно подразумевает беременность, рождение наследника, т. е. все то, что и в жизни, и в романах придавало ценность женщине (там же, 402). В романах эпохи Просвещения часто встречаются мотивы риска в описаниях женских судеб: невозможность забеременеть, выкидыши (там же). Помимо угрозы для жизни, они включают элемент наказания и составляют элемент риска для статуса героини.

В подобной ситуации оказывается великая княгиня Екатерина. Ее основная „задача“ состоит в рождении наследника престола. Этим она должна „отплатить“ за высокую честь быть супругой престолонаследника Российской империи. Длительное отсутствие порфирородного отрока – проблема государственного масштаба, которая, как становится ясно, решалась по-соломоновски. В первые девять лет семейной жизни супружеское ложе будущей российской императрицы, прославившейся своей сексуальностью, – единственное место, где молодые могут остаться наедине. „Пространство, которое ускользает от взора публики, всегда потенциально эротично“, – пишет Анри Лафон (Lafon 1997: 41). В то же время постель в мемуарах Екатерины, как и в романе Стерна, часто служит местом советов, и даже таких, которые касаются вожделений великого князя к другим дамам; но только не к собственной жене. Огромное супружеское ложе, предполагающее интимность молодых супругов, – чаще всего сцена, на которой разыгрываются кукольные представления. Его размеры позволяют в случае опасности разоблачения наперсниками императрицы Елизаветы Петровны Чоглоковыми незаметно скрыть кукол под покрывалами. Инфантильность мужа, замена уместных для постели любовных наслаждений совершенно

другими занятиями соответствуют в мемуарном тексте мотиву неискренности дяди Тоби в любовных делах и его проблематичной мужской потентности в „Тристрате Шенди“.

Екатерина не могла не провести параллель своих собственных переживаний по поводу рождения сына с „родильной“ тематикой в романе Стерна, описывающего страдания бедной г-жи Шенди, оставленной в родильных муках Божьей милости не столько из-за отсутствия медицинской помощи, сколько из-за недостатка сочувствия. Она не только лишена права выбрать имя своему новорожденному сыну (проблема даже и не подлежит обсуждению), но и возможности как-то влиять на воспитание ребенка.

Эти личные обстоятельства, абсурдность ситуации, в которой оказывается мемуаристка, не могут не напомнить также не менее абсурдный диспут педантов Сорбонны на тему: „Родственница ли мать своего ребенка?“, закончившийся в противоречие всем человеческим нормам решением, что „Мать не родственница своего ребенка“ (с. 282). Впрочем, и в обоих случаях наблюдается вариация общего романного топоса – „*мать, лишенная своих детей*“. Зачатие, рождение, надежды, связанные с новым человеком, и принципы его воспитания – одна из ведущих сюжетных линий в „Тристрате Шенди“. Эта проблематика активно присутствует и в автобиографии императрицы, и в ее педагогических сочинениях. Екатерина II, как и отец Тристрама, пишет свою „Тристапедию“, посвященную внукам Александру и Константину (наставление 1784 г. относительно воспитания великих князей к их воспитателю графу Н. И. Салтыкову, „Бабушкина азбука“, сказки)<sup>59</sup>. Педагогический контекст выступает одним из основных стимулов написания мемуаров и активно присутствует в них. Точнее, он представляет собой часть публицистического дискурса в автобиографии Екатерины II. Как и Стерн, она считает, что основы политического и государственного управления надо искать в первоначальном союзе мужчины и женщины с целью произведения потомства. В „Записках“ Екатерины II часто встречаются рассуждения о благополучии се-

---

<sup>59</sup> См. Plavinskaja 2003; Екатерина II о воспитании... 1994; Бабушкина азбука 2004.

мы, хотя ее личный опыт в этом отношении печален и служит отрицательным примером. Воспитание детей, по мнению Екатерины, – зеркало, в котором педагоги, наставники, репетиторы, гувернеры и учителя могут увидеть самих себя.

Тема воспитателя и его поведение, как формирующего личность воспитанника, и фатальные последствия плохого воспитания будущего правителя, последовательно рассматривается прежде всего на отрицательных примерах, коими служат воспитатели юного Карла-Петра.

Повествовательница соотносит собственное „я“ с шендианством как своеобразным видом стоической философии. У нее есть достаточно поводов идентифицировать себя с некоторыми персонажами и ситуациями романа Стерна. В то же время в ее автобиографии шендизм проявляется и в бытовом варианте: имеется в виду странное, нелепое, не соответствующее нормам поведение. В сущности, это составляет этимологию имени героя Стерна, которое, в свою очередь, становится глаголом в английском языке<sup>60</sup>.

„Шендизм“ в автобиографии Екатерины II особенно ощутим на уровне системы персонажей. Очевидны аналогии между избалованными занятиями и поведением дяди Тоби и верного капрала Трима в „Тристрате Шенди“, с одной стороны, и увлечениями великого князя в екатерининских мемуарах, – с другой.

Одна из наиболее продуктивных сюжетных линий романа – хобби дяди Тоби (или, как предпочитает называть его автор, „конек“ – от английского „hobby-horse“), состоящее в разыгрыва-

---

<sup>60</sup> Определение понятия „шендизм“ (shandyism) дает П. Конрад: „Шендизм относится к характеру или форме: к вдохновляюще странной индивидуальной и хаотической структуре, в которой он живет... Шендианский характер и форма одинаково интровертны: роман становится образом мышления (image of mind), и трагедия, и комедия – его чередующимися прихотями“ (Conrad 1978: VII).

Русский переводчик романа Стерна А. Франковский подчеркивает шуточную похвалу чудачества как нормы поведения, выражающей своего рода протест против общественных условностей. Этимология имени персонажа и понятия „шендизм“ восходит к йоркширскому диалекту, на котором „shan“ или „shandy“ означает странный человек, чудак. Стерн сочиняет также глагол „шендиировать“ и часто использует его в своих письмах (Франковский 1966: 13).

нии и комментировании военных действий и превратившееся во всепоглощающую страсть, и второе „я“ персонажа. Чужачество, свойственное тем, кто слишком сильно увлекается своим хобби, может превратиться, по мнению Стерна, в нечто пагубное, если оно руководит личностью, которой предначертано совершать великие дела:

De gustibus non est disputandum<sup>61</sup>, — это значит, что о *коньках* не следует спорить; сам я редко это делаю [...] ведь и мне случается порой, в иные фазы луны, бывать и скрипачом и живописцем, смотря по тому, какая муха меня укусит [...]. Но все дело в том, что я [...] человек настолько незначительный, что совершенно не важно, чем я занимаюсь; вот почему я редко волнуюсь или кипячусь по этому поводу, и покой мой не очень нарушается, когда я вижу таких важных господ и высоких особ, как нижеследующие, — таких, например, как милорды А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П и так далее, всех подряд сидящими на своих различных коньках; — иные из них, отпустив стремяна, движутся важным размеренным шагом, — другие, напротив, подогнув ноги к самому подбородку, с хлыстом в зубах, во весь опор мчатся, [...] точно они решили сломать себе шею. [...] — — Но есть случай, который, признаться, меня смущает, — именно, когда я вижу человека, рожденного для великих дел и, что служит еще больше к его чести, по природе своей всегда расположенного делать добро; [...] — когда я вижу, милорд, такого человека, развезжающим на своем коньке хотя бы минутой дольше срока, положенного ему моей любовью к родной стране и моей заботой о его славе, — то я, милорд, перестаю быть философом и в первом порыве благородного гнева посылаю к черту его *конька* со всеми коньками на свете (Стерн 1966: 34–35. Курсив автора).

Это рассуждение Стерна хорошо вписывается, хотя и метафорически, в классицистскую проблематику главенства долга над страстями. Она была особенно важна по отношению к коронованным особам, в лице которых философская мысль Просвещения хотела видеть воплощение идеи просвещенного монарха. Государь, отдавший во власть своих страстей, растрачивающий время и силы в пустых увлечениях, просто слабый человек, хотя и облеченный вла-

<sup>61</sup> О вкусах не спорят (лат.).



стью, или же в силу обстоятельств своего рождения предназначенный властвовать. Подчинение страсти и пренебрежение долгом являются признаками поведения недостойного монарха. Все это вполне соответствует вступительному силлогизму поздней редакции.

Аналогии между великим князем и дядей Тоби состоят прежде всего в странностях, связанных с их общим хобби – преувеличенной страстью к фортификации и военному делу. В мемуарах гипертрофирована страсть великого князя к непрерывным военным упражнениям сначала с лакеями, а потом и с полком голштинских солдат в Ораниенбауме, в учебной крепости). Она компрометирует ставшего уже взрослым престолонаследника. Это представлено как блажь, страсть непросвещенного ума, детские увлечения, хотя это нужные для каждого владельца воинские умения. Великий князь не обращает внимания не только на неудобства, но даже и на страдания людей-марионеток (плохое размещение и необеспеченность провизией голштинского полка), а также не осознает необходимости углубленной военной подготовки. Ребяческие игры в войну свойственны как 16-летнему Петру, устраивающему военные учения со слугами (РТ–СРЗ: 207), так и 30-летнему мужчине, готовящемуся взять в свои руки управление государством.

Ораниенбаум соответствует топосу деревни в „Тристрате Шенди“. Сама повествовательница не раз называет его так. Согласно романной топике, в XVII и XVIII вв. пребывание в деревне связано с укреплением любовных отношений четырьмя вдали от искушений городской жизни, в данном случае двора. В деревне каждый, помимо того что делит свое время с другим, может быть сам собой и отдаться излюбленным занятиям. В автобиографии Екатерины эта аксиома романной топике травестирована. В Ораниенбауме, вдали от шпионов Елизаветы Петровны, супруги действительно чувствуют себя свободными и могут делать то, что им нравится. Великий князь уходит с головой в военные занятия, а великая княгиня делит свое время между охотой, ездой верхом (по-мужски!) и чтением. Так же как дядя Тоби сгорает от нетерпения построить свои маленькие крепости на участке в 1/3 акра, перекроить их расположение по картам каждой более или менее значительной осады

и разыгрывать с капралом Тримом военные действия, так и Петр играет в Ораниенбауме в солдатики живыми людьми.

Стерн:

Дядя Тоби, как уже знает читатель, привез с собой в деревню планы почти всех крепостей Италии и Фландрии; герцог Мальборо или союзники могли осадить какой угодно город, — дядя Тоби был к этому подготовлен.

Метод его был чрезвычайно прост: как только какой-нибудь город был обложен (— или, скорее, когда доходили известия о намерении обложить его) — дядя Тоби брал его план (какой бы это ни был город) и увеличивал до точных размеров своей лужайки, на поверхность которой и переносил, при помощи большого мотка бечевки и запаса колышков, втыкаемых в землю на вершинах углов и реданов, все линии своего чертежа; затем, взяв профиль места с его укреплениями, чтобы определить глубину и откосы рвов — покатошь гласиса и точную высоту всевозможных банкетов, брустверов и т.п. (с. 373).

Екатерина:

Несколько дней спустя великий князь просил у императрицы [...] разрешения отправиться во время ее отсутствия в Ораниенбаум [...] как только он там очутился — все стало военным; он с кавалерами весь день проводил на карауле или в других военных упражнениях... (РТ–Ч, 94).

В позднейшей редакции мемуаров соответствующий эпизод несколько обширнее и помещен под отдельной рубрикой „Военные занимания“:

Прибыв в Ораниенбаум, великий князь завербовал всю свою свиту; камергерам, камер-юнкерам, чинам его двора, адъютантам, князю Репнину и даже его сыну, камерлакеям, садовникам, всем было дано по мушкету на плечо; Его Императорское Высочество делал им каждый день ученья, назначал караулы; коридор дома служил им кордегардией, и они проводили там день [...] мужчины бывали измученные и не в духе от этих постоянных военных учений, которые приходились не слишком по вкусу придворным (РТ–СРЗ: 254).

В поздней редакции мотив бессмысленных военных занятий великого князя становится своеобразным лейтмотивом. В отличие от

романа Стерна, в котором странное хобби дяди Тоби – только черта его нелепого и бессмысленного существования и лишь повод намекнуть о последствиях „страстей“ сильных мира сего, Екатерина стремится проиллюстрировать эти последствия на реальном житейском примере, когда игра в войну деревянными, оловянными и иными солдатиками, строительство картонных крепостей и изобретение специальных жестяных пластин, производящих „пушечные залпы“ (РТ-СРЗ: 378), превращается в вызывающую недоумение постоянную забаву взрослого мужчины. Последствия трагичны из-за неспособности человека, ответственного за судьбы миллионов людей, провести границу между игрой и действительностью:

Приехав на дачу в Ораниенбауме, мы увидели там нечто необычайное. Его Императорское Высочество, [...] которому все говорили, чтобы он сократил число этих непутных людей, [...] взял да и решился вдруг выписать их целый отряд. Это было также дело рук злосчастного Брокдорфа, льстившего преобладающей страсти этого князя. Шуваловым он дал понять, что, потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат себе его милость [...]. От императрицы, которая ненавидела Голштинию и все то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя, герцога Карла-Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрыли [...]

Великий князь, который при Чоглокове надевал голштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого, кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка и, кроме того, был в России шефом Кирасирского полка. [...]

Его Императорское Высочество, в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали; между тем дело было неотложное, и произошло несколько столкновений с гофмаршалом, который не был готов к такому требованию; наконец он на это согласился и камер-лакеи вместе с солдатами Ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших. Этот лагерь был не особенно близко от дворца; ни тем, ни другим ничего не дали за их труд; можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение (РТ-СРЗ: 372–374).

Смысл эпизода носит откровенно пародийный характер. Его цель – не просто описать смущающее здравый разум поведение Петра Федоровича, а представить его жалким подражателем своего великого деда, тоже начавшего когда-то осваивать азы военного дела в „потешной“ крепости и в занятиях с „потешными полками“. Но то, что в прошлом послужило настоящей школой (напомню широко известный факт, что Петр I начинал как простой солдат и требовал ровного отношения к нему, как к другим солдатам и заслуживал свои чины), у внука осталось на уровне пустой игры. Необходимо отметить предвзятость мемуаристики, подчиняющей факты целям своего рассказа и сильно приуменьшающей как размеры крепости, так и серьезность военных занятий своего мужа, подражавшего не столь своему деду, сколь своему кумиру – Фридриху Великому.

В процитированном отрывке затрагивается также еще одна важная тема, занимающая должное место в „публицистическом“ дискурсе Екатерины: ответственность приближенных и вполне вероятная возможность того, что государь станет жертвой нечистых интересов. Вместе с тем повествовательница не пропускает возможности еще раз подчеркнуть антипатриотическое поведение супруга.

В редакции текста 1791 г. находится один из наиболее запоминающихся эпизодов, который придает дополнительный трагикомический оттенок происходящему и подчеркивает безумие и неадекватность поведения великого князя как мужа, заставляющего юную Екатерину усвоить до совершенства искусство владеть ружьем:

Из Летнего дворца ми переехали в Петергоф; великий князь не смел больше составлять полки из своих приближенных, в Петергофе он забавлялся, обучая меня военным упражнениям; благодаря его заботам, я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного гренадера. Он также ставил меня на караул с мушкетом на плече по целым часам у двери, которая находилась между моей и его комнатой (РТ–Ч: 108).

Описание этих странных для новобрачных отношений (эпизод следует почти сразу же после описания игры в куклы в семейной постели вскоре после свадьбы), в которых взаимное влечение

(вполне естественное для 17–18-летних персонажей) заменяется фетишем. Ружье как подмененный символ мужественности присутствует в известном эпизоде „Тристрама Шенди“, в котором захваченный военной страстью своего хозяина Тоби капрал Трим демонстрирует пастору Йорику ружейные приемы, владение которыми он сравнивает с хорошим знанием катехизиса:

Ваше преподобие изволили упустить, – сказал капрал, – взяв на плечо палку наподобие ружья и выступив на середину комнаты для пояснения своей позиции, – что это точь-в-точь то же самое, что проделать полевое учение. –

– „Встать в ружье!“ – скомандовал капрал, выполнив соответствующее движение.

– „На плечо!“ – скомандовал капрал, исполняя одновременно обязанность командира и рядового.

– „К ноге!“ – одно движение, с позволения вашего преподобия, вы видите, ведет за собой другое. – Прошу вашу милость начать команду с первой (с. 333).

Оба отрывка, относящиеся к редакции записок, посвященной барону Черкасову, – единственные „военные“ эпизоды в предшествующих поздней редакции вариантах текста. В более ранних редакциях можно найти ряд эпизодов, в которых говорится о ребячествах великого князя (игра в куклы в брачной постели, *ряженье* и вечерние забавы с лакеями, слезка за Елизаветой Петровной через собственноручно просверленные дырки в двери, ведущей в покои императрицы, дрессировка собак). Часто упоминается такая досадная привычка, как курение табака, обычай Петра рассказывать супруге о своих любовных интрижках. Особо следует отметить мотивы пьянства<sup>62</sup>, пиликанья на скрипке, которые, кстати, вызывают очередные аналогии с персонажем

---

<sup>62</sup> „Но дело в том, что дядя Тоби не был из числа людей, пьющих только воду; он не пил воды ни в чистом, ни в смешанном виде, никак и нигде, разве только случайно на каком-нибудь аванпосте, где нельзя было достать ничего лучшего, — — или во время своего лечения, когда хирург ему сказал, что вода будет растягивать мышечные волокна и это ускорит их сращивание, — — дядя Тоби пил тогда воду спокойствия ради“ (с. 453–454).

Стерна. В „черкасовской“ редакции есть развернутый эпизод о заговоре Асафа Батурина. Мемуаристка дает многочисленные сведения о характере своего супруга, но нигде больше не говорит о его военных занятиях. Противоположность увлечений супругов подчеркивает различия в их натуре и поддерживает строгое классицистское противопоставление их образов в отношении показателя зрелости и осознанности их действий. В позднейшем варианте автобиографии „военных“ эпизодов гораздо больше, и игра, в которой великий князь не видит разницы между реальностью и фикцией, становится одним из ведущих лейтмотивов.



Портрет великих князей Александра (будущего Александра I) и Константина

В поздней редакции мемуаров ориентация на „Тристрама Шенди“ более заметна. Бытовые реалии – страст великого князя к военным играм и военная организация жизни при его дворе становятся удобным поводом для аналогий со странным поведением персонажей Стерна, и это усиливает сатирический контекст, в котором должен рассматриваться, по замыслу Екатерины, образ ее супруга. Вместе с тем автобиография Екатерины II приобретает все больше черт политического трактата о личности государя. Вместо пикантных подробностей о солдатских навыках будущей императрицы, в намного более развернутом эпизоде поздней редакции появляется мотив серьезного чтения (уже не романы, а письма г-жи де Севинье и произведения Вольтера) как полезного времяпрепровождения и средства воспитания ума.

Таким образом, окончательный вариант текста приобретает другой смысл. Упоминание о том, как много людей страдает от капризов Петра, подчеркивает полярность в осознании обоими супругами их призвания и подготовки к предстоящей миссии. С другой стороны, приведенный эпизод демонстрирует ущербность поведения Петра как мужчины: постоянные любительские военные занятия лишают его галантности, умения уделять внимание дамам и собственной жене, т.е. черт поведения настоящего мужчины. Эти его качества соотносимы с мотивом беспомощности и необыкновенной стеснительности дяди Тоби в любовных делах<sup>63</sup>. Сомнения в мужских достоинствах супруга Екатерины

---

<sup>63</sup> Массовый читатель уже более двух столетий интересуется мужественностью печально известного русского императора не меньше, чем вдова Водмен мужскими качествами дяди Тоби. Интересно в этой связи отметить, что это одна из составляющих антимифа Петра III в русской культуре XVIII и XIX вв. В своих записках известный русский литератор XIX века Н. И. Греч повторяет распространенный анекдот, восходящий к секретным запискам Шарля Масона, бывшего секретаря французского посольства в последние годы правления Екатерины и во время правления Павла, претендующего на максимальную достоверность: „И так по батюшке Павел не Петрович, ибо известно, что Петр III был, что называется в просторечии к у р е я, неспособный к сожитию, или, по крайней мере, к производству плода, хотя он впоследствии и имел любовниц. Екатерина, сделавшись великою княгиней, долго была на деле княжною. Масон говорит, что первым, по

и бездетный на протяжении девяти лет брак – одна из ведущих сюжетных линий во всех редакциях автобиографии императрицы, а также предмет многих преданий и анекдотов, ходивших в обществе в следующие десятилетия. Аналогия с героем Стерна подчеркивает как неспособность персонажа быть достойным мужчиной и супругом, так и его неподготовленность к серьезным государственным делам, ожидаемым от него в будущем. Сообщенная супругой великого князя интимная подробность становится важной составляющей позднейших представлений о нем в русской истории.

Итак, интертекст „Тристрама Шенди“ очень важен для понимания „Записок“ императрицы. Екатерина II умело пользуется литературными ассоциациями, возникающими у читателей, знакомых с романом Стерна, чтобы сделать повествование ярче и убедительнее и, в конечном счете, усилить его публицистический характер.

---

времени, другом ее сердца был Сергей Солтыков и что Павел был его сын“ (Греч 1990: 84).



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автобиографические записки императрицы Екатерины II отличаются исключительно сложной поэтикой, ставшей результатом умелого сочетания традиционных публицистических посланий, характерных для общего дискурса русской литературы XVIII века (проблемы „просвещенного монарха“, его воспитания и ответственности перед обществом; дворянского долга и поведения, критики общечеловеческих пороков), с проблематикой романа и автобиографии в западноевропейских литературах. Неканонические, выросшие из реформированных жанров барочного романа, духовной протестантской автобиографии и мемуаров, эти два новых ключевых жанра Просвещения поставили в центр литературной вселенной человека, его духовную эволюцию, силу его характера, его умение творить собственную судьбу, вопреки обстоятельствам и трудностям, которые встречаются ему в жизни.

Эта книга – опыт первого целостного литературоведческого прочтения текста, считавшегося по презумпции документальным и нефикциональным. Объектом анализа был „романный дискурс“ в поэтике автобиографии Екатерины II, основанный на использовании универсального и космополитного „языка“ романа Просвещения, состоящего из устойчивых и повторяющихся сюжетных ситуаций, мотивов, характеристик персонажей и отношений между ними, пространственных описаний, несущих соответствующую семантику. Именно активное и хорошо обдуманное автором применение свойственной роману топики в повествовании об ее жизни определяет выбор концепции автобиографического рассказа, в котором демонстрируется неприятие предложенной Руссо модели автобиографии как исповеди.

Оригинальная поэтика текста, превращающая его в один из лучших образцов ранней русской мемуарной прозы, выявляется на фоне теоретического осмысления жанра автобиографии современным литературоведением на основании сходств и различий с близкими жанрами (мемуарами, дневником, путевыми заметками,

эпистолярными жанрами, автопортретом), как и в контексте его эволюции в русской литературе. Екатерининская автобиография – один из первых текстов русской мемуаристики в целом, в нем наблюдается отказ от национальной „летописной“ традиции, как и от характерного для русской культуры желания написать „поучение“, адресованное единственно ближайшим потомкам. Следуя западноевропейскому опыту, Екатерина создает автобиографию не просто как историю собственной личности, а как текст, предназначенный для публикации, хотя и отложенной во времени. Об этом замысле говорит также выбор языка повествования. Французский язык – не только „дамский“ язык в России (и в Европе) того времени, но это также универсальный космополитный язык образованных и думающих людей. Это также наиболее авторитетный и распространённый „романный“ язык в XVIII столетии. Взаимодействие и взаимопроникновение жанров автобиографии и романа дают основание объяснить поэтологические особенности текста отличным знанием со стороны автора романного репертуара своего времени.

Важнейшее значение в эволюции авторской концепции имеет восприятие философского дискурса Просвещения в связи с новыми проблемами эпохи. В первую очередь, это идея о неповторимости человеческой индивидуальности, проявляющейся в результате полученного воспитания и самовоспитания, в котором основную роль играет интеллектуальный труд, развивающий природные таланты. Другая важная для эпохи проблема – счастье как философский концепт, путь к которому рассматривается как плод личных усилий человека, а не как результат фатального предопределения. Эти актуальные для эпохи идеи заложены в „автобиографическом пакте“ позднейшей по времени редакции екатерининских мемуаров и определяют в значительной степени их поэтику, сочетающую черты философского трактата, романа в его разновидностях (политической, воспитательной, семейной и пр.) с конвенциями автобиографического письма.

Мемуаристка обращается к распространённой топике, представляющей судьбу женщины в западноевропейском романе XVII–XVIII веков, чтобы проиллюстрировать свой житейский путь от

рождения до формирования своего законченного характера, сочетающего „мужские“ качества с „женской“ приветливостью и привлекательностью. Последовательно используются традиционные топосы в рассказе об отдельных этапах жизни повествовательницы – детстве (нежеланная и нелюбимая дочь, пренебрежение со стороны матери, семья, обычное девическое воспитание); зрелом возрасте (основная роль здесь принадлежит топосу несчастного замужества в разных его вариациях; топика женственности; формы сопротивления и самоутверждения – ипохондрия, уединение, чтение, физическая активность (амазонка), переодевание в мужское платье, восприятие черт „мужественного“ поведения). Производит впечатление эволюция в использовании одних и тех же топосов в разных по времени написания редакциях текста, отказ от трафаретов – предсказаний счастливой судьбы, чудесных исцелений и пр., и переосмысление других с точки зрения последовательного создания автомифологии, подчеркивающей сильную и рациональную натуру героини. Таким же образом мемуаристка поступает с заимствованными из романов пространственными топосами, которые подчинены основной идее: проследить подготовку сильной духом и постоянно укрепляющей свои достоинства женской личности к главной миссии ее жизни – управлению государством. Поведению мемуаристки противопоставлено „немужественное“, „ребячливое“ и безответственное поведение ее супруга, великого князя Петра Федоровича, недостойного, согласно заданной в мемуарах концепции его образа, своего высокого, еще с рождения, предназначения.

В автобиографии Екатерины II устанавливаются интертекстуальные зависимости от конкретных романских текстов, имитация которых служит своеобразной маской в описании щекотливых обстоятельств и отношений в жизни автора (интертекст романа „Письма мисс Фанни Батлер“ г-жи Риккони в описании любовной истории с Салтыковым). С другой стороны, отсылки к романам усиливают желанную мифологизацию собственной личности и антимифа в образе супруга-соперника (интертекст „Тристрама Шенди“ Л. Стерна).

Обращение к топике романа и хорошо знакомым читателю романским сюжетам и персонажам превращается в удобную „маску“, которая придает достоверность рассказу, но скрывает „невозможную истину“, характерную для жанра литературной автобиографии. Это придает житейским ситуациям, рассказанным императрицей, оттенок универсальности и позволяет осмыслить их с точки зрения публицистических посланий, характерных для философских дискуссий того времени, связанных с личностью идеального просвещенного правителя, рассматриваемого в единстве своей человеческой и государственной ипостаси.



Екатерина II в коронационном платье

## **КНИГА ВТОРАЯ**

### **ПРОБЛЕМА „ПРОСВЕЩЕННОГО МОНАРХА“ В АВТОБИОГРАФИИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II**



## ВВЕДЕНИЕ

Эта книга посвящена публицистическим посланиям, содержащимся в глубоко интимном по презумпции документе – автобиографии императрицы Екатерины II. Еще с „Исповеди“ Руссо, сыгравшей роль архетипа, автобиография обычно представляет собой сложное целое, сочетающее черты многих жанров. Повествование о первых десятилетиях своей жизни Екатерина II создает как текст, в котором фактологический рассказ о пережитых событиях – лишь поверхность, обманчиво манящая читателей, рассчитывающих найти любопытные и чистосердечно рассказанные подробности о прошлом венценосной мемуаристки. Отличительная особенность этого текста – философичность, а над его посланиями Екатерина, „философ на троне“, тщательно работала во всех вариантах своих автобиографических записок, чтобы придать им законченный вид в позднейшей редакции, известной под названием „Собственно-ручных записок“<sup>1</sup>. В конечном итоге, последняя редакция записок была задумана и реализована не только как апология собственной жизни, но и как трактат о воспитании и самовоспитании будущих монархов.

Осмысление концепта „просвещенного монарха“ в екатерининской автобиографии исключительно важно, потому что оно созвучно поискам ведущих философов Просвещения и самих монархов верного ключа к усовершенствованию общества. Идея „просвещенного абсолютизма“ была важнейшей политической и философской проблемой XVIII столетия. Ее значение и актуальность определялись тем, что большинство государств того времени являлись монархиями, а их владельцы все более отчетливо осознавали необходимость реформировать отношения между монархом и элитой, монархом и обществом в целом, причем абсолютная власть начинала восприниматься одновременно как ограниченная и за-

---

<sup>1</sup> О редакциях текста см. вступительную заметку Я. Л. Барскова к репринтному переизданию русского перевода академического издания автобиографии Екатерины II (РТ: III–VIII); Крючкова 2009.



висимая: „В свою очередь понятие „просвещенный абсолютизм“ родилось из представлений о трансформации во второй половине XVIII в. системы управления большинства европейских стран под влиянием идей Просвещения, следствием чего стали масштабные проекты реформ. Считается, что отринув представления о божественном происхождении своей власти, монархи этого времени попытались дать ей рациональное обоснование и пришли к осознанию своего долга служить „общему благу“ (Карп 2013: 105). Именно эти представления придали особую значимость фигуры „просвещенного монарха“ как человека, способного соединить на практике идеи и политические реальности, который мог бы стать примером и для своих подданных, и для человечества в целом, т.е. способствовать всеобщему „счастью“.

Несколько выдающихся европейских монархов претендовали на осуществление союза мысли и государственной практики: Фридрих II, Мария Терезия Австрийская и ее сыновья Иосиф II и Леопольд II, Екатерина II, испанский король Карл III, шведский король Густав III (Карп 2013: 105). Силою обстоятельств Екатерина II сошла со сцены истории одной из последних. Это позволило ей одержать своеобразную „победу“ над соперниками в общественном мнении Европы (Шарф 2015: 390), хотя эту победу ей пришлось отстаивать в годы кровавых событий Французской революции и засилия внутренней оппозиции в России. Уникальность ситуации Северной Минервы состояла в том, что она была выдающейся фигурой одновременно нескольких политических и культурных контекстов – русского, немецкого, русско-немецкого и европейской истории своего времени (Шарф 2015: 46). К этому надо добавить еще факт, что она была женщиной, успешно соперничающей с мужчинами как в политике, так и в философии. Не надо забывать, что в силу этой уникальности каждый шаг русской государыни воспринимался с большой критичностью, тем более, что она, взшедшая на престол при сомнительных обстоятельствах, должна была постоянно доказывать свои качества достойного правителя, который заслуженно сидит на троне огромной империи. По мнению Э. Лентина, „добрая репутация не просто льстила ее самолю-

бию: она была залогом ее безопасности. Именно потому Екатерина была одним из первых правителей современности, поставивших пропаганду – целенаправленное культивирование собственного образа в глазах широкой публики – во главу угла своей политики; она первой широко использовала печатное слово для утверждения этого образа“ (цит. по: Левитт 2015: 230).

Уникальность житейского опыта Екатерины II неразрывно связана со спецификой культурно-политической ситуации России в XVIII веке. Философская мысль Просвещения, вдохновленная незаурядной фигурой Петра Великого и масштабом предпринятых им реформ, направленных на создание нового „регулярного“ государства, видела в малознакомой России удобную площадку для экспериментов, где можно было реализовать теории „на пустом месте“. „Сам факт, что Россия пыталась за несколько десятилетий достичь того, к чему Европа шла веками, придавал особый азарт поискам самоидентификации. По сравнению с европейским миром свет знания проникал в Россию стремительнее, внезапнее, победоноснее, поскольку руководил процессом сам Петр. В заключительном абзаце своей „Истории Российской империи в царствование Петра Великого“ Вольтер задается вопросом: „Если в хладном климате древней Скифии человек с помощью единого своего гения произвел столь великие дела, то, что должны сделать мы в государствах, где совокупные труды многих веков не оставили для нас ничего трудного?“, – обобщает Маркус Левитт особенности русского опыта (Левитт 2015: 65–66). Комментируя это высказывание Вольтера, ученый отмечает: „Экстравагантная риторика свидетельствует о том [...] как притягателен был русский эксперимент для воображения просветителей, что одновременно и отражало самовосприятие, и воздействовало на него“ (там же, 66). Россия волновала ведущие умы XVIII столетия своей огромностью, таинственностью, несоответствием привычных представлений о государстве. Философы Просвещения, начиная с Монтескье, считали, что из-за громадных размеров русской империи единственно возможной формой ее правления является деспотизм, в смысле единовластия. Для них очень важно было, однако, чтобы деспотизм был „просвещенным“

и не обратился в тиранию. Поэтому философы, присвоившие себе „право решать за потомков, кто из правителей – крупных мыслителей того времени – мог рассчитывать на посмертное признание своего исторического величия и „бессмертие“ (Шарф 2015: 55), восхищались „гениальным варваром“ Петром Великим, но не считали его типичным „философом на троне“. Екатерине – западному человеку, превратившемуся в „настоящего“ русского, приходилось балансировать между философией и практикой управления огромным государством. Она часто называла совершенный ею переворот „революцией“. Однако настоящая „революция“ выражалась в проведении невероятного множества реформ, которые должны были продолжить дело, начатое Петром I, и превратить государство в „регулярное“, основанное на рациональных принципах. Ей предстояло доказать европейцам, во многом мыслящим стереотипами, что „Россия есть европейская держава“ (чл. I ее „Наказа“).

Необходимо иметь в виду тот факт, что Екатерине – „философу на троне“ пришлось работать с разными поколениями просветителей. „Год 1762, год екатерининского переворота, был и годом переворота философского, который совершил Руссо, опубликовав „Общественный договор“ и „Эмиля“, на сцену взойшло новое поколение просветителей, и взойшло с таким шумом, что даже старый Вольтер не мог не заметить перемен“, – отмечает Ларри Вульф (Вульф 2003: 300). Гибкость мышления императрицы, ее постоянный интерес и критицизм к сочинениям философов различных поколений и национальных культур нашли выражение не только в документах ее царствования и ее литературных произведениях, но и в мемуарах. Поэтому исключительно важно понять, как императрица строила миф о себе, инвестируя накопленный символичный капитал в своей автобиографии, которую она адресовала как своим непосредственным потомкам, так и потомству в целом.

Нашим забывчивым современникам исследователь Клаус Шарф напоминает: „Правление Екатерины II было частью европейского Ancien Régime“ (Шарф 2015: 12). Он подчеркивает, что, „считая себя писательницей и желая, чтобы таковой ее считали другие, императрица пыталась через свои письма участвовать в европейском

литературном дискурсе“ (Шарф 2015: 62–63). Притом ученый не исключает, что екатерининские мемуары тоже претендовали быть текстом, предназначенным стать частью культурного настоящего и будущего Европы: „Фрагменты мемуаров, создававшихся Екатериной с середины 1750-х годов, хотя и с частыми перерывами, но до самой смерти, также не предназначались лишь для самоанализа; они задумывались в расчете на различных читателей, а в конечном счете – и на потомков“; он также считает, что автобиография императрицы предназначалась для печати. (Шарф 2015: 63–64).

В екатерининских мемуарах проблема просвещенного монарха является основной частью условно называемого мной „публицистического дискурса“, который отличается от романских повествовательных стратегий, используемых мемуаристкой для реконструкции своей „частной“ жизни. При этом на уровне публицистического автотеллерования, т.е. для описания своих государственных качеств, императрица обращается к трактовкам личности „просвещенного монарха“ в известнейших текстах Античности, Средневековья и Нового времени. Соседство и взаимодействие этих двух дискурсивных стратегий в мемуарах Екатерины II как нельзя лучше подтверждает идею Э. Канторовича о единстве „частной“ и „общественной“ ипостасей личности царствующей особы, „двух тел короля“ (Канторович 2005).

В центре настоящего исследования – интерпретация в автобиографии Екатерины II теорий Просвещения о „просвещенном монархе“ как основном факторе усовершенствования общества. Философы того времени, как и сама государыня (с правом считавшая себя одним из них), видели в законодательной области и учреждении „непременных гражданских законов“ самое действенное средство для достижения мечтанной социальной гармонии. Но императрица, в отличие от философов, имела особое преимущество – возможность апробировать эти идеи в политической практике, в принимаемых ею решениях и в столкновении с инерцией всего общества или с нежеланием определенных групп принять проводимые или только задуманные реформы. Практический опыт и здравый смысл, сопровождавший государыню на протяжении

всей ее жизни, нашли отражение в интерпретациях мемуаристкой ее собственного образа как будущей главы государства. Екатерина II тщательно строила мифологию о себе в этом очень удобном для этой цели жанре.

„Культуре XVIII столетия вообще было свойственно выставлять все и вся напоказ. Демонстрации этого видны и в пышных придворных церемониях, и в архитектуре, градостроительстве, садовых стилях, в одежде и в изящных искусствах. Все это предоставляло визуальные доказательства имперского величия России и требовало ее признания в ряду других европейских стран. Но выставление себя напоказ было не просто маркером мощи и равенства с другими, оно также играло важнейшую роль на психологическом и этическом уровнях, поскольку в обществе сложился императив, высказывавшийся с полной прямолинейностью: добродетель да заявит о себе. Стремление выставлять себя напоказ получило нравственно-философское обоснование [...]. Жанр автобиографии стал своего рода площадкой, где эти этические императивы проходили проверку жизнью, поскольку здесь описывалась борьба за добродетель в повседневной жизни. Так возник своего рода форум, где добродетель, не получившая должной награды в настоящем, могла рассчитывать на одобрение потомков“, – комментирует М. Левитт нравственные аспекты автобиографического жанра и его соотносительность с высоким жанром трагедии (Левитт 2015: 225–226).

Публицистические послания автобиографии Екатерины II редко заявлены открыто. Они устанавливаются на фоне ее переписки с различными корреспондентами, какими были как знаменитые философы Просвещения – Вольтер и Гримм, так и владелица престижного парижского салона г-жа Жоффрен, скульптор Фальконе, д-р Циммерман, занимающийся не только медициной, но и философией, английский посол Уильямс и Станислав-Август Понятовский. Особый интерес представляет корреспонденция императрицы с членами ее семьи (письма отцу) и близкими семейными знакомыми – г-же Бьелке. Обширное и разнообразное эпистолярное наследие русской государыни воссоздает событийный фон во времени и дает представление о том, как развивалось мышление

мемуаристики, как зарождались и реализовывались ее идеи в продолжении многих лет. Необходимо учитывать и сочинения императрицы другого характера, в том числе наброски, опыты пера, очерки, анекдоты и пр. В этом контексте особенно важны основные законодательные акты Екатерины II – „Наказ“, манифесты при вступлении на престол, указы Сенату, законы и другие официальные документы. Все эти тексты – репрезентации публичного бытия государыни – находятся в тесной взаимосвязи с ее собственным литературным творчеством (драматургией, журнальной и педагогической прозой) и последовательными усилиями по, обобщенно говоря, культивированию российского общества, воспитанию нравов и развитию европеизированной культуры.

Реальный контекстуальный фундамент публицистических посланий в автобиографии Екатерины II составляют читанные и штудированные ею философские и исторические тексты: сочинения Монтескье, Вольтера, Дидро, Бейля, „Энциклопедия“ в целом, произведения античных авторов и целой плеяды современников. Иногда даже маргинальные заметки на полях читаемых книг ставят необходимые толковательные акценты. Философский контекст в автобиографии императрицы проявляется на фоне многоголосья европейских мыслителей, предложивших свое виденье проблем просвещенного правителя, отношения человека и власти, славы и бессмертия. Д. Гриффитс справедливо указывает на то, что основную мотивацию Екатерины II в стремлении к бессмертию следует искать не только в ее тщеславии, но и в сочинениях западноевропейских философов, корреспондентов и собеседников императрицы – Вольтера, Дидро и прежде всего в статьях „Энциклопедии“ (Griffiths 1988; Гриффитс 2013: 38–59). Сквозные темы в принадлежащих перу Дидро статьях этого эпохального труда – бессмертие, храбрость, героизм, власть, макиавеллизм, потомство, память и забвение. Все они находят отклик на страницах автобиографии императрицы.

Мемуары Екатерины II тесно связаны со „сценариями власти“ Северной Минервы и используемой в них символикой. Поэтому немисливо рассматривать послания записок, не учитывая весь комплекс русской культуры екатерининской эпохи, т.е. не толь-

ко собственно литературные тексты, но также и взаимодействие различных жанровых форм, которые должны были обеспечить эффективность идущих от престола внушений. Несмотря на то, что в основных редакциях повествование не доведено даже до вступления на престол, а другие отрывки автобиографического характера отражают лишь отдельные моменты, связанные с этим событием и не представляют собой цельного текста, в автобиографии Екатерины II есть отсылки к основным документам и реформам ее собственного правления. Особо следует отметить стремление императрицы подчеркнуть свою связь не только с правящей династией (в плане наследственности, такой она по сути дела не имела), сколько прежде всего с принципиальными новаторскими идеями и реформаторским духом Петра Великого. Для императрицы как автора – это средство легитимировать свое правление, на которое до конца падала тень подозрения о совершенном преступлении на пути к власти, но и риторическая обосновка успешно проведенных десятилетий у державного руля, являющихся продолжением и усовершенствованием созданной первым русским императором концепции государственности. Еще одна надежда льстила самолюбию мемуаристки: в автобиографии она доказывает и себе, и прежде всего потомству, что была ревностным и справедливым „философом на троне“, который, если и не добился общественной гармонии в своем государстве, то сделал немало для созидания ее основ. Это – залог ее бессмертия, одна из главных целей ее записок.

Автобиография императрицы является трудным для комментария текстом, особенно с точки зрения повествовательных практик сиятельного автора. Практически до середины 2000-х годов текст не был объектом целостного описания. Зато тогда появилось сразу несколько работ (Фатеева 2007; Вачева 2008<sup>2</sup>; Крючкова 2009), которые говорят об актуальности темы. Большинство исследований,

---

<sup>2</sup> Книга „Романът на императрицата“. Романовият дискурс в автобиографичните записки на Екатерина II. Ракурси на четене през XIX век“ (София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008) была обсуждена в качестве диссертационного труда и одобрена к печати Кафедрой русской литературы Софийского университета им. Св. Климента Охридского в июле 2005 г.

опубликованных в последние годы, ставят акцент на исследовании достоверности фактов, сличая мемуарный рассказ с другими документами эпохи, и учитывая сдвиги в их интерпретации в отдельных редакциях записок (Крючкова 2009; Елисеева 2010а; Иванов 2007а; 2007б и др). Особенно высоко стоит оценить кропотливую работу с огромным множеством архивных документов и прежде всего с автографами екатерининских мемуаров, которую провели М. А. Крючкова и О. А. Иванов, а также их смелость разворошить устоявшиеся, ставшие даже шаблонными, представления историков. Другая группа исследований старается осмыслить екатерининские записки в контексте развития русской мемуарно-биографической литературы в целом или как текст, репрезентативный для женского творчества (Савкина 2001; 2007; Приказчикова 2010; Мамаева 2010; Акимова 2013; 2015). Однако все еще отсутствует целостное изучение автобиографии Екатерины II в комплексе ее посланий и нарративных стратегий. Что же касается анализируемой тематики, в последнее время все чаще автобиографические тексты императрицы привлекаются учеными наравне с ее законодательными, публицистическими и прочими литературными текстами. Первой попыткой проанализировать концепт „просвещенного монарха“ в мемуарах Екатерины II стала кандидатская диссертация Алисы Фатеевой „Mémoires“ Екатерины II в контексте эпохи Просвещения (концепт „философ на троне“), защищенная в 2007 г. (Фатеева 2007). В работе диссертантка высказала ряд заслуживающих внимания тезисов, которые могут быть полезными в разработке темы. Ее особо интересует положенность мемуаров Екатерины II в диалоге идей европейского Просвещения с учетом зарождавшегося общественного мнения. Существенную роль в выработке концепции рассказа, по мнению исследовательницы, имеет подражание Вольтеровским трудам „История Карла XII“, „История России при Петре Великом“, „Генриада“ (Фатеева 2007: 129). Диссертантка говорит о „развлекательной“ версии мемуаров (ранние редакции, посвященные графине Брюс и барону Черкасову) и „философской“ версии (с. 131), представленной в позднейшей редакции, известной по изданию Герцена как „Собственно-



ручные записки“, которая и является основным предметом анализа. К сожалению, интересные наблюдения Фатеевой теряются в ее попытках описать коммуникативную ситуацию в Европе XVIII века, в сообщении массы интересных, но отнимающих драгоценное место „посторонних“ подробностей. Недостатком работы является обращение только к русскоязычным работам по теории мемуаров и автобиографии без учета богатейшей и разнообразной международной литературоведческой традиции. Тем не менее, в ходе изложения рациональные идеи этого автора будут приняты во внимание.

Трудность исследовательского комментария вытекает также из динамичности екатерининской автобиографии, концепция которой менялась со временем. В ранних вариантах это был опыт критического автопортрета с целью самоанализа и краткое изложение своей истории для близких людей. В двух поздних редакциях, над которыми императрица работала с конца 80-х начала 90-х гг. XVIII века, автобиография превращается и в философский трактат о достоинствах и призвании государя, адресованный как ближайшим собственным наследникам императрицы, так и потомству в целом. Политическая теория подкрепляется конкретными эпизодами из практики самой мемуаристики, а рассказ облечен в топику, характерную для романа Просвещения (см. Вачева 2008, здесь Книгу Первую).

Другую трудность в комментировании этого сложнейшего текста создают навыки письменной работы высочайшего автора. Клаус Шарф обобщает свои наблюдения над текстом „Наказа“, но они, можно сказать, относятся вообще к манере письма императрицы: „... Екатерина, обладавшая определенными навыками компиляции и расстановки собственных акцентов, собственноручно уничтожила многие из своих черновиков – не сохранилась даже оригинальная рукопись „Наказа“ на французском языке“ (Шарф 2015: 132–133). Выходит, что исследователям автобиографии различных поколений повезло, потому что сохранилось так много черновых отрывков, планов, редакций этого текста. Однако „определенные навыки компиляции и расстановки“ могут запутать не одного уче-

ного. Екатерина II блестяще владела принципами господствующей риторической культуры своего времени, которую А. В. Михайлов характеризует следующим образом: „В рамках такого риторического типа культуры, истиной можно играть и над истиной можно смеяться, можно из каких бы то ни было соображений переворачивать истину, но опровергать и отрицать истину, собственно говоря, нельзя, потому что тут, в рамках такого типа культуры, в конечном счете всегда совершенно твердо известно, что есть истина и что есть истина, а вместе с тем все истинное еще и морально положительно, так что [...] изменить самое систему, при которой есть нечто истинное, правильное, доброе, благое, совершенно невысказано, как и невозможно сделать так, чтобы существовало какое-либо знание, не имеющее морального смысла и т.д.“ (Михайлов, А. 1988: 310). Именно в духе „рефлексивного традиционализма“ (Аверинцев 1996 *passim*) или „мифориторической культуры“ (А. В. Михайлов) строит свой автобиографический профиль Екатерина II, рассчитывая на метафизичность образа добродетели. В мемуарном тексте она проводит сложную смысловую игру фактами, которые, как установили историки, достоверны. Вопрос, конечно, состоит в их интерпретации, и ее комментарий будет одной из важнейших задач проводимого анализа.

В духе философских трактатов о государе повествование основывается на сравнении образа мемуаристки с другими историческими лицами, прежде всего с ее мужем, великим князем Петром Федоровичем, будущим Петром III, и предшественницей – Елизаветой Петровной. Это постоянное сопоставление характерно для всех редакций текста, но наиболее последовательно проявляется в двух последних по времени редакциях. Петр Федорович представлен в автобиографии как антипод героини и отрицательный пример поведения будущего государя. Сравнение с Елизаветой Петровной имело свои основания в практике Екатерины-государыни, которая во многом продолжает начинания предшественницы, а также активно использует накопленный ею символический капитал. Амбивалентное отношение к „Петровой дочери“, заметные изменения в интерпретации образа этой государыни в позитивную

сторону имели очень важную для мемуаристики цель: они легитимировали ее связь с правящей династией прежде всего в символическом плане. С другой стороны, они позволяли ей представить свое правление как усовершенствование достигнутого предшественниками и увенчание многолетних стремлений беспорным успехом.

Очерченный круг проблем определяет структуру книги. В первой главе **„Личность государя в теоретических представлениях Просвещения и в автобиографии Екатерины II“** анализируется интерпретация собственного образа мемуаристики с точки зрения универсальных теорий Просвещения о „просвещенном монархе“, в которых значительную роль играло усвоенное философами античное наследие. В центре внимания – наиболее дорогие Екатерине II интерпретации ее собственного образа как законодательницы, утвердившей справедливыми законами основу для усовершенствования общества, и как „философа на троне“. О принципах отправления власти государем, о дозволенном и недозволенном рассуждает императрица, следуя собственному опыту и споря со своим „учителем“ Вольтером и главным соперником за прозвище „философ на троне“ – Фридрихом Великим по поводу принципов, сформулированных Макиавелли. Вторая глава **„Символьный капитал монаршьего имени“** посвящена освоению символики национальной традиции власти, воплощенной в именах императрицы – рожденном и приобретенном, и ее связи с общими ценностями эпохи Просвещения. Глава третья **„Государь и двор“** рассматривает интерпретацию в мемуарах Екатерины животрепещущей проблемы русского социума ее эпохи – отношений монарха и дворянской элиты. Императрица опять-таки возвращается к своему писательскому опыту, используя скрытые ссылки на „Велизария“ Мармонтеля, в переводе которого на русский язык активное участие принимала она сама. В четвертой главе **„Между практикой и мифом. Диалог образов в екатерининской автобиографии“** анализируется связь автобиографического образа с петровским мифом в поисках собственного бессмертия. Мифологизация собственной личности мемуаристики достигается сложной системой отношений между главными действующими лицами в автобио-

графическом рассказе. Это проявляется на концептуальном уровне системы персонажей, принципы которой Екатерина II заимствует из „Сравнительных жизнеописаний“ Плутарха. Подражание античному тексту дает возможность высочайшему автору соотносить свой автобиографический образ не только с Елизаветой Петровной и Петром Федоровичем („диады“), но также с мифом о Петре Великом, что в конце концов получает выражение в заключительной „тетраде“.

В заключении надо сказать, что автор книги не льстит себя мыслью о том, что он исчерпал все возможные подходы к запискам Екатерины II. Читателю предлагаются всего лишь четыре сюжета для размышлений. О. А. Проскурин определил в своей известной книге поэзию Пушкина как „интертекстуальный айсберг“ (Проскурин 1999). Таким же „интертекстуальным айсбергом“, по-видимому, является и автобиография Екатерины Великой, в которой современный читатель в силу своей большей или меньшей искушенности в мировой литературе, истории и философии может распознать „свой“ отрывок и понять лукавый намек автобиографа.



Екатерина II как Минерва. Памятная медаль по случаю восхождения на престол, 1762 г.

## Глава первая

# ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПРОСВЕЩЕНИЯ И В АВТОБИОГРАФИИ ЕКАТЕРИНЫ II

### Античный контекст в автобиографии Екатерины II

Предметом внимания здесь будет проблема интертекстуальных связей между текстом екатерининской автобиографии и одними из популярнейших произведений древности – „Сравнительными жизнеописаниями“ Плутарха и „Размышлениями“ Марка Аврелия. Эта проблема – часть проблемы использования античного наследия в „сценариях власти“ правления Екатерины II и его отзвука в сочинениях императрицы. Государыня была исключительно внимательна к посланиям, отправляемым посредством античных образов, мифологических, исторических, выдуманных и реальных, в сценариях публичных празднеств, зрелищ, в произведениях изобразительного искусства, нагруженных пропагандными идеями. В этом отношении она не только не уступает своим предшественникам (в том числе и Петру Великому), но включает подобные образы в сложные парадигмы, сочетающие национальную традицию и античное прошлое, идеи античных философов и их последователей – философов Нового времени. „Итоговый вариант [автобиографии – А. В.], впитавший все освоенное прежде автором, рационалистически четко выверенный от стиля оформления до логики построения, обнаруживает влияние, „следы присутствия“ нескольких античных авторов: Платона, Плутарха, Цицерона, Марка Аврелия и нескольких современных: Вольтера, Монтескье и, отчасти, Руссо“, – отмечает современная исследовательница, ограничившаяся, однако, констатацией (Фатеева 2007: 129).

Античный контекст, воспринимаемый как философский контекст о государе, отчетливо присутствует также в автобиографии Екатерины II, несмотря на отсутствие прямых ссылок на древние

тексты. Имена писателей древности и названия их знаменитых произведений упоминаются на страницах екатерининских записок и представляют любимое престижное чтение юной героини. Однако проблема не исчерпывается лишь прямыми упоминаниями. Гораздо важнее отсылки к философским дискуссиям эпохи Просвещения, использующим образы и идеи древних в обсуждении животрепещущих проблем современности. Необходимо подчеркнуть, что императрица, работая над последними двумя редакциями своей автобиографии, обращалась к известнейшим текстам древности, которые были хорошо знакомы аудитории. Екатерина II не просто желала провести ассоциации с наиболее известными персонажами древности. Она также считалась с тем, что образы античных героев из самых популярных текстов были знакомы всем образованным людям, и поэтому использовались философы Просвещения в качестве иллюстраций определенных идей.

### **„Сравнительные жизнеописания“ Плутарха в европейской культуре эпохи Просвещения. Сюжет о законодателе и екатерининская автобиография**

Античная тема, античные образы, в том числе восходящие к „Сравнительным жизнеописаниям“ Плутарха, активно присутствовали во всей палитре литературы Просвещения (См. Grell 1995). Несмотря на явное преобладание римских авторов в репертуаре чтения образованных западноевропейцев, изучавших досконально латынь с детства, „Жизнеописания“ и „Моралии“ Плутарха были на протяжении веков среди самых известных произведений древнегреческих авторов. Об этом свидетельствуют как учебные программы разных типов учебных заведений – религиозных и светских колледжей, университетов, так и каталоги частных библиотек, сведения о многократных переизданиях и пр. (Grell 1995, I: 59–61; 99; 103–106; 297). Ограниченное знание древнегреческого языка, характерное для небольшой высокообразованной прослойки людей, привело к популярности французских переводов произведения Плутарха (например, переводы Амио, Дасье). Это приобщило к чтению античной класси-

ки широкие слои читательской аудитории и сформировало в ней более высокую общую культуру, вкус, гражданские добродетели. „Обучение истории на основе образцов и деяний должно было стать инициацией в моральную философию. Отсюда проистекает значение, которое придавали современники индивидуальным судьбам замечательных людей. Корнелий Непот в младших классах, Плутарх в старших были среди наиболее востребованных авторов, среди наиболее ценимых“, – отмечает Шанталь Грель (Grell 1995: 43). Андре Дасье писал в предисловии к своему переводу „Сравнительных жизнеописаний“ (1694): „Это книга не только для всех людей, но для всех возрастов; она, может быть, единственная, которая может с пользой развлекать детей и в то же время основательно занимать взрослых“ (Цит. по Grell 1995: 43). Через восемьдесят лет другой переводчик, Делиль де Саль, определит произведения Плутарха как учебник для всего человечества и сравнит их с энциклопедией; по его мнению, древний писатель проник в глубокие тайны человеческого сердца и создал высший моральный кодекс (там же).

Екатерина II очевидно рассчитывала на хорошее знание публикой и в Европе, и в России жизнеописаний героев древности. Наравне с текстами других античных авторов, „Жизнеописания“ Плутарха были хорошо известны также русским читателям XVIII века. Известный знаток истории русской литературы М. Лонгинов констатировал век спустя: „Греки и римляне, вечные учителя и образователи человечества, были лучше знакомы нашим дедам, чем нам. Они могли уже тогда читать в русских переводах Гомера, Гезиода, Анакреона, Платона, Аристотеля, Плутарха, Ксенофона, Вергилия, Горация, Овидия, Цицерона, Тацита, Саллюстия и других древних авторов“ (Цит. по Приказчикова 2009: 103). Сюжеты о Солоне и Крезе, восходящие к Плутарху присутствуют в русской поэзии еще в XVII в. в „Вертограде многоцветном“ Симеона Полоцкого (Алексеева, Н. 2005: 45).

О популярности Плутарха еще в начале XVIII столетия свидетельствуют каталожные списки частных библиотек, приобретенных казной и заложенных в основу будущей библиотеки Акаде-

мии наук<sup>1</sup>. О распространении древнего текста можно судить и по сохранившимся библиотечным записям о занимаемых читателями книгах или по каталогам книжных магазинов (Хотеев 1986: 57; Копанев 1986: 89, 156). „Жизнеописания“ Плутарха в России были известны во французских переводах. На русском они появились в 1750 году под заголовком „Жизнь славных мужей“ и были опубликованы за счет Академии наук. Переводчик С. С. Волочков перевел произведение Плутарха с французского же перевода Андре Дасье (ИРПЛ 1995, I: 108). Качество русского текста вызвало неудовлетворенность в академических кругах своими „неисправностями“, а автором острой критической заметки предположительно был Тредиаковский. Критик негодовал против многочисленных погрешностей: „... Во многих местах против свойства российского языка весьма погрешено; также и сила французских слов переведена не право во многих местах, отчего преизрядная сия книга не может понравиться всему обществу читателей наших“ (там же). Интерес русской аудитории к произведениям Плутарха вызвал к жизни еще несколько переводов. В 1765 г. С. Глебов перевел с французского „Сравнительные жизнеописания“, а в начале 70-х годов Степан Писарев перевел с греческого отрывки „Моралий“ (1771–1774) (РЕЛС 2008: 290)<sup>2</sup>. Эти факты говорят об исключительной популярности текстов древнего писателя, из которых образованные русские черпали сведения об античности, а некоторые даже устраивали свою жизнь согласно полученным представлениям<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Например, книжное собрание герцога Курляндского Фридриха-Вильгельма (супруга Анны Иоанновны), приобретенное в 1716 г., библиотека государственного деятеля А. Виниуса, приобретенная в 1717 г. (См. Хотеев 1986: 7–8, 11).

<sup>2</sup> Полный перевод „Плутарховых сравнительных жизнеописаний“ вышел в свет на русском языке из-под пера С. Дестуниуса едва в начале XIX века (1814–1821) и вызвал множество подражаний, в том числе с героями нового времени (РЕЛС 2008: 290).

<sup>3</sup> Е. Е. Приказчикова отмечает это характерное свойство мифориторической культуры в России конца XVIII – начала XIX, когда актуализировались культурные смыслы, стоящие за множеством ономофифов, с которыми часто ассоциировали себя люди того времени (Приказчикова 2009: 103).



Широкая известность античных текстов в конце XVIII – начале XIX века и подражание в жизни литературным моделям были заключительным этапом мифориторической культуры, господствовавшей в Европе с конца эллинистической эпохи: „Античность как культурная реальность и культурное представление безмерно превосходит своим участием в жизни этой эпохи частность и дробность любых заимствований, подновлений рефлексий и отражений. Античность участвует в самом бытии этого этапа европейской культуры, участвует в логике его движения, приводящего к слову. И можно сказать, что, вступив в эту эпоху как живой культурный фактор, она с истечением ее утрачивает эту свою роль“, – отмечал А. В. Михайлов. (Михайлов, А. 1988: 308). Автор отмечает, что „наипростейшие постоянные этой культуры – имена собственные из огромного (но по существу обозримого) мифологического и риторического репертуара; постоянные, т.е. фиксированные содержания, образцы, представления“ (Михайлов, А. 1988: 313). Для исследователя особенно важна тенденция эпохи конца XVIII – начала XIX века к максимальному сближению с античностью (Михайлов, А. 1988: 318). Е. Е. Приказчикова подчеркивает важность для русской культуры того времени культа героической античности и его связь с мифом о Плутархе – „учителе доблести, славы и чести“ (Приказчикова 2009: 105). Исследовательница отмечает интернациональную распространенность „плутарховского мифа“ в мемуарно-автобиографической литературе эпохи, в том числе его проявление в „Исповеди“ Ж. –Ж. Руссо (Приказчикова 2009: 106). По ее мнению, в России XVIII – первых десятилетиях XIX века особенно важно восприятие античных сюжетов и образы персонажей считалось специфическим культурным кодом, служившим основой воспитательных стратегий: „Подобное мироощущение достигалось специальным воспитанием, в результате которого реальная жизнь человека воспринималась в контексте соответствующих античных культурных кодов, функционирование которых было ограничено рамками определенной исторической эпохи, позволяющей человеку осуществлять двойное бытие в „эпохе чувствительности“ и в эпохе „героической античности“.

Безусловно, общая культурно-историческая ментальность времени диктовала необходимый угол восприятия даже „плутарховского мифа“ (Приказчикова 2009: 109).

\* \* \*

Хрестоматийные примеры, известные с детства образованным людям всех частей континента, давали очень нужную Екатерине философскую перспективу из прошлого, универсального для всей европейской культуры, к будущему. Императрица, по всей видимости, надеялась на популярность древнего произведения у будущих поколений, что создало бы необходимый фон для восприятия философских посланий ее автобиографии.

Биографические очерки красноречивого Плутарха представляли удачную модель рассказа о достоинствах и недостатках каждого характера, представленного на фоне сведений о его происхождении, детстве и воспитании, о его подвигах и поведении в критических ситуациях. Широкая популярность древнегреческого автора давала отличную возможность для желаемых ассоциаций, тем более, что ведущие его персонажи прочно входили в систему образов-символов екатерининского правления. Это вписывалось в основные принципы екатерининской культурной политики, претендовавшей на своеобразное продолжение дела великого предшественника. По словам современного исследователя, „... Петр призывал учиться у европейцев. Екатерина просвещенно приказывала учиться у всего мира – у Европы, Древней Греции и Рима, Киевской Руси, чтобы обрести свою индивидуальность. Она вновь вернулась к идее „вселенской державы“, но уже не под эгидой Православия, а руководимая мудрой имперской политикой, населяемой мирными, дружественными и просвещенными народами, равно любимыми своим государем и любящими его безмерно“ (Савельева 2007: 268).

Важнейшим компонентом образа Екатерины – „философа на троне“ – была ее законодательная деятельность. Недаром эта тема явилась поводом для многих восхвалений философов Просвещения, она также осязаемо присутствует в иконографии государыни.

Гравюры, медали, живописные парадные портреты сопровождали важнейшие законодательные акты государыни, также как и военные победы<sup>4</sup>. Они предназначались не только для русской, но прежде всего для общеевропейской аудитории. Наиболее известны современному читателю парадные портреты Екатерины-законодательницы в храме богини правосудия Д. А. Левицкого. Визуальные репрезентации были рекламой самой атрактивной стороны деятельности императрицы, особенно в начале ее правления, и распространялись на территории всего континента, сопутствуя или опережая популяризацию самих законодательных актов – „Наказа“, уставов об учреждении Воспитательного дома для незаконнорожденных, Смольного института благородных девиц и пр.<sup>5</sup> Р. Уортман отмечает, что по случаю учреждения комиссии по составлению нового Уложения (1767) „произведения искусства и литературы изображали Екатерину в обществе законодателей классической древности, чаще всего Нумы и Ликурга. В их компании она приобретала сакральность основателя и творца. Гравюра этого времени показывает Екатерину стоящей у трона; рядом с нею Минерва и Марс. Ее правая рука указывает на открытую книгу, „Наказ“. Простой народ рвется к трону, стремясь увидеть дарованные ему наставления. На большом обелиске надпись: „Благо всех и каждого“. Сзади на колонне стоит статуя древнего законодателя. Перед тронном сидят двое детей, Ромул и Рем; из-за них выглядывает волчица“ (Уортман 2002, I: 171). Стефан Баер, впервые обративший внимание на эту гравюру, подчеркивает идею 521 статьи „Наказа“ сделать русский народ „самым счастливым из всех народов на земле“ (Baehr 1991: 121). Исследователь отмечает, что пять классических персонажей, символизовавших законность, поря-

<sup>4</sup> О визуальных репрезентациях Екатерины II см. McBurney 2014.

<sup>5</sup> Об интересе к ним и респективно к законодательству свидетельствует реписка библиотекаря австрийского императора Валентина Жамре-Дювала и придворной дамы Екатерины II Анатасии Соколовой (Jamerai Duval 1784). Русская корреспондентка постоянно посылает в Вену эстампы, памятные медали, гравюры, за которые признательный получатель не находит слов выразить свою благодарность, он рассказывает о впечатлении своих друзей от этих подарков и иногда жалуется на похищение своих „сокровищ“.

док и справедливость, чаще всего встречаются в русских утопических сочинениях, визировавших новое законодательство: Нума, Ликург, Астрея, Моисей и Фемида. Все они метонимически обозначали государыню в произведениях русских авторов, особенно после публикации „Наказа“ (Ваehr 1991: 121).

Законодательная деятельность Екатерины II – это ее вариант „просвещенного абсолютизма“. Ее воспринимали и сама императрица, и современники как истинный цивилизационный проект, который не только должен упорядочить жизнь огромной империи, но также послужить примером воплощения на деле заветных идеалов Просвещения о гармоническом устройстве общества. Законодательная деятельность рассматривалась в двойкой перспективе. Это была не только реализация определенных политических намерений и стратегий, но также и своеобразное отношение к традиции. С одной стороны, это было завершение революционных преобразований России, начатых при Петре Великом, с другой стороны, Екатерина отталкивалась от его примера и интерпретации его образа философами как „варвара“, сама закладывая основания образцового просвещенного государства<sup>6</sup>. В этом контексте надо отметить, что в отличие от России, в которой Петр I восхвалялся исключительно за свои военные успехи и за свою многогранную деятельность<sup>7</sup>, в сочинениях западных философов его цени-

---

<sup>6</sup> См. на эту тему: Живов 2002; Савельева 2006; 2007: 187–276; Lortholary 1951; Wilberger 1976 и др.

<sup>7</sup> Можно вспомнить в этой связи ломоносовское определение из эпопеи „Петр Великий“: „строитель, плаватель, в полях, морях Герой“ (Ломоносов 1986: 282) или „Надпись I к статуе Петра Великого“:

Се образ изваян премудрого героя,  
Что, ради подданных лишив себя покоя,  
Последний принял чин и царствуя служил,  
Свои законы сам примером утвердил,  
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,  
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.  
Когда он строил град, сносил труды в войнах,  
В землях далеких был и странствовал в морях,  
Художников сбирал и обучал солдатом,

ли прежде всего как законодателя, создавшего „новую“ империю на почве законов, во многом отвечавших видению мыслителей о гармоническом устройстве общества. Начало этой традиции было положено Фонтенелем, который в „Похвальном слове Лейбницу“ („Eloge de Leibnitz“, 1716) и в похвальном слове по случаю смерти Петра Великого (1725), написанном по поручению Французской академии наук<sup>8</sup>, создает образ царя-философа, который вместе с таким великим умом, каким был Лейбниц<sup>9</sup>, старается реформировать свою страну на основе рациональных и справедливых законов (Lortholary 1951: 17–25). Среди главных достоинств Петра I Фонтенель называет скромность и неприятие роскоши, стремление пользоваться предметами собственного труда, покровительство наукам и искусствам. Особое внимание секретарь Академии уделяет новой социальной политике, проводимой Петром, согласно которой не происхождение, а заслуги имеют преимущество. Среди других политических актов Фонтенель подчеркивает церковную реформу, секуляризацию церковных земель, акцент на светскую культуру, борьбу с суевериями. Все эти вопросы были особенно актуальными для тогдашней Франции (и Европы) и стали общим местом в сочинениях, посвященных Петру Великому на Западе

---

Домашних побеждал и внешних сопостатов;

И словом, се есть Петр, отечества Отец;

Земное божество Россия почитает,

И столько олтарей пред зраком сим пылает,

Коль много есть ему обязанных сердец (Ломоносов 1986: 208).

<sup>8</sup> В июне 1717 г. Петр I посетил Академию наук в Париже, которая в конце того же года присудила царю звание чрезвычайного члена (*académicien hors de tout rang*), а в 1720 г. признала его иностранным членом (*associé étranger*) (Lortholary 1951: 22).

<sup>9</sup> Фонтенель имел в виду несколько встреч Петра Великого и Лейбница, назначение последнего приватным юридическим советником царя и инициирование создания Академии наук в Петербурге (Fontenelle 1785, II: 256–257). Сам факт, что Петр I был принят членом Французской академии говорит о том, что западные мыслители видели в нем царя-философа на троне. Фонтенель в похвальном слове на смерть Петра Великого очерчивает все виды государственной деятельности царя, его личную активность и в характеристиках приближается к русским интерпретациям образа этого государя, но все же акцент ставится на покровительство науки и его созидательной деятельности (Fontenelle 1740).

Европы на протяжении всего столетия, в том числе и для работ Вольтера. Для западноевропейских просветителей Петр остается гениальным варваром, который однако, имел смелость реформировать, согласно рациональным нормам, свою страну.



Петр I

„Будучи обстоятельствами поставлена в условия крайнего противоречия, Екатерина гениально угадала, что следовало найти для себя такую функцию, которая, во-первых, ранее не реализовалась ее предшественниками, во-вторых, могла бы стать новым критерием определения „сакрального“ и подтверждением сакральности ее персоны. И такой функцией стало законотворчество“, – отмечает М. Савельева (Савельева 2007: 238). Исследовательница обращает внимание, что, закладывая основания современных законов, отвечающих теориям эпохи Просвещения, и представляя монарха не как мистическую личность, а как человека, исключительного перед лицом своего Отечества, Екатерина II была по-своему „Первой“, а не „Второй“ (Савельева 2007: 188, 238).

Мысль о том, что Екатерина во время работы над мемуарами обращалась к „Сравнительным жизнеописаниям“ Плутарха не нова. На несомненное воздействие древнего текста на концепцию персонажей и на выбор жанровой модели екатерининских записок указывали многие (Гриффитс 2013: 45; Hoogenboom & Cruse 2006: L–LI; Фатеева 2007: 129). Основания для этого им давало не только упоминание популярной книги древнего автора в тексте екатерининской автобиографии в эпизоде с графом Гюлленборгом, а многочисленные ссылки на античных героев в письмах императрицы или в ее речи. „Я, как Алквад, уживусь и в Спарте, и в Афинах“, – цитирует императрицу В. О. Ключевский, комментируя гибкость ее характера и умение ужиться и работать с различными людьми в разных обстоятельствах (Ключевский 2000, III: 261). Такие самоидентификации с героями древнего мудреца были характерной чертой русской культуры XVIII – первой половины XIX века (Приказчикова 2009: 102–103). „Сравнительные жизнеописания“ были не просто дорогим воспоминанием мемуаристки об увлекательном „полезном“ и приятном чтении в юные годы. К книге древнего автора она обращалась всю жизнь<sup>10</sup>. Это один из „вечных“ текстов мировой литературы, архетип которого можно было установить и в ряде других любимых книг, читаемых императрицей на протяжении всей ее жизни. Отзвуки рассказов Плутарха слышны и в „Опытах“ Монтеня, и во многих текстах любимых современных писателей государыни<sup>11</sup>. Присутствие тем и образов „Сравнитель-

---

<sup>10</sup> Секретарь Екатерины II в последние годы ее жизни Адриан Грибовский свидетельствует: „Любила Плутарха, переведенного Амиотом, Тацита и Монтаня“ (Грибовский 1847: 22).

<sup>11</sup> А. Фатеева предполагает, что Екатерина заимствовала идею подражания Плутарху у своего „учителя“ Вольтера, разработавшего в ряде своих литературных и исторических сочинений („Генриаде“, „Истории Карла XII“, „Истории русской империи при Петре Великом“) проблему просвещенного правителя (Фатеева 2007: 42, 47, 130–131). Однако было бы слишком категорично ограничить круг текстов, которые могли бы дать подобную идею сиятельному автору, лишь этими произведениями. О. Мамаева подчеркивает интертекст Плутарха у Монтескье и Лабрюйера, и у других авторов, часто читаемых и штудированных императрицей (Мамаева 2010: 109–110).

ных жизнеописаний“ и „Моралий“ Плутарха в „Опытах“ Монтеня волновало еще первых издателей знаменитых эссе французского писателя<sup>12</sup>. Это одна из важных проблем в изучении творчества этого авторитетнейшего автора в истории французской (и мировой) литературы<sup>13</sup>. Интертекст Плутарха в „Опытах“ Монтеня проявляет себя и как структурный принцип, и как диалог образов, и как текстуальные заимствования<sup>14</sup>.

„Античный материал [...] был воспринят русской культурой не сам по себе, не в том реально-историческом виде, в каком он существовал в жизни древних Греции и Рима, а в амальгаме с западноевропейской культурой Нового времени – осложненный контекстом и традицией восприятия его в Германии, Франции или Италии эпохи барокко и классицизма, т.е. в конце XVI – начале XVIII века“, – писал известный знаток античности в России Г. С. Кнабе (Кнабе 1999: 102).

Активно использовали биографии плутарховских героев все авторитетные писатели, которых императрица читала не только в своей юности, но также и на протяжении всей своей жизни и на произведении которых она опиралась в своей государственной практике. Это происходило не только тогда, когда Екатерина изучала и использовала высказанные идеи в созданных ею документах, но даже тогда, когда спорила или не принимала определенное учение. Философы Просвещения решали на примере судеб героев древности, описан-

<sup>12</sup> См. подробно Konstantinovic 1988: 1–2. Исследовательница отмечает издания мадемуазель де Гурнэ (Mlle de Gournay) конца XVI века.

<sup>13</sup> Основания поколениям исследователей и издателей давали собственные признания Монтеня, который сам указал, что упомянул имя древнего автора 88 раз в „Опытах“ (Konstantinovic 1988: 1). В своем третьем издании „Опытов“ Монтеня 1745 года Пьер Кост указал на более 350 „заимствований“, более явных или скрытых у Плутарха (Konstantinovic 1988: 3).

<sup>14</sup> Изабела Константинович посвящает репертуару заимствований вторую часть своего внушительного исследования. Исследовательница подчеркивает, что не всегда это прямые заимствования и призывает исследователей к осторожности (там же, 15). По ее мнению, вероятно Монтень обращался к „Жизнеописаниям“ также через „посредников“. Это тем более актуально для писателей XVIII века, которые, используя образы Плутарха, продолжали длительную литературную и философскую традицию.



ных Плутархом, фундаментальные вопросы о счастье, благосостоянии общества и общественной пользе, тирании и свободе, нравах и добродетели – общественной и частной, патриотизме, воспитании. Это были также главные проблемы, над которыми Екатерина II работала на протяжении своего правления и которые старалась решить с позиции „философа на троне“ – и в теоретическом, и в практическом плане. Это также концептуальные проблемы в ее автобиографии.

Один факт заслуживает особого внимания. Императрица не только использовала длительную традицию чтения и осмысления европейской философской мыслью Плутарха, но и русские попытки популяризации древнего писателя. Судя по письмам к ней Ф.–М. Гримма, она сама активно работала над собственным переводом „Сравнительных жизнеописаний“. Это совпало по времени с работой императрицы над „черкасовской“ редакцией ее автобиографии и началом работы над позднейшей редакцией. В нескольких письмах с января 1791 года по ноябрь 1793 года Гримм хвалит сиятельную корреспондентку за то, что она, вопреки своей огромной занятости государственными делами в самых разнообразных сферах, все же находит время переводить Плутарха на русский язык (СИРИО 1885, 44: 396, 401, 444, 499). Сама Екатерина предпочитает обходить молчанием свои опыты перевода древнего текста. По всей видимости, она не была довольна результатом. В письме к Гримму от 13.05.1791 г. императрица упрекает корреспондента в том, что он вообще поднимает этот вопрос (СИРИО 1878, 23: 539). Этот перевод, по-видимому, неудачный и незаконченный, не вошел в собрание сочинений Екатерины II, однако „Сравнительные жизнеописания“ Плутарха серьезно повлияли на концепцию ее автобиографии.

Обращение мемуаристки к любимой книге юности можно установить в двух планах. С одной стороны, это характерная для нее самоидентификация с различными персонажами. С другой стороны, это заимствование у популярного древнего образца жанровой модели, согласно которой сравнивались два образа известных героев, объединенные каким-то сходством в их судьбе, деяниях и пр. Аллюзия на хорошо знакомые литературные образы и ситуации не раз выручала автора в сложной задаче рассказать „правду“ о себе.

Возможное подражание древнему писателю можно установить не только в поздней редакции, в начале которой намечено ясное сопоставление Екатерины II и Петра III, но и в более ранних вариантах текста и особенно в „черкасовской“ редакции.

В екатерининской автобиографии нельзя выявить открытые параллели с произведением древнего автора. Тем не менее, в тексте можно обнаружить скрытые ссылки и самоидентификации с популярными персонажами. Интертекст „Параллельных жизнеописаний“ предоставлял автобиографу прекрасные возможности напомнить о своих собственных преобразованиях. Он как бы открывал перспективу будущего и напоминал читателю о славных свершениях российской государыни в области мирного обустройства ее государства. Популярные образы владетелей и их хрестоматийные нововведения, снискавшие почет их подданных, а также их приход к власти, напоминали читателям о важнейших событиях собственного правления Екатерины.

В екатерининских мемуарах в первую очередь можно обнаружить скрытую самоидентификацию автобиографа с образами легендарных законодателей, Ликурга в Спарте и Нумы Помпилия в Риме. Это отличает автобиографию от прочих текстов (в особенности писем), созданных императрицей, в которых можно встретить шуточные или серьезные самоотождествления с другими популярными персонажами древнего мудреца.

Производит впечатление, что Екатерина II отказывается от попытки уподобления таким важным образам у Плутарха, а вслед за ним и у ряда других философов Просвещения, какими были Александр Великий и Юлий Цезарь<sup>15</sup>. В письме Гримму от 17 ноября 1777 г. императрица даже подшучивает над „любителями ее физиономии“, которые находят сходство в ее профиле, вырезанном на камее, с Александром Великим (СИРИО 1878, 23: 70). На первый взгляд это может показаться даже странным. Блестящие военные победы „екатерининских орлов“, мощь империи давали основания

<sup>15</sup> На случай собственного мифотворчества в жизни Александра Васильевича Суворова указывает Ю. М. Лотман. По мнению ученого, Суворов строил свой идеализированный образ, ориентируясь на героев Плутарха, в первую очередь на Цезаря (Лотман 1996: 558).

для подобной самоидентификации. Однако не только присутствие „второго“ Александра (внука, будущего императора Александра I) и связанные с ним надежды были причиной отказа Екатерины от такого отождествления. Для нее важным было не только продолжение традиции громких военных побед России, а создание „своего“ русского „космоса“, упорядочение законодательного „хаоса“. Объяснения также можно поискать не только в значении, которое императрица придавала своей законодательной деятельности, но и в осмыслении ею идеи о просвещенном монархе.

Д. Гриффитс констатирует: „... Автором самого удачного портрета самоотверженного законодателя, обретшего бессмертие, был Плутарх. Из его „Жизнеописаний“ Екатерина вывела представление о своей собственной потенциальной роли в истории – представление, подкреплявшееся интеллектуальной атмосферой ее времени и наиболее эффективно популяризированное авторами „Энциклопедии“... Одной из характеристик героя в понимании Плутарха была республиканская добродетель, присущая его персонажам даже после того, как республика сменилась империей. Абсолютная монархия Екатерина II была непреклонна в своем убеждении, что она – республиканка в классическом смысле слова“ (Гриффитс 2013: 45). В своей классической статье „Екатерина II: императрица республиканка“ автор подробно рассматривает парадоксальное, на первый взгляд, заявление императрицы об ее республиканизме. Исследователь подчеркивает, что понимание ею республиканизма сводилось, в первую очередь, к тезису о верховенстве закона, которому должны подчиняться все – от монарха до последнего подданного. Впрочем, это один из важнейших тезисов Просвещения, которое противопоставляет не столь монархию республике, которые схожи своим уважением к законности, сколь монархию и республику деспотизму. Просветительская философская мысль противопоставляла верховенство и неукоснительное применение закона в монархическом или республиканском правлении произволу деспотического правления. Сюжет о монархе – философе и законодателе, соотношенный с собственной личностью, был особенно дорог Екатерине II также с гендерной точки зрения. Даже ее оппонент на европейской поли-

тической сцене, который сам претендовал на звание „философа на троне“ – Фридрих Великий, признавал за ней подобные заслуги. Джон Александр и Р. Уортман цитируют высказывание прусского короля по поводу „Наказа“ его соперницы и бывшем когда-то протеже: „Мы до сих пор не слышали о женщине-законодательнице. Эта слава останется за русской императрицей“ (Уортман 2002, I: 170). Уважение к верховенству закона Екатерина II демонстрирует еще в первые часы своего правления. 28 июня 1762 г. в первый день переворота, новая императрица издает указ Сенату, которым она вверяет этому высшему органу, хранителю законности, „отечество, народ и сына моего“, а сама заявляет, что „Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол“ (Оснадцатый век 1869, 4: 207).

Образ Екатерины-законодательницы, созидательницы русского „рая“, обеспечившей благосостояние и процветание своей страны, благодаря своей мудрости, справедливости и покровительству наук, устойчиво присутствует также в русских похвальных одах второй половины столетия, вышедших из-под пера Хераскова, Петрова, Державина (см. Ваehr 1991: 74–89).

Сюжет о Ликурге был исключительно важен для Екатерины, дорожившей прежде всего своим имиджем законодательницы-творительницы „новой“ России. В контексте дискуссий европейского Просвещения образ этого героя Плутарха сосредотачивал в себе споры о личности владетеля, а также идеи о государственном строе. Законодательство Ликурга и спартанский образ жизни как популярные сюжеты Плутарха были поводом для философов различных поколений ломать копыя в ожесточенных спорах.

Легендарный образ Ликурга – образцового законодателя древней Спарты был основным для разработки темы государственного строя, личности владетеля, долга перед обществом, стандарта жизни сильных мира сего в трактатах авторов различных поколений, исповедующий часто противоположные идеи. Многие из этих авторов были хорошо известны и популярны не только в Западной Европе, но и в России того времени. Это были Бейль, Монтескье, Вольтер, Шарль Роллен, круг энциклопедистов, Руссо, Мабли, абат Рейналь, Мерсье де ла Ривьер. Многие из них метонимически

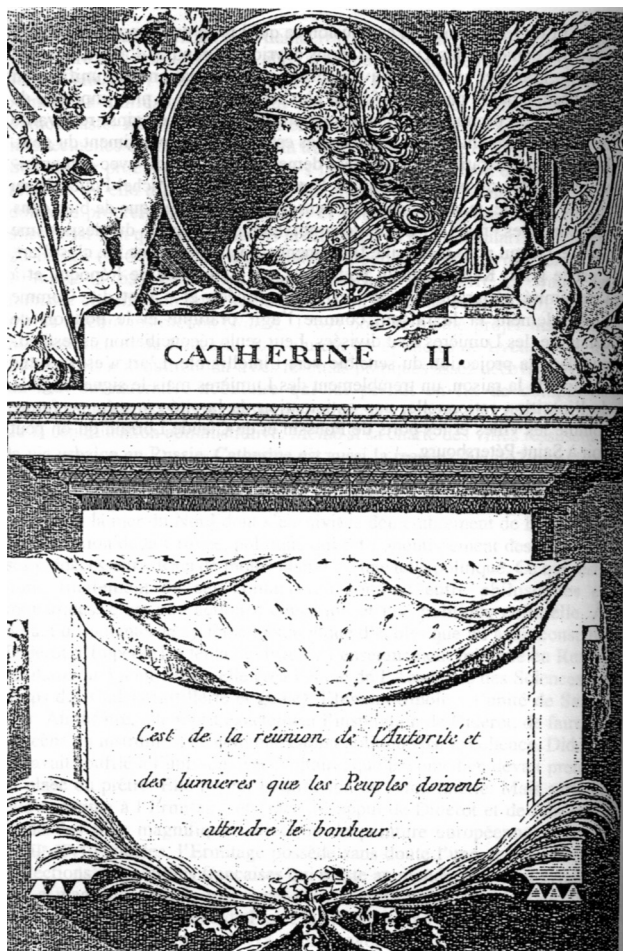
называли Петра Великого в своих сочинениях „Северным Ликургом“, „Солоном“ (Lortholary 1951: 21; Riazanovsky 1985: 19).

Произведения всех этих философов играли важную роль в русской культуре XVIII века и, в свою очередь, вдохновляли поиски русской философской и общественной мысли<sup>16</sup>. В центре дискуссий русских мыслителей стоял вопрос о самодержавии, прерогативах власти монарха, проблеме свободы. В этой связи следует учитывать значение русского контекста в тот период, когда императрица работала над последними двумя версиями своей автобиографии.

И. З. Серман убедительно показал, что плутарховский Ликург был главным архетипом образа добродетельного государя в русских утопиях XVIII века. Ученый отмечает, что для русской культуры этого столетия были характерны исторические утопии, в которых на основе (псевдо)исторических сюжетов русские писатели выражали свои идеи об идеальном устройстве общества: „... Кроме утопий придуманных, XVIII век охотно обращался к своеобразному типу политических утопий, которые строились на особой интерпретации данных истории: они в должном истолковании легко превращались в социально-политическую утопию. [...] Среди других исторических утопий особой популярностью пользовалась та, о которой рассказал Плутарх в „Жизни Ликурга“. [...] Именно отношение к „Законам Ликурга“ позволяет с наибольшей полнотой и отчетливостью проследить, как воспринимались политические утопии представителями разных направлений общественной мысли XVIII века“ (Серман 1998: 216).

---

<sup>16</sup> Тут можно вспомнить с какой настойчивостью В. К. Тредиаковский стремился ознакомить русского читателя с древней „Историей“ Роллена, готовый перевод которой сгорел в петербургском пожаре и заново был осуществлен переводчиком (Благой 1950: 148). Тредиаковский переводит два эпохальных труда Роллена на русский язык: „Римская история...сочиненная г-ном Ролленом... а с Французского переведенная тщанием и трудами В. Тредиаковского“. Т. 1–16. СПб., 1761–1767 и Древняя история, сочиненная чрез Г. Ролления... а ныне с Французского переведенная чрез Василья Тредиаковского... Т. 1–10. СПб., 1749–1762 из заметки Благого не становится ясно какой из них имел упомянутую судьбу. Именно Тредиаковский своими переводами из Роллена познакомил русского читателя с плутарховским Ликургом. Сюжет о Ликурге дал русским авторам материал для множества социальных утопий (См. Серман 1998: 218; Артемьева 2005: 82).



Французская гравюра Паке последней трети XVIII века,  
Екатерина II как Минерва

Плутарховский рассказ о Ликурге дал пищу многим интерпретациям в творчестве представителей дворянской идеологии, ратующих за большее, даже определяющее, участие сословия в механизмах власти. Фрондерски или проправительственно настроенные, недовольствующие критики или радикально мыс-

лящие, многие представители русской общественной мысли – Тредиаковский, Сумароков, Новиков, князь М. М. Щербатов, Херасков, Княжнин, Радищев, Карамзин – обращались к образу Ликурга – справедливого законодателя, организовавшего свое государство на принципах строгого порядка и справедливости. Нередко этот сюжет давал благоприятные возможности выразить свое неодобрение к екатерининскому правлению, и соответственно, к утопическим по своей сути идеям, которые содержал в себе „Наказ“. Фигура законодателя, дискуссия о просвещенном монархе и принципах государственного устройства были очень важными для императрицы проблемами и с точки зрения недавних радикальных интерпретаций идей Мабли Радищевым в его „Путешествии из Петербурга в Москву“<sup>17</sup>, и с учетом популярности идей этого философа в годы Французской революции не только в революционной Франции, но также среди молодых умов России. Духовник будущего Александра I Самборский свидетельствовал о настроениях начала 90-х годов: „Вольноглаголение о власти самодержавной почти всеобщее... чувство, воспалившееся примером Франции, предвещает нашему любезнейшему отечеству наиужаснейшее кровопролитие...“ (Цит. по Семенников 1923: 42–43). Поэтому акцент на свои заслуги как законодательницы были не просто плодом инерции „сценариев власти“ екатерининского правления, которые пожилая императрица повторяла в очередной раз. В контексте актуальных политических проявлений и событий и в России, и в революционной Франции скрытые реминисценции „вечных“ образов плутарховых законодателей

<sup>17</sup> Этот вопрос обстоятельно был поставлен еще В. П. Семенниковым в его статьях о Радищеве (Семенников 1923). Ю.М. Лотман обстоятельно рассматривает аналогии и заимствования из „Размышлений о греческой истории“ радикального французского мыслителя в тексте „Путешествия из Петербурга в Москву“ Радищева, который и перевел этот текст на русский язык (Лотман 1958). В своих комментариях к „Путешествию“ ученый выявляет скрытую цитату из рассказа Плутарха об убийстве Цезаря, использую ее как оправдание расправы над тираном (Лотман 1990, II: 125–126. Также: Семенников 1923: 17). И. З. Серман анализирует обращение к образу Ликурга в позднем творчестве Радищева на рубеже XVIII и XIX вв. после возвращения из ссылки – в „Песни исторической“, в записке „О законоположении“ (Серман 1998: 228–229).

были способом легитимировать себя перед историей, респективно вечностью. Вполне может быть, что Екатерина II заочно спорила со своим русским оппонентом, используя реминисценцию на восторженные описания у Мабли „нового народа“, созданного усилиями законодателя Ликурга (Grell 1995: 476).

Сюжет о Ликурге напоминал о достоинствах великой княгини, ее популярности и надеждах, которые были связаны с ней. Он корреспондирует также с автобиографическим отрывком, не вошедшим в основной текст мемуаров, повествующим о времени недолгого царствования Петра III, в которых мемуаристка рассказывает о себе в 3 л.:

Екатерина II:

Со времени смерти императрицы, его тетки (Елизаветы Петровны, тетки Петра III, – А. В.), делали тайно различные предложения императрице Екатерине, которые она никогда не хотела слушать, постоянно надеясь, что время и обстоятельства изменят что-нибудь в ее несчастном положении, тем более, что она знала без всякого сомнения, что в конце концов вовсе не могли коснуться ее положения или ее особы без величайшего риска. Народ был всецело ей предан и смотрел на нее, как на свою единственную надежду. Образовались различные партии, которые думали помочь бедствиям своей родины; каждая из этих партий обращалась к ней в отдельности и одни совершенно не знали других. [...] Она смотрела на свой долг и на свою репутацию, как на сильный оплот против честолюбия; даже эта опасность, которой она подвергалась, была для нее новым блеском, всю цену которого она сознавала. Петр III был неизменной мушкой на очень красивом лице. Поведение Екатерины по отношению к народу было всегда безупречно; она всегда хотела, желала и жаждала лишь счастье этого народа, и вся ее жизнь будет употреблена лишь на то, чтобы доставить русским благо и счастье (РТ: 505).

Плутарх:

Взгляды сограждан были постоянно обращены к нему, и людей, преданных ему в силу его высоких нравственных качеств и охотно, с усердием выполнявших его распоряжения, было больше, нежели просто повиновавшихся царскому опекуну и носителю царской власти (Плутарх 1961, I: 55).



Кроме того, это был удобный сюжет, который скрыто напоминал о лидерских различиях с Петром Федоровичем, носителем династического права: „... что единственное отличие их нынешних царей от народа – это титул и почести, которые им оказываются, тогда как в нем видна природа руководителя и наставника, некая сила, позволяющая ему вести за собою людей“ (Там же). Екатерининская „революция“ 1762 года сходна с историей воцарения Ликурга, обратившегося к знатнейшим гражданам и собравшего тридцать доблестных мужей, вышедших с оружием на площадь, чтобы восстановить справедливость. Деятельность легендарного законодателя могла бы вызвать ассоциации с основными событиями и намерениями российской императрицы. Это в первую очередь созыв законодательной комиссии и попытки обновить весь корпус законов: „... Ликург приехал назад и тут же принялся изменять и преобразовывать все государственное устройство. Он был убежден, что отдельные законы не принесут никакой пользы, если, словно врачаю больное тело, страдающее всевозможными недугами, с помощью очистительных средств, не уничтожить дурного смешения соков и не назначить нового, совершенно иного образа жизни“ (Плутарх 1961, I: 56). Другие меры Ликурга – раздел земли, запрет на обращение дорогих золотых и серебряных монет и предпочтение дешевых для чеканки железных монет можно соотнести с губернской реформой и с денежной реформой – введение ассигнаций вместо звонкой монеты.

Другой персонаж „Параллельных жизнеописаний“ – Нума Помпилий также занимал важное место в сценариях екатерининской эпохи. Хорошо известна аллюзионность романа Хераскова „Нума Помпилий, или Процветающий Рим“ (1768), в котором писатель, интерпретируя древний сюжет, соотносил его с законодательными усилиями монархини. Роман появился в разгар деятельности Комиссии по составлению нового Уложения. По мнению Татьяны Артемьевой, „Нума“ Хераскова представлял собой „программную утопию эпохи“: „В нем в полной мере отразились мечты о правлении, которое можно было бы назвать софиократическим, или фило-софиократическим, то есть такой форме, когда к власти приходят мудрецы или философы. По этому поводу Херасков писал:

„Можно теперь сказать с божественным Платоном: счастливы те народы, у которых философ государем бывает, или государь философом делается. И можно увериться, что слава не одним оружием, и не одними войнами приобретена бывает“ (Артемьева 2005: 380).



Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия

В мемуарах императрицы можно провести известные параллели с легендарным законодателем, что позволило Екатерине, используя некоторые сходные мотивы, намекнуть будущим читателям на свои свершения.

В первую очередь это происхождение Нумы, который был не римлянином, а сабинцем, т.е. чужаком, иноземцем, как и сама героиня мемуаров. Может быть, самая важная деталь – совпадение рожденных дат легендарного персонажа и императрицы – и Нума, и Екатерина родились 21 апреля<sup>18</sup>. Другое сходство, позволяющее самоидентификацию с древним героем, – его характеристика, совпадающая с самооценкой мемуаристки: „Божественным изволением он родился в день, когда Ромул основал Рим, - за одиннадцать дней до майских календ. Нрав его, от природы склонный ко всяческой добродетели, еще более усовершенствовался благодаря воспитанию, жизненным бедствиям и философии: Нума не только очистил душу от порицаемых всеми страстей, но отрешился и от насилия, и от корыстолюбия (которые у варваров отнюдь не считаются пороками), отрешился, истинное мужество видя в том, чтобы смирять в себе желания уздою разума. Он изгнал из своего дома роскошь и расточительность, был для каждого согражданина, для каждого чужестранца безукоризненным судьей и советчиком, свой досуг посвящал не удовольствиям и не стяжанию, а служению богам и думам об их естестве и могуществе и всем этим приобрел славу столь громкую, что Татий, соправитель Ромула в Риме, выдал за него за муж свою единственную дочь Татию“ (Плутарх 1961, I: 80)<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Эта дата указывается в переводе В. Алексева соответствующей главы из „Сравнительных жизнеописаний“ (Плутарх 1987, I: 128). Однако, если абстрагироваться от вычисления точной даты, достаточно совпадение во времени года.

<sup>19</sup> В другом переводе: „По воле свыше он родился 21 апреля, в день основания Рима Ромулом и его товарищами. Богато одаренный нравственными качествами от природы, он еще более успел в своем умственном развитии благодаря учению, несчастьям своей жизни и серьезным размышлениям. Он укротил в себе не только низменные желания, но и отрешился от страстей, находящихся себе одобрение среди народов, – от насилия и корысти. Обуздывать желания силой рассудка он считал истинным подвигом. Вот почему он изгнал у себя в доме всякую негу и роскошь и готов был услужить каждому гражданину и иностранцу в качестве не-

Эти характеристики героя Плутарха корреспондируют со многими качествами, сообщаемыми автобиографическому образу. Совершенствование „нрава“ благодаря (само)воспитанию, жизненным бедствиям и философии проходит красной нитью в описании собственной судьбы Екатерины. „Избрание царя „по заслугам“ соотносилось с распространенной в одах того времени мифологией восшествия на престол Екатерины“, отмечает В. Проскурина, комментируя аллюзионность романа Хераскова (Проскурина 2006: 129). Одним из ведущих лейтмотивов в автобиографии Екатерины II, связанный с легитимностью ее правления, была обоснованность ее выбора как народом, так и предшественницей на троне, увидевшей в ней настоящую преемницу сложившейся традиции, независимо от ее первоначальной „чуждости“ как династии, так и нации. Ц. Уиттакер, детально исследовавшая диалог русской монархии и писателей, как представителей интеллектуальной элитой общества, отмечает, что Екатерине II удалось сочетать в своем правлении концепции трех типов монархий, которые были разработаны мыслителями на протяжении XVIII века. Эти три типа сливаются у нее воедино. Первым типом монархического государства руководит царь-реформатор, действия которого затрагивают все сферы деятельности. Второй тип – это монархия, в которой выбранный народом правитель заключает своего рода соглашение. Третий тип монархии – тот, в котором монарх предназначен управлять согласно законам (Whittaker 2003: 119). Ссылки на плутарховских героев в автобиографии императрицы подтверждают правоту выведенного ученой заключения. Уиттакер привлекает также внимание к тому, что мыслители „укутали Екатерину многослойной мантией легитимности“ (там же). Как нельзя лучше проблему легитимности мемуаристка решает, прибегнув к сложной повествовательной модели, подсказанной ей именно „Сравнительными жизнеописа-

---

погрешимого судьи и советника, в то время как сам посвящал свободное время не удовольствиям или заботам о своем обогащении, а служению богам и размышлениям об их свойстве и могуществе. Благодаря этому он приобрел себе славное, блестящее имя, так что правивший Римом вместе с Ромулом Татий выдал за него свою единственную дочь Татию“ (Плутарх 1987, I: 128).

ниями“ Плутарха. Этот вопрос будет рассмотрен подробно в последней главе книги.

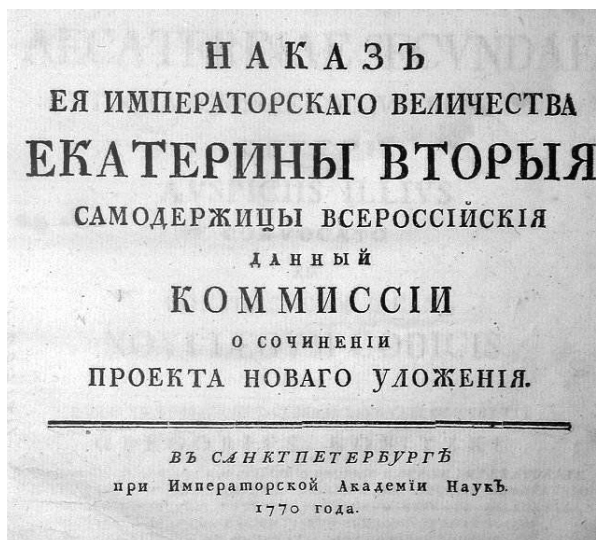
### **„Философ на троне“ в „Размышлениях“ Марка Аврелия и в мемуарах императрицы**

Марк Аврелий традиционно признан первым „философом на троне“. Его мифологизированный образ стал синонимом идеального правителя и часто использовался как метонимическое обозначение монарха в трудах многих философов Просвещения. Несмотря на популярность этого римского героя в русской культуре с первой половины XI века (Гаврилов 1985: 119), метаморфоза осмысления его образа как монарха-философа на троне активно началась, по всей видимости, в елизаветинские времена. Петр Великий не только ввел в репрезентации власти подражание римским (а как доказал Поль Бушкович, скорее западноевропейским) триумфам, но и сам внимательно следил за сценариями и используемыми образами, предпочитая ассоциирование собственной персоны с античными богами и мифологическими персонажами (Марсом, Геркулесом), но никак не с реальными римскими императорами, даже если это были Август и Юлий Цезарь (Bushkovitch 2008: 170)<sup>20</sup>. Примечательно, что, даже когда в 1703 г. Славяно-Греко-Латинская академия, организовавшая триумф 1703 года, предложила сравнение Филиппа Македонского с царем Алексеем Михайловичем, Петр отклонил отождествление его собственной персоны с Александром Великим, сохранив это право для сына, двенадцатилетнего тогда царевича Алексея Петровича (Bushkovitch 2008: 169–170). В текстах Петровской эпохи встречаются сюжеты, связанные с Августом, Цезарем, даже Сципионом Африканским, военачальником,

---

<sup>20</sup> Примечательно, что философы Просвещения, как современники первого русского императора, так и представители более поздних эпох предпочитали видеть в нем прежде всего законодателя, создавшего новые справедливые законы, коренным образом реформировавшие страну и ее нравы, а не столь военного гения, стратега, завоевателя (Шмурло 1929; Mohrenschild 1972; Lortholary 1951; Mervaud Ch.&Mervaud, M. 2001; Мезин 2003). В то же самое время сам Петр Великий, очевидно, ценил свои военные успехи выше, чем законодательные.

не имевшим императорского достоинства, но отсутствует сюжет с первым императором-философом. Петр I видел гравюру конной статуи Марка Аврелия, но он заинтересовался прежде всего фигурой коня, заказав даже в 1716 г. Карло Бартоломео Растрелли изготовить проект собственной конной статуи (Bushkovitch 2008: 170–171)<sup>21</sup>. Все-таки А. К. Гаврилов не исключает, заметное присутствие первого „философа на троне“ в Петровскую эпоху: „Наверное, Петру I ставили в образец Марка Аврелия; Петра Велико-го, надо думать, с ним сравнивали и, наверное, лишь случайно не встретились нам свидетельства“ (Гаврилов 1985: 120).



Титул русского издания „Наказа“

<sup>21</sup> В начале 20-х гг. XVIII века планировалось воздвигнуть мемориальный комплекс в память о Полтавской битве (1709) на поле под Полтавой. Мемориал по замыслу должен был напоминать памятник Марку Аврелию перед храмом Юпитера в Риме, но реализовать проект не удалось (Зелов 2002: 184). Проект Растрелли долго оставался нереализованным, изготовленная бронзовая конная статуя сохранялась под навесом до ее установления Павлом I перед Михайловским замком в 1800 г. См. дискуссию о символике памятников Петру Великому в конце IV главы.

Похоже фигура Марка Аврелия „воскресла“ для политических сценариев по аналогии или в подражание практики в других европейских странах и прежде всего во Франции. Из исторических персонажей этот римский император, известный не только подвигами на поле брани, но и своими философскими сочинениями и успешным управлением государством, также служил частым поводом для монарших идентификаций, начиная с середины XVIII века<sup>22</sup>.

В России реактуализированный образ Марка Аврелия ассоциировался во второй половине XVIII столетия с образами Елизаветы Петровны и Екатерины II. Героиня мемуаров была свидетельницей отождествления предшественницы с Марком Аврелием еще в первые годы ее правления. Позже пожелания быть новым Марком Аврелием, как и новым Александром стали особенно актуальными при рождении любимого внука императрицы, будущего Александра I<sup>23</sup>. Примечательно, что русские авторы при подобных отожд-

---

<sup>22</sup> Другим историческим персонажем, который был „унаследован“ Екатериной от Елизаветы, был римский император Тит. Особенно популярным и в России, и в Европе стал сюжет о милосердии этого владетеля. Начало своего царствования Елизавета Петровна отметила грандиозным представлением оперы „Милосердие Титово“ на музыку Гассе, Мадониса и Даллио, поставленной в честь ее коронации в апреле 1742 (Анисимов 1986: 173). Е. В. Анисимов отмечает наличие характерного для эпохи пролога, в котором в художественной форме декларировались политические послания нового царствования: „Авторы опер и балетов не смели преступать традицию жанра [...] и не решались ставить опер и балетов на актуальные для современников темы. Однако потребность в спектаклях, доходчиво и эффектно выражающих важные политические идеи, существовала. Ответом на эту потребность было появление специальных прологов, которые показывались зрителю перед началом основного представления. Так, опере „Милосердие Титово“, поставленной в честь коронации Елизаветы в апреле 1742 г., предшествовал пролог „La Russia affita e reconsoleta“ („Россия по печали паки обрадованная“), написанный Я. Штелином. Пролог (о нем речь шла в первой главе) в аллегорической форме прославлял совершенный Елизаветой переворот“ (Анисимов 1986: 173).

<sup>23</sup> Исследователи рецепции „Размышлений“ Марка Аврелия в России подчеркивают многовековую историю популярности этого текста, которая может соперничать с известностью „Сравнительных жизнеописаний“ Плутарха и даже превзойти ее. Имя римского императора-философа было известно еще древнерусскому читателю из византийской хроники Георгия Арматолы, переведенной в XI веке. В более позднее время сюжеты, связанные с Марком Аврелием, час-

дествлениях не смущались гендерным несоответствием между личностями российских императриц и римского императора. Социальная функция государынь считалась достаточным условием для подобных метонимий. „Если Петр принял вид Августа, военного вождя, то Екатерина представила себя наследницей Нумы Помпилия и Марка Аврелия, государей, славных не только военным командованием, но и мудростью. Образцом для Екатерины был не король-солнце, а король-философ. Этим она отвечала на ожидания западных деятелей Просвещения“, отмечает Р. Уортман (Уортман 2002, I: 170). Однако, несмотря на дифирамбы русских одописцев во главе с Ломоносовым, восхвалявших мудрость Елизаветы Петровны и оказываемое ею покровительство наукам и просвещению, дочь Петра Великого все же не могла претендовать на этот „титул“, который оставался в сфере пожеланий, тогда как высоко просвещенная Екатерина стремилась с основанием претендовать и ассоциировать себя с римским императором-философом.

---

то встречаются в хронографах. Римский император присутствует в литературе русского барокко XVII века. Как и „Сравнительные жизнеописания Плутарха, „Размышления“ Марка Аврелия были широко известны в России XVIII века во французском переводе. Они, например, продавались одновременно с произведением Плутарха в университетской книжной лавке в Москве в середине столетия, причем опять-таки в варианте супругов Дасьё: Marc-Aurèle Antonin. *Réflexions morales de l'empereur Marc Antonin, trad. du grec par André et Anne Dacier, avec remarques.* Amsterdam, 1740, 2 vol. (Копанев 1985: 149). В XVIII веке помимо перевода „Размышлений“ (1731), осуществленного С. С. Волочковым (тем самым, кто перевел также „Сравнительные жизнеописания“ Плутарха), перетерпевшего до 1796 г. пять переизданий, фрагменты из сочинений, афоризмы, анекдоты, связанные с Марком Аврелием присутствовали в разного рода изданиях – в „Делах церковных и гражданских“ Цезаря Барония, „Письмовнике“ Н. Курганова, „Похвальном слове Марку Аврелию“ А. Тома, переведенном Д. И. Фонвизиним, в масонских журналах. Образ Марка Аврелия и ссылки на его „Размышления и другие его сочинения встречаются в русской классике на протяжении всего XIX века, в произведениях известнейших русских авторов. Популярность древнего философа на троне продолжалась и в русский культуре XX века (О рецепции „Размышлений“ Марка Аврелия в России см. подробно в: Гаврилов 1985). Сохранилось письмо Жуковского А. И. Тургеневу времени работы поэта над посланием „Императору Александру“, в котором он метонимически называет Александра „нашим Марком Аврелием“ (Зорин 2002: 270).



Если вспомнить отсылки к Нуме Помпилию, то внимательная к такому роду символикe императрица может быть все-таки находила основания для „преемственности“ в дате рождения Марка Аврелия, появившегося на свет 26 апреля 121 года, т.е. опять близкой к ее собственному дню рождения.

В образе Марка Аврелия как „философа на троне“ был еще один момент, который очень сильно, кажется, волновал Екатерину II. Это – вечное соревнование с Фридрихом Великим за право на этот „титул“, столь значимый в государственных теориях Просвещения. В переписке Вольтера с юным прусским принцем, а также в письмах фернейского патриарха другим лицам периода подготовки к печати „Антимакиавеля“, философ неоднократно льстил молодому автору, отмечая, что надеется видеть в нем второго Марка Аврелия (Voltaire 1996: 3). В письме Фридриху от 5.07.1740 Вольтер писал, что „работа, достойная Марка Аврелия, вот-вот будет целиком напечатана“ (там же, 16). Похвала, если не сказать лесть, философа имела целью убедить только что вступившего на прусский престол Фридриха II разрешить публикацию текста, чему молодой король противился, осознавая смену своей роли. „Ситуация Фридриха междуременно (после смерти отца – А. В.) радикально изменилась. Будучи главой государства, Фридрих добивался уважения к Пруссии [...] Политические расчеты власти повлияли на его мысль и его решения. Он категорически желал избежать какой бы то ни было идентификации „Антимакиавеля“ со своей личностью и политикой“ (там же, 25–26). Не желавший по многим причинам отказываться от проекта публикации „Антимакиавеля“ Вольтер, тем не менее, продолжал рекламировать перед разными лицами труд юного монарха именно как размышления нового Марка Аврелия, прибавляя к нему имена Тита и Траяна (там же, 25). Интересно, что идея подражания Марку Аврелию была предложена Вольтером будущему прусскому монарху еще в начале их переписки, в 1736 году. В период завершения „Антимакиавеля“ Вольтер не скрывал, что видел в наследнике прусского престола „современного Марка Аврелия“ (там же, 146). Вольтер не только отредактировал корявый и написанный на неправильном французском языке

оригинал Фридриха, но придал его идеям отточенную форму. Оба автора используют личность римского императора, чтобы проиллюстрировать свое видение о выборном или наследственном монархе и о тирании. Вольтер отмечает в VI главе, что только тогда, когда человек родился в электоральной монархии, он может взойти на престол без преступления. В доказательство Вольтер приводит имена таких деятелей – Яна Собиеского, Густава Вазы, Антонины в Риме. Представитель последних Марк-Аврелий отнесен и фернейским патриархом, и его учеником, к анти-макиавеллистам (там же, 146). В замечаниях к главе XIX „Государя“ в отредактированном им варианте трактата Вольтер комментирует мнение Макиавелли о судьбах римских императоров после Марка Аврелия и особенно их смерти. Философ использует рассказ итальянского предшественника, чтобы вернуться к своей излюбленной теме о тирании и отправить предупреждение владетелям, нарушающим законы. По его мнению, тирану уготована печальная судьба, вопреки авторитету своего рода: „Тиран Коммод, наследник божественного Марка Аврелия, был предан смерти, несмотря на уважение, которое римляне испытывали к его отцу“ (там же, 212).

По Макиавелли, напротив, Марк Аврелий добился успеха, так как был представителем наследственной монархии и был обязан своим успехом только себе: „Только Марк жил и умер в величайшем почете, ибо наследовал императорскую власть *iure hereditario* (по праву наследства)<sup>24</sup> и не нуждался в признании ее ни народом, ни войском. Сверх того, он внушил подданным почтение своими многообразными добродетелями, поэтому сумел удержать в должных пределах и народ, и войско и не был ими ни ненавидим, ни презираем“ (Макиавелли 2006: 103–104, гл. XIX).

Екатерине II, вероятно, все-таки пришлось по вкусу мнение флорентийца о том, что владетелю не надо подражать авторитетам, а заимствовать у них необходимое: „Соответственно, новый государь в новом государстве не должен ни подражать Марку, ни уподобляться Северу, но должен у Севера позаимствовать то, без

---

<sup>24</sup> Марк Аврелий Антонин унаследовал престол от своего усыновителя и тестя Антонина Пия.

чего нельзя основать новое государство, а у Марка – то наилучшее и наиболее достойное, что нужно для сохранения государства, уже обретшего и устойчивость, и прочность“ (Макиавелли 2006: 107–108, гл. XIX).

Вольтер не рисковал ни сравнивать следующую свою сиятельную ученицу с легендарным римским императором, ни давать ей советы следовать ему. Абстрактные богини римской мифологии и восточные легендарные персонажи Минервы, Темиды, Томирис, Семирамиды и пр. были куда безопаснее. Тем не менее, Екатерина в поисках собственного облика „философа на троне“, не раз обращается к образу античного героя. Реминисценции из „Размышлений“ Марка Аврелия неоднократно можно установить в тексте ее автобиографии, где тема стоицизма была одной из главных. Однако, следует тут же отметить, что императрица следовала в этом отношении скорее не за прославленным учителем, сколь за Макиавелли, внимательно подбирая тезисы, с которыми можно ей было согласиться, и отказываясь от тех, которые не подходили под концепцию автобиографического образа, как в случае с оправданием самоубийства.

В самоописании, предложенном государыней в ее автобиографии, ведущим принципом является марк-аврелиевская цельность характера: „У кого нет в жизни всегда одной и той же цели, тот и сам не может во всю жизнь быть одним и тем же. Сказанного не достаточно, если не добавишь и то, какова должна быть эта цель. Ибо как сходно признание не всего того, что там представляется благами большинству, а только вот таких, именно общих, благ, так и цель надо поставить себе именно общественную и гражданскую. Потому что, кто направит все свои устремления к ней, у того и все его деяния станут сходны, и оттого сам он всегда будет тот же“ (Марк Аврелий 1985: 65 – XI книга: 21).

Один из ведущих принципов действий великой княгини Екатерины, прослеживающийся красной нитью в ее автобиографии, – подчинение здравому смыслу, чистой совести, умеренности в действиях. Это отвечает максиме Марка Аврелия „Спешу всегда кратчайшим путем, а кратчайший путь – по природе, чтобы говорить и делать все самым здравым образом“ (Марк Аврелий 1985: 23 – IV

книга: 51). Кратчайший путь в философии древних киников, к учению которых был близок римский император, – жизнь по законам добродетели, следуя естественной жизни и собственному разуму, а свобода слова и действия составляют ее основной смысл (Унт 1985: 194). Можно провести ряд аналогий собственного образа мемуаристики с афористически звучащими размышлениями „наедине с собой“<sup>25</sup> первого „философа на троне“. Особенно бросаются в глаза параллели с Первой книгой. В первую очередь можно отметить сходство между простотой стиля автобиографии императрицы и заявлением Марка Аврелия, что „отошел от риторики, поэзии, словесной изысканности“ (Марк Аврелий 1985: 5 – I книга: 7). Это также ее отношение к суевериям, свободомыслие, но главное то, что ей особенно близки „независимость и спокойствие перед игрой случая; чтобы и на миг не глядеть ни на что, кроме разума, и всегда быть одинаковым“ (Марк Аврелий 1985: 5 – I книга: 8). Последнее качество находит в мемуарах императрицы яркую параллель в финальном эпизоде поздней редакции, во время ее трудных объяснений с Елизаветой Петровной, когда она предпринимает игру „*va banc*“. Другие поведенческие принципы, проповедуемые Марком Аврелием, – „благожелательность, [...] строгость без притворства, заботливая предупредительность в отношении друзей; терпимость к обывателям с их непродуманными мнениями; умение ко всем приладиться так, что обращение его было привлекательнее всякой лести и в то же время внушало тем же самым людям глубочайшее почтение; а еще постигающее и правильное отыскание и упорядочение основоположений, необходимых для жизни; и что никогда он не подавал малейшего признака гнева или другой какой страсти, но был одновременно предельно нестрасен и вместе полон теплоты; похвалное – и то у него было без шума, и многознание напоказ не выставлял“ (Марк Аврелий 1985: 6 – I книга: 9), – были ведущими в жизни сиятельного автора и сохранены в свидетельствах многих мемуаристов. В тексте же автобиографии они проходят красной нитью. Согласно екатерининским запискам,

---

<sup>25</sup> Другое популярное заглавие „Размышлений“ Марка Аврелия по переводу С. Роговина.

эти принципы были осознаны великой княгиней еще в самом начале ее пребывания при русском дворе. Они стали ее верным средством приобретения друзей, сторонников, верных людей и если не элиминирования, то хотя бы „приручения“ противников. Особенно красноречив эпизод позднейшей редакции, в специальной рубрике „Мое обхождение со всеми“. Сам подход к такой организации рассказа говорит о том, какое значение, придавала Екатерина II этой черте поведения будущего государя:

Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить безо всяких для себя последствий. Это мне долго удавалось. Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми и так как от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение обществу (РТ–СРЗ: 228–229).

Осознанные еще в ранней юности принципы стали ведущими в жизни Екатерины II. Такое поведение столь молодой девушки, какой была в тот момент невеста наследника российского престола, – идеал женского поведения и в семье, и в обществе. Однако, этот эпизод показывает, что ожидаемая от юной принцессы покорность, ведрый нрав были вполне осознанной стратегией достижения великой цели.

Многочислены эпизоды, в которых упомянутые житейские правила находят свою иллюстрацию. Житейская мудрость Марка Аврелия „Какие уж выпали обстоятельства, к тем и прилаживай-

ся, и какие пришлись люди, тех люби, да искренно“ (Марк Аврелий 1985: 34 – VI книга: 39) корреспондируют с „программой“ поведения юной великой княгини еще с самого начала ее жизни в России („нравиться великому князю...“). Перечисленные римским императором нравственные качества, необходимые не только для владельца, но также для любого человеческого существа: „великодушие, благородство, простота, доброжелательность, праведность“ (Марк Аврелий 1985: 25 – V книга: 9), – совпадают с собственной характеристикой героини мемуаров. Само автобиографическое письмо – результат самоанализа, который древний мудрец определяет как „свойства разумной души“: „самое себя видит, себя расчленяет, делает себя такой, какой хочет, плод свой сама же пожинает! [...] приходит к своему назначению, когда бы ни поставлен был предел жизни“ (Марк Аврелий 1985: 62 – XI книга: 1). Уроки, вынесенные от чтения Марка Аврелия с самого раннего детства, по всей видимости, стали главным принципом в жизни императрицы. „Благожелательность непобедима, когда неподдельна, когда без улыбочности и лицедейства“ (Марк Аврелий 1985: 65 – XI книга: 18). В автобиографии императрицы приведено множество примеров, когда это правило помогало ей в трудных ситуациях. Красноречивое доказательство тому – эпизод со Шкуриным, который из шпиона превращается в одного из наиболее верных помощников великой княгини<sup>26</sup>, или приручение Чоглоковой. Этот самый принцип государыня старается соблюдать и в стиле издаваемых под ее эгидой морализаторских журналов, за что ее критиковали оппоненты, не принимавшие политику „улыбательной сатиры“. Вторую часть максимы, о лицедействе, императрице, однако, приходилось иногда толковать с макиавеллистских позиций, что естественно в практике управления государством.

---

<sup>26</sup> Самоотверженность Василия Шкурина пословична. Известно, что он поджигает свой дом в апреле 1762 г., чтобы отвлечь внимание Петра III, чрезвычайно любившего подобные зрелища, от начавшихся родов Екатерины, произведшей тогда на свет своего сына от Григория Орлова Алексея Бобринского.

По всей вероятности, известные афоризмы римского императора находили благодатную почву в сознании императрицы, ищущей свои ответы на многие житейские и державные вопросы. Проблемы бессмертия, славы, свободы личности, выбора, даже добровольного ухода из жизни, правила поведения с подданными и придворными – все эти вопросы, на которые искал ответы первый „философ на троне“, многократно и не всегда однозначно интерпретировались поколениями мыслителей и преломлялись через их собственную призму. Они находят отзвук слышен также в автобиографии Екатерины II, имеющей черты трактата о государе. „Всякое настоящее во времени – точка для вечности“ (Марк Аврелий 1985: 33 – VI книга: 36)

Юная София-Фредерика знакомилась в детстве с деяниями этого римского императора, и он явно произвел на нее сильное впечатление. Мемуаристка использует рассказ о своем детском переживании, чтобы подчеркнуть свою страсть к справедливости, воспитанную в ней с детских лет. В редакции 1771 года она вспоминает одну из первых попыток отстаять собственное мнение:

Помню, у меня было несколько споров с моим наставником (вероучения, – А. В.); из-за них я чуть не попробовала плети. Первый спор возник оттого, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечную муку, так как не знали откровения. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника: он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость. Священник прибег к способу убеждения, которого придерживался святитель Николай: пожаловался Бабет Кардель и хотел, чтобы меня убедила розга. Бабет Кардель не имела разрешения на такие доводы; она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению (РТ–Б: 7).

Упоминание Марка Аврелия в этом эпизоде служит знаком воспитания характера, критического мышления, чувства справедливости, качеств, которым он уделяет много внимания в своем классическом сочинении: „Признаюсь, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор

я отвечала отпором“ (РТ–Б: 7). Примечательно, что имя императора упоминается рядом с другим символическим именем, часто употреблявшемся как метонимия персоны царицы – милосердного римского императора Тита<sup>27</sup>. Однако, идеализированный образ Марка Аврелия позволял Екатерине представить себя продолжательницей, наследницей, завершительницей дела предшественницы и не только легитимировать свою связь с русской монархической традицией XVIII столетия, но также заявить о ее усовершенствовании в своем лице.

В „брюсовской“ редакции есть один живописный эпизод, красноречиво описывающий именно такое символическое толкование образа римского императора. Это рассказ о злополучном школьном представлении драмы Михаила (Мануила) Козачинского „Благодарение Марка Аврелия“, посвященную Елизавете Петровне, „Марку Аврелию нашего века“<sup>28</sup>. Исполнение этой школьной драмы было приурочено к торжествам в Киеве по поводу тезоименитства Елизаветы, которую недавно прибывшая в Россию ангальт-цербстская принцесса сопровождала вместе с матерью и великим князем во время путешествия на Украину в 1744 г.:

---

<sup>27</sup> Сама Екатерина II использует вариацию популярного сюжета о милосердии Тита в своей исторической хронике в „шекспировском“ духе о Рюрике (1786), представляя заглавного героя добродетельным и милосердным монархом, посвятившим себя благу общества. Ее Рюрик даже не читает список заговорщиков во главе с Вадимом. Впрочем, императрица не раз проявляла „титово милосердие“ в отношении к своим оппонентам, конечно, заранее рассчитав положительный эффект своих решений. Самым известным является случай с участниками „заговора Хитрово“ (Соловьев 1959, XIII: 208–211). О сюжете „русского Тита“ см. Кръстева 2013. „Женские“ царствования Елизаветы и Екатерины II второй половины XIX века идеологически легитимируют Милосердие и „Кротость“ на троне (Кръстева 2013: 93) как контраст с деспотизмом „мужских“ царствований. Это приводит к ошутливой смене символики политического дискурса, также его тональности. Галантность, цивилизованность, „смягчение“ и утонченность нравов и вкусов становятся политическим средством достижения целей престола (См. Уортман 2002; Проскурина 2006; Ивинский 2009; Кръстева 2013; Акимова 2015 и др.).

<sup>28</sup> О драме см. Гаврилов 1985: 124–125.



К концу нашего пребывания в Киеве императрица отправилась с нами в один монастырь, где должны были дать представление. Это представление началось около семи часов вечера. [...] Это представление содержало несколько пьес. Были прологи, балеты, комедия, в которой Марк Аврелий велел повесить своего любимца, сражение, в котором казаки били поляков, рыбная ловля на Днестре и хоры без числа. У императрицы хватило терпения до двух часов утра; потом она послала спросить, скоро ли кончится; ей просили передать, что не дошли еще до половины, но что, если Ее Величество прикажет, они перестанут тотчас. Она велела сказать им, чтобы перестали; они попросили тогда дозволения зажечь фейерверк на сцене, которая была на открытом воздухе и против которой расположилась императрица и весь двор в большой палатке, а позади нее стояли экипажи. Императрица разрешила им зажечь фейерверк, но что же случилось? Первые ракеты, которые были выпущены, полетели прямо в палатку, на палатку и за палатку; лошади испугались; находившиеся в палатке не знали, куда деться, смятение стало полным и могло иметь опасные последствия; велели прекратить этот несчастный фейерверк и все удалились не без того, чтобы порядком напугаться, хотя я не слышала, чтобы кто-нибудь был ранен (РГБ: 54).

В этом забавном эпизоде видны мелкие детали, красноречиво говорящие об отношении подданных к государыне, представленные через остранный взгляд юной зрительницы: переусердствование постановщиков, явно хотевших продемонстрировать лучшие свои умения и, естественно, произвести благоприятное впечатление на высокопоставленных гостей; плохо скрываемый страх перед царицей; радость от ее милостивого благоволения по поводу фейерверка и трагикомический финал, к которому примешивается не только ужас потерпевших, но и ужас устроителей спектакля, не продумавших до конца сценарий... Эпизод этот талантливо и мастерски описан мемуаристкой, сумевшей с необходимой дозой юмора передать всю гамму отношений правителя и подданных. Однако, помимо бесспорной ценности свидетельства очевидца, это описание неудавшегося представления иллюстрирует новые тенденции в осмыслении фигуры государя в тогдашней России.

Фигура Марка Аврелия была важна для Екатерины и еще в одном плане. Это касается посланий автобиографии как политического завещания-предупреждения своим наследникам. Внуче-

ние, которого добивалась императрица, подразумевает судьбу недостойного преемника, унаследовавшего трон великого государя. Сын Марка Аврелия Луций Коммод, несмотря на славу и наставления отца, был свергнут с престола за свое тиранство и слабое управление государством взбунтовавшимся народом. В интерпретации Вольтера, Петр Великий тяжелым личным родительским решением гражданскую войну, которую могло бы вызвать правление царевича Алексея (Voltaire 1768: 518). Следующий пример из российской истории – переворот самой Екатерины, низложившей недостойного наследника Елизаветы Петровны (отождествляемой в начале своего правления с римским императором). В автобиографии императрицы это звучало как предупреждение сыну. Об актуальности этого мотива в русской культуре говорит его популярность в последние десятилетия XVIII века. Его развивает Фонвизин в своем анонимно изданном в 1777 переводе „Слова похвального Марку Аврелию“ А. Тома. Оттуда, по всей вероятности, его сюжет заимствовал Г. Р. Державин для своей оды „Монумент Петра Великого“ (1778)<sup>29</sup>. Примечательно, что ода была переиздана в 1808 г. в собрании „Сочинений“ Державина (Примечание Н. Д. Кочетковой. Петр Великий 2006 www), вышедшем через несколько лет после очередного свержения с российского престола „недостойного“ сына великой матери (Павла Петровича).

### **Макиавеллизм в екатерининской автобиографии**

В истории Нового времени одним из величайших образцов мировой политической мысли, всегда вызывавшим ожесточенные споры, является трактат „Государь“ Макиавелли. Однако ни одна теория государственной власти не обходится без ссылок на идеи гениального флорентийца, который подвел итоги политических противостояний своей эпохи и обобщил достигнутое в осмыслении управления государством мировой философской мыслью от античности до своей современности.

---

<sup>29</sup> Одобрительная рецензия на фонвизинский перевод появилась в „Санкт-Петербургском вестнике“ в феврале 1778 г. и, по-видимому, не прошла мимо внимания Державина (Примечание Н. Д. Кочетковой. Петр Великий 2006 www).

Трудно найти прямые ссылки на наследие итальянского философа в текстах императрицы. Разве что можно упомянуть неприятие макиавеллистских методов в переписке с Завадовским (Alexander 1989: 350), а также маргинальные пометы в защиту Монтеские на страницах книги Струбе де Пирмонта „*Lettres russiennes*“ (РТ: 676)<sup>30</sup>. Следует также отметить маргинальный комментарий по поводу Анти-Макиавеля Фридриха II на страницах биографии прусского короля, написанной аббатом Денином<sup>31</sup> (РТ: 688). Екатерина, крайне внимательная к своей речи, как бы руководствовалась принципом поведения государей, сформулированным Бейлем в „*Новостях Республики словесности*“, гласящим, что государи должны остерегаться оставлять компрометирующие их письменные свидетельства, которые они бы не хотели делать достоянием потомства (Bayle 1966, I; 416). На основании переписки великой княгини и сэра Чарльза Хэнбери-Уильямса Клаус Шарф предполагает, что Екатерина узнала о Макиавелли именно из сочинений прусского короля (Scharf 1996: 419; Шарф 2015: 385). Оба участника тайной переписки в августе 1756 г. обсуждали поведение придворных, прибегая к известной максиме итальянца, о том, что человек редко озлобляется настолько, насколько это необходимо ему для его собственной безопасности (Correspondance... 1928: 69, 83)<sup>32</sup>. Эта

---

<sup>30</sup> Императрица защищает Монтеские от возведенной на него „клеветы“, что апологизирует деспотизм, следуя Макиавелли.

<sup>31</sup> Заметка на книгу абб. Денина „Опыт о жизни и царствовании Фридриха II, короля Прусского“ (Берлин, 1788–1789). На заявление Денина „Опровержение отвратительных начал, проведенных Макиавелли в его книге под заглавием: „Государь. Анти-Макиавель“ – был первым трудом, который поставил Фридриха в число авторов“ императрица отвечает: „Эта книга доказывает, что говорить и делать – не одно и то же“ (РТ: 688).

<sup>32</sup> По причине недоступности для автора первого издания переписки Екатерины и Ч. Хэнбери-Уильямса, текст приводится по английскому изданию 1928 года: „Thank you for your friendship and your anxiety for me. It is certain that more harm could be done to us than has been done hitherto. But these people’s lack of courage, the risk in fact the maxim of Machiavel, who says that a man is rarely as bad as he should be for his own safety...“, – пишет великая княгиня 20.08.1756 г. (Correspondance... 1928: 69). На это английский посол отвечает, что к счастью, у плохих людей редко хватает смелости довести до конца свои подлые замыслы: „Is

цитата доказывает, что к тому времени будущая императрица хорошо знала тексты Макиавелли, и они стали органической частью ее политического мышления. С именем и идеями итальянского философа мемуаристка встречалась еще на страницах „Словаря“ Бейля (очерк „Machiavel“, ряд ссылок на трактат „Государь“) (Bayle 1740, III: 244–249)<sup>33</sup>. Екатерина, вероятно, могла бы прочитать также в „Новостях Республики словесности“ („Nouvelles de la République des Lettres“) Бейля, в рецензии на третье издание „Государя“ 1687 г. уждение, сходное с более поздней позицией Дидро: „Макиавелли говорит почти везде, что делают государи, а не что они должны делать“ (Bayle 1966, I: 740). Ссылки на Макиавелли приводятся также в трактате „О духе законов“ Монтескье. Это сочинение, которое Екатерина, как это хорошо известно, знала в деталях (см. Мадариага 2002: 251–258; Вальденберг 2004).

Трактат Макиавелли и „Анти-Макиавель“ Фридриха II были хорошо знакомы образованной российской публике XVIII века. Сочинения Макиавелли были доступны как в оригинале, так и в переводах, а многие знакомились с ними из других источников, поэтому не всегда русские читатели проводили грань между идеями итальянского философа и вульгарным макиавеллизмом (Гуськов 2008: 139; Юсим 1998: 10). Уже в панегириках Иосифа Туробойского в 1704 г. упоминался „Махиавель“ как аллегорическая фигура коварного властолюбца<sup>34</sup>, корыстолюбивого и коварного советника. Скуль-

the maxim of Machiavelli true, which you quoted me? He says that a man is rarely as bad as he ought to be; but I say, thank God, bad men seldom have the courage which they sould have to carry out their wicked designs“ (Correspondance... 1928: 83).

<sup>33</sup> Помимо „Словаря“, Бейль часто обращался к наследию Макиавелли и в других своих работах – „Nouvelles des République des Lettres“, „Histoire du calvinisme“.

<sup>34</sup> „На правой стране при Властолюбии стоит Махнавель – лукавый советник, муж сед; на главе имейя шляпу, – знамение чести советнической, и минуту часовую, всегда движущуюся, знамение непрестанных друговредительных мыслей и промыслов. Верхняя одежда, сану сенаторскому (сиречь боярскому) в инных странах носити обыкновенна, под нею же укрывается лисия и волчая одежда, знамение хитрости и вредительства. На двух аспидах вместо цепочки висит сердце, верхнюю частию внизу висящее, знамение развращенного сердца. В правой руке держит свиток, в иемже написано: „Кленися, клятву преступи, елижды случай требует“, и верхнее храмов ветрило, на всякую страну ветром обрацаемое, в зна-

птурная фигура итальянского философа украшала триумфальные ворота, возведенные в честь Полтавской битвы (Юсим 1998: 80), а его сочинения и книги, в которых содержались о нем сведения, имелись в библиотеках многих государственных и церковных деятелей Петровской эпохи (Юсим 1998: 104; Гуськов 2008: 139). Во второй половине XVIII века, в 1783 г., Российская Академия получила в подарок подготовленное аббатом Танцини собрание сочинений Макиавелли (там же). Еще в первой половине столетия стали появляться первые рукописные переводы „Государя“ (там же).

„Анти-Макиавель“ был столь популярен благодаря усилиям Вольтера, личности автора и особенно скандальным обстоятельствам публикации трактата. В Западной Европе только за годы жизни (и правления) Фридриха II вышло 33 издания (Fleischauer 1958: 363–371). Книга также пользовалась довольно широкой известностью в России, как, впрочем, все значительные сочинения прусского короля – художественные, философские, военные, мемуарные<sup>35</sup>. Об этом свидетельствует тот факт, что в середине XVIII века это произведение Фридриха II продавалось в московской Академиче-

---

мение хитраго и притворнаго подбострастя народу. Опирает же руку сию на лываре, сиесть на орудии имже и болшия бремена удобь подьймаются, знаменуя яко сицевым учением и советами народоласкателными вся может, елико хоцет. Другую рукою, жезлом управления вышереченная словеса на свитце Властолюбию показует, обучая всякой неправде“ (Туробойский 1979: 157–158).

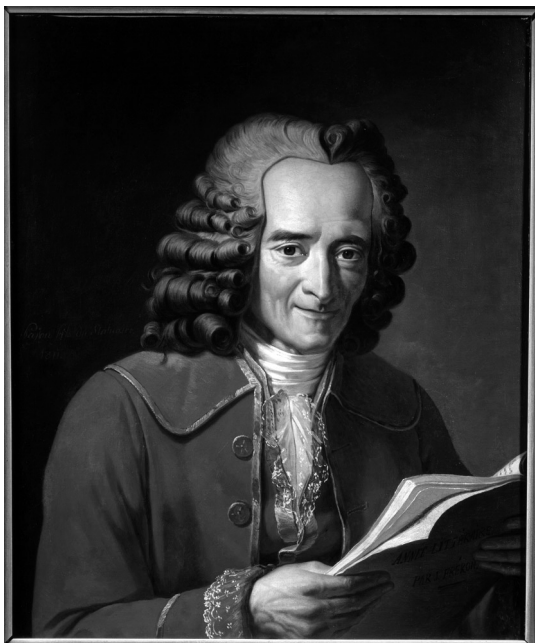
<sup>35</sup> За время правления Екатерины II были опубликованы в русском переводе следующие тексты Фридриха Великого: Его величества короля прусского наставление о военном искусстве к своим генералам. СПб., 1762; Рассуждение о причинах установления или уничтожения законов. СПб., 1769; История бранденбургская с тремя рассуждениями о нравах, обычаях и успехах человеческого разума... М., 1770; Антимакиавель, или Опыт возражения на макиавелеву науку о образе государственного правления. СПб., 1779; Письма о любви к отечеству, или Переписка Анапистемона и Филопатроса. СПб., 1779; О немецких словесных науках. М., 1781; Оставшиеся творения Фридриха Второго, короля прусского, тт. 1–8. СПб., 1789; История моего времени, ч. 1–2. СПб., 1794. В начале XIX века уже после смерти Екатерины II была опубликована „Переписка Фридриха Великого, короля прусского, с господином Вольтером“ (Ч. 1. СПб., 1807; ч. 2–3. М., 1816) (<http://www.krugosvet.ru/node/40551?page=0,1> – 24.04.2015). Наличие стольких переводов, не считая оригинальные издания, говорит о широкой популярности произведений прусского короля в России второй половины XVIII в.

ской книжной лавке как в двух изданиях голландского книгоиздателя Ван Дюрена 1741 и 1743 г., так и в составе полного собрания сочинения Вольтера 1757 г., а также как дополнение к собранию сочинений Николо Макиавелли (Копанев 1986)<sup>36</sup>. Известны факты штудирования текста представителями элиты общества<sup>37</sup>. Кстати говоря, русские читатели проявляли интерес не только к трактату Фридриха, но также к другим „анти-макиавелям“, которые стали создаваться вскоре после публикации „Государя“. Однако для многих русских книга прусского кронпринца была не только самостоятельным текстом, а средством ознакомления с идеями, высказанными в „Государе“ (Шаркова 1979: 106). И. С. Шаркова сообщает о рукописном переводе „Анти-Макиавеля“ середины века, сделанного с немецкого издания 1742 года книги Фридриха. По всей видимости, этот перевод появился раньше печатного (Шаркова 1979: 110). Первый печатный перевод на русский язык наиболее известного произведения прусского короля был осуществлен в 1779 г. Яковом Хорошкевичем, который посвятил книгу Екатерине II, „едва ли пришедшей от этого в восторг“ (Шаркова 1979: 109). Есть предположение, что в последние годы правления императрицы трактат Фридриха II был запрещен (Шаркова 1979: 109). Перевод Хорошкевича был сделан с первого французского издания 1740 года и еще в XVIII веке стал библиографической редкостью (там же). Кстати говоря, он является едва ли не единственным русским переводом, так как текст „Анти-Макиавеля“ до недавнего времени публиковался по нему, с известной нормализацией текста согласно современным нормам (Фридрих Великий 2009: 290; Фридрих Великий 2014).

---

<sup>36</sup> Имеются ввиду следующие издания: Frédéric II, Roi de Prusse. Anti-Machiavel, ou essai de critique sur „Le Prince“ de Machiavel, publié par M. de Voltaire, The Hague, 1741, 2 vols (пункт 258, p. 133); [Anon.], Examen du „Prince“ de Machiavel, avec des notes historiques et politiques, (avec la traduction du „Prince“ par Amelot de la Houssaye), The Hague, 1743 (пункт 259, p. 133); Niccolo Machiavelli, Oeuvres de Machiavel..., nouvelle édition augmentée de l'Anti-Machiavel [par Frédéric II, le Grand], et autres pièces, The Hague, 174, 6 vols, (пункт 441, p. 148); Collection complète des Oeuvres de M. de Voltaire, I édition, [Geneva], 1757, 10 vols (пункт 701, p. 169).

<sup>37</sup> Факт, сообщенный И. Федюкиным.



Вольтер

Сам Вольтер демонстрировал непоследовательное отношение к наследию Макиавелли. В рукописях сочинения „Век Людовика XIV“, посланных для ознакомления будущему прусскому королю, он отозвался об итальянце как о великом человеке, вызвав тем самым несогласие молодого Фридриха (Fleishauer 1958: 12 *passim*; Шаркова 1979: 107). Протест прусского кронпринца против того, чтобы ставить Макиавелли в число великих людей заставил, впрочем, Вольтера убрать похвалу из печатного варианта текста о Короле-Солнце. Однако Вольтер остался при своем мнении, которое выражал исключительно в корреспонденции (Шаркова 1979: 107).

Двумя годами позже фернейский мудрец отредактировал и опубликовал „Анти-Макиавель“ прусского престолонаследника. В письмах, посланных Фридриху в то время, когда тот работал над текстом своего сочинения, и в период появления первых публика-

ций Анти-Макиавеля, Вольтер приветствовал замысел прусского престолонаследника и его смелость дать человечеству „антидот“ (Voltaire 1965, II: 239, письмо от 28 декабря 1739 г.). По мнению фернейского мудреца, для мира важно, чтобы появилось противоядие, написанное рукой будущего монарха. Он не оправдывает всех тех принцев, которые когда-то брались за перо, обходя молчанием Макиавелли и выражая тем самым молчаливое согласие с ним (Voltaire 1965, II: 239). Мотив противоядия присутствует также в предисловии к трактату Фридриха (Фридрих Великий 2009: 291). В том же письме содержится и известное высказывание Вольтера о том, что „Анти-Макиавелли“ должен стать катехизисом королей и их министров (с. 240). В более раннем письме от 30 мая того же года, философ сравнивал пишущего опровержение Макиавелли принца с Апполоном, раздавляющего Питона (Voltaire 1965, II: 180). Два месяца спустя (25.07.1739 г.) в глазах Вольтера молодой Фридрих похож на Геркулеса, побеждающего Антея (Voltaire 1965, II: 207). Но даже в самых восторженных письмах, написанных после получения первых глав „Анти-Макиавеля“, Вольтер все же признавал правоту итальянца (Voltaire 1965, II: 240). В другом письме от 23 февраля 1740 года он пишет: „Ваше королевское Величество тщится показать насколько отвратительно то, что проповедует этот оракул Сатаны. Однако проклятый флорентиец говорит только полезные вещи“ (Voltaire 1965, II: 267). Вообще Вольтер считал занятие писать опровержение трактата Макиавелли исключительно полезным для будущего монарха. „... Если бы у Макиавелли был учеником принц, первое, что он бы сделал, он бы заставил его писать против себя“, – обобщал философ (Цит по: Шаркова 1979: 107).

Осмелюсь высказать предположение, что интерес императрицы к Макиавелли был предметом не только желания учесть реальную политическую практику прошлого. Любимая ученица Вольтера и соперница Фридриха Великого за звание „философа на троне“ вступает в своего рода соревнование с автором „Анти-Макиавелли“ и „воспитанником“ французского философа, чтобы представить свое видение личности просвещенного правителя, проиллюстрировав ее собственной историей.



Отношение Екатерины II к Фридриху Великому было сочетанием уважения к его авторитету и интеллекту и желанием быть достойной ему соперницей на политической и философской сцене. Клаус Шарф предполагает, что прусский король являлся образцом для подражания для молодой Екатерины: „Из более или менее значительных правящих князей Фридрих более других отвечал требованиям, предъявлявшимся просвещенными писателями к *roi-philosophe*. [...] За недостатком доказательств нельзя утверждать наверняка, что Фридрих Великий являл собой стандарт монарха того времени, на который ориентировалась честолюбивая великая княгиня, однако за неимением альтернатив этот тезис представляется убедительным“ (Шарф 2015: 384)<sup>38</sup>. Однако тут же исследователь подчеркивает, что „Екатерина изучила Фридриха как авторитет, затем сопоставила его образ с выводами, которые она сделала из сочинений писателей-просветителей, и увидела, что может превзойти его. Такая интерпретация позволяет рассматривать внешнюю и внутреннюю политику Екатерины II 1760-х и 1770-х годов как доказательство ее стремления выйти из тени Фридриха II. Их наполненная любезностями переписка, нашпигованная разнообразной лестью со стороны последнего, не должна скрыть от нас, что этот политический альянс даже в его лучшие времена не был лишен разногласий. Если дело касалось интересов России, Екатерина не уступала ни на йоту...“ (Шарф 2015: 386). Со своей стороны, прусский король открыто высказывал свое неудовольствие такими решениями своего бывшего протеже: „На Екатерину же Фридрих обижался за то, что интересы России она отстаивала холодно и непоколебимо, хотя именно он в свое время с дальним расчетом открыл ей дорогу в Петербург“ (Шарф 2015: 364). При всем том, „она была единственным человеческим существом, которому вообще когда-то льстил Фридрих Великий“, – отмечает Гууч (Gooch 1966: 107).

---

<sup>38</sup> К. Шарф игнорирует широко бытовавшие в прошлом слухи, нашедшие место и в исторических исследованиях XIX – начала XX века, о том, что Фридрих II был биологическим отцом своей соперницы на европейской политической сцене (Шарф 2015: 91, 383).

Не надо забывать, что заочный спор с Фридрихом как нельзя лучше вписывался в русский контекст и соответствовал концепции образа супруга-соперника в мемуарах, горячего поклонника прусского короля, когда-то по восшествии на престол совершившего в пользу Фридриха национальное предательство, память о котором жила в российском обществе и усердно поддерживалась антимифом о Петре III. Более чем двадцать лет спустя „семейные“ обстоятельства усугублялись еще тем, что в сложной политической ситуации смены приоритетов в внешней политике Российской империи от союза с Пруссией к союзу с Австрией, сын Екатерины, будущий император Павел Петрович, демонстрировал свой пиетет к Фридриху, также как когда-то его отец, подражая ему даже в своем поведении в быту (Мадариага 2002: 557, 561, 563; Ивинский 2009b: 112). В этом отношении у Екатерины с Фридрихом были старые счёты. Еще во время заграничного путешествия Павла в 1776 г. прусский король „не жалел усилий и средств, чтобы покорить великого князя. Деньги рекой текли на парады, приемы, триумфальные арки, и у Павла немного закружилась голова от такого внимания, к которому он совсем не привык дома“ (Мадариага 2002: 551). Увлечение Павла Фридрихом, особенно желание подражать ему в роли верховного предводителя, которую прусский король играл с блеском, было чревато рисками для страны: великий князь стал „яростным противником внешней политики Екатерины и едва не дошел до открытого бунта“ (Мадариага 2002: 557, 561). В период возобновления работы императрицы над автобиографией многое в стиле жизни Павла Петровича в Гатчине напоминало военные упражнения его отца в Ораниенбауме: „К 1788 г. личная армия Павла состояла из пяти рот, затянутых в застегнутые до ушей мундиры, наряженных в громадные сапоги, парики и прочие причуды солдат Фридриха II, и изнемогала от строевых учений“<sup>39</sup> (Мадариага 2002: 563).

---

<sup>39</sup> Одно из первых нововведений, предпринятых Павлом, было переобмундирование русской армии по прусскому образцу, как это произошло и в 1762 г. во время правления Петра III. Неудобная для русских условий форма и дотошное внимание, которое уделялось ее соблюдению, вызвали неудовольствие старых екатерининских генералов. По этому поводу крылатым выражением стала фра-

Есть еще один важный момент в заочном споре Екатерины II с Фридрихом Прусским по поводу толкования Макиавелли, который связан с общей концепцией автобиографии императрицы и тщательно создаваемом ею мифом о себе.

В своей юности прусский кронпринц был горячим поклонником Петра Великого. В нем он видел идеал государя: „В ту пору Фридрих был горячим поклонником русского царя, находил, что из выдающихся монархов последнего времени он один обладал истинным просвещением; законодатель, прекрасный знаток морского дела, Петр, по мнению молодого принца, совместил в себе самые разносторонние знания, и ему не доставало лишь одного: хорошего воспитания и культурных навыков“, – писал Е. Шмурло, комментируя ранние письма принца Вольтеру (Шмурло 1929: 16). Приступив в начале 1737 года к переизданию своих сочинений Вольтер собирался включить в него переработанную „Историю Карла XII“ (I изд. 1731 г.), В этом своем труде философ проводил последовательную параллель между шведским королем и русским царем. Вольтер обратился к наследнику прусского престола с просьбой помочь ему добыть недостающих сведений о России и о Петре I (Шмурло 1929: 15). Фридрих исполнил просьбу учителя и через

---

за, приписываемая Суворову: „Пудра не порох, бублик не пушки, коса не тесак; я не немец, а природный русак“. Шарль Массон, автор известных скандальных мемуаров о России конца XVIII века, передает бытовой анекдот на грани скабрёзности: „Еще в бытность великим князем Павел был столь щепетильным блюстителем формальности в упражнениях, что, заметив однажды весною, как лук Купидона напрягал и поднимал узкие штаны некоторых солдат, он всем им приказал расположить его на одной и той же ляжке, как они носили ружье на одном и том же плече. Читатель может принять это за непристойную шутку. Но один из присутствовавших на учениях офицеров уверял меня в этом, и всякий, кто хоть немного знал Павла, поверит этому с такой же легкостью, как и я“ (Массон 1996: 132). Одержимость наследника Екатерины прусской военщиной и стремлением к крайней регламентации всех форм быта стала сюжетом многих воспоминаний, бытовых анекдотов, городских легенд, произведений изобразительного искусства. Среди них можно указать на рассказ А. С. Пушкина о том, как император сам сорвал картуз с его головы в раннем детстве (Пушкин 1969: 36), картину А. Н. Бенуа „Парад в царствование Павла I“ (1907) и мн. др. И. А. Крылов пародирует павловское пруссачество в шутотрагедии „Триумф или Подщина“ (1800).

несколько месяцев предоставил ему подробные записки своего резидента в России, при этом не преминув их прочитать. Прочитанное, однако, коренным образом перевернуло его представления о Петре Великом. В русском царе прусский кронпринц стал видеть палача и варвара, не идеального государя, а деспота. Гораздо более осторожный Вольтер, однако, оставался при своем мнении о величии Петра, „тигра, который был законодателем среди волков“, и признавая в нем качества не только „отвратительного палача“, но и законотворца (Шмурло 1929: 25; Lortholary 1951: 40–41). В этом контексте заочный спор, который Екатерина II вела на страницах своей автобиографии с Фридрихом, имел еще и смысл опровержения отрицательного мнения прусского короля о Петре Великом, преемственность с которым красной нитью проходила в ее „сценарии власти“. Если вспомнить интерес ее великого предшественника к творчеству Макиавелли, то рациональное, критическое, но в целом позитивное восприятие идей итальянского философа было своеобразным доказательством ее верности заложенным Петром Великим принципам российской политики. Поэтому, мне кажется, что посвящение императрице перевода „Анти-Макиавеля“ Хорошкевичем не могло быть ей неприятным, как это предполагает И. С. Шаркова. Это было интеллектуальный вызов, к которому она отнеслась подобающе.

Был еще один актуальный исторический контекст, характерный для 80-х гг., который повлиял на обращение императрицы к тексту соперника. В это время в русской внешней политике происходила существенная переориентация, в которой „северную систему“ Н. Панина сменяет „восточная система“ Г. Потемкина. Это привело к ожесточенной борьбе дворцовых партий. На отзыв этой перемены во внутренней политике обращает внимание А. Ивинский, констатируя резкое расхождение взглядов между Екатериной II и Фридрихом II о принципах строительства национальной культуры. По мнению исследователя, в начале 80-х гг. XVIII века вышел (в том числе и в переводе на русский язык в 1781 г.) критический обзор немецкой литературы, написанный королем, в котором он резко отрицательно оценил ее достижения

и предложил в качестве единственного решения для выхода из столь бедственного состояния последовательную ориентацию на французскую литературу (Ивинский 2009b: 116). В этот период Екатерина II инициирует новую культурную политику, основанную на диалоге престола и подданных, на интересе к национальной истории, фольклору, языку, культуре в целом (Уортман 2002, I: 176–186; Проскурина 2006: 197–214; Ивинский 2009a; 2009b; Кръстева 2013: 130–134). Выразителем этой новой государственной политики стал журнал „Собеседник любителей русского слова“ (1783), орган только что основанной Российской академии<sup>40</sup> во главе с княгиней Дашковой. „В отличие от Фридриха, Екатерина построила свой журнал как апологию национальной культуры. Показательно, что в предисловии к первому номеру была сформулирована беспрецедентная в русской журналистике идея публикации исключительно оригинальных русских произведений. Кроме того, более половины объема „Собеседника“ занимают „Записки касательно российской истории“ Екатерины. На страницах журнала императрица сформулировала свою языковую программу. Здесь же она предложила новую концепцию развития русской литературы“ (Ивинский 2009b: 117–118; см. также Российская Академия 2009).

Можно обобщить, что в начале 1783 г. Екатерина II предприняла важнейшие шаги для реформирования русского общества<sup>41</sup> и, в частности, отношений монарха и дворянской элиты. На этот раз переворот был мирным. В сфере и с помощью культуры его целью

---

<sup>40</sup> Российская Академия (1783–1841) была специализированным учреждением, отличным от Академии наук (также возглавляемой тогда кн. Дашковой). Она была основана по образцу Французской Академии и ее цель состояла в развитии национальной словесности и культуры, исследовании и издании памятников национальной старины, упорядочении литературного языка и создании его словаря (См. Российская Академия 2009; Фанштейн 2002).

<sup>41</sup> Необходимо помнить, что в 1785 г. были обнародованы важнейшие законодательные акты позднего екатерининского царствования: „Жалованная грамота дворянству“ и „Жалованная грамота городам“, а в январе того же 1783 г. был издан указ о вольных типографиях, позволявший частным лицам заниматься издательской деятельностью.

было овладеть общественным мнением и направить его в нужное престолу направление. Главным козырем стало отношение к национальному прошлому, к национальной специфике. Это была цель поистине макиавеллистская, входящая в противоречие с принципами опрометчивой внутренней политики вечного соперника на европейской сцене – Фридриха II.



Фридрих Великий

М. Крючкова предполагает, что посмертное издание в русском переводе творений Фридриха Великого в конце 80-х гг. вероятно спровоцировало императрицу снова взяться за свое жизнеописание, следуя примеру недавно ушедшего из жизни соперника (Крючкова 2009: 314). Русская государыня еще с дней своей юности очень хорошо знала произведения прусского короля. В тайной переписке с Хэнбери-Уильямсом она признавалась, что читает его произведения с таким же желанием, как тексты Воль-

тера, и является его горячей почитательницей<sup>42</sup> (Correspondance... 1928: 235). В 80-е годы Екатерина II, возобновив работу над своей автобиографией, воскресила старые призраки спора Вольтера и Фридриха II о Макиавелли и с позиций текущих политических задач, решила принять заочное участие в нем, тем более, что в споре ощутимо присутствовал русский исторический и политический контекст, связанный с образом Петра Великого. К этому времени она, по наблюдениям Клауса Шарфа, эмансипировала свое политическое мышление от влияния вечного соперника: „Лишь в последние годы жизни Фридриха они почти перестала придавать значение его мнению“ (Шарф 2015: 390). Эта автономность политического мышления императрицы получила подтверждение в ее интерпретации в записках вечного вопроса о личности правителя. Последующие исторические события заставили ее серьезно заняться осмыслением проблемы просвещенного абсолютизма в своем политическом завещании, каким явилась ее автобиография.

\* \* \*

Необходимо учитывать всю разницу обстоятельств создания текстов обоих высочайших авторов. Фридрих Великий писал свой трактат, будучи еще наследником прусского престола и не имея пока собственного опыта в управлении государством. Вступив на престол, он отдавал себе ясный отчет в том, что теория власти и практика правителя – вещи разные и часто противоречат друг другу. Об этом говорят попытки молодого прусского короля приостановить публикацию своего юношеского труда, спешка Вольтера, стремившегося ускорить насколько возможно выход книги, а также разочарование Вольтера в царственном воспитаннике после прусского вторжения в Силезию и последующее охлаждение к Фридриху фернейского мудреца, потерпевшего неудачу в своих

---

<sup>42</sup> „I read the writings of the King of Prussia with the same avidity as those of Voltaire. You will think that I am making up to you, if I tell you to-day that I am a profound admirer of His Prussian Majesty“ (письмо от 20.11.1756 г).

планах представить миру монарха-философа, „который не только проповедует добродетель государям, но сам прилагает ее на практике“ (Bahner&Bergmann 1996: 28). Драматическая история первых публикаций „Анти-Макиавеля“ в издательствах Ван Дюрена и Попи<sup>43</sup>, а также противоречивые действия Фридриха, которому неожиданно пришлось занять трон именно в период завершения работы над текстом и перед его выходом в свет, свидетельствуют о том, что он сознавал насколько опрометчиво поступил, давая согласие на публикацию текста. Фридрих отдавал себе отчет в возможных дипломатических осложнениях, которые мог бы вызвать этот труд, хотя он был напечатан анонимно. Впрочем, принадлежность его перу прусского престолонаследника и почти соавторская работа Вольтера над текстом были общеизвестным „секретом“. По словам исследователей, „политический расчет правителя оказывал влияние на его мышление и его решения. Он же хотел избежать полной идентификации „Анти-Макиавеля“ со своей личностью и своей политикой“ (там же, 61).

Молодой прусский король, однако, не только упорно не признавал своего авторства, но, как это ни парадоксально, даже запретил в своих владениях распространение текста и его перевод на немецкий язык, что вызвало едкую насмешку Вольтера, писавшего одному своему корреспонденту: „Забавно, что Макиавелли разрешен, а антидот будет контрабандным“ (там же, 26). В другом письме философ отмечал, что автор трактата „писал так хорошо против Макиавелли и тут же действовал как герои Макиавелли“ (там же, 28).

Вольтер, публикуя в 1740 г. текст принца, приложил руку к сочинению, подводя его под свою теорию власти и образа государя. Не случайно, что в XVIII веке „Анти-Макиавель“ часто публиковался в собраниях сочинений французского философа. Эта практика, основывающаяся на детальном анализе редакторских правок Вольтера, реализовалась и в цитируемом мной последнем по вре-

---

<sup>43</sup> Об истории создания текста Анти-Макиавеля и сложных отношениях Вольтера и Фридриха Великого см. Mergaud 1985 и введение к изданию текста 1996 г. В. Банера и Х. Бергманн (Bahner&Bergmann 1996).



мени полном собрании сочинений философа 1996 года<sup>44</sup>. Согласно наблюдениям В. Баннера и Х. Бергманн, Вольтер вносил не только лингвистические и стилистические поправки, на которые первоначально рассчитывал наследник прусского престола, но также делал многочисленные исправления в содержании и композиции отдельных глав, смягчая остроту некоторых выражений и делая текст более целенаправленным, сохраняя, тем не менее, основной смысл высказанных Фридрихом идей. Сотрудничество и вклад Вольтера в окончательную редакцию текста не были секретом уже для его современников.

Парадоксально, но Екатерина II, вводя макиавеллистский контекст в свою автобиографию, без сомнения доказала, что именно она является достойной ученицей Вольтера. После размолвки, если не сказать скандала, с молодым прусским королем по поводу „Анти-Макиавеля“, философ стал искать нового европейского владетеля, который бы осуществил его видения о личности просвещенного монарха и о гармоническом устройстве общества. Вскоре судьба предоставила ему такой случай. В конце 1741 года на российский престол взошла дочь его героя – Елизавета Петровна, с личностью которой философ известное время связывал свои иллюзии. Очередным этапом осуществления его намерений стала его „История Российской империи при Петре Великом“, первая часть которой вышла в 1759 г. По наблюдению Ф.-Д. Лиштенан, знаменитый вольтеровский текст стал своего рода „анти-Фридрихом“, особенно после острого конфликта в отношениях философа и короля во время Силезской войны 1745 г.: „Когда вышла в свет „История Российской империи при Петре Великом“, критики, восторженные или скептически настроенные, равно подчеркнули уловку философа: хвалебное сочинение, описывая события недавнего прошлого, целило во Фридриха II, изображая положи-

---

<sup>44</sup> Это издание текста ценно тем, что подготовившие его исследователи впервые опубликовали редакторскую правку Вольтера, включая исправления, которые философ вносил не только в первое, но и в последующие издания, появившиеся также в других издательствах и являвшиеся полемическим откликом на первую публикацию в издательстве Ван Дюрена.

тельный портрет его антипода, а потому вызвало недовольство Потсдама“ (Лиштенан 1999: 79). Исследовательница отмечает, что „Фридрих, не ожидавший, что Вольтер перекинется на сторону врага, плохо отреагировал на издание „Истории Российской империи“: „к чему решили вы писать историю сибирских волков и медведей“, – упрекал он философа. Король отказался читать книгу о „варварах, которым лучше было бы жить в другом полушарии (воспоминание о битве при Кунесдорфе было слишком свежим). Он опасался коварства Вольтера: образ Петра, создавшего цивилизованную нацию, напоминал его давний портрет, созданный в „чувствительной“ переписке, превратившейся после 1745 г. в чистую игру ума. Не превратился ли Петр в анти-Фридриха?“ (Лиштенан 1999: 83). Есть основания предположить, что активные отношения Вольтера с русской элитой того времени (главным образом благодаря фавориту Елизаветы, графу И. И. Шувалову, обеспечившего в свою очередь сотрудничество русских академиков, среди которых был и Ломоносов<sup>45</sup>) повлияли на интерес русской аудитории к его сочинениям, в том числе и к „Антимакиавелли“, о чем говорят книжные каталоги. Это совпадало с общим просветительским поиском образа идеального монарха и милосердного государя в елизаветинскую эпоху (Крстьева 2013: 92–100, особ. 96), но также вызвало интерес к сочинениям Макиавелли, подвергавшимся запретам и преследованиям в предшествующую эпоху царствования Анны Иоанновны (Юсим 1998: 88). Вольтер заменил во времена „Петровой дочери“ славословия прусскому королю похвалами ее отцу: „Еще большее впечатление производит перераспределение лексики. Фридрих, который в письмах 1730–1740-х гг. именуется Александром, Ликургом и Северным Соломоном, уступает эти славные имена русскому царю“ (Лиштенан 1999: 86). Очень скоро на сцену появится новая претендентка, которая будет следовать урокам „фернейского мудре-

---

<sup>45</sup> Об участии Ломоносова в сборе материалов для „Истории Российской империи при Петре Великом“ и его критическом отношении к труду Вольтера см. Шмурло 1929; Прийма 1958; Заборов 1978: 10–78; Lortholary 1951; Riazanovsky 1985; Мезин 2003 и др.

ца“ в поисках бессмертной славы, но [...] оставаясь себе на уме. А у Вольтера особого-то выбора больше и не было, после ссоры с Фридрихом II в 1753 г. он „обходился без собственного короля-философа“, – отмечает И. де Мадариага и цитирует фразу из письма „фернейского пустынноика“, где он говорит „... Это единственная коронованная голова, которая осталась мне, а мне она абсолютно необходима“ (Мадариага 2002: 535). „Это была переписка, процветавшая благодаря расстоянию, разделявшему корреспондентов, и тому, что они никогда не встречались лично“, – подводит итоги Де Мадариага (там же).

В отличие от Фридриха II, работавшего над „Антимакиавелем“ до вступления на престол, Екатерина II же пишет, во-первых, в совершенно другом жанре, а во-вторых, в повествовании чувствуется опыт человека, стоявшего несколько десятилетий у государственного руля и хорошо знавшего цену компромиссов. В тексте автобиографии отсутствует юношеский запал Фридриха, категорически отрицавшего многие тезисы итальянского мыслителя и резко обвинявшего его в цинизме, злобе, мизантропии. Екатерининские мемуары – произведение, которое, хотя и имеет публицистические черты, все-таки не укладывается полностью в апологию или отрицание определенных философских или политических воззрений. Автобиография императрицы – отнюдь не „Про-Макиавелли“, в тексте можно найти многие суждения, которые ближе к позиции Фридриха, однако некоторый „макиавеллизм“ присутствует и отмечен исследователями. Моника Гринлиф говорит о „макиавеллистском импульсе“ в повествовании (Greenleaf 2004: 426). „Макиавеллизм“ екатерининских мемуаров – это попытка высказать свое мнение по актуальному для XVIII века вопросу об отношении к наследию итальянского философа.

С конца XVII века и на протяжении XVIII столетия оформились два основных течения – неприятие и апология Макиавелли. Представителями первого течения были Вольтер и Фридрих. К лагерю философов, которые находили рациональное зерно и оправдывали многие взгляды великого итальянца принадлежали такой авторитет как Фенелон, любимый Екатериной Бейль и не менее любимый

Монтескье, который в „Духе законов“ (Кн. 6, гл. 5) прямо называет Макиавелли „великим человеком“ (Montesquieu 1951: 313)<sup>46</sup>.

К философам, положительно относившимся к принципам политики, сформулированным Макиавелли, принадлежал также Дидро. В „Энциклопедии“ в статье „Макиавеллизм“ собеседник Екатерины видит в „Государе“ не проповедь аморальных политических действий, а скорее предупреждение<sup>47</sup> о том, каковы могут быть их последствия. Это не мешало Дидро сделать предупреждению в работе „Принципы политики государей“ („Principes de politique

---

<sup>46</sup> Отзыв Монтескье вызван позицией флорентийца по поводу права государя быть гарантом общественного порядка и справедливого применения закона: „Макиавелли приписывает утрату свободы Флоренции тому, что там преступления оскорбления величества, совершаемые против народа, не судились, как в Риме, в народных собраниях. Эти дела рассматривались особым судом из восьми судей. Но, говорит Макиавелли, немногие и развращаются немногим. Я охотно согласился бы с этим великим человеком, но так как в данном случае политический интерес, так сказать, оказывает давление на интерес гражданский (потому что всегда возникают неудобства, если народ сам становится судьей в причиненных ему обидах), то для противодействия этому необходимо, чтобы законы сделали все возможное для ограждения безопасности частных лиц“ (Монтескье 1999: 74–75). Эта характеристика тем более ценна, что автор „О духе законов“ оспаривает мнение Макиавелли. Об осмыслении наследия итальянского философа в произведениях Монтескье см. Жюли 2004; Montesquieu 2000.

<sup>47</sup> Объясняя понятие „макиавеллизм“ в „Энциклопедии“ как „род отвратительной политики, которую можно выразить двумя словами в искусстве тиранического управления, принципы которого распространил в своих сочинениях Макиавелли“, Дидро характеризует итальянца как „человека глубокого ума и очень разнообразной эрудиции“. Французский философ отказывается видеть в нем „недостойного апологета тирании“. „Когда Макиавелли писал свой „Трактат о владетеле“, пишет Дидро, „он как будто хотел сказать своим согражданам: „Хорошо читайте этот труд. Если вы примете когда-то такого правителя, он будет таким, каким я его рисую: вот какому свирепому зверю вы отдадите себя в подчинение“. Это ошибка его современников, что они не осознали его цели: они приняли сатиру за похвалу“. Дидро напоминает правителям, что первый урок Макиавелли состоял в совете своему ученику отбросить описанные в труде принципы (Статья „Machiavellisme“, Diderot 1876, XVI: 32–33). Дидро обуждал „макиавеллизм“ со своими единомышленниками – Grimмом, аббатом Галиани (тоже собеседник императрицы). Вместе с Grimмом он поместил в „Литературной корреспонденции“ положительную рецензию на новое издание другого сочинения Макиавелли – „Рассуждения о первой декаде Тита Ливия“.

des souverains“<sup>48</sup>, 1775), что нельзя доверять такому государю, который знает наизусть Аристотеля, Тацита, Макиавелли и Монтескье (Diderot 1875, II: 472), имея ввиду, может быть, свое разочарование в собеседнице „с душой Брута и очарованием Клеопатры“<sup>48</sup>.

Большинство представителей этой линии не абсолютизировало идеи Макиавелли, философы выступали против издержек итальянского предшественника, тем не менее они осознавали рациональность и жизненность многих из предложенных им тезисов.

\* \* \*

Не углубляясь в исследование „макиавеллистских“ поступков Екатерины II в области политики и „уроки“, которые она по всей видимости извлекла<sup>49</sup>, можно обнаружить некоторые из высказанных итальянским философом идей в тексте ее автобиографии, которые повлияли на концепцию системы персонажей в тексте. Трактат „Государь“ Макиавелли также, как и „Сравнительные жизнеописания“ Плутарха, строится на последовательном приведении положительных и отрицательных примеров действий властьпридержащих разных времен и народов.

Одна из основных идей, высказанных на первых страницах „Государя“ – это сопоставление правителей, унаследовавших

---

<sup>48</sup> Письмо княгине Дашковой от 24.XII.1773 (Diderot 1959, XIII: 134). В других письмах Дидро это определение несколько варьируется: Софи Воланд он пишет примерно в то же время, что у императрицы „душа Цезаря и искусство соблазнять Клеопатры“ (Diderot 1959, XIII: 209, 30 mars 1773), ее же семье в апреле–мае 1774 г. он заявляет, что у Екатерины „душа Брута под обличем (лицом) Клеопатры“ (Diderot 1959, XIV: 12–13).

Р. Мортье считает, что прицелом критики Дидро в этом случае был Фридрих Великий (Mortier 2000b: 348). Любивший многократно повторять свои находчивые выражения, Дидро впервые употребил цитированное в 1771 г. в сочинении, направленном против прусского короля. Позже он высоко оценил „Государя“ Макиавелли как образец сильно воздействующей сатиры на порочные нравы (Mortier 2000b: 349).

<sup>49</sup> Достаточно упомянуть мысль Макиавелли о том, что „новый государь ... теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан...“ (Макиавелли 2006: 53).

свою власть с избранными или завоевавшими ее каким-либо путем. По Макиавелли, „государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью“ (Макиавелли 2006: 52). Фридрих Великий возражает ему, говоря, что легитимных способов обрести государственную власть три: получить по наследству; в результате выборов; завоевать во время войны (Фридрих Великий 2009: 295)<sup>50</sup>. Он несомненно исходит из практики современной ему Европы. Екатерину-мемуаристку более устраивало упрощенное категорическое определение Макиавелли. Интерпретация ею своей собственной личности подходит под модель доблестного государя, который добивается власти благодаря своим личным качествам. Ее супруг-соперник – недостойный носитель династического права, который не воспользовался данной ему властью и благоприятными обстоятельствами наследного государства, определяемыми привязанностью народа. Макиавелли пишет: „Наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не преступать обычая предков и впоследствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти...“ (Макиавелли 2006: 53).

В тексте имплицитно представлены причины, которые позволили мемуаристке преуспеть в трудном искусстве сохранения власти. Бросается в глаза параллель с тезисом Макиавелли, что „Только тот, кто обладает истинной доблестью, ... сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила ему в руки...“ (там же, 67). Тема доблести, рыцарства, заслуженной упорным трудом власти при счастливом жребии, выпавшем на долю юной немецкой принцессы, станет сквозной темой всех редакций екатерининской автобиографии, причем с течением времени автор неизменно будет

---

<sup>50</sup> О противоречивых толкованиях Макиавелли в трактате Фридриха см. Fleishauer 1958: 27. Ученый подчеркивает, что наиболее яростно Фридрих нападает на Макиавелли в начале своего сочинения. Постепенно в ходе изложения критика уменьшается, и позиция автора в заключительных главах скорее в созвучна с идеями итальянского философа.

уменьшать роль счастливого случая в своей жизни. Это видно и по знаменитому силлогизму в начале позднейшей редакции, и в своеобразном разрешении этого силлогизма в ее конце, где Екатерина прямо заявляет, что она рыцарь по душе и в ее личности сочетаются женская привлекательность и подлинно мужские качества. По вкусу императрице также пришлось, наверное, высказанное в главе XXV „Государя“ суждение Макиавелли, что „судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину, или около того, она предоставляет самим людям“ (там же, 119).

Интересно проследить моменты екатерининской автобиографии, в которых можно установить параллели с „Государем“ Макиавелли в чисто бытовой сфере поведения будущего монарха. Встречаются они во всех редакциях текста. Многие из них представлены императрицей по законам жанра автобиографии как следствие самостоятельных выводов и как результаты житейского опыта. Тем не менее, как показывает внимательный анализ использования романной топики в екатерининских мемуарах, речь идет скорее об обращении к известным искушенному читателю идеям, мотивам, ситуациям.

Многолетняя работа над автобиографией императрицы убедила меня, что в тексте нет самоцельных деталей, все мельчайшие подробности до тонкостей продуманы и занимают свое значимое место в идеологии собственного образа, созданного Екатериной, или же в концепции образов других персонажей. Порой безобидные на вид мелкие детали представленного в тексте бытового поведения мемуаристки находят соответствие в трактате „Государь“. Это, например, едва обращающий на себя внимание эпизод редакции 1771 года, не имеющий реального значения в развитии сюжета о распределении обязанностей среди служанок великой княгини, которая с гордостью заявляет, что созданный ею раз и навсегда порядок соблюдался беспрекословно и бесконфликтно (РТ–Б: 64–65. См. также гл. IV). Этот незначительный эпизод соответствует совету Макиавелли, что все решения государя касательно частных дел подданных должны быть бесповоротными (Макиавелли 2006: 100).

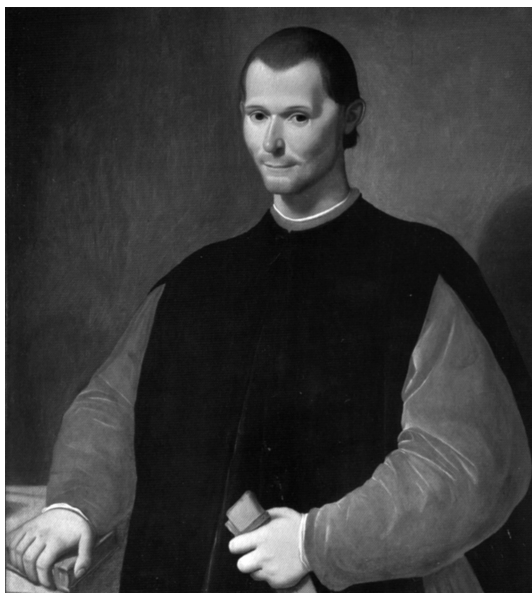
Гораздо более важное концептуальное место в екатерининской автобиографии занимают мотивы охоты и чтения. Они присутству-

ют также как неотъемлемая часть сценария самоутверждения женской личности в феминистских романах эпохи Просвещения. Екатерина может и следовала советам графа Гюлленборга в выборе „серьезного чтения“, но рекомендация читать и изучать исторические труды фигурирует также в „Государе“: „Что же до умственных упражнений, то государь должен читать исторические труды, при этом особо изучать действия выдающихся полководцев, разбирать, какими способами они вели войну, что определяло их победы и что – поражения, с тем, чтобы одерживать первые и избегать последних. Самое же главное – уподобившись многим великим людям прошлого, принять за образец кого-либо из прославленных и чтимых людей древности и постоянно держать в памяти их подвиги и деяния“ (Макиавелли 2006: 91). Постоянное чтение („я никогда не бывала без книги и никогда без горя“, РТ–Ч: 108), работа над собой являются одними из важнейших компонентов собственного образа, созданного императрицей, которые соответствуют совету итальянского философа „никогда не предаваться в мирное время праздности, ибо все его труды окупятся, когда настанут тяжелые времена, и тогда, если судьба захочет его сокрушить, он сумеет выстоять под ее напором“ (Макиавелли 2006: 91).

Один из основных пунктов, по которым Екатерина расходилась с Фридрихом Великим по поводу Макиавелли – это отношение к военному искусству и физической выносливости, а также к охоте как средству воспитания соответствующих навыков в двух вышеуказанных сферах деятельности. На самом деле спор тут был с самим Вольтером, тщательно переработавшим главу XIV „Анти-Макиавеля“ (Bahner&Bergmann 1996: 48). По Макиавелли, главная обязанность государя – умение вести военные действия. В мирное время охота представляет собой отличный способ воспитания не только физической выносливости. Охота – это средство узнать лучше собственную страну, но также и метод развития таких важных качеств как умение ориентироваться в незнакомой местности, быстро реагировать и своевременно принимать правильные решения (Макиавелли 2006: 89–91). Фридрих, сам прославленный военачальник считает, однако, что военные занятия – только половина



деятельности государя, а охота – пустая трата времени, приятное времяпрепровождение для многих, которое хотя и тренирует тело, но ничего не дает уму, а ее значение для физического совершенства сильно преувеличено. Он склонен видеть в любви к охоте, которую испытывали многие великие люди, их слабость, недостаток, подтверждающий их человеческое несовершенство. По мнению прусского короля, это самое неподходящее занятие для правителей (Frédéric II 1958: 252–260; Фридрих Великий 2009: 349–355). На самом деле эти суждения принадлежали учителю обоих коронованных философов, который не преминул во втором варианте текста, вышедшем в издательстве Попи, снабдить эпизод острой нападкой на французский двор. Зная, что любимое времяпрепровождение Людовика XV была охота, Вольтер говорит: „Охота, правда, имеет вид великолепия, а он нужен правителям...“ Однако он не мог удержаться, не добавив: „Но сколько есть более полезных способов, чтобы показать свое величие?“ (Bahner&Bergmann 1996: 48).



Николо Макиавелли

Знала ли Екатерина о том, что отрывок принадлежит учителю, а не сопернику? Категорически на этот вопрос трудно ответить, но вполне может быть, что ответ положителен. Если обратимся к каталогу академической книжной лавки, то увидим, что в середине столетия там продавалось третье издание Анти-Макиавеля, вышедшее в издательстве Ван Дюрена. Обвиненный Вольтером (который летом 1740 года неистово торопил издателя, а потом провозгласил оригинальным лишь издание Попи) в „пиратском“ издании поддельного „Анти-Макиавеля“, Ван Дюрэн, чтобы защититься, выпустил в свет двухтомник, содержащий как сам текст трактата, так и все документы и письма, в том числе и самого Вольтера к издателю, касающиеся публикации сочинения Фридриха. Помимо этого, в двухтомник Ван Дюрэн поместил „Записку об изменениях, опущениях и вставках, которые г-н Ф. де Вольтер произвел в четырех первых печатных листах оригинального издания“ („*Mémoire des changements, omissions, et interpolations que M. F. de Voltaire a faits aux quatre premières feilles imprimées de l'édition originale*“) (Bahner&Bergmann 1996: 62). Не надо забывать также и тот факт, что ко времени работы Екатерины II над двумя последними редакциями ее мемуаров в первой половине 90-х гг. XVIII века, в которых развит мотив охоты, в ее распоряжении давным давно была библиотека Вольтера, в которой имелись все эти издания.

В своей автобиографии императрица представляет охоту<sup>51</sup> (и в первую очередь верховую езду) важнейшим компонентом созревания личности. Этот мотив широко используется также в романах феминистского толка того времени. Верховая езда, любовь к охоте – доказательство способностей героини, ее „мужских“ качеств, символ разрыва с женской неподвижностью и изнеженностью. И в романах эпохи Просвещения, и в екатерининских мемуарах мотив

---

<sup>51</sup> Возможно, что положительное отношение к охоте было продиктовано не только личным увлечением или романной традицией. Имея ввиду увлечение Екатерины на склоне лет древнерусской стариной, с большой дозой вероятности можно предположить и намек на национальную традицию, например, мотив охоты как нелегкого труда государственного мужа присутствует в „Поучении“ Владимира Мономаха (XII век).

амазонки-охотницы появляется в поворотных для развития женского персонажа эпизодах и становится символом обретенной свободы и уверенности в себе. Тем более, рассказ об охотничьих „подвигах“ в окрестностях Ораниенбаума, невзирая на риск, контрастирует с изнеженным, капризным, „женственным“ поведением великого князя.

Представленный в этом отрывке образ Петра Федоровича укладывается в отрицаемый Макиавелли тип правителя: „Презрение государи возбуждают непостоянством, легкомыслием, изнеженностью, малодушием и нерешительностью“ (Глава XIX) (Макиавелли 2006: 100). Все перечисленные недостатки – устойчивые характеристики поведения супруга-соперника в екатерининских мемуарах. Они дополняют другую важнейшую составляющую антимифа о Петре III, столь старательно выведенного в автобиографии императрицы: его презрение к русским обычаям, к русскому языку, к православию. Сама императрица не только в тексте своих записок, но и в жизни тщательно придерживалась макиавеллевского правила нравиться народу и знать страну, чтобы удержать дружбу народа (Макиавелли 2006: 77).

Всем, читавшим екатерининские мемуары, приходят на память хрестоматийные эпизоды, в том числе четко сформулированная программа в редакции 1771 года („нравиться императрице; нравиться великому князю; нравиться народу“ (РТ–Б: 58), ночная зубрежка русского языка, едва не стоившая жизни юной принцессе, а также церемония крещения в православие, интерес и ревностное соблюдение национальных и религиозных обычаев и ряд других эпизодов. „Лучшая из всех крепостей – не быть ненавистным народу: какие крепости ни строй, они не спасут, если ты ненавистен народу“, – пишет Макиавелли и продолжает: „Осужу всякого, кто полагаясь на крепости, не озабочен тем, что ненавистен народу“ (Макиавелли 2006: 111). Это заявление также находит соответствие в тщательно разработанном в мемуарах сюжете постройки небольшой крепости в Ораниенбауме и военных игр в живые солдаты Петра Федоровича, которые мемуаристка высмеивает в стиле „Тристрама Шенди“.

Можно привести еще ряд параллелей между трактатом Макиавелли и мемуарами Екатерины II. Это, например, такие черты об-

раза великой княгини как верность данному слову и дискретность, щедрость, ровное обращение с приближенными и слугами, дипломатичность. Все они имели в значительной степени реальное основание в жизни императрицы, что подтверждается многочисленными мемуарными свидетельствами других авторов. По всей видимости, Екатерина хорошо усвоила один из главных уроков Макиавелли: „Государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими“ (Макиавелли 2006: 99).

Как в случае с Марком Аврелием, так и по поводу Макиавелли, у Екатерины II были веские основания спорить с прусским королем. И в этом случае речь идет о символьном наследии Петра Великого, главную претензию быть обладательницей которого предъявляла его наследница на российском престоле. Для Фридриха Петр, проявивший крайнюю жестокость в проведении своих реформ, – воплощение кровожадного тирана в действии. Будущий прусский король осуждает царя с позиций морали, также, как осуждал Макиавелли (Шмурло 1929: 28–29). Вольтер, по мнению ученого, гораздо осторожнее: „Не трудно видеть, что в своей оценке Фридрих и Вольтер выходят из двух совершенно различных положений, и нельзя не признать, что французский историк гораздо шире взглянул на вопрос и, несомненно, гораздо глубже затронул его, чем будущий создатель Великой Пруссии. Фридрих стоял на точке зрения исключительно моральной: „порок“ заслонил для него „добродетель“ [...] Не то Вольтер. [...] Историческая личность есть для него нечто цельное, неделимое, и судить о ней следует по конечным результатам ее деятельности. Отсюда и большая устойчивость во взгляде Вольтера на Петра“ (Шмурло 1929: 28–29). Академик цитирует письмо Вольтера Фридриху, в котором он говорит, что в Петре он ценит не только то хорошее и великое, что он сделал, но и то, что он лишь намеревался сделать (Шмурло 1929: 29. Письмо от 28.03.1738 г.). Характерно для Вольтера, что впоследствии в „Истории России при Петре Великом“ он постарается увидеть в Петре не только государя, но также человека, предаваясь личным воспоминаниям о том, что он якобы видел, будучи

молодым человеком, незаурядного русского царя по парижским улицам во время его визита во Францию в 1717 г (Mohrenschild 1972: 221; Мезин 2003 www). А. Фатеева с основанием видит во взглядах Вольтера в отношении к Петру Великому синтез античных и современных представлений о качествах, которыми должен был обладать монарх, „реальное продолжение античной идеи и, более того, логическое ее завершение“ (Фатеева 2007: 56–59).

По поводу русского императора, в отличие от Макиавелли, мнения Екатерины и Вольтера совпадали. „Из трех наиболее выдающихся государей, которых породило предыдущее поколение, двух он уже увековечил: Людовика XIV и Карла XII; оставался третий монарх, Петр Великий. Рекомендация Вольтера на историческом рынке ценилась высоко, и было лестно заручиться его одобрительным отзывом. К тому же всепрославленного писателя не только почитали, но еще и побаивались: его перо, одинаково сильное, как в утонченной лести, так и в ядовитой насмешке, было опасно, и потому практичнее всего было жить с ним в ладах и уже прямо выгодно обеспечить его услуги“, – обобщает академик Шмурло (Шмурло 1929: 40). Это суждение ученого можно дополнить тем, что, разочаровавшись во Фридрихе и просчитавшись в надежде обрести нового „философа на троне“ в дочери русского реформатора, Вольтер остановил свой выбор на дочери своей давней знакомой, княгини Ангальт-Цербстской, ставшей при сомнительных обстоятельствах русской императрицей и инициировавшей диалог с ним. В его глазах Екатерина станет „еще более великой“: „Вольтер одним из первых нашел наиболее адекватный способ превознесения Екатерины – поставив ее рядом, на фоне Петра“, – констатирует В. Проскурина (Проскурина 2006: 115). Она-то действительно станет его талантливейшей „ученицей“ и будет вести с ним на равных, в шутовском тоне светской беседы, философическую переписку, используя ее в свою пользу. Отношение же „учителя“ к Петру Великому Екатерина хорошо освоит и через это отношение, воспользовавшись теорией Макиавелли, будет создавать свой собственный образ в автобиографии, подчеркивая удачное сочетание „человеческих“ и „государственных“ качеств. Она сделает петровскую па-

радигму сакральной и представит свое восшествие на престол как восстановление дела Петра I, демонстрируя всегда свое положительное отношение к предшественнику<sup>52</sup> (Проскурина 2006: 110).

Многочисленные параллели между одним из значительнейших философских трудов на тему принципов управления государством и поведения правителя и мемуарами Екатерины II позволяют предположить, что государыня сознательно включала в свое произведение ссылки на популярный текст. По традиции жанра одно из предназначений текста было обращение к прямым потомкам. Помня об этом, Екатерина оставила своему сыну своего рода завещание о принципах управления государством, учитывающее реальности политической теории и практики. В более широком плане Екатерина II лишняя раз подтвердила свое реноме „философа на троне“, приняв сторону „промакиавеллистов“ в актуальном споре о сути власти и личности просвещенного правителя и поддерживая характерное для эпохи толкование Макиавелли, в то же время демонстрируя автономность и прагматизм своего политического мышления. В контексте последней редакции ее автобиографии отсылки к „Государю“ укладывались в концепцию системы персонажей – образа мемуаристки и ее антагониста, Петра Федоровича, подтверждая логику автобиографического пакта, выраженного

---

<sup>52</sup> В. Проскурина отмечает также ревность Екатерины к Петру. Об этом можно судить по дискуссии о Петре Великом, которую вела во Франции княгиня Дашкова, сама неоднократно демонстрировавшая свое отрицательное мнение о царе. Также, как Екатерина никогда не отзывалась отрицательно о предшественнике, так и княгиня Дашкова, причастная не только к возведению Екатерины „Великой“ на престол, но и к заговорам против нее, отзывалась всегда положительно об императрице, хорошо зная, что каждое ее слово достигнет до ушей государыни. В отрицании „Екатериной Малой“ (Дашковой) Петра и превознесении Екатерины II В. Проскурина видит неплохо продуманную стратегию находящейся к тому времени в немилости княгини: „Дашкова не только не сочувствовала Петру – она знала о болезненно ревнивом отношении Екатерины к великому предшественнику. Здесь была тонкая лесть пополам с убеждением: дискуссия о Петре в центре Европы должна была быть услышана в Петербурге. Екатерине не раз передавали страстные и комплиментарные отзывы полуопальной княгини. Вероятно, этот разговор также был оценен – вскоре Дашковой начнут намекать на благоприятный для нее климат при петербургском дворе“ (Проскурина 2006: 137).

вступительным силлогизмом, а также подтверждая тщательно разрабатываемую мифологию собственной личности.

Жанр автобиографии позволил ей избежать основного недостатка трактата Фридриха – его декларативность и компромиссы, допущенные в последних главах „Анти-Макиавеля“ (Mervaud 1985: 93–94), не говоря о макиавеллизме на практике<sup>53</sup>. Она не рисковала своей репутацией и потому избегала прямых ссылок на сочинения итальянского философа, тем более, что задолго до этого, в „Наказе“, служившем в общеевропейском пространстве рекламой ее либеральных устремлений, императрица „объективно опровергала теорию Макиавелли“ (Гуськов 2008: 140). Екатерина II представила соответствующие эпизоды как результат собственного опыта и мудрости, заодно поддерживая свою славу Северной Минервы и преподавая в ненавязчивой форме науку управления государством. В то же время Екатерина II успешно сочетала античные представления о государе и классические идеи Макиавелли с наиболее авторитетными мнениями философов Просвещения и очень умело вплела в текст своих записок отголоски общеевропейской дискуссии о Петре Великом, через культ к которому она оценивала самое себя в публичных сценариях власти. Заочный спор с Фридрихом отражал также новые тенденции в ее политике, которыми императрица стремилась добиться гармонизации русского общества и которые она включила в свое политическое завещание, каким по сути дела явилась ее автобиография.

---

<sup>53</sup> „Трактат Фридриха вошел в историю как пример исключительного политического цинизма. Ни для кого не было секретом, что политика прусского государя, энергично заявившего о своем неприятии рекомендаций итальянского философа, строилась в полном соответствии с ними. Обманы, предательства, бесконечные интриги – с этим на протяжении четырех с половиной десятилетий сталкивались все европейские дворы, имевшие дело с Фридрихом“, – отмечает А. Ивинский (Ивинский 2013: 128).

С другой стороны, в историю дипломатии вошел принцип трех „С“ Екатерины, „любившей повторять, что политику в XVIII веке, просвещенном, определяли „обстоятельства, конъюнктуры (интриги) и их сопряжения“ (circonstances, conjonctures, conjonctures) (Стегний 2009: 23).

## Глава вторая

### СИМВОЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МОНАРШЬЕГО ИМЕНИ<sup>1</sup>

Имя государя и имена членов царской семьи всегда были нагружены большей знаковостью, чем имена заурядных людей. Они означали много большего, звучали намного весомее – связь с традицией, утверждение династии, порой содержали в себе определенные политические внушения. Не случайно во многих монархиях происходит смена личного имени государя, вступающего на престол. Часто наблюдается „использование риторического потенциала христианских имен“, причем это устойчивая традиция, берущая начало с античности (Сазонова 2006: 203). Этимологические игры с именами, апелляции к имени, толкования всегда присутствовали в литературных текстах и были особенно характерными для эпохи барокко. Л. И. Сазонова обращает внимание на то, что в риторической культуре „имя говорит само за себя“ („Nomen est omen“). Кроме номинативной функции имени, отмечается его метаязыковое значение, которое могло служить предпосылкой для его риторической разработки (Сазонова 2006: 205–206). Эта практика была характерна для панегирических жанров, а „сфера применения со временем расширилась, охватив и пространство светской культуры, без похвальной этимологизации не обходится придворно-церемониальная поэзия XVII–XVIII вв.“ (Сазонова 2006: 210). Следует, однако, учесть и дополнительные смыслы, возникающие при переводе этого крылатого латинского выражения: „Имя есть судьба“ и „Имя предвещает“<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Первоначальный вариант этой главы был опубликован в сб. XVIII век № 27 (См. Вачева 2013а). Автор благодарит редакцию за предоставленную возможность использовать текст в настоящем исследовании.

<sup>2</sup> По мнению Н. Г. Комлева, это выражение Плавта: „Nomen est omen“ – „Имя – это предзнаменование“, т.е. в имени проявляется характер его носителя (Комлев 2006).



В автобиографии Екатерины II проблема имени эксплицитно не обсуждается. Однако этот вопрос она живо комментирует в своей переписке с Вольтером и Гриммом. Поводами для этого являются как личные праздники императрицы, так и переход в православие ее невесток, выбор имен для ее внуков. Производит впечатление, что именно эту тему императрица охотно обсуждает в письмах в отличие от темы своего дня рождения и родного города. В письме Ф. М. Гримму от 29 апреля 1775 г. она умоляет своего корреспондента не упоминать о дне ее рождения, так как уже 46 лет она слышит о нем и поэтому уши ее оглохли от этого: „Я не люблю этого дня, всегда прибавляется еще один год и в этом (праздновании? – А. В.) нет здравого смысла“ (СИРИО 1878, 23: 24). Сходным образом Екатерина упоминает об этом и в письмах к г-же Бьелке. Если в письме от 21 мая 1770 г. она просто принимает поздравления подруги своей матери, удивляясь быстротечности времени, и отмечает свой возраст: ей минул 41 год (СИРИО 1874, 13: 20), то три года спустя, 9 мая 1774 г., Екатерину уже беспокоит надвигающаяся старость: „Это 2 мая<sup>3</sup>, которое так часто возвращается, – несмотря на все, что вы мне говорите и желаете прекрасного по этому случаю, всегда приносит мне в подарок лишний год, и по этому самому я не очень-то жалею этот день: что бы ни говорили, а стареться – очень неприятная вещь“ (СИРИО 1874, 13: 406). Как уже стало видно, однако, из ассоциаций с Нумой Помпилием, государыня не была безразлична к такому роду совпадений и, хотя она не обсуждала на публике этот вопрос, то по всей видимости, была склонна видеть в них своеобразные знаки судьбы<sup>4</sup>.

В одном из писем императрица пресекает любопытство Гримма насчет ее родного города всего одним предложением: „Я не могу

---

<sup>3</sup> София-Фредерика Августа, принцесса Ангальт-Цербстская родилась 21 апреля (по старому стилю)/2 мая (по новому стилю) 1729 г.

<sup>4</sup> Другим таким любопытным случаем, в котором если не сама императрица, то современники могли бы увидеть знак будущего, был тот, когда отец Екатерины II, Христиан-Август Ангальт-Цербстский стал по стечению обстоятельств в 1716 г. хозяином Петра I в Штетине во время второго путешествия русского царя по Западной Европе (Rasmussen 1978: 55).

понять, почему вы так жалеете о логове принцесс и об этом прославленном Штеттине, которого вы и не видели, неужели вы верите, что трава и вода формируют человека?“ (СИРИО 1878, 23: 57). Уверенность в том, что не „трава и вода“ формируют человека, а его судьба – его личное дело – основная идея екатерининских мемуаров. Императрица с хладнокровием встречает и бесчисленные, явно ей приятные, славословия французских философов. Она не поощряет ее прославление наравне с Богом, тем не менее принимает это. Однако если в научной литературе широко обсуждалось обращение к римской мифологии, то мотивы, связанные с новой небесной покровительницей после перехода Екатерины в православие, не привлекали внимания ученых.

Проблема имени, символики пронизывает как тексты, связанные с собственным имиджем, так и с желаемыми тенденциями в истолковании судеб империи, как это хорошо было показано А. Зориным и В. Проскуриной (Зорин 2002; Проскурина 2006). О том, что Екатерина II была исключительно внимательна к подобным символам говорят „номинативные шедевры“ в выборе имен Александра и Константина для ее первых внуков, которые предназначались возглавить соответственно Российскую и должную быть восстановленной Византийскую империи (Зорин 2002: 63). Далеко не случайно то, что именно при Екатерине, внимательно подбиравшей имена для своих внуков и внучек, происходит обновление именованного дома Романовых, сочетая родовую принадлежность, династическую преемственность с Рюриковичами, но также руководствуясь актуальными политическими соображениями (Пчелов 2009: 80).

Вопрос об имени, родном и приобретенном, возникает поочередно в начале переписки Екатерины II и с Вольтером, и с Гриммом. Есть три письма обоим корреспондентам – Вольтеру от сентября и декабря 1773 г. и письмо к Гримму от 1776 г., имеющие почти аналогичное содержание на эту тему. Все они написаны по поводу перехода в православие обеих ее невесток – великой княгини Натальи Алексеевны и будущей императрицы Марии Федоровны. Во всех трех письмах императрица выступает с позиции

„главы Греческой церкви“<sup>4</sup>. Она категорически заявляет, что русские великие княгини, иностранки по происхождению, проходят не новое крещение, а конфирмацию<sup>5</sup>. Особенно обстоятельно она объясняет обряд Вольтеру: „Как глава Греческой церкви не могу я без нарушения совести оставить вас в заблуждении, не выведя из оного. Вы хотели бы, чтоб великая княгиня перекрещена была в церкви Св. Софии; перекрещена, говорите вы? Нет, государь мой. Церковь греческая никогда не перекрещает, она признает всякое крещение в прочих христианских церквах совершенно истинным и действительным; вследствие чего великая княгиня, по прочте-

---

<sup>5</sup> Достаточно известны отрывки из писем юной Софии-Фредерики ее отцу, в которых она просит разрешения на переход в православие (письмо от 3/14 мая 1744 г.) и описывает сам обряд и получение нового имени (письмо от 5/16 июля 1744 г.). В первом письме она, обещавшая отцу при отъезде в Россию сохранять верность лютеранству, старается убедить его в правомерности своего обращения: „Так как я не нахожу почти никакой разности между верами греческою и лютеранскою, то решилась, после того как вникнула в милостивые наставления вашей светлости, переменить (исповедание), и пришлю к вам в первый день мой символ веры“ (СИРИО 1871, 7: 4). Это письмо лишено прежней теплоты в отношении дочери к любимому отцу. В следующем же письме новообращенная Екатерина пишет отцу в том же официальном тоне о церемониях перехода в православие и обручения: „Ее императорское величество внезапно решила, чтобы мое обращение совершилось в прошлый четверг, а обручение – в пятницу. Она признала также за благо присоединить ко прочим моим именам имя Екатерины“ (СИРИО 1871, 7: 5). Очевидно, что в отличие от зрелой и опытной мемуаристки юная будущая великая княгиня не прониклась еще русским духом и воспринимает новое имя как дополнение к традиционным нескольким именам в западной аристократической традиции. Об этом она пишет также Вольтеру. Для нее имя „Екатерина“ все еще не стало символом ее новой судьбы. Есть еще одно официальное письмо от того же числа на немецком языке (предыдущие написаны на французском) о том же событии: „Светлейший князь, высокоуважаемый родитель! После принесения прежде всего искреннего благодарения Всевысочайшему Существо, как источнику всякого блага, за достижение мною, по материнскому соизволению ее величества, моей всемилостивейшей императрицы, настоящего моего достоинства, я считаю моей дочернею обязанностью известить вашу светлость, что 28 прошедшего июня, вследствие данного мне вами отеческого благословения, я приняла восточную веру, основанную на греко-русском вероисповедании, а на другой день была обручена с его императорским высочеством великим князем и наследником всея России“ (СИРИО 1871, 7: 6).

нии на русском языке исповедания православной веры, принята в недро церкви посредством нескольких крестных знаменей благо-  
вонным елеем, которые совершены с великой церемонией; которой  
обряд как у вас, так и у нас называется миропомазанием. При том  
же случае и имя дается; но что касается до сего, то у нас очень на  
них скупы; вы дюжинами награждаетесь, а мы по одному толь-  
ко получаем, для нас и одного довольно“ (Екатерина II и Вольтер  
1802, II: 178. Письмо от 26 декабря 1773/7 января 1774 г.).



Ф.-М. Гримм

Акцент в объяснениях падает на то общее, что объединяет обе Церкви, точно так же, как идеология Российской империи еще со времен Петра I искала свои общие корни с Римской империей и пользовалась ее символикой. Екатерина ловко обходит в письме неприятный ей вопрос о затянувшейся осаде Константинополя, известия о взятии которого ожидал от нее Вольтер.

Императрица протестует против беспокойства Гримма, что „прекрасное имя Софии будет утоплено“ (СИРИО 1878, 23: 55) в обряде. Вот что пишет она Гримму в 1776 г. по поводу смены имени ее невестки Софии-Доротеи Вюртембергской (будущей императрицы Марии Федоровны), у которой было то же имя: „Знайте, что у нас христиан не подвергают новому крещению; речь идет лишь о конфирмации, при которой, как и у католиков, вам дается имя. Однако это имя, данное Греческой церковью, вы носите, а остальные кладете в карман“ (СИРИО 1878, 23: 55)<sup>6</sup>. Отрепетированный в письмах к Вольтеру ответ на этот довольно щекотливый вопрос получает развитие: актуальны все имена человека, независимо от частоты их использования, и они несут в себе его предопределение. В сущности, эти заявления свидетельствуют, что императрица прониклась традиционным русским православным сознанием. А. М. Панченко отмечает, что „обновление“ в древнерусском понимании – это не „новаторство“, не преодоление традиции, не разрыв с нею. [...] Человек с точки зрения православной культуры Древней Руси также был „эхом“. Крестившись, человек становился „тезоименен“ некоему святому, становился отражением, эхом этого святого“ (Панченко 1996: 63). В опубликованных письмах Екатерины II есть, кажется, лишь один случай, в котором она использует свое имя, полученное при рождении. Это своеобразная декларация по поводу наследства Иевера, которую императрица посылает одному из своих немецких кузенов<sup>7</sup>.

В раннем письме 1765 г. Вольтер выражает свое неудовольствие по поводу имени „Екатерина“: „Могу ли я осмелиться всемилостивейшая государыня, сказать, что мне несколько досадно, что Вы именуется Екатериною. Древние героини никогда не заимствовали имена из святцов. Гомер и Virgilius нашли бы себя в великом от сих имен затруднении. Вы сотворены не для святцов“ (Екатерина II и Вольтер 1802, I: 10).

<sup>6</sup> Письмо от 18 августа 1776 г. Стоит, однако, привести конец этого письма пассаж: „... сохраните это письмо, оно будет драгоценным для антиквариев через две тысячи лет, когда будут обсуждать дела и нравы нашего времени“ (СИРИО 1878, 23: 55).

<sup>7</sup> СИРИО 1876, 23: 614. Письмо от 23 марта 1795.

Перед тем как сделаться певцом „св. Екатерины Петербургской“, фернейский мудрец предлагает в вышеупомянутом письме своей сиятельной корреспондентке метонимические названия, заимствованные из римской мифологии: имена Юноны, Минервы, Венеры, Цереры. Ответ не запоздал. В письме от 28 ноября 1765 г. (очевидно эта дискуссия имела место накануне дня ангела императрицы) Екатерина остроумно отвечает:

Государь мой!

Голова моя столько же тупа, сколько и мое имя не гармонично: и потому на прекрасные ваши стихи я буду отвечать дурною прозою. [...] Как я ни почитаю себя вправе быть воспеваяемою, то не променяю своего имени на имя завистливой и ревнивой Юноны, и тщеславие мое не столь велико, чтоб принять на себя Минервино; не хочу также и имени Венеры; потому что слишком много говорят на счет сей красавицы. Не могу быть и Церерой, потому что жатва в России сего года была весьма дурна. Мое же собственное имя по крайней мере обнадеживает меня в ходатайстве за меня моей прокровительницы там, где она находится; и так сообразя все сие, думаю, что оно есть для меня лучшее (Екатерина II и Вольтер 1802, I: 11, 15).

Разумеется, императрица лукавила. Как это убедительно показано учеными, символика Минервы была давно положена в основу ее „сценария власти“, вбирая в себя элементы предыдущих эпох – Петровской, Елизаветинской, и приведена в действие еще во время коронационных торжеств, а потом мультиплицирована множеством зрелищ, изображений, поэтических текстов<sup>8</sup>. Что же касается славы Венеры, то и о самой Екатерине будут говорить многое, причем не одно столетие. Екатерина же заставит также своих западных корреспондентов „полюбить“ данное ей при переходе в православие имя и славословить его. Тот же Вольтер, отвечая на вышеупомянутое письмо от 24 января 1766 г., был несколько озадачен заявлением корреспондентки. Он склонен подождать и посмотреть, насколько преуспеет все еще новая тогда российская

---

<sup>8</sup> См. Уортман 2002, I: 153–199 и 200–224 (главы „Торжествующая Минерва“ и „Минерва и Телемак“); Зорин 2002: 40, 43, 119; Проскурина 2006: 35, 59, 67, 77, 80.

императрица прославить свое „неблагозвучное“ имя: „Прискорбно умирать, не выдав той, которая предпочитает имя Екатерины именам древних божеств и которая сделает его предпочтительнее оных“ (Екатерина II и Вольтер 1802, I: 14). В будущем, следя за военными действиями в 1769 г. фернейский мудрец уже будет почти обожествлять ее: „Тебе Бога хвалим или, лучше сказать, тебе, Европейская героиня“ (17 октября 1769 г. Екатерина II и Вольтер 1802, I: 70), выступать ее пророком, славя ее на латыни: „Te Catharinam laudamus, te dominam confitemur“ (30 октября 1769 г.; Екатерина II и Вольтер 1802, I: 72). В начале 1771 г. Вольтер пишет уже похвальные стихи св. Екатерине:

Что я из всех святых святой Екатерине  
 Стал наиболее почтенья отдавать.  
 То это потому, что нашей Героине  
 Досталось именем ее себя назвать<sup>9</sup>.

Вольтер собирается в Петербург на поклонение „св. Екатерине Второй“ (11 декабря 1773 г. Екатерина II и Вольтер 1802, II: 144), для него рай земной „везде, там, где Екатерина“ (сентябрь 1771 г.; Екатерина II и Вольтер 1802, II: 47), еще в 1768 г. он склонен объявить ее Первой, а не Второй, и пр. Смешение „небесной“ и „земной“ Екатерину начинает проводиться последовательно и обрастает дополнительными смыслами. Местопребывание русской императрицы, как и территории ее побед, становятся в его письмах новым сакральным европейским пространством. Русская императрица в интерпретации Вольтера становится покровительницей религиозной толерантности, героически защищает ценности христианства и, главное, Просвещения. Екатерина II успела заставить своего „учителя“ „полюбить“ ее покровительницу и если не забыть о любимых им римских богинях, символах потерянной и подлежащей восстановлению античной цивилизации, то хотя бы поставить ее рядом. Это можно рассматривать и как осуществление в жизни императрицы одного из ведущих мотивов жития святой Екатерины – прения с философами, в которых прекрасная и юная восем-

<sup>9</sup> Письмо от 22 января 1771 г. (Екатерина II и Вольтер 1802, I: 187).

надцатилетняя девушка одерживает победу над непререкаемыми авторитетами. Сама императрица осознавала свое приобретенное имя как миссию. По ее мнению, оно не пристало каждой женщине. Известен ее шуточный отзыв в письме Гримму по поводу вероятности того, что у нее появится внучка, носящая то же имя. В письме, написанном через несколько месяцев после появления на свет Александра Павловича, Екатерина как бы предвидит будущее, предполагая рождение многочисленных внучек. По ее шуточному предсказанию, они будут несносны, капризны, красивы, но непоследовательны, будут пренебрегать предрассудками, этикетом, не будут интересоваться общественным мнением, что столкнет их с множеством препятствий, но хуже всех будет та, которая будет названа Екатериной. Из-за своего имени она встретит больше трудностей, чем ее сестры. Смягчить их участь сможет только имя Пресвятой Девы Марии, которое сиятельная бабушка дала бы всем, будь их даже десятеро (СИРИО 1878, 23: 91–92. Письмо от 8 июня 1778 г.)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Интересно отметить, что из всех многочисленных внучек Екатерины II действительно самой замечательной и достойной носить это имя будет великая княгиня Екатерина Павловна, во втором замужестве королева Вюртембергская (1788–1819). У Екатерины Павловны была сложная судьба, она отличалась своей высокой образованностью, литературными интересами, политическим чутьем. Она была частой советницей своего брата, императора Александра I. В качестве королевы Вюртембергской Екатерина Павловна помогает своему мужу королю Вильгельму I в осуществлении важнейших реформ (отмены крепостного права, введения конституции, основании экономических и земледельческих обществ). Королева Вюртембергская много занималась благотворительностью, осуществлением реформ в области образования и здравоохранения. В ее внешности и поведении, кстати, было много общего с автопортретом ее бабки, созданном в автобиографии. Графиня Д. Х. Ливен вспоминает, что Екатерина Павловна „... была очень властолюбива и отличалась огромным самомнением. Мне никогда не приходилось встречать женщины, которая бы до такой степени была одержима потребностью двигаться, действовать, играть роль и затмевать других. У нее были обворожительные глаза и манеры, уверенная поступь, гордая и грациозная осанка. Хотя черты ее лица не были классическими, но поразительный свежий цвет лица, блестящие глаза и великолепные волосы пленяли всех. Воспитанная в большой школе, она прекрасно знала все правила приличий и была одарена сильными возвышенными чувствами. Говорила она кратко, но красноречиво, ее тон



Фигура небесной покровительницы императрицы св. Екатерины, одной из самых почитаемых всеми христианскими церквями, приобретает особое значение в переписке с французскими философами и потому, что она соответствует интерпретации образа Екатерины II как объединяющего начала при конфессиональном разделении континента. Сама императрица активно пользуется этими коннотациями в выработке концепции собственного образа в автобиографии.

Болгарская исследовательница Милена Кирова отмечает, что несмотря на распространенное убеждение, что родина – это то место, где человек родился, еще в Ветхом Завете есть представление о том, что родина – это также пространство, которое может быть создано и усвоено. Такому же строительству, по мнению исследовательницы, подлежит и имя: „Очень интересна стратегия создать личное имя делами того, кто его носит. Кроме того, видим, как две из основных ценностей бытия человека – место и имя – оказываются подвержены строительству в соответствии с общим законом: импульс, полученный от Бога, может стать действительностью только путем целенаправленных, сознательных усилий человека. И место, и имя, другими словами, являются не столько фиксированной данностью, сколько процессом, в котором создаются определенные значения“ (Кирова 2007 www).

\* \* \*

В автобиографии Екатерины II последовательно проводится семантическая игра, связанная с именем, данным российской императрице при рождении и полученным ею при переходе в православие. Рациональное начало в автобиографическом рассказе, заданное вступительным силлогизмом и получившее подтверждение в его „решении“ в конце поздней редакции, вписывается как нельзя лучше в екатерининский миф: российская императрица предстает

---

всегда был повелительным“ . Безвременной кончине Екатерины Павловной В. А. Жуковский посвящает одну из своих известнейших элегий „На смерть королевы Виртембергской“ (1819) (см. Екатерина Павловна www).

как Минерва, земное воплощение мудрости или, в другом варианте, – Астрея, богиня счастья, приносящая с собой золотой век человечеству. Оба мифологических образа активно включались в литературные тексты, сценарии дворцовых праздников, которые должны были демонстрировать авторитет самодержавной власти в России (Уортман 2002; Зорин 2002; Проскурина 2006). Вводя в последнюю редакцию своих записок философский силлогизм, Екатерина отсылала читателя к символике имени, данного ей при рождении, – София (мудрость), синонимической с образом римской богини. Такое автобиографическое прочтение не исключается, если иметь в виду „концентрированную мифологию“ (Fauchery 1972: 70) этого имени, которое часто носили добродетельные героини романов и комедий.

В одном из ранних автобиографических отрывков Екатерина упоминает другую причину смены ее имени: аллюзии к царевной Софьей. Напоминание о неблагоприятном политическом контексте не входило в планы владетельной мемуаристки. В смысле подчеркнутой преемственности ее правления с делом Петра Великого (лапидарно выраженной в пресловутой надписи к Медному всаднику: „Петру I Екатерина II“), которая была характерна для мифологии ее царствования, для нее было выгоднее больше не напоминать о своей предшественнице, носившей то же имя, образ которой ассоциировался с деструктивным политическим поведением. В то же время, Екатерина II интересовалась первой женщиной-правительницей России и имела положительное к ней отношение. Мириам Финкелштейн анализирует драматический этюд императрицы „Чесменский дворец“, в котором портреты государей различных времен и стран обсуждают между собой вопросы политики. Свое положительное отношение Екатерина влагает в уста самого Петра Великого, который сожалеет о том, что обстоятельства сделали их с сестрой врагами, тогда как он охотно бы воспользовался ее советами (Finkelstein 2011: 125). Екатерина переосмыслила и развила заложенную Елизаветой Петровной идею возобновления имен ее родителей в великокняжеской чете. Мемуаристка подчеркивает именно преемственность по отношению к политике Петра I, не от-

казываясь, однако, от символики имени, данного ей при рождении, которое она продолжает „держать в кармане“. Таким образом, первое имя императрицы София еще раз напоминает о предопределенности ее судьбы, об „обреченности“ на мудрость, что хорошо вписывалось в мифологию екатерининского правления.

В то же самое время не надо пренебрегать значением имени, с которым императрица остается в истории, – Екатерина – „вечно чистая“. Оно напоминает об иллюзии искренности, характерной для жанра автобиографии.

Книга Гари Маркера (Marker 2007) о развитии культа св. Екатерины и его роли в политических сценариях русского двора, и особенно в сакрализации женских правлений, позволяет дополнить картину тщательно разрабатываемой в автобиографии императрицы мифологии собственной личности.

Оба имени императрицы – данное при рождении (София) и приобретенное (Екатерина) – были представлены в царской семье Романовых. Присутствие имени Екатерина в именовании дома Романовых имеет интересную историю, которую опять-таки можно считать „нагруженной“ семантикой новизны, избранности, предчувствия. Это имя до середины XVII века, когда родилась первая его носительница в царской семье, не встречалось в кругу ее представителей. Династия Романовых, вступив на престол в 1613 г., имела свой круг фамильных имен („боярских“, по определению Е. В. Пчелова), но также пыталась использовать имена Рюриковичей, с целью демонстрации преемственности власти, и почти не прибегала к популярной практике наречения ребенка по святым. Среди малочисленных исключений было имя царевны Софьи, родившейся 17.09. в день великомученицы Софии и ее трех дочерей – Веры, Надежды и Любви (Пчелов 2009: 76–77; 2013 www). По преданию, перед рождением этой дочери Алексею Михайловичу привиделся образ великомученицы Екатерины, поэтому и царевна была названа этим именем, а на месте видения была основана Екатерининская мужская пустынь (Пчелов 2013 www). Эта первая Екатерина Алексеевна, старшая сестра Петра I, не принимала участия в противостоянии царевны Софьи и Петра, и на всю жизнь

сохранила добрые отношения с младшим братом и стала восприимницей в православии его второй супруги – Марты Скавронской, ставшей полной ее тезкой: Екатериной Алексеевной<sup>11</sup>. Возможно, что, когда ей выбирали имя, все-таки посчитались с только что прошедшим днем святой (24 ноября, царица родилась 26). Тем не менее, „официальная версия“ с ссылкой на вещий сон еще лучше подчеркивает значение, которое Романовы придавали этому имени и внушению избранности, если не самой новорожденной, то ее семьи, которая его добивалась.

Имена членов царской семьи были предметом поэтического осмысления в творчестве русских барочных поэтов второй половины XVII века – Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведея, Кариона Истомина, Варлаама Ясинского (Сазонова 2006: 220). Наиболее популярным было истолкование имени правительницы – царицы Софьи (мудрость). В цикле „Еленхос“ С. Полоцкий посвящает членам семьи Алексея Михайловича эпиграммы (в значении надписи), среди которых есть адресованные дочерям царя Софье и Екатерине<sup>12</sup>. Имя Екатерины осмысливается как истинная надежда. Неизвестно, знала ли императрица об этих поэтических интерпретациях. Об этом можно строить только предположения, зная интерес российской государыни, проявляемый к правлению царя Алексея Михайловича. Вполне возможно, что ей были известны подобные истолкования, которые повторялись особенно в более консервативных жанрах, каким была проповедь. Как ни открешивается Екатерина II от ассоциаций с царевной Софьей, она многократно повторяет семантику этого имени и в публичных сценариях, и в переписке, и в автобиографии.

---

<sup>11</sup> Благодарю Радославу Илчеву за идею упомянуть эту личность русской царской семьи.

<sup>12</sup> „София – Мудрость

СлавНО, яко ФинИкс, мудрость процвѣтает,

Недвижим камень в трон си полагает.

Екатерина – Надежда, Истинна

ЕлиКа Аще ТЕРпИт кто за Бога СыНа,

Надежда, яко воздаст Божия истинна“ (Цит. по: Сазонова 2006: 221).

По мнению Гари Маркера, „в отличие от своих предшественниц, Екатерина пользовалась преимуществом – имела перед собой несколько примеров женского правления, в результате чего ей не надо было, в отличие от остальных владительниц, так старательно обосновывать свое правление, окружая себя пантеоном женщин-святых. Однако она была вынуждена формулировать свое собственное право на власть, что она и делала на протяжении всего своего правления внушительным рядом прокламаций, ритуальных представлений, портретов и публичных церемоний. Кроме того, она, наиболее светски настроенная по сравнению с другими русскими царицами, многократно обращается к образу св. Екатерины и – шире – к корням женской святости, в том числе к мифу о непорочности, чтобы создать свою репутацию православной правительницы“ (Marker 2007: 222). Автобиография Екатерины в этом контексте – важное неконвенциональное средство, рассчитывающее на условную искренность жанра, имеющее целью поддержание и дополнение тщательно разрабатываемой на протяжении всего царствования мифологии личности императрицы. Имена – и полученное при рождении, и приобретенное при переходе в православие и при обручении – влияют на концепцию автобиографического образа.

Если судить по толкованиям семантики обеих имен, которую предлагает такой авторитетный богослов и религиозный философ, как о. Павел Флоренский, императрица и в жизни, и позже в автобиографии сумела воплотить все лучшее, что ей предназначали оба имени. В „Именах“, своеобразном словаре популярных имен, Флоренский характеризует Софию как носительницу мудрости, но в смысле „зиздательной способности, воплощение идеального замысла в конкретном мире“. Богослов подчеркивает интуитивность Софии, „но будучи интуитивной, София имеет свой интеллект [...] служеным органом духа и потому не испытывает острых коллизий между интуицией и разумом. Разум [...] всегда блюдет в той или иной мере верность подлинным впечатлениям жизни“. Флоренский говорит о способности носительницы этого имени на последовательные, целесообразные и четкие реакции и о привычке Софии жить „защищенной от неожиданностей в надежно построенном

ограждении от внешнего мира, среди хотя бы и скромного, но по заведенному порядку идущего изо дня в день духовного хозяйства“.

Богослов показывает „известное противоречие между деятельностью Софии и ее сознанием: София нисходит от прозрачного и стройного неба норм к вязкой и напряженной в своей мощи земле; София не хочет оставаться в чистом и бездеятельном созерцании, она волит низойти к жиздительству и организации“.

Одна из важных сторон самосознания императрицы, и в концепции автобиографического образа, и в государственных делах – ее чувство миссии: „София сознает себя несущей миссию и потому входит в мир [...] мироустроительно, законодательно [...], словом – как *власть*. [...] София берет власть, как свое, и делает это с незапятнанной совестью, потому что рука ее никогда не дрогнет от сомнения, правильно ли это. [...] Всякое непризнание ее власти окружающими вызывает внутренний протест, но не из-за задетого самолюбия или неудовлетворенного тщеславия, а как некоторая неправда, как искажение должного порядка“.

Флоренский отмечает честность, „особенно честность в слове“, умение сочетать в себе мужские и женские качества и относит это к проявлению „ангельского, общему обоим полам коренному типу человечности“ (Флоренский [www](#)).

В описании качеств, predeterminedенных именем Екатерина наблюдения Флоренского во многом совпадают с объяснениями, которые давала сама российская государыня своим западным корреспондентам. По всей видимости, она действительно хорошо знала семантику своих имен, и хотя имя, которое принесло ей известность в истории, не было ее личным выбором (ей просто пришлось принять волю императрицы Елизаветы, в этом отношении принятие православия и нового имени могут сравниться с крещением новорожденного!), но старалась отвечать его „требованиям“. По Флоренскому, носительницу этого имени характеризует „сильный характер“, „правдивость, бескорыстие, открытость действий, избегание кокетства, вообще: стремление держать свой облик незапятнанным чем-либо низким, темным или смутным – характеризует Екатерину“, причем „такие свойства свои Екатерина не только имеет, но и считает должным иметь; она *несет* их в себе, подчеркнуто и не-

сколько демонстративно. Это – не целомудрие и застенчивость, а пышная чистота, которая в собственном своем сознании строит себе великолепный футляр и которая настолько уверена в себе, что порою считает себя вправе и в силе величественно сходить со своего пьедестала, твердо убежденная, что никакая грязь пристать к ней не может“. Богослов отмечает самолюбие и тягу к героизму. По его мнению, этимология имени, имеющего своим корнем вечную чистоту и незапятнанность, требует от носительницы имени отвечать высоким ожиданиям других, которые могут превратиться в бремя, „и сколько бы ни осуществил[а, – А. В.] из обещанного, все это будет лишь ничтожная доля ожидаемого от него“. „Екатерина занимает такое место в обществе, силою своего имени, что неизбежно служит предметом внимания. [...] в том-то и трудность, что имя Екатерина для Екатерины – не внешняя одежда, которую можно мысленно отличить и отделить от себя: имя насквозь пронизывает личность и пребывает своими корнями в глубочайшем ее средоточии, и избавиться от него, хотя бы мысленно, труднее даже, чем от сознания себя – Я“, – комментирует „долг имени“ Флоренский. Философ отмечает обаяние и „аналитическую красоту“ носительницы имени, которую легко описать, ее приветливость, легкость общения, жизненную активность и неумение сидеть без дела; „жизнь с нею идет гладко и несколько празднично“. С точки зрения государственной, больше всего царственной носительнице имени пристало такое толкование имени Екатерина: заступница за справедливость. Автор отмечает: „... возмущившую ее действительную или мнимую несправедливость Екатерина никогда [...] не забудет и, при случае, с жесткой правдивостью напомнит о ней, хотя иногда не мстя делом, но зато не преминув сделать жест отказа от мести и тем стараясь отметить нравственно. Но, [...] Екатерина делает это не как памятующая свое зло, а как неспособная помириться с объективно существующей в мире несправедливостью. Везде да торжествует принцип, право и правда, блюстительницей каковых Екатерина считает себя. Но также и чужая обида задевает Екатерину за живое, и она горячо вступается в дело. Однако оценка чужих прав у Екатерины, считающей себя, а затем и всех близких к ней [...] правыми, – эта

оценка далеко не всегда беспристрастна, да и не может при таких условиях быть беспристрастной, хотя сама Екатерина отождествляет себя с богиней Справедливостью, глаза которой завязаны“ (Флоренский www). Многие из перечисленных характеристик Екатерина II сочетала, создавая образ автобиографической героини. До этого она старательно лепила свой публичный имидж, не забывая, однако, об оставшемся в „кармане“ имени София.

\* \* \*

Собственное имя София имплицитно содержит в себе обещание житейской мудрости в юной принцессе. В ранних черновых отрывках 50–60-х гг. XVIII в., предшествующих первой редакции автобиографии 1771 г., посвященной графине П. А. Брюс, императрица сообщает о необыкновенных качествах своего ума, проявившихся в самом раннем детстве:

В три с половиной года, говорят, я читала по-французски; я этого не помню... <.. > Я так часто слышала, что я умна, что я большая девочка, что я это и вообразила себе <... > я во всем принимала участие, я трещала, как сорока, и была чрезмерно смела, вот тому свидетельство: когда мне было четыре года, в Штеттин приехал покойный прусский король; мне сказали, что следует поцеловать его камзол; он спросил обо мне, меня привели, я пошла к нему и так как старалась поймать край его камзола, а он не позволял этого, то я повернулась в сторону матери и сказала ей угрюмо: „Его камзол так короток, что я не могу его достать“. Он спросил, что я сказала; не знаю, кто ему повторил это, он сказал: „Das Madchen ist naseweis [девочка умничают]“, и с тех пор каждый раз, как мой отец ездил в Берлин или король приезжал в Штеттин, он меня к себе требовал<sup>13</sup> (РТ: 468–469. Ранняя редакция, предположительно предназначавшаяся Понятовскому).

Я выучилась по-французски и в трехлетнем возрасте уже умела читать и говорила на этом языке. Мать совершала частые поездки к своей многочисленной родне и обыкновенно брала меня с собою. Меня очень люби-

<sup>13</sup> В редакции, посвященной графине Брюс, мемуаристка сохраняет только эпизод с королем, чтобы продемонстрировать независимость своего мышления даже в столь раннем возрасте, однако, она опускает характеристики своего ума и негодует на показательные успехи в быстром чтении (без понимания) и чистописании, которых добилась ее первая гувернантка, старшая сестра мадмуазель Кардель (РТ–Б: 2, 3).



ли; я очень хорошо помню, что семи лет я знала, что я очень некрасива, но очень умна. Я училась в детстве истории, географии, читать и писать по-немецки и по-французски, немного рисовать, немного музыки, танцам и разным рукоделиям. Меня наставляли в лютеранской вере: я ужасно любила задавать вопросы, была довольно упряма, очень вкрадчива; у меня было доброе сердце, я была очень чувствительна, легко ударялась в слезы и была крайне подвижна. Я совсем не любила кукол, но очень любила всякие телесные упражнения; не было мальчика отважнее меня; я хвасталась, что я такова, и часто я скрывала, когда мне было страшно; стыд производит это движение; я была довольно скрытная (РТ: 500–501. Отрывок 1760-х гг.).

К этим вариантам можно добавить еще эпизод редакции 1771 г. продолжительной беседы Фридриха Великого с едущей к своему жениху принцессой. Рассказ об этой встрече с будущим соперником на европейской политической сцене развернут и занимает более чем две страницы печатного текста (РТ–Б: 32–34). Мемуаристка демонстрирует настойчивость прусского короля, который, „видя, что я приехала в Берлин, и зная, куда меня везут, захотел повидать меня во что бы то ни стало“ (РТ–Б: 32–33). Осуществление встречи обоих будущих соперников во многом походит на сказку, в которой мудрая дева и решает поставленные задачи, и сама задает их принцу/королю. Сначала мать мемуаристки отговаривается тем, что якобы дочь больна, второй предлог – отсутствие придворного платья (принцессе Софии присылают платье одной из сестер короля, и она едет наконец-то во дворец, где в передней ее встречает король собственной персоной и любезно с ней заговаривает. После первого испытания следует второе – бал в тот же вечер и высокое почетное место за королевским столом. Это совершенно неожиданная честь даже для родителей юной Софии, удостоившихся тоже престижных мест:

По выходе из-за стола принц Фердинанд Брауншвейгский, брат королевы, которого я хорошо и давно знала, и который не покидал тогда ни на шаг короля Прусского, подошел ко мне и сказал: „Нынче вечером вы будете на балу в оперном доме моей дамой за королевским столом“. [...] Возвращаясь домой, я сказала матери о приглашении принца Брауншвейгского; мать мне сказала: „Это странно, ибо я приглашена к столу королевы“. За одним из столов предоставили моему отцу почетное

место хозяина, так что я была одна за столом короля. [...] Я гуляла весь вечер со старшей графиней Генкель, статс-дамой принцессы Прусской, и так как я ей сказала, что должна быть за столом короля ко времени ужина, то она повела меня в залу, где должны были ужинать. Едва я туда вошла, как принц Брауншвейгский поспешил ко мне навстречу и взял меня за руку; он привел меня к концу стола, и так как подходили также другие пары, то он все подвигаясь, постарался поместить меня как раз рядом с королем. Как только я увидела короля своим соседом, я хотела удалиться, но он удержал меня и в течение всего вечера говорил только со мной; он мне наговорил тысячу учтивостей. Я справлялась как умела... (РТ–Б: 33–34).

Производит впечатление как „философ на троне“ отдаёт должное достоинствам своей будущей конкурентки. Диалог между ними в описанной сцене происходит на равных, а ангальт-цербстская Золушка с честью выдерживает испытание. Екатерина, однако, умалчивает о роли Фридриха как свата, сыгравшего решительную роль для ее выбора в невесты Петру Федоровичу. Вряд ли это была единственная ее встреча с королем, имея в виду близкие родственные связи и частые визиты ее матери при дворе.

В поздней редакции этот эпизод опущен. Как это было видно из предыдущего анализа, сказочная встреча и игра в вопросы и ответы заменяются заочным интеллектуальным диспутом, соревнованием, свидетельницей которого была вся просвещенная Европа. Интеллектуальный спор сопровождался сложным дипломатическим и военным играм, при видимом взаимном уважении участников. Екатерина II льстила себе надеждой, что в конце концов на ее стороне была моральная победа. „Обратившись к опыту Фридриха, Екатерина дала ясно понять, что не уступит ему статус самого просвещенного монарха Европы. Она не упускала случая подчеркнуть свою интеллектуальную независимость“, – констатирует современный исследователь (Ивинский 2013: 129)<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Автор имеет в виду юридическую реформу Фридриха II, король обобщил в своем „Рассуждении о причинах установления или уничтожения законов“ (1749, русский перевод 1769 г.), послужившим, по его мнению, одним из источников екатерининского „Наказа“.

В эпизодах, связанных с рассказом о юности, Екатерина II представляет образ юного философа в соответствии с именем, полученным ею при рождении. „Юный философ“, кстати, – шуточное прозвище, которым называют ее в своей переписке мать и наставник – шведский граф Гюлленборг, а также часть заглавия, не дошедшего до нас и уничтоженного великой княгиней во время следствия над А. П. Бестужевым, первого автобиографического опыта, написанного по предложению наставника, – „Портрет философа в 15 лет“. Образ юной Софии, носительницы зрелости и мудрости еще с самого младенчества, вписывается в дальнейшем в автобиографический образ разумной, последовательной и целеустремленной великой княгини Екатерины, которая уже на престоле будет прозвана современниками Минервой, Семирамидой и прочими льстящими ее самолюбию именами<sup>15</sup>. Эти черты соответствуют также агиографическому образу небесной покровительницы русской царицы.

Подобную ассимиляцию культа Софии – Премудрости Божией, культом св. Екатерины в конце XVII – начале XVIII в. отмечает ряд ученых, исследовавших политические сценарии русского двора (См.: Thyrtét 2001: 147; Marker 2007: 15 и др.).

Особенно интересно как Екатерина II реализовала на деле такую ипостась своего рожденного имени, как София-строительница. Этот вопрос в последнее время привлекает многих исследователей, которые видят в освоении территорий Новой России и „Греческом проекте“ стремление императрицы и Потемкина соперничать с размахом строительства при Петре Великом, основавшем новую столицу на пустом месте (Зорин 2002: 107; Finkelstein 2011: 128). В первую очередь, это основание многих новых городов,

---

<sup>15</sup> Это контрастирует с ветхозаветными отождествлениями царевны Софьи, которую русские барочные поэты сравнивали с Эсфирью, Деборой, Юдифью, Сузанной (ее имя в монашеском постриге) и прославляли как „вместилище разума“, „сосуд мудрости“, „дом Господа“ и пр. „Вследствие усилий Московского двора после 1686 года приписать Софье Алексеевне позицию независимого и полномочного правителя, ассоциации царевны с ветхозаветными героинями служили конвенциональным инструментом, должным восполнить отсутствующую традицию наличия официально коронованной государыни в России“ (Thyrtét 2001: 150).

получивших свое имя в прославу императрицы (Екатеринослав, Екатеринодар) или же как напоминание о преемственности между Россией и Византией, как Херсон, который Потемкин намеревался превратить в столицу Новой России. Этот город должен был воскресить древний Херсонес Таврический, в котором, следуя преданию, князь Владимир получил святое крещение. Сходную символику имеет основание города Славянска, якобы предназначенный отметить идею объединения всех славян под эгидой России, как часть Греческого проекта. Это порождало, в свою очередь, ассоциации с Киевской Русью и церковью Софии в Киеве.

Исследователи церковной архитектуры отмечают заимствования деталей оформления Св. Софии в Константинополе в облике строившихся в конце XVIII века храмов. Образец этой тенденции – храм Св. Софии в основанном Екатериной небольшом городе София вблизи Царского села (Путятин 2004; Денисова 2014). Сам город, учрежденный в 1779 г., должен был воплотить идею Екатерины II об „идеальном“ уездном городе (Денисова 2014: 6). Символика основания и обустройства этого нового города были связаны с „Греческим проектом“. Совершенно не случайно то, что критик Екатерины II Радищев озаглавил „София“ одну из первых глав „Путешествия из Петербурга в Москву“. В ней оппозиционер ставит самый болезненный вопрос – о крепостном праве. Неэффективная система барщины и вид одинокого пашущего в воскресенье земледельца резко контрастировала с помпезными планами восстановления Византийской империи.

\* \* \*

Центральный эпизод жития св. Екатерины – обручение с Небесным Царем Христом. Этот эпизод, как убедительно показал Г. Маркер, прочно вошел в символику русского абсолютизма еще в Петровское время и в эпоху правления Екатерины I.

Эпизод перехода в православие и обручения концептуален в автобиографическом тексте. В различных вариантах автобиографии Екатерины II можно найти лишь скупые заметки по поводу перехода в православие и в новое качество – невесты наследни-

ка российского престола<sup>16</sup>. Это небольшие фрагменты в редакции 1771 г., посвященной графине Брюс, в позднейшей редакции 1794–1796 гг., известной под названием „Собственноручные записки“, и редакции конца 1750-х гг., по предположению академика А. Н. Пыпина, предназначенной Станиславу-Августу Понятовскому. Самым обстоятельным образом обращение в православие описано в редакции 1771 г. В ней автор останавливается на подготовке к обращению, упоминая о своем старании произносить правильно Символ веры по-русски, избегая украинского акцента, о догадках в связи с выбором крестной матери и решении императрицы Елизаветы по этому поводу. Сам обряд описан довольно немногословно:

Когда меня одели, я пошла к исповеди и, как только настало время идти в церковь, императрица сама зашла за мной; она заказала мне платье, похожее на свое, малиновое с серебром, и мы прошли торжественным шествием в церковь через все покои среди нескончаемой толпы. У входа мне велели стать на колени на подушке. Потом императрица приказала подождать с обрядом, прошла через церковь и направилась к себе, оттуда через четверть часа вернулась, ведя за руку игуменью Новодевичьего монастыря, старуху по крайней мере лет восьмидесяти, со славой подвижницы. Она поставила ее возле меня на место крестной матери, и обряд начался. Говорят, я прочла свое исповедание веры как нельзя лучше,

---

<sup>16</sup> О том, что это было нелегкое решение рассказывает в „Истории Екатерины II“ Бильбасов. Ученый цитирует письмо отца принцессы Софии, Христиана-Августа Ангальт-Цербтского, в котором он с большим волнением просит дочь хорошо обдумать предпринимаемый шаг, а потом прилагает вместе с женой все усилия, чтобы защитить решение дочери от протестов многочисленной немецкой родни, „способные раздражить и не пятнадцатилетнюю девушку“: „Христиан-Август не был фанатик; но, как пиэтист, он весьма серьезно относился к вопросам веры. [...] С нетерпением ожидая обещанного отчета о греческом вероисповедании, он увещевает дочь тщательно испытать себя, прежде чем принять иную веру: „Ты должна относиться к этому испытанию не легкомысленно, должна хорошенько испытать себя, действительно ли одушевляющие тебя страсти господствуют в твоей душе, не являются ли они, незаметно для тебя самой, последствием милостей императрицы и других высокопоставленных особ при русском дворе. Мы, люди, вследствие нашей слабости, чаще смотрим лишь на то, что перед глазами; Господь испытует сердца и внутренние наши побуждения, и по ним уже, как всесправедливый, оказывает свои милости“ (Бильбасов 1900, I: 124). См. также переписку родителей Екатерины по поводу ее перехода в православие в СИРИО 1871, т. 7.

говорила громко и внятно, и произносила очень хорошо и правильно; после того, как это было кончено, я видела, что многие из присутствующих заливались слезами и в числе их была императрица; что меня касается, я стойко выдержала, и меня за это похвалили. В конце обедни императрица подошла ко мне и повела меня к причастию (РТ–Б: 49–50).

Следуют подробности о полученных подарках, мимоходом упоминается обручение с великим князем („... мать повела меня к императрице, где мы нашли великого князя. Е. И. В. вышла из своих покоев с большой свитой и отправились пешком в собор, где я была обручена великому князю архиепископом Новгородским, принявшим накануне от меня исповедание веры, и там в церкви, тотчас после обручения, я получила титул великой княгини с наименованием – императорского высочества“ (РТ–Б: 50). Больше внимания, однако, уделяется интригам в связи с прибавлением определения „наследница“ в указе Сената относительно титулов. В дальнейшем довольно подробно идет рассказ о составлении двора.

В позднейшей редакции описание события еще лаконичнее. Обо всем упоминается всего в нескольких строчках:

Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто; у нас бывало меньше народу, и меня готовили к исповеданию веры. 28-е июня было назначено для этой церемонии и следующий день, Петров день, для моего обручения с великим князем [...]. В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной русской великой княжне... (РТ–СРЗ: 215).

В автобиографическом фрагменте 1750-х гг. эпизод обращения в православие более сходен с его концепцией в ранней редакции. Сообщаются некоторые подробности, и только в нем идет речь о получении нового имени:

За день до Петрова дня я прочла свое исповедание веры и приняла святое причастие в общей придворной церкви, в присутствии неисчислимой толпы народа: я прочла на русском языке, которого даже не понимала, очень бегло и с безукоризненным произношением 50 листов в четвертку, после чего прочла наизусть Символ веры; архиепископ Новгородский и настоятельница Девичьего монастыря, со славой подвижницы, были мои-

ми восприемниками; мне дали имя, которое я теперь ношу, исключительно по той причине, что то, которое я имела, было ненавистно из-за козней сестры Петра Великого, которая носила такое же (РТ: 479).

Намного обстоятельнее описано шествие в церковь („между гвардейскими полками, которые были расставлены шпалерами“) и церемония обручения („на возвышении среди церкви, покрытое бархатом, где архиепископ Амвросий нас обручил, после чего императрица обменяла кольца...“ (РТ: 480), пушечные салюты, торжества, бал. Сообщаются также бытовые факты, входящие в резкий диссонанс с возвышенностью происходящего, – стоимость колец, претензии самовлюбленной матери мемуаристки на более почетное, чем положено, место в церемонии, „привилегии“ в танцах и пр.

Наличие такого эпизода в двух основных редакциях мемуаров и в раннем автобиографическом этюде говорит о значении, которое императрица придавала этому ответственному моменту своей жизни. Именно в этот момент она делает важнейший шаг, стремясь преодолеть свою чуждость новой родине и прилагая значительные усилия. Наряду с упорными занятиями русским языком<sup>17</sup>, едва не стоившими жизни юной героине, она испытывает неподдельный интерес к обычаям и поведению русских и желание во всем походить на них. Церемония перехода в православие заканчивает инициацию героини в русское пространство, создание ею новой родины<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Усердие великой княгини было доведено до сведения публики. В „Санкт-Петербургских ведомостях“ (1744. № 25. С. 198) было сообщено, что „молодая принцесса показывает великую охоту к знанию русского языка и на изучение оного ежедневно по несколько часов употребляет изволит...“ (СИРИО 1871, 7: 26).

<sup>18</sup> О впечатлении в обществе от поведения принцессы Софии во время ритуала и о том волнении, которое она вызвала, сообщают не только официальные реляции русского двора, но также донесения послов западных держав, которые обстоятельно цитирует В. Бильбасов. „Невозможно описать, колкое с благочинием соединенное усердие сия достойнейшая принцесса при помянутом торжественном действии оказывала, так что Ее Императорское Величество сама и большая часть бывших при том знатных особ от радости не могли слез удержать“, писали „Санкт-Петербургские ведомости“ (Бильбасов 1900, I: 129–130). Прусский посол Мардефельд называет в своей депеше Екатерину „настоящей героиней“, которая вызвала восхи-

Очевидно, это была особо важная церемония и в жизни других великих княгинь – иностранных невест наследников российского престола, членов царствующей фамилии. Судя по сообщаемым Екатериной сведениям, это были торжественные и пышные церемонии, свидетельствовавшие о высокой значимости церемониала в жизни русского двора. Описание достойного поведения и самообладания юной героини во время церемонии поддерживало имидж мемуаристки как носительницы высоких моральных качеств.

Что же касается интерпретации этого эпизода в различных редакциях автобиографии, то надо отметить, что в движении от более экстенсивного рассказа, полного всевозможных подробностей, имен и пр., к лапидарному упоминанию обстоятельств ска-

---

жение императрицы Елизаветы, но также предвидит, что это обеспечит ей популярность в народе (там же). Надо отметить, что тот же Мардефельд перед тем, весной, сообщал, что „смена религии внушает принцессе нескончаемый страх и слезы текут ручьями из ее глаз, когда она остается одна или с людьми, которым доверяет. Однако, амбиция в конце концов берет верх“ (Цит. по: Rambaud 1874: 580). Будущая Екатерина II была первой немецкой принцессой, которой пришлось принять православие и поменять имя. Перед ее предшественницей Шарлоттой Вольфенбюттельской, супругой Алексея Петровича, эта проблема не стояла.

На современников произвели впечатление также обстоятельства, при которых совершился переход в православие великой княгини, а потом и объявление помолвки. Ритуал отличался тщательной продуманностью и торжественностью. Он контрастировал с принятием православия Петра Федоровича и объявлением его наследника два года перед этим: „Какая разница с объявлением в 1742 г. голштинского герцога Карла-Петра великим князем и наследником престола Петром Федоровичем! Два года назад „боялись совершить этот торжественный акт в Кремле, в кафедральном соборе, как этого требовал архиепископ новгородский, и выбрали дворцовую церковь, поставили у всех входов двойные караулы, приняли много других предосторожностей“, – цитирует Бильбасов дипломатические донесения саксонскому министру графу Брюлю (Бильбасов 1900, I: 134). Между прочим, любопытно, как Иоганна-Елизавета объяснила мужу значение отчества. В интерпретации принцессы Ангальт-Цербстской, „Алексей“ – эквивалент римского имени Август. „Алексеевна“ означает, по мнению матери новообращенной православной христианки, „дочь Августа“. Альфред Рамбо, обративший внимание на эти объяснения (правда находчиво: и в имени екатерининога отца Христиана-Августа есть Август, и Алексей – царское имя, идущее в царской семье от Алексея Михайловича, имя „августа“), подшучивает над теологическими и филологическими опытами Иоганны-Елизаветы, ловко заморочившей мужа (Rambaud 1874: 581).



зывается часто применяемый Екатериной в автобиографическом повествовании прием. Такой же прием прослеживается в ее переписке, в которой часто об особенно важных вещах говорится как будто мимоходом, часто одной и реже двумя-тремя фразами. Это на фоне обстоятельных отчетов о комнатных собачках, обсуждении сюжетов картин, рассказов о строительстве зданий и незначительной светской болтовни. Императрица старательно устраняет из автобиографического рассказа то, что могло бы навредить желаемым внушениям. В первых двух по времени редакциях подчеркивается роль императрицы Елизаветы Петровны, проявляющей свою благосклонность и демонстрирующей своеобразную преемственность с будущей невесткой – она сама ведет принцессу в храм, сама находит достойную и почитаемую крестную мать, дарит будущей невестке платье, сшитое из такой же материи, как ее собственное (тут же вспомним ревность Елизаветы по поводу конкурирующих нарядов других дам, хорошо описанную самой Екатериной в мемуарах). Фигура же крестной матери со славой подвижницы предполагает духовное наставничество в новой вере, подчинение авторитету почитаемой в обществе особе. Концепция *self-made woman* в поздней редакции автобиографии приводит к тому, что автор устраняет, как это происходит и в случае с образом наставника графа Гюлленборга, присутствие авторитетов и делает акцент на собственной личности, не пускаясь в лишние подробности.

Следует, однако, обратить внимание на факт, что во всех рассматриваемых редакциях в центре внимания стоит обручение, а не сама свадьба. В автобиографическом этюде есть упоминания о том, что день свадьбы приближается, но мемуаристка вообще не описывает само событие. В редакции, посвященной графине Брюс, эпизод свадьбы является финальным, на нем обрывается текст первого варианта автобиографии. Он является довольно обширным и исчерпывающим, занимает две-три страницы. В редакции текста, посвященной барону Черкасову, начала 1790-х гг. повествование начинается днем после свадьбы. В редакции 1771 г. мемуаристка сообщает всевозможные детали, связанные с ее внешним видом,

– типично по-женски она вспоминает перипетии с прической, платье, поведение разных лиц и пр.

В „Собственноручных записках“, следуя установившейся манере повествования, автор отказывается от описания события. Вся церемония, бесспорно представлявшая интерес для любого читателя, сосредоточена в одном коротком и сухом предложении: „Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием“ (РТ–СРЗ: 236). Сама рубрика „Свадьба“ в последней редакции занимает 5–6 строчек печатного текста. В отрывке акцент ставится на недобром предчувствии несчастного замужества, но и на уверенности в том, что именно ей предстоит стать владычицей своей новой родины:

Из Петергофа к концу июля мы вернулись в город, где все приготавливалось к празднованию нашей свадьбы. Наконец 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей (РТ–СРЗ: 236).

Эти предчувствия вписываются в две главные сюжетные линии мемуаров – описания несчастного замужества мемуаристки и старательной ее подготовки к своему великому предназначению. Однако, если обратиться к более общему фону перемен, произошедших в рассматриваемый период жизни автора, надо вспомнить и о принятии нового имени, так и оставшемся „за кадром“. Предпочтение эпизода обручения эпизоду свадьбы прочитывается на фоне вопроса о новом имени в биографии мемуаристки, связанном и с приобретением ею нового статуса.

В цитированных отрывках также обращает на себя внимание повторяющееся упоминание даты обручения – Петрова дня. Событие действительно имело место в день именин наследника престола, но императрица услужливо „вспоминает“ лишь такие подробности, которые могли бы вписаться в позднейшие сценарии ее жизни. Не надо забывать, что именно в Петров день, восемнадцать лет спустя, пользуясь праздником, она совершит свой решительный

шаг к власти. Подобным образом, кстати, воспользовалась именами своей матери Елизавета Петровна: „Восшествие Елизаветы на престол было тщательно спланировано и хорошо организовано (choreographed). Вечером 24 ноября 1741 года царевна Елизавета Петровна присутствовала на службе по случаю дня св. Екатерины, хорошо зная, что пока она на коленях молится покровительнице своей матери, совершается переворот, который должен был возвести ее на престол на следующий же день“ (Marker 2007: 215).

Как уже было упомянуто, Елизавета Петровна желала воспроизвести в великокняжеской чете имена своих родителей. Г. Маркер комментирует богатую символику акта повторения имен Петра и Екатерины: „Не имея официального супруга и легитимных потомков, она ритуально воспроизвела своих собственных предков, как бы разыгрывая символически роды девы. Это было единство супруга и супруги, императора и императрицы, Петра и Екатерины, от которых Елизавета выводила свое собственное происхождение и свою способность управлять и которое она режиссировала при женитьбе своего племянника, нового Петра на новой Екатерине“ (Marker 2007: 217). Для Елизаветы Петровны, тщательно продумавшей сопутствующие событию ритуалы и торжества (конверсия невестки, обручение, сама свадьба), это был акт окончательного утверждения на престоле и безапелляционного преимущества петровской династической линии. Елизавета Петровна не только возобновила в великокняжеской чете имена своих родителей, но и подчеркнула крепость и долговечность династии. Не случайно в отличие от принятия православия Петром Федоровичем и его объявления наследником совершившихся в тайне и с большими мерами предосторожности<sup>19</sup>, брачные торжества наследника прошли с большой демонстративностью и пышностью. Мотив возобновления императорской четы родителей Елизаветы прочно вошел в литературные тексты, посвященные этому поводу.

---

<sup>19</sup> Тем не менее крещение в православии Петра Федоровича совершилось в присутствии всех высших чинов государства, которые тут же принесли присягу в верности наследнику (Анисимов 1986: 137).

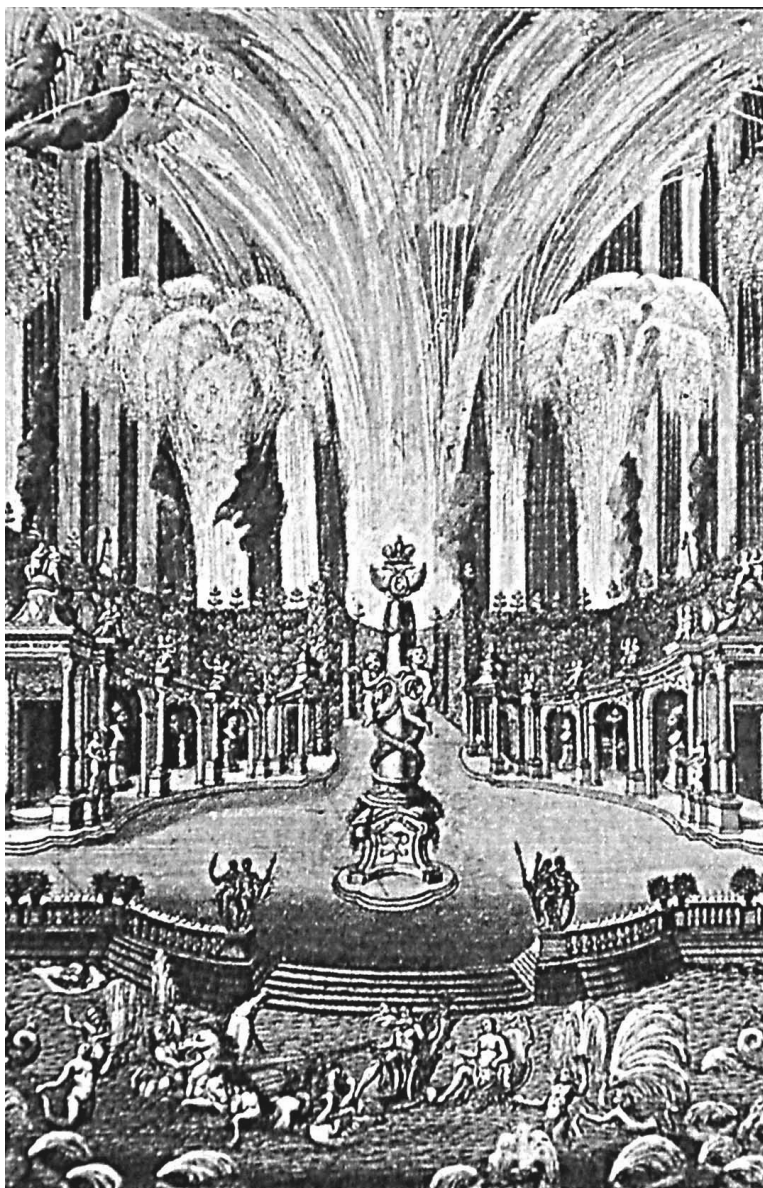
Мотив возобновления четы Петра Великого и Екатерины Алексеевны с пожеланием Петру Федоровичу геройства, а Екатерине Алексеевне (Второй! – в православии имя-отчество будущей императрицы полностью совпадает с именами предшественницы) щедрости и добродетели присутствует, подобно проповедям Петровской эпохи, в проповедях по случаю их бракосочетания (Кислова 2011: 141). Эти мотивы характерны также для написанных по этому случаю од. Само событие осмысляется панегиристами (Симеоном Тодорским, Ломоносовым<sup>20</sup>) как благословение, лежащее на доме Петра Великого (Кислова 2011: 140). Петр Федорович восхваляется как „ветвь от корене Петрова“, а Екатерина – как будущая мать наследников „дражайшего Петрова племени“ (Кислова 2011: 141). По мнению современного публикатора проповеди, хотя Тодорский в качестве законоучителя хорошо знал великокняжескую чету, он, все-таки не ввел в текст каких-либо конкретных личных характеристик брачующихся, а привел абстрактный набор добродетелей, проявление которых ожидалось от них. Главная цель Тодорского – представить невесту наследника престола как персону, достойную этого брака, и заострить свое внимание на династические связи ее древнего рода, восходящего к „светлейшему древнему преславному в Римской империи дому де Аскания“<sup>21</sup> (Кислова 2011: 141, 142). Чтобы довести до знания публики послания проповеди Тодорского, учителя вероучения великого князя и великой княгини, ее издали огромным по тому времени тиражом в 1200 экземпляров, церковным и гражданским шрифтом<sup>22</sup>. Издание предназначалась широчайшей аудитории.

---

<sup>20</sup> Кроме Ломоносова, эпиталамические оды на бракосочетание великого князя написали также академики Штелин и Крузиус, придворный певчий Голеневский (Петров, А. 2012: 92–93).

<sup>21</sup> Такой же эпитет по отношению к „Асканиевой дочери“ будет позднее использовать Вольтер в переписке с императрицей.

<sup>22</sup> „Это редкий пример издания одного и того же текста сразу в двух орфографических традициях: церковнославянской и гражданской. Проповедь была предназначена и для представителей светской культуры, и для читателей, ориентированных на восприятие подобных произведений в рамках церковной культуры“, – комментирует Е. Кислова (Кислова 2011: 144).



Брачный фейерверк 30.08.1745 г.

Впечатляющим и имеющий далеко идущие послания имел также фейерверк<sup>23</sup>, сожженный 30 августа над Невой: „В середине поставлен обелиск с вензелями Елизаветы Петровны, великаго князя Петра Феодоровича, Екатерины Алексеевны и Петра I-го. С двух сторон аркады, в арках которой поставлены бюсты: Царей Алексея Михайловича, Михаила Феодоровича, Петра I и Екатерины I. Все эти аркады расположены на большом плоту, выстроенном на реке Неве. Впереди, на самой реке, плавают огромное количество разных морских зверей, nereид, тритонов и купидонов, сидящих на дельфинах; по середине Нептун в колеснице, везомой морскими конями, а рядом с ним Венера в колеснице, влекомой двумя голубьями; она держит в руках два пылающих сердца; на задке ея колесницы сидят два целующиеся голубя“<sup>24</sup> (Ровинский 1903: 237–238; Петров, А. 2012: 91).

Однако во всем комплексе брачных торжеств наиболее нагруженным знаковостью оставалось обручение и предшествующее ему принятие православия. Обручение с империей – основная идея, заложенная в ритуале самой Елизаветой (Marker 2007: 217). Она была отлично понята Екатериной II и воплощена ею в авто-

<sup>23</sup> Фейерверки играли важную роль в пропагандировании определенных посланий и были важной и хорошо продуманной частью праздника, рассчитанной на максимально широкую публику, и главное, на ее соучастие: „Изображенное на театре-сцене писалось в украшенный огнями город. Специальные указы требовали, чтобы во время иллюминаций дома были украшены площадками, в окнах выставлены горящие свечи. В дни больших коронационных торжеств, при въездах императрицы все знатные люди были обязаны не только украшать свои дома огнями, но декорировать их транспарантами, щитами. Рисунки-эскизы будущих иллюминаций предъявлялись для утверждения. [...] Можно вообразить, как прекрасен был город во время празднества. Свет разливался по темным улицам, привлекая зрителей к центральной сцене, к главному представлению. Фейерверки и иллюминации – массовые зрелища. Их зрительный зал – улицы, набережные, площади. Это яркий пример „площадного“ действия, характерного для европейской культуры того времени. Условия, в которых зрители смотрят представление, различны. „Театрум“ фейерверков расположен перед окнами Зимнего дворца, и царствующие особы и придворные любят зрелищем из окон. Простой народ толпится на улицах“ (Алексеева, М. 2013: 272).

<sup>24</sup> Программа фейерверка была напечатана на двух языках на специальной бумаге (Петров, А. 2012: 91).

биографии. Очень интересно взглянуть с этой точки зрения на широкое использование мотива несчастного брака в мемуарах. Брак с империей – это то, что непостижимо на земле и возможно только на небесах. Эта мысль лежит в основе главной сюжетной линии мемуаров, это та цель, во имя которой можно вытерпеть все: интриги, сплетни, неудовольствие императрицы, причуды и враждебность супруга, рисковать и делать роковые ставки, вести в течение восемнадцати лет „такую жизнь, что десяток иных могли бы сойти с ума, а двадцать на моем месте умерли бы с горя“ (РТ–Ч: 93). Об этом повествовательница упомянула в редакции, посвященной графине Брюс: „... я с моего приезда в империю была глубоко убеждена, что венец небесный не может быть отделен от венца земного“ (РТ–Б. С. 45). Брак с империей – это цель жизни юной немецкой принцессы: „... он [великий князь. – А. В.] был для меня безразличен, но не безразлична была для меня русская корона“ (РТ–СРЗ: 214). Это признание Екатерины в таком „искреннем“ тексте, каким является автобиография, вызвало немало нареканий в адрес императрицы, которая якобы сама откровенно признала свою корысть. Однако, тут следует вспомнить про то, что Екатерина держала свое имя, данное при рождении, „в кармане“ и никогда не забывала о своем западноевропейском происхождении. Как было убедительно доказано фундаментальным трудом Эрнста Канторовича „Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии“ (1957), еще во время Средневековья утверждается идея неделимости представления о двух ипостасях личности государя – как человека и как главы государства и о короне как фикции, означающей своеобразный договор владетельной особы и общества. „Существует некий видимый, материальный, внешний золотой обруч или диадема, что передается Государю и украшает его в ходе коронации; но существует также и невидимая, нематериальная Корона – заключающая в себе все королевские права и привилегии, необходимые для управления политическим телом; она вечна и передается либо непосредственно Богом, либо в соответствии с династическим правом наследования. И про эту невидимую Корону вполне уместно сказать: *Corona non moritur* – Корона не умирает“

(Канторович 2005: 309). Историк отмечает, что в „позднем средневековье расхожей была та идея, что в Короне присутствует все политическое тело – от короля, лордов и общин вплоть до последнего вассала. [...] В этом отношении Корона и „мистическое тело королевства“ были, конечно же, сопоставимыми сущностями. Ни то, ни другое не существовало совершенно само по себе, „абстрактно“ и отдельно от составляющих частей; различие заключалось главным образом в том, что „Корона“ больше акцентировала прерогативы и суверенные права, возложенные на тех, кто нес ответственность за все сообщество, тогда как *corpus mysticum*, кажется, более подчеркивал корпоративную природу и непрерывность существования всего народа“ (Канторович 2005: 330). Эту характерную для западноевропейского Средневековья идею, прочно вошедшую в систему ценностей западных обществ, старается объединить Екатерина II с русской традицией в годы своего правления. „Корона как воплощение всех суверенных прав – внутри королевства и за его пределами, – всего политического тела, стояла выше всех своих отдельных членов, включая короля, хотя и не была разделена с ними. Во многих отношениях Корона совпадала с королем как главой политического тела, и, конечно, она совпадала с ним в плане династическом, поскольку Корона переходила к королю по праву наследства. В то же самое время, однако, Корона предстает также и как составное тело, некое объединение короля и тех, кто нес ответственность за сохранение неотчуждаемых прав Короны и королевства“, обобщал Канторович (Канторович 2005: 344). Можно отметить, что подобное отношение к русской „короне“ демонстрирует Северная Минерва в своей внутренней политике, инициируя новые принципы диалога монарха и общества при всем том, что считала самодержавную власть единственно возможной формой государственного устройства в своей огромной империи.

Екатерина II продолжила дело Елизаветы Петровны, своей предшественницы (и наставницы), у которой она, несмотря на свое амбивалентное и порой неласковое отношение, многому научилась. Императрица поддерживала и развивала в дальнейшем



культ св. Екатерины и широко использовала основанный Петром орден, применения и то и другое в „сценариях“ своей власти (См. Feduykin & Zitser 2011). Кроме того, она потрудилась создать свой „культ“ – „св. Екатерины Петербуржской“. Так, как бы в шутку, но чтобы польстить, называет ее Вольтер. В этом новом „культе“ „религии Просвещения“ Екатерина II пользовалась не только русскими интерпретациями образа святой, но также и своим имиджем среди западноевропейских просветителей<sup>25</sup>, то есть она творила свое имя.



Большая императорская корона Екатерины II

---

<sup>25</sup> Можно вспомнить еще одну черту из международной репутации императрицы, которой она гордилась как свидетельством своей просвещенности и прогрессивности: осповривание. В тексте публичной жизни владельницы оно в какой-то степени соответствует культу св. Екатерины как целительницы. Известно, что многие верующие, и особенно женщины, молятся святой, надеясь исцелиться.

\* \* \*

Помимо эпизода обручения, в концепции автобиографического образа можно найти соответствие еще с одним эмблематическим сюжетным мотивом жития св. Екатерины. Это любовь к знанию и чтению.

Самым актуальным по времени вариантом в отношении автобиографического текста императрицы было житие св. Екатерины в интерпретации Дмитрия Ростовского. Как отмечает Гари Маркер, „когда во второй половине петровского царствования клерикальные панегиристы взялись за изобретение нового и более имперского культа св. Екатерины, сочинения Дмитрия, которые сами содержали несколько панегириков, предоставили им плодотворное и политически неопровержимое основание, на котором можно было сконструировать политическую агиографию“ (Marker 2007: 105). Исследователь обращает внимание на то, что Дмитрий Ростовский, первый канонизированный в 1757 г. Синодом русский святой, умер в 1709 г., т. е. задолго до того, как будущая Екатерина I была публично коронована, поэтому его работы не подвергались унижительному подозрению в том, что были написаны под политическим диктатом (там же, 106).

Основные мотивы жития св. Екатерины в варианте Дмитрия Ростовского – знатное происхождение, высокий интеллект, обручение с Христом, способность победить мужчин в философском диспуте, а также сила, храбрость, мужество, даже рыцарство и черты девы-воина – качества, отличающие образ этой святой (там же, 115–118, 120), прочно вошли в имперский сценарий Петра Великого в связи с мифологизацией личности его супруги – императрицы Екатерины I. Эти традиционные и привнесенные Дмитрием Ростовским качества святой входят также в символику ордена св. Екатерины.

Екатерина II не только хорошо знала житие своей покровительницы и символику ордена, который она присуждала заслуженным дамам империи. В своей автобиографии она отсылает к одному из популярнейших в то время житий, отказываясь при этом от эксплицитно выраженных аналогий, так же как отказалась от слишком упрощенного утверждения в черновом этюде мемуаров о том, что

императрица Елизавета Петровна хотела повторить в великокняжеской чете имена своих родителей. В то же самое время концепция собственного образа в автобиографии отсылает к основным эпизодам жития св. Екатерины. Все это не противоречит высказанным ранее тезисам о романном дискурсе в автобиографии императрицы. Черты, введенные в собственный образ в соответствии с житием, сочетаются с мотивами, которые можно рассматривать как заимствованные из западноевропейского романа того времени. Именно через мотивы, взятые из жития, можно объяснить специфику использования некоторых романских мотивов.

Сама концепция образа мемуаристки как „мудрой девы“ на протяжении первых лет ее пребывания в России, рыцаря в душе, сочетающей женскую привлекательность и мужскую смелость и ловкость, находит соответствия в образе ее небесной покровительницы в интерпретации Димитрия Ростовского.

Однако самое большое сходство, которое сразу же бросается в глаза, – это высокая образованность, любовь к книгам, преимущество перед многими мужчинами просвещенной Екатерины – как святой, так и царственной обладательницы этого имени.

Во времена нечестивого царя Максимиана бѣ во градъ Александрии дѣвица именем Екатерина, дочь Консты, прежняго царя, зѣло красна, возрастом высока, осьмнадцать лѣтъ имущая, зѣле премудра, научися бо всякому еллинскому писанию, на-вѣче мудрости всѣх древних книготворцев: Омира, Виргилиа, Аристотеля, Платона и прочих. Не токмо философов, но и врачей книги добрѣ увѣда: Асклипиа, Ипократа, Галина, и просто рещи, всему риторскому и силлогистическому мудрованию и всякому речению и языку изучися, яко всем дивитися премудрости ея (Ростовский 1764: Л. 454).

Начало жития в интерпретации Димитрия Ростовского вызывает в памяти репертуар „серьезного чтения“ мемуаристки, глотавшей от скуки кучи романов, но читавшей и внимательно штудировавшей произведения не только древних, но и прежде всего современных „мудрецов“: П. Бейля, Вольтера, Монтескье. Это и объясняет факт отсутствия романских заглавий в тексте мемуаров при всем значительном присутствии романной топики в них.

Напомню, что упоминается только заглавие известного романа Мартореля „Tiran le blanc“, да еще популярный роман Мараны „Espion Turk“ (РТ–Ч: 118). Сюжеты этих книг, однако, „идеологически корректны“ и соответствуют одному из главных аспектов внешней политики Екатерины – стремлению к взятию Константинополя и так называемому Греческому проекту, поскольку первое описывает подвиги рыцаря, участвовавшего во взятии византийской столицы.

В автохарактеристиках, введенных императрицей, стоит обратить внимание на упоминание возраста св. Екатерины. Ей было всего восемнадцать лет от роду, когда она в совершенстве изучила творения всех языческих писателей и всех древних стихотворцев и философов, как например Гомера, Вергилия, Аристотеля, Платона и других. Перед царем Максимином святая заявляет:

Аз есмь дщерь царя, прежде тебе бывшаго, нарицаюся Екатерина, на учена же есмь всему художеству, писменем риторским, философским, землемѣрию и прочым премудростям (Ростовский 1764: Л. 454).

Юная великая княгиня Екатерина примерно в том же возрасте по внушению графа Гюлленборга стала заниматься развитием своего ума и читать „Жизнеописания“ Плутарха, „Жизнь Цицерона“ Непота и „Причины величия и падения римской республики“ Монтескье. Примерно в том же возрасте с огромным терпением и настойчивостью одолевала она четыре толстейшие тома „Словаря“ Бейля, как гордо сама заявляет, по одному в полгода. Тут можно добавить целый ряд исторических и философских сочинений различных времен, пятитомную „Историю путешествий“, читаемую „с картой на столе“, и первые тома „Энциклопедии“, согласно черновому плану записок (РТ: 464). Юность и ученость героинь, превосходящих своими познаниями многих своих современников, – общий мотив, который удачно используется императрицей.

С точки зрения мотива „мудрой девы“ в автобиографии несколько по-другому можно анализировать мотив неконсуммированного брака в первые девять лет замужества. По житию, св. Екатерина отказывается выйти замуж, пока не найдется достойный жених, который был бы равным ей по своим качествам:

Аще хотите, да посягну за мужа, то обрящѣте ми такового юношу, да будет подобен мне в четырех дарованиях, имиже аз (якоже сами исповедуете) превосхожду вся прочья отроковицы, и тогда взятии его в мужа изволю, понеже недостойнешаго мене и худдшаго пояти не хошу: испытуйте убо повсюду, аще будет кто подобен мнѣ во благородии, в богатстве, в красотѣ, в премудрости (Ростовский 1764: Л. 454).

Святая требует равного себе мужа прежде всего по знаниям и интеллекту: „... безкнижнаго жениха имѣти не изволю“ (Ростовский 1764: Л. 454). Если всмотреться внимательно в автобиографический текст, то можно увидеть отсылки и к этому мотиву. Великий князь Петр Федорович во всех редакциях екатерининских мемуаров и в воспоминаниях других современников – далеко не идеальный жених. В позднейшей редакции автобиографии он иллюстрирует своим поведением антитезу, отрицательный полюс, в предложенном в начале повествования силлогизме. В тексте автобиографии во всех редакциях проводится устойчивый мотив противопоставленности супругов: крайняя их несовместимость, диаметрально противоположные интересы, характеры. Причем с течением времени в различных вариантах текста старательно устраняются мотивы, которые могли бы быть истолкованы неоднозначно: о наличии известной симпатии между ними в юности, о кое-каких общих интересах и переживаниях. Мемуаристка нигде не пропускает возможности подчеркнуть добродетельность своего поведения, положительные качества, рыцарское благородство и мужественное поведение в сложных и щекотливых ситуациях, свое преимущество перед супругом даже в физической выдержке (мотив амазонки) и ловкости. Таким образом, автор мемуаров в рассказе о своей молодости делает постоянный идеологический акцент, цель которого – представить свою историю до восшествия на престол как длительную терпеливую, полную испытаний, но вполне осознанную и режиссированную ею одной – подготовку к трону и своей миссии. Мотив сохранения девства<sup>26</sup>, непорочно-

---

<sup>26</sup> Оригинальную интерпретацию этого мотива предлагает М. Гринлиф, комментируя эпизод рождения Павла: „... она представляет свое женское тело как

сти во время интеллектуального развития (на протяжении девяти! лет) соответствует аналогичному мотиву из жития небесной покровительницы. Само же „грехопадение“, свою первую любовную историю, Екатерина представляет как результат соблазна, пользуясь романной „маской“ и отказываясь от модели чистосердечного признания. Мемуарный рассказ оставляет впечатление пережитой, но не прощенной до конца горечи от осознания себя жертвой придворной интриги и предательства возлюбленного. Обманутая и преданная непорочность и в то же время испытание силы характера – это дополнительный мотив, который можно добавить к интерпретации рассматриваемого эпизода мемуаров.

Екатерина II писала, однако, не свое житие, а автобиографию. Реалистичность и житейский прагматизм, свойственные ее мышлению, сделали невозможным идеальный житийный образ страстотерпицы. Автобиографический образ чужд мистике, экзальтации. Тем не менее она удачно пользовалась в создании автобиографического рассказа известными мотивами популярнейшего в ее время религиозного культа св. Екатерины, своей покровительницы, которые к тому времени и не без ее участия прочно вошли в политическую символику, активно использовавшуюся русским двором. Сюжетные мотивы, соотносимые с житием св. Екатерины, хорошо сочетались с рационально и мастерски подобранными романскими мотивами, а также бесконфликтно укладывались в метафорический язык государственных посланий. В автобиографическом рассказе мотивы, заимствованные из религиозного текста, и мотивы, заимствованные из арсенала романной поэтики, становились средствами создания мифологии собственной личности императрицы, которыми она стремилась дополнить бытовавшие в общественном пространстве не только России, но и Европы положительные представления о своей личности, и если не устранить, то хотя бы уменьшить и нейтрализовать накопленную отрицательную мифологию. Таким образом, Екатерина II „строила свое имя“ не только в жизни, но и в автобиографии.

---

место публичного (само)пожертвования, практически рождение [младенца] девой“ (Greenleaf 2004: 413).

## Глава третья

### ГОСУДАРЬ И ДВОР<sup>1</sup>

Наиболее частое прочтение мемуаров Екатерины II состояло в определении текста как живого и яркого описания елизаветинского двора. Это отмечали еще первые его читатели. В предисловии к русскому изданию автобиографической прозы императрицы Я. Л. Барсков ссылается на письмо Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву, в котором Карамзин пишет: „Нынешнею зимою читал я „Записки Екатерины Великой“, доведенные ею только до 1760 года: очень, очень любопытно! Двор Елисаветы как в зеркале: времена удивительно переменились. Если приедешь к нам в Петербург, то угостим тебя и „Записками Екатерины“ (РТ: IV).

Действительно, пластические, картинные воспоминания императрицы о ее жизни в качестве великой княгини претендуют быть этнографически точной зарисовкой нравов, обычаев, стиля жизни русской аристократии середины XVIII века. При всей любопытности сообщенных бытовых деталей их значимость в тексте воспоминаний монархини, их значение в рассказе далеко не исчерпывается фиксацией фактов, стремлением поделиться с будущими читателями любопытными воспоминаниями, рассказанными с юмором, иногда с иронией, а порой и с ностальгией о прошлом и с горечью от пережитых обид и несостоявшихся ожиданий.

Бытовые эпизоды и жанровые картинки в автобиографических записках Екатерины II поддерживают стратегию мемуарного рассказа и ставят нужные акценты в осуществлении повествовательных намерений мемуаристки. С другой стороны, нравоописательные эпизоды находятся в тесной связи с целостным литературным творчеством императрицы, прежде всего с ее сатирической прозой и драматургией. Весь комплекс произведений монархини был

---

<sup>1</sup> Первоначальный вариант этой главы был опубликован в журнале *Russian Literature* (См. Вачева 2014). Автор благодарит редакцию за предоставленную возможность использовать текст в настоящем исследовании.

средством реализации в другой, непрямой форме важнейших посланий идущего от престола политического дискурса.

Проблема отношения государя и двора – неотъемлемая часть философского осмысления власти в эпоху Просвещения. Эта проблематика стала особенно актуальной в России XVIII века в связи с предпринятой модернизацией государства и его социального устройства. Екатерининская эпоха отмечена оживленными дискуссиями. В этот период переосмысливаются основные понятия, связанные с личностью монарха, его отношений с обществом, но в то же время само дворянство, и особенно олигархия, предъявляет свои претензии на более активное участие в механизмах власти. М. Левитт говорит о том, что для многих высокопросвещенных дворян (например, княгини Дашковой, поэта А. П. Сумарокова) „царствующая особа является одновременно и высочайшим примером добродетели, и персоной, ответственной за благополучие других“ (Левитт 2015: 245). Цинтия Уиттакер, в свою очередь, обращает внимание на факт, что женщинам-правительницам в XVIII веке приходилось вести широкий диалог с интеллектуальной элитой, чтобы получить одобрение и поддерживать свое видение власти (Whittaker 2003: 64). Дж. П. Гууч отмечает, что концепция дворянского самоуправления, даже разделения ответственности [с государем], простиралась над сословными границами не только в отношении князей, но и Интеллигенции в целом“ (Gooch 1966: 89).

В последние годы в ходе усиленного изучения литературного наследия императрицы становятся все яснее механизмы взаимной связи ее творчества и политической мысли. Усилия, вложенные Екатериной II в формирование единого культурно-политического дискурса, привлекают в последнее время множество исследователей. Интересно отметить при этом, что далеко не все послания, закодированные сиятельным автором в ее литературных вещах, были адресованы современникам – русским и западноевропейским читателям, зрителям постановок ее пьес, корреспондентам. Екатерина как писательница, и особенно как автобиограф, усиленно работала на будущего читателя. Во „Всякой всячине“, решающая роль которой в создании екатерининского политического дискурса



была доказана усилиями многих ученых (Живов 2007; Клейн 2005; 2006; 2010; Евстратов 2009 и др.), выражена надежда на справедливую (и несомненно положительную) оценку потомства:

Однакож потомство не будет страстно; оно разберет, оно справедливо судить будет, лишь бы человек сам себе сказать мог во всяком случае: я помнил, что я есмь человек равный другим, и делал добро, сколько мог, не давая себя сбивати с пути никакими посторонними помешательствами; я был тверд и всегда в непорочных намерениях; следовательно я должен быти спокоен: встречающиеся мне бури не суть препятствия, но способы к приобретению новой славы (Всякая Всячина 1769: 304).

Надежда на „бесстрастность“ и объективность потомства – ведущая идея в автоапологии екатерининской автобиографии.

По всей видимости, идея о „продлении“ положительного мифа о Северной Минерве волновала Екатерину еще с раннего периода ее царствования. Немаловажно то, что, по всей видимости, замысел мемуаров постепенно возник и приобрел первоначальные очертания именно в конце 1760-х-начале 1770-х гг., сразу же после утверждения на престоле и первых побед, – как в прямом (военном) смысле, так и в переносном – с точки зрения престижа. Достаточно вспомнить, что первую редакцию автобиографии Екатерина II стала писать в свой день рождения 21.04.1771 г. К началу 70-х годов за спиной императрицы были „Наказ“ и „Антидот“ (правда, напечатанный анонимно, но здесь речь идет о накоплении полемического опыта), перевод главы из „Велизария“ Мармонтеля, участие в журнале „Всякая всячина“, созданного по инициативе императрицы в начале 1769 г. с целью разбудить в стране общественное мнение и направить его в желанное престолом направление. Автобиографический рассказ, начиная с первой основной редакции, во многом корреспондирует с публицистическими посланиями, отправляемыми с престола. Он укладывается в „сценарии власти“ Екатерины и находит параллели в основных компонентах политического дискурса ее эпохи.

Особое значение в екатерининской автобиографии имеют сцены придворной жизни, образы различных людей, бывших в окружении императрицы и великокняжеской четы. Хотя и сравнитель-

но немногочисленные, они далеко выходят за рамки курьезов, по законам жанра в большей или меньшей степени, обязательных в мемуарном рассказе. На самом деле, сцены придворной жизни могут быть восприняты как ностальгический и слегка иронический взгляд в прошлое. Однако внимательный подбор эпизодов говорит о следовании той же авторской стратегии: нравоописательные и бытописательные эпизоды, равно как и описания лиц, участвующих в них, подчиняются главному авторскому замыслу и выгодно оттеняют собственный образ мемуаристки.

Производит впечатление, однако, что автор колебалась в применении популярных сюжетов и мотивов в различных редакциях текста. Наблюдается постепенный отказ от нравоописательности, близкой к комизму и морализаторству в журнальной прозе Екатерины. В количественном отношении описаний нравов сравнительно меньше в редакции 1771 года, посвященной графине Брюс, тогда как жанровые сценки придворной жизни представлены в изобилии в редакции, посвященной барону Черкасову. В „Собственноручных записках“, последнем по времени варианте текста первой половины 1790-х гг., их количество заметно уменьшается, однако, таких эпизодов все же больше, чем в первой редакции, но гораздо меньше, чем во второй. Это так не только по причине того, что в ранней редакции представлены в основном детство и юность героини мемуаров, прошедшие в Германии, и ее первые впечатления о русском дворе. „Немецкая часть“ автобиографии императрицы, о которой она охотно рассказывает лишь в этом раннем варианте, соответствует характерным и почти обязательным для мемуарного жанра эпизодам происхождения и описания родственных связей автора записок. На „немецком“ фоне проступают некоторые черты характера юной принцессы, которые становятся залогом ее великой миссии в будущем. Однако выбранная модель рассказа, очевидно, не удовлетворяла мемуаристку, поскольку не давала достаточно возможностей для реализации задуманного идеального собственного образа. Поэтому попытка продолжить лет через двадцать рассказ о собственной жизни по той же схеме претерпела неудачу, несмотря на обилие

именно русского материала (редакция начала 1790-х гг., посвященная барону Черкасову, начинается с событий, наступивших сразу же после свадьбы мемуаристки, на которой обрывается рассказ в первой редакции).

В наиболее зрелой, объемной (и известной) редакции мемуаров – „Собственноручных записках“ – правоописательные эпизоды на практике отсутствуют, они сведены до необходимого минимума. Читателю, познакомившемуся уже с „черкасовской редакцией“, несколько не хватает любопытных наблюдений над личностями и поведением целой галереи персонажей, метких иронических характеристик. Если допустить, что текст „черкасовской“ редакции написан не в начале 1790-х, а в конце 1780-х гг. (следует вспомнить, что барон А. И. Черкасов, адресат редакции, умер в 1788 году и было бы очень странно посвящать рассказ о собственной жизни с обещанием „извлекать из его тела ежедневно по крайней мере один взрыв смеха“ лицу, уже ушедшему из жизни), станет и более ясной близость к культурным проектам власти начала десятилетия. Очевидно сильно изменившаяся впоследствии обстановка требовала другого типа повествования, с другими акцентами.

До конца своих дней Екатерина II осталась верной сформулированным в начале ее правления принципам культурной политики, вероятнее всего убедившись в ее успешности. Сходные жанры, сходные образы, по сравнению со „Всякой Всячиной“ и ранними комедиями появляются в серии „Были и небылицы“, опубликованной в журнале „Собеседник любителей русского слова“ в 1783 г. В своей автобиографии императрица как будто была рада возможности воскресить испытанные практики коррекции недостатков своих подданных после более чем десятилетнего перерыва. Те же принципы поэтики комического, которые были характерны для ее прозы и ранней комедиографии, лежат в основе изображения придворных нравов в ее автобиографических записках. Приемы „мягкой“ бытописательной сатиры часто применяются также в автобиографическом рассказе.



Дидро

В екатерининской автобиографии отчетливо находят проявление педагогический дискурс, связанный с кардинальной для европейского XVIII века проблемой воспитания будущих государей; с точки зрения его реализации можно обратить внимание на то, что показ различных, и в большинстве своем негативных, практик русской аристократии находит соответствие в архетипе этого рода повествования – романе Фенелона „Похождения Телемаха“. Разница состоит в организации сюжета. Герой Фенелона странствует и во время путешествия видит как разные формы управления государством, так и различные стили поведения аристократии. Жизнь русского двора представлена статично. Мемуаристка подчеркивает ее однообразность и монотонность. Русская великая княгиня видела как в паноптикуме разные лица, в которых она распознавала различные аспекты недостойного (редко – положительного) дворянского поведения. Кроме того, жанр мемуаров предоставлял возможность назвать прототипы. Герои в рассказе уже появляются с своими собственными именами, упоминаются факты их собствен-

ной, реальной биографии, особенности их реального житейского поведения. Картины двора в екатерининской автобиографии близки по духу к подобным зарисовкам русской придворной, и в более широком смысле, дворянской жизни в сатирической журнальной прозе и комедиографии того времени. Критика роскоши была любимой темой философского дискурса Просвещения. Она была столь значима из-за обстоятельства, что жизнь двора задавала нормы для подражания элите и обществу в целом: „Люди двора были связаны между собой своеобразными формами принуждения, которые он и посторонние оказывали друг на друга и одновременно сами на себя. Их связывала между собой более или менее четкая иерархия и четкий этикет. Необходимость утвердиться и реализовать себя среди такой фигурации налагала на всех своеобразный отпечаток – печать человека двора“, – пишет в своем классическом труде Н. Элиас (Элиас 2002: 50). По Марку Веберу, „Роскошь“ в смысле отказа от целерациональной ориентации потребления есть для феодального слоя господ не „излишество“, но одно из средств его социального самоутверждения“ (Цит. по: Элиас 2002: 52). Эта проблема присутствует в работах большинства мыслителей, приобретая все новые аспекты: необходимость жить согласно законам природы; отношение роскоши к счастью; испытания добродетели и развращающая роль люкса, но также наслаждение жизнью, усовершенствование нравов и светских умений. В разразившемся споре о роскоши большинство философов рекомендовали принцип умеренности (См. Margairaz 1997: 662–665). Критика роскоши была не просто общим местом в философских сочинениях. Полное собрание законов Российской империи свидетельствует о многократных указах самой Екатерины, выступающей против роскоши. Императрица старалась поддерживать блеск русского двора, но без излишеств и выхода за границы хорошего вкуса.

Критика придворных нравов, но уже в другом ключе, есть также в „Велизарии“ Мармонтеля, следующем популярном тексте политического романа XVIII века, занимающем определяющее место в екатерининском политическом дискурсе. Согласно Мармонтелю, двор – это средоточие интриг, подлости, низкопоклонства и лести.

Картина придворных нравов в „Велизарии“ статична и лаконична. Она дается прежде всего через восприятия жены великого полководца Антонины, которая сталкивается с холодностью и лицемерием приближенных императрицы:

La connaissance profonde et terrible qu'Antonine avait de la Cour lui faisait voir la haine et la rage déchaînées contre son époux. Quel triomphe, disait-elle, pour tous ces lâches envieux, que, depuis tant d'années, le bonheur d'un homme vertueux humilie et tourmente, quel triomphe pour eux de le voir accablé! Je me peins le sourire de malignité, l'air mystérieux de la calomnie, qui feint de ne pas dire tout ce qu'elle sait, et semble vouloir ménager l'infortuné qu'elle assassine.

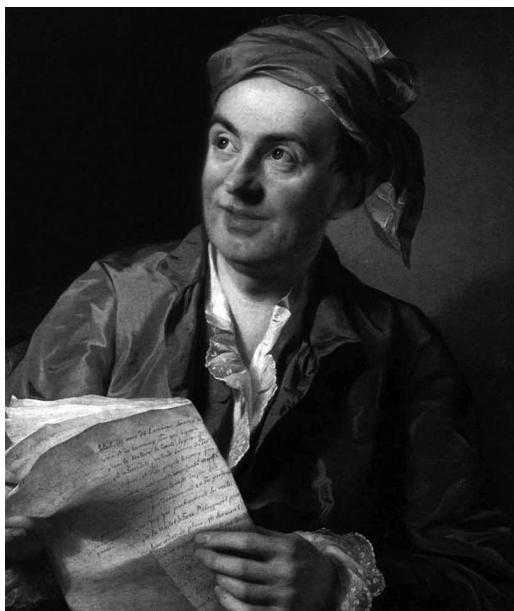
Ces vils flatteurs, ces complaisants si bas, je les vois tous, je les attends insulter à notre ruine (Marmontel 1994: 45)<sup>2</sup>.

Смысл жизни состоит в том, чтобы избегать „ловушек двора“, искать достоинство и славу в простоте и скромности нравов, а счастье и спокойствие – дома, иначе человек попадает в рабство, цена которого – стыд (Мармонтель 1785: 45).

И в романе Фенелона, и в романе Мармонтеля, двор (и шире – недостойное поведение большинства дворян) противопоставлен добродетельному принцу, сознающему свою миссию и тщательно готовящемуся к ней. Этот мотив активно разрабатывается также в мемуарах Екатерины, в которых образ добродетельной, одинокой и страдающей, но не склоняющей головы, великой княгини противопоставлен праздной, суетной и полной интриг жизни елизаветинского двора.

---

<sup>2</sup> Перевод: „Глубокое и ужасное познание Двора Антониною приобретенное, представляло ей, каким образом ярость и ненависть, разорвав цепи, связывающие их, устремились против супруга ее. Какое торжество, говорила она, для всех сих подлых завистников, коих счастье человека добродетельного через столько лет усмирило и мучило! Какое сие торжество для них видеть его поверженна! Я себе живо представляю злохитрую их улыбку и таинственный вид клеветы, притворяющейся, что она не все то говорит, что знает, и кажется, будто она шадит того несчастного, которого она сама ввергает в ров смертный. Сих негодных ласкателей, сих низкосердых учтивцев я вижу их всех, я слышу голос их, насмевающийся над погибелью нашей“ (Мармонтель 1785: 61–62).



Мармонтель

В. М. Живов анализирует трансформацию в екатерининском политическом дискурсе основных постулатов европейской философской мысли эпохи Просвещения. Ученый исходит из противопоставленности в сознании монархини посланий двух важнейших переводов, опубликованных в начальный период ее правления – „Тилемахиды“ (1766) Тредиаковского и „Велизария“ Мармонтеля. Как хорошо известно, к переводу текста последнего на русский язык в 1767 г. приложила руку сама императрица<sup>3</sup>. По мнению ис-

<sup>3</sup> Как это хорошо известно, перевод был осуществлен во время знаменитого путешествия Екатерины II по Волге в 1767 г. Оно стало символом единства многонациональной империи и религиозной толерантности российского престола. „Главы книги были распределены между переводчиками, и скоро перевод поспел. Участвовали в нем: А. П. Шувалов, И. П. Елагин, А. В. Нарышкин, Г. В. Козицкий, т.е. придворные литераторы, и придворные нелитераторы, как Г. Г. Орлов, З. Г. Чернышев и др. Девятую главу перевела Екатерина (ее нетвердый русский язык, без сомнения, редактировался другими). О ходе перевода сообщали

следователя, нелюбовь императрицы к „Тилемахиде“, высмеянной ею во „Всякой всячине“, вызвана не только литературными слабостями перевода, к которым читающая публика вряд ли была столь нетерпима, имея в виду скудость подобных сочинений в тогдашней русской литературе (Живов 2007: 259). „Для Фенелона, – подчеркивает Живов, – идеальная монархия ограничена аристократией, которая оказывается хранительницей обязывающих монарха законов. У Мармонтеля аристократия никакой роли не играет, окружение монарха (Юстиниана) в основном порочно, и обновление должно идти от устремившегося к добродетели монарха. Фенелон, а за ним Третиакровский, делает акцент на подчинении монарха закону. Мармонтель подчеркивает просвещенность правителя, его мудрость, заботу о подданных и умение отличить советников-ханжей от подлинных радателей общественного блага. И в этом случае фокус смещается с законов на нравы“ (Живов 2007: 261–262).

Эта противопоставленность законов и нравов, характерная как для журнальной прозы, так и для комедий Екатерины, по мнению ученого, выворачивает наизнанку общие места Просвещения и составляет основную ее дискурсивную стратегию: „Если законы не действуют без нравов, то важны не законы, а нравы. [...] Общество должно исправить свои нравы, и тогда придет черед говорить о законах. До тех пор, пока общество прозябает в пороках, оно должно критически смотреть на себя, а не на законодателя, и его претензии к власти не имеют оснований. С помощью этого нехитрого дискурсивного хода просвещенческая доктрина превращается в апологию существующего порядка. Стоит отметить, что это смещение фокуса на проблемы общественной морали характерно для всех

---

и Мармонтелю, и Вольтеру, чтобы получше раздуть эффект: императрица и ее придворные переводят, пропагандируют книгу, на которую воздвигнуто гонение на родине ее автора. Мармонтель, конечно, отвечал изящными комплиментами. В 1768 г. перевод вышел в свет (без указаний имен переводчиков) с посвящением его архиепископу тверскому, посвящением нарочитым по своему адресату и еще усилившим эффект“, – отмечает Г. А. Гуковский (Гуковский 1998: 217).

О том как коллектив переводчиков передал на русский язык основные понятия см. Breuillard 1997.



„сатирических журналов“ 1769–1774 гг., включая и журналы, издававшиеся Новиковым“ (Живов 2007: 262).

В. М. Живов отмечает также, что эта „дискурсивная манипуляция“ оказывается позднее одним из основных приемов в ранней комедии Екатерины „О, время!“ (Живов 2007: 263).

В „черкасовской редакции“ сильнее всего выражено „мемуарное“ начало, в смысле свидетельств не столь о себе, сколь о других, о времени. Екатерина стремится создать собирательный образ русского двора, используя дорогие ее сердцу сюжетные мотивы, многократно эксплуатировавшиеся ею в ее морализаторской прозе и в комедиях. Множество отрицательных примеров в поведении придворных должно имплицитно „воссоздать“ атмосферу елизаветинского двора, похожую на атмосферу при дворе Юстиниана в „Велизарии“, и соответственно внушить будущему читателю аналогию между ее предшественницей и впадшим в заблуждение византийским императором.

На этом фоне следует подчеркнуть акцент, который ставит Екатерина II на некоторые качества своего характера. Все они соответствуют той концепции идеального монарха, которая развита Мармонтелем в „Велизарии“. Как известно, императрица сама переводит концептуальную девятую главу, где изложена квинтэссенция человеческих качеств добродетельного монарха. Среди них – справедливость, умение дружить, отличать лесть от похвалы, а сама добродетель не должна „происходить из рассуждения“, так как это означает, что она руководствуется корыстью. „Приятность“ и польза – два качества, которые способствуют добродетели:

С начала дружба рождается из видов приличности, приятности и пользы. Нечувствительное действие освобождается от причины; то, что побуждало, исчезает, а чувство остается; и в нем находят неизвестную прелесть, присвояют к нему из привычки сладость его бытия; с того времени, горести сколько бы ни занимали место ожидаемых удовольствий, но жертвуют дружбе всем благом, коего от нее надеялись; и сие чувство, рожденное в веселии, питается и возрастает посреди болезней. То же бывает и с добродетелию. Для привлечения сердец должна представить она черты приятности или пользы: ибо каждый любит себя прежде, нежели

ея, и прежде, нежели ею пользоваться, ищет в ней другого добра“ (Екатерина II 1901, V: 5)<sup>4</sup>.

Собственная удовлетворенность и польза – необходимые условия „разумного эгоизма“, самолюбия, понятия, которые отстаивают энциклопедисты<sup>5</sup>. В статье „Интерес“ („Intérêt“) из „Энциклопедии“ эти качества человеческой природы составляют необходимое условие ее прогресса. Дидро, автор статьи, ассоциирует содержание понятия, с одной стороны, со справедливостью, добродетелью, а с другой – с суетой, спесью. Индивидуальное понятие интереса (и самолюбия, как его составляющего), согласно Дидро, связано с общественными измерениями этого понятия. В аксиологии энциклопедистов личные измерения интереса не рассматриваются как нечто предосудительное и получают положительную коннотацию (Diderot 1875, XV: 229–230).

Желание монарха, согласно Мармонтелю (и Екатерине), – быть „свободну, сильну и богату, видеть народ свой послушным, быть в почтении у своего века и хвалим будущими временами“ (Екатерина II 1901, V: 6).

Важнее всех этих качеств – справедливость, которая и является гарантом подчинения законам. Несправедливость же – предпосылка тирании:

... Воля одного, когда она несправедлива, имеет против себя те же самые силы, кои должно разделить, обуздать, разрушить, или победить. Тогда тираны прибегают то к лъстецам, кои прельщают народ, удивляют его, устрашают и повелевают покориться, то к подлым душам, кои [...] отрубают головы, свергающие с себя иго и смеющие призывать в помощь

---

<sup>4</sup> Глава из „Велизария“. В небольшом предисловии к тому акад. Пыпин высказывает предположение, что перевод IX главы из Велизария является первым литературным текстом, созданным императрицей. Интересно, что об этом переводе (у него – отрывок „О дружбе“) упоминает в „Путешествии в Сибирь“ (1768) аббат Шапп д’Отрош, а Екатерина в „Антидоте“ обходит молчанием его похвалу (см. примечание П. И. Бартенева к „Антидоту“ в: Оснадцатый век 1869: 310). Вероятнее всего, Шапп узнал о переводе перед выходом в свет своей книги, но по цензурным соображениям не упомянул настоящего названия текста.

<sup>5</sup> См. примечание Grandroute (Marmontel 1994: 83–84).

права естественные. [...] Тиран, гордясь, что царствует силою оружия или страшными ослеплениями суеверия, похваляет сам себя. [...] Чтob угнетать одну часть народа, делается он невольником другой, столь низок и подл с сообщниками своими, сколько пышен и суров с прочими своими подданными (Екатерина II 1901, V: 6).

Справедливость, стремление к порядку – основа настоящего героизма с точки зрения Дидро: „La passion d’ordre, de la justice, sera la première vertu, le véritable héroïsme, quoiqu’elle ait sa source dans l’amour de nous-mêmes“ (Diderot 1875, XV: 230)<sup>6</sup>.

Особенности ситуации перевода „Велизария“ Мармонтеля, работа над которым не была просто полезным светским развлечением и лекарством от дорожной скуки, демонстрирует новые идеи организации отношений монарха и элиты в русском обществе. Новая политика, которую Екатерина, может быть, еще обдумывала, состояла в единстве усилий монарха и просвещенного дворянства. Перевод оказался не просто удобным поводом воспользоваться благоприятной международной политической ситуацией и повысить свой рейтинг на европейской сцене. Он имел целью кристаллизировать новые принципы внутренней политики, которые в это время императрица упорно искала и „Наказом“, и созывом Комиссии по составлению нового Уложения. Новый стиль подразумевал сочетание полезного и приятного, совершенствование нравов, а также адекватный отклик на злободневные события. Другим подобным предприятием был перевод статей из „Энциклопедии“, осуществленный тем же „коллективом“<sup>7</sup>. Положительный

---

<sup>6</sup> Перевод: „Страсть к порядку, справедливости – первая добродетель, настоящий героизм, который коренится в нашей любви к самим себе“ (перевод мой – А. В.).

<sup>7</sup> „В том же 1767 г., когда Екатерина переводила „Велизария“, в Москве были изданы три тома „Переводов из Энциклопедии“, т.е. избранных статей, переведенных из знаменитого издания Дидро и Даламбера. Участниками издания, переводчиками, были придворные Екатерины, те самые, которые участвовали в переводе „Велизария“ (А. П. Шувалов, А. И. Бибииков, С. М. Козмин и др.), а также литераторы из круга Хераскова (сам Херасков, Ржевский, бр. Нарышкины, Домашнев и др.) и, наконец, три профессора-медика, в том числе С. Г. Зыбелин, привлеченные, видимо, в качестве специалистов. Организатором издания, печатавшегося при Московском

результат этого опыта сотрудничества очевиден: в сатирических изданиях 1769 г. и 1783 года – „Всякой всячине“ и „Собеседнике любителей русского слова“ императрица трудилась пером в содружии с высокопросвещенными представителями русской дворянской элиты, не боясь, однако, демонстрации инакомыслия и критики. Официальную точку зрения выразил О. П. Козодавлев, который писал: „Перевод „Велисария“ останется в Российской истории бессмертным, и будет служить доказательством, что в век Екатерины Второя в России были правила Велисария в почтении и что она подданным своим истинну слушать не только не запрещала, но и старалась во всяком случае открывать оную пред ними, яко источник человеческого блаженства“ (Цит. по Шарыпкин 1977: 168–169). Результаты этого процесса, начавшегося во второй половине 60-х годов XVIII века к концу столетия превзошли ожидания. Как отмечает Ц. Уиттакер, ирония „просвещенного абсолютизма“ состояла в том, что монархи настолько просветили своих подданных, что те больше не хотели абсолютистского управления (Whittaker 2003: 118)<sup>8</sup>.

университете, был директор университета Херасков. Без всякого сомнения, „Переводы из Энциклопедии“ выходили по указанию Екатерины. Было предположено издать целую серию этих сборников, но дело ограничилось тремя. Отбор статей для этого издания характерен; в основном тут даны невинные темы: Словопроизведение, Наррация, Одежды римлян, Гамак, Баня, Желчь, Пальцы и т.д. – и лишь несколько статей иного типа: Право естественное. Экономия, Нравоучение (переводчики бр. Нарышкины). В целом получалась видимость издания для русского читателя знаменитой книги, гонимой во Франции, видимость „свободомыслия“ властей, – а особого соблазна для читателя на самом деле не было“ (Гуковский 1998: 217). Особого соблазна для просвещенных русских читателей действительно не могло быть, так как многие члены элиты имели возможность читать „Энциклопедию“ в оригинале. Следует, однако напомнить факт предложения Екатерины печатать запрещенную во Франции „Энциклопедию“ в России. Сам перечень статей говорит о стремлении переводчиков повысить общую культуру массового современника и дать ему основания современных знаний о природе и мире. Содержание статей эпохального труда французских просветителей, даже когда они относятся к элементарным понятиям, преследовало гораздо более серьезные цели, а три тома – немалый объем, чтобы наполнить его „безобидными“ материалами.

<sup>8</sup> Примером такого критического отношения, без сомнения, является критика А. Н. Радищева, который в „Путешествии из Петербурга в Москву“ пародировал,

\* \* \*

В созвучии с высказанными в „Велизарии“ Мармонтеля умеренными философскими взглядами, в автобиографии Екатерина II стремилась продемонстрировать положительные качества своего собственного характера на фоне придворных с гордой уверенностью в правильности своих свершений. На эту черту повествования обращает внимание Я. Л. Барсков. В предисловии к XII тому академического издания трудов императрицы он отмечает общую тональность рассказа и отвергает традиционные догадки о замысле мемуаров, написанных, по распространенному мнению, как оправдание: „Этому предположению противоречит и общий тон „Записок“: императрица писала их с твердой уверенностью в себе, с гордым сознанием своего величия и своих заслуг перед Россией“ (Екатерина II 1901, XII: VI). Любовь к себе и трезвая и справедливая оценка лежат в основе небольшого автобиографического отрывка „Памятник моему самолюбию“:

4 июля 1781 г. Мне в руки попался каталог книг, в котором я нашла брошюру под названием „Похвала Екатерине II, императрице российской“, и немедленно я велела принести ее. Я нашла, что она была издана в Лондоне в 1776 году, следовательно шесть лет я не знала, что она существует. Кажется мне, это какой-нибудь студент, желавший начертить пример для государей: он, должно быть, очень мало образован и, несмотря на чрезмерные похвалы кстати и некстати, никакая книга не доставила мне более скуки; к тому же эта книга полна неправды, и неправды, придуманной автором (РТ: 671).

Установка на справедливость как основную черту ее добродетели как монарха и человека – главная линия в автобиографическом рассказе во всех его вариантах. Она реализуется не только в прямых характеристиках людей, окружающих великую княгиню,

---

по наблюдениям Д. М. Шарыпкина, мотивы из перевода „Велизария“ и особенно IX главы, переведенной императрицей. Исследователь подчеркивает „иронию самой жизни в том, что тирады эти переводили те самые придворные, против кого и направлена была сатира Мармонтеля. Императрица же перевела суждения Велизария, касающиеся ее самой“ (Шарыпкин 1977: 179).

но также и в последовательно предлагаемых читательскому вниманию выражениях „справедливого“ отношения даже к самым неприятным персонажам и к врагам.

В „черкасовской редакции“ читатель находит ряд знакомых мотивов не только из морализаторской прозы самой императрицы, но также характерных вообще для русской сатирической и морализаторской литературы XVIII века. Иногда описания вызывают ассоциации с кантемировскими, сумароковскими, новиковскими, фонвизинскими персонажами. Как отмечает современный исследователь по поводу применяемой техники комического в „Былях и небылицах“, „осуждение Новикова не мешало Екатерине использовать „язык“ „Трутня“ и „Живописца“ (Ивинский 2009а: 104). Тем более это относится к автобиографическому рассказу, который позволяет уже не считаться со всеми ранее принятыми условностями и использовать более резкие и конкретные квалификации персонажей. Двор изображен как замкнутое пространство, враждебное добродетели, где подавляющее большинство находящихся при нем людей вовлечены в одну вечную и постоянную игру – творить как можно больше интриг и потакать низменным страстям. „Я имею полное основание думать, что в то время очень были заняты тем, чтобы поссорить меня с великим князем“ (РТ–Ч: 89), – вот горькая констатация мемуаристики. Частые эпизоды всевозможных интриг, имевших целью дискредитировать ее саму и удалить преданное ей окружение<sup>9</sup> и всех честных и достойных людей, оказавшихся при

---

<sup>9</sup> Конечно, и в этом случае есть переосмысление некоторых случаев, „экономика“ правды и подчинение описания событий идеологии рассказа. Таков случай с Марьей Жуковой, горячо любимой горничной, чье удаление юная великая княгиня тяжело переживает. Ссылке Жуковой и ее удалению, только по простой причине, что ее компания нравилась великой княгине больше всех других, посвящено два обширных эпизода „черкасовской“ и поздней редакции (РТ–Ч: 77–79; РТ–СРЗ: 237–239). К. Писаренко отмечает, что „Екатерина, повествуя о мытарствах семьи Жуковой, не погрешила против истины, если не считать умолчания о ряде фактов и в первую очередь о том, что ей „повезло“ стать жертвой обыкновенной шайки вымогателей. Мария Петровна Жукова – дочь Марии Титовны Лопухиной – умудрилась за несколько месяцев выцганить у стеснительной и отзывчивой госпожи приличный гардероб из самар, кафтанов, шлафоров, полшлафоров, юбок, корсетов и прочих женских уборов (всего тридцать три наименования), два

дворе, вписывается в критику придворных нравов в романе Мармонтеля. Она соответствует распространенным сюжетным мотивам ряда текстов русской сатирической и морализаторской литературы XVIII века. Придворная жизнь – пуста и бездеятельна:

Эта жизнь стала невыносимой: в виде единственного развлечения я играла в волан с моими фрейлинами, в то время как Чоглоковы ворчали в одном углу комнаты, а князь и княгиня Репнины зевали в другом. Я покорила своей участи: весь день с ружьем на плече я охотилась или сидела у себя в комнате с книгой в руках (РТ–Ч: 94).

Бездеятельность двора, праздность времяпрепровождения придворных – контрастный фон для образа юной великой княгини, которая использует это „потерянное“ время для своего физического и духовного укрепления. Двор по традиции – центр „адской“ карточной игры, истощающей все интеллектуальные силы; однако карточная игра – меньшее зло, занимающее умы, основное занятие которых плести интриги:

Со следующего же дня по нашем приезде началась крупная игра; фавориты и фаворитки императрицы, граф Разумовский и графиня Шувалова, не могли обойтись без нее; да это и было необходимо при дворе, где не существовало никакого разговора, где друг друга сердечно ненавидели, где злословие заменяло ум и где малейшее дельное слово считалось за оскорбление величества. Подпольные интриги признавались за ловкость. Остерегались говорить об искусстве и науке, потому что все были невеждами: можно было побиться о заклад, что лишь половина общества еле умела читать, и я не очень уверена в том, чтобы треть умела писать (РТ–Ч: 90–91).

Эта немногословная, но содержательная картина елизаветинского двора контрастирует с тщательно поддерживаемым имиджем двора Екатерины, ставшего интеллектуальным центром страны в

---

позолоченных образа с драгоценными камнями, два золотых перстня и одно золотое кольцо. Елизавета Петровна, проведав о мошенниках, велела 28 сентября кабинет-курьеру Илье Мещеринову взять под стражу плутовку, пока Екатерина будет прощаться на окраинах Петербурга с родной матерью. Офицер исполнил приказ, внезапно нагрянул в комнату принцессы и арестовал Жукову, которая не успела избавиться от улики“ (Писаренко 2003: 813–814).

годы ее правления и проводником ее культурной политики. Клаус Шарф комментирует эти описания сквозь призму юношеских впечатлений Екатерины-невесты, нашедшей в новой родине резкий контраст с родной Германией: „Ее автобиографические записки следует читать не только как оправдание *coup d'état* – совершенного ею государственного переворота, но и как просвещенческую критику российской действительности, каковой она виделась ей во времена Елизаветы и Петра III. В екатерининских текстах, написанных в последние годы жизни императрицы, еще более заметна тенденция к изображению в карикатурном виде мрачного и недостойного состояния государства, в котором оно находилось, когда перешло в ее руки. Однако свойственное ее воспоминаниям критическое отношение к некоторым явлениям без труда объясняется той перспективой, с позиции которой немецкая принцесса видела свою новую родину полувеком ранее, пусть даже она всячески старалась избегать прямых сравнений с Германией. Придворное общество обеих столиц она находила необразованным и скучным, тщеславным и склочным, ханжеским и суеверным, присущие ему развлечения – безвкусными и примитивными, французский язык театральных постановок – отвратительным, многочисленные дворцы, принадлежавшие высшим сановникам государства, даже самой императрице Елизавете Петровне, – не только неуютными, но и обветшавшими и даже – за недостатком гигиены и плохим отоплением – непригодными для обитания“, – обобщает Шарф впечатления юной принцессы по сравнению с родной Германией, продолжая коротким изложением впечатлений от жизни вне столиц: „однако в России выезды в провинцию были связаны с невероятными неудобствами даже для лиц, принадлежавшим к императорскому двору“ (Шарф 2015: 118–119). Однако, по мнению исследователя, послужило великой княгине для ее *aregçus* – памятных заметок, что должно изменить в будущем (там же). Я позволю себе лишь отчасти согласиться с уважаемым историком. Контраст, наверное, был запоминающимся, особенно для пятнадцатилетней принцессы, ошеломленной как роскошью, так и вопиющей бедностью и непорядками и позже впечатления послужили ей в государственных начинаниях, тем более, что



такие картины накапливались с течением времени. Однако, кажется, что здесь имеет место идеология мемуарного рассказа, которую совмещает в себе два временных плана – героя „тогда“, в прошлом, и автобиографа (См. Николина 2002: 274, 276).

Императрица старается напомнить будущим читателям об атмосфере благородных и интенсивных занятий литературой, театром, искусством, которые она старалась поддерживать при своем собственном дворе. Насколько ей удалось ограничить недостатки придворных в их обычном поведении, можно судить по критике нравов, предлагаемой в сочинениях и ее оппонентов, и ее единомышленников. Но успехов в культивировании нравов, насаждении образования, литературных занятий и чтения, интереса к театру и другим видам искусства было немало (см. Акимова 2013). Екатерининская эпоха стала первым этапом золотого века русской дворянской культуры.

Любимые сюжеты императрицы – критика невежества и суеверий, предрассудков, воспитание девиц, семейные отношения, скупость и расточительство, мода, общие для ее прозы и комедии-ографии, также находят место в описаниях придворных нравов. На страницах различных редакций текста мелькают всегда подвыпившая придворная дама Крузе, „очень обязательная, когда дело шло о том, чтобы повредить“ (РТ–Ч: 87), потакающая ребяческим прихотям великого князя (именно она доставляла ему его любимые куклы и прикрывала его проделки); любимица императрицы Елизаветы Измайлова, которая тревожилась, как бы у великой княгини не испортились глаза от чтения при свечке (РТ–СРЗ: 240). Скупая графиня Шувалова, жена одного из сильнейших и богатейших людей империи, экономит даже на материале для юбок, и эта скупость передается ее дочери:

Г-жа Шувалова получила от меня прозвище соляного столпа. Она была худа, мала ростом и застенчива; ее скупость проглядывала в ее одежде; юбки ее всегда были слишком узки и имели одним полотнищем меньше, чем полагалось и чем употребляли остальные дамы для своих юбок; ее дочь, графиня Головкина, была одета таким же образом; у них всегда были самые жалкие головные уборы и манжеты, в которых постоянно в чем-нибудь да проглядывало желание сберечь копейку (РТ–СРЗ: 386).

Во „Всякой всячине“ скупость объявлена „последним“ пороком, который делает человека „достойным более сожаления, нежели смеха“ (Всякая всячина 1769: 233). Скупость – ведущая черта в образе г-жи Ханжахиной в комедии „О, время!“ В мемуарах скупость показана как узость ума, которая лишает человека способности сочувствия к ближнему. Та же г-жа Шувалова, видя страдания роженицы – великой княгини, наконец-то докладывает императрице Елизавете, но не из сострадания, а от беспокойства, что что-то неблагоприятное может произойти и ее обвинят в невыполнении своих обязанностей (РТ–СРЗ: 360). Скупость – тот порок, который составляет последний штрих в нравственном падении личности:

Впрочем, он сам [Александр Шувалов – А. В.] не пользовался никаким или очень ничтожным уважением. Мы смеялись над ним, над его женой, дочерью, зятем чуть ли не в их присутствии; они подавали тому повод, потому что нельзя было себе представить более отвратительных и ничтожных фигур (РТ–СРЗ: 385–386).

Критика скупости, возможно, подсказана Екатерине любимым с детства Мольером, хотя этот вечный сюжет присутствовал также и в комедиях Сумарокова, и в собственных комедийных творениях императрицы. Традиционные комедийные мотивы помогают императрице свести счеты с политическими врагами, даже по прошествии многих десятилетий. Красноречив пример с алчностью и продажностью высокопоставленных администраторов, например, вице-канцлера М. И. Воронцова, сторонника „французской“ партии при русском дворе, которому „Людовик XV меблировал за эту услугу дом, который он только что выстроил в Петербурге, старой мебелью, начинавшей надоедать его фаворитке, маркизе Помпадур, которая продала ее по этому случаю с выгодой королю, своему любовнику. Вице-канцлер, кроме выгоды, имел еще другое побуждение, а именно унижить своего соперника по влиянию, графа Бестужева, и завладеть его местом“ (РТ–СРЗ: 392). Унизительная коррумпированность вице-канцлера и наглость его поведения выступают на фоне другой бытовой детали: „При дворе в это время был такой недостаток в мебели, что те же зеркала, кровати, сту-

лья, столы и комоды, которые нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф и даже следовали за нами в Москву. Билось и ломалось в переездах немалое количество этих вещей, и в таком поломанном виде нам их и давали, так что трудно было ими пользоваться“ (РТ–СРЗ: 321). Иногда достается даже людям, которые в общем-то сыграли положительную роль в судьбе мемуаристки. Это касается противоречивой личности ее бывшего врага, а потом покровителя и учителя канцлера Алексея Петровича Бестужева. В начале поздней редакции Екатерина II характеризует его исключительно отрицательно:



А. П. Бестужев-Рюмин

„это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный“ (РТ–СРЗ: 208). Осмеянию подвергается его пьянство, мастерство в интригах, умение манипулировать людьми, но в то же время императрица высоко ценит политическую дальновидность и патриотизм канцлера.

Врагов можно „приручить“, воспользоваться их знаниями, научиться у них многому. Хрестоматийный пример в этом отношении – придворная великой княгини Прасковья Владиславова. Этот персонаж присутствует как в „черкасовской“, так и в поздней редакции. Он иллюстрирует принцип, заимствованный из „Велизария“, о дружбе и пользе, которую государь может получить от своего окружения в своем стремлении служить добродетели.

Познавать самого себя, познавать людей, стараться разбирать в них основание природных склонностей, побуждение привычки, свойство сложения, действие принятых мнений, силу и слабость ума и духа не с бесполезным и преходящим любопытством, но с твердым желанием, влагающим почтение в льстецов, вникать в нравы, в способности, в имущество своих народов и в поведения определенных над ними правителей (Екатерина II 1901, V: 10).

Императрица не просто переводила написанное Мармонтелем, но явно соотносила эти суждения с собственным житейским и государственным опытом. Эти советы полководца находят аналогию в ее автобиографии в рассказе о тех уроках, которые великая княгиня сумела извлечь из своих беседований с Владиславовай.

В течение этой болезни Владиславова старалась меня забавлять, и вот как она этого достигала: эта женщина была живым архивом; она знала скандальную хронику всех русских фамилий с Петра Великого и даже раньше. Она садилась возле моей кровати и, не переставая, рассказывала. Рассказывала она хорошо и с умом; от нее я узнала связи всех семейств между собой, их родство до второго и третьего колена, множество анекдотов, которые часто при случае оказывают услуги тому, кто умеет ими

пользоваться. [...] ничего не могло быть для меня поучительнее разговора Владиславовой, чтобы познакомиться с тем обществом, среди которого я жила; и я вошла во вкус этих бесед. Иной раз она мне также рассказывала о текущих событиях (РТ–Ч: 165–166).

В поздней редакции характеристики Владиславовой сохранены. Это редкий случай, когда предыдущий вариант эпизода расширен. В позднюю редакцию добавлены более подробные сведения о персонаже и внесен дополнительный акцент о необходимом внимании даже к человеку, которого можно рассматривать как союзника:

Это была женщина высокого роста, с хорошими, повидимому, манерами; ее умное лицо на первых порах мне довольно понравилось. Я спросила об этом выборе мой оракул Тимофея Евреинова, который сказал, что [...] у нее не было недостатка ни в уме, ни в живости, что она слыла за очень хитрую, что надо посмотреть, как она будет себя вести, и особенно не надо слишком выказывать ей доверие. Ее звали Прасковья Никитична. Она начала очень удачно; она была общительна, любила говорить, говорила и рассказывала с умом, знала основательно все анекдоты прошлого и настоящего, знала все семьи до четвертого и пятого колена, очень отчетливо помнила родословные отцов, матерей, дедов, бабок и прадедов и предков с отцовской и материнской стороны всех на свете, и никто не познакомил меня с тем, что происходило в России в течение ста лет, более обстоятельно, чем она. Ум и манеры этой женщины мне достаточно нравились и, когда я скучала, я заставляла ее болтать, чему она всегда охотно поддавалась. Я без труда открыла, что она очень часто не одобряет слов и поступков Чоглоковых, но так как она очень часто ходила также в покои императрицы и совсем не знали, зачем, то были с ней до известной степени осторожны, не зная, как могут быть перетолкованы самые невинные поступки и слова (РТ–СПЗ: 272–273).

Хотя Прасковья Никитична чем-то похожа на московских кумушек, высмеянных в сатирической прозе и комедиях сиятельного автора, характер героини представлен положительно как носитель живой памяти о прошлом. В отличие от прочих дам, характеристики этого персонажа сохраняются именно в этом смысле. Общение с ней – залог „русскости“ великой княгини и предпосылка успеха ее высокой миссии. В жизни Екатерина поражала собеседников глубоким знанием истории и обычаев своей страны. Это отмечается

также публикаторами мемуаров: „Трудно указать, откуда императрица почерпала материал для „Записок“, кроме своей памяти. Она часто говорит о рассказах и сплетнях придворных дам, ссылается на очевидцев, передавших ей те или другие подробности, указывает, как рылась в сундуках и бумагах по смерти имп. Елизаветы, как пользовалась документами Тайной канцелярии; она превосходно знала и придворную хронику, и частную жизнь петербургской или московской знати, у нее под руками были груды писем, – однако остается неясным, откуда она заимствовала столь точные сведения, что могла отмечать дни и часы в полном согласии с записями в Камер-фурьерском журнале или с известиями газет“, – обобщает свои наблюдения Я. Л. Барсков (Екатерина II 1901, XII: XII).

Тот же вопрос ставят перед собой исследователи комедиографии Екатерины II, подозревая весомое участие соавтора или по меньшей мере активное вмешательство редактора (Костина 1993: 307; Евстратов 2009: 151). Сюда надо добавить занятия летописями и историческими источниками, сочинение „Записок, касательно российской истории“, собрание и комментариев русских пословиц, их умелое использование в устной речи и в литературных произведениях (см. Вагеманс 2015). Уроки Владиславовой и ясное сознание пользы усвоенного подхода ко всем аспектам русской жизни той эпохи стали, на мой взгляд, причиной как общественных, так и литературных успехов государыни. Однако это не был только вопрос практицизма мышления и бесспорного таланта Екатерины. В ее отношении к русскости на всех уровнях ее проявления видны также хорошо усвоенные и приложенные на деле просветительские идеи.

В мемуарном повествовании, в изображении придворных нравов, однако, Екатерина II уже отступает от правила, принятого в других жанрах, „не целить в особ, но единственно на пороки“, но остается верной принципу, „бранить и ругать [...] никого не будем, так как и по сей час мы того не дельывали“ (Всякая Всячина 1769: 134). Классический объект екатерининской „сатиры на лицо“ – чета Чоглоковых, исполнявших должности гофмейстера и гофмейстерины малого двора. В образах мужа и жены собраны негативные качества придворных с их склонностью к интригам,

наушничанием, слепым и слишком усердным до крайнего педантизма исполнением глупых и унижительных распоряжений. Чоглоков – воплощение крайней человеческой глупости:

Это был светский человек, надутый самолюбием; он считал себя чрезвычайно красивым и умным, он был самонадеян, глуп, заносчив, спесив и по меньшей мере так же зол, как его жена, а она была в немалой мере такова (РТ–Ч: 91).

Страстишки и увлечения Чоглоковых – очередной повод для осмеяния характерных дворянских недостатков. Чоглокова – страстная любительница карточной игры, которая только это и делает, однако, она иногда даже склонна закрыть глаза, если выпадет случай сыграть лишний раз (РТ–Ч: 191; СРЗ: 281). Глупый и тщеславный Чоглоков, поверивший, что может сочинять хорошие любовные песни, становится, как в какой-то комедии, легкой жертвой планов влюбленного в великую княгиню Сергея Салтыкова (РТ–СРЗ: 327, 331). Семейные отношения этих персонажей иллюстрируют частную сферу быта аристократии и дают повод для введения ряда общих мотивов с журнальной прозой императрицы. В начале знакомства великой княгини с этими ее придворными, Чоглокова слепо и безгранично влюблена в своего мужа. Подобный эпизод рассказан на страницах „Всякой всячины“, в одном из „полученных“ в редакцию писем. В нем читатель выражает удивление от продолжительной любви между супругами: „Ничего страннее нету, как видеть мужа и жену влюбленных друг в друга [...] одним мещанам свойственно любить жен своих“ (Всякая Всячина 1769: 300). На самом деле, оказывается, что брак Чоглоковых никак не отстает от современных понятий, т. е. он не так идеален, как кажется. Обширный эпизод „черкасовской“ редакции посвящен комической любовной интриге Чоглокова с глупой и наивной молодой девицей Кошелевой (РТ–Ч: 197). В поздней редакции Чоглоков даже старается очаровать и снискать благосклонность великой княгини (РТ–СРЗ: 353). Поведение этого персонажа не укладывается в утонченность этикета и не отвечает нормам галантного поведения.

Многочисленные эпизоды с участием этих двух персонажей дают возможность автору записок подчеркнуть достоинства своей собственной личности благодаря принципу контраста, а также отсылая к просветительской концепции образа государя. Идея справедливости и беспристрастности в очередной раз выгодно оттеняет образ великой княгини, способной оценить жесты настоящей заботы и человеческого сочувствия, которые с риском для себя делает уже будучи на сносях Чоглокова, заботясь о тяжело больной принцессе. Мучительная смерть Чоглокова, унижение и страдания его жены, отставленной от двора после долгих лет верной службы, вызывают также искреннее сочувствие.

В редких случаях в тексте встречаются персонажи, представленные положительно. В качестве примера можно указать на честного и почтенного князя В. И. Репнина, человека редких достоинств, имеющего высокое сознание о дворянском долге, подвергшегося опале из-за своей „инакости“ на фоне двора. Это настоящий фонвизинский Стародум, который бескорыстно и с чувством ответственности исполняет свои обязанности воспитателя великого князя. Его „проступок“ в глазах придворного общества опять-таки связан в мемуарном рассказе с проблемой воспитания принца. Князь, который „имел много благородства в чувствах“, „начал вводить к великому князю более изысканное и благородное общество и удалять от него окружавших его лакеев“ (РТ–Ч: 83). Положительным образом представлен также И. И. Шувалов, которого мемуаристка „вечно находила в передней с книгой в руке“:

... Я тоже любила читать и вследствие этого я его заметила; на охоте я иногда с ним разговаривала; этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться; я его укрепила в этой склонности, которая была и у меня, и не раз предсказывала ему, что он пробьет себе дорогу, если будет приобретать знания. Он также иногда жаловался на одиночество, в каком оставляли его родные; ему было тогда восемнадцать лет, он был очень недурен лицом, очень услужлив, очень вежлив, очень внимателен, и казался от природы очень кроткого нрава. Он внушал мне участие, и я с похвалой отзывалась о нем его родным, все любимцам императрицы; это привязало его ко мне – он узнал, что я ему желала добра; они стали обра-



щать на него больше внимания; кроме того он был очень беден. В своем счастье, которое наступило очень быстро, он долго был благодарен мне за то, что я первая его отличила и, из лести, говорил мне сам и поручал сказать мне, что я была тут первым двигателем (РТ–Ч: 109–110).

Эта положительная характеристика сохраняется и в дальнейшем, в позднейшей редакции, хотя она уже гораздо лаконичнее:

В этот день она [императрица Елизавета – А. В.] назначила своим камер-юнкером Ивана Ивановича Шувалова. Это было событием при дворе; все шептали друг другу на ухо, что это новый фаворит. Я радовалась его возвышению, потому что когда он еще был пажом, я его заметила, как человека много обещавшего по своему прилежанию; его всегда видели с книгой в руке (РТ–СРЗ: 287).

Вводя (и потом оставляя) положительную характеристику Шувалова, известного своего оппонента и предполагаемого вдохновителя скандальных вопросов Фонвизина в „Былях и небылицах“ (см. Проскурина 2010; Ивинский 2009а: 170, 174) (не будем забывать, также известного русского „ученика“ Вольтера), Екатерина опять-таки акцентирует внимание на своем чувстве справедливости и способности оценить качества противника. Об ее настоящем отношении к Шувалову можно судить по письму Станиславу-Августу Понятовскому, в котором она характеризует бывшего фаворита Елизаветы как „самого низкого и самого подлого из людей“. Новоявленная императрица недовольствовалась тем, что Шувалов преувеличил в глазах Вольтера роль девятнадцатилетней княгини Дашковой в перевороте, возведшем ее на престол (РТ: 570). Идея справедливости, так важной для государя, заимствованная у просветителей и опозитизированная Екатериной в ее исторической хронике о Рюрике, подчеркивается в автобиографическом рассказе общим негативным портретом всего клана Шуваловых – особенно графов Петра и Александра, графини Е. И. Шуваловой. Идея справедливости и неотвратимого наказания по заслугам, столь важные в поведении государя для удержания норм общественного порядка, проявляются даже в комическом эпизоде наказания Льва Нарышкина:

Однажды, желая войти в мой кабинет, я застала его там нахально развалившимся на канаве, которое там находилось, и распеваящим бессмысленную песню. Видя это, я вышла, захлопнула за собою дверь и тотчас же пошла за его невесткой; я ей сказала, что надо взять хороший пучок розог и высечь ими этого мужчину, который уже давно так дерзко ведет себя с нами, чтобы научить его уважать нас. Его невестка охотно на это согласилась, и тотчас же мы велели принести хороших розог, обвязанных крапивой; мы заставили пойти с нами одну вдову, которая была при мне среди моих женщин, по имени Татьяна Юрьевна, и мы все трое отправились в мой кабинет, где застали Льва Нарышкина на том же месте распеваящим во все горло свою песню. Когда он нас увидел, он хотел удрать от нас, но мы так отстегали его нашими крапивными розгами, что у него ноги, руки и лицо настолько распухли в течение двух-трех дней, что он не мог поехать с нами на следующий день в Петергоф на куртаг, а был принужден оставаться у себя. Он отнюдь не стал также хвастаться тем, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей невежливости или по малейшему поводу, каким он вызовет наши жалобы на него, мы повторим ту же операцию, видя, что нет никакого другого средства справиться с ним. Все это понималось как чистая шутка, без злобы, но наш мужчина достаточно это почувствовал, чтобы запомнить это, и не подвергался этому впредь, в той степени по крайней мере, в какой он делал это до сих пор (РТ–СРЗ: 418–419).

В рассмотренном эпизоде проявляется характерная черта автобиографического повествования императрицы: в бытовом анекдоте, на примере малозначительного случая, вывести важные характеристики своего образа. Эпизод сильно театрализован и походит на сцену из комедии с элементами фарса. Этим автор добивается более пластичного представления в сознании читателя и рассчитывает на его чувство юмора для достижения воспитательного эффекта. Описанное наказание – шутка (с привкусом серьезности) на грани галантной культуры. Лев Нарышкин, на первый взгляд, наказан за нарушение норм благовоспитанного поведения, однако, на самом деле это хорошо понятый им урок, который он получает за свои мелкие бытовые предательства.

Героиня мемуаров выступает также как носительница норм галантной культуры, средоточием которой всегда был двор. „Импера-

трица все более и более склонялась к партикуляции своего имиджа: даже придворные церемонии носили характер частных вечеров, во время которых государыня играла в шахматы или карты, слушала музыку, непринужденно беседовала с окружающими“, – пишет о стиле поведения Екатерины II в 80-е годы В. Проскурина (Проскурина 2006: 200). Далее исследовательница отмечает, что „императрица не только не скрывает, но всячески подчеркивает свои „человеческие“ качества; во время торжественного открытия памятника Петру она „не в силах“ сдержать эмоции“ (Проскурина 2006: 200). Такой же „обыкновенной“, „домашней“ представит Екатерину Г. Р. Державин в начале своей новаторской оды „Фелица“.



Портрет Екатерины II в профиль

Денка Кръстева отмечает отсылку в автобиографических записках Екатерины к идеям Руссо, высказанным в трактате „Об общественном договоре“. Руссо о новых принципах организации социального порядка по образцу патриархальной семьи, в которой монарх исполняет роль заботливого отца, а благодарные подданные, свободные и равные перед законом, живут в взаимной привязанности на основе добровольного соглашения (Кръстева 2013: 130). По мнению исследовательницы, влияние Руссо чувствуется именно в „смягчении“ отношений власти и общества в политических сценариях этого времени. „Чувствительность“ эпохи зрелого екатерининского царствования находит соответствие и в личном поведении императрицы. Т. Акимова говорит о „галантном диалоге“ в системе авторских стратегий Екатерины в ее литературном творчестве, в том числе и в автобиографических записках (Акимова 2013; 2015). Среди маркеров этого галантного диалога в екатерининских мемуарах исследовательница называет стремление мемуаристки нравиться всем и приобрести всеобщую любовь, заявленное в „брюсовской“ редакции; модели ухаживания и любовные авантюры; анекдоты и светские сплетни; описания придворных праздников, среди которых особенно выделяется организованный великой княгиней праздник в ораниенбаумском саду; интерьерные решения (Акимова 2015: 160, 167, 168 и др.). Особое внимание Акимова уделяет параллелям между автобиографией Екатерины II и записками Маргариты де Валуа и именно в описании любовных отношений и придворных нравов (Акимова 2013: 131–136; 2015: 150–158). С своей стороны, Е. Гречаная комментирует сюжеты придворной жизни в екатерининской автобиографии в сравнении с рядом французских мемуарных текстов, среди которых особо стоит подчеркнуть сходство с мемуарами герцогини де Монпансье (Гречаная 2010: 193–194).

В екатерининских мемуарах последовательно проводится противопоставление во временном плане, по линии „прошлое–настоящее“. Прошлому, времени правления предшественницы, принадлежат негативные практики – суеверия, монаршьи прихоти (которые нельзя извинить даже тогда, когда они возникали на почве „бытовой“ женской зависти), неровное настроение, вспыш-

ки несправедливого гнева и несправедливые поступки. Принадлежность прошлому этих отрицательных примеров подчеркивается в мемуарном рассказе наречиями времени – „тогда“, „в то время“ и пр. Причем это могут быть детали, якобы оброненные случайно, и даже не в связи с какими-то „личными обстоятельствами“. Это, например, рассуждения о городском облике северной столицы, или же сравнение популярности определенных дерзких политических идей в царствовании Елизаветы и во время собственного правления Екатерины II.

Противопоставление „прошлое – настоящее“ демонстрируется как нельзя лучше традиционной для русской культуры XVIII–XIX вв. оппозицией традиционализма Москвы и европеизированности Петербурга, которая ощутимо присутствует и в автобиографии императрицы.

Пресловутая нелюбовь Екатерины к Москве как традиционному центру ретроградных дворянских нравов также находит достаточно места на страницах всех редакций ее воспоминаний. Для императрицы Москва – средоточие невежества дворянства, его инертности, плохопонятой цивилизованности. В „черкасовской“ редакции есть убийственная картина московских нравов:

В это время (начало 1750 г. – А. В.) очень немногие придворные приехали из Москвы; вообще все дворянство тогда еще более, чем теперь, с величайшим трудом покидало Москву, это излюбленное ими всеми место, где главным их занятием является безделье и праздность и где они охотно проводили бы всю жизнь в том, чтобы таскаться целый день в карете шестериком, раззолоченной не в меру и очень непрочно сработанной, этой эмблеме плохо понимаемой роскоши, которая там царит и скрывает от глаз толпы нечистоплотность хозяина, беспорядок его дома вообще и особенно его хозяйства. Нередко можно видеть, как из огромного двора, покрытого грязью и всякими нечистотами и прилегающего к плохой лачуге из прогнивших бревен, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипаже, который тащат шесть скверных кляч в грязной упряжи, с нечесанными лакеями в очень красивой ливрее, которую они безобразят своей неуклюжею внешностью (РТ–Ч: 174).

Гневная филиппика императрицы на московский образ жизни гораздо острее сатиры наиболее непримиримых критиков современных дворянских нравов. В поздней редакции такая острота осмеяния образа жизни дворянства уже отсутствует, однако под прицел насмешек государыни обычно попадают, как и в ее ранних „московских“ комедиях, хранительницы старых порядков, особенно вечно недовольная и брюзжащая графиня Румянцева. Суеверия – один из наиболее распространенных мотивов во всем литературном творчестве Екатерины II. Они занимают подобающее место как объект осмеяния в мемуарном рассказе. С точки зрения просвещенной рассказчицы, они неприемлемы как в их западном (эпизод с призраком, который привиделся придворной даме еще в Германии; РТ–Б: 18–19), так и в восточном варианте. Суеверия не обходят стороной даже императрицу Елизавету, которая позволяет часто вводить себя в заблуждение. Это – причина принятия несправедливых решений (эпизод с пучком волос, РТ–СРЗ: 361). Как крайний консерватизм, так и новомодные увлечения придворных, их суэта, слепое подражание моде подвергаются иронической насмешке в тексте мемуаров. Екатерине вторил Сумароков, проведший большую часть своей жизни в Москве и приложивший много усилий для развития театра в древней столице: „А здесь театр надобнее еще, нежели в Петербурге, ибо и народа и глупостей здесь больше. Ста Молиеров требует Москва, а я при других делах по моим упражнениям один только“, – писал он императрице в 1769 г. (Письма 1980: 122. Письмо от 4 июня 1769 г.).

По всей видимости, Екатерина II унаследовала из предыдущей эпохи еще одно широко распространенное средство рекламы, которое считалось изобретением ее эпохи – „потемкинские деревни“. В действительности, такой огромной „потемкинской деревней“ перед глазами Европы являлся весь елизаветинский двор, поражая воображение своей роскошью. Правление Екатерины II унаследовало эти традиции, не успев до конца расстаться с показным изобилием и слепящим „азиатским“ блеском. Однако героиня мемуаров во время своего царствования прикладывала впечатляющие систематические усилия, чтобы обзавести задворки империи основательными строениями.

Осенью и зимой того года было определено, что каждую неделю будут два маскированных бала – один при дворе, другой по очереди у главных вельмож в городе. Делали вид, что на них веселились, но в сущности скучали смертельно на этих балах, которые, несмотря на маски, были однако церемонны и мало посещаемы, так что покои при дворе были пусты, а городские дома все же слишком тесны, чтобы вместить то небольшое количество народу, которое туда являлось. Ибо нельзя судить по теперешнему Петербургу о том, чем был тогда этот город. Каменные здания были лишь на Миллионной, на Луговой и Английской набережной, которые образовывали, так сказать, завесу, скрывавшую деревянные лачуги, наименее приглядные, какие только можно себе представить. Из домов только один – принцессы Гесенской – был отделан штофом, все другие имели выбеленные стены, или плохие обои, бумажные или же набойчатые (РТ–Ч: 79–80).

Сходный эпизод можно найти также в поздней редакции:

Императрица оставалась большую часть масленой в Царском Селе. Петербург был почти пуст; большая часть оставшихся там лиц жили в Петербурге по обязанности, никто – по своей охоте. Все придворные, как только двор побывал в Москве и возвращался в Петербург, спешили брать отпуска на год, на шесть месяцев или хоть на несколько недель, чтобы остаться в Москве. Чиновники, например сенаторы и другие, делали то же самое и, когда боялись не получить отпуска, пускали в ход настоящие или притворные болезни мужей, жен, отцов, матерей, братьев, сестер или детей или же процессы и другие деловые и неотложные хлопоты, – словом, требовалось шесть месяцев, а иногда и более, прежде чем двор и город становились тем, чем были до отъезда двора, а в отсутствие двора петербургские улицы зарастали травой, потому что в городе почти не было карет (РТ–СРЗ: 293)<sup>10</sup>.

Как убедительно показал Александр Мартин, „превращение Москвы в просвещенный метрополис стало к середине XVIII века приоритетной задачей режима, особенно при Екатерине II, в

<sup>10</sup> „Однако самым явным доказательством решимости Екатерины сохранять верность политике Петра был сам Санкт-Петербург, который при жизни Петра был не более чем мечтой монарха, но с тех пор превратился в могущественный город, одну из жемчужин Европы“ – отмечает А. Шенкер по поводу церемонии открытия Медного всадника (Шенкер 2010: 282).

правление которой были заданы фундаментальные направления политики, сохранявшие силу вплоть до Великих реформ 1860–1870-х годов“ (Мартин 2015: 25). По мнению ученого, низкое мнение Екатерины о Москве имело глубокое историческое значение, так как оно задавало импульс политическим мероприятиям, которые он определяет как „имперский социальный проект“ (комплекс законов, институтов, социальных и дискурсивных практик, призванных создать „средний род людей“, который бы разделял ценности екатерининского режима и поддерживал его политику) (там же). Преодоление „отсталости и иррациональности“ городской среды Москвы и превращение старой столицы в „великий европейский город с большой вероятностью обеспечило бы царствующему монарху дополнительную поддержку со стороны русской элиты, что имело немаловажное значение, если вспомнить, что в 1741–1825 годах все российские правители, успешно правившие страной, приходили к власти путем переворота“ (там же, с. 93).

Еще сильнее оппозиция „прошлое – настоящее“ звучит в упоминании о существовавших при Елизавете негативных политических практиках и обслуживавших их институтов, таких как Тайная канцелярия („тогда Тайная канцелярия наводила ужас и трепет на всю Россию“ – РТ–Ч: 101). Екатерина особенно гордится своими прогрессивными социальными убеждениями, хотя дает себе отчет в том, что они несбыточны, даже под ее управлением.

Контраст между ретроградными позициями части дворянства и прогрессивными устремлениями просвещенной государыни наиболее ощутимо проявляется на примере самой большой проблемы российской национальной жизни того времени – крепостного права. Вспышка справедливого гнева против попрания естественного права невежественными дворянами содержится на страницах „черкасовской“ редакции в комментарии к московской жизни:

Вообще мужчины и женщины изнеживаются в этом большом городе (Москве – А. В.); они там видят [только пустыки] и занимаются лишь пустыками, которые могут опошлить и самого выдающегося и гениального человека. Повинуясь, так сказать, только своим капризам и фантазиям, они обходят все законы или плохо их исполняют, обрекая



себя тем самым на то, чтобы никогда не выучиться повелевать или [на то], чтобы стать деспотами. Предрасположение к деспотизму выращается там лучше, чем в каком-либо другом обитаемом месте на земле; оно прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами; ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать камнями; чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я когда-либо могла предполагать, ибо слишком высоко оценивала тех, которые меня ежедневно окружали, стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев, разве мы не видели, как даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и гуманный, у которого доброта сердца граничит со слабостью, как даже этот человек с негодованием и страстью защищал дело рабства, которое бы должен был изобличить весь склад его души. [...] Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили гуманно и как люди. А в 1750 г. их, конечно, было еще меньше и, я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства (РГ–Ч: 174–175).

Политический реализм, но и макиавеллизм – основной пафос этого гневного выпада, имеющего параллель единственно в потрясающих описаниях Радищевского „Путешествия из Петербурга в Москву“. Осознание необходимости компромисса во имя достижения возможного и трудность монаршьего выбора, несмотря на искренние эмоции, – это те мотивы, которые определяют послания эпизода.



Екатерина II в Царскомесельском парке, 1794 г.

Остается задаться вопросом, почему Екатерина II отказалась в последней редакции своей автобиографии от испытанной „нравоописательной“ концепции и резко поменяла характер повествования. Ответ, на наш взгляд, не так уж сложен. Главная задача, которую преследовала императрица, состояла в раскрытии ее собственной духовной эволюции, подготовившей ее к престолу. Концепция тек-

ста как рассказа о времени в целом и о людях, с которыми судьба сталкивала попавшую в Россию немецкую принцессу (собственно мемуары), не соответствовала ее окончательному замыслу. Хорошо знакомые и испробованные формы рассказа давались легко, но внимание будущих читателей могло „распылиться“ по мелочам. Третья основная редакция, „Собственноручные записки“, строится на совершенно другом принципе. Она не только была задумана, но в сущности и реализуется как трактат о будущем государе. В ходе рассказа очень скоро мемуаристка отказывается от задуманной формы сопоставления и выбирает жанр автобиографии. В нем ее собственный образ создается в параллели как с предшественницей и недостойным соперником-супругом, так и на фоне двора. Однако в отличие от предыдущих редакций, описания подробностей сильно сужаются, подбираются лишь такие, часто лаконичные, детали, которые позволяют выгодно оттенить главное действующее лицо. Выбор окончательной модели повествования позволил Екатерине объединить в сложное единство элементы политического и воспитательного трактата, поэтики политических и бытовых романов, уже давно и верно испробованные мотивы описания русского социума. Это дало ей возможность не рассказывать лишнее о личных вещах и выборах. В то же самое время рассказ звучал правдоподобно и в соответствии с основной идеологией образа. Так же как в политической и культурной жизни России императрица занимала центральное место и определяла тенденции в развитии страны, так и в ее автобиографии образ великой княгини Екатерины – средоточие повествовательных стратегий, подчиненных главному политическому дискурсу ее царствования. Пресловутое одиночество великой княгини, описанное так ярко в автобиографии, – не только тягостное и реальное житейское воспоминание. Это не только имитация распространенного романного мотива, часто встречающегося в описаниях судеб всевозможных романских героинь. Екатерина охотно пользуется мотивом одиночества, чтобы подчеркнуть качества своего характера. Это чувство – условие работы над собой для человека сильного духом, не сгибающегося перед трудностями. Таким оказалась заброшенная волею судьбы в

---

Россию юная немецкая принцесса, чье поведение, согласно автобиографическому рассказу, – лишь собственная ее заслуга и результат ее собственного ума, независимо от полученного воспитания, тяжелых испытаний, предварительной запрограммированности ее жизни. Это также залог независимости будущей императрицы от порочного окружения.

Нравоописательные эпизоды позволили мемуаристке высказать свои новаторские для русской монархической традиции идеи об отношениях государя и подданных и завещать потомкам принципы диалога и общих усилий, в которых монарх играет главную, но не единственную роль. Эти фрагменты автобиографического текста напоминали читателям о прогрессе, достигнутом в царствовании Екатерины II, когда утверждались основы классической русской дворянской культуры, в самой трудной и неблагодарной области – сфере менталитета.

## Глава четвертая

### МЕЖДУ ПРАКТИКОЙ И МИФОМ. ДИАЛОГ ОБРАЗОВ В ЕКАТЕРИНИНСКОЙ АВТОБИОГРАФИИ

Для екатерининской автобиографии гораздо важнее, чем метафорическое использование образов легендарных героев древности, была повествовательная модель „Сравнительных жизнеописаний“ Плутарха. Особенно сильно она проявляется в позднейшей редакции мемуаров, в формуле начального силлогизма и последовательно проводимом сравнении между образами великой княгини Екатерины и ее супруга, Петра Федоровича. Как я уже отмечала, силлогизм играл роль „автобиографического пакта“ в повествовании о прошлом императрицы (см. здесь соответствующую рубрику Книги Первой). По мнению Хильды Хугенбум, этот подход Екатерина заимствовала из любимых ею „Жизнеописаний“ Плутарха, в которых римский писатель анализирует жизнь великих людей, сопоставляя их в этических и политических параллелях (Hoogenboom&Cruse 2006: L–LI). Подобного мнения придерживается также А. Фатеева (Фатеева 2007: 130). Эта мысль имеет свои основания. Однако ее можно дополнить.

Вероятнее всего, императрица действительно задумывала последнюю редакцию как своеобразный трактат в духе „Параллельных жизнеописаний“, а силлогизм должен был исполнять роль прооимия (введения) к диаде, основной структурной единице в книге Плутарха (Аверинцев 1973: 212). Вполне может быть, что она предвидела также сопоставление и подведение итогов в конце (синкрисис). Хотя Екатерина очень скоро оставляет формальную рамку жизнеописания отдельного персонажа, для нее не только в поздней редакции, но и в предыдущей, остается актуальным главный подход древнего автора к описываемым им характерам. С. С. Аверинцев отмечает, что „часто Плутарх идет *не от характеров*, а от ситуации и как раз стремится проследить, как проявляют

себя в аналогичной ситуации *совершенно* различные характеры“ (Аверинцев 1973: 220. Курсив автора). Именно эту особенность произведения своего любимца юности приняла императрица и использовала в концепции повествования.

## Диады

### Екатерина II – Петр III

В предыдущих частях моего исследования я подробно остановилась на многих „бытовых“ измерениях антитезы образов мемуаристики и великого князя Петра Федоровича. Сюда можно отнести также пародийность мотива военной страсти великого князя в стиле „Тристрама Шенди“. Однако за пределами моего внимания до сих пор оставались противопоставления обоих образов в „государственном“ плане. В какой-то мере деление это условно, так как качества, характер, поступки человека в его ежедневии предопределяют поведение государя и особенности его правления. Эта идея, почерпнута и из житейского здравого смысла, и из всей длительной философской традиции в Европе, начиная со Средневековья (см. Канторович 2005), в которую были инкорпорированы учения и тексты античных авторов.

Екатерина II постоянно подчеркивает антитетичность своего собственного поведения и реакций великого князя в одной и той же ситуации. Екатерина подходит к квинтэссенции своего характера и характера Петра Федоровича и их пригодности к руководству государством по Плутарху. И в „бытовых“, и в „государственных“ эпизодах она последовательно акцентирует внимание на негативных перспективах развития престолонаследника и на позитивные проявления собственной личности. „Враждебность к теоретическому доктринерству и максимализму, доверие к житейским представлениям и традиционной практике жизни – это весьма характерная черта Плутархова мировоззрения [...] в конце концов оказывается, что „философия“, „мудрость“ есть для него не что иное, как своего рода духовная квинтэссенция традиционной греческой жизни с ее общественным полисным духом, с ее открытостью и общитель-

ностью, наконец, с ее тактом в житейских мелочах“ – отмечает С. С. Аверинцев (Аверинцев 1973: 73). Именно идею оценки добродетелей государственного деятеля прежде всего в контексте реальной жизни, в реальных житейских ситуациях, в быту, частном и державном, Екатерина заимствует у Плутарха.

Образ Петра III в силу его действительной непопулярности интерпретирован в екатерининской автобиографии как образ будущего тирана. Как это было заявлено в вступительном силлогизме и реализовано в концепции рассказа задолго до начала работы над последней редакцией, Петр Федорович символизирует собой неблагополучный, отрицательный пример поведения принца, наследника престола, а сама Екатерина – удачный, положительный пример, своего рода практическую реализацию образа будущего просвещенного владетеля. Концепция двух образов в этой диаде основывается как на сопоставлении личной морали, условий воспитания и формирования характеров двух персонажей, их бытовых проявлениях, так и в параллелях их первых управленческих решений (выборе окружения, принятие оперативных и справедливых решений по важным делам, прежде всего по управлению Голштинией, отношение к своему суверену – императрице Елизавете Петровне, отношение к своему будущему амплу – управлению империей).

Принято считать, что Екатерина II преуспела в очернении своего покойного мужа и что мемуары сыграли в этом решающую роль. Однако в этом отношении ее голос – один из многих в хоре свидетелей странного и не вписывающегося в общие представления о поведении будущего государя. Этот хор объединяет самых разнообразных свидетелей: воспитателя великого князя достопочтенного профессора Академии наук Якова Штелина, дипломатов западноевропейских дворов, писавших репортажи о положении при русском дворе своим правительствам<sup>1</sup>, позднейших мемуаристов, рассчитывающих на более или менее почетное место в истории своего времени (княгиня Дашкова, Андрей Болотов). Были среди

---

<sup>1</sup> Некоторые из них, такие как Рюльер, Кастера, У. Туук впоследствии опубликовали свои свидетельства очевидцев о „революции“ Екатерины II, предвзято представляя ее роль в смерти ее мужа и создавая ей образ мужеубийцы и узурпаторши.

этих свидетелей и коронованные особы, например, кумир Петра III Фридрих II и Станислав-Август Понятовский. Беспристрастное всего мемуарный рассказ императрицы находит подтверждение в документах эпохи – в инструкции Бестужева воспитателям и придворному штату великого князя и великой княгини. Наконец, подтверждение имиджа печально известного Петра Федоровича можно найти и в сохранившихся в записях людей, живших в то время или в ближайшие эпохи слухов и „анекдотов“.

Кэрл Леонард предлагает несколько иной взгляд на одиозный образ Петра III, оставленный современниками. Исследовательница констатирует, что на самом деле нам почти ничего другого не известно об этом государе, кроме написанного конспираторами, свергнувшими его с престола. Люди ближайшего окружения Петра Федоровича – Дмитрий Волков, Александр Глебов, Лев Нарышкин, Алексей Мельгунов не оставили воспоминаний. Богатый архив Воронцовых содержит более поздние документы и не хранит свидетельств о Петре III, которые бы имели большую стоимость. По мнению исследовательницы, отсутствию позитивных данных об этом государе способствовало также тщательное уничтожение архива его кабинета после переворота (Leonard 1993b:4).

Если другие современники наперебой описывали непривычные, эпатажные привычки к строгому этикету общественное мнение поступки великого князя, его супруга-победительница поставила свои воспоминания в философский контекст. Безусловно, ей принадлежала соловая партия в утверждении негативного образа Петра Федоровича. Но главное для мемуаристики был целостный эффект ее автобиографической постановки.

Во вступительном силлогизме поздней редакции было задано именно такое философское прочтение антитезы обоих образов. По всей видимости, Екатерина собиралась написать очерки по образцу плутарховских, но вскоре оставила эту идею. Однако и до этого, в „черкасовской“ редакции, это противопоставление последовательно проводится, акцентируя на противоположные реакции обоих персонажей в одной и той же ситуации. Редакция, посвященная барону Черкасову, однако, менее философична, а эпизоды облада-



ют большей „этнографической“ стоимостью, тщательно описывая бытовые ситуации. В автобиографии императрицы можно обозначить несколько основных мотивов, на основе которых проводится сопоставление обоих супругов. Это – „предопределенность“ судьбой и результат воспитания; отношение к России и ее культуре; отношение к православию; „бытовые“ проявления характера, которые выявляют качества будущего государя. В двух поздних вариантах производит впечатление активное присутствие „государственной“ проблематики: проблемы лояльности к императрице Елизавете, в том числе и поведение в связи с политическими заговорами, заинтересованность реальным участием в управлении. В позднейшей редакции оба супруга показаны на фоне своих практических действий и решений в связи с голштинскими делами. Эти эпизоды демонстрируют самое главное качество будущего государя – умение управлять страной: решать „кадровые“ вопросы, принимать экономические решения, проводить законодательную деятельность, разбираться в судебных процессах и гарантировать справедливость в них.

Традиционная модель сопоставления, которой Екатерина сознательно придерживалась, подразумевала *рассказ о воспитании принца* и о формировании его характера. Первые страницы позднейшей редакции посвящены обстоятельствам воспитания Петра Федоровича. В рассказе о юности великого князя имплицитно содержится заданная в силлогизме тема счастья. Будущий муж мемуаристки – наследник двух великих династий, факт, который на первый взгляд, мог бы восприниматься как обещание благополучного жизненного пути. Противоречивость в характере рано осиротевшего принца, стихийность его воспитания представлены как следствие придворных интриг:

Этого принца воспитывали в виду шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам (РТ–СРЗ: 204).

Решение Елизаветы Петровны объявить Карла-Петра Ульриха наследником российского престола стала причиной, по слухам, его уже злонамеренного воспитания:

Враги обер-гофмаршала Брюммера [главного воспитателя Петра Федоровича – А. В.], а именно – великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств (РТ–СРЗ: 205).

Проблема *случая* – „несчастное стечение обстоятельств“ – прочно связана с проблемой выбора, который делает человек на каждом шагу своего жизненного пути. Мотив *выбора* отчетливо присутствует в описаниях поступков обоих участников силлогизма. В какой-то степени случай, игра судьбы определяет предполагаемый сценарий их жизни, но выбор, который каждый из них делает в одних и тех же обстоятельствах между одними и теми же людьми, которые их окружают, – залог их успеха или неуспеха. Проблема выбора чаще всего имплицитно включена повествовательницей в отдельные эпизоды. Факты жизни великокняжеской четы, связанной не столь своими семейными узами, сколь распоряжениями Елизаветы Петровны, дают повод для интерпретации каждой детали ежедневия с точки зрения выбора, который делает каждый из участников. В дальнейшей перспективе эти факты демонстрируют их качества и пригодность к их главной миссии.

У меня был уже повод отметить немногословность Екатерины о своем воспитании, полученном в детстве и юности. Такие детали мемуаристка сообщает лишь в первой редакции ее автобиографии, посвященной графине Брюс. В более поздних вариантах она их опускает. Напротив, мемуаристка останавливается на некоторых красноречивых фактах воспитания своего супруга, которые, по ее

мнению, лежат в основе его неуравновешенного и противоречивого характера. Екатерина не ставит себе целью рассматривать в подробностях формирование личности Петра Федоровича, как это делает, например его воспитатель Яков Штелин: исчерпательно и с большим сочувствием, если не сказать, болью, рассказавший о безрадостном детстве своего воспитанника, которому было предназначено судьбой унаследовать короны двух сильных государств<sup>2</sup>. Повторяющиеся детали в разных редакциях – небрежность воспитателей и отсутствие у них ответственности, их грубость и непочтительность, склонность юного принца к пьянству, которое стало

---

<sup>2</sup> „Когда принц на седьмом году вышел из рук женщин, к нему были приставляемы были гофмейстерами попеременно некоторые камерюнкеры и камергеры [...]. Все сии придворные кавалеры герцога занимали офицерские места в герцогской гвардии. [...] Сам наследный принц был назван унтер-офицером, учился ружью и маршировке, ходил на дежурство с другими придворными молодыми людьми и говорил с ними только о внешних формах этой военщины. От этого он с малолетства так к этому пристрастился, что ни о чем другом не хотел и слышать. [...] И потому иногда, в наказание за его дурное поведение, закрывали нижнюю половинку его окон, чтоб его королевское высочество не имел удовольствие смотреть на горсть голштинских солдат. Об этом часто рассказывал мне принц, как о жестоком обхождении с ним его начальников, также и о том, что он часто по полчаса стоял на коленях на горохе, от чего колени краснели и распухали. Он приходил в восторг, когда рассказывал о своей службе и хвалился ее строгостью.“ (Штелин 2003: 12–13). Преподаватель отмечает, что самым счастливым днем в жизни его будущего воспитанника был, когда его, девятилетнего, произвели в первый офицерский чин, а жестокие наказания случались после преждевременной смерти его отца, когда его воспитателями были гофмаршал Брюммер и камергер Бергольц, персонажи, присутствующие и в записках императрицы. Самым печальным, по Штелину, оказалось общение юного герцога с „пустоголовыми его товарищами“, которым он говорил „всем „ты“ и хотел, чтобы и они как его братья и товарищи также говорили ему „ты“, а также то, что его обучали педанты, не преуспевшие на педагогическом поприще: „Для обучения латинскому языку, к которому принц имел мало охоты, был приставлен высокий, длинный, худой педант Г. Юль, ректор Кильской латинской школы, которого наружность и приемы заставили принца совершенно возненавидеть латынь. [...] Молодой герцог, кроме французского, не учился ничему; он начал в Киле учиться по-французски у старшего учителя, но, имея мало упражнения, никогда не говорил хорошо на этом языке и не составлял свои слова. Сама императрица удивлялась, что его ничему не учили в Голштинии“ (Штелин 2003: 14, 16).

и одним из его пороков в зрелом возрасте (что повторяется во всех редакциях екатерининских мемуаров и подтверждено многочисленными свидетельствами современников), и упрямство, неумение управлять своими страстями:

... Он забавлялся в своей комнате тем, что обучал военному делу своих камердинеров, лакеев, карлов, кавалеров (кажется, и у меня был чин); упражнял их и муштровал, но, насколько возможно, это делалось без ведома его гувернеров, которые, правду сказать, с одной стороны очень небрежно к нему относились, а с другой – обходились с ним грубо и неумело и оставляли его очень часто в руках лакеев, особенно, когда не могли с ним справиться; правда, было ли то следствием дурного воспитания, или врожденной наклонности, но он был неукротим в своих желаниях и страстях... (РТ–Б: 59).

В поздней редакции к этой характеристике Екатерина добавила еще и склонность к фальши:

Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих, и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения.

Действительно, цвет лица у него был бледен и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и конечным характером (РТ–СРЗ: 206).

Как я отмечала раньше, Екатерина II стирает в двух поздних редакциях всякие прежние позитивные интерпретации образа великого князя и своих отношений с ним (сочувствие, взаимная симпатия, общие увлечения). У нее нет исчерпательной информации о продолжении воспитания своего супруга в России, уже в качестве наследника русского престола:

Он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих голштинских приближенных вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких учителей: одного, Исаака Веселовского, для русского языка

– он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого – профессора Штелина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть ли не шутком. Самым усердным учителем был Ландэ, балетмейстер, учивший его танцам (РТ–СРЗ: 207).

Екатерина сильно приуменьшает усилия, приложенные преподавателями, восполнить пробелы в воспитании рано осиротевшего голштинского принца. Ее свидетельство входит в резкое противоречие со скрупулезным отчетом, данным Штелиным в его записках о Петре III<sup>3</sup>.

Сама мемуаристка, за исключением эпизода с графом Гюлленборгом, посвящает проблеме своего воспитания в детстве несколько страниц. В то же самое время, в ее переписке с Гриммом многократно упоминается ее гувернантка Бабет (Елизабет) Кардель, даже философ часто называет императрицу „ученицей мадмуазель Кардель“. По словам мемуаристки, Бабет – „образец добродетели и благоразумия – она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце; она была терпелива, кротка, весела, справедлива, постоянна и на самом деле такова, что было бы

---

<sup>3</sup> Даже если Штелин преувеличивал свои заслуги, в чем упрекают его некоторые исследователи, все-таки необходимо отметить, что для того времени усилия прилагались немалые и подразумевали не только получение необходимых знаний по истории, математике, инженерным наукам и фортификации, географии и экономике, но также развитие внимания ученика, его умения самостоятельно рассуждать и осмысливать происходящее в мире (например, комментируя газеты). Немало заботился учитель и о том, чтобы сделать обучение приятным, наглядным, показывая воспитаннику картинки и карты из лучших тогда изданий, например „Théâtre de l'Europe“ и „Galerie agréable du monde“ (Штелин 2003: 21), или же демонстрируя экспонаты Кунсткамеры. Воспитатель педантично и обстоятельно обобщил в своих мемуарах учебные программы, которым он следовал в обучении сиротского ученика, в выписке из учебного журнала. Штелин с гордостью отмечает, что „к концу года великий князь знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I“ (Штелин 2003: 20). Он переживает нерадивость воспитанника, поверхностность его интересов, увлечение военщиной и совершенно нетерпимо относится к унижительному отношению Брюммера к русскому великому князю, защищая достоинство воспитанника в стычке с его голштинским опекуном (Штелин 2003: 22).

желательно, чтобы могли всегда найти подобную при всех детях“ (РТ–Б: 2). Бабет, заменившая при принцессе свою сестру, „вначале мне чрезвычайно не нравилась: она меня не ласкала и не льстила мне, как ее сестра; эта последняя тем, что давала и обещала мне сахару да варенья, добилась того, что испортила мне зубы и приучила меня к довольно беглому чтению, хотя я и не знала складов. Бабет Кардель, не столь любившая показной блеск, как ее сестра, снова посадила меня за азбуку и до тех пор заставляла складывать, пока не решила, что я могу обходиться без этого“ (РТ–Б: 2). Также, как Штелин, Бабет защищает достоинство своей ученицы (конфликт с пастором, РТ–Б: 7). Отношение мадмуазель Кардель к ученице, цели предложенной ею модели воспитания контрастируют с приемами и целями воспитателей Карла-Петра-Ульриха, что предопределяет разность характеров обоих героев в будущем.

Правильный подход гувернантки к воспитаннице – залог ее поведения в будущем, подчиненного здравому смыслу, нравственным ценностям, даже тогда, когда она стала главой одного из сильнейших государств тогдашнего мира. „Я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор я отвечала отпором“ (РТ–Б: 7), – этот вывод мемуаристки, сделанный уже в зрелом возрасте, обобщает не только житейскую мудрость, которой научила ее воспитательница, но и является важнейшим акцентом в образе просвещенного монарха, который она старается воссоздать в своей автобиографии, по-классицистски утверждая победу разума над страстями.

После своего восхождения на престол Екатерина поддерживала многолетнюю переписку со своей бывшей наставницей<sup>4</sup>. Императрица умела выражать свою благодарность к людям, которые способствовали когда-то ее благополучию. К. Шарф отмечает, что еще в 1763 г. Екатерина сделала богатый подарок штеттинскому магистрату и „проявляла благосклонное внимание к учителям сво-

---

<sup>4</sup> Переписка сохранилась в рукописных копиях, списанных, вероятнее всего, близкими Бабет Кардель. Выражаю признательность Марии Крючковой, готовящей публикацию текстов, за сообщение этого факта.

его детства“ (Шарф 2015: 69)<sup>5</sup>. Тем не менее, даже о мадмуазель Кардель, которая во многом формировала отношение маленькой ангальт-цербстской принцессы к миру, воспитала вкус к чтению, и, главное, простые, но непреложные нравственные качества, благодарная воспитанница предпочитает промолчать в поздних редакциях своей автобиографии. На первый взгляд это может показаться странным, тем более, что Екатерина II хорошо понимала значение детства в формировании личности, концепт, ставший особенно популярным во второй половине XVIII века вслед за Руссо. Императрица приложила немало усилий для воспитания как своего сына, будущего Павла Петровича, так и своих внуков, подыскивая и приглашая к ним в воспитатели лучшие умы Европы<sup>6</sup> и старательно продумывая программы их обучения и воспитания. Судя по эпизоду с графом Гюлленборгом и смещению акцентов в нем в поздней редакции, Екатерина II стремилась представить свое поведение и поведение своего супруга как выбор зрелых людей, независимо от „счастливого“ или „несчастливого стечения обстоятельств“. Поэтому она сводит до минимума повествование о детстве и воспитании обоих главных персонажей, ставя акцент на их поступках и противоположных реакциях в одной и той же ситуации.

Полученное противоречивое воспитание без стойких нравственных правил сделали супруга Екатерины примером отрицательного поведения будущего государя, руководимого не правилами разума, а импульсивными „страстями“. Детали ежедневия великокняже-

---

<sup>5</sup> Ученый внимательно анализирует влияние различных учителей маленькой Фигхен на формирование ее характера и житейских принципов. Он убедительно доказывает, что „немецкое“ детство Екатерины не прошло даром, а стало благодатной основой многих ее политических действий в будущем.

<sup>6</sup> Широко известно приглашение д'Аламберу занять место воспитателя при Павле, от которого философ, не вполне уверенный в российских обстоятельствах и очевидно видевший в Екатерине II узурпаторшу престола, отказался. В воспитатели к Александру I был приглашен Лагарп, а сама сиятельная бабушка следила не только за программами обучения и воспитания, но сама писала сказки, наставления, занимательные педагогические сочинения для своих внуков („Сказка о царевиче Хлоре“, „Сказка о царевиче Февее“, „Бабушкина азбука“, инструкции воспитателю Н. И. Салтыкову и пр.).

ской четы, отношения великой княгини и великого князя к людям разного ранга, подробности организации *быта*, противоположные *реакции* в одних и тех же обстоятельствах имеют целью убедить читателя в состоятельности или респективно несостоятельности их решений в будущем в роли главы государства. Поэтому Екатерина II уделяет много внимания подробностям, которые, на первый взгляд, кажутся лишними. Однако присутствие одних и тех же эпизодов в одной из ранних редакций и их повторение в последней говорит о значении, которое придавала им императрица в организации автобиографического рассказа. Это, например, такие бытовые детали, как „идеальная“ *рациональная организация* обязанностей прислуги:

Я думала, что установила отличный порядок у себя в покоях, раздав по должности каждой из женщин, которые мне все очень нравились, потому что они были веселы и делали, что я хотела: Мария Петровна Жукова, которая мне больше всех нравилась, имела у себя под ключом мои бриллианты; Шенк, которую я привезла, хранила белье; Балк заведывала кружевами; старшая Скороходова – платьями, младшая – лентами; одна из карлиц – пудрой и гребенками, другая – румянами, булавками и мушками; две гардеробные девушки должны были иметь попечение о мебели в комнате. Графиня Румянцова пошла и рассказала это императрице; я получила за это выговор, и отдано было приказание, чтобы все осталось на руках у Шенк; не знаю, почему? (РГ–Б: 64–66).

Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами: я оставила мои деньги, расход и белье на руках девицы Шенк, горничной, привезенной из Германии. Это была глупая и ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость; кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность. Я отдала ключи от моих брильянтов Марии Петровне Жуковой; эта последняя, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платья я поручила моему камердинеру Тимофею Евреинову; кружева – девице Балк, которая потом вышла за поэта Сумарокова. Ленты мои были сданы девице Скороходовой-старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина; младшая ее сестра, Анна, ничего не получила, потому что ей было всего лет тринадцать или четырнадцать. На другой день после установления этого чудного порядка, при



котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не испрашивая совета ни единой души, вечером было представление...

[...] После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих брильянтов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии, после чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк – торжествующею от доверия, оказанного ей императрицею. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо (РГ–СРЗ, 229–230).

Эти слишком бытовые подробности, как и расширение самого эпизода в поздней редакции, иллюстрируют зарождающиеся управленческие умения юной великой княгини, это ее „первый опыт“ в этом деле. Строгое распределение обязанностей придворных, вплоть до мельчайших деталей, было неотъемлемой частью этикета западноевропейских дворов, прежде всего французского (Элиас 2002: 51; Cornette 1993: 57). Оно воспринималось как гарантия существующего порядка и обеспечивало его предвидимость. Жюль Корнетт определяет придворный этикет как мощный политический инструмент для осуществления власти, который основывается на манипуляции со стороны короля людьми за счет игры ревностью, самолюбия, чувства долга, компетенций. Залог в этой игре – понятие дворянской чести (Cornette 1993: 57–59). Л. В. Никифорова отмечает, что „каждая бытовая мелочь могла служить и служила созданию актуальной иерархии придворного общества“ (Никифорова 2006: 86).

Новый рациональный порядок был, очевидно, еще не приемлем при русском дворе. Он контрастирует с запанибратством и плохо понятым демократизмом великого князя, нарушающего фамильярным отношением к своим лакеям установленную общественную модель, что было совершенно неприемлемо для наследника российского престола. Это проявляется и в том, что великий князь очевидно не пользуется уважением своих подчиненных, которых он склонен часто предавать. К этому можно добавить еще его абсолютную неспособность хранить доверенные ему тайны. Эта

слабость также является своеобразным лейтмотивом в екатерининской автобиографии – от констатации, что великий князь был крайне болтлив (РТ–Ч: 101), до картинного сравнения – „великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел“ (РТ–СРЗ: 228)<sup>7</sup>. В то же время великая княгиня была любима своими слугами и приближенными, которые видят в ней человека, на которого можно положиться.

За многочисленными „ребячествами“ даже зрелого великого князя просвечивают недопустимые для государя *слабости*, которые в будущем могут обернуться пороками его правления. Красноречив в этом отношении пространный эпизод с выходкой Петра Федоровича, собственноручно просверлившего дырочки в двери к покоям Елизаветы, чтобы подсмотреть за интимным ужином тетки и ее фаворита. Екатерина II уделяет этому, на первый взгляд, по-детски непродуманному поступку особое внимание в двух поздних редакциях своих записок, расширяя, кстати, объем описания (РТ–Ч: 83–84; РТ–СРЗ: 241–244). В практике ее автобиографического письма подобное решение всегда означает стремление привлечь читательское внимание к важности посланий этого эпизода. О его значении говорит тот факт, что императрица помещает его в поздней редакции в специальную рубрику „Безрассудство великого князя“, которая должна привлечь внимание читателей.

---

<sup>7</sup> Эту слабость воспитанника подтверждает Штелин, говоря о намерениях Петра III уничтожить гвардейские полки, чем новый государь навлекает на себя не только непопулярность, но и вызывает ропот в войсках. Примечательно, что эта идея возникает одновременно с переменной формы по прусскому образцу: „Прежняя, введенная Петром Великим, форма гвардии была заменена на короткие прусские кафтаны с золотыми (называемыми бранденбургскими) петлицами. Офицеры из вежливости показывали вид, что они этим довольны, но нижние чины, терявшие аршина по два от каждого мундира, громко роптали на это нововведение. Это положило несколько камней в основание их воследовавшего отпадения от императора. К этому присоединился еще ропот, будто император хочет уничтожить гвардейские полки (он точно замышлял это исполнить и по своей дурной привычке не мог сохранить в тайне)...“ Далее в примечании воспитатель великого князя отмечает: „Употреблены были все возможные средства научить его скромности, например, доверяли ему какую-нибудь тайну и потом подсылали людей ее выпытывать“ (Штелин 2003: 40, 45).

Совсем не случайно рассказ об этом событии в „черкасовской“ редакции помещен сразу же после рассказа о похоронах в Александро-Невской лавре Анны Леопольдовны. Бывшую регентшу похоронили с почестями, положенными лицу царствующего дома. Екатерина сообщает и о искренней скорби Елизаветы Петровны по поводу ранней кончины троюродной сестры („императрица очень плакала, узнав эту новость“ – РТ–Ч: 83). Мемуаристка подчеркивает уважение предшественницы к бывшей сопернице за власть, с которой они разошлись по политическим интересам. В поздней редакции упоминание бывшей правительницы заменено рассказом о гневе Елизаветы Петровны:

... Так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ее еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей [...] великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного; что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына; что он наказал его, лишив его наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить.

Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось; когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказы-

вая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и, хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: „То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь“. Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами (РТ–СРЗ: 243–244).

В рассматриваемом эпизоде мемуаристка ставит не просто проблему элементарного уважения к интимному миру личности и недопустимости вуайорства. При дворе, в котором шпионили через замочные скважины и доносили об увиденном императрице, это было обычным делом<sup>8</sup>. Скорее порядочность великой княгини, упорно сопротивлявшейся и отказавшейся от „развлечения“, была исключением. Нескромность и непочтенность великого князя, не удовлетворившего только свое любопытство, но и пригласившего всех своих приближенных „насладиться“ зрелищем, ставит вопрос о лояльности наследника к суверену. Совершенно не случайно в рассматриваемом эпизоде упоминается о расправе Петра Великого с непокорным сыном. Проблема *лояльности наследника к монарху* как обеспечение мира в стране и гарантия реформ присутствует в „Истории Российской империи при Петре Великом“ Вольтера. Одним из наиболее известных эпизодов (и одним из наиболее известных фактов биографии первого российского императора) была драма Петра-отца, должного преодолеть сопротивление непокор-

---

<sup>8</sup> Красноречивая иллюстрация – поведение Владиславовой, иначе любимой приближенной мемуаристки: „...Великий князь ухаживал более обыкновенного в этот вечер за принцессой Курляндской, что Владиславова заметила через какую-нибудь щель или замочную скважину, ибо она имела похвальную привычку в большинстве случаев удовлетворять этим путем свое любопытство...“ (РТ–Ч: 184).

Подобный момент есть и в раннем варианте, предназначенном Понятовскому: „... Когда я сидела у себя в комнате, она и две старые карлицы, которых представили ко мне, приходили смотреть в замочную скважину, что я делаю; наконец, когда я меняла место, все приходило в движение, чтобы видеть, что происходит“ (РТ: 485).

ного сына во имя государства. По Вольтеру, Петр написал Алексею письмо, в котором угрожал ему лишением престола: „Я подожду еще немного, чтобы увидеть, желаете ли вы исправиться, если нет, знайте, что я лишу вас престолонаследия, как отрезают ненужный член. Не думайте, что я хочу вас испугать, не полагайтесь на то, что вы мой единственный сын; если я не щажу собственной жизни для отечества и благоденствия моих народов, как я могу пощадить вас? Предпочитаю скорее передать их иностранцу, который их заслуживает, чем собственному сыну, если он недостоен“ (Voltaire 1768: 511. Перевод мой – А. В.). Особенно важно отметить одобрение действий русского царя таким авторитетом, как фернейский патриарх: „... Петр был больше царь, чем отец, и он пожертвовал собственным сыном в интересах основателя и законодателя и в интересах нации, которая впала бы в то состояние, из которого он ее вытянул, если бы не эта несчастная строгость“ (Voltaire 1768: 531). Аллюзия на известный вольтеровский текст очевидна у Екатерины<sup>9</sup>. Бесспорно, проблема лояльности глубоко занимала императрицу во время работы над двумя последними редакциями автобиографии, может быть, как следствие ее собственных тревог по поводу натянутых отношений с сыном. С другой стороны, она старалась всегда подчеркивать преемственность с правлением Елизаветы, причем не только в первые годы своего царствования. Уважение к предшественнице она демонстрировала еще сразу же

---

<sup>9</sup> В разных автобиографических текстах Екатерины II при внимательном прочтении можно установить ряд отсылок к этому труду Вольтера именно по поводу негласных аналогий в поведении и качествах обоих недостойных царевичей – сына и внука Петра I: это угроза уничтожения всего того, что „Петр сделал великого и полезного“ и неспособность обоих к управлению государством (Voltaire 1768: 518); намерения обоих заключить соответственно Екатерину I (там же) и Екатерину II в монастырь; поведение обеих Екатерин, которые, несмотря на ненависть к ним, остаются добронамеренными, первая к пасынку (Voltaire 1768: 527), вторая к супругу; слабость обоих престолонаследников, которые добровольно отрекаются от трона и просят лишь, чтобы их содержали с достоинством (об отречении Алексея – Voltaire 1768: 512; письмо из Ропши Петра III, которое Екатерина пересказывает в записке о перевороте и в письме о событии Понятовскому – РТ: 508, 567).

после ее кончины, в разрез с кощунственным поведением взошедшего на престол Петра III<sup>10</sup>. Проблема лояльности – другая сторо-

---

<sup>10</sup> Об этом рассказывает сама Екатерина II в „Записке на российском языке“: „Императрица Елизавета Петровна скончалась в самое Рождество 25 декабря 1761 года, в три часа за полудни; я осталась при теле ее. [...] Погодя несколько, пришли от государя мне сказать, чтобы я шла в церковь. Пришед туда, я нашла, что тут все собраны для присяги, после которой отпели вместо панихиды благодарственный молебен... [...] Из церкви вышедши, я пошла в свой покой, где до самого ужина я горько плакала только о покойной государыне, которая всякие милости ко мне оказывала и последние два года меня полюбила отменно, как и о настоящем положении вещей. [...] Хотя перед тем две ночи не спала, проводя оных в покое покойной императрицы, но сон далеко от меня был и никак заснуть не могла, и начала размышлять о прошедшем, настоящем и будущем. [...] Говорила я себе: твою инфлуенцию опасаются; удались от всево; ты знаешь, с кем дело имеешь, по твоим мыслям и правилам дела не поведут, следовательно ни чести, ни славы – тут не будет; пусть их делают, что хотят. Взвзв сие за правило своего поведения, во все шесть месяцев царствования Петра III я ни во что не вступалась, окромя похорон покойной Государыни, по которым траурной комиссии велено было мне докладываться, что я и исполнила со всяким радением, в чем я и заслужила похвалу от всех“ (РГ: 524–526). Поведение Петра III кощунственно: он не присутствует на панихидах и несмотря на траур, празднует Святки (с. 527). Во время похоронной церемонии он устраивает шутовское зрелище: „В 25 день генваря 1762 года повезли тело Государыни в гробе лежащей со всевозможным великолепием и подобающими почестями из дворца через реку в Петропавловский собор в крепость. Сам Император, за ним я, за мною Скавронские, за ними Нарышкины, потом все по рангам шли пешком за гробом от самого дворца до церкви. Император в сей день был чрезмерно весел и посреди церемонии сей траурной зделал себе забаву: нарочно отстанет от везущего тело одра, пусть оного вперед сажен тридцать, потом изво всей силы добежит; старшие камергеры, носящие шлеэф епанчи его черной, паче же обер-камергер, граф Шереметьев, носящий конец епанчи, не могли бежать за ним, принуждены были епанчу пустить, и как ветром ее раздувало, то сие Петру III пуще забавно стало, и он повторял несколько раз сию штуку, от чево зделалось, что я и все, за мною идущие, отстали от гроба, и наконец принуждены были послать остановить всю церемонию, дондеже отставшие дошли. О непристойном поведении сем произошли многие разговоры не в пользу особе императора, и толки пошли о безрассудных его во многих случаях поступках“ (РГ: 533–534). Сохранились многочисленные свидетельства современников (княгини Дашковой, А.Болотова, графини Головиной, донесения иностранных послов), подтверждающие рассказ Екатерины. По иронии судьбы, подобным кощунственным шествием проводил в последний путь свою мать Павел I.

на проблемы преемственности, исключительно важной в монархическом государстве. Преемственность легитимировала правление Екатерины II, которая очень нуждалась в ней в смутные времена 90-х гг. XVIII века, несмотря на свое уже 30-летнее царствование. Одна из наиболее кардинальных реформ Петра Великого – реформа престолонаследия, когда монарх выбирает себе наследника по заслугам, а не обязательно по крови, – звучала как нельзя актуальнее в контексте мифологии екатерининского царствования. Вольтеровская „цитата“ из письма первого императора непокорному сыну, о том, что лучше передать престол достойному иностранцу, чем недостойному наследнику, легитимировала дополнительно власть Северной Семирамиды.

Другие черты характера великого князя – *трусость, жестокость, нереальные представления о собственной личности* также могут быть истолкованы как в бытовом, так и в „государственном“ плане. Отсутствие мужества, кавалерского отношения при обвале дома в Гостилицах, когда великий князь выбегает в шлафроке на улицу, вообще не подумав спасти свою жену или помочь кому-то (РТ–Ч: 123; РТ–СРЗ: 266), противопоставлены самообладанию великой княгини, которая не теряет присутствия духа и думает о спящей в соседнем помещении придворной даме. Ее смелость еще более подчеркнута тем, что это одна из враждебно настроенных к ней фрейлин, ненавистная Крузе. Трусость великого князя контрастирует с подвигом сержанта Левашова, бросившегося с риском для жизни в рушащийся и загоревшийся дом, который спасает великую княгиню от верной смерти. Комическая фигура Петра Федоровича, панически выбегающего в шлафроке, противоречит его демонстративному мужеству, на которое он претендует ежедневно, проводя военные „учения“ с

---

В мемуарах Екатерина подчеркивает свою лояльность не только к Елизавете Петровне, но и к великому князю, спасая его от неприятных объяснений и напрасных обвинений. Один из красноречивых эпизодов в этом отношении опять рассказан в бытовом измерении: случай с неосторожно пораненной кнутом щекой, которую великая княгиня гримирует, а потом находчиво спасает положение шуткой (РТ–СРЗ: 298–299). Лояльности великой княгини в автобиографии противопоставлены многочисленные маленькие предательства ее супруга.

лакеями и играя в живые или оловянные солдатики. Налицо одна из характерных инверсий гендерных ролей, которые Екатерина II часто описывает в своей автобиографии. То, что поведение великой княгини мужественнее, чем поведение ее супруга, доказывает его несостоятельность и как личности, и как наследника престола. В другом эпизоде, семантически связанном с эпизодом в Гостилицах, великий князь блещет мужеством на словах, вспоминая, как в десятилетнем возрасте он был послан своим отцом прогнать шайку цыган. Рассказ великого князя, полный небылиц, напоминает фантазии гоголевского Хлестакова (РТ-Ч; РТ-СРЗ: 400–401)<sup>11</sup>. Ю. Кагарлицкий отмечает, что еще в Древней Руси „мужество как понятие становится элементом публичного поведения, причем на этом поведении основываются определенные властные или политические притязания“ (Кагарлицкий 2010: 222). В перспективе трусость, демонстративное (псевдо)мужество, хвастовство несовершенными делами не помогут императору Петру III удержаться у власти. Это картинно отметил Фридрих II: „Он дал прогнать себя с престола, как мальчишка, которого отсылают спать“.

Мужество же великой княгини, ее рациональное и хорошо продуманное поведение станут залогом успеха, критерии которого

---

<sup>11</sup> Штелин подтверждает нереальность рассказа своего воспитанника, только вместо цыган, у него датчане: „Он часто рассказывал, что он, будучи лейтенантом, с отрядом голштинцев разбил отряд датчан и обратил их в бегство. Об этом событии не мог рассказать мне ни один из голштинцев, которые находились при нем с малолетства. Все полагали, что он только для шутки рассказывает такие, слишком неправдоподобные истории. Но часто рассказывая их, в особенности иностранцам, я сам стал наконец им верить и считать не за шутки. Между прочим, уже будучи императором, рассказывал он это однажды императорскому римскому посланнику графу Мерси, который расспрашивал меня о подробностях этого случая и о времени, когда оно совершилось, но я отвечал ему: „Ваше сиятельство, вероятно, ослышались. Император рассказывал это как сон, виденный им в Голштинии“ (Штелин 2003: 44–45). Добрый Штелин не только в реплике к Мерси д'Аржанто постарался спасти честь своего воспитанника. В его воле было сделать это на бумаге и он смягчает хлестаковщину великого князя патриотической каузой. Екатерина, в цели которой входила полная дискредитация мужа, предпочла беззащитных цыган, что еще больше унижает его „подвиг“.



в новую эпоху середины XVIII века стали другими. „Во второй половине столетия такое импульсивное бесстрашие начинает цениться ниже, чем рациональное, подчиненное сильной воле поведение. Импульсивные же формы поведения вытесняются на периферию культуры [...]. Понятие мужества завоевывает господствующие позиции в культуре: это не просто склонность к бесшабашному героизму, не умение ринуться очертя голову на врага – это качество зрелого, умного человека, способного к ответственному поведению“, – отмечает Кагарлицкий (Кагарлицкий 2010: 223). В случае с Петром Федоровичем речь даже не идет об импульсивном проявлении героизма, а о малодушии, тогда как великая княгиня, несмотря на свою женскую сущность, проявляет высокое присутствие духа.

Трусость и неуверенность могут быть весьма опасными в политическом отношении, как в случае с заговором Батурина. В этом эпизоде мемуаристка акцентирует внимание на недальновидности, колебании, невозможности предотвратить вредное для государства намерение, которое компрометирует самого наследника престола. Примечательно, что в отличие от других случаев, тема заговора Батурина передана в поздней редакции без особых изменений, добавлена лишь характеристика Батурина, а сам рассказ более компактен:

В Москве стоял тогда Бутырский полк; в этом полку был поручик Асаф Батурин, весь в долгу, игрок и всюду известный за большого негодя, впрочем, человек очень решительный. [...] Охотники сказали великому князю, что у них был знакомый, поручик Бутырского полка, который выказывает большую преданность Его Императорскому Высочеству и утверждает, что весь полк с ним заодно.

Великий князь охотно выслушал этот рассказ и захотел узнать подробности о полке через своих охотников... [...] Батурин, все через охотников, попросил быть представленным великому князю на охоте; на это великий князь вначале согласился не сразу, но затем он стал поддаваться; мало-помалу случилось то, что, когда великий князь был однажды на охоте, Батурин встретился в укромном местечке; при виде его и пав перед ним на колени, Батурин сказал ему, что он клянется не признавать никакого другого государя, кроме него, и что он сделает все, что великий князь прикажет.

Великий князь сказал мне, что он, великий князь, услышав эту клятву, испугался, пришпорил лошадь, оставив Батурина на коленях в лесу, и что охотники, которые его представили, не слышали, что тот сказал. Великий князь утверждал, что он более не имел никаких сношений с этим человеком, и что он даже предупредил охотников, чтобы они остерегались, как бы этот человек не принес им несчастья. Его настоящее беспокойство происходило оттого, что охотники ему только что сказали, что Батурин был арестован и переведен в Преображенское, где была Тайная канцелярия, которая ведала государственные преступления. Его Императорское Высочество дрожал за своих охотников и очень боялся оказаться замешанным. Что касается охотников, его опасения вскоре осуществились, ибо он узнал несколько дней спустя, что они были арестованы и отвезены в Преображенское.

Я старалась уменьшить его тревогу, указывая ему, что если он действительно не входил ни в какие переговоры с этим человеком, кроме тех, о которых мне говорил, то, как бы тот ни был виноват, я не думаю, чтобы его, великого князя, очень стали винить за его поступок, который, по-моему, был не больше, как неосторожностью, какую он сделал, связавшись со столь дурной компанией. Затрудняюсь сказать, говорил ли он мне правду; я имею основание думать, что он убавлял, передавая о переговорах, которые, может быть, вел, ибо со мною даже он говорил об этом деле только отрывочными фразами и как будто поневоле; может быть, чрезвычайный страх, который он испытывал, производил на него такое действие (РТ–СПЗ: 291–292).

Малодушие великого князя проявляется и в том, что он явно испытывает соблазн воспользоваться предложением заговорщиков и опередить естественный ход событий, и лишь страх останавливает его. Отсутствие мужества заодно с отсутствием лояльности к суверену могут превратить намерение отчаянного авантюриста в серьезное по своим последствиям политическое испытание.

Другое последовательно проведенное противопоставление обоих супругов состоит в их *отношении к России*. Во всех редакциях автобиографии Екатерина II делает акцент на неприязни великого князя к русской культуре, обычаям, традициям, его нежелание говорить на русском языке. Особо стоит обратить внимание на отрицательное отношение будущего Петра III к православию, которое в то время воспринималось как синоним национальной идентич-

ности. Напротив, великая княгиня старается как можно быстрее усвоить нравы, обычаи, язык, религию своей новой родины. Мемуаристка подтверждает в автобиографии „безошибочность“ выведенной ею аксиомы „вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств и что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе“ (РТ–СРЗ: 376–377).

Многочисленны во всех редакциях текста, в планах, в записках автобиографического характера доказательства того, что, по мнению мемуаристки, в великом князе не заговорила русская кровь. Она пользуется непопулярностью своего супруга в воспоминаниях старших современников, мифом (точнее сказать, антимифом) о его „немецком“ поведении на престоле. Возможно на нее оказывали воздействие и воспоминания о страшных годах пугачевщины, особенно на фоне французских событий, появление всевозможных „историй“ о последнем русском перевороте на Западе, порочащих ее, семейные обстоятельства и отношения с Павлом. Комплекс всех этих причин повлиял на то, что антитеза обоих образов в екатерининской автобиографии наиболее сильна именно на почве этого мотива. В разных редакциях он разработан с разной частотой. В редакции, посвященной графине Брюс, мотив „нерусского“ поведения великого князя практически отсутствует при всем старании повествовательницы подчеркнуть различия в характерах, нравственных качествах и пр. Это так и в раннем автобиографическом отрывке, предположительно предназначенном Понятовскому. Фактически последовательное противопоставление на почве „русского“ и „нерусского“ поведения возникает в двух поздних редакциях текста, причем можно отметить явную тенденциозность автора.

С самого начала своего пребывания в России юный голштинский герцог, неожиданно втянутый в водоворот европейских политических событий и объявленный наследником российского престола, „с большой горечью“ „покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать – по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, – что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России“

(РТ–СРЗ: 207). Ностальгия по Германии и в особенности по родной Голштинии является ведущей чертой в образе великого князя, однако поданной с отрицательным знаком. Петр Федорович окружает себя голштинцами, высоко ценит только тех придворных, которые немцы по происхождению, и отрицательно относится к русским (случай с Владиславовой – РТ–Ч: 138). Петр „выказывал сильное пристрастие ко всем иностранцам и начало отвращения ко всему, что было русским и тянуло к России“ (РТ–Ч: 176); „Его Императорское Высочество [...] был милостиво расположен ко всякому болвану, приезжавшему из этой страны“ (РТ–СРЗ: 369). Он даже влюбляется в некрасивую и горбатую принцессу Курляндскую (дочь Бирона), но не ценит ее ум, а только то, что она не русская РТ–Ч: 176; РТ–СРЗ: 294–295). Ему не просто скучна, но ненавистна русская комедия (РТ–СРЗ: 439). Даже еда, которую доставляют из родных краев, способна вызвать его радость (злополучные устрицы (РТ–Ч: 187; РТ–СРЗ: 299). Антирусское поведение великого князя представлено Екатериной II сквозь призму двух стереотипных образов русской культуры: бани и соблюдения поста. Великий князь ни за что не хочет ходить в баню. Он, как и многие иностранцы, побывавшие в России того времени, считает ее вредной для здоровья:

В первую неделю Великого поста мы с великим князем стали говеть. Я послала Чоглокову испросить у Ее Величества позволение пойти в баню в доме Чоглоковых; замечу здесь между прочим, что ни великий князь, ни я, мы не смели выходить из дому даже на прогулку без позволения императрицы, и мы бы не посмели нарушить этот установившийся обычай, не рискуя на себя гнев Ее Величества. Другой обычай, за нарушение которого я подвергла бы себя обвинению по крайней мере в нечестии, состоял в том, чтобы сходить в баню на той неделе, когда я собиралась говеть. Во вторник вечером Чоглокова вошла в мою комнату и сказала мне в присутствии великого князя, что Ее Величество позволяла мне пойти в баню; потом она повернулась в сторону великого князя и сказала ему, что и он хорошо бы сделал, если бы туда пошел. Он с неудовольствием выслушал это предложение и ответил, что он и не подумает это делать, что он никогда раньше в бане не был и считал посещение ее одним предрассудком, которому он не придавал никакого значения (РТ–Ч: 181).

В „черкасовской“ редакции эпизод конфликта Петра Федоровича и Чоглоковой по поводу бани кончается тем, что придворная дама угрожает ему крепостью и судьбой сына Петра Великого, намекая, что это внушение идет от лица самой императрицы (РТ-Ч: 182–183). В несколько смягченном варианте эта сцена присутствует и в поздней редакции:

К концу масляной императрица вернулась в город. На первой неделе Поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню, в доме Чоглоковой; но накануне вечером Чоглокова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А бани и все другие русские обычаи и местные привички не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не делает ничего подобного; Чоглокова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться Ее Императорскому Величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего, и что императрица никогда его к такой вещи не принудит. Чоглокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: „Увидим, что она мне сделает, я не ребенок“. Тогда Чоглокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла (РТ-СРЗ: 295–296).

Содержание сцены соответствует стереотипным представлениям о России, распространенным на западе Европы, в которых баня, строгий православный пост, сильные морозы, медведи, и, главное, деспотизм и непросвещенность были элементами варварского образа страны. Влагая угрозу в уста грубой и невежественной Чоглоковой, не рассеивающей, а, напротив, утверждающей этот стереотип в сознании великого князя („С тех пор несколько раз пытались убедить его сходить в баню, но все попытки были безуспешны, и он постоянно упорствовал в своем нежелании ходить туда. Но при каждой такой попытке он неизменно вспоминал, что по случаю бани ему угрожали крепостью“ – РТ-Ч: 183–184),

Екатерина II показывает устойчивость подобных предубеждений, но также их основания<sup>12</sup>. Трагикомизм ситуации усугубляется тем, что явно Елизавета Петровна обеспокоена отсутствием наследника и по старой русской традиции рассматривает баню как место сближения молодых, отсюда и угроза крепостью, идущая от глупой, грубой и бестактной Чоглоковой, слишком рьяно взявшейся за поручение и старающейся угодить своей покровительнице:

В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень сердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что мне она пришлет акушерку, а ему – доктора; она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и закончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью. Надо знать, что во время этих разговоров я не открывала рта: во-первых, потому, что оба говорили с такою запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово; во-вторых, потому, что я видела, что с той и другой стороны говорят совершенно безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но, как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала (РТ–СРЗ: 296).

Культурные различия и незнание великим князем русских традиций – причина этого недоразумения. „Чтобы подчеркнуть свою готовность подстраиваться, она заостряет внимание на нежелании мужа последовать ее примеру. В ее изложении он превращается в пародию на иностранца – в немца“ (Гриффитс 2013: 26). Впрочем, возможно и другое прочтение ситуации: пренебрежение баней,

---

<sup>12</sup> Убеденность великого князя, что „баня повредит его здоровью“ (РТ–СРЗ: 296) имеет прямое соответствие в пресловутом труде аббата Шаппа д’Отроша „Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г.“ („Voyage en Sibérie, fait par ordre du Roi en 1761“, 1768). В своем известном памфлете „Антидот“ (1770) Екатерина II пункт за пунктом опровергает предвзятую интерпретацию аббата увиденного в России во время его научной экспедиции. Довольно пространное описание бани, особенно как места разврата, и злоключений аббата в ней и ответ Екатерины см. Каррер д’Анкокс 2005: 85–90 и 248–249.

мнимое „незнание“ ее значения как интимного топоса, „спасает“ великого князя в щекотливой ситуации, в которой ставится вопрос о его мужественности.

Знание обычаев – верное средство успеха, даже в самых сложных ситуациях. Примечателен эпизод с советом, который дает мемуаристке придворная дама Крузе после сцены скандала по поводу дырок в двери к покоям Елизаветы:

Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: „Надо признаться, что императрица поступила сегодня, как истинная мать!“ Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому молчала. Она сказала: „Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит; вы должны были бы сказать ей оба: „Виноваты, матушка“, и вы бы ее обезоружили“. Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом ее Величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова: „виноваты, матушка“, как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше (РТ–СРЗ: 244–245).

Унаследованная от допетровского времени патриархальная традиция в данном случае – верное и испытанное оружие<sup>13</sup>. Ин-

---

<sup>13</sup> Другой подобный эпизод содержится в записке о траурных церемониях после смерти Елизаветы Петровны. Как и в случаях с Владиславовой и Крузе, обращение к старым дамам, хорошо знавшим обычаи, было верным стратегическим ходом по приобретению популярности в противовес кощунственному поведению Петра III: „Я же тут брала советы от старых дам, графини Марьи Андр. (еевной) Румянцевой, графини Анны Карловны Воронцовой, от фельдмаршалши Аграфены Леонтьевны Апраксиной и иных, подручно случающихся, в чем и на них угодила чрезвычайно“ (РТ: 526–527). Стратегия действительно была безупречной, на свою сторону этим жестом новоявленная императрица привлекает старую противницу графиню Румянцеву, о которой, помимо негативного портрета в ранней редакции, мемуаристка напишет в позднем варианте, что „ее боялись как чумы“ (РТ–СРЗ: 357), а также двоюродную сестру императрицы и супругу канцлера Воронцова, в девичестве Скавронскую. Старые дамы, как носительницы положительного и отрицательного начал в традициях российского общества, появляются не только в автобиографии, но и в драматургии сиятельной писательницы, где они представлены преимущественно в негативном плане (Мораччи 2007; Donnels O'Maley 2006; Евстратов 2009; Вачева 2012).

интересно, что совет идет от Крузе, немки по происхождению, которая подметила действенность этого патриархального обращения. Сама мемуаристка не соблазнится раболопным предложением Сената присудить ей официальный титул „Матери Отечества“, но в годы своего правления будет для большинства своих поданных „матушкой Екатериной“, что было вне всякого сомнения высшей ее наградой.

Уважение к национальной традиции, стремление (или практический отказ) „стать русской/им“ для обоих героев подразумевает их отношение к православию и его нормам и обрядам. Надо отметить, что сопоставление в екатерининской автобиографии обоих персонажей на основе этой темы наиболее тенденциозно. Для великой княгини интерес к православию зарождается еще в раннем детстве, когда она спрашивает у своего учителя, какая из всех христианских церквей древнейшая (РТ–Б: 6). Накануне своего перехода в православие она убеждена, что в сущности принципы лютеранства, в котором она крещена, не отличаются особенно от православия<sup>14</sup> и с чистым сердцем произносит „Символ веры“, требует, будучи тяжело больной, чтобы ее исповедовал православный священник, ее учитель Симеон Тодорский („Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора“, – с удовольствием отмечает мемуаристка несколько десятилетий позже – РТ–СРЗ: 211). Впоследствии великая княгиня старательно соблюдает службы, посты и т.д. В

---

<sup>14</sup> Это – основной лейтмотив в письме Софии-Фредерики от 26.07.1744 г. отцу накануне перехода в православие: „Так как я не нахожу почти никакой разности между верою греческою и лютеранскою, то решилась, после того как вникнула в милостивые наставления вашей светлости, переменить (исповедание) и пришло к вам в первый день мой символ веры. Лышу себя надеждой, что ваша светлость будете тем довольны“ (СИРИО 1871, 7: 5). Раньше, в первом своем письме отцу из России (29.01.1744), юная принцесса обещала ему, что „семена нашей святой религии останутся в душе“ (СИРИО 1871, 7: 2), в ответ на полученное при отъезде наставление не менять веры, если она не найдет созвучия с той, в которой получила крещение. В следующем письме от 29.02.1744 г. София-Фредерика отмечает, что „внешние обряды очень различны, но Церковь вынуждена к тому, во внимание к грубости народа“ и просит родительского благословения, заверив отца в стойкости своих религиозных принципов (СИРИО 1871, 7: 3).



„черкасовской“ редакции она подчеркивает, как важно, чтобы государь считался с настроениями, даже суевериями народа<sup>15</sup>:

Вследствие этого я стала особенно стараться избегать во всем и повсюду, вплоть до малейшей безделицы, того, что могло бы оскорбить это расположение народного духа, господствовавшее тогда еще над толпой; я приложила тем более стараний сообразовываться с этим, что я знала правило, которое гласит, что очень часто более вредит в общей сложности пренебрежение такого рода безделицами, чем предметами существенными, потому что умов, склонных к мелочам, гораздо больше, чем людей, которые их презирают (РТ–Ч: 153).

Мария Крючкова обращает внимание на этот эпизод с точки зрения применения важного макиавеллистского правила, которое на самом деле Екатерина II цитирует (рассуждение о мелочах, к которым склонно большинство людей): „Правило это принадлежит никому иному, как Макиавелли. В своей политической практике Екатерина следовала тому же принципу: она знала как легко можно „купить“ большинство людей всякими пустяками, и этим пользовалась, старалась не раздражать их мелкими выходками, а самой не позволять всяким мелким дрызгам заслонять себе горизонт“ (Крючкова 2009: 373).

Великий князь представлен как враждебно настроенный к православию. Как и сама мемуаристка, по рождению он был крещен в лютеранстве и ему пришлось, также, как и его супруге, перейти в православие<sup>16</sup>. В поздней редакции мемуаристка обвиняет Петра III не столь в верности лютеранству, сколько в атеизме. Этому посвящены эпизоды в обеих поздних редакциях, а в последней рассказ помещен в специальную рубрику „Сцена с великим князем из-за набожности“ (РТ–СРЗ: 230–231):

<sup>15</sup> Комментарий эпизода по поводу возмущения, которое вызывает в благочестивой Владиславовой желание Елизаветы Петровны пойти в баню между службами по случаю Благовещения см. ниже.

<sup>16</sup> Сам Штелин, решивший, на всякий случай и в пользу исчерпательности, сослаться на слухи, будто сына Анны Петровны первоначально крестили в православии, а уже после восхождения на престол императрицы Анны Иоанновны, когда голштинский дом потерял надежды на российский престол, маленький принц перешел в лютеранство, отмечает их несостоятельность (Штелин 2003: 13).

Одной из причин, послуживших всего более к тому, чтобы подорвать его доверие к Владиславовой, была ее набожность – основной пункт, которого он никогда не прощал; кроме того, в ее комнате была лампада перед образами, чего он не выносил; хотя это было в обычае по нашей вере, но Его Императорское Высочество к ней нисколько не был привязан; напротив, он воображал, что принадлежит к лютеранскому исповеданию, в котором был воспитан, но в глубине души он ничем не дорожил и не имел никакого понятия ни о догматах христианской религии, ни о нравственности; я никогда не знавала атеиста более совершенного на деле, чем этот человек, который между тем очень боялся и чорта и Господа Бога, а чаще всего их обоих презирал, смотря по тому, представлялся ли к этому случаю, или овладевало им минутное настроение (РТ–Ч: 138).

На первой неделе Великого поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утреню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя; он прислал мне своего карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду Поста он не придет в этот день ко мне. Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания Поста, по нашему обряду. Я ответила великому князю через карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, – потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, – стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа. В первый раз, как я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня; когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бранить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего карлу, как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось и чему все подчинялись и от чего нельзя было уклониться без скандала; но он был противного мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении, и Его Императорское Высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться (РТ–СРЗ: 230–231).

Мемуаристка не упускает удобного случая акцентировать внимание на безбожии и презрении к религиозным нормам своего супруга, помня, что это одна из главных причин его непопулярности среди народа и понимая, как это важно для ее собственного имиджа „главы греческой церкви“. Для русского культурного сознания того времени атеизм государя – один из тяжелейших возможных грехов. „Неверие“, „безбожие“ воспринимались как синонимы безнравственности<sup>17</sup> (Frede 2014: 135). Екатерина противопоставляет свою „чрезмерную набожность“, из-за которой заслужила упреки Петра Федоровича, его нежеланию с самого детства посещать церковные службы в Германии („Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие“ – РТ–СРЗ: 207), постоянным спорам с их общим наставником Тодорским „относительно каждого пункта“ (Там же). Строгое соблюдение поста мемуаристкой противопоставляется тому, как великий князь тайно нарушает его и ест мясо, которое тайно ему приносят лакеи, пряча небольшие куски в кармане (РТ–Ч: 186) и пр. и пр. Кошунственное во многих случаях поведение Петра III до и после его восхождения на престол, секуляризация монастырских земель, результаты которой Екатерина II осудила после переворота, но впоследствии воспользовалась ею, намерения нового государя заставить духовенство брить бороды<sup>18</sup> и перестроить православное богослужение на лютеранский лад – все это не прибавляло ему популярности. Екатерина, однако, понимала как важен этот аспект в жизни страны, который отождествлялся в массовом сознании с национальной идентичностью. Хотя бы внеш-

<sup>17</sup> По мнению исследовательницы, в сознании современников атеизм связывался с целой группой пороков: глупостью, безумием, суетой, наглостью, развращенностью (Frede 2014: 134).

<sup>18</sup> Это можно воспринять и как своеобразное пародийное подражание брадобритию при его великом деде. Однако этот акт Петра III вызвал сильное брожение не только среди духовенства, но также способствовал его отрицательному имиджу среди населения. В контексте русской культуры XVIII века брадобритие всегда ассоциировалось с насилием (См. Крыстева 2013: 61–71).

не героиня мемуаров, которая отнюдь не была глубоко верующей личностью, соблюдала православное благочестие: будучи великой княгиней и впоследствии, став полновластной российской государыней, и приобретала этим лишний раз привязанность и одобрение народа. „Для Екатерины зримость добродетели была особенно важна, поскольку, будучи иностранкой, рожденной в чужой вере, она взшла на трон путем дворцового переворота и убийства законного правителя“, – отмечает М. Левитт (Левитт 2015: 230).

В поздней редакции есть внушительное количество страниц, должны показать будущему читателю вообще *несостоятельность* Петра Федоровича как будущего главы государства уже на практике, в ведении голштинских дел. Этот фрагмент отсутствует в более ранних редакциях.

Управление делами небольшого германского герцогства, главой которого был Петр Федорович, должно было стать школой, готовящей его к главной роли его жизни – руководству Российской империей<sup>19</sup>. Голштинский патриотизм, казалось, был стимулом, который бы способствовал интересу к державным делам княжества, находящегося, кстати, под серьезной угрозой со стороны соседней Дании. Екатерина II подходит без особого сочувствия к ностальгии великого князя по родному краю. Мемуаристка отмечает, что ее супруг имел „особое пристрастие“ к своей родине, „но которой он не правил от этого лучше и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи“ (РТ–СРЗ: 299). Эта тоска по родному краю

---

<sup>19</sup> Ф.-Д. Лиштенан, один из лучших знатоков елизаветинской эпохи, отмечает манипулятивность мемуарного рассказа по поводу поведения Петра Федоровича в голштинских делах: „Императрица не только не оказывала на племянника ни малейшего давления, но, более того, давала ему почувствовать свою поддержку; Петр Федорович сам распорядился судьбою собственных земель и сам нес ответственность за двусторонние переговоры. Реальный Петр, в отличие от того слабоумного уroda, каким его изобразила в „Записках“ коварная Екатерина, вел переговоры, твердо отстаивая свои территориальные права с большим упорством. Он умел выжидать и предоставлял противнику делать ему все новые и новые предложения...“ (Лиштенан 2000: 192–193). Далее исследовательница отмечает, что у великой княгини были свои корыстные интересы в голштинских делах, связанные с претензиями дома ее матери.

– часть „нерусского“ поведения Петра Федоровича, недостойная наследника российского престола. Себя же мемуаристка никогда не изображает тоскующей по Германии, даже в самые тяжелые дни, и в двух поздних редакциях избегает немецкую тему относительно своей биографии. В то же самое время тема германского детства, интерес к истории и культуре родины осязаемо присутствует в переписке императрицы с разными лицами (Тураев 2008). Это связано как с убеждением, характерным для эпохи Просвещения, о легкости превращения в представителя другой нации, так и с тем, что смысл эпизодов об управлении Голштинией не столь в разоблачении антипатриотизма великого князя, сколь в показе его неспособности к державным делам. „Петр Федорович в автобиографических записках Екатерины представлен не только никудышным супругом, но и дилетантом в политике, относительно безобидным в качестве наследника престола, но опасным в качестве императора“, – отмечает К. Шарф (Шарф 2015: 121).

Петр Федорович демонстрирует нежелание заниматься элементарными государственными делами<sup>20</sup>, как, впрочем, поступала и его державная тетушка. Екатерина описывает колоритную сцену:

В это время, в одно прекрасное утро великий князь вошел подпрыгивая в мою комнату, а его секретарь Цейц бежал за ним с бумагой в руке.

---

<sup>20</sup> Следует вспомнить, что энтузиазм Петра III к государственным делам, по Штелину, продолжался всего три месяца (Штелин 2003: 35). К. Леонард, которая, одной из первых непредвзято исследовала недолгое царствование Петра III, обращает, однако, внимание на его интенсивную реформаторскую деятельность, ставшую как бы продолжением усилий последних лет елизаветинского правления, так и плодом идей самого Петра Федоровича. По мнению исследовательницы, своими законодательными актами – уничтожением Тайной канцелярии, освобождением дворянства от обязательной службы, секуляризацией монастырских земель – Петр III попытался разрешить центральные вопросы российской истории: недовольство дворян их подчиненностью государству и конфликт между светскими и церковными властями по поводу владения церковью земельной собственностью (Leonard 1976: 1; 1993в: 2). Леонард обращает внимание на то, что Екатерина использовала реформы Петра III для осуществления собственной законодательной программы, и рассматривает предпринятые обоими государями перемены в взаимосвязи.

Великий князь сказал мне: „Посмотрите на этого черта: я слишком много выпил вчера, и сегодня еще голова идет у меня кругом, а он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которые он хочет, чтобы я закончил, он преследует меня даже в вашей комнате“. Цейц мне сказал: „Все, что я держу тут, зависит только от простого „да“ или „нет“, и дела-то всего на четверть часа“. Я сказала: „Ну, посмотрим, может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете“. Цейц принялся читать, и, по мере того как он читал, я говорила: „да“ или „нет“. Это понравилось великому князю, а Цейц ему сказал: „Вот, Ваше Высочество, если бы вы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы. Это все пустяки, но надо дать им ход, и великая княгиня покончила с этим шестью „да“ и приблизительно столькими же „нет“. С этого дня Его Императорское Высочество придумал посылать ко мне Цейца каждый раз, как тому нужно было спрашивать „да“ или „нет“. Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего не могу решать без его приказа, что он и сделал. Только Пехлин, Цейц, великий князь и я знали об этом распоряжении, от которого Пехлин и Цейц были в восторге: когда надо было подписывать, великий князь подписывал то, что я постановляла (РТ–СРЗ: 397–398).

Этот эпизод дает основание мемуаристке ввести „саморазоблачение“ великого князя относительно его готовности быть российским государем:

Я воспользовалась однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что, так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент, как на тяжесть, еще более ужасную; на это он мне снова повторил то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России; что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него, и что он убежден, что погибнет в России (РТ–СРЗ: 398).

Приведенные отрывки подчеркивают антитезу обоих образов именно в отношении ежедневной практики по управлению государством и их готовности защищать конкретно интересы России. Великий князь мало интересуется происходящим на родине при

всем бравоированию патриотическими чувствами. Великая же княгиня пользуется любым случаем приобрести как можно больше опыта. О полезности предложенных ею решений свидетельствует не только реакция подчиненных, но и уважение канцлера Бестужева, взявшего ее под свое покровительство. Надо отметить, что кроме участия в голштинских делах, в то же время будущая императрица училась искусству политики в своей тайной переписке с английским послом Чарльзом Хэнбери-Уильямсом (Correspondence 1928). Ее разумные решения по делу обмена Голштинии на Олденбург заслуживают положительную оценку и похвалу умелого австрийского дипломата графа Берни, который на грани нарушения протокола советует великому князю вслушаться в мнение жены, отстаивающей интересы империи (РТ–СРЗ: 318). О том что великая княгиня упорно и последовательно готовилась к управлению страной, говорят ее памятные записки последних лет царствования Елизаветы (1758–1761 гг.), опубликованные в седьмом сборнике СИРИО („Собственноручные заметки великой княгини Екатерины Алексеевны“, с. 82–101). В этих кратких заметках, во многом напоминающие по стилю „Размышления“ Марка Аврелия, великая княгиня рассуждала на разные социальные, экономические и житейские темы. Среди них – размышления о том, что слава страны, в которую привел ее Господь составляет ее славу (пункт 3); эффективность крепостного права, унижительность его для человека и возможный способ от него избавиться при продаже имений (пункт 6); справедливость и несправедливость судебных решений (пункты 25 и 26), нравственные проблемы.

Непоследовательность Петра Федоровича в решении государственных голштинских вопросов проявляется в *несправедливых действиях* по отношению честных и почтенных чиновников. Это дело несправедливо обвиненного в растрате казенных денег Элендсгейма (РТ–СРЗ: 393–394), также судьба невинного Гольмера, „которого держали в течение шести или восьми лет в тюрьме“ без возможности видеть свою семью (РТ–СРЗ: 395). Эти случаи становятся причиной справедливого ропота общества: „в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и на тира-

нию, к каким прибежали в этом деле“ (Там же). В то же самое время нерадивый государь становится объектом манипуляций со стороны корыстно настроенных приближенных, как в случае с проделкой „похожего на чуму“ и подкупного Брокдорфа, оклеветавшего честных служителей и проводившего от имени великого князя порочающую его тираническую политику (РТ–СРЗ: 395–397). Другой подобный случай – хвальба графа Романа Воронцова, отца фаворитки Петра Федоровича, который „держал неумеренные речи насчет великого князя, и что он между прочим говорил, что, если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить ее в милость; что для этой цели ему стоит только дать обед Брокдорфу, напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман шесть бутылок для Его Императорского Высочества, и что тогда он и его младшая дочь станут первыми матадорами милости у великого князя“<sup>21</sup> (РТ–СРЗ: 404).

Наиболее веское обвинение, которое отправляет мемуаристка своему супругу состоит в измене делу его великого деда – Петра Великого. Петр Федорович игнорирует смысл одного из главных законов предшественника, „Табели о рангах“:

... Он [Брокдорф – А. В.] был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и, чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоян-

---

<sup>21</sup> Между прочим, упорно ходили слухи, что наиболее значительный акт правления Петра III „Манифест о вольности дворянской“ был подписан при подобных обстоятельствах и по инициативе вышеназванного графа Воронцова, отца княгини Е. Р. Дашковой и брата канцлера М. И. Воронцова. Другой желчный рассказ на эту тему можно найти в трактате кн. М. М. Щербатова „О повреждении нравов в России“ (1790), будто Петр III подписал подсунутый ему его секретарем Д. Волковым текст манифеста, изготовленный на основании идей Р. И. Воронцова, спеша насладиться обществом новой любовницы, Е. С. Куракиной, конечно, втайне от фаворитки Елизаветы Романовны Воронцовой (дочери автора идейного проекта) (Щербатов 1986: 374). Научную интерпретацию вопросов авторства манифеста, который очевидно не был плодом авантюры (Леонард говорит по меньшей мере о трех редакциях- Leonard 1976: 51), и его разъяснения в тогдашней периодике, а также подтверждение его принципов в „Жалованной грамоте русскому дворянству“ (1785) см. Leonard 1976: 69–70, 74, а также Романович-Славатинский 1870; Jones 1973; Фаизова 1999.



но нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая голштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I (РТ–СРЗ: 397).

Не заслуги, а корыстный интерес, позорная торговля чинами и наградами, несправедливость – все это делает великого князя недостойным внуком великого преобразователя. Независимо от того, что „Табель“ создавалась для России, а не для немецкого герцогства, для мемуаристки важно предательство по отношению одной из главных политических реформ Петра I в государственной практике его внука, который „обещает многого“ в будущем, когда унаследует престол Российской империи. Тут можно добавить пренебрежение Петра Федоровича к Преображенскому полку<sup>22</sup>, подполковником которого он являлся, его последовательный отказ носить форму преображенского офицера и предпочтение голштинскому мундиру, особенно когда уже нечего было опасаться наказания от тяжело больной императрицы Елизаветы (РТ–СРЗ: 372), которая, в отличие от племянника, „ненавидела Голштинию и все то, что отсюда исходило, и видела, как военные погрешки погубили отца великого князя, герцога Карла-Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества“ (там же).

В последних двух редакциях великий князь представлен как *народный двойник* своего незаурядного деда. В ряде сцен акцентируется на сходстве в физическом облике и манерах. Мемуаристка

---

<sup>22</sup> Преображенский полк имел особое место в системе русской армии. Это был особенно престижный гвардейский полк, основанный Петром I еще в конце XVII века. Обычно патроном полка был сам монарх. Не случайно во время переворота Екатерина II надевает именно преображенский мундир, в нем она изображена и на знаменитом конном портрете кисти Эриксона. Таким образом неуважение к преображенцам и предпочтение голштинского мундира преображенскому – дополнительная деталь измены великого князя заветам его великого деда и отказа от национальной русской каузы.

часто подчеркивает навык своего мужа ходить быстро и большими шагами, особенно, когда он встревожен (РТ–Ч: 102, 104, 182; РТ–СРЗ: 322, 391, 393). Однако Петр Федорович представлен в бытовой ситуации: в узких рамках комнаты, контрастирующей с огромным „государственным“ пространством предка: „Он часто приходил ко мне в комнату; он знал или скорее чувствовал, что я была единственной личностью, с которой он мог говорить без того, чтоб из малейшего его слова делалось преступление, я видела его положение, и он был мне жалок, поэтому я старалась дать ему все те утешения, которые от меня зависели. Часто я очень скучала от его посещений, продолжавшихся по несколько часов, и утомлялась, ибо он никогда не садился и нужно было ходить с ним взад и вперед по комнате. Ходил он скоро и очень большими шагами; было тяжелым трудом следовать за ним и, кроме того, поддерживать разговор о подробностях военной части, очень мелочных, о которых он говорил с удовольствием и, раз начавши, с трудом переставал...“ (РТ–Ч: 104). В соответствующем фрагменте позднейшей редакции стремительное „гуляние“ Петра Федоровича по его двум комнатам происходит на фоне жестокого и бессмысленного занятия – безжалостной дрессировки своры собак. Заодно с эпизодом жестокого его обращения к маленькому шарло, это добавляет дополнительную отрицательную черту к образу великого князя (РТ–СРЗ: 281).

Нервности, упрямству, эгоцентризму и односторонности интересов Петра Федоровича Екатерина противопоставляет добродетели „Madame La Ressource“, как прозвал ее ее муж (РТ–СРЗ: 377) – ровное и спокойное, без крайностей, тактичное и трезвое отношение к происходящему и всем испытаниям. „Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные, но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься; а главным недостатком моих советов великому князю было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отлична от моей, и, по мере того как мы становились старше, она делалась все заметнее“ (РТ–СРЗ: 400), – отмечает императрица кардинальные различия между собой и своим супругом.

В годы ее правления Екатерины II рационалистические взгляды как на природу власти, так и на специфику общения среди элиты общества станут руководящим принципом, который был положен в основу главных документов ее царствования – „Наказа“, „О должности человека и гражданина“ и пр. (см. Калугин 2015 [www](#))<sup>23</sup>.

Комплекс всех выявленных черт образа Петра Федоровича в автобиографии Екатерины II, акцент на негативные аспекты его личности предполагал его развитие как будущего тирана и недостойного представителя прославленной династии, не способного исполнить свое высокое предназначение. Несостоятельность великого князя как будущего государя в тексте проявляется как в его бытовых поступках, страстях, стиле поведения, а так же в тех решениях, которые он принимал в своем общественном бытии как наследник российского престола и голштинский герцог. В перспективе это оправдывало главный политический акт мемуаристики – свержение ее супруга, легитимного представителя царствующего дома, но явно недостойного своего высокого призвания, и ее воцарение как разумной, просвещенной, умеренной государыни, соблюдающей национальные традиции и хранящей святость пра-

---

<sup>23</sup> Автор предлагает интересный взгляд на освоение этих принципов представителями русской дворянской элиты на основе официальных биографий: „Постепенно возникает персонаж, который должен избегать крайностей и стремиться занять среднюю позицию. В социальном плане это достигается при помощи самовоспитания, развития определенных коммуникативных и речевых навыков, а также умения устанавливать такие отношения с людьми, которые без очевидного принуждения позволили бы управлять ими (то есть, вспоминая формулировку Наказа, вынудить их „исполнять по своей воле то, что должно“). [...] Риторическая структура „Изображения героя“ демонстрирует ту особую экономику страстей, которая необходима человеку, по долгу службы призванному управлять другими людьми, где практический разум доминирует над „высокоумием“ и „философической“ оторванностью от жизни. Утрата срединной позиции будет восприниматься как проявление своеволия и деспотизма“. Калугин отмечает также, что культурные механизмы нормализации выражаются также в вытеснении любых проявлений чрезмерности и в утверждении „добродетелей человека общественного – просвещенного разума, миролюбия, симпатии“ (Калугин 2015 [www](#)).

На эту тему см. также Марасинова 1999; 2008; 2014. Об „анекдотическом“ образе великого князя и его образе „антигероя“, достигшего „полной личностной деградации“ см. Акимова 2013: 162–173.

вославия и пользующейся безрезервной популярностью и поддержкой подданных. В известном смысле это – житейская интерпретация Екатериной II уроков Плутарха, усвоенная ею у древнего автора „эвтимия“<sup>24</sup>. Широко известен комплимент, который сделал государыне галантный и остроумный принц де Линь: „Много говорят о кабинете Санкт-Петербурга; я не знаю более маленького, поскольку он размером всего в нескольких дюймах: распространяется от одного виска до другого и от основания носа до линии волос“ (Prince de Ligne 1809: 193). Известный любезник со свойственной ему наблюдательностью и афористичностью смог уловить главный принцип поведения Екатерины II, человека и государственного деятеля – рационализм. „В отличие от петровского „абсолютизма воли“ она старалась демонстрировать „абсолютизм разума“, признающего уместность и необходимость индивидуального выбора, или, как начали говорить в то время, вкуса“, – отмечает М. Савельева (Савельева 2007: 252–253).

Исследователи обращают внимание на риторику первых манифестов Екатерины II после взятия власти. Никак не случайно, что первый манифест о восшествии на престол 28 июня 1762 г., в котором населению новая власть объясняла причины переворота, начинается констатацией, что „Закон Наш православной Греческой перво всего возчувствовал свое потрясение и истребление своих преданей церковных, так что церковь Наша Греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона“ (Оснадцатый век 1869: 216). Уже после этого в документе следовало обвинение сверженному императору о поругании воинской славы России заключением позорного мира с самым „злодеем“ России (Фридрихом II – А. В.). Этот акт Петра III толкуется в манифесте как „совершенное порабощение“. В следующем манифесте, так называемом „Обстоятельном“ от 6 июля 1762 г., перечисляются „вины“ низложенного императора, принудившие „нелицемерные сердца“ „действовать во благо“ под предводительством „Божией

---

<sup>24</sup> Доброе имя, добрая известность (Аверинцев 1973: 10).

руки“. Екатерина II заявляет: „Не имели Мы никогда ни намерения, ни желания таким образом воцариться, каковым Бог по неведомым Его судьбам промыслом своим Нам определил престол отечества Российского воспрять“ (Осмнадцатый век 1869: 216). В „Обстоятельном манифесте“ отмечаются такие личные качества Петра Федоровича и его действий на государственном поприще, которые соответствуют главным компонентам и перспективам развития его образа в екатерининской автобиографии<sup>25</sup>. Это наводит на мысль,

---

<sup>25</sup> Интересно, что еще в „Обстоятельном манифесте“ присутствует идея о вреде вседозволенности абсолютной власти, если она не сопряжена с добродетелями личности монарха: „Но самовластие, необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в Государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною“ (Осмнадцатый век 1869: 217). Петру III вменяется в вину, что „всем своим страстям прежде повиновение рабское учинил и с такими качествами воцарился, нежели о благе вверенного себе государства помышлять начал“ (там же). Среди его пороков перечисляется его нелюбовь и неблагодарность, даже презрение к „Всепресветлейшей Тетке и Монархине“, кощунственное поведение во время траура, ненависть к отечеству, использование власти „для собственного угождения“. Значимым обвинением является то, что сверженный император „не имев, как видно, он в сердце своем следов Веры Православной Греческой (хотя в том довольно и наставляем был) коснулся перво всего древнее Православие в народе искоренять“ (там же, с. 218) и имел злокозненные замыслы к разорению церквей, презирал церковные обряды, а также законы „естественные и гражданские“. Открыто сверженный император обвиняется в „развращении“ „всего того, что Великий в свете Монарх и Отец своего Отечества, блаженной и вечно незабвенной памяти Государь Император Петр Великий, Наш вселюбезнейший Дед в России установил“ (там же, с. 219). „Неутомимые и безрассудные труды“ в „вредных Государству учреждениях“ внука противопоставляются „неусыпным трудам тридцатилетнего царствования“ предшественника. К „предъявляемым Нами всему свету безпристрастному обстоятельствам“ (там же, с. 220) можно добавить ненависть Петра Федоровича к гвардейским полкам и раздробление армии (с. 217), намерение „Отечество в чужие руки отдать“ (с. 218). Особое место в „Обстоятельном манифесте“ занимает описание враждебного и унизительного отношения к супруге и сыну, недостойных любовных увлечений. Все это дает основание новой императрице, „видя отечество погибающее и Себя самих с любезнейшим Нашим Сыном и природным Нашим Наследником престола Российского в гонении“ (с. 220), предпринять действия к перемене власти. В риторике манифеста производит впечатление контраст жертвенности новой государыни с подробностями двух писем сверженного императора с отречением и просьбой, „чтобы его отпустили с Лизаветю Воронцовою

что Екатерина II, преследуя идею подтверждения легитимности как своего пребывания на троне, так и династии вообще, и работая в сложное историческое время над двумя поздними редакциями текста, обращалась к документам своей „революции“ и в соответствии с ними задавала концепцию образа своего супруга-соперника. Противопоставление обоих героев „диады“ облекалось в философские интерпретации долга и личности просвещенного монарха.

М. Савельева комментирует так риторику „освобождения“ Отечества от опасности и образ Екатерины-освободительницы при ее восхождении на престол: „Ближайшим последователям Петра плохо удавалось подражать ему, поскольку им не нужно было особо оправдывать свое предназначение. Даже Елисавета, будучи незаконной дочерью, все же принадлежала по крови к дому Романовых. Но Екатерина II реализовала политику „освобождения“ особенно рьяно, поскольку это был ее единственный шанс на завоевание народного авторитета. В многочисленных панегириках того времени императрица изображалась „освободительницей Отечества от опасности“. Ирония судьбы заключалась в том, что в роли „опасности“ выступал настоящий потомок дома Романовых. Но выступал, согласно логике мифа, как „иноземец“, т.е. как не приемлющий ничего „русского“, хотя и русский по крови. [...] Порок и добродетель то и дело менялись местами. Следовательно, все дело заключалось в силе аргументации. Если народ отдает предпочтение не прямому, а косвенному наследнику, это вовсе не узурпация власти... – это сакрализация власти волею народа, выражающей таким образом свою свободу и естественность выбора, и впрямь воля „освобожденно-го“ народа!...“<sup>26</sup> (Савельева 2007: 265–266). Кэрол Леонард вслед за

---

да с Гудовичем также в Голстинию“ (с. 221). В „Обстоятельном манифесте“ закладываются основания будущего екатерининского мифа. К его составляющим относится „соблюдение Нашего православного закона“, „укрепление и защищение любезного отечества“, „сохранение правосудия“. Присутствует также мысль о потомках: „чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы ко соблюдению доброго во всем порядка“ (с. 222).

<sup>26</sup> Энтузиазм подданных, сопровождавший воцарение Екатерины, является частью мифологии ее правления. Событие сопровождалось не только безудержной радостью, но также абсолютно противоположными настроениями, броже-

Дэвидом Ранселом толкует причины краха Петра III как результат его нежелания считаться с русскими традициями власти: „Дэвид Рансел писал о правлении Петра, как о периоде, когда государь пытался управлять без традиционных фамильных или персональных сетей патронажа, которые преобладали при дворе и в высшей администрации. По Ранселу, урок состоял в том, что „Государи не должны были управлять без этих кругов и рассчитывать единственно на бюрократию. Те, кто попробовали это сделать, как Петр III и Павел I, радовались бурной и краткой карьере, грубо прерванной убийством“ (Leonard 1993: 145; Ransel 1975: 2). Рональд Вроон, анализирувавший многочисленные похвальные оды конца 1761–1762 года, обратил внимание на затруднения, неожиданно возникшие перед русскими одописцами, по поводу екатерининского переворота, и необходимостью воспеть восхождение на престол новой государыни. Смена елизаветинского царствования правлением Петра III приветствовалась в контексте продолжения династии в стилистике классической русской оды. Акцент ставился на наследственной линии и преемственности с делом Петра и Елизаветы Петровны. Обстоятельства восшествия на престол Екатерины II во многих отношениях поставили русских одописцев в тупик и в щекотливую ситуацию сохранить молчание или приветствовать совершившееся событие. Многочисленные авторы од (Ломоносов, Сумароков, Херасков, С. Нарышкин, В. Майков, С. Домашнев и ряд других более или менее известных имен) нашли выход в обращении к опорным пунктам „Обстоятельного манифеста“, вводя в свои произведения подробности недостойного поведения Петра III. Поэты использовали также мотивы богоизбранности, счастья, самоотверженного спасения отечества, верности заветам Петра Великого и пр. (Vroon 2014: 570–577). Это приводит к сравнениям: „Виртуально каждый писатель описывает ее [Екатерины II – А. В.] как реинкарнацию Петра I или Екатерины I, или Елизаветы,

---

ниями. Крупнейшие исследователи истории царствования Екатерины II подчеркивают трудности ее закрепления на престоле и балансирование не только между придворными группировками, но также и между различными общественными группами (Брикнер 1885, II: 156–160; Соловьев 1959, кн XIII, т. 25: 103–104).

или как комбинацию троих. Но в конце концов сравнение не могло легитимизировать воцарение. Единственная возможность, которая оставалась и была воспринята большинством панегиристов, было прямо и убедительно приписать его божественной руке в соответствующих сценариях восшествия на престол, буквально вводя *deus ex machina*, чтобы оправдать последствия заговора, приведшего Екатерину к власти“ (Vroon 2014: 580).

## Екатерина II – Елизавета Петровна

Общеизвестно двойственное, амбивалентное отношение, которое мемуаристка выказывает в автобиографии к своей предшественнице, Елизавете Петровне. На страницах всех редакций екатерининской автобиографии производит впечатление достаточно полное последовательное сопоставление образа великой княгини Екатерины не только с ее супругом, но также с Елизаветой Петровной, что выгодно оттеняет образ мемуаристки.

Как было доказано исследователями, Екатерина II продолжила и в реальной политике, и в символическом плане многие тенденции, начавшиеся при ее предшественнице. Очевидно, подобную высокую оценку давала ей сама Елизавета Петровна, сначала разглядев и полюбив юную принцессу, а в последние годы жизни после ряда сложных эпизодов в их взаимоотношениях поняв настоящие государственные качества невестки. Хотя о втором в дошедших до нас текстах екатерининской автобиографии не говорится, оно явно присутствует в недомолвках сохранившихся черновых планов.

Мотив справедливости как высшей добродетели государя и биографии известных героев древности у Плутарха, рассказавшего об их достоинствах и недостатках как живых людей, в их бытовых проявлениях и державных делах, определяют подход Екатерины II к образу Елизаветы. Он противоречив, как были противоречивы чувства Екатерины к ее свекрови, пробившиеся сквозь ровный тон повествования. Он имеет все аспекты образа *суррогатной матери*, знакомого по романам (Савкина 2007: 84). Однако все-таки нельзя согласиться с мнением Моники Гринлиф, которая считает, что об-



раз Елизаветы в екатерининской автобиографии является параллелью образа садистической королевы-матери Катерины Медичи из биографии Генриха IV Перефикса, также вдохновившая некоторые особенности автобиографического повествования (Greenleaf 2004: 414). С другой стороны, соотнесенность негативных (впрочем, и позитивных) черт поведения Елизаветы Петровны с поведением мемуаристки, выгодно оттеняла ее собственный образ, представленный в исключительно идеальном, по-классицистски, положительном плане.

Амбивалентное отношение Екатерины II к предшественнице в автобиографии было продиктовано двумя главными причинами. Первая состояла в продолжении многих политических тенденций и заимствовании ряда символических кодов, игравших важнейшую роль в имидже русской монархии не только в России, но и в общеевропейском контексте. Это была важная часть легитимизации екатерининского правления. Елизавета Петровна особенно ценилась Екатериной как дочь своего отца, Петра Великого. Публичный образ предшественницы ассоциировался прежде всего с продолжением дела великого преобразователя России. Эта тема явно присутствует в русской литературе елизаветинского времени и особенно в жанре похвальной оды, получившей свой классически законченный вариант под пером Ломоносова. В большой степени правление Елизаветы Петровны соответствовало ожиданиям. „Царствование Елизаветы, в отличие от правления ее предшественников, часто называли блистательным. Возможно, в каких-то случаях это была завышенная оценка. Во-первых, надо признать, что это правление не строилось на оригинальных концепциях. Вступая на престол после продолжительного отстранения от него, императрица не имела ни возможности, ни тем более желания тщательно продумать подлинную программу действий, быть может, потому что до этого власть представлялась ей недостижимой. По выражению русского историка Черкасова, она была увлечена „восстановлением“ политического видения, заимствованного у своего отца, исходя из концепции национального интереса, аналогичной той, которой руководствовался Петр Великий, то есть желания

вести Россию на Запад и покончить с московской традицией“, – отмечает Элен Каррер д’Анкосс (Каррер д’Анкосс 2006: 21–22). Помимо этого, образ Елизаветы в екатерининских мемуарах был удобным поводом для проведения в них идеи о „философе на троне“. Это была вторая главная причина, задававшая концепцию персонажа предшественницы.

Елизавета Петровна, несмотря на свою „антифилософичность“, представлена в посланиях русских одописцев как покровительница науки, знания, предпринявшая широкую программу преобразования своей обширной страны. Именно эту идею внушает в своих одах Елизавете Петровне Ломоносов. И. З. Серман подчеркивает специфику посланий поэта, который скорее всего выражал надежды общества, а не хвалил действительные качества и действия этой государыни (Серман 1973: 41). Это было частью мифологии правления Елизаветы, представляемой как восстановление века Астреи на земле<sup>27</sup>.

Екатерина II явно претендует в „сценариях власти“ своего времени на унаследование мифологических идентификаций своих предшественников. Среди мифологических персонажей, которые вписывались в цели мифологизирования собственной персоны императрицы стали богини Астрея и Минерва. В истории русской культуры миф о возвращении на землю девы Астреи – богини Справедливости, покинувшей ее при наступлении „железного века“, связывается прежде всего с царствованием Елизаветы Петровны, когда он достигает наивысшего расцвета (Проскурина 2006: 57–104). Это было характерно также для такого мифологического персонажа, как Минерва<sup>28</sup>. Однако Стефан Баер отмечает, что Екатерина гораздо чаще ассоциировалась с Астреей и Ми-

<sup>27</sup> Н. Ю. Алексеева обращает внимание на использование в кантах по случаю вшествия на престол дочери Петра Великого традиционных для русской барочной поэзии отождествлений Елизаветы Петровны с ветхозаветными героинями, но также символики света и эмблем орла и льва (Алексеева, Н. 2005: 57–58).

<sup>28</sup> Образ богини Минервы как метонимия императрицы появляется еще в петровское время, около 1713–1714 г., обозначая супругу Петра Великого Екатерину Алексеевну, будущую Екатерину I, еще задолго до объявления ее носительницей этого титула (Уортман 2002: 101–102).

нервой, чем Елизавета (Baehr 1991: 40)<sup>29</sup>. Это мнение, впрочем, разделяют все исследователи, которые занимались символикой русского абсолютизма (Уортман 2002; Проскурина 2006). Фигура Астреи была особенно важна для Екатерины и тем, что она, помимо справедливости, символизировала также правосудие

---

<sup>29</sup> Баер обращает внимания на парадокс о том, что известные своей сексуальностью русские императрицы отождествлялись с богинями-девами. Если это было допустимо в какой-то мере к официально безбрачной Елизавете, то по отношению к Екатерине II явно было парадоксом (Baehr 1991: 39). Ученый делает оговорку, что идентификации Екатерины с богинями-девами Астреей и Минервой характерны для раннего правления императрицы как связь „не так уж целомудренной узурпаторши трона с династией Романовых“. Баер обращает внимание также на отождествление обеих императриц в оде Ломоносова на восшествие на престол Екатерины II 1762 года, в которой поэт называет новую государыню „воскресшей Елизаветой“ (Там же). Начальная строфа этой оды Ломоносова действительно содержит, однако, не только констатацию, что „Воскресла нам Елисавет“, но также рассматривает обеих императриц как единую суть:

Внемлите все пределы света  
И ведайте, что может бог!  
Воскресла нам Елисавета:  
Ликует церковь и чертог.  
Она или Екатерина!  
Она из обоих едина!  
Ее и бодрость и восход  
Златой наукам век восставит  
И от презрения избавит  
Возлюбленный российский род (Ломоносов 1986: 169).

Екатерина II в этой первой, посвященной ей самой, ломоносовской оде – одна из трех „богинь“ России, наравне с Екатериной I и Елизаветой Петровной. Мотив преемственности между тремя государынями – сквозной во всем тексте, написанном в дни „революции“ 1762 года. Унаследование державной мудрости предшественницы поэт подчеркивает неоднократно.

Осьмнадцать лет ты украшала  
Благословенный дом Петров,  
Елисавете подражала  
В монарших высоте даров (Ломоносов 1986: 175).

В дальнейшем, не без активных усилий западных философов, русские идентификации между обеими императрицами отступят перед образом Екатерины-Северной Минервы, опыт которой уникален и беспримечен в истории и современности Европы.

(Канторович 2005: 95). Интересна история также другой номинации, которую вслед за Вольтером использовали и европейские философы, и их русские собратья по отношению к Екатерине II: „Северная Семирамида“. Первоначально фернейский мудрец употребил ее в адрес Елизаветы Петровны раз двадцать во время переговоров с приближенными только что вступившей на престол дочери Петра Великого по поводу его планов написать историю ее отца (Lortholary 1951: 42). Впоследствии она становится одним из наиболее частых эпитетов, которыми фернейский патриарх называет „свою Като“. Лесть в этих метонимических прозвищах очевидна. Примененные сначала как бы по инерции, („по наследству“), они наполняются новым содержанием и становятся символом стремления философа осуществить на практике свои идеи об устройстве общества с помощью коронованной главы обширнейшего государства.

Екатерина II никогда не упускает случая подчеркнуть преемственность с Елизаветой Петровной. Мотив преемственности присутствовал как в основных документах начального екатерининского правления, так и в символике публичных событий. Е. В. Анисимов отмечает, что „... Екатерина II во время коронации в точности повторила действия Елизаветы, явно вкладывая в них тот же смысл, что и ее предшественница, взявшая власть при аналогичных обстоятельствах: „... ту корону е.и.в., приняв от архиерея с подушки, изволила возложить на свою главу“ (Анисимов 1986: 152–153). В „Наказе“, говоря о неприятии смертной казни, государыня восхваляет пример предшественницы, поклявшейся не применять это крайнее средство наказания: „... При спокойном царствовании законов и под образом правления, соединенными всего народа желаниями утвержденными, в государстве, противу внешних неприятелей защищенном, и внутри поддерживаемом крепкими подпорами, то есть силою своею и вкоренившимся мнением во гражданах, где вся власть в руках Самодержца, – в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтоб отнимать жизнь у гражданина. Двадцать лет государствования Императрицы Елизаветы Петровны подают отцам народов пример к подража-

нию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания“ (Екатерина II 2003: 103 – Наказ, гл. IX § 211). И в реальной политике, и в житейском плане можно говорить о множестве сходств между обеими владельницами России.

П. Черкасов обращает внимание на качества и обстоятельства, в которых формировалась личность Елизаветы Петровны, оставшейся без поддержки, в изоляции и в постоянном подозрении при дворе Анны Иоанновны. Ситуация, в которой находилась дочь Петра Великого, во многом походила на описанные Екатериной в автобиографии собственные испытания: „Более десяти лет Елизавета подвергалась всевозможным унижениям, ущемлялись ее права и достоинство. Длительная бездеятельность и отстраненность от государственных дел безусловно сказались на характере еще молодой, далеко не утратившей привлекательности, женщины. Взойдя на престол, она поначалу не имела привычки к регулярному, ежедневному занятию государственными делами, поручив их своим доверенным помощникам. Единственно, за чем она бдительно следила с момента восшествия на престол, так это за неприкосновенностью своих самодержавных прав. [...] От своих предшественниц она унаследовала страсть к мотовству и развлечениям“ (Черкасов 2010: 63).

Классик русской исторической науки С. М. Соловьев оценивает положительно уроки, полученные Елизаветой Петровной в тяжелые дни ее молодости. Приобретенные качества удивительно напоминают великую княгиню Екатерину: „Но, говоря о значении царствования Елизаветы, мы не должны забывать характер самой Елизаветы. Веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни в ранней молодости. Елизавета должна была пройти через тяжелую школу испытаний и прошла ее с пользой. Крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их, – эти качества, приобретенные Елизаветой в царствование Анны, когда безопасность и свобода ее постоянно висели на волоске, эти качества Елизавета принесла на престол, не потеряв добродушия, снисходительности, так называемых патриархальных привычек, любви к искренности, простоте отношений. Наследовав от отца умение выбирать и сохранять спо-

собных людей, она призвала к деятельности новое поколение русских людей, знаменитых при ней и после нее, и умела примирять их деятельность... Таким образом, воздавая должное Екатерине II, не забудем, как много внутри и вне было приготовлено для нее Елизаветой“ (Соловьев 1959, кн. XII. Т. 24: 639).

Интересный подход к личности предшественницы представлен в небольшом тексте Екатерины II, не вошедшем в текст автобиографии, но по всей вероятности служившем как бы заготовкой для интерпретации образа Елизаветы Петровны и носившем заглавие „Характеры“ (РТ: 547–550). Этот жанр входил снова в моду под влиянием Жан-Жака Руссо. Его главный предмет – стремление автора охватить в целостности сущность описываемого человека. Текст Екатерины II можно рассматривать как пробу пера, в которой она ставит себе целью осмыслить личность предшественницы в единстве полученного ею воспитания, положительных и отрицательных сторон характера, стиля жизни. Автор учитывает все, даже взаимосвязь физических качеств (несомненной красоты) и психологии Елизаветы. Фактически все отдельные пункты этого этюда имеют аналогию во всех редакциях екатерининских мемуаров. Судя по подходу императрицы к „оригинальности“ предшественницы и по почти буквальным совпадениям некоторых характеристик, этот текст создавался параллельно с „черкасовской“ редакцией, хотя, вполне может быть, использовался и во время работы над последним вариантом автобиографии.

Тема преемственности, но также сопоставления между обеими императрицами и подчеркивание – явное или нет – своего превосходства, красной нитью проходит не только сквозь официальные документы и „сценарии власти“ первых лет екатерининского правления, но также является одной из ведущих повествовательных линий в автобиографии Екатерины II. Немало страниц преемница уделяет своей девической замороженности, восхищению красотой и величием фигуры Елизаветы Петровны, которую Моника Гринлиф удачно определяет как „статуеподобной“ („statuesque“, Greenleaf 2004: 417). Наиболее обстоятельна в этом отношении „брюссовская редакция“:

Когда мы прошли через все покои, нас ввели в приемную императрицы; она пошла нам навстречу с порога своей парадной опочивальни. По истине нельзя было видеть ее в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива; на императрице в этот день были огромные фижмы, какие она любила носить, когда одевалась, что бывало с ней, впрочем, лишь в том случае, если она появлялась публично. Ее платье было из серебряного глазета с золотым галуном; на голове у нее было черное перо, воткнутое сбоку и стоящее прямо, а прическа из своих волос со множеством бриллиантов (РТ–Б: 39).

В более поздних вариантах автобиографии уже нет таких подробных портретов, и, несмотря на „справедливые“ признания красоты императрицы Елизаветы, нет того юношеского энтузиазма. Исключением является известная сцена травестийного маскарада, которую я имела случай комментировать раньше: „Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица...“ (РТ–СРЗ: 310). Этот эпизод, однако, помимо того, что подчеркивает использование мужского костюма лишь как декорацию, лестно оттеняющую женскую суету Елизаветы, имеет и еще одну важную функцию: он акцентирует внимание на таком качестве мемуаристики, как искренность:

„Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она кончила, она подошла ко мне; я позволила сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же духе самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент; она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною (РТ–СРЗ: 310).

Чистосердечие, искренность, непредвзятость комплимента, высказанного от чистого сердца, – непривычное „оружие“ юной великой княгини, особенно на фоне придворных нравов („все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною“), оцененное по достоинству суетной, но справедливой Елизаветой. В данной сцене – один из редких „динамических“ портретов предшественницы, представленной в грации своих танцевальных движений. Мемуаристка предпочитает описывать Елизавету Петровну более статично.

Положительные качества Елизаветы – ее материнская забота об опасно заболевшем великом князе с риском для собственной жизни, нетерпимость к порокам (опала входящего в фавор Бекетова только за подозрение в низких страстях), чувствительность, щедрость, родственные чувства – не обойдены вниманием мемуаристики. Исторические источники, однако, доказывают, что милосердие Елизаветы, ее добрый нрав могли вполне быть также маской, из-под которой императрица готовилась нанести неожиданный удар. Это хорошо видно по донесениям французского дипломата Ж.-Л. Фавье, который писал: „Сквозь всю ее доброту и гуманность, доведенную до крайности безрассудным обетом, в ней нередко просвечивает гордость, высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего – подозрительность. В высшей степени ревнивая к своему величию и верховной власти, она легко пугается всего, что может ей угрожать уменьшением или разделом этой власти. Она не раз высказывала по этому случаю чрезвычайную щекотливость. Зато императрица Елизавета вполне владеет искусством притворяться. Тайные изгибы ее сердца часто остаются недоступными даже для самых старых и опытных придворных, с которыми она никогда не бывает так милостива, как в минуту, когда решает их опалу. Она ни под каким видом не позволяет управлять собой одному какому-либо лицу, министру или фавориту, но всегда показывает, будто делит между ними свои милости и свое мнимое доверие“ (Фавье 2003: 195). Интерпретация образа предшественницы в автобиографии Екатерины II во многом удачно передает характерную для нее противоречивость и метание из крайности в крайность. Однако, как



и во многих других случаях, эпизоды с участием „любимой тетки нашей“ перетерпевают метаморфозы, сообразно меняющемуся замыслу повествовательницы.

„Бытовые“ эпизоды с описаниями реакций Елизаветы Петровны по разным поводам – основательным или нет – встречаются чаще в более ранних редакциях. В поздней редакции они более редки, а Екатерина II выбирает такие моменты, которые могут прочитываться прежде всего в „государственном“ плане, с точки зрения достоинств или недостатков государя. Мемуаристка подчеркивает ряд положительных качеств предшественницы. В образе Елизаветы Петровны сочетаются высокие качества – патриотизм и реалистичность государственного деятеля. В редакции 1771 года это показано на примере истории с Шетарди, поддержку которого (и респективно французского правительства) дочь Петра первоначально приняла, готовясь ко взятию власти. После восхождения на престол Елизавета отказалась быть игрушкой в руках своих союзников и заявила свою твердую позицию, высылая Шетарди. „Императрица увидела, что интересы империи отличаются от тех, какие в течение недолгого времени имела цесаревна Елизавета. Де-ла-Шетарди нашел двери, которые ему были открыты ранее, на этот раз запертыми...“ (РТ–Б: 47)<sup>30</sup>, – пишет мемуаристка, замалчивая и сильно приуменьшая, впрочем, настоящую и неблагоприятную роль своей матери в этой международной политической интриге. В поздней редакции подчеркивание патриотических мотивов уступает „бесстрастной“ хронике событий:

Маркиз де ла Шетарди, который прежде, или, вернее сказать, в первое свое путешествие, или миссию в Россию, пользовался большою милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма; эти последние были полны самой едкой желчи; их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные.

---

<sup>30</sup> Это суждение соответствует вольтеровской констатации по поводу дела царевича Алексея, что Петр был больше царь, чем отец (Voltaire 1768: 531).

Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шетарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи; у него отняли орден Св. Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из брильянтов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но, как бы то ни было, мы не уехали; с матерью, однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно (РГ–СРЗ: 214–215).

Оставаясь верной своей повествовательной манере ревизировать ранее описанные положительные качества предшественницы, Екатерина, однако, неожиданно обстоятельна и словоохотлива в рассказе об этих событиях. Сама она надевает маску невинности, непосвященности в политические дела, и описывает все сложные повороты интриги остраненно и дистанцированно.

Высоко ценит Екатерина проницательность предшественницы, ее стремление быть справедливой в решительные моменты, когда по сути дела речь идет о будущем страны. В этом отношении показателен один из финальных эпизодов екатерининской автобиографии – момент решительного объяснения Елизаветы Петровны, Петра Федоровича и великой княгини, когда решается дальнейшая судьба последней:

Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения против меня; он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня; но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели, и ум и проницательность императрицы стали на мою сторону.

Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и уверенные ответы на выходявшие из границ речи моего супруга, по которым было ясно, как день, что он стремится к тому, чтобы очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою настоящую любовницу. Но это могло быть не по вкусу императрице и даже, может быть, не в расчетах господ Шуваловых подпасть под власть графов Воронцовых, но это соображение превышало мыслительные способности Его Императорского Высочества, который верил всегда всему, чего желал, и отстранял всякую мысль, противную

той, какая над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала мне вполголоса: „Мне надо будет многое вам еще сказать; но я не могу говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше“, а глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных. Я, видя этот знак задушевного доброжелательства, который она мне давала в таком критическом положении, была сердечно тронута и сказала ей также очень тихо: „И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу“.

Я увидела, что то, что я ей сказала, произвело на нее очень сильное и благоприятное впечатление. У нее показались на глазах слезы, и, чтобы скрыть, что она взволнована и до какой степени, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и, действительно, было около трех часов утра (РТ–СРЗ: 454).

Справедливость, государственная мудрость Елизаветы, ее умение предвидеть риски и возможное развитие отношений между ее приближенными, ее чувствительность и верная оценка людей и обстоятельств подчеркнуты ее преемницей.

В пользу реалистичности политического поведения императрицы Елизаветы и ее озабоченности о будущем империи можно привести ее тревоги о том, какого наследника она оставит своему государству:

Насчет своего племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я; она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения, и, когда дело его касалось, она в своей комнате не иначе говорила о нем, как заливаясь горькими слезами над несчастьем иметь такого наследника, или же проявляя свое к нему презрение и часто называя его именами, которых он более чем заслуживал. Доказательства этому были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы, не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая – графу Разумовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту.

В одной из них было такое выражение: „Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более“; а в другой она говорила: „Племянник мой урод, черт его возьми“ (РТ–СРЗ: 443).

Эти характеристики наследника повторяются перед самым концом „Собственноручных записок“, накануне второго разговора с Елизаветой Петровной и после встречи с ее духовником, послужившим посредником между обеими державными женщинами:

На следующий день я просила племянницу духовника поблагодарить ее дядю за отменную услугу, которую он мне только что оказал, устроив мне этот разговор с императрицей. Она вернулась от своего дяди и сообщила мне, что духовник знает, что императрица сказала о своем племяннике, что он дурак, но что великая княгиня очень умна. Эти слова дошли до меня с нескольких сторон, и говорили, что Ее Императорское Величество то и дело хвалит своим близким мои способности, прибавляя часто: „Она любит правду и справедливость; это очень умная женщина, но мой племянник – дурак“ (РТ–СРЗ: 455–456).

Безусловно, эти крайне отрицательные характеристики супруга-соперника, вложенные в слова предшественницы, и ее беспокойство, связаны с так называемым „проектом Бестужева“ о престолонаследии, согласно которому Елизавета Петровна передавала русский престол невестке<sup>31</sup>. Этот проект, который так и не был реа-

---

<sup>31</sup> Сама Екатерина в одной из черновых заметок автобиографического характера говорит об этом документе, вспоминая обстоятельства ареста Бестужева: „Канцлер Бестужев был арестован в 1757, 14 или 15 февраля в субботу. На следующее утро меня об этом известили [...] я решила, что дело могло близко затронуть меня, тем более, что с тех пор, как влияние графа Бестужева у императрицы Елизаветы пало, он усиленно добивался расположения великого князя и моего в особенности и дошел до того, что составил письменный проект, чтобы доставить мне в случае смерти императрицы (здоровье которой было уже сильно расстроено несколько лет) участие в престолонаследии и правлении с моим супругом; я видела этот проект, я исправила его собственноручно, и хотя он был у меня в руках, я не могла знать, не остался ли черновик в бумагах этого графа, также, как и некоторые мои письма; все это могло бы навлечь столько обвинений на меня“ (РТ: 501).

Императрица не преминула повторить этот эпизод также в последней редакции своей автобиографии: „Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы заставляли всех обращать взоры на будущее; граф Бестужев, и по своему месту и по своим умственным способностям, не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последний. Он знал антипатию, которую давно внушили великому князю против него; он был весьма сведущ относительно слабых способностей

лизован, получил своеобразное продолжение в символическом жесте предшественницы накануне ее смерти. Согласно донесениям датского посла Гакстгаузена своему правительству от 25 декабря 1761/5 января 1762 г. и 29 декабря 1761/9 января 1762 г., тяжело больная Елизавета Петровна, чувствуя приближающуюся кончину, позвала к себе великого князя и великую княгиню, чтобы проститься. В последние часы жизни умирающая императрица, как только ей немного полегчало, позвала к себе во второй раз только

---

этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякий другой, возымел желание удержаться на своем месте; уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которые мне против него внушили; к тому же он смотрел на меня лично, как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрицы не станет. Это и подобные размышления заставили его составить план, по которому со смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, а в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, что все должностные лица останутся, а ему дадут звание подполковника в четырех гвардейских полках и председательство в трех государственных коллегиях: в коллегии иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны.

Проект этого манифеста он мне прислал, написанный рукою Пуговишников, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю его за его добрые насчет меня намерения, но что я смотрю на эту вещь, как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз, изменял его, пополнял, сокращал; казалось, он был им очень занят. По правде говоря, я смотрела на его проект, как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобрести себе все более и более мою привязанность; но на эту удочку я не клюнула, потому что я считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и не любившим меня моим супругом. Но так как я не видела еще наличности самого факта, то я не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем он меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали“ (РТ—СРЗ: 433—434). Как всегда, мемуаристка старается смягчить невыгодные для ее имиджа обстоятельства и меняет акценты по сравнению с черновой редакцией этого отрывка, объясняя проект Бестужева его корыстью (забывая, что чуть раньше хвалила его патриотизм — с. 429) и своим нежеланием раздражать влиятельного министра, но и подчеркивая реалистичность своего политического чутья.

Екатерину<sup>32</sup> (Гакстгаузен 1914: 265, 267). В автобиографии благоприятное отношение дочери Петра к великой княгине, знак „задушевного доброжелательства“ (с. 454) к ней, особенно на фоне их сложных и неоднозначных отношений на протяжении семнадцати лет, свидетельствовал о готовности героини мемуаров к ее миссии и в лишней раз легитимировал правление Екатерины II.

Гораздо больше эпизодов посвящены недостаткам Елизаветы Петровны. Помимо чисто бытового аспекта, интересно рассмотреть эту проблему с точки зрения проблемы „просвещенного монарха“ в екатерининских мемуарах. Даже совсем заурядные „женские“ слабости имеют свою „серьезную“ интерпретацию в автобиографии императрицы. Многие из прихотей и недостатков Елизаветы Петровны стали нарицательными. Они часто попадают в фокус внимания в разного рода биографических студиях о жизни обеих державных дам. Тут можно упомянуть и о четырех тысячах платьев, сгоревших в пожаре московского дворца (РТ–СРЗ: 346<sup>33</sup>), и о том, что Елизавета Петровна не любила, чтобы другие дамы были наряднее ее самой, ревнуя в особенности к тем, кто помоложе и может представлять какую-нибудь конкуренцию. Колоритные эпизоды в этом духе изобилуют прежде всего в редакции, посвященной барону Черкасову:

Императрица начала разговор с того, что мать ей сказала, что я выхожу замуж за великого князя по склонности, но мать, очевидно, ее обманула, так как она отлично знает, что я люблю другого. Она меня основательно

---

<sup>32</sup> В следующих депешах посланник сообщает о том, что за шесть дней до кончины Елизавета Петровна выражала намерение возвести на престол маленького великого князя (Павла, – А. В.) и назначить его мать опекушкой (Гакстгаузен 1914: 271). Второй заслуживающий внимания момент – старания новой императрицы влиять на решения своего мужа: „Императрица удваивает свои усилия, чтобы подчинить себе Государя, своего супруга, и управлять им, но я сомневаюсь, чтобы ей удалось этого достигнуть. Мlle Воронцова берет над нею верх“ (Гакстгаузен 1914: 270).

<sup>33</sup> Штелин в своих записках называет цифру 15 тысяч платьев, „частью совсем не ношенных“, „башмаков и туфель до нескольких тысяч“, занимавшие „несколько комнат и зал“, которые нашел после смерти Елизаветы в ее покоях Петр III (Штелин 2003: 36).

выбрала, гневно и заносчиво, но не называя, однако имени того, в любви к кому меня подозревали. Я была так поражена этой обидой, которой я не ожидала, что не нашла ни слова ей в ответ. Я заливалась слезами и испытывала отчаянный страх перед императрицей; я ждала минуты, когда она начнет меня бить, по крайней мере, я этого боялась: я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров. Я не могла избавиться от этого бегством, так как стояла спиной к двери, а она прямо передо мной. [...] ... он [великий князь – А. В.] вошел... императрица, как только его увидела, переменила тон, очень ласково стала беседовать с ним о безразличных вещах, не говоря со мной и не глядя на меня более и после нескольких минут разговора ушла в свои покои (РТ–Ч: 87).

В один прекрасный день этой зимы императрице пришла фантазия велеть всем придворным дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались; императрица послала им черные плохо расчесанные парики, которые они принуждены были носить, пока не отросли волосы. Городские дамы получили приказание не являться ко двору иначе, как в таких париках, надетых поверх их волос; оны были наряжены еще хуже придворных дам: их волосы под париками поднимали эти последние, а у придворных дам с бритыми головами парик был по крайней мере ближе к голове. Так как императрица велела себя обрить, как и других, что и послужило поводом произвести ту же операцию над всеми ее дамами, я думала, что наступит моя очередь; Чоглокова, которая ее перенесла, все же доложила мне, что императрица меня от этого избавляет, ввиду того, что мои волосы только что отросли, так как после болезни в Москве, волосы мои выпали и голова была гладка, как ладонь. В это время у меня были великолепнейшие волосы; они естественно вились, без завивок, и, несмотря на это, не были курчавыми. Императрица объяснила причину этого общего благодеяния тем, что, не знаю, по случаю какого праздника, не имела возможности снять пудру с своих волос; чтобы появиться без пудры, она порешила вычернить волосы, а эта краска не хотела сойти с волос; не знаю, в чем было дело, но всем было известно, что Ее Величество была белокурой, и что она всегда красила свои волосы, брови и даже веки в черный цвет (РТ–Ч: 97–98).

Моя дорогая тетушка была очень подвержена такой мелочной зависти, не только в отношении ко мне, но и в отношении ко всем другим дамам; главным образом преследованию подвергались те, которые были моложе,

чем она. Эту зависть простирала она так далеко, что случилось, что однажды при всем дворе она подозвала к себе Нарышкину, жену обер-егермейстера, которая, благодаря своей красоте, прекрасному сложению и величественному виду, какой у нее был, и исключительной изысканности, какую она вносила в свой наряд, стала предметом ненависти императрицы, и в присутствии всех срезала ножницами у нее на голове прелестное украшение из лент, которое она надела в тот день. В другой раз она лично сама остригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин под тем предлогом, что не любит фасон прически, какой у них был; одна из них была графиня Ефимовская, вышедшая впоследствии замуж за графа Ивана Чернышева, а другая княжна Репнина, жена Нарышкина, – и обе девицы уверяли, что Ее Величество с волосами содрала и немножко кожи (РТ–Ч: 139–140).

Тогда уезжал Бретлах, посол Венского двора; в знак отличия, императрица разрешила ему сюда заехать, так как это имение было ему почти по дороге, и, чтобы принять его, она приказала всем дамам надеть на полулюбки из китового уса короткие юбки розового цвета, с еще более короткими казакинами из белой тафты, и белые шляпы, подбитые розовой тафтой, поднутые с двух стороны спускающиеся на глаза; окутанные таким образом, мы походили на сумасшедших, но это было из послушания (РТ–Ч, 122).

... Тогда императрица опять велела позвать Чоглокову и намылила ей голову за то, что та старалась ее обмануть<sup>34</sup>; та ответила, что сама была обманута и это была правда, и тогда императрица обозвала ее глупой, дурой, скотиной, словом, гнев Ее Величества против Чоглоковых был так велик, что весь двор с минуты на минуту ждал их удаления... (РТ–Ч: 133).

---

<sup>34</sup> Во время любовной интриги Чоглокова с забеременевшей от него Кошелевой, которую Чоглокова старалась не предавать огласке.

Интересно, что этот эпизод – один из малочисленных, которые были развиты в поздней редакции; он занимает почти две страницы печатного текста. Как можно и ожидать, акцент в ней смещен от отрицательной реакции императрицы на нравственность пары Чоглоковых, которые даже после этого скандала стали более близкими, чем до этого, объединенные „кучей детей“ и риском потерять свое положение при дворе („разъединенные в любви, они были связаны по интересу“ – РТ–СРЗ: 270–271). Грубость в этот раз приписана Чоглоковой, а Елизавета Петровна выступает весьма сдержанной и строгой миротворицей в семье своей двояродной сестры и приближенной.



Подобные эпизоды показывают недостойные не только для монархии великой державы, но и для обыкновенного человеческого существа качества: грубость, подозрительность, суеверие, мелочность в бытовых делах, женскую зависть и пр. „В удовлетворении своих прихотей Елизавета, казалось, не знала границ, самодурствуя как богатая барыня“, констатирует на основании екатеринских записок Е. В. Анисимов (Анисимов 1986: 158). Это отрицательные черты, которых явно больше, чем положительных. В центре внимания – преимущественно настроения царицы, которые непредвидимы и противоречивы:

... что же касается моей застенчивости, то трудно, чтобы не было ее перед государыней, настроение которой так трудно было узнать, которая вступала в общение лишь с очень немногими лицами и говоря с которой всегда рискуешь, что прицепится к не понравившемуся ей слову, чтобы напасть на тебя и наговорить тебе неприятностей; часто видала я, как случалось это в разговоре с великим князем и это мне придавало больше сдержанности, заставляя взвешивать и подбирать свои выражения прежде, чем их высказать (РТ–Ч: 81–82)<sup>35</sup>.

Особенно красноречив в этом отношении эпизод на охоте, когда на глазах великого князя и великой княгини, императрица гневно распекает провинившегося в ее глазах егеря:

Императрица поехала в Софино [...] На другой день по приезде в это место мы пошли в ее палатку; там мы увидели, что она бранит управляющего этим имением. Она ездила на охоту и не нашла зайцев. Этот человек был бледен и дрожал и не было ругательства, какого бы она ему не высказала; по истине она была в бешенстве. Видя, что мы пришли поцеловать ей руку, она поцеловала нас по обыкновению и продолжала бранить своего человека; в своем гневе она проезжалась насчет всех, против кого что-либо имела или на кого была сердита. Она доходила до этого постепенно,

---

<sup>35</sup> Сходный эпизод есть также в „Характерах“: „А нужно при этом заметить, что говорить в присутствии Ее Величества было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем разговора, которых она не любила; например, не следовало совсем говорить ни о Прусском короле, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках; все эти предметы разговора ей не нравились (РТ: 549)

и велика была беглость ее речи. Она между прочим стала говорить, что она очень много понимает в управлении именем, что ее научило этому царствование императрицы Анны, что, имея мало денег, она умела беречься от расходов, что если бы она наделала долгов, то она боялась бы страшного суда, что если бы она умерла тогда с долгами, никто не заплатил бы их и душа ее пошла бы во ад, чего она не хотела; что для этого дома и когда не было особой нужды, она носила очень простые платья, кофту из белой тафты, юбку из серого гризету, чемч и делала сбережения, и что она отнюдь не надевала дорогих платьев в деревне или в дороге; это было в мой огород: на мне было лиловое с серебром платье. Я это запомнила твердо. Это поучение – потому что иначе и нельзя назвать, так как никто не говорил ни слова, видя, как она пылает и сверкает глазами от гнева – продолжалось добрых три четверти часа. Наконец ее шут Аксаков прекратил это: он вошел и подал ей в своей шапке маленького ежа. Она пошла к нему взглянуть, и как только его увидела, взвизгнула и сказала, что он похож на мышь, и побежала со всех ног внутрь палатки, потому что смертельно боялась мышей. Мы больше ее не видели... (РТ–СРЗ: 285–286).

Сильный гнев из-за пустяка, недостойное для высокого сана поведение, придирки, наконец, комический финал сцены подчеркивают неровность в поступках Елизаветы, в то время как героиня мемуаров выносит даже из этой мелочной ситуации свой очередной урок, учитывая также собственную оплошность.

Все эти эпизоды должны были показать последствия неограниченной власти, когда она находится в руках непросвещенного монарха. Из всесильного и действенного инструмента власть превращается в самоволие, „самовластие“. В понятиях конца XVIII–XIX века самовластие было синонимом тирании и деспотизма. Эпизоды с самодурствующей Елизаветой, поддающейся своим импульсивным состояниям по мелочным поводам, и не только не умеющей, но даже и не стремящейся подавить свои страсти, несмотря на весь их „бытовизм“, имеют прямое отношение к проблеме отношения монарха и закона. „Непременные фундаментальные государственные законы и власть, и фрондирующая элита, следуя за догматами века Просвещения, наделяли особой силой, способной установить разумный порядок и привести к всеобщему благоденствию. Но если престол видел в них залог устойчивости самодер-

жавного правления, то оппозиционно настроенная аристократия – определенную страховку от *самовластия* [...] В общественно-политической лексике XVIII века понятия *самовластие* и *самодержавие* имели разное, иногда даже противоположное значение. *Самовластие* отождествлялось с *беззаконием*, *деспотизмом* и очень часто с *фаворитизмом*, ненавистным для правящей элиты и дворянской родовой аристократией“, – отмечает Е. Н. Марасинова (Марасинова 2014: 371–372. Курсив автора). Бытовые проявления несоблюдения права подданных на выражение своей индивидуальности, неспособность отсеять пустячные провинения и даже прибегать к неопозволительному рукоприкладству – доказательство компрометированности предшественницы как „русской Астреи“, гаранта законности и справедливости. По поводу ссылки Лестока, одного из ближайших лиц Елизаветы, подвергнувшегося опале при недоказанной вине, Екатерина II писала: „... На ухо друг другу сообщали даже, что, несмотря на все розыски, ничего против него найдено не было; тем не менее его сослали, и все имущество его было конфисковано. Императрица не имела достаточно мужества, чтобы оправдать невинного; она боялась бы мести со стороны подобного лица, и вот почему с ее воцарения, виновный или невинный, никто не вышел из крепости, не будучи по крайней мере не сосланным“ (РГ–Ч, 141)<sup>36</sup>.

В „Собственноручных записках“ такие колоритные эпизоды, запечатлевшие незаурядную натуру Елизаветы Петровны и отдающие сплетней, уже отсутствуют, может быть, к великому неудовольствию читателей<sup>37</sup>. Однако осмеяние самодурства дочери

---

<sup>36</sup> В поздней редакции острые обвинения в адрес Елизаветы Петровны уже отсутствуют, а о деле Лестока рассказано лаконично и бесстрастно, хотя и сообщаются некоторые подробности обвинения: „... граф Лесток, будучи заключен в крепость, в течение первых одиннадцати дней своего заключения хотел уморить себя голодом, но его заставили принять пищу. Его обвиняли в том, что он взял десять тысяч рублей от Прусского короля, чтобы поддерживать его интересы, и в том, что он отравил некоего Этингера, который мог свидетельствовать против него. Его пытали, после чего сослали в Сибирь“ (РГ–СПЗ, 275).

<sup>37</sup> В. Проскурина обращает внимание на факт, что в 1780-е годы Екатерина сама неоднократно провоцировала рассказы о ничтожестве Елизаветы и ее двора.

Петра, перенявшей у отца и своих предшественниц „варварскую“ идею безграничного своеволия государя, не совсем укладывалось в задачи мемуаристики. Искушение свести счеты за пережитые горести и обиды, осмеяв выходки предшественницы, уступило философскому осмыслению ее поведения – человеческого и царствующей особы. Слишком большое скопление подобных эпизодов о „непросвещенном“ поведении предшественницы ставило под вопрос преемственность, на которую Северная Минерва акцентировала в своем правлении и не преминала напоминать даже в поздний период своего царствования. Это было особенно важно в начале 90-х годов XVIII века, когда на фоне французских событий, легитимность власти не должна была вызывать никаких сомнений.

Характерным лейтмотивом во всех редакциях екатерининской автобиографии, особенно сильно проявляющийся в поздней редакции – неупорядоченный распорядок дня Елизаветы Петровны. Еще в „брюсовской“ редакции есть эпизод, описывающий день императрицы:

Мы очень мало видели императрицу, хотя каждый вечер около шести часов мы отправлялись так же, как в Москве, в галерею ее покоев; но, кроме воскресений и праздников, она не выходила из своих внутренних апартаментов и большею частью спала в эти часы, или считалось, что спит; ночь она проводила без сна с теми, кто был допущен в ее интимный круг, она ужинала иногда в два часа по полуночи, ложилась после восхода солнца, обедала около пяти или шести вечера и отдыхала после обеда час или два, между тем как нас с великим князем заставляли вести самый правильный образ жизни: мы обедали ровно в полдень и ужинали в восемь часов и все было кончено в десять (РГ–Б, 66)<sup>38</sup>.

---

Эти мотивы проскальзывают в педагогическую сказку императрицы о царевиче Февее, откуда их заимствует Г. Р. Державин для своей оды „Решемысл“, в которой противопоставляет образы двух цариц: ленивой, которая „блистала славой и красотой под соболиным одеялом“, и другой, „которая сама трудится для блага области своей“ (Проскурина 2006: 232).

<sup>38</sup> Ср. с соответствующим фрагментом из „Характеров“: „В довершение оригинальности, никто никогда не знал час, когда Ее Величеству угодно будет обедать или ужинать, и часто случалось, что эти придворные, проиграв в карты (единственное их развлечение) до двух часов ночи, ложились спать, и только что

„... императрица... меняла постоянно внутреннее расположение всего дворца (кстати сказать, она не выходила никогда из своих покоев на прогулку или в спектакль, без того, чтобы в них не произвести какой-нибудь перемены, хотя бы только перенести ее кровать с одного места на другое или из одной комнаты в другую, ибо она редко спала два дня на том же месте; или же снимали перегородку, либо ставили новую; двери точно также постоянно меняли места... (РТ–Ч, 144–145).

Кроме того, так как у императрицы не было никакого определенного часа ни для еды, ни для отдыха, то все мы были измучены, как господа, так и слуги (РТ–СРЗ, 250).

Несмотря на заметную редукцию, описание подобных навыков Елизаветы Петровны фигурирует во всех редакциях текста. Это – важная концептуальная деталь в противопоставлении „регулярного“, „рационального“ стиля жизни Екатерины с „азиатским“, „варварским“ стилем ее предшественницы. Эти подробности не были только следствием какой-то личной неприязни, а важнейшим компонентом образа государя и даже страны (см. Элиас 2002; Johnson 1978).

Придворный этикет был не просто набором правил поведения избранных. Доведенной до совершенства во времена Людовика XIV во Франции, он был важнейшим символом абсолютистского государства и своеобразной гарантией положительного имиджа страны. Со всей строгостью этикет неуклонно соблюдался вплоть до конца Старого режима, несмотря на обременительность не только для придворных, но и для царствующей особы. Придворный этикет Короля-Солнца и его наследников на французском престоле служил образцом для подражания для всех остальных дворов Европы, как для современников, так и в более поздние эпохи. Государь (король,

---

они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы присутствовать на ужине Ее Величества; они являлись туда, и так как она сидела за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась, говоря: „Они любят быть только в своей компании; я их так редко зову, да и то они только и делают, что зевают и нисколько не хотят развлечь меня“. Эти ужины кончались иногда тем, что императрица бросала с досадой салфетку на стол и покидала компанию“ (РТ: 549).

респективно император) был в центре этикета и его умение балансировать между различными придворными группами, опираясь на строго размеренный и распланированный до минуты неизменный порядок дня, рассматривалось как гарантия устойчивости социума (Элиас 2002: 113–114; 147). Сама Екатерина II, если абстрагироваться от ее природы „жаворонка“ против очевидной природы „совы“ Елизаветы Петровны, уделяла этому вопросу большое внимание и использовала неформальные каналы своей переписки, чтобы рекламировать строгое соблюдение рациональной организации своего ежедневия. Показательна в этом отношении ее переписка с г-жой Жоффрен, которая было попросила одну из придворных дам императрицы описать ей день государыни. Екатерина II сама взялась за ответ влиятельной владелице парижского салона. В одном из своих писем от 6 ноября 1764 года к г-же Жоффрен Екатерина II писала:

Я не полагала, чтобы за девять сот миль отсюда интересовались мною, но так как это вам угодно и вы желаете узнать от Настасьи как я провожу свой день, я вам расскажу это лучше ее, ибо она не всегда со мною. Не будьте скандализированы, если найдете разницу с парижскими нравами. Я встаю аккуратно в 6 часов утра. Читаю и пишу одна до 8. Потом приходят мне читать разные дела; всякий кому нужно говорить со мной, входит по очередно, один за другим; так продолжается до 11 и далее; потом я одеваюсь. По воскресеньям и праздникам я иду к обедни; в другие же дни выхожу в приемную залу, где обыкновенно дожидается меня множество народа; поговорив полчаса или  $\frac{3}{4}$  часа, я сажусь за стол; по выходе из-за стола является *гадкий*<sup>39</sup> генерал, чтобы читать мне наставления; он берет книгу, а я свою работу. Чтение наше, если его не прерывают пакеты с письмами и другие помехи, длится до пяти часов с половиною; тогда или еду в театр, или играю, или болтаю с кем-нибудь до ужина, который кончается до 11 часов, затем я ложусь и на другой день повторяю то же самое, как по нотам (СИРИО 1867, I: 261)<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> И. И. Бецкой, которого г-жа Жоффрен хорошо знала. Это определение – шутка между обеими дамами. Несколько ниже Екатерина сама говорит об огромной занятости своего вельможи „не только должностью, но и множеством заведений и проектов“ (там же).

<sup>40</sup> Подобным образом описывает Екатерина свое ежедневие и в письме от 9.09.1767 г. к подруге своей матери г-же Бьелке: „Если вы любопытствуете знать

Этот строгий распорядок дня поддерживался за малыми изменениями Екатериной вплоть до конца ее жизни<sup>41</sup>. Несмотря на то,

---

мой образ жизни, то я вам расскажу о нем: встаю я в шесть часов и до восьми с половиною читаю или пишу совершенно одна в моем кабинете. Около девяти являются мои секретари, и я остаюсь с ними до одиннадцати. Потом я одеваюсь и в это время болтаю с теми, которые в моей комнате. Мой туалет не всегда продолжается с час. Затем я перехожу в приемную: обедаю между часом и двумя. После обеда шью и заставляю читать себе книгу до четырех часов, когда приходят те, которые не могли говорить со мною о делах утром, и я остаюсь с ними до шести, после чего выхожу или гулять, или играть, или болтать, или в спектакль. Ужинаю между девятью и десятью часами. После ужина отправляюсь спать“ (Фасад и задворки 2007: 304).

<sup>41</sup> Это подтверждается воспоминаниями секретаря Екатерины II А. Грибовского, служившего у нее на протяжении 14 лет: „В обыкновенные дни Государыня в Зимнем Дворце вставала в 7 часов; до 9 занималась в зеркальном кабинете, по большей части сочинением устава для Сената (я говорю о том времени, когда я при Ее Величестве находился); в 10-м часу выходила в спальню и садилась на стул (а не в креслах), обитый белым штофом, пред выгибным столиком, к коему приставляем был еще другой таковой же, обращенный выгибом в противную сторону, для докладчика; и перед ним стул. В сие время дожидались в уборной все имевшие дела для доклада; а дежурный камердинер в собственном платье тогдашнего наилучшего покроя и произвольного цвета (мундиров тогда, кроме лакейских и камер-лакейских, придворные чины и служители не носили), в башмаках, черных шелковых чулках и с пудреною прическою, стоял у дверей спальни; по звонку колокольчика он входил в спальню, и получал приказание позвать прежде всех Обер-Полицмейстера. За ним входили, по призыву, и с докладами все прочие. Вошедший поклонялся по обыкновению, целовал руку, и, когда угодно ей это было, и если имел дела для доклада, то, по данному знаку, садился за столик против Государыни, и докладывал. За ним входили, по призыву, и с докладами все прочие. Вошедший поклонялся по обыкновению, целовал руку, и, когда угодно ей это было, и если имел дела для доклада, то, по данному знаку, садился за столик против Государыни, и докладывал. Статс-Секретари ежедневно, Вице-Канцлер по четвергам, а Генерал-Прокурор по воскресеньям, с сенатскими мемориями. В двенадцать часов слушание дел прекращалось; Государыня выходила в малый кабинет, для прически волос, которые тогда довольно еще были густы; прическа оканчивалась не более как в четверть часа. В сие время приходили оба Великие Князья, а иногда Великия Княжны, для поздравления с добрым днем. После Государыня выходила в уборную для наковки головнаго убора, что также не более четверти часа продолжалось; при сем представляться могли все те, кои имели в уборную вход, и несколько камер-юнгфер. [...] Одевшись, до обеда Государыня занималась чтением книг или слепками камеев, которые она иногда дарила. В два

что этикет русского двора не был столь строгим, как это было во Франции, стиль жизни монарха, предвидимость и „запрограммированность“ как его жизни, так и жизни его окружения, были знаком упорядоченности дел империи<sup>42</sup>.

Северная Минерва нередко использовала неофициальные каналы для поддержки своего положительного имиджа. По обычаю того времени письма известных людей часто читались на публике, их обсуждали, о них говорили в обществе, переписывали. Такой подробный „отчет“ о жизни владельницы огромной империи, подчиненной строгому „разумному“ и неизменному порядку без суеты (не в ногу с „парижскими нравами“), адресованный такой влиятельной владелице салона, был гарантией позитивного восприятия личности недавно воцарившейся царицы. Это было важно не только на фоне упорных слухов о ее вине в смерти ее мужа, но и на фоне всего того, что было известно об образе жизни Елизаветы. В автобиографии же „самый правильный образ жизни“ великой княгини – залог ее будущих успехов.

---

часа садилась за стол; после обеда время проходило в чтении иностранной почты, в те дни, когда она приходила, а в другие или чтением какого-либо сочинения, до законодательства относящегося, или помянутыми снимками камеев. В Царском Селе, в долгие летние дни иногда немного спала. В шесть часов начиналось вечернее собрание в ее покоях, или в театре, в эрмитаже; в десятом часу все разъезжались, и в одиннадцать часов Императрица почивала. Образ жизни Императрицы в последние годы был одинаков“ (Грибовский 1847: 34–36).

<sup>42</sup> В отличие от своей державной тетушки, Петр III также, как и его супруга, соблюдал строгий порядок своих занятий за недолгое время своего царствования, особенно в первые три месяца своего правления. Его наставник Яков Штелин вспоминает, что „Каждое утро он вставал в семь часов и во время одевания отдавал генерал- и флигель-адъютантам свои повеления на целый день. В 8 часов сидел в своем кабинете, и тогда к нему являлись с докладами сперва генерал-прокурор Сената (Александр Иванович Глебов) и так, один за другим, президенты Адмиралтейской военной коллегии: он разрешал и подписывал их доклад до 11 часов. Тогда отправлялся он на дворцовую площадь, на смотр парада при смене гвардии, а оттуда в 1 к обеду“ (Штелин 2003: 34). Далее наставник дополняет: „Его похвальные поступки в первые три месяца: каждое утро он проводит в кабинете с министрами, посещает Сенат и все коллегии, также и Синод; везде его принимают с восторгом...“ (Штелин 2003: 35).



В. Ивлева обращает специальное внимание на „женские“ занятия, которыми любила заниматься императрица во время отдыха: вышиванием, другими видами рукоделия. Иногда это происходило, пока Екатерине на досуге читали. По мнению исследовательницы, это подчеркивает женственность русской государыни, которая таким образом внушала окружающим чувство домашнего уюта. Во-вторых, это „женская“ параллель к императору-плотнику Петру Великому. Ивлева отмечает также активное использование метафоры шитья, рукоделия в переписке Екатерины II на политические темы (Ivleva 2015: 32–33). Использование каждой минуты, даже досуга, для чего-нибудь полезного – залог упорядоченности „дома“, за который отвечает его „хозяйка“.

Неупорядоченность жизни дочери Петра была связана также с другой проблемой поведения „просвещенного монарха“, которую Екатерина II ставит в своей автобиографии на примере предшественницы. Мемуаристка рассказывает о таком недостатке в стиле правления предшественницы, как ее **непоследовательности** в ежедневных обязанностях по управлению государством. Надо отметить, что воспоминания Екатерины находят не только параллели, но порой совпадают почти буквально, с отчаянными донесениями своим правительствам иностранных послов при елизаветинском дворе. „От того, мог ли самодержавный монарх реально управлять государством, каковы его способности, интересы, привычки, кому он поручал или перепоручал дела, в небольшой степени зависел вопрос о ведущих направлениях внутренней и внешней политики державы, которую он олицетворял“, – отмечает Е. Анисимов (Анисимов 1986: 153). Прусский посол Финкенштейн отмечал „малое усердие ее к делам и отвращение от трудов“ (Финкенштейн 2000: 290). Наблюдательный и точный в данных им характеристиках французский посол Ж.-Л. Фавье писал в своем донесении: „Девятнадцатилетнее царствование этой государыни дало всей Европе возможность ознакомиться с ее характером. В ней привыкли видеть государыню, исполненную доброты и гуманности, великодушную, либеральную и щедрую, но легкомысленную, беспечную, питающую отвращение к делам, любящую

сверх всего удовольствия и развлечения, верную скорей своим вкусам и привычкам, чем страстям и дружбе, до крайности доверчивую и всегда находящуюся под чьим-нибудь влиянием... Годы и расстроенное здоровье, произведя постепенные изменения в ее организме, отразились и на ее нравственном состоянии... Любовь к удовольствиям и шумным празднествам уступила в ней место расположению к тишине и даже уединению, но не к труду. К этому последнему императрица Елизавета Петровна чувствует большее, нежели когда-либо, отвращение. Для нее ненавистно всякое напоминание о делах, и приближенным нередко случается выжидать по полугоду удобной минуты, чтобы склонить ее подписать указ или письмо“ (Фавье 2003: 193). Сама Екатерина в „Характерах“ отмечает непоследовательность в делах Елизаветы Петровны как следствие ее воспитания, но также и влияние ее окружения: „Льстецы и сплетницы довершили дело, внося столько мелких интересов в частную жизнь этой государыни, что ее каждодневные занятия сделались сплошной цепью капризов, ханжества и распушенности, а так как она не имела ни одного твердого принципа и не была занята ни одним серьезным и солидным делом, то при ее большом уме она впала в такую скуку, что в последние годы своей жизни она не могла найти лучшего средства, чтобы развлечься, как спать, сколько могла; остальное время женщина, специально для этого приставленная, рассказывала ей сказки“ (РТ: 548). Неохота Елизаветы Петровны приводить в дело принятые решения или исполнять данные обещания, склонность откладывать, бесконечно затрудняли жизнь приближенным<sup>43</sup>, но также были чреваты далеко идущими последствиями для государства.

Отказ Елизаветы заниматься государственными делами в последние годы ее жизни и медлительность, хаотичность в управлении страной часто упоминаются Екатериной, которая вводит таким образом невольно напрашивающуюся параллель с рацио-

---

<sup>43</sup> „Тогда свадьбы при дворе по получении согласия императрицы совершались только по истечении нескольких лет ожидания, потому что Ее Императорское Величество сама назначала день, очень часто надолго это забывала, а когда ей напоминали, она откладывала с одного срока на другой“ (РТ-СПЗ: 308).

нальным порядком собственной практики. Это и редкие присутствия императрицы в заседаниях „конференции“ с канцлером и министрами, и практическая невозможность подготовить к власти своего преемника, несмотря на принципиальное ее беспокойство по этому вопросу: „Я даже побудила его [великого князя – А. В.] испросить позволения присутствовать в конференции, которая заступала у императрицы место совета. Действительно он говорил об этом Шуваловым, которые склонили императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать; это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен, ибо она приходила туда с ним раза два-три и больше ни она, ни он туда не являлись“ (РТ–СРЗ: 399–400). Особенно фрапирующими являются случаи непрочитанных до конца или вообще документов, касавшихся важнейших событий в жизни государства. Отказ Елизаветы вникнуть в суть документов и разобраться в них, даже когда речь идет о действительных или мнимых заговорах против ее власти, поразителен. В „черкасовской“ редакции Екатерина II рассказывает об исходе дела Батурина:

Несколько лет спустя после моего восшествия на престол это дело попало мне в руки; я его нашла среди бумаг императрицы Елисаветы; оно было ей передано для того, чтобы Ее Величество постановила о нем свое решение. Оно было очень объемисто, и вследствие этого до своей смерти императрица не имела о нем правильного представления; она наверно его не прочла. Дело это было, может быть, одним из самых серьезных в ее царствование, хотя оно было затеяно безрассудно и неосторожно и, говоря без обиняков, это был заговор по всей форме; Батурин убедил сотню солдат своего полка присягнуть великому князю; он уверял, что получил на охоте согласие этого князя на возведение его на престол. [...] Граф Александр Шувалов велел заключить Батурина в Шлиссельбургскую крепость в ожидании решения императрицы, которого однако никогда не последовало; оттуда я его сослала в 1770 г. в Камчатку за глупости, которые он писал и хотел распространять при помощи карауливших его солдат... (РТ–Ч, 170–171).

Подобным образом развивается политическая интрига вокруг дела бывшего канцлера Бестужева, которого беспечность императрицы Елизаветы, может быть, спасает от более тяжелой участи:

„Говорили, что он (Бестужев – А. В.) писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы. Но так как Ее Императорское Величество ничего не писала и не подписывала, то трудно было поступать против ее приказаний; что же касается устных повелений, то Ее Императорское Величество совсем не была в состоянии давать их великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть; а устные повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты и подвергнуться тому, что их так же плохо передадут, как плохо примут и поймут. Но из всего этого ничего не вышло, [...] потому что... никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за двадцать лет и переписать его, чтобы выискать преступления того, инструкциям и указаниям коего эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными, при всем их усердии, в том, что могли бы найти в них предосудительного“ (РТ–СРЗ: 436–437).

В поздней редакции „обвинения“ в адрес предшественницы большей частью сняты. Мемуаристка предпочитает не вдаваться в подробности или же использует якобы сказанные другими правдивые суждения, даже не относя их напрямую к Елизавете. Таков случай со смелым ответом голштинского министра Пехлина великому князю, заявившего, что „от государя зависит вмешиваться или не вмешиваться в дела его страны; если он не вмешивается, страна управляется сама собою, но управляется плохо“ (РТ–СРЗ: 302). Екатерина даже больше не комментирует отношение предшественницы к вышеназванным важным делам, даже отрицает свое знакомление с батуриным делом:

Что же касается Асафа Батурина, то его нашли очень виновным. Я не читала и не видела этого дела; но узнала с тех пор, что он замышлял ни более, ни менее, как убить императрицу, поджечь дворец и этим ужасным способом, благодаря сумятице, возвести великого князя на престол. Он был осужден, после пытки, к заключению на всю жизнь в Шлиссельбурге, и во время моего царствования за то, что сделал попытку бежать из тюрьмы, был сослан в Камчатку, откуда убежал с Бениовским и был убит в пути, во время грабежа на острове Формозе, в Тихом океане (РТ–СРЗ: 291–292).

Историю ареста Бестужева и нежелание или невозможность Елизаветы разобраться в сложном его деле в последнем варианте

автобиографии рассказана безлично, хотя и подчеркивается безрезервный патриотизм опального канцлера („Граф Бестужев думал, как патриот, и им не легко было вертеть“ – РТ–СРЗ: 429). Бестужев представлен как невинная жертва интриги иностранных послов, воспользовавшихся услугами продажных вельмож – Михаила Воронцова и Ивана Шувалова, успевших в свою очередь манипулировать государыней:

Тогда вице-канцлер (М. Воронцов – А. В.) разгорелся и отправился к Ивану Шувалову, и императрице представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева в Европе. Она приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен; тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтобы он пришел без промедления. Он пришел и его арестовали в полном собрании конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления или злодеяния так всего лишали первое лицо в империи, и его отправили к себе под домашний арест (РТ–СРЗ: 429–430).

Осторожность мемуаристики в последнем варианте ее автобиографии заставляет ее больше не упрекать предшественницу в нехватке мужества, чтобы оправдать невинного. О порочной практике управления государством в последние годы царствования Елизаветы она предпочитает открыто не говорить, затушевывая личную ответственность сиятельной тетушки и предпочитая перевести в бытовой план и сильно смягчить эту негативную черту предшественницы, довольствуясь лишь краткими упоминаниями, граничащими с намеками. Повествовательница отмечает, например, что ждала первое свое решительное объяснение с Елизаветой Петровной восемь месяцев (РТ–СРЗ: 408), а второй разговор, обещанный императрицей, также состоялся после длительного ожидания и лишь после ее демонстративного отказа отмечать торжественно день своего „несчастливого рождения“ (РТ–СРЗ: 459). Непоследовательность в государственных делах Елизаветы все чаще представлена как следствие тяжелой болезни.

На этом фоне исключительно интересным казусом представляются многочисленные эпизоды в екатерининской автобиографии, рассказывающие, с одной стороны, о суеверии и, с другой, о глубокой религиозности Елизаветы Петровны.

Борьба с суевериями была одной из главных битв, которую вели философы Просвещения. Бейль, Вольтер, энциклопедисты посвятили этой каузе лучшие годы своей жизни и свои главные силы, свято веря в силу науки и знания, стремясь преобразовать общество к лучшему. Они видели в коронованных особах своего главного союзника в этой неравной и сложной борьбе. Правление Екатерины II было символом религиозной толерантности и мирного сожительства народов разных вероисповеданий на территории громадной империи. Особую роль в пропагандировании этого аспекта внутренней политики императрицы сыграло ее знаменитое путешествие по Волге, во время которого она встречалась с представителями всех народностей и всех вероисповеданий, проживавших в этнически пестром и мультиконфессиональном районе Поволжья (см. Ибнеева 2006; 2009). Следует вспомнить, что во время путешествия Екатерина и ее придворные перевели роман „Велизарий“ Мармонтеля, осужденного богословами Сорбонны за проповедь толерантности. Признательность за толерантную политику императрицы выражали в похвальных стихах представители католических школ различных орденов (Di Salvo 2014). В то же время императрица не только на теории, но и на практике вела упорную борьбу с суевериями, сочетая дисциплинирующие меры с просвещением своих подданных (Живов 2014: 158, 163)<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> В. М. Живов обращает внимание на сочетание этих мер как принципа екатерининской политики, и как практики при подавлении известного Чумного бунта в Москве в 1771 г., когда суеверная толпа, надеявшаяся получить спасение от поклонения чудотворной иконе Богородицы, растерзала высокопросвещенного епископа Амвросия, запретившего этот акт, стремясь избежать скопления огромных масс людей и ограничить, таким образом, распространение смертельной заразы.

Сюжет о Чумном бунте и трагической смерти одного из самых просвещенных прелатов русской церкви обсуждается как самой императрицей в ее переписке с Вольтером, так и в корреспонденции ее придворных (Jameray Duval 1784: 191, 195). По поводу овладения вспыхнувшей смутой была высечена памятная медаль.

Одним из символов борьбы философов за просвещение и против религиозного мракобесия был Петр Великий. Преобразования русского царя в области церковного устройства, в результате которых церковь оказалась в подчинении государству, а монарх – ее фактическим главой, лишение церкви сильных экономических позиций, терпимость к представителям других религий и преследование суеверий, приветствовались рядом авторитетных мыслителей и были важным акцентом в их сочинениях на эту тему. Религиозная реформа, предпринятая Петром I, проектировалась ими на актуальные проблемы веротерпимости, отношения светской и церковной власти в западных странах. Наряду с законодательством, основанном на меритократии („Табели о рангах“), она заслоняла в глазах западных философов другие аспекты преобразований в России.

В. М. Живов рассматривает петровские реформы в церковной области как одно из главных средств дисциплинарной революции в российском обществе, целью которого было создание рационального государства. Частью этой реформы была борьба с суевериями, понимаемыми как „иррациональные верования и практики, противостоящие рационализму насаждаемой реформаторами социополитической этики“ (Живов 2009: 330). По мнению Живова, практика русских властей различалась от воззрений в остальной

---

Екатерина „изо всех стремится подчеркнуть, что это – аномалия, случайное пятно („противоречие“), которое никак не мешает России двигаться по пути прогресса... Чумной бунт предстает как полная противоположность представлениям разумности и современности. Перед нами героический сценарий эпохи Просвещения, столкновение двух миров“, – заключает М. Левитт, рассмотревший события сквозь призму визуальности и историю культа чудотворной иконы Богоматери Боголюбской (Левитт 2015: 362).

Джон Алегзандер, обстоятельно рассмотревший историю чумной эпидемии в Москве в 1770–1772 гг. и поведение императрицы, сыгравшей роль главного организатора мер по овладению бедствием, подчеркивает, что она вынесла свои уроки. Историк рассматривает трагические события в Москве как повод для Екатерины II активно заняться практическим переустройством не только городской среды древней столицы, но также активным государственным строительством и кардинальным законодательством в области здравоохранения и образования, благоустройства городов, губернской реформы и сословных привилегий (Alexander 2003: 299–300).

части Европы: „Несомненно, понятие о суеверии у различных представителей власти в XVIII веке могло быть разным, хотя это разнообразие подлежало все же некоторым ограничениям. Они не могли, по крайней мере в своих официальных декларациях, а отсюда и в проводимой ими политике, следовать законченному протестантскому рационализму или радикальным просвещенческим взглядам французских *philosophes* сколь бы для некоторых из них (например, Екатерины Великой) ни были привлекательны подобные воззрения. При всех своих идеологических шатаниях власть – и духовная, и светская – оставалась православной. Церковная доктрина настаивала и на существовании чудотворных икон, и на чудотворении мощей, а утвержденное веками предание исключало восприятие их как суеверных. В особенности власть не могла трактовать как суеверные те православные святыни, с которыми была связана ее легитимация: власть не ставила под сомнение чудотворные свойства мощей великих русских святых, прославленных чудотворных икон (таких, как Владимирская, Тихвинская или Казанская), основанных святыми священными источниками, таких, как источник св. Сергия Радонежского)“ (Живов 2009: 331; см. также Смилянская 2003). Исследователь указывает, что борьба с суевериями велась властями – светскими и церковными – на протяжении всего XVIII столетия, без особых успехов. Одну из причин Живов видит в том, что „громадное большинство населения, включая и дворянскую элиту, усваивало рационалистические доктрины лишь поверхностным образом (если усваивало вообще) и продолжало верить, с теми или иными оговорками, в глаза, приворот, силу заговоров и т.д.“ (Живов 2009: 333). О широком распространении среди дворянства всевозможных суеверий, веры в магию, заговоры и пр. подробно пишут А. С. Лавров и В. Райан (Лавров 2000: 326–340; Райан 2006). Закончилась эта борьба, по констатации ученого, поражением, вынужденным примирением и компромиссами с некоторыми популярными в народе практиками (Живов 2009: 351).

О том, что суеверия царили при дворе, рассказывает и сама Екатерина. Это, к примеру, предупреждение ее жениху, чтобы на поворачивал головы в сторону невесты во время венчания, чтобы



не умереть первым<sup>45</sup> (РТ–Б, 70). Это также боязнь графини Румянцевой снять хотя бы на время тяжелую свадебную корону, чтобы нечаянно не стать причиной дурного предзнаменования для новобрачных (там же). К суевериям можно отнести также странное видение Чоглоковой, принявшей влетевшую к ней в окно птицу за душу только что умершего ее мужа (РТ–СРЗ: 355) и пр.

Интересно отметить, что Екатерина II, определяя себя как „глава греческой церкви“, подает пример „рационального“ отношения к религии. Русская государыня соблюдала, не впадая в крайности религиозные ритуалы. Не надо забывать, что императрица предпочла слепому („суеверному“) поклонению, написать житие одного из самых популярных и чтимых русских святых, Сергия Радонежского. Ее рациональному восприятию религии, бесспорно, импонировало подобное же рациональное отношение Петра Великого к религии и суевериям. На этом фоне производит впечатление интерпретация в екатерининской автобиографии исключительной набожности и суеверности Елизаветы Петровны, во время правления которой наступили подчеркнутый „либерализм“<sup>46</sup> (Живов 2009: 346) и расслабление заданных ее отцом строгих норм религиозной политики. Поэтому значение любопытных эпизодов „черкасовской“ редакции и „Собственноручных записок“ на эту тему выходит далеко за „этнографические“ рамки. Эти фрагменты автобиографии привносят важнейшие штрихи в интерпретацию как образа предшественницы, так и в образ самой мемуаристки.

В своей автобиографии Екатерина II осуждает проявление суеверия у других людей (например, боязнь призраков ее придворной дамы Каин, РТ–Б: 18) и тщательно очищает собственный образ от тени подозрения в этом. Я уже имела случай комментировать ее

---

<sup>45</sup> К чести Петра Федоровича, воспитанного в нормах более рациональной культуры, он отказывается верить в этот „вздор“.

<sup>46</sup> Ученый упоминает в этой связи канонизацию первого русского святого за XVIII век, Димитрия Ростовского в 1757 г., объявление чудотворной иконы Ахтырской Божьей матери и пр., при всем том, что борьба с суевериями оставалась актуальной частью государственной политики.

отношение к мотиву предсказания, привычному в жизнеописаниях известных людей (Вачева 2008: 117–120), от которого мемуаристка последовательно отказывается, отмечая в поздней редакции подобные случаи не более как любопытную подробность, исключаящую мистику (например, предсказания садовника Ламберти о воцарении Елизаветы и ее собственном).

Многочисленные эпизоды мемуарного текста описывают как чрезмерную набожность Елизаветы, так и ее суеверность. В ранней редакции речь идет о посещении Киева и поклонении в Киево-Печерской лавре вскоре после приезда невесты великого князя в Россию, когда „все дни уходили на посещение церковей и монастырей“ (РТ–Б: 54). В „черкасовской“ редакции это рассказ о поклонении императрицы в Троицко-Сергиевской лавре, куда она отправляется пешком<sup>47</sup>. Это богомолье становится мучением для всего двора, „так как она не делала более пяти верст в день и часто по несколько дней проходило без того, чтобы она отправилась в путь, это путешествие продолжалось более месяца“ (РТ–С: 156). Тем не менее, противоречивость, неуравновешенность, „неправильность“ характера Елизаветы проявляются даже в ее набожности. Она, к возмущению глубоко верующей Владиславовой, пошла в баню („нечистое“ место, связывающееся в русском культурном сознании с магией и властью нечистой силы) между заутренней и

---

<sup>47</sup> Екатерина II четко осознавала необходимость публичных демонстраций набожности. У нее тоже были свои паломничества, поклонения щедрыми дарами храмам, но в гораздо умеренных и „разумных“ формах: „Собственно, Екатерина, как и ее предшественники на русском троне, не только строила храмы и делала пожертвования на их украшение и содержание, но также участвовала в публичном поклонении иконам и заказывала к ним дорогие оклады. [...] А во время эпидемии оспы в 1768 г. императрица Екатерина II ходила к иконе „Всех скорбящих радости“ на богомолье, перед тем как сделать прививку от болезни себе и наследнику Павлу Петровичу“, – отмечает М. Левитт, соглашаясь в известной степени с критиками русской государыни, что ее побуждения могли бы быть не до конца искренними. Ученый видит, однако, в этом не лицемерие, а следование одному из важнейших императивов эпохи Просвещения – окулярцентризму, необходимость зримости, публичной видимости: „Во всех этих случаях окулярцентрический императив эпохи Просвещения – делать все напоказ – напрямую стыкуется с религиозной традицией“ (Левитт 2015: 394–395).

обедней в такой большой праздник как Благовещение (РТ–Ч: 153); „во время богослужения она обыкновенно подолгу не стояла на одном и том же месте, а переходила по церкви с одного места на другое<sup>48</sup>“ (РТ–Ч: 187).

В „черкасовской“ редакции изобилуют эпизоды, повествующие о суеверности Елизаветы, которая переплетена с ее религиозностью. Кстати, это была характерная черта сознания русской элиты того времени. В екатерининской автобиографии приведен рассказ предшественницы о том, что шведы, осадившие Тихвинский монастырь, были прогнаны „небесным огнем“, а как материальное доказательство этого мистического события остались серебряные блюда впавшего в ужас шведского генерала, которые, однако, так и не показали великокняжеской чете (РТ–Ч: 99). В поздней редакции, однако путешествие в Тихвин только отмечено одним кратким предложением, без каких-либо упоминаний о мистических событиях (РТ–СРЗ: 257). Суеверие может даже лишить милосердную Елизавету человеческого сочувствия к верному ее слуге и члену семьи, каким был Чоглоков, умерший в нечеловеческих муках. Дочь Петра „приказала, по своему обыкновению, перевезти больного в его собственный дом, чтоб он не умер при дворе, потому что она боялась покойников“ (РТ–СРЗ: 355). Эта жестокость контрастирует с реакцией самой мемуаристки, которая была „поистине огорчена и очень плакала“, проникнувшись сочувствием к бывшему врагу (там же).

---

<sup>48</sup> В цитируемом эпизоде мемуаристка, которую также, как предшественницу, трудно упрекнуть в отсутствии любвеобильности и сердечных привязанностей, иронически объясняет раздражительность Елизаветы „затруднительным положением, в котором находилась Ее Величество между троими или четверыми своими фаворитами, а именно – графом Разумовским, Шуваловым, одним певчим, по фамилии Каченовский, и Бекетовым, которого она только что назначила адъютантом к графу Разумовскому. Нужно сознаться, что всякая другая на месте Ее Величества была бы поставлена в тупик и при менее затруднительных условиях. Не всякому дано умение щадить и примирять самолюбие четверых фаворитов одновременно“ (РТ–Ч: 187). Рациональная Екатерина, при всей многочисленности своих любовников и несмотря на распространенные мифы, старалась не впадать в подобные сложные ситуации и поддерживала моногамную связь с очередным фаворитом (Alexander 1988: 211).

Один из наиболее известных эпизодов екатерининских записок, доказывающий суеверность Елизаветы, – обвинение против одной из любимых ее придворных – Анны Домашневой:

... После полудня в один из трех указанных дней она легла на канapé, куда велела положить матрац и подушки; лежа, она спросила эту мантилью, так как ей было холодно; ее стали всюду искать и не нашли, потому что она осталась у меня в комнате.

Тогда императрица приказала искать ее под подушками изголовья, думая, что ее там найдут; сестра Крузе, эта любимая камер-фрау императрицы, просунула руку под изголовье Ее Императорского Величества и вытащила ее, говоря, что мантильи под этим изголовьем нет, но что там есть пучок волос или что-то вроде этого, но она не знает, что это такое. Императрица тотчас встала с места и велела поднять матрац и подушки, и тогда увидели, не без удивления, бумагу, в которой были волосы, намоченные на какие-то коренья.

Тогда и женщины императрицы, и она сама стали говорить, что это, наверное, какие-нибудь чары или колдовство, и все стали делать догадки о том, кто бы мог иметь смелость положить этот сверток под изголовье императрицы.

Заподозрили одну из женщин, которую Ее Императорское Величество любила больше всех; ее звали Анной Дмитриевной Домашевой; но недавно эта женщина, овдовев, вышла во второй раз замуж за камердинера императрицы. Господа Шуваловы не любили этой женщины, которая была им враждебна, и по своей силе, и по доверию императрицы, которым она пользовалась с молодых лет, была очень способна сыграть с ними какую-нибудь штуку, которая сильно уменьшила бы их фавор. Так как Шуваловы имели сторонников, то последние усмотрели в этом преступление. Императрица и сама по себе была к тому склонна, потому что верила в чары и колдовство. Вследствие этого она велела графу Александру Шувалову арестовать эту женщину, ее мужа и ее двоих сыновей, из которых один был гвардейским офицером, а другой – камер-пажем императрицы.

Муж через два дня после того, как был арестован, спросил бритву, чтобы побриться, и перерезал ею себе горло; а жена с детьми оставались долго под арестом, и она призналась, что, дабы продлить милость императрицы к ней, она употребила эти чары и что положила еще несколько крупинок четверговой соли в рюмку венгерского, которую подавала им-

ператрице. Это дело закончили тем, что сослали и женщину, и ее детей в Москву; распустили потом слух, будто обморок, бывший с императрицей за несколько дней до моих родов, был вследствие напитков, которые эта женщина давала императрице; но на самом деле она никогда не давала ей ничего, кроме двух или трех крупинок четверговой соли, которые, конечно, не могли ей повредить; во всем этом могли быть достойны порицания только дерзость этой женщины и ее суеверие (РТ–СРЗ: 361–362).

Этот обширный эпизод интересен на фоне того, что в поздней редакции Екатерина II почти не обсуждает религиозность предшественницы и лишь мимолетно упоминает о соблюдении ею определенных практик (пост, говение), а также о посещении ею богослужений, делая их фоном серьезных событий, в основном в связи с ухудшенным здоровьем Елизаветы (например, эпизод с обмороком на публике – РТ–СРЗ, 420). Также из текста старательно удалены предыдущие упоминания о суевериях Елизаветы, за исключением вышеприведенного отрывка. Однако эпизод с Домашневой играет очень важную роль для понимания посланий автобиографического текста, тем более, что он остался практически единственным из всех подобных, ранее включавшихся мемуаристкой в автобиографию.

Исследователи религиозной политики Петра Великого подчеркивают, что великий преобразователь, как и большинство его русских современников, вырос в атмосфере, в которой переплетались суеверия и глубокая религиозность: „Юный Петр, при всем его увлечении техникой, рос в атмосфере, где подобные суеверия играли большую роль; верил в них царь или нет, но наказания, которые он ввел в свое воинское законодательство, очень суровы“, – отмечает В. Ф. Райан (Райан 2006: 603). Производит впечатление, что вопросы, связанные с религией и суевериями, первоначально были урегулированы Петром I в „Воинском артикуле“ 1715 года и лишь потом в „Духовном регламенте“ 1722 г. Это говорит о значимости, которую придавал первый император пресечению всевозможных магических практик, широко распространенных, между прочим, и среди низшего духовенства (Райан 2006: 605). „Дискредитируя традиционные пути спасения

и приравнивая монашество к тунеядству [...], Петр и на спасение через заступничество святых, помощь чудотворных икон, молитвы юродивых и т.п. смотрел, несомненно, как на вредные заблуждения, отвращающие его подданных от верного служения государственным интересам. Именно эта область „незаслуженного“ и „незаконного“ спасения начинается при Петре пониматься как „суеверие“, оказываясь приравнена тем самым к „бесовским“ магическим верованиям“, отмечает В. М. Живов (Живов 2009: 339).

Сам государь нередко чувствовал себя мишенью злонамеренной магии со стороны своих оппонентов и врагов, и это усиливало его подозрительность: „Подобное положение сделало бы подозрительным и абсолютно рационального человека (каким Петр, безусловно, не был) и не могло не повлиять на отношение царя к подобного рода процессам“ (Лавров 2000: 335). Ученый напоминает, что заодно с учреждением жестоких наказаний за колдовство, петровская идея рациональной организации религиозной жизни в стране, как часть дисциплинирования общества, подразумевала и „реформу благочестия“, согласно которой священникам вменялось в обязанность доносить о злых намереньях, узнанных ими во время исповеди<sup>49</sup>, регламентирование иконописания и пр. (Лавров 2000: 409, 423). В этом контексте и народная магия, и принятые церковью

---

<sup>49</sup> Екатерина сама касается в мемуарах этого вопроса, рассказывая как закончились подозрения о возможном заговоре великокняжеской четы с братьями Чернышевыми: „В начале августа императрица велела сказать великому князю и мне, что мы должны говеть; мы подчинились ее воле и тотчас же велели служить у себя утрени и всенощные и стали каждый день ходить к обедне. В пятницу, когда дело дошло до исповеди, выяснилась причина данного нам приказания говеть. Симеон Теодорский, епископ Псковский, очень много расспрашивал нас обоих, каждого порознь, относительно того, что произошло у нас с Чернышевыми; но так как совсем ничего не произошло, то ему стало немножко неловко, когда ему с невинным простодушием сказали, что даже не было и тени того, что осмелились предполагать. В беседе со мною у него вырвалось: "Так откуда же это происходит, что императрицу предостерегали в противном?" На это я ему сказала, что ничего не знаю. Полагаю, наш духовник сообщил нашу исповедь духовнику императрицы, а этот последний передал Ее Императорскому Величеству, в чем дело, что, конечно, не могло нам повредить“ (РТ–СРЗ: 254).

суеверия, к которым она относилась с терпимостью, стали восприниматься как помышления на порядок рационального государства и толковались как политические преступления: „В XVIII веке даже немагическая религиозная деятельность, например, наблюдение за знаменами и чудесами или предсказания, казались уклонением от правил и попадала под статьи о государственных преступлениях“ (Райан 2006: 607). В суеверном в целом русском мире было особенно опасно, когда обвинения в колдовстве, желание навести порчу происходили в придворной среде: „С конца XV века обвинения мирян в колдовстве зачастую превращались в обвинения в особой форме государственной измены, причем магия рассматривалась в тех случаях, когда она носила вредоносный характер и была направлена против правителя или человека из его окружения“ (Райан 2006: 597). Исследователи отмечают глубокие корни „политического колдовства“ (Лавров) или „политического аспекта магии“ (Райан) в русской культуре. Петровская эпоха привносит в осмысление подобных практик и в способы их решения новые акценты, хотя борьба оказалась неравной. Законодательные инициативы Екатерины II также не решили этой проблемы. „Тем не менее одна новая деталь присутствует в официальном и законодательном осмыслении колдовства в России XVIII века. За воздействие на простых и легковверных людей осуждались магические практики и религиозный обман, имевшие место в лоне самой официальной церкви. Это стало важнейшей особенностью реформы Русской православной церкви, проведенной Петром I. Здесь свою роль сыграли контакты с западными, в том числе английскими, богословами и натурфилософами. В случае с Екатериной II влияние просветителей обеспечило сходное отношение, хотя наказания, назначаемые за суеверные практики на протяжении всего XVIII века были далеко не просветительскими“, – обобщает религиозную политику российского престола В. Ф. Райан (Райан 2006: 616).

В эпизоде с Домашневой Екатерина II демонстрирует фактическое отступление предшественницы от заветов ее великого отца. Вместо того, чтобы рационально разобраться в шитой белыми нитками придворной интриге, Елизавета поддается суеверному страху,

принося в жертву свою приближенную. Иррациональное поведение государыни влечет за собой несчастье и разрушение всей семьи, становится причиной смерти мужа придворной, выбравшего добровольный уход перед пытками и жестоким наказанием. В очередной раз Екатерина показывает на примере своей предшественницы последствие непросвещенности и слабости государя, не посмевшего „оправдать невинного“ и ставшего легкой жертвой недоброжелателей<sup>50</sup>. Елизавета Петровна показана как непоследовательная на-

---

<sup>50</sup> В этой связи обращает на себя внимание деталь, которую начитанная и высокопросвещенная (прежде всего благодаря собственным усилиям) Екатерина опускает, щадя репутацию предшественницы: ее крайнее невежество и неученость в сочетании с ленью. Князь М. М. Щербатов передает в своем памфлете „О повреждении нравов в России слух о „просвещенности“ Елизаветы Петровны (кстати, воспеваемой русскими одописцами и прежде всего Ломоносовым как покровительницу науки и знания): „Сия Государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосерда, сострадательна и щедра, от природы одарена довольным разумом, но никакого просвещения не имела, так что меня уверял Дмитрий Васильевич Волков, бывшей конференцсекретарь, что она не знала, что Великобритания есть остров; с природы веселого нрава и жадно ищущая веселей, чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и недокучлива ко всякому требующему некоего прилежания делу, так что за леностию ея не токмо внутренние дела государственных многия иногда леты без подписания ея лежали, но даже и внешния государственные дела, яко трактаты, по несколько месяцев за леностию ея подписать ея имя у нее лежали; роскошна и любострастна, дающая многуя поверенность своим любимцам, но однако такова, что всегда над ними власть монаршу сохраняла“ (Щербатов 1986: 356).

Несмотря на эту репутацию Елизаветы Петровны, дочь Петра не была так необразованна и невежественна, какой ее представляют и сама Екатерина, и князь Щербатов, и другие недруги. Е. Анисимов и К. Писаренко отмечают наличие у императрицы богатой исторической библиотеки. К. Писаренко отмечает чтение Елизаветой Петровной Макиавелли, а также книг по эпохе Людовика XIII и кардинала Ришелье, откуда, по мнению исследователя, она заимствовала модель организации власти: „преимущество пассивного главы государства и волевого, активного первого министра“ (Писаренко 2003: 628, 630). Лейди Джейн Рондо, супруга английского консула, пребывавшая при русском дворе еще до вступления Елизаветы на престол, свидетельствовала: „Приветливость и кротость ее манер невольно внушают любовь и уважение. На людях она непринужденно весела и несколько легкомысленна, поэтому кажется, что она вся такова. В частной беседе я слышала от нее столь разумные и основательные суждения, что убеждена: иное ее поведение – притворство“ (цит. по: Писаренко 2003: 627–628).



следница своего великого отца, тогда как мемуаристка, в силу своей просвещенности и реальным политическим шагам, предпринятым на протяжении ее правления, претендует быть настоящей продолжательницей дела Петра Великого. Ее толерантная религиозная политика, распространение просвещения, проповедь верховенства закона, уничтожение тайного политического сыска и минимальное применение пыток и телесных наказаний рассматривались Северной Минервой не только как продолжение дела великого Петра, но даже как успехи, превосходящие namного его свершения.

Некоторые эпизоды присутствуют и в „черкасовской“, и в позднейшей редакции. Это, например, предупреждение сумасшедшего лютеранского священника на пути в Ригу о готовящемся заговоре, которое заставляет Елизавету повернуть обратно:

Императрица намеревалась продолжить свое путешествие до Риги; придворные экипажи уже были посланы в этот пограничный город и все готовилось, чтобы туда направиться, как вдруг императрица изменила свое намерение и объявила, что, посмотрев маневры флота, она вернется в Петербург. Никто не знал, чему приписать эту внезапную перемену; однако подозревали какую-нибудь тайную причину и какую-нибудь подкладку, о которой не говорили; я узнала эту тайну лишь через два года по моем вступлении на престол; роясь однажды рано утром, по своему обыкновению, в старом сундуке, наполненном бумагами, которые были покрыты пылью и на половину съедены крысами, я нашла длинное письмо на немецком языке от лютеранского пастора, фанатика и помешанного, который именем Божиим просил императрицу и именем Пресвятой Троицы повелевал ей не продолжать путешествия до Риги, где – говорил он – были люди, подсланные затем, чтобы ее убить. Этот безумец послал свою бумагу в Ревель к императрице, которая так испугалась и обеспокоилась, что возвратилась в Петербург. Священник был привезен в крепость, где его признали сумасшедшим мечтателем, – вот и все (РТ–Ч: 92–93).

Почти в тех же словах, опустив подробности о „поздней разгадке“ ситуации, Екатерина рассказывает это происшествие в поздней редакции:

Многие придворные экипажи уже направились в Ригу, куда императрица хотела ехать, но, вернувшись из Рогервика, она внезапно переменяла намерение. Многие ломали себе голову, чтобы отгадать причину этой перемены; несколько лет спустя основание тому раскрылось. При проезде Чоглокова через Ригу один лютеранский священник, сумасшедший или фанатик, передал ему письмо или записку для императрицы, в которой он ее увещевал не предпринимать этого путешествия, говоря, что она подвергнется там величайшей опасности, что соседними врагами империи расставлены люди, подосланные ее убить, и тому подобная чепуха. Это писание было передано Ее Императорскому Величеству и отбило у нее охоту ехать дальше; что касается священника, то он был признан сумасшедшим, но поездка не состоялась. Мы вернулись, помалу передвигаемся за день, из Ревеля в Петербург... (РТ–СРЗ: 253)

В этом варианте эпизода повествование более умеренно, снижается колоритное описание смутителя, а для поступка Елизаветы находятся более основательные причины международного заговора против нее. Тем не менее, и дискредитированная личность сумасшедшего священника, и необоснованные подозрения выставляют образ предшественницы в неблагоприятном свете.

Подозрительность Елизаветы, страх за свою власть, чтобы не испытать ту же участь, что и сверженная предшественница, грозят превратиться в тиранию. Екатерина II убедительно показывает это как на примере собственного житейского опыта, так и на множестве бытовых эпизодов. Самодурство царственной тетки проявляется в отношении к личной жизни подданных, которой она распоряжается беспрекословно, следуя прихоти и не считаясь с последствиями. Красноречивым в этом отношении является эпизод с насильным замужеством сестры Льва Нарышкина, в которой Елизавета видит возможную соперницу за сердце фаворита Шувалова:

... императрица дала его старшей сестре приказание выйти замуж за некоего Сенявина, который для этого был определен камер-юнкером к нашему двору. Это было громовым ударом для девицы, которая вышла за него замуж лишь с величайшим отвращением. Брак этот был очень дурно принят обществом, которое взвалило всю вину на Шувалова, фаворита императрицы; он имел большую склонность к этой девице до своего фа-

вора, и ее так неудачно выдали замуж только для того, чтобы он потерял ее из виду. Это было поистине тираническое преследование; наконец, она вышла за него замуж, впала в чахотку и умерла (РТ–СРЗ: 320).

Это наиболее драстичный случай из всех игр человеческими судьбами, который приводит мемуаристка. Как и в случае с Петром Федоровичем, ее занимает проблема превращения государя в тирана, даже когда он в принципе, как Елизавета Петровна, чвероколюбив и милосерден. Овладение настроениями, личными страхами, умение терять – залог справедливости и добродетельности монарха. Наиболее печальное последствие – влияние на поведение зависимых людей, искривление их понятий об их месте в обществе, примирение с полновластием государя, которое некоторые склонны считать безграничным, и это парализует не только их волю, но и способность мыслить самостоятельно и трезво. В этом отношении показателен эпизод с бестактной шуткой Елизаветы Петровны по поводу долгой и тонкой „журавлиной“ шеи невзрачной Марфы Шафировой, „которая на виселицу годна“ (РТ–СРЗ: 351). В практике самой Екатерины II как государыни было немало анекдотических ситуаций, говоривших о власти традиций и об инерции в сознании общества, в массе своей не понимавшего до конца старания верховной власти вести диалог с ним<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> В этой связи особенно интересен случай, произошедший с банкиром Сутерландом, рассказанный послом Франции Сегюром, который из-за большого объема отрывка здесь цитируется в пересказе:

Екатерина II, предпочитавшая маленьких собачек, поначалу следовала практике бальзамирования своих любимцев. [...]

Как-то раз к придворному банкиру Сутерланду явился петербургский обер-полицмейстер и „с прискорбием“ сообщил, что „получил поручение от императрицы исполнить приказание ее, строгость которого меня пугает; не знаю, за какой поступок, за какое преступление вы подверглись гневу ее величества“. Перепуганный Сутерланд стал допытываться, в чем дело. „Императрица, – отвечал уныло полицмейстер, – приказала мне сделать из вас чучелу... – Чучелу? – Вскричал пораженный Сутерланд. – Да вы с ума сошли! И как же вы могли согласиться исполнить такое приказание. Не представив ей всю его жестокость и нелепость?.

К счастью, через третьих лиц удалось выяснить, что у Екатерины II умерла собачка (ранее подаренная банкиром), носившая имя Сутерланд. Безутешная

В выведенном ряду сопоставлений „личного“ и „государственного“ характера мемуаристка ставила вопрос как о преимущественности в области положительных практик, так и о разграничении от отрицательных аспектов образа предшественницы. В более отдаленной перспективе и в контексте философской дискуссии о памяти и бессмертии, которую Екатерина II вела с энциклопедистами, соотнесение с „Петровой дочерью“ означало также соотнесение с Петром Великим, воплощением идеи об „идеальном“ монархе в русской культуре XVIII века.

### **Екатерининская тетрада**

В результате постоянного сравнения собственного образа мемуаристки и великого князя Петра Федоровича и частых параллелей с Елизаветой Петровной, в автобиографии Екатерины II на уровне текста выстраивается триада: автогероиня соотнесена не только с супругом-соперником, но и с предшественницей. Первый представлен исключительно в отрицательном плане. Вторая – амбивалентно, с „объективным“, „справедливым“ (с некоторой корыстью автора) учетом положительных и отрицательных сторон ее бытового и государственного поведения. В этой триаде отрицательные качества преобладают и, чтобы их уравновесить, был нужен находящийся вне текста идеальный образ, с которым, однако, оба оппонента были связаны кровными узами. Это был образ Петра I.

Екатерину интересовала прежде всего именно параллель ее собственных свершений с делом Петра Великого в поисках бессмертия. Если учесть мифологию екатерининского царствования

---

императрица потребовала от полицмейстера „сделать чучело из Сутерланда“, что и было принято им к исполнению. Примечательно, что полицмейстер, готовый выполнить приказ, дал банкиру только „четверть часа сроку, чтоб привести в порядок его дела!“ (Зимин, Павлова 2007; см. подробно в: Сегюр 1989: 334–336).

Сегюр не преминул отметить странное на его взгляд, но тем не менее закономерное для русского культурного сознания эпохи, поведение стража порядка: „Заметьте, что это случилось в царствование Екатерины II, которая как прежде, так и теперь считается всеми подданными своей пространной империи образцом мудрости, благоразумия, кротости и доброты“ (Сегюр 1989: 334).

и философский нарратив эпохи Просвещения, то можно сказать, что в автобиографии императрицы, в сущности, выстраивается *тетрада*, как на последних страницах Плутарховых „Жизнеописаний“ (Аверинцев 1973: 212). В сущности, эта тетрада была сформулирована давно, как смысловой центр фейерверка по случаю бракосочетания героини, хотя и с иным смыслом, как символическое обозначение продолжения династии (вензель Петра Первого в основании столпа<sup>52</sup>, бюсты Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра I и Екатерины I в нишах на заднем плане). „Это был очень хорошо продуманный и эффективный ход: зрителям демонстрировалась историческая преемственность нынешних правителей России с их предками“, – отмечает Дмитрий Зелов (Зелов 2002: 244).

В автобиографии императрица, в память которой в самые волнующие дни ее жизни запали огненные вензеля, переосмысливает послание тетрады.

Как это видно из анализа различных эпизодов, оба кровных наследника Петра Великого часто сравниваются мемуаристкой более или менее явно с предком. Сходство это подчеркивается, однако, прежде всего во внешности, манерах и привычках императрицы Елизаветы<sup>53</sup> и Петра Федоровича. Что же касается действий обоих

---

<sup>52</sup> Композиция брачного фейерверка основывалась на концепции иллюминации 10 февраля 1745 г., сожженной в честь дня рождения наследника престола Петра Федоровича, в котором, помимо праздничного сюжета, намекалось на счастливое выздоровление от опасной болезни (аллегорическими фигурами Эскулапа и Надежды России). В центре февральского фейерверка опять-таки стоял обелиск „на высеченном из камня фундаменте Петра Великого“ (Ровинский 1903: 235–236). По мнению Зелова, „так утверждалась преемственность правлений: Елизавета – дочь Петра I, Петр Федорович – его внук; все вместе они сооружают здание новой России, процесс, основу которого, фундамент, заложил Петр Великий. Несомненно, особую роль играло здесь одинаковое имя. Петр Федорович, то же Петр, будет достойным продолжателем великого предка“ (Зелов 2002: 244).

<sup>53</sup> На основании не только екатерининских воспоминаний, но и многих других документов эпохи, Е. В. Анисимов обобщает бросающееся в глаза сходство дочери и отца: „Перестановки, перестройки, внезапные переезды, столь примечательные для стиля жизни Елизаветы, были вызваны не только страхом перед переворотом, но и особенностями характера императрицы – человека не-

предшественников в государственном плане, Екатерина II представляет их или как отрицание, или как непоследовательность в отношении основных законодательных актов и идей Петра I. Однако не это было главной целью сиятельного автора.

„Специальное внимание Екатерины II к первому императору отличалось критицизмом, который, видимо, усугублялся со временем“, – пишет Н. Рязановский, отмечая возможное влияние на императрицу интерпретаций личности Петра просветителями, начиная с ее любимого Монтескье, который рассматривал Петра Великого как тирана. Ученый, однако, тут же констатирует, что вне всякого сомнения, большинство наблюдений принадлежало ей самой, благодаря постоянному осмыслению роли реформатора, особенно после того, как она сама заняла его трон и непосредственно столкнулась со многими проблемами и принятыми им мерами (Riazanovsky 1985: 36). Карен Расмуссен, подробно изучивший на основании официальных документов и личных текстов императрицы и положительное, и отрицательное отношение Екатерины II к петровским законодательным актам, отмечает, что к началу ее правления был непривычен какой бы то ни было критицизм по отношению к Петру Великому (Rasmussen 1978: 52). Однако, по мнению ученого, восшествие на престол Екатерины произошло в такой момент истории России, когда было полезно претендовать на наследие Петра Великого, но в то же время стало возможным

---

уравновешенного, импульсивного и беспокойного. В этом нельзя не усмотреть черт, присущих ее отцу. Как и Петр, Елизавета была очень подвижна и нетерпелива. По отзывам современников, она не могла даже выстоять на одном месте церковную службу и все время перемещалась по храму, иногда же вообще покидала его, не дослушав литургии. Как и Петр, она была легка на подъем, часто и подолгу путешествовала. Особенно любила Елизавета быструю зимнюю езду: расстояние от Петербурга до Москвы – 715 верст – она преодолевала за трое суток, причем в дороге находилась лишь двое суток, т.е. путешествовала с очень высокой для XVIII в. скоростью – 14,5 версты в час. Правда, цели ее путешествий – охота, прогулки, богомолье – существенно отличались от целей путешествий ее отца – дипломата и полководца“ (Анисимов 1986: 160). Можно добавить еще сверкающий взгляд царственной дочери, припадки гнева, многократно описанные мемуаристкой.

начать его переоценку (там же, 54). Расмуссен считает также, что образ Петр Великого оставался точкой отсчета для Екатерины II до конца ее царствования и что ее отношение к первому российскому императору было более сложным, чем может показаться на первый взгляд. По мнению исследователя, императрица рассматривает Петра I не как единственно великого, а как одного из великих русских государей, каждый из которых доказывал себя в свое время. Таким образом, Петр в ее глазах оставался связанным со стариной и прошлым<sup>54</sup>, а не столь с его трансформацией. С другой стороны, противоречивое восприятие Екатериной своего предшественника делало из него стандарт, в соответствие с которым оценивались все остальные правители (Rasmussen 1978: 57)<sup>55</sup>. „Екатерина была убеждена, что Петр I был чудесным соперником, единственно возможным для нее в соревновании за честь быть величайшим государем России“, – отмечает Рязановский (Riazanovsky 1985: 36). „Искусный политик, Екатерина II, с одной стороны, использовала негативные аспекты репутации Петра I, чтобы подчеркнуть собственные качества и приуменьшить образ главного соперника, также, как она раньше с насмешкой отнеслась к своему супругу и Елизавете. С другой стороны, эта амбивалентность отношения к Петру говорила о том, что легче было критиковать его, чем усовершенствовать то, что он совершил“, – обобщает К. Расмуссен (Rasmussen 1978: 63). Хотя в последнем случае исследователь говорит вообще об отношении императрицы к предшественнику, надо согласиться с тем, что во многом это суждение актуально насчет ее автобиографии. Необходимо иметь в виду, однако, что отношение Екатерины II к Петру I сформировалось преимущественно под влиянием концепций европейских просветителей, или хотя бы так это было ей

---

<sup>54</sup> Исследователь обращает внимание на знаковый ответ Екатерины французскому историку Сенаку де Мейяну, что царствование Петра началось в XVII, а не в XVIII столетии (Rasmussen 1978: 61).

<sup>55</sup> Основное различие между собственным правлением и царствованием первого русского императора Екатерина видела в применении цивилизованного правосудия, в котором монарх играл роль высшего исполнителя закона, применяя, однако, минимум кровавых наказаний и используя гораздо шире более мягкие – тюрьмы и ссылки (Rasmussen 1978: 63).

выгодно с точки зрения формирования ее собственного образа как в умах современников, так и в представлениях потомства. Здравый смысл диктовал Екатерине необходимость считаться с национальной традицией, со сформировавшимся петровским мифом. Только опираясь на его сакральность, она могла выгодно оттенить собственные успехи и легитимировать свое пребывание на троне. Это соответствовало также интересам аристократической олигархии: „Разные клиентелистские группы, сформировавшиеся в последние годы правления Елизаветы и при Петре III, возглавляемые Шуваловыми, особенно настойчиво представляли Петра I как лидера, чье время пришло и ушло“, – отмечает Расмуссен, говоря о разнообразии политического использования образа Петра Великого во второй половине XVIII века (Rasmussen 1978: 68–69). Необходимо вспомнить также, что в последние десятилетия XVIII – начале XIX века в русской культуре началась переоценка личности и реформ Петра I и появилось более реальное осмысление его дела, с учетом как позитивных, так и негативных последствий<sup>56</sup>.

Н. Рязановский комментирует центральное место образа Петра Великого в официальной идеологии и в общественном мнении екатерининской России, обобщенное знаменитым высказыванием И. И. Бецкого „Петр Великий создал в России людей: Ваше Величество влагаете в них души“ (ПСЗРИ 1830, XVIII: 292)<sup>57</sup>. Эта реплика известного (и услужливого) царедворца отвечает, как нельзя лучше, собственной интерпретации Екатериной II образа Петра I и собственной роли в российской истории. По мнению Рязановского, эта формула представляла современную историю России

---

<sup>56</sup> Обстоятельный анализ восприятия образа Петра Великого в русской культуре и общественной мысли не только в XVIII веке, но и в следующие эпохи, предлагает Н. Рязановский (Riazanovsky 1985). Р. Уортман исследует эту проблему в „сценариях власти“ русской монархии (Уортман 2002). Д. Кръстева интерпретирует образы Петра Великого и Екатерины II (и монархической институции в России в целом) сквозь культурные коды бестиария и розариума (Кръстева 2013).

<sup>57</sup> Эта фраза, впервые употребленная Бецким в „Генеральном плане Московского Воспитательного дома для приносных младенцев“ (11.08.1767), приобрела особую популярность и многократно обыгрывалась в творчестве русских авторов того времени (Riazanovsky 1985: 37; Проскурина 2006: 60–61).



как два этапа – петровский и екатерининский, второй, основанный на первом, но также превосходящий его (Riazanovsky 1985: 37). Десять лет спустя Вольтер, „который умело схватывал, что желательно говорить“, комментируя проект памятника первому императору, просит у своей „ученицы“ позволение поцеловать статую Петра Великого и низ платья Екатерины более Великой<sup>58</sup> (там же). Фраза Бецкого, произнесенная и многократно повторенная как эхо одописцами в первые годы екатерининского правления, стала руководящим принципом в политических решениях императрицы на протяжении всего тридцатичетырехлетнего ее царствования. Следование заветам Петра, но и их критическое восприятие, развитие и совершенствование, стали лучшей рекламой ее „сценария власти“. Визуально взаимная связь обоих выдающихся российских монархов, именно в том смысле, в котором хотела видеть это Северная Минерва – как дань почета, но и как переосмысление и развитие, получила воплощение в „Медном всаднике“ Фальконе.

О житейской и государственной мудрости Екатерины II говорит тот факт, что она, только что взошедшая на престол, не поддавалась сервильным идеям сенаторов воздвигнуть памятник ей самой. Мысль об этом возникла еще до коронации, в августе 1762 года, а потом периодически возобновлялась в умах вельмож<sup>59</sup> (СИРИО 1876, 17: VIII).

Автобиография императрицы является своеобразной аналогией гениальной в своей простоте надписи „Петру I Екатерина II“. Жанр,

---

<sup>58</sup> Письмо от 6 декабря 1774 г.

<sup>59</sup> А. Половцов, написавший вступительную статью к изданию переписки Екатерины II и Фальконе, отмечает несколько таких инициатив. Следующий раз, когда эта идея приобретает популярность, – начальный период работы Уложенной комиссии в 1767–1768 г. Даже когда Фальконе уже работал над концепцией памятника Петру, ему было поручено Бецким работать также над проектом памятника Екатерине, хотя сам Бецкой был убежден, что „загробная похвала чужда лести – посмертные памятники составляют неподкупную награду монархов“ (инструкция скульптору касательно заказа памятника Петру Великому – СИРИО 1876, 17: VIII). В письме Екатерине от 14.06.1768 Фальконе пишет об уже изготовленном им эскизе ее статуи („Екатерина II дает законы своей империи“), но императрица обходит молчанием этот момент (СИРИО 1876, 17: XX; 42).

претендующий на максимальную правдивость, достоверность и искренность, давал возможности высказать и объяснить все, что лапидарная надпись формулировала. Памятник, который императрица воздвигла великому предшественнику, содержит многослойные философские послания, выраженные гением Фальконе. Концепция монумента стала результатом философской дискуссии о памяти и потомстве, бессмертии, которая велась сначала между скульптуром и Дидро в контексте издания „Энциклопедии“. Позже в эту дискуссию включилась императрица. Однако круг официально или неофициально коронованных философов шире, чем может показаться на первый взгляд. Участие некоторых из них было „заочным“. Это относится прежде всего к Вольтеру, авторитет которого и взгляд на Петра Великого и Россию был определяющим для теорий европейского Просвещения, наряду с постановками Монтескье. Сохранились два письма императрицы Фальконе, которые говорят о том, что она посвящала его в обсуждениях, которые велись по этому поводу в ее переписке с философами. В письме от 10.03.1767 г., т.е. вскоре после приезда скульптора в Россию, становится ясно, что Екатерина II дала ему читать письма, полученные ею от д'Аламбера и Вольтера, и просит его оставить последние у себя, сколько это будет нужно (СИРИО 1876, 17: 3). В то же время Вольтер, Дидро, Гримм и другие корреспонденты императрицы живо интересовались ходом работы по монументу. „Императрица рекламы“ делала все возможное, чтобы сделать достоянием не только русской, но и западной публики, подробности этого процесса. Она использовала все каналы: свою личную переписку и переписку своих приближенных<sup>60</sup>, эстампы, гравюры, памятные медали. Особо следует

---

<sup>60</sup> Красноречивым примером является переписка Анастасии Соколовой и Жамре-Дюваля. А. Строев обращает внимание на способ ведения переписки Екатерины II и Вольтера. Императрица предпочитала посылать письма обычной почтой. Она упорно не вслушивалась в просьбы корреспондента использовать дипломатические каналы, чтобы сделать обмен письмами более надежным и быстрым. Екатерина II рассчитывала на неконвенциональный способ „рекламы“: если она настаивала, особенно в годы русско-турецкой войны 1768–1774 гг., на использование обычной почты, это только потому, что знала, что письма перехваты вались и перлюстрировались французскими властями. Позднее, согласно

подчеркнуть инициативы по разглашению подробностей по перемещению и установке знаменитого постаменту – Гром-камня, которые считались верховным достижением технического прогресса. Можно смело сказать, что церемония по открытию памятника 7.08.1782 г. стала также событием общеевропейского масштаба и спровоцировала очередные размышления на тему просвещенной монархии и личности государя, тем более что она совпала со столетием коронации Петра I<sup>61</sup> (Шенкер 2010: 280). Интересен в истории замысла и реализации монумента факт, что Екатерине и Фальконе удалось осуществить желание самого Петра Великого<sup>62</sup>.

---

свидетельству Храповицкого, императрица ставила себе в заслугу, что таким способом она ускорила отставку своего заклятого политического врага герцога Шуазеля (Voltaire – Catherine II 2006: 19). Строев ссылается на запись в дневнике секретаря Екатерины от 6.02.1791 г.: „Я таким способом сменила Шуазеля, переписываясь с Вольтером“ (Храповицкий 1862: 238).

<sup>61</sup> Наиболее известным текстом в русской культуре на эту тему является „Письмо к другу, жителюствующему в Тобольске“ (1782) А. Н. Радищева.

<sup>62</sup> Желание Петра было воздвигнуть себе еще при жизни конную статую в духе марк-аврелиевской, но на вздыбленном коне (Bushkovich 2008: 172; Шенкер 2010: 92). Впрочем, история Медного всадника гораздо сложнее, чем общеизвестные факты. Помимо уже упоминавшегося намерения Петра I воздвигнуть памятник в стиле конной статуи Марка Аврелия на месте Полтавской битвы, в 1715 г. он заказал проект итальянскому архитектору Карло Бартоломео Растрелли, который предложил в сущности два варианта в 1716 и в 1720 г. Между тем в 1718 или 1719 г. Петр заказал модель своей конной статуи итальянскому скульптору Камилло Рускони (Шенкер 2010: 93). Мраморная копия коня Марка Аврелия (без всадника) стояла в Летнем саду вплоть до середины века (Шенкер 2010: 85). Сам Петр во время своего второго путешествия по Западной Европе интересовался существовавшими в то время конными памятниками владетельных особ, которые, за малыми вариациями, следовали классическому архетипу статуи Марка Аврелия. Елизавета Петровна выбрала упрощенный вариант одного из проектов Растрелли, который был отлит после смерти художника его сыном, Франческо Бартоломео Растрелли в 1747 г. Памятник простоял более чем полстолетия в амбаре, перед тем как Павел установил его напротив Михайловского дворца (подробно историю создания памятника Петру Великому, в том числе технические детали его отливки и установки см. в: Шенкер 2010).

Интересно, что Растрелли обратился с просьбой к Петру III дать деньги на ремонт сарая, где хранилась статуя, но внук не интересовался памятником деду и отказал. Вопрос был решен Екатериной, которая в августе 1762 (т.е. когда возникла идея поставить ей самой памятник!), несмотря на скудные средства, выде-

Однако, послания Медного всадника значительно превосходили по смыслу памятный знак в честь предка.

„В отсутствие кровного родства с правящей династией Романовых новая императрица решила узаконить свое правление установлением идеологической связи с самым выдающимся представителем, Петром I. [...] Однако Екатерина руководствовалась не одной эстетикой<sup>63</sup>. Она хотела приобщить свое имя к более содержательному памятнику, чем тот, заказанный 20 лет назад дочерью царя. Памятник, о котором она мечтала, должен был быть волнующим произведением искусства, но первым делом он должен был впечатлять зрителя масштабом замысла Петра I и нести на себе отпечаток ее усилий по воплощению этого замысла. Она хотела, чтобы памятник выражал грандиозную идею империи, существующей вне времени, и заодно укреплял лидера в политике и культуре“<sup>64</sup>, – отмечает А. Шенкер (Шенкер 2010: 96).

Пресловутая надпись на монументе „Петру I Екатерина II/Petro I Catharina II MDCCLXXXII“ всегда привлекала внимание своей лапидарностью и двуязычием. Перед тем как Екатерина и Фальконе выработали ее совершенное звучание<sup>64</sup>, многие годы русские авторы – и мэтры тогдашней поэзии, и их ученики и подражатели – старались изобрести надпись, которая бы выражала величие и заслуги создателя „новой“ России; этот процесс продолжился даже после открытия памятника (Илчева 2007: 180–181). Публика могла посещать мастерскую скульптора, созерцать модель будущего монумента и высказывать свое мнение<sup>65</sup>.

---

лила необходимую сумму (СИРИО 1876, 17: II). В глазах современников это был очередной знаковый жест новой государыни.

<sup>63</sup> Отказом установить тяжеловесную и безжизненную растрелиевскую статую.

<sup>64</sup> В письме от 14.08.1770 г. Фальконе предлагает текст „Petro Primo Catharina Seconda posuit/Pетру Первому воздвигла Екатерина Вторая“. В ответе от 18.08.1770 г. императрица заверяет скульптора, что „не впала в нелепость нескончаемых надписей“ и просит его оставить только четыре слова (СИРИО 1876, 17: 119, 122).

<sup>65</sup> Во многих письмах Екатерина советует Фальконе игнорировать злонамеренные критики и иронизирует над нелепыми советами, получаемыми при широком обсуждении памятника.



Памятник Петру I Екатерина II. „Медный всадник“

Менее всего знаменитая надпись означает порядок царствований во времени. Как бы ни было противоречиво восприятие в истории этих двух российских государей, то они, бесспорно, являются двумя колоссами русского „безумного и мудрого“ XVIII столетия. Об этом красноречиво написал идеологический оппонент Екатерины II Александр Радищев в своем итоговом стихотворении „Оснадцатое столетие“: „Две вознеслись скалы в среде струй кровавых:// Екатерина и Петр, вечности чада“; эти государи – основания счастья России: „Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона,// Екатериной, Петром воздвиг-

---

Изготовление проекта памятника, его гипсовой модели и пр. обрастали своей мифологией. Немаловажно то, что живой моделью коня был любимец Екатерины Бриллиант, на котором она восседала во время переворота (Greenleaf 2004: 417).

нут, чтоб счастлив был Росс.// Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами.// Зрите на новый вы век, зрите Россию свою“ (Радищев 1938, I: 127–129). „... Без усилий императрицы политико-героический миф Петра Великого не состоялся бы: иначе говоря, без Екатерины Второй не было бы Петра Первого – того Петра Первого, которого мы знаем по литературе и искусству предшествующих веков. В этом ракурсе надпись – воплощенная в граните квинтэссенция политики Екатерины, направленной на создание новой, имперской религии с верховным богом Петром Великим и первожрицей в ее лице. Памятник [...] был задуман, выполнялся и функционировал как главный культовый объект неоязычества Просвещения“, – отмечает Р. Илчева (Илчева 2007: 177–178). Шенкер комментирует так знаменитую надпись: „Символика двуязычной надписи прозрачна: в екатерининской России к византийскому Востоку и латинскому Западу будут относиться одинаково. Даже географическое расположение двух вариантов одной и той же надписи несет подобающую символическую нагрузку: русский текст обращен на восток, латинский обращен на запад“ (Шенкер 2010: 327). Идея соединения „Востока“ и „Запада“ Европы в ее личности сопутствовала императрице в течение всей ее державной жизни. Она зародилась у нее заранее, чем была широко прокламирована Вольтером. Эта идея отчетливо присутствует в символике Большой императорской короны Екатерины II, которая „составлена из двух серебряных полушарий, олицетворяющих соединение Востока и Запада на территории Российской империи. Величественный рисунок короны не только прекрасен, но и наполнен глубоким смыслом. Снизу сетку полушарий охватывают лавровые ветви – символ власти и славы, а в рисунке гирлянды между полушариями помещены дубовые листья и жёлуди, что символизирует крепость и прочность власти“ (Морозов [www](http://www)).



Памятник Петру I Растрелли

Лапидарная надпись выражала сокровенную идею Екатерины – о духовной и идеологической *прямой* связи с великим реформатором<sup>66</sup>. Русский и латинский варианты напоминали о значимости его фигуры не только для России, но и для всей Европы. Заодно с этим она напоминала современникам и потомкам о том, что сама императрица была „дочерью Асканиевой“ (Вольтер), обретшей новую родину на Востоке континента и своей мудрой политикой не

---

<sup>66</sup> На этом фоне особенно ярко видна нелепость претенциозной надписи, придуманной Павлом I к растреллиевской статуе. Бросается в глаза, что она была репликой знаменитой надписи на Медном всаднике и также претендовала на тенденциозно выраженную преемственность: „Прадеду – правнук“ (Илчева 2007: 181). Надо, однако, отметить, что в содержании павловской надписи настойчиво звучал династический мотив, может быть, из-за болезненности этой проблемы для сына Екатерины, тогда как философия надписи на монументе Фальконе и Екатерины настаивала на более важном аспекте – на преемственности в делах. Надо отметить еще и то, что Павел I, воздвигая памятник, воспользовался готовым результатом, он просто поставил готовую статую, не участвуя в выработке ее концепции, также, как воспользовался обеспеченным его матерью троном.

только усовершенствовала достигнутое Петром Великим, но также объединяла надежды и усилия мыслителей, направленные на достижение идеального государственного порядка во главе с „просвещенным монархом“.

Такой же многослойностью и сложностью посланий отличается автобиография государыни во всех вариантах, в которых вырабатывалась ею концепция собственного образа как успешного примера просвещенного владетеля. В первую очередь Екатерина адресовала свои записки сыну и внукам, сочетая политическое завещание с поучением, следуя своему любимцу последних лет жизни – Владимиру Мономаху. В этом контексте можно комментировать щекотливый факт, почему даже на пороге вечности, в последней редакции автобиографии, адресованной сыну, императрица не указывает категорически его настоящего отца. Екатерина II настаивает именно на преемственности духовной, состоящей в идеях, в национальной перспективе, а не на кровной связи<sup>67</sup>.

Как и памятник, автобиография императрицы предназначалась не только и не столько современникам и ближайшим наследникам, сколь потомству в целом. „Ваша гордая душа хочет одобрения маленького числа знатоков и почему же именно хотите вы, чтобы то были люди вашего века? Что вам сделали те, которые придут после них, чтобы не хотеть им нравиться? Разве потому что вы их не знаете?“ – писала императрица Фальконе. Она же рассчитывала прежде всего на справедливость потомства. Особенно актуально это стало для нее не просто на склоне лет и после тридцатилетнего царствования. В тревожные и кровавые времена

---

<sup>67</sup> Сходным образом толкует этот факт М. Крючкова, комментируя эпизод с Салтыковым: „История любовных походов Салтыкова при малом дворе, которую Екатерина не сочла нужным убрать из этих Записок, выполняет в них „воспитательную“ роль. Тем самым императрица пыталась предостеречь своего наследника от „феодалных“ фантазий и раздувания культа отца, к которым он обнаружил склонность. Она преднамеренно напустила тумана в рассказ о времени, предшествовавшем его рождению, и организовала там столпотворение претендентов (Чоглоков, Салтыков, Нарышкин, Чернышев). Она хотела показать, на сколь зыбкую почву вступает Павел Петрович, желая обосновать свою власть одним принципом кровного родства“ (Крючкова 2009: 204).



90-х годов столетия, когда создавались поздние редакции, надежда на „беспристрастность“ и справедливость потомства приобретала новую актуальность. На суд потомства рассчитывала г-жа Ролан, оставшаяся в истории своей известной фразой, произнесенной по пути к эшафоду перед статуей Свободы „Какие преступления совершаются во имя свободы!“. В тюрьме владелица влиятельного литературного салона пишет „Appel à l’impartiale postérité“ („Воззвание к беспристрастному потомству“ (1793, опубликованное в 1794–1795 на основных европейских языках) (Madame Roland 1990). В начале 90-х гг. XVIII века стареющая государыня пережила „интеллектуальный прорыв“ по поводу Французской революции (Гриффитс 2013: 133). Давно ушли из жизни те, за исключением Гримма, с которыми она вела оживленный интеллектуальный диалог – Вольтер, Дидро, д’Аламбер, Фальконе и которые, несмотря на свое личное мнение об императрице „с душой Брута и чарами Клеопатры“ (Дидро), создавали и поддерживали миф о „философе на троне“, мудрой законодательнице, которая своими справедливыми законами постепенно создавала гармоническое общество на бесконечных просторах своей страны. Ушли также сподвижники, друзья молодости<sup>68</sup>. Давно ушли в вечность политические партнеры – Фридрих Великий, Иосиф II, Густав III, трагически закончилась жизнь королевской четы во Франции. Императрица предвидела наступление эпохи „нового Чингиза или Тамерлана“, но надеялась, что это будет не при ней, а при „г-не Александре“ (Письмо Гримму от 1.09.1791 г. СИРИО 1878, 23: 555). „... Екатерина II мечтала с помощью Вольтера преодолеть смерть и

---

<sup>68</sup> Изабель де Мадариага указывает на заметные изменения в составе высших придворных кругов, называя имена многих сановников, умерших или ушедших окончательно в отставку, которые были в рядах приверженников и оппонентов Екатерины: Н. И. Панина и П. И. Панина, Г. Орлова, З. Чернышева, А. М. Голицына; на протяжении одного десятилетия ушли из жизни 19 сенаторов (де Мадариага 2002: 569–570). М. Крючкова добавляет к этому списку еще имена А. Вильбуа и обоих адресатов первой и второй редакций автобиографии – П. А. Брюс и А. И. Черкасова, отмечая также интеллектуальное одиночество императрицы, потерявшей по причине их старости многих приближенных, доживающих свой век (Крючкова 2009: 312).

льстила себе упоительной надеждой, что память о ней переживет ее на века. Эта надежда могла смягчить ужасный парадокс уникальной личности, обреченной неминуемо упокоиться в обезличивающей всех могиле. Выражая такую озабоченность потенциальным вердиктом потомства, Екатерина отражала систему ценностей тех, кого она более всего уважала...“ (Гриффитс 2013: 49). Вероятно, в эту эпоху кризиса, личного и исторического, Екатерина взялась заново за перо, чтобы не только рассказать свою жизнь как светскую беседу, но создать на основе прожитого философский трактат о государе, который мог бы послужить как ее непосредственным наследникам, так и мечтанному потомству. Лаконичную надпись на памятнике Петру Великому, который оказался также памятником ей самой (Илчева 2007: 180), она постаралась дополнить своей автобиографией, доказывая что она – единственно достойная преемница Петра Великого, развившая и упрочившая завещанную им страну. Прямых потомков легендарного реформатора она показывает в сложных параллелях недостойными (Петр III) и не до конца последовательными (Елизавета Петровна) продолжателями его наследия. В этом парадоксе по своему заключалась верность основной идее Петровской эпохи, требовавшей оценки личности по ее заслугам перед обществом.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автобиография русской императрицы Екатерины II представляет автора как талантливую писательницу и как высокоинтеллигентного философа. В маргинальных заметках на биографию Фридриха II аббата Денина императрица написала, очевидно про себя: „Без философии и без умов философских нет спасения для литературы“ (РТ: 688). Проблематика, связанная с ее собственным образом „философа на троне“, образцовой просвещенной монархии, очевидно занимала Екатерину всю ее жизнь. В автобиографии императрица выразила уникальность своего индивидуального опыта – человеческого, женского, исторического деятеля – руководителя огромной страны и главного действующего лица мировой политики. Сплав этих аспектов в ее собственном образе – главная тема мемуаров.

В тексте мастерски соединены различные повествовательные традиции – идущие от античности и Средневековья, философские контексты Просвещения, развивающиеся на протяжении всего столетия. Сказались, однако, традиции русской барочной поэзии, ораторской прозы, житийной литературы. Этот философский дискурс, посвященный различным аспектам актуальной для времени проблемы „просвещенного монарха“, иллюстрируется собственным житейским поведением – в качестве одновременно главы государства и частного лица. Философские послания сочетаются в тексте сложным образом с „романным дискурсом“, общей топикой европейского романа Просвещения в описании судьбы женщины. Это позволило автору раскрыть свою незаурядную личность, достоверно рассказывая факты прожитого, но интерпретируя их согласно желанным целям и внушениям, играя представлениями и знаниями будущих читателей.

В повествовании о своей жизни императрица не случайно вводит интертекст самых известных текстов античности и современности, которые были хорошо знакомы каждому хорошо образованному человеку ее эпохи. Популярность этих текстов („Сравнительных жизнеописаний“ Плутарха, „Размышлений“ Марка Аврелия, „Государя“ Макиавелли и „Анти-Макиавелль“ Фридриха Великого,

„Энциклопедия“, „История Карла XII“ и „История России при Петре Великом“, а также все огромное творчество Вольтера и Дидро, „Велизарий“ Мармонтеля, но также произведения Руссо, Мабли) давала ей надежду, что они будут читаемы и следующими поколениями, которым она прежде всего завещала рассказ-трактат о своей жизни. Форма автобиографии, находящейся вне всяких жанровых парадигм, недавно родившейся и всеобъемлющей, давала ей отличные возможности рассказать и одновременно с этим не досказать „всю“ правду о себе, но представить миру свои философские идеи об идеальном монархе. „Вечные“ тексты были удобным фоном для бессмертия, к которому Екатерина II несомненно стремилась.

Эта особенность автобиографического рассказа, постоянная литературная игра, отсылки к различным и часто противоречивым литературным традициям, делает текст исключительно сложным для разгадки и комментария. Его сложно оркестрированная поэтика требует от исследователя учитывать весь комплекс процессов и явлений в русской культуре XVIII столетия, историю общества и историю идей, механизмов иностранного культурного обмена, „сценарии власти“ русской монархии, извилины дипломатических отношений и остроту конфликтов. Позднейшие варианты текста создавались в обстановке накаленных до красноты политических событий, когда ушли из жизни бывшие друзья, собеседники и противники, заявляла о себе новая система ценностей, которая повергла беспощадной переоценке все прошлое. Чисто человеческие семейные проблемы и тревога от печального и напряженного развития отношений с сыном, тревога за будущее империи – все это сказалось на сложной поэтике екатерининской автобиографии.

Текст – это не только и не столько воспоминания о прошлом. Он менее всего является повествованием о днях молодости, который мог быть принят в качестве единственно правдивого документа. Автобиография императрицы пронизана напоминаниями об успешных политических решениях самой Екатерины и собственным гордым осознанием исключительности ее личности в истории.

„Не оцезарей!“ – призыву Марка Аврелия императрица последовательно следует в своем быту, налагая новый стиль общения мо-

нарха, элиты, общества в целом. В государственном бытии она все же отходит от этого совета, также, как инициированный ею памятник под резцом Фальконе отходит от традиции конных владетельских памятников. Екатерина II в аспекте будущего „проникнута порфирой“ (Марк Аврелий). Тщеславие императрицы было безграничным. Она свято верила в то, что является образцовым воплощением идеи о „просвещенном монархе“, изучив и применив в своей деятельности вековые теории философов, и реализовав все лучшее в государственной практике, начатое еще при правлении своих предшественников. Особенно сильно ей льстила мысль о том, что она не только продолжила дело Петра Великого, но что явилась новым образцом для будущих владетелей. Как женщина, она особенно гордилась тем, что „победила“ ведущие философские умы своей эпохи, доказав собственной эрудицией и здравым смыслом свое право на участие на равных в диалоге идей и уподобляясь этим своей небесной покровительнице, св. Екатерине. Культ „святой Екатерины Петербургской“ (Вольтер), выраженный на страницах ее автобиографии, сочетал универсальное и национальное, русское и европейское, традицию и поиски новых путей, здравый смысл и премеренный риск. Ее личность действительно была самым удобным агентом теорий Просвещения о „просвещенном монархе“, но монарх этот работал на „человеческой коже“ и убедился, что идеалы несбыточны, порой утопичны, но стремление к их реализации может послужить удачным примером для потомства...

В своих мемуарах сиятельный автор обосновала свое право на вечность и завещала потомству сложный, провоцирующий обращением к разнообразным повествовательным традициям, основанный на многопластовой литературной игре, уникальный рассказ о своей молодости. Это позволяет видеть в автобиографии Екатерины II мастерскую вещь, написанную с незаурядным литературным талантом. Автобиография императрицы, подобная сложно звучащей симфонии, добивается гармонического сочетания всех тем и жанровых традиций и является бесспорно лучшим текстом одного из талантливейших писателей европейского XVIII века, все еще ожидающего занять свое достойное место в курсах литературной истории.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**



## **РАКУРСЫ ПРОЧТЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА**

### **Автобиография Екатерины II и полемические контексты герценовской публицистики**

Жизнь автобиографического текста, как и образ автобиографа, двойственны. Если автор автобиографии выступает одновременно как рассказчик и как герой, то текст „живет“ дважды: первый раз в процессе своего создания и второй раз после своей публикации, которая чаще всего совершается через время, в другом литературном и социальном контексте. Неизбежно на саму автобиографию наслаиваются мифы и антимифы, связанные с личностью ее автора. Они оказывают влияние на читательские ожидания, а текст используется с точки зрения различных кауз. А. Г. Брикнер в „Истории Екатерины II“ высказывает мысль, не потерявшую своей актуальности и в наше время: „... Вольтер жестоко ошибался, утверждая однажды, что „между потомством и Екатериной никогда не окажется возможным какое-либо недоразумение“. Напротив того, лишь в самых редких случаях потомство столь резко осуждало исторических деятелей, как Екатерину“ (Екатерина II в воспоминаниях... 293). Причину этого отрицания следует искать не только в негативном отношении собственных потомков императрицы, а в кардинальных переменах, наступивших в Европе в конце XVIII – первые десятилетия XIX века. „Спустя поколение все переменялось. Говоря словами Пьера Бурдьё, культура XVIII века и составленный ею „символический капитал“ подверглись катастрофической девальвации. Годы между поздним правлением Екатерины II и воцарением Николая I ознаменовались крупными парадигматическими сдвигами в европейской культуре, которые особенно тяжело сказались на русских интеллектуалах. К 1825 году в Европе культура Просвещения уже давно была полностью дискредитирована, особенно в свете Французской революции и ее последствий, однако нигде пересмотр ценностей не был столь радикальным, как в России после нашествия Наполеона“, –



отмечает М. Левитт (Левитт 2015: 474). Французский историк конца XIX века Шарль Ларивьер, посвятивший в 1895 г. специальное исследование отношению Екатерины II к Французской революции начал свой труд с констатации того, что „Фридрих II, Мария-Терезия и Екатерина Великий (!) рядом с королем Вольтером – настоящие господа XVIII века. Все трое имели влияние на европейскую сцену, и нельзя сказать, кто из них больше заслуживал свою страну и кто из них более достоин восхищения истории“ (Larivière 1895: XXI). Однако, по мнению исследователя, если Фридрих и Мария-Терезия всегда были предметом исторического обожествления, этого нельзя сказать о Екатерине, которая „до последнего времени была отрицаема или, по меньшей мере, забыта“, и лишь недавние публикации документов и работы Соловьева, Брикнера и Бильбасова преоткрывают личность этой необыкновенной женщины“ (Larivière 1895: XXII). Клаус Шарф отмечает отсутствие этой дочери Германии из немецкого исторического пантеона и в XIX, и в XX веке, и в этом отношении немецкие историки шли в ногу с русскими: „По всей видимости, начиная с XIX века этот факт [немецкое происхождение Екатерины II, – А. В.] служил для национальных историографий обстоятельством скорее сдерживающим, чем вдохновляющим. Попыток определить место Екатерины в немецкой истории до сих пор не предпринималось<sup>1</sup>. [...] Однако важнейшие историко-биографические справочные издания, очевидно, не причисляют ее не только к „великим“, но даже к достойным упоминания немцам. [...] В до- и послереволюционной российской историографии, сосредоточившейся на имперских интересах России в XVIII веке или попавшей под воздействие великорусского национализма, немецкое происхождение удачливой, талантливой в политическом отношении императрицы Екатерины II считалось лишь забавной деталью, извинительным пороком ее биографии“ (Шарф 2015: 32–33). Ученый отмечает определенные всплески интереса среди соотечественников бывшей ангальт-цербстской принцессы в первые десятилетия XIX

---

<sup>1</sup> Фундаментальный труд Шарфа „Екатерина II, Германия и немцы“ был издан в оригинале в 1995 г., а в переводе на русский язык появился совсем недавно (Scharf 1995; Шарф 2015).

века, которые группировались в два противоположных лагеря: „за“ и „против“, но даже „патриотическая гордость [...] пережила резкое угасание после Польского восстания 1830-го года [...]. Во времена Николая I, а особенно с началом Крымской войны, возобладали и распространились берущая свое начало в традиции Просвещения, однако популярная и среди рьяных антипросветителей точка зрения, согласно которой в России за европейским фасадом продолжал жить азиатский деспотизм, более всего соответствующий характеру ее народа“ (Шарф 2015: 37–38). В этом же духе было истолковано многими и появление екатерининских мемуаров: „После того как в 1859 году Александр Иванович Герцен опубликовал фрагменты мемуаров Екатерины, откровенно изображавшие картину притворства и лицемерия, столь свойственную двору Елизаветы Петровны, императрица сама превратилась в олицетворение русской лживости и бессовестной жадности власти, а просвещенность ее абсолютизма была объявлена напускной“ (Шарф 2015: 39). Далее ученый отмечает появившееся в немецкой научной литературе „некоторую неловкость в связи с немецким происхождением Екатерины“ (там же, 39). Среди аргументов против Северной Семирамиды в немецкой среде Шарф обращает внимание и на то, что императрица предпочитала говорить и писать на французском языке, но о немецком прошлом русской государыни вспомнили шовинисты в годы Первой мировой войны (Шарф 2015: 41, 42).

То же противоречивое отношение аудитории наблюдается также в отношении мемуаров императрицы. Их судьба после смерти автора полна превратностей. Текст скрывали не только от публики, но даже и от членов царской семьи. Сами наследники престола могли прочесть автобиографические записки бабушки лишь после своего собственного восшествия на престол, а после этого текст снова старательно прятали в архивы до наступления следующего правления (Гартаковский 1991: 217). После того, как мемуары нашли в бумагах усопшей императрицы, ее наследник Павел Петрович позволил своему другу детства князю Александру Борисовичу Куракину прочитать рукопись. Куракин не преминул снять копию, с которой тайно распространились другие рукописные списки. Среди немно-

гочисленных верных читателей был граф Ф. В. Ростопчин, который по приказу Павла должен был просмотреть бумаги его покойной матери. Граф записал по памяти содержание другого скандального документа, хранившегося в одном пакете вместе с мемуарами: записки Алексея Орлова об убийстве Петра III<sup>2</sup>. Одним из первых читал записки граф Никита Петрович Панин, племянник Н. И. Панина и сын генерала П. И. Панина, участников екатерининского переворота и вельмож екатерининского времени. Среди содержателей списков екатерининских записок были Н. М. Карамзин, Александр Тургенев, граф Михаил Семенович Воронцов, с копии которого вероятно списал свою А. С. Пушкин, будучи секретарем вельможи<sup>3</sup>. Изготовление копии и ее хранение приравнивались к крупнейшим преступлениям против короны, поэтому текст тайно бытовал в ограниченном кругу культурной элиты. Даже разговоры о нем расценивались как нарушение государственной тайны и были чреваты риском. Об отношении власти к автобиографическим материалам, относящимся к членам императорской семьи говорит факт, что Николай I собственноручно сжег дневник императрицы Елизаветы Алексеевны, завещанный ею Н. М. Карамзину, и 28 томов дневниковых записей своей матери, императрицы Мария Федоровны, а копию автобиографии Екатерины, принадлежавшую Пушкину, которая была изъята после смерти поэта, сохраняли так, что ее нашли едва в 1949 г. (Тартаковский 1991: 217)<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> О так называемой „записке из Ропши“, проблеме ее подлинности, в том числе достоверности свидетельства Ростопчина), степени причастности Екатерины II к убийству мужа, постановке смерти Петра III и пр. см. работы О. А. Иванова (Иванов 2007а; Иванов 2007б, I–V; Иванов 2009, I–III) и Крючкова 2013.

<sup>3</sup> О. А. Иванов отмечает наличие двух списков екатерининских мемуаров у Пушкина. Ученый предполагает, что первый „воронцовский“ был неполным, и поэту захотелось иметь более подробный экземпляр. Поскольку в копии второго списка видны почерки Д. Н. Гончарова и Н. Н. Пушкиной, вполне возможно, что эта вторая (и незаконченная копия) предназначалась для его свояка, а не для самого поэта (Иванов 2007: 47, 51).

<sup>4</sup> Великая княгиня Елена Павловна, невестка Николая I и жена его младшего брата Михаила, одалживала у Пушкина его копию мемуаров Екатерины, о чем свидетельствует дневник поэта.

По мнению С. Диксона, причина отрицательного отношения к мемуарному наследию Екатерины II состоит в реальной возможности превращения императрицы в „икону, вдохновляющую критиков“ Николаевского правления. Из-за усиливающихся ностальгических настроений среди все еще живых свидетелей века Екатерины, они влияли на формирование общественного недовольства (Dixon 1999: 652). Николай I приложил последовательные усилия, чтобы помешать распространению списков, и приказал изъять наличные у немногих лиц, у кого таковые имелись. Согласно вступительной статье Герцена, после 20-х годов XIX века рукописные копии больше не распространялись (Герцен 1954, XIII: 378)<sup>5</sup>.

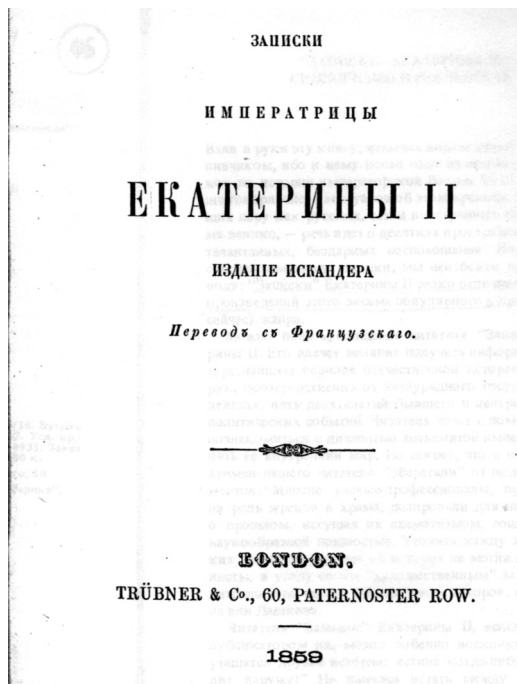
Николай I, после того, как прочел оригинал, запечатал его большой государственной печатью и приказал начальнику II Отделения Императорской канцелярии – известному литератору графу Д. И. Блудову хранить его в императорском архиве среди самых секретных документов. Только отдельные люди могли прочитать текст, среди них были сам граф Блудов, преподаватель истории царевича (будущего Александра II) К. Арсеньев, от которого Герцен и узнал о существовании рукописи (Герцен 1954, XIII: 379).

Во время Крымской войны архив перевезли в Москву, а в марте 1855 Александр II, уже после воцарения, потребовал рукопись для прочтения. Это стало причиной появления единичных новых списков, которые стали распространяться в Москве и Петербурге, и именно по одному из них Герцен осуществил свою публикацию (Герцен 1954, XIII: 379). Даже после публикации екатерининской автобиографии Герценом в 1858 г. и массовых отзывов о ней в западноевропейской печати в России текст еще долгое время бытовал нелегально. Это произошло благодаря подпольному распространению герценовских изданий и малочисленным спискам. Едва в 1869 г. появился первый легальный русский отзыв на печатную публикацию за границей, принадлежащий известно-

---

<sup>5</sup> Таким же образом Николай поступает с другими документами эпохи, которые могли бы сохранить положительный имидж его бабки, например, дневником ее секретаря А. В. Храповицкого. Император запрещает в 1833 г. подготовку его полного аннотированного переиздания (Dixon 1999: 654).

му проправительственному историку П. К. Щебальскому. Даже десять лет спустя появления книги, в нем не упоминалось имя публикатора (Щебальский 1869)<sup>6</sup>. Щебальский напечатал также отрывки текста, следуя изданию Вольной типографии<sup>7</sup>.



Титул публикации мемуаров Герценом

<sup>6</sup> Об этом отзыве см. Летопись жизни и творчества Герцена (далее ЛЖТГ), т. 5 (1868–1870). М., Наука, с. 186.

<sup>7</sup> В письме к Огареву от 8.04.1969 г. Герцен пишет: „Щебальский напечатал отрывки из „Записок Екатерины – по нашему изданию“ (Герцен 1954–65, XXX: 79).

Тем не менее, П. К. Щебальский значился в списках III Отделения как корреспондент Гречена. Среди других известных имен, известных тайной полицией, были еще Ю. Самарин, М. Погодин (Иванов 2007б, II: 16. Впервые список из 10 имен был опубликован М. Лемке). Помимо Баргенева, Герцен мог получить список от известного эмигранта кн. П. В. Долгорукова, а другие скандальные документы – от М. П. Погодина (см. Иванов 2007b).

В то время, как вся Западная Европа в упоении читает мемуары Екатерины (показательно появление переводов на не очень популярные европейские языки, а также переиздания на французском и немецком, самых популярных тогда в Европе языков), самые авторитетные критики и историки печатают свои статьи об этой публикации Герцена<sup>8</sup>, а рядовые читатели радуются получить книгу даже как вознаграждение за положенный труд, вместо зарплаты<sup>9</sup>, русские читатели, „обученные молчанию при Николае“, по удачному выражению Н. А. Тучковой – Огаревой (Тучкова-Огарева 1959: 137), независимо от занимаемого положения в обществе и должности в государственной машине, вообще избегают письменного упоминания факта своего знакомства с автобиографией императрицы. Красноречиво в этом отношении поведение известного профессора Санкт-Петербургского университета, литератора и цензора А. В. Никитенко, который даже в личном дневнике не рискует признать, что читал текст.

---

<sup>8</sup> Среди этих гораздо более реальных оценок, лишенных обличительного, и по этой причине, пристрастного пафоса Герцена, можно привести мнения известного французского критика Ш.-А. Сент-Бева, одного из основателей современной исторической науки в Германии Генриха фон Зибеля, Альфреда Рамбо, Томаса Карлейля. Статьи или заметки о публикации мемуаров Екатерины II были помещены в „The Times“, „National Review“, „Daily Telegraph“, „Morning Post“, „Westminster“, „Foreign Quarterly Review“, „Revue moderne“, „Revue des deux mondes“, „Allgemeine Zeitung“, „Unsere Zeit“, „Jahrzeit“, как и в некоторые менее известные европейские газеты и журналы („Ost und West“, „Galignani’s Messenger“). Отголоски об издании автобиографии императрицы достигли Соединенных штатов Америки; известны пока два отзыва американской прессы: один в явно более „желтой“ „Boston Post“ и другой – в близком по своим идеологическим позициям к Герцену, издание Т. Лиленда „Philadelphia Daily Evening Bulletin“. Некоторые из этих отзывов будут рассмотрены в ходе изложения.

Подробнее см: Ланской 1956; Эджертон 1997; Партридж 1959; Partridge 1958; Reissner 1963; сб. Autour d’Alexandre Herzen (1973); об отзывах эпохи: Sainte-Beuve 1884; Rambaud 1874; Von Sybel 1880.

<sup>9</sup> Это действительный случай из жизни чешского писателя-демократа А. Сташека, который получил второе немецкое издание екатерининских мемуаров как часть полагаемой платы за уроки немецкого языка (ЛЖТГ 1983, III: 594; см. также ЛН, т. 64, с. 781, 783).

Никитенко был горячим почитателем личности и дела Екатерины II. На страницах своего дневника, рассуждая над герценовской публикации полемического трактата князя М. М. Щербатова „О повреждении нравов в России“, в котором есть немало выпадов против императрицы, он мысленно „защищает ее“ от нападок политического оппозиционера XVIII века и самого Герцена:

„13.02.1858 г. Читал [кн. М. М.] Щербатова и Радищева, изданных в Лондоне Герценом. Щербатов озлоблен против Екатерины. Допустив, что ее у нас чересчур прославляли, ее все-таки, кажется, не следует порицать как Щербатов и Герцен. Пусть, по их мнению, в ее лучших государственных мерах было много искусственного, много внушенного желанием подделаться под ходячие идеи времени, последствия которых она не предвидела, много тщеславного, но тем не менее нельзя же отрицать в ее характере гуманности, а в уме такта и возвышенности. Несмотря на разврат и фаворитизм, Россия все-таки многим ей обязана. Она обязана ей внесением в нравы, в законодательство и управление человеческих начал, которые не остались бесплодными“ (Никитенко 1955, II: 39–40).

В дневнике Никитенко высказывает свое глубокое уважение к Екатерине II также по поводу трогательного, по его мнению, торжества по случаю 100-летия Смольного Института благородных девиц в 1864 г.: „... Воображение мое вызывало и Екатерину, которой Россия обязана пониманием высокого значения женщины и превращением ее из куска сладкого мяса или пирога, начиненного физическими восторгами, в существо мыслящее и благородное, в великое орудие народного перерождения и очеловечения“ (там же, 435).

И в созвучии со своими убеждениями, и по служебным обязанностям, Никитенко не остался бы безразличным к мемуарному тексту, тем более что чтение не менее скандальных герценовских публикаций Щербатова и „Путешествия из Петербурга в Москву“ Радищева свидетельствует о том, что ничто ему не мешало прочитать записки императрицы. Еще один факт говорит в пользу этого предположения. Годы подряд Никитенко находится в доста-

точно близких отношениях с П. К. Щебальским. В Дневнике Никитенко есть несколько записей о встречах и обменах семейными визитами с 1859 по 1869 г., о предметах разговоров. Например, в феврале 1859 г. оба обсуждали учреждение царем Комитета наблюдения над печатью, без официального разрешения которого не могло выйти ни одно печатное издание, и оба сходятся во мнении, что „даже император Николай Павлович не посягал на это“ [относительную свободу печати, которая могла осуществляться при более легком разрешительном режиме, – А. В.], а автор дневника не боится записать, что инициаторы учреждения комитета „разрушают возможность сближения того, кто мыслит в России, с правительством, и как мы ни привыкли к дурному управлению, как ни мало у нас средств противодействия ему, но тут неизбежно зло, и зло великое“ (там же, 55). Незадолго до этого, в середине января, Щебальский получил распоряжение изготавливать специально для Александра II ежемесячные обзоры интереснейших и стоящих внимания литературных произведений и научных статей, появившихся в печати (там же). Необходимо ли напоминать, что это время появления и главоломного распространения екатерининских воспоминаний, когда сам издатель Трюбнер в письме от 7.01.1859 г. американскому корреспонденту Лиланду сообщает, что из 2000 тиража останалось всего 400 экземпляров (Эджергон 1997: 752), неплохой результат за полтора месяца с момента выхода книги в свет. Никитенко читал открытое письмо Герцена („Колокол“, лист 27/1.11.1858) императрице Марии Александровне, оно опережало на несколько дней появление мемуаров на европейском книжном рынке. Никитенко сначала записывает слухи, распространяющиеся при дворе о содержании и стиле письма (Никитенко 1955, II: 40. Запись от 19.11.1858), а потом комментирует написанное Герценом (Никитенко 1955, II: 161). Очевидно, герценовская публикация высочайших записок, о которой говорят все, фон, на котором она произошла, волнует как Никитенко, так и будущего русского публикатора отрывков из воспоминаний императрицы. Однако, по всей видимости, страх от возможного компрометирования перед властями, заставляют



мемуариста оставить содержание разговоров для себя и не доверить их даже дневнику. Внимательный Никитенко не позволяет себе упомянуть о знании текста даже через десять лет: последняя по времени и записанная в дневнике встреча с Щебальским имела место в конце 1868 г. (Никитенко 1955, III: 135), т.е. незадолго до официального появления в журнале „Заря“ отрывков из автобиографии, ранней весной 1869 г. Тогда оба вполне могли обсуждать хотя бы намерение или подготовку публикации. Даже о возможности ознакомиться с текстом во время заграничных путешествий Никитенко рассказывает в дневнике как случай, произошедший не с ним, а с его знакомым, якобы кому в Германии предложили разные издания Герцена (Никитенко 1955, II: 288)<sup>10</sup>. Никитенко был человеком достаточно смелым, он боролся на деле за либерализацию цензурных правил, дважды попадал на гауптвахту за допуск к печати не совсем угодных властям сочинений. Может быть, бывший крепостной Никитенко имел все основания бояться за свое место в обществе. Когда-то с трудом, благодаря хлопотам влиятельных личностей, среди которых был В. А. Жуковский и члены „Библейского общества“, он получил вольную и сделал академическую карьеру. Но даже когда Никитенко был уже авторитетным человеком и был вхож во дворец, он был вынужден бороться за освобождение своей матери из крепостной зависимости (Бицилли 2005 www). „Магнетизм страха“, если перифразировать Гоголя, владел всеми современниками публикации Герцена екатерининских мемуаров. Даже Н. А. Тучкова-Огарева, которой исто-

---

<sup>10</sup> Запись от 4.08.1862: „Я встретился в Дрездене с кн. Юсуповым. Речь у нас зашла о Герцене и его революционных листках, которыми он наводняет Россию. Вот что он рассказал мне по этому случаю: „В Берлине покупал я в книжном магазине кое-какие немецкие книги. – А не хотите ли вы русских? – спросил у меня услужливый книгопродавец. – Каких же? – Да вот, например, герценовских; у меня есть всевозможные его сочинения; и прежние и самые новые. – Нет, – отвечал я, – у нас ныне очень строго преследуются эти вещи, и я боюсь, что не довежу их до Петербурга: у меня отберут на границе. – Вот порядки! Я вам доставлю в Петербург сколько угодно, прямо в ваш дом, в ваш кабинет. – Это удивительно! Но если я вздумаю задержать того, кто мне их принесет? – Не беспокойтесь! Вы не в состоянии будете этого сделать, вы и не увидите того, кто вам принесет их“.

рия обязана за рассказ о том, как Герцен получил записки императрицы, очень немногословна. Даже в 90-е годы XIX века, когда впервые печатались ее воспоминания<sup>11</sup>, эта многое повидавшая в жизни женщина, спутница обоих выдающихся лидеров русской революционной демократии в эмиграции – Огарева и Герцена, подтверждает собственным примером „успехи“ русского царизма в области подавления свободы слова. Она рассказывает эпизод с принесением мемуаров, но избегает говорить о какой бы то ни было реакции современников. Текст записок Екатерины продолжали нелегально читать или, по меньшей мере, читали тайком. Хотя русский перевод „Собственноручных записок“, изданный Герценом, многократно перепечатывался за пределами России, в стране впервые он появился в „Историческом вестнике“ в 1906 г. (тома 103–105) (Герцен 1954, XIII: 592). Последовало академическое издание Полного собрания сочинений императрицы, оглаверяемое акад. А. Н. Пыпиным, в котором автобиографические материалы занимают последний 12 том, опубликованный в 1907 г. Примечательно, однако, что большая часть содержания этого огромного тома напечатана на французском – языке большинства оригиналов, без перевода на русский язык. Это можно объяснить высокой языковой компетентностью образованной аудитории того времени, но этот акт по презумпции исключает более обыкновенных читателей, не очень хорошо понимающих французский язык давно минувшей эпохи. И то верно, что почти сразу было опубликовано русское издание автобиографических материалов, но, кроме вступительной статьи Я. Л. Барскова и именного указателя, этот том, репринтно воспроизведенный едва в 1989 г., не содержит никакого дополнительного научного аппарата. Это „нечтение“ имеет место на фоне активных публикаций сочинений и документов императрицы начиная с 70-х годов XIX

---

<sup>11</sup> Первое издание воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой (1829–1913) состоялось на страницах журналов „Русская старина“ (1890–1894) и „Северный вестник“ (1896), а отдельным изданием текст вышел при жизни автора в 1903 г. и снова в 1929 г. уже в советскую эпоху, когда издателями были добавлены дополнительные автобиографические материалы.

века в ходе обращения русской науки к историческому наследию Петра Великого и Екатерины II в связи с празднованием 1000-летия русской государственности. В 70-е и 80-е годы XIX века были опубликованы некоторые литературные произведения Екатерины II, но прежде всего ее переписка с Гриммом и Фальконе, рядом других западноевропейских корреспондентов (г-жой Жоффрен, г-жой Бьелке, д-ром Циммерманом), небольшая часть корреспонденции с Потемкиным и пр. Сборники Императорского Русского исторического общества (СИРИО) посвящают несколько томов письмам и бумагам императрицы Екатерины II. Но часто публикаторам, среди которых встречаются очень большие имена, как имя акад. Я. К. Грота, приходится поступать компромиссно, так, как впоследствии делают ученые, подготовившие академическое издание. Грот выпустил в 1878 г. переписку Ф.-М. Гримма и Екатерины II на французском, нарушая одно из основных правил СИРИО: все документы на иностранном языке должны обязательно публиковаться и в русском переводе, наряду с оригиналом (Карп 1998: 205). В то же время шла параллельная публикация приблизительно половины писем в русском переводе в ж. „Русский архив“ под редакцией П. И. Бартенева („неизвестного приносителя“ екатерининских „Собственноручных записок“ из лондонских воспоминаний Тучковой-Огаревой), а Грот издал в 1879–1884 г. три студии, пересказывающие содержание корреспонденции, учитывая ее основные темы (Грот 1881), а в 1885 г. в 44 томе СИРИО осуществил самое полное до сих пор издание писем Гримма к Екатерине. Таким образом, воскресшие документы, вышедшие из-под пера русской императрицы, включающие важные (авто)биографические материалы, живут как бы двойной жизнью: с одной стороны, они постепенно становятся достоянием русской аудитории и печатаются в престижных научных изданиях. С другой стороны, они – объект цензуры и их рецепция усложнена, насколько это возможно.

Двойственность к личности Екатерины II находит выражение в ходе подготовки тысячелетнего юбилея России. „Начало 1870-х годов ознаменовалось памятным чествованием двух предков

Александра – основателей реформаторских традиций в России XVIII века. Два события – празднование двухсотлетия со дня рождения Петра Великого в 1872 г. и открытие первого императорского памятника Екатерине Великой в 1873 г. – дали Александру возможность заявить о себе как о наследнике в блистательном ряду прогрессивных и энергичных правителей. Но император в обоих случаях отказался от претензий на это наследие. Напротив, оба события лишь подчеркнули и без того очевидную дистанцию, отделявшую его от предков с их мифологическими достоинствами и достижениями“, – констатирует Р. Уортман (Уортман 2004, II: 173). Воздвижение памятника Екатерине также сопровождалось двусмысленным отношением к ее личности и делает связь с ее политическим наследием проблематичной: „Российские императоры после Екатерины не делали никаких усилий, чтобы почтить ее память. Даже на Александра, который восхищался своей прабабкой, пришлось нажать, чтобы он продолжил работу над памятником; и при этом Александр надеялся передать дело своему преемнику, что означало бы, что памятник никогда бы не был построен. Инициатива исходила от профессоров Академии художеств, которые в мае 1859 [sic! – А. В.] объявили сбор пожертвований на возведение статуи в Петербурге, чтобы почтить память „покровителя“ Академии. Александр, который не поддержал призыв, вместе с тем вряд ли мог противиться созданию памятника Екатерине – его предшественнице, символизировавшей просвещение, культуру и реформы“ (Уортман 2004, II: 180–181).

С. Диксон подчеркивает, что в начале 70-х гг. XIX века обращение к положительному мифу о Екатерине находится в центре предпринятой кампании (venture) корригирования некоторых отрицательных черт в имидже царской власти (Dixon 2004: 201). Двойственное отношение Александра II находит выражение в оформлении самого памятника. Фигуры известных деятелей екатерининской эпохи в разных областях – военной области, культуры, литературы, науки – Потемкина, Румянцева, Суворова, Орлова, адм. Чичагова, И. И. Бецкого, А. А. Безбородко, Е. Р. Дашковой и Г. Р. Дер-

жавина – исключают одну из важнейших сфер государственной и реформаторской деятельности императрицы: законодательство, которое выступало в качестве приоритета в правлении ее правнука. Когда после десятилетнего строительства памятник, наконец, был закончен, он начинает восприниматься как еще один символ несбывшихся надежд, которые бы мог представлять собой монарх (Уортман 2004, II: 182). Так что документы, связанные с личностью знаменитой предшественницы, были нежеланным напоминанием о неблагоприятных ее наследника и разочарованиях его правлением.



Памятник Екатерине Великой  
в Санкт-Петербурге, вид спереди



Памятник Екатерине Великой  
в Санкт-Петербурге, вид сзади

Автобиография русской императрицы, как очень личный документ, была еще надолго осуждена на молчание. Даже выдающийся русский историк В. А. Бильбасов, в своей известной биографии Екатерины II использовал сведения, почерпнутые главным обра-

зом из герценовского издания (упомянутого в библиографии и часто цитируемого в труде без имени издателя, а только с указанием года издания). Биограф использовал также неопубликованные автобиографические источники, например, раннюю редакцию, посвященную графине Брюс, о содержании которой ученый узнал от Д. А. Блудова, и которая была напечатана только в академическом издании. По этой причине Бильбасов не мог опубликовать свой исключительно серьезный труд в России и был вынужден искать издателя на Западе, оставляя историю, из-за серьезных препятствий, наполовину незаконченной (мнение Рахматуллина, Екатерина II в воспоминаниях... 1998: 12)<sup>12</sup>.

В то же время, несмотря на нелегальность, текст зажил своей жизнью и, как многие другие издания Герцена и его Вольной типографии, вошел в репертуар чтения довольно широкой и элитной, респективно образованной и мыслящей, аудитории. Вот что писала немецкая газета о распространении герценовских публикаций: „... издания Герцена можно найти на столе и в спальней царя, царицы, великих князей, министров, так же, как у степных помещиков и в кавказской армии. Никогда публицист не оказывал такого глубокого и обширного воздействия на свою нацию, как Александр Герцен...“<sup>13</sup>. Сам публицист в „Былом и думах“ с гордостью отмечает значение и авторитет своих изданий:

... Год спустя (1 июля 1857 г.) вышел первый лист „Колокола“. [...] Книга остается – журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того усваивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслию. [...] Действительно, влияние „Колокола“ в один год далеко переросло „Полярную звезду“. „Колокол“ в

---

<sup>12</sup> „История Екатерины II“ Бильбасова вышла в Берлине в 1900 г., через девять лет после написания. Первые две части книги были запрещены Главным управлением по делам печати в декабре 1891 г., а указанная причина – „по оскорбительности для памяти царствовавших особ империи последней половины XVIII века“. Настоящий мотив подразумевал активное использование историком „мало кому в ту пору известных „Записок“ Екатерины II“. Александр III выражал даже намерение конфисковать наличные у Бильбасова материалы (Рахматуллин, там же).

<sup>13</sup> Мнение анонимно, оно было напечатано в сп. „Jahrzeiten“ N2/1859. Цит по: Ланской 1956: 816).

России был принят ответом на потребность органа, не искаженного ценсурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение, были письма, от которых слезы навертывались на глазах [...] Но и не одно молодое поколение поддержало нас [...]

„Колокол“ – власть“, – говорил мне в Лондоне, horrible dictu (страшно вымолвить), Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу [...] И прежде его повторяли то же и Тургенев, и Аксаков, и Самарин, и Кавелин, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П. [Виктор Панин – б. м., А. В.] – постоянный, как подсолнечник, в своем поклонения всякой силе, умильно смотрел на „Колокол“, как будто он бил начинен трюфлями [...]

Во дворце „Колокол“ получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело „стрелка Кочубея“ [...] Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей... (Герцен 1986, II: 592–593)

Говоря о влиянии Герцена на формирование общественного мнения в России, не надо забывать другое обстоятельство: распространение герценовских изданий и текста екатерининской автобиографии в разных европейских странах. Имея в виду этот факт, можно предположить внушительное число путешествовавших и пребывавших в Западной Европе русских, преимущественно из разных прослоек дворянской и художественной интеллигенции, которые читали текст, если не у себя на родине, то за границей. Именно за границей прочел автобиографию Екатерины знаменитый русский художник Исаак Левитан, который в письме А. П. Чехову делится тем, что книга, попавшаяся ему вместе с несколькими другими запрещенными русскими изданиями, вызвала у него особый интерес<sup>14</sup>. В Италии, еще в декабре 1858 г., месяц после выхода в свет, читает записки Екатерины ее горячий почитатель князь П. А. Вяземский. Но в его „Записных книжках“ не найти комментария относительно текста. Человек, внесший весомый вклад в утверждение „культы

---

<sup>14</sup> 29.05.1897 г. Левитан пишет А. П. Чехову: „Достал много запрещенных книжек в России и прочел. Интересно, в особенности записки Екатерины II“ (Левитан 1956: 75).

Екатерины и ее системы“ в начале XIX века (Dixon 1999: 647), сохранивший для потомков ряд анекдотов и рассказов современников ее века предпочитает отозваться о цене, по которой продают книгу, но не обмолвился ни словом о сюжете или затронутой в вступительной статье проблематике: „Читаю *Записки* Екатерины, напечатанные Герценом. Продается один небольшой том за 50 франков. Издателю Записки достались даром, а сам кричит на корыстолюбие русских чиновников – и краденую вещь продает втридорога, рассчитывая на соблазн и жадность публики к соблазну. Вот они, эти Катоны и Бруты“ (Записка от 21.12.1858 г. Вяземский 2003: 905). П. А. Вяземский не только знал текст со времени своей молодости по первой волне списков по причине своих родственных и дружеских связей с Карамзиным и Пушкиным, но и сам имел копию: „Через графа Бенкендорфа император Николай потребовал от меня находящегося у меня списка мемуаров Екатерины, тогда еще не напечатанных“ (цит. по Иванов 2007б, II: 53); это он писал Тургеневу в Париж с просьбой-приказом императора Николая сдать свой список мемуаров императрицы (см. Иванов 2007б, II: 54–57). А Вяземскому, в сущности, нечего бояться: до 1858 г. он был товарищем министра просвещения, имел титул обер-шенка при Дворе, был тестем министра внутренних дел П. А. Валуева, многократно доказал свою лояльность престолу, о чем говорит его отношение к издателю записок, вытекающее из цитируемого комментария. Но у него, также как у Никитенко, срабатывает страх и чувство самосохранения.

Чтение герценовских изданий служит также своеобразной модой, как было в моде между 1857 и 1863 г., когда каждый русский, случайно или нет, оказавшийся в Лондоне, считал своим долгом посетить изгнанника, чей дом даже был включен в достопримечательности лондонского пригорода, где он жил (Герцен 1986, II: 590). Н. А. Тучкова-Огарева отмечает особо поклонение студентов Герцену (Тучкова-Огарева 1959: 114). О живом отклике на герценовские послания свидетельствует „ливень писем и корреспонденций из всех частей России“ (Герцен 1986, II: 594). Огромный диапазон русской аудитории в Россия и за ее пределами, которая читала герценовские свободные издания, предполагала активное включение



воскресенных текстов в актуальную социальную и общественную полемику эпохи, одной из сложнейших в русской истории XIX века.

Публикация автобиографии Екатерины II – часть эпической борьбы за переосмысление прошлого и его связей с настоящим, которую предпринимает Герцен в конце 50-х гг. XIX века: „В „войне за прошлое“ сражение велось буквально за все утекшие века российской жизни: западники и славянофилы толковали о варяжских и киевских князьях, декабристов волновали новгородские свободы; Карамзин, публикуя том об Иване Грозном, одновременно вписывал его в историю русской общественной мысли XIX столетия, так же как Пушкин, завершая „Бориса Годунова“, Однако, современной, новой историей страны естественно считался период с Петра Великого. Но если до 1700 г., при всех ограничениях и стеснениях цензуры, главные исторические факты и документы не были за семью замками, то по петровскому времени шла демаркационная линия суровых государственных вмешательств, запретов и тайн. Это обстоятельство заметил Герцен, объявляя в одном из своих вольных изданий: „Времена татарского ига и московских царей нам несравненно знакомее царствований Екатерины, Павла“, – отмечал Н. Я. Эйдельман (Эйдельман 1984: 50).

Екатерининская автобиография – один из основных документов в „необыкновенном курсе секретной русской истории за 140 лет, начинавшийся примерно с 1718“ (Эйдельман 1984: 50), с которым лидер русской политической эмиграции знакомит русских и европейских читателей в начале эпохи реформ в России. Комплекс идей, который предлагают читателям „Собственноручные записки“ Екатерины II, имеет параллели в нескольких проблемных кругах, о которых тогдашние публицисты, мыслители, общественные деятели или просто образованные и думающие люди вели нескончаемые споры.

О. А. Иванов, тщательно исследовавший архивы, связанные с публикациями Герценом документов прошлого и, в особенности, записок Екатерины II, обращает внимание на то, что правительству и тайной полиции было известно о готовящемся издании, однако, власти не остановили его: „Но в Петербурге прекрасно понимали,

что, уничтожив один список и даже набор, они не будут гарантированы от того, что существует еще один список, который опять будет пущен в дело“ (Иванов 2007б, II: 19).

\* \* \*

„Женщина эпохи Просвещения была и остается объектом истории идей“, – справедливое суждение Сильвена Менана (Menant 2004) особенно актуально по отношению имиджа Екатерины II и прочтения ее автобиографии с течением времени. Предметом рассуждения здесь будут возможные аспекты читательской рецепции в России конца 50-х – начала 60-х годов XIX века и участие записок императрицы в общественной и социальной полемике того времени. Многие из высказанных тезисов имеют характер постановки вопроса, так как их подробный комментарий является большой самостоятельной научной проблемой, сочетающей методiku и предметы нескольких сфер знания – истории литературы и литературной критики, истории общества, социологии, культурологии, гендерных исследований. Для его полного осветления необходимо большое количество сведений из архивов, исследование неопубликованных мемуарных и эпистолярных свидетельств. Вопрос является существенной частью проблем изучения истории цензуры в России, отношений между литературой и властью, оппозицией (заграничной и внутрирусской) и правительством, отношения русских монархов к их собственному „семейному“ наследию и включение или, наоборот, исключение этого наследия из „сценариев власти“ и создание ее мифологии.

Последние из перечисленных аспектов в последнее время получили свою очень серьезную и углубленную интерпретацию в трудах американского историка Ричарда С. Уортмана. Несмотря на это, именно образ Екатерины II, интерпретации ее дела в названном контексте недостаточно полно выяснены, особенно что касается их осмысления (как подчеркнутая преемственность или отталкивание) во второй половине XIX – начала XX века.

Русские цари XIX века, даже либерально и реформаторски настроенные, как оба Александра – I и II, не любили возвращаться

к правлению Екатерины II. В „сценариях власти“ и в имидже ее наследников на троне в XIX в. реализуется то, чего императрица, по всей видимости, больше всего боялась и от чего стремилась уберечь увлеченного отцовским „наследством“ Павла. И в его собственном правлении, и в режимах его сыновей и внуков реализуется в большой степени пренебрежение интеллектуальными аспектами власти, законотворчеством. Гораздо более актуальна для них торжествующая агрессивность военных предпочтений. Русские императоры XIX века выражали в своей страсти к парадам и демонстративной военщине идентичность династии<sup>15</sup>.

Интерес к екатерининской эпохе и ее блестящим завоеваниям не только на военном поприще, но и в области социальных реформ и культурного расцвета был подавлен в середине XIX века во время правления Николая I, который очень отрицательно относился к личности и делу Екатерины II. Показательно то, что Николай запретил в 1850 г. переиздание философской и политической переписки Северной Минервы с Вольтером (Tax Choldin 1985: 44), вышедшей в свет в „дни Александровых прекрасном начале“ (Екатерина II и Волтер 1802). Такое отношение к интеллектуальному наследию великой русской императрицы благоприятствовало негласному бытованию мифов, связанных с ее личностью. С одной стороны, это миф об идеальной государыне, какой ее видели представители старшего поколения дворян, родившихся и начавших свою карьеру в ее время, благоговейно относившихся к ее памяти. Показательно в этом смысле глубокое уважение, которое испытывал к императрице отец Ф. Ф. Вигеля: „Около тридцати пяти лет служил мой отец Екатерине II верой и правдой, всегда с благоговением произносил ее имя, никогда не позволял себе осуждать ее слабости (о том у нас в доме и помину не было), но и никогда не удавалось мне слышать от него заслуженных похвал, коими все ее превозносили“ (Вигель 2000: 11)<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Эта направленность символики власти убедительно доказана Р. Уортманом (Уортман 2002; 2004).

<sup>16</sup> С. Диксон подробно рассматривает аспекты положительного Екатерининского мифа в первые несколько десятилетий XIX века (Dixon 1999).

Этот „одописный“ образ поддерживался прежде всего Н. М. Карамзиным („Историческое похвальное слово Екатерине II“, „Записка о древней и новой России“), С. Н. Глинкой, княгиней Дашковой (опубликованными под инициалами в 1806 „Подлинными анекдотами Императрицы Екатерины Великой, Премудрой Матери Отечества“), князем П. А. Вяземским, А. С. Пушкиным. Близкий друг Пушкина и Вяземского, А. И. Тургенев писал последнему: „... умная и опередившая не свой, а наш век Екатерина. [...] Как ни говорите, а в бессмертной Екатерине в самом деле что-то бессмертное, и Пушкин недаром любил ее...“ (цит. по: Сабурова 2012: 244; Письмо от 30.04.1837). В бытование положительного екатерининского мифа свой вклад внесло множество других людей, родившихся или начавших свою карьеру в екатерининскую эпоху, дамы, бывшие в ее окружении. Такой была, например, О. А. Жеребцова, с которой в трудный момент своей жизни, после возвращения из ссылки, встречался и вел длинные беседы Герцен. Жеребцова заступается за опального писателя, используя свои связи и влияние. Такой была известная собеседница Пушкина Н. К. Загряжская (см. Dixon 1999; Golburt 2014: 155–238; Пенская 2012; Сабурова 2012)<sup>17</sup>.

С другой стороны, это отрицательные мифы, получившие распространение прежде всего после публикации сочинений иностранцев, побывавших в России в эпоху Екатерины и описавших некоторые неллицеприятные факты: это „Секретные записки“ Ш. Массона, „История революции в России“ Рюльера, биография Екатерины II Кастера, дополненная скандальными подробностями Тууком (Тооке). Отрицательные мифы еще больше усиливались умолчаниями, намеками и отсутствием документальных публикаций: миф о безудержном разврате, начавшемся после рождения „нелегитимного“ наследника престола в сочетании с мифом о мужеубийце, узурпировавшей трон<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> О. А. Жеребцова – сестра последнего фаворита Екатерины II П. Зубова; Н. К. Загряжская, в девичестве Разумовская, – дочь крупного екатерининского вельможи, последнего гетмана Украины Кирилла Григорьевича Разумовского (героя екатерининских мемуаров) и племянница тайного супруга Елизаветы Петровны А. Г. Разумовского.

<sup>18</sup> О биографии Екатерины Кастера и Туука см. Griffiths 1982.

С этих позиций приступает к комментарию текста при его публикации Герцен в своем стремлении раскрыть „уголовную историю“ (Желвакова 1974: 209) русского царизма, публикуя ряд тайных документов в своих оппозиционных изданиях – на страницах „Колокола“, „Полярной звезды“, в исторических сборниках.

Документы не столь отдаленного прошлого важны для Герцена из-за их связи с настоящим: „В начале 1858 г. уже ясно видно сплетение современной и исторической темы в Вольных герценовских изданиях. Герцен и Огарев стремились представить злободневное и в связи с предшествующим историческим развитием: 1830–1840-е годы, декабристские и пушкинские десятилетия, XVIII век“ (Эйдельман 1984: 85).

Эйдельман сообщает, что с 1858 по 1861 г. Герцен и Огарев обнародовали 269 материалов, относящихся к периоду до 1855 г. Это были документы, мемуары, статьи, запрещенные стихотворения, публицистические сочинения XVIII и XIX веков. По мнению исследователя, „потаенный XVIII век“ – один из самых актуальных и распространенных сюжетов как в вольных, так и в подцензурных изданиях: „По числу публикаций и статей он первоначально опережал или по крайней мере шел наравне с новыми материалами о XIX столетии. Это понятно: более горячие, почти современные темы – о декабристах и Пушкине, например, – значительно труднее проходили в легальной печати; к тому же многие свидетели событий были живы, многие мемуары только еще создавались“ (Эйдельман 1984: 86). Тогда, во второй половине 50-х гг. XIX века, в легальной литературе и публицистике „выделялись новые, существенные публикации о политической истории конца XVIII в. „Современник“, „Русское слово“, „Библиографические записки“ и другие журналы печатали статьи и документы о Н. И. Новикове, Д. И. Фонвизине,

---

Даже в конце XIX – начале XX века сравнение дамы из царской семьи с Екатериной может быть истолковано как обида, направленная на ее моральные качества, или же как „обличающее“ „несвойственные“ амбиции во власти. Таков случай с великой княгиней Марией Павловной, супругой великого князя Владимира Александровича (брата Александра III и дяди Николая II). Опасения высочайшего мужа подобных аналогий стали причиной запрета уже готовой постановки оперы Римского-Корсакова „Ночь на Рождество“ в Мариинском театре в 1895 г. (Dixon 2004: 195–196).

М. М. Щербатове, Е. Р. Дашковой, наконец, о восстании Пугачева и первом русском революционере А. Н. Радищеве“ (Эйдельман 1984: 86). С середины 60-х годов таких материалов стало заметно больше и в подцензурной печати – в журналах „Русский архив“, „Русская старина“ и др. (там же). Интересно отметить, что некоторые из публикаторов, такие как М. И. Семевский, П. И. Бартенев, известный больше как фольклорист А. Н. Афанасьев, П. А. Ефремов и др. сотрудничали и с Герценом: „Публикации Вольной русской печати являются в немалой степени памятником их смелой, благородной деятельности“ (там же). Борьба, которую вел Герцен, состояла в том, чтобы дать правдивую, основанную на неизвестных до тех пор текстах (или известных очень узкому кругу читателей) и документах, интерпретацию исторических событий и характеров и не позволить злоупотребление ими со стороны властей.

Сам Герцен пристрастен. Он также „цензурирует“ определенные аспекты образов исторических деятелей и значение их государственных актов. Его цель – нанести удар в самое сердце официальной пропаганды, подготовить общественное сознание для своих собственных оппозиционных идей. Поэтому многие выводы, выраженные во вступительных статьях, сопровождающих публикацию важных текстов, каким была автобиография Екатерины II, отличаются односторонностью. Искандер акцентирует, часто даже сильно преувеличивает то заключение, которое в наибольшей степени созвучно его идеям и удобно для достижения определенного внушения. Г. Г. Елизаветина пишет: „Революционно-демократическая критика в России, используя рассказы о прошлом для революционных задач настоящего, была слишком связана цензурой, чтобы говорить об этом во весь голос“ (Елизаветина 1967: 41). Современный исследователь должен внимательно подходить к выраженным Герценом оценкам и искать особенности культурного фона, на котором проецируется и воспринимается вышедший из забвения текст.

Пропаганда Герцена была столь сильной, что она породила целый ряд находящихся под ее воздействием прочтений, которые контаминировали с бытовавшими мифами (естественно, преобладающе отрицательными) о Екатерине II. Они повлияли также на

интерпретацию ее личности и в более близкое время, особенно в советскую эпоху, когда точные исторические биографии и оценки Бильбасова, Брикнера, Соловьева, Ключевского уже забыты или ими пренебрегают, а по идеологическим соображениям отрицательные мифы, хотя иногда завуалированно, лежат в основе романизированных биографий императрицы. Даже когда писатели, очевидно, основывают свои произведения на основе материала автобиографии (например, незаконченный роман „Екатерина“ Анатолия Мариенгофа<sup>19</sup> или „Фаворит“ Вл. Пикуля), они считают необходимым придать повествованию предвзятое отношение к объекту рассказа, выражают нотку „недоверия“, хотят „изобличить в лицемерии“ царственную героиню и представить ее, по меньшей мере, двусмысленно. Следует помнить, что в условиях отсутствия новых публикаций автобиографии Екатерины II в России от появления академического издания и его русского перевода в 1907 г. до 1990 г. такие биографии и романы были едва ли не единственными, по которым русский (советский) читатель мог судить о личности прославленной императрицы. Этим обстоятельством можно объяснить фурор в читательской среде романа Пикуля в перестроечную эпоху, который все интересующиеся русской литературой хорошо помнят.

Интереснейший аспект этой проблемы – „излишнее усердие“ советской цензуры даже в отношении герценовской интерпретации образа Екатерины. Даже крупные ученые, такие как Н. Я. Эйдельман, И. А. Желвакова, очевидно, боятся обмолвиться о возможном положительном отношении первого публикатора мемуаров к их автору. Соображения такого характера явно мешают Г. Г. Елизаветиной, ученой, сделавшей немало для осознания автобиографии как литературного, а не только как исторического документального жанра, выявить настоящую суть записок императрицы и их восприятия Герценом. Исследовательница ошибочно отмечает, что

---

<sup>19</sup> Мариенгоф пишет свой роман в 30-е годы XX века. В 1936 в ж. „Литературный современник“ печались отрывки из него, но текст был полностью опубликован едва в 1994 г., вместе с автобиографическими текстами писателя (см. Мариенгоф 1994).

события, а не история собственной личности лежат в основе так называемых „дворцовых мемуаров“, к которым она (справедливо) относит тексты Екатерины II и княгини Дашковой. Сведенные под общий тематический и социологизированный критерий (авторы таких текстов – люди, жившие или служившие при Дворе), автобиографии обеих замечательных женщин теряют в глазах не знающего их читателя свое самое ценное качество: идею эволюции этих необыкновенных женских личностей.

Во вступительной статье к мемуарам Екатерины II Герцен, по понятным причинам, уделяет немало места истории их нахождения и появлению списков, а также проблеме аутентичности текста. Публицист верно уловил главную особенность воссозданного мемуаристкой собственного образа: его создания в развитии: „При чтении этих страниц предугадываешь ее, видишь, как она превращается в то, чем стала впоследствии“ (Герцен 1954, XIII: 379). Он отмечает также амбицию будущей русской императрицы еще в юном возрасте добиться русской короны. Но Герцен рассматривает эту амбицию в контексте борьбы за „бесхозную“ русскую корону аристократической олигархии, ставящей на престол путем преворота очередного кандидата („Русская корона – после Петра I – была *res nullius*“ (там же, 380). В предисловии Искандер открыто перечисляет превратности в государственном управлении Россией в XVIII веке и ставит их в своеобразную систему. „Предисловие Герцена к „Запискам“ Екатерины – краткая история русского царствующего дома в XVIII веке без „дифирамбов“. Ясно, что в этой истории, а не в личности Екатерины, главный – политический и исторический – интерес „Записок“, их ударная сила“, – отмечает Г. Г. Елизаветина (Елизаветина 1967: 41). Публицист утрированно и иронично намечает особенности отдельных правлений и правителей. Неуважение к законности Петра I, „террориста и реформатора по преимуществу“ (Герцен 1954, XIII: 380), и произвол неограниченной самодержавной власти приводят к пренебрежению национальными традициями, к власти интриг и силы, к калейдоскопической смене держателей трона. Это: Екатерина I („бывшая ливонска кабатчица“, „вдова бравого шведского драгуна,



убитого поле брани, и вдова Петра I, которому Меншиков уступил ее „из преданности“); „мальчишка“ Петр II; герцогиня Курляндская (Анна); принцесса Анна Брауншвейгская, царствовавшая от имени грудного младенца (Ивана), родившегося „слишком поздно“, чтобы царствовать; и Елизавета, родившаяся „слишком рано“ (намек на рождение этой русской императрицы до законного брака ее родителей), которая „олицетворяет законное начало“ (там же). В „адской буре“ переворотов мелькают Бирон и Миних, Лесток и Ла Шетарди, нужные орудия русской олигархии, которые доводят до успешного конца очередное начинание. Честолюбие молодой немецкой принцессы, ее жажда власти и личная амбиция рассматриваются публицистом как особенности ее личности, нашедшие благоприятную почву в системе завоевания верховной власти в Российской империи в ряде сходных по типу переворотов.

Герцен высоко ценит таланты юной великой княгини – героини мемуаров: „Представьте же себе теперь, после всего нами сказанного, в какую среду судьба забросила эту девушку, наделенную одновременно и большим умом и характером гибким, но полным тщеславия и страстности“ (там же, 384).

Публицист с сочувствием представляет судьбу молодой Екатерины: выданная замуж за „самого нелепого олуха своего времени“, узница во дворце, за которой следят на каждом шагу по приказу императрицы Елизаветы („бой-баба, крикливая, грубая, всегда под хмельком, ревнивая, завистливая...“ (там же, 385), терпящая чудовищные унижения со стороны своего супруга, который „делает ее поверенной своих любовных похощений“, заставляющий ее их выслушивать и с помощью кулаков, подвергающий ее ежедневно „прелестям“ соседства своих собак и своих нелепых военных игр (упомянута казнь крысы, повешенной за „нарушение“ военного устава) (там же). Герцен тщательно подбирает самые яркие детали пережитого на протяжении долгих лет психического угнетения, описанные Екатериной. Для него она – очередная жертва, но также порождение порочной политической системы, которая ищет способа воспроизвести себя в ней в прямом и переносном смысле:

Это еще не все. Постепенно оскорбив, осквернив все нежные чувства молодой женщины, их начинают систематически развращать. Императрица усматривает непорядок в том, что у Екатерины нет детей. Госпожа Чоглокова сообщает ей об этом, что нужно, наконец, пожертвовать своею щепетильностью, когда дело касается *пользы государства*, и в конце концов предлагает ей на выбор Салтыкова и Нарышкина. Молодая женщина разыгрывает из себя дурочку, берет себе в любовники обоих и сверх того Понятовского, и таким образом вступает на то эротическое поприще, которое не оставляла в течение сорока лет (там же).

Преувеличение скандальных подробностей (также как и выше, при перечислении предыдущих правителей Российской империи) – „берет себе в любовники обоих“, и умышленный анахронизм („и сверх того Понятовского“), без того, чтобы намекнуть на пережитую душевную драму, рассказанную в мемуарах, преследуют определенную публицистическую цель. В данном случае Искандер предпочитает сгущение красок и сверхакцентирование сообщенных мемуаристкой фактов ее личной жизни, чтобы добиться возможно наиболее сильного удара по самочувствию русской царствующей династии и нанести ей глубочайшую рану, оспаривая ее легитимность. Публицист предпочитает воспользоваться распространенными отрицательными мифами о русской императрице, чтобы уязвить самое болезненное место в родовой памяти ее внуков. Такой же смысл – повторения бытующих мифов, а не анализ сообщенных автобиографом обстоятельств, вложен в категорическое заявление Герцена о вроде бы откровенном „признании“ в нелегитимности престолонаследника и, следовательно, правящей династии:

Самое важное в этой публикации для российского императорского дома – доказательство того, что не только дом этот не принадлежит к фамилии Романовых, но даже и к фамилии Гольштейн-Готторпских. Признание Екатерины в этом смысле выражено совершенно отчетливо – отцом императора Павла был Сергей Салтыков.

Императорская диктатура в России тщетно пытается представить себя традиционной и вековой (там же, 385–386).

На самом деле, в автобиографии Екатерины нет такого категорического и „отчетливого“ признания. Напротив, у нее произошел выкидыш ребенка от Салтыкова, а потом она так часто упоминает „легкие признаки беременности“ и освобождение от них, что категорического мнения по этому вопросу не может быть<sup>20</sup>. Но так как этот вопрос был исключительно болезненным для русского царского дома по причине скандальной славы Екатерины „на эротическом поприще“, Герцен хорошо рассчитал свой удар<sup>21</sup>. Но представляя Екатерину также в качестве жертвы имперской машины, он, по сути дела, связывает спорную легитимность династии с аморальностью системы с самого создания империи и отказа от национальной традиции. Печально, что и Павел, и его наследники унаследовывают поведение „русских немцев“ и маниакальную военщину Петра III, т.е. в них находят проявление тот дух, которого Екатерина больше всего боялась.

Легенды, упорно бытовавшие в русском обществе и связанные с династическими тайнами Романовых, особенно сильно волновали Герцена. Он собирал и публиковал в разных изданиях Вольной ти-

---

<sup>20</sup> Таким же образом читает факты общепризнанная как лучший знаток жизни и дела русской императрицы Исабель де Мадариага (Мадариага 2002: 35). Исследовательница не отрицает, однако, гипотезу предполагаемого отцовства Салтыкова, основывая свое мнение на факте, что, несмотря на многочисленные любовные связи, Петр Федорович не имел детей и вероятно был бесплодным (ср. с рассказом Греча), а внешнее сходство Павла с Петром и отсутствие какого-либо сходства с „прекрасным Сержем“ она объясняет неведомыми наследственными законами (там же, 36). Так или иначе, в автобиографии нет такого категорического признания, какое приписывает Екатерине Герцен. Х. Хугенбум также не занимает категорической позиции по этому вопросу и объясняет возможной незаконностью Павла объявление текста государственной тайной (Hoogenboom&Cruse 2006: XII).

<sup>21</sup> Вряд ли высказанная в предисловии позиция может восприниматься как проявление пуританизма родившегося в начале XIX века Герцена, который, по мнению Катрионы Келли, выражал сверхкритичность людей Пушкинского поколения (Kelly 1994: 49). Не надо забывать, что Герцен принадлежит следующему после Пушкина поколению, а его собственные взгляды на семейные отношения, верность, измену отличаются своей радикальностью от взглядов его сверстников. Это видно из его поведения во время семейной драмы конца 40-х годов, рассказанной в „Былом и думах“, а также жизни в „тройственном союзе“ с Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. П. Огаревым во время публикации „Записок“ (см. также Паперно 1996).

пографии даже рассказы откровенного и неоспоримого фольклорного характера. Это, например, легенда о финском (чухонском) происхождении Павла. Ее содержание сводится к замене якобы мертворожденного младенца Екатерины финским (чухонским) ребенком, ставшим впоследствии русским императором. Герцен поместил ее в один из „Исторических сборников“ в 1861 г. (см. Эйдельман 1985: 140–168)<sup>22</sup>. Производит впечатление в данном случае, что анонимный автор использует соответствующий эпизод автобиографии Екатерины и видит в отсутствии внимания к великой княгине подтверждение своего предположения о мертворожденном ребенке (там же, 142)<sup>23</sup>. Даже давая себе отчет в фольклорном характере этих текстов, Герцен все-таки публикует их с оговорками и использует как средство борьбы с престижем самодержавной власти. Раскрытие или, скорее, привлечение внимания общества к тайнам такого рода, а также к скандальным обстоятельствам смерти некоторых из русских царей или наследников престола (Павла I, царевича Алексея Петровича), было действенным оружием главы русской политической эмиграции того времени в его в борьбе против официозного благообразного имиджа русского царствующего дома. Это значение материалов очень чутко почувствовал французский историк и корреспондент Герцена Ж. Мишле, который 24.11.1858 (10 дней после выхода в свет книги!) писал в благодарственном письме издателю автобиографии императрицы: „Публикация „Записок Екатерины“ с вашей стороны – настоящая заслуга и большое мужество. Династии помнят такие вещи больше, чем о какой-либо политической оппозиции“ (цит. по ЛЖТГ 1976, II: 456). Позднее, до конца XIX века некоторые представители радикальной русской политической эмиграции будут продолжать в

---

<sup>22</sup> Рукописи анонимных статей на эту тему Герцен получал от украинской писательницы Марко Вовчок (там же).

<sup>23</sup> Свообразным продолжением этой легендарной истории являются рассказы некоторых декабристов, которые Герцен также публиковал, об очередном самозванце – мнимом брате императора Павла, подвизавшемся в Сибири под именем Афанасия Петровича. Интересна в случае семантика имени, означающая „бессмертный“ (там же).

пропагандных целях напоминать болезненные факты, оспаривая в памфлетах легитимность династии (Dixon 2004: 205)<sup>24</sup>.

Распространение в русском обществе слухов о спорном происхождении Павла затрагивало одну из самых болезненных и искусственных черт в мифологизированном образе царского семейства, тщательно создававшимся в Николаевскую эпоху. Один из важнейших компонентов в „сценарии власти“ при Николае I – сплоченная и многолюдная императорская семья, жизнь которой основывается на взаимной любви и привязанности императора и его супруги, а соблюдение семейной нравственности рассматривалось как неотъемлемая часть русского самодержавия. Эта нравственность находилась в гармонии с идеологией „официальной народности“, возрождавшей патриархальные идеи русской государственности. Идеализация семейных отношений Николая I и Александры Федоровны – характерная черта мифологии вокруг личности императора, несмотря на слухи о многочисленных изменах и любовных авантюрах. Эта черта мифологии власти переживает Николая и остается актуальной до тех пор, пока существует империя (Уортман 2002, I: 437)<sup>25</sup>. Первоначально она активно поддерживалась Александром II, брак которого с Марией Александровной был далеко не „безоблачным“. „Царю-освободителю“ не удавалось даже имитировать искусственный образ идеальной семейной четы его родителей. Появление „скандальных“ мемуаров Екатерины действительно попало прямо в цель и имело очень важное идеологи-

---

<sup>24</sup> Автор имеет ввиду памфлет А. В. Степанова „Екатерина II, ее происхождение, интимная жизнь и политика“ (Лондон, 1895).

<sup>25</sup> Ученый подробно рассматривает метаморфозы этой идеи и кризисные моменты в ее реализации в личной жизни Александра II, проистекающие от его отношений с княгиней Юрьевской особенно в 70-е годы XIX века, а также в жизни других членов царской семьи. Нарушение этого принципа сильно навредило „сверхчеловеческому“ ореолу российского самодержца и, как следствие, идее исключительности царской институции в России (Уортман 2004, II: 216–220). Намерение Александра II вступить в морганатический брак с княгиней Юрьевской, выбор русской, нарушает важный аспект мифологии власти в Российской империи: значение жен-иностранок как носительниц духа космополитизма и цивилизованности (Уортман 2004, II: 241).

ческое значение. Именно эти бытовые измерения поведения монарха, который позволяет себе слабости и радости обыкновенного подданного, постепенно разрушают харизму самодержавной власти в конце XIX – начале XX века, а персона императора постепенно теряет иллюзию своей сверхъестественности и надпоставленности (Уортман 2004, II: 164–172)<sup>26</sup>. По этой причине публикация „Собственноручных записок“ Екатерины II не была обычной „желтой“ сенсацией, преследующей выгоду, не на последнем месте, торговую или рекламную.

О том, что такие толкования целей герценовской публикации и догадки, что ее скандальностью эмигрант ищет только финансовую выгоду, были возможны, свидетельствует реакция американской газеты, которую, со своей стороны, цитирует в отклике на появление мемуаров императрицы корреспондент Искандера Чарльз-Годфри Лиланд:

Некто снял точную копию мемуаров распутной императрицы; копия эта передана была в руки некоего г. Герцена, русского миллионера, который несколько лет тому назад бежал под защиту Англии, предварительно вложив свое состояние в британские государственные бумаги, а теперь ведет неутомимую борьбу против российского деспотизма. [...] Этот г. Герцен, естественно, ухватился за эти мемуары как за новое орудие и новый предмет для своей пропаганды, фирма же Трюбнера и К, субсидируемая золотом бывшего русского поданного, решила выпустить книгу на французском языке. Екатерина, как свойственно ее полу, делает ряд интимных разоблачений, и одно из них ужаснейшим образом затрагивает честь императорской фамилии. Она недвусмысленно заявляет, что ее супруг, царь, не являлся „тятенькой“ ее детей. Это смелое признание Екатерины, разумеется, обидно для царя; но она крепко „заклепывает“ это признание, назвав имя подлинного отца наследника престола (Павла), а отсюда следует, что царствующая династия Романовых незаконна и неправомерно узурпирует трон. В России могут не обращать на это особен-

---

<sup>26</sup> Уортман обращает внимание также на другие аспекты этого процесса потери харизмы: замыкание императора в кругу своей собственной семьи, принятие буржуазного идеала разделения частной от публичной жизни, неумение вести себя на публике и общаться с народом последних двух царей – Александра III и Николая II.

ного внимания, даже если это и правда, а не мстительная *утка*, но немало других царствующих домов [Европы] вошло в родство с Романовыми, так что можно ожидать всеобщего возмущения „в высочайших кругах“, особенно в Германии, где родословные ценятся выше, чем понюшка табаку. Книга эта, несомненно, послужит одной из главнейших тем для зимнего суесловия; она может привести к официальным переговорам и требованию императора выдать Герцена, а также повесить, колесовать и четвертовать бесцеремонного Трюбнера и К<sup>о</sup> (цит по: Эджертон 1997: 750–751).

В цитированном комментарии желтой „Бостон поуст“ производят сильное впечатление ударения на всякого рода скандальных и экзотических обстоятельствах, которые должны заинтриговать массового американца. Старательно проводится игра стереотипами: русский „миллионер“, осуществивший часть „американской мечты“, успешно вкладывая деньги в ценные бумаги; „распутная императрица“, число ее детей (в принципе слухи касаются исключительно наследника престола). Из предисловия Герцена заимствован мотив категорического признания Екатерины, которая будто прямо назвала отца Павла. Вообще автор этой публикации хорошенько почитал отзывы в английских газетах по поводу издания имперских мемуаров. В статье „Таймса“ в номере от 7.01.1859 года говорится, что „тонкий лоск“ не может скрыть неудобных подробностей и ясно, почему записки до тех пор не увидели свет: в них мало, чем могут цари гордиться<sup>27</sup>, а Герцен потирает руки, предвкушая финансовый успех (The Times, 1859, 7.01. P. 10 – www). Эффект усиливается использованием жаргонной лексики, предвкушаются возможные скандалы, в том числе и дипломатические,

---

<sup>27</sup> Эта фраза почти как заклинание повторяется в западных откликах на герценовскую публикацию мемуаров. Подписавшие или нет свои рецензии и отзывы журналисты и критики предпочитают не обсуждать щекотливый вопрос о династических тайнах, связанных с престолонаследием и оставляют русским судить о них, а сосредотачиваются на содержании текста (см. ниже Sainte-Beuve 1884; Rambaud 1874: 590). Альфред Рамбо просто констатирует, что императрица не скрывает своих интимных связей сначала с Салтыковым, а потом с Понятовским. Он считает, что неудобные истины лучше, чем памфлеты, которые слишком долго занимали общественное внимание, а факты позволяют узнать лучше императрицу, от чего ее образ только выигрывает (Rambaud 1874: 570).

и кровавые зрелища во вкусе толпы, что могло бы заполнить не один или два номера прессы в будущем. Любопытнее всего допущение, что мотив признания может быть газетной „уткой“, типа тех, к которым прибегают газеты того же пошиба, как та, в которой был помещен отзыв, преследуя свои меркантильные цели. Лиланд защищает доброе имя Герцена и объясняет американским читателям его каузу, его добросовестный подход к историческим фактам и документам, его авторитет и влияние в России, чтение „Колокола“ разными слоями русского общества, царем, двором и правительством, студенчеством и интеллигенцией. Совершенно неожиданно выведен американского журналиста об единомыслии между Герценом и Александром II<sup>28</sup>. По мнению Лиланда, опубликованные мемуары интересны не только из-за скандальных раскрытий, а из-за того, как воссоздается образ императрицы и как представлены дворцовый быт и нравы (Эджертон 1997: 752).

\* \* \*

Основная цель, которую преследует Герцен в предисловии к запискам Екатерины II, – подчеркнуть аморальность, нелегитимность и чуждость русского самодержавия по отношению к национальному духу и традициям, а также пренебрежение „мнением народным“. Это заставляет его не уделять внимания некоторым особо важным мотивам, в сущности основной сюжетной линии в автобиографии императрицы: работе над собой, духовному росту личности. Н. Я. Эйдельман отмечает по поводу издания Герценом документов, связанных с возникновением политической оппозиции в России в XVIII веке: „В статье о Дашковой кроме вопроса о предшественниках, о тех, кто сто лет назад по-своему сопротивлялись власти, Герцена явно интересует и другая проблема, очень

---

<sup>28</sup> „Те, кто прочтет все вышесказанное, должны иметь в виду, что хотя Герцен – реформатор и враг политических злоупотреблений, он вовсе не является врагом русского правительства, насколько это касается нынешнего царя. Его взгляды прогрессивны, и они во всех отношениях идентичны взглядам Александра, к которому он неизменно относится с глубочайшим уважением“, – пишет Лиланд (Эджертон 1997: 751).



важная для его исторической и философской концепции, – формирование независимых, оригинальных, свободных личностей. [...] Через все последнее двадцатилетие герценовской жизни и борьбы, как известно, проходит мысль о значении внутреннего освобождения для внешней свободы, о необходимом увеличении числа свободных людей как надежной гарантии против рабства“ (Эйдельман 1984: 90). А именно такой независимой, оригинальной и свободной личностью выступает в своей автобиографии сама Екатерина, и с этой точки зрения она без всякого сомнения была интересна Герцену, даже как объект противопоставления оппозиции. Едва ли эта проблематика ускользнула от внимания публициста, тем более, что она находилась в прямой связи с проблемой воспитания наследника престола. Это предположение находит подтверждение и в контексте, в котором выходят в свет екатерининские мемуары.

1 ноября 1858 г., всего за 15 дней до появления записок на книжном рынке, Герцен обращается с открытым письмом на страницах „Колокола“ (лист 27/1, 11.1858) к императрице Марии Александровне. Письмо полностью посвящено воспитанию наследника престола. Текст быстро получил известность и был принят одобрительно даже самыми консервативными и верноподаннически настроенными кругами общества. Сам Герцен прочувственно вспоминал позже об эффекте, произведенном на адресата (см. выше).

Конкретный повод для письма – смена концепции воспитания наследника престола и назначение нового главного воспитателя в лице Августа Теодора фон Гримма. До восхождения на престол Александра II воспитание его старших детей – Николая Александровича и Александра Александровича (будущего Александра III) по утвердившейся традиции русского двора было делом императора. Николай I любил заниматься внуками, уделяя особое внимание их военному обучению (Уортман 2002, I: 491).

Воспитание наследника престола становится предметом широкого обсуждения в обществе в контексте перемен, наступивших после Крымской войны с наступлением нового царствования. „С Крымской войной, с смертью Николая, настает другое время, из-за сплошного мрака выступали новые массы, новые горизонты, чу-

ялось какое-то движение...“ – пишет Герцен в „Былом и думах“ (Герцен 1986, II: 591). Р. Уортман отмечает: „Воспитание Николая Александровича стало предметом серьезного обсуждения только тогда, когда под воздействием мнения образованных людей император с императрицей стали уделять этому больше внимания. После Парижского договора видные государственные и общественные деятели – такие, как министр иностранных дел А. М. Горчаков, дипломат и придворный В. П. Титов, историки М. П. Погодин и К. Д. Кавелин, – начали выказывать сожаление по поводу образования наследника и выбора воспитателей. Они указывали на несоответствие между узким военным воспитанием мальчика и образом национального лидера, движителя социального и экономического прогресса, представленного в сценарии Александра. Они призывали Марию Александровну обеспечить наследнику прогрессивное европейское образование“ (Уортман 2002, II: 138).

Несмотря на различия, все эти деятели требовали, чтобы наследник не был изолирован от образованного русского общества и народа, чтобы он получил университетское образование, чтобы осознал место России в системе европейских государств. Под натиском этих представителей русского общественного мнения в конце декабря 1856 г. воспитателем цесаревича был назначен дипломат В. П. Титов, протеже А. М. Горчакова. Ему удалось ввести некоторые изменения в воспитание Николая Александровича, но он не смог преодолеть влияния придворных консерваторов, особенно страхи вдовствующей императрицы Александры Федоровны. В 1858 г. Титов попал в изоляцию, и наставником великих князей был назначен бывший воспитатель младших сыновей Николая I, вышеупомянутый Гримм, доверенное лицо Александры Федоровны. Это назначение беспокоило патриотично настроенные круги русского общества по причине откровенных антирусских проявлений нового наставника.

„Он верил в цивилизующую миссию немцев. Он не только не умел говорить по-русски – его книги были полны нескрываемого презрения к России и русским. Гримм уменьшил количество часов, отведенных для русского языка и литературы. Он утверждал, что русская история не содержит в себе принципа органиче-

ского развития и поэтому не может быть подходящим предметом для изучения“, – комментирует эту спорную личность Р. Уортман (Уортман 2002, II: 140).

Письмо Герцена императрице Марии Александровне созвучно беспокойству мыслящей части русского общества. Оно подлило масло в огонь общественной дискуссии о принципах воспитания будущего государя и выражало желание порвать с десятилетней традицией военщины и иностранного бюрократического клиентелизма, а также установить актуальные модели управления русским обществом под руководством современно думающего и образованного монарха.

Сопоставление публицистического послания с печатавшимися в тот же момент „Записками“ Екатерины II имеет еще один важный аспект. Бесспорно, живущему в Англии с начала 50-х гг. XIX века Герцену были известны отождествления (в положительном смысле) новой русской императрицы Марии Александровны с Екатериной II, встречавшиеся в английской печати с середины десятилетия. Они характерны для периода непосредственно после смерти Николая I, в начале 1855 г., когда в британской прессе публиковались портреты нового царя Александра II и его супруги. Вот что пишет в своем дневнике 1.03.1855 г. несогласная с этими оценками Анна Тютчева, близко знавшая новую государыню благодаря ежедневному общению с ней:

Вчера я читала в „Индепенданс“ статью об императрице Марии Александровне, в которой громко восхваляется ее большой ум и говорится, что Россия может надеяться найти в ней вторую Екатерину. Изображать ее в этом свете – значит оказать ей плохую услугу по отношению к императору, так как среди окружающих его лиц находится много таких, которые ставят себе целью внушить императору недоверие к императрице и подозрение, что она может воспользоваться своим умственным превосходством над ним, чтобы подчинить его и оказывать влияние на дела. Нужно очень мало знать императрицу, чтобы приписывать ей какое бы то ни было сходство с Екатериной II. Императрица, несомненно, очень умна; ум ее очень тонкий, очень чуткий, очень пронизательный, но между ее умом и умом Екатерины II совершенно нет ничего общего. Ека-

терина II была не столько умной женщиной, сколько гениальным мужчиной; она была призвана к тому, чтобы влиять на людей, направлять их, управлять ими; чтобы всегда проявлять себя во вне и искать во внешней и чисто земной жизни удовлетворения своему огромному честолюбию. Императрица Мария Александровна не обладает ни одним из качеств и ни одним из недостатков Екатерины II. Она создана гораздо более для внутренней жизни, душевной и умственной, чем для активной деятельности и для внешних проявлений. Честолюбие свое она обращает не на искание власти или политического влияния, но на развитие своего внутреннего существа... (Тютчева 2004: 219–220).

Когда писались эти строки, дочь великого русского поэта Ф. И. Тютчева уже три года была фрейлиной Марии Александровны. Дневник, который она ведет на протяжении многих лет во время длительной придворной службы и после того, как уже покинула двор и должность воспитательницы царских детей, дает очень ясное представление о личности этой русской императрицы и о ее реальном участии в государственных делах. Если психологический портрет Марии Александровны, созданный Тютчевой, и вправду отличается от портрета Екатерины, то есть основания говорить о некоторых аналогиях по отношению вмешательства государыни в важные государственные вопросы, и можно смело сказать, что, хотя и не столь явное, ее участие было достаточно серьезным. Так что Герцен обращается к Марии Александровне не только как к супруге императора и матери его детей, но и как к влиятельной политической личности.

Публицист не призывает в письме к императрице к радикальному переустройству государственного управления или экономических отношений, как он это делает в ряде своих сочинений. Он ясно отдает себе отчет в том, что в конкретный момент надо быстро сделать все возможное, чтобы предостеречь многообещающего наследника, с чьей личностью и качествами которого были связаны надежды России и „детская вера“ народа, уберечь его от развращающего и антипатриотического влияния нового воспитателя, воплощавшего длительную порочную традицию. Публицист ставит акцент на исключительно важной роли монарха с точки зрения модели власти

в русской империи того времени: „По несчастию, очень многое в судьбах самодержавных монархий зависит от личности царя“ (Герцен 1954, XIII: 353). Вряд ли здесь идет речь о каких-либо просветительских иллюзиях и отступлении от радикальных политических убеждений, в чем упрекали Герцена некоторые позднейшие деятели революции (например В. И. Ленин). Устаревшая политическая система тогдашней России – причина сходства позиций, выраженных эмигрантом-публицистом, с убеждениями многих русских мыслителей века Просвещения, которые разделяли идею постепенного преобразования общества путем воспитания прежде всего монарха.

Герцен высказывает позиции, сходные с мнениями других русских общественных деятелей. Он требует для наследника современного университетского образования (так же, как в аудиториях престижных английских университетов сидит сын королевы Виктории) и настаивает, чтобы оно было получено в „Севастополе науки и образования“ – Московском университете, отстоявшем истину и мысль во время тридцатилетних гонений (там же, 354)<sup>29</sup>. Герцен подчеркивает также необходимость гражданского воспитания, так как „звание русского царя не есть военный чин“ (там же, 357). Он призывает императрицу Марию Александровну найти более благородное занятие для своего сына, чем вечная игра в солдаты. Публицист встревожен свидетельствами очевидцев, которые рассказывают, как к наследнику посылают кадетов, с которыми он играет в войну в залах Зимнего дворца, так же, как это делал его прапрадед Петр III. Герцен не отрицает необходимость знаний в военной области, которые пригодятся цесаревичу, когда тот взойдет на престол, но требует, чтобы они давались наравне со знаниями по финансовым, гражданским, судебным и социальным вопросам. В письме есть открытая аналогия с поведением Петра III: „Есть действительно что-то зловещее и тупое в этой страсти к солдатам, она невольно напоминает несчастного голштинского принца, невзначай попавшего вместо прусских каптенармусов

---

<sup>29</sup> Имеются в виду гонения и ограничения в Николаевскую эпоху, которые Герцен испытал сам в качестве студента университета в 30-е гг. XIX века.

в русские императоры, который целые дни играл в деревянные солдаты и вешал по военному суду крыс – на стенах крепости из картонной бумаги“ (там же, 359). Эти детали, заимствованные из уже печатавшихся мемуаров Екатерины, еще четче подчеркивают необходимость прервать печальную традицию „пустоты великокняжеских существований“<sup>30</sup>, характерную для русского двора, и переосмыслить воспитание наследника престола, сформировать в нем истинный патриотизм и способность критического восприятия проблем страны под руководством знающих и соответствующих его высокому призванию наставников.

Письмо Герцена императрице Марии Александровне было положительно встречено самыми разными кругами русского общества. А. В. Никитенко отмечает в своем известном дневнике, что оно произвело сильное впечатление при дворе, а также, что письмо отличается хорошим тоном и очень умно (Никитенко 1955, II: 569). Анна Тютчева пишет в свою очередь: „Императрица дала мне прочесть письмо Герцена в „Колоколе“, обращенное к ней по поводу воспитания наследника. Он разносит Гримма и систему военного воспитания великих князей. Герцен – мерзавец, но, увы, в этом во-

<sup>30</sup> Красноречивый пример в этом смысле приводит в своих мемуарах Н. И. Греч, которого никак нельзя упрекнуть в оппозиционности к верховной власти. Известный литератор возмущен узким кругозором будущего Николая I и его младшего брата великого князя Михаила Павловича, воспитанием которых руководила их мать, императрица Мария Федоровна: „Вообразите, каков был бы Николай, с своим благородным, твердым характером, с трудолюбием и любовью к изящному, если б его приготовили к трону, хоть бы так, как приготавливали Александра (Александра I, – А. В.). Но того воспитывала Екатерина Алексеевна, а этого Мария Федоровна, женщина почтенная и добродетельная, но ограниченная в своих взглядах и суждениях, трудолюбивая и неусыпная нянька и хозяйка, но весьма недалёковидная в политике и истории. Немка в душе, как сказано выше. Она окружила великих князей людьми добрыми, но посредственными и бесхарактерными. Еще удивительно, что они не вышли хуже. Николай принужден был доучиваться, уже женатый, в Берлине. Михаил лишь только сдал последний экзамен, заколотил огромным гвоздем свой шкаф с книгами, которого нельзя было назвать библиотекой. Зато великие княжны были образованны и воспитаны тщательно и успешно. Все они принесли честь России, своим родителям и фамилии. От всех отличилась четвертая дочь императора Павла, недаром нареченная Екатериною“ (Греч 1990: 250–251).

просе, как и во многом другом, он прав. Ужасно то, что императрица, при всей своей проницательности [...] и беспристрастии своего ума, понимает лучше, чем кто бы ни было, все слабые стороны, все недостатки и несовершенства системы воспитания, принятой для ее сыновей, а также того персонала, который их окружает“ (Тютчева 2004: 439). Признание актуальности вопроса и правоты эмигранта-публициста даже людьми, которые очевидно не испытывали симпатии к нему и его деятельности, свидетельствует о болезненности проблемы в контексте поисков новых путей реформирующейся Россией. Появление герценовской публикации мемуаров Екатерины II, таким образом, попадает в чрезвычайно злободневный контекст, особенно если иметь в виду значительное место, которое императрица уделила вопросу воспитания будущего государя и необходимости патриотического поведения монарха.

Печальный пример воспитания „несчастливого голштинского принца“ и его поведение „русского немца“, презирающего все обычаи, веру, историю страны, которой он призван править, попадает еще в один контекст публицистики Герцена. Это разоблачение бездушия, безнравственности и антинациональной деятельности русской бюрократической машины, работающей в полном противоречии с национальными интересами. Герцен, наполовину немец по рождению, но сам являющийся носителем ярко выраженного русского национального сознания, воевал в буквальном смысле слова со всем „немецким“: как с состоянием духа управляющих, начиная с императора („русский немец“ на троне), так и с многочисленными иноземными наемниками режима, заботящимися не о благополучии своей новой родины, а о своей личной карьере и благосостоянии. Выразительна в этом смысле серия памфлетов, печатавшихся в „Колоколе“ в то же самое время, в октябре и ноябре 1859 г. под общим заглавием „Русские немцы и немецкие русские“. Герцен использует в этих текстах ставшее традиционным в политической фразеологии первой половины столетия понятие „русский немец“, имеющее свои корни в декабристской агитационной лирике Рыльева („Царь наш – немец русский“) и в народных пейоративных представлениях. Этот образ часто встречался так-

же на страницах изданий Вольной типографии, в подготовленных для них материалах, о чем говорит опубликованное французским исследователем Мишелем Мерво сатирическое стихотворение Огарева „Пашпорт“ (ЛН 1997, т. 99, кн. 1: 248–250)<sup>31</sup>. Объектом сатиры в различных памфлетах являются корпоративная психология бюрократической верхушки, происходящей из немцев-наемников, которая основана на чувстве безмерного превосходства и презрении ко всему русскому. Она заменяет национальную каузу и идеалы (в том числе дворянские) служения общественным интересам личной выгодой и слепым послушанием, ведущим к антинациональному поведению. Герцен протестует как против немцев-гувернеров („немцев при детях“), воспитывающих согласно распространенной практике дворянских детей и внушающих им чуждые национальной идее понятия, так и против „немцев при России“ – министров и верных слуг режима Нессельроде, Клейнмихеля, Бенкендорфа, Адлерберга. Публицист разоблачает псевдопатриотические каузы в стиле доктрины „официальной народности“, протестует против „военного артикуля и канцелярского стиля“, ставших эмблематическими для самодержавного управления после Петра I и превратившихся в символ имперской администрации, которая с успехом сочетала их с „византийским раболепием“ и „татарской нагайкой“ (Герцен 1954, XIV: 155). Особенно остро Герцен критикует мифологизацию наследия Николая I, который был, несмотря на свои усилия и идеологическую доктрину, самым большим „немцем“ в государстве, но не из-за своего происхождения (сын и внук немок), а из-за проводившейся им политики, противоречившей национальным интересам, препятствовавшей созданию модерного и экономически сильного государства, уважающего личное достоинство своих граждан.

Герцен часто ищет в прошлом положительные примеры, которые можно было бы противопоставить современным ему рус-

---

<sup>31</sup> О различных употреблениях понятия „русский немец“ в публицистике революционных демократов см. примечания к памфлету (Герцен 1954, XIV: 512).



ским государственным деятелям. Он требует использовать то, что плодотворно из „петербургского периода“, и исключает воскрешение допетровской Руси („Не допетровская Русь должна быть воскрешенной, оставим ее в иконописном склепе...“ (там же, 183). В то же время он считает, что надо отбросить тесный „немецкий мундир“. В качестве позитивных примеров успешного государственного поведения для него, как и для многих других русских публицистов того времени, часто стоявших на противоположных идеологических позициях, остаются „гениальная деятельность Петра, либеральная мудрость Екатерины“ (Герцен 1975: 76).

Итак, публикация автобиографии великой русской императрицы (характерно, что и во французском предисловии, и в его русском переводе Герцен предпочитает гендерно-амбивалентное определение „женщина-император“, в духе особенно понравившегося ему прозвища „Екатерина Великий“ (Герцен 1954, XIII: 370, 379)<sup>32</sup> состоялась в исключительно важном контексте полемики Искандера с русским самодержавием в конце 50-х гг. XIX века, в эпоху, отмеченную важнейшими реформами русской государственности, переломную для общественного сознания. Императрица, полюбившая Россию всем сердцем, не только по причине своих политических амбиций, но последовательно отстаивавшая патриотические идеалы своей новой родины, предоставляла публицисту ряд положительных примеров и своей деятельностью, и своей автобиографией, которые он успешно использовал в борьбе за коренное переустройство русской внутренней политики. Нельзя сказать с уверенностью, было ли известно в эпоху Герцена широкой публике и ему самому политическое завещание Екатерины (Искандер не преминул бы использовать высказанные в документе тезисы). Один из основных пунктов в нем касается принципов воспитания и окружения ее наследников на троне. Из последнего по завещанию императрицы должны были быть

---

<sup>32</sup> Публицист приписывает Вольтеру знаменитые слова, но они принадлежат принцу де Линю. Любопытно отметить сходное суждение у Анны Тютчевой, которая подчеркивает гендерно-амбивалентный образ Екатерины-государыни (см. выше выражение „не столько умной женщиной, сколько гениальным мужчиной“ из сравнения с Марией Александровной).

исключены все иностранцы, в том числе даже те, с которыми царствующий дом находился в родственных отношениях: „Для благо Империи Российской и Греческой советую отдалить от дел и советов оных Империй принцов Виртембергских и с ними знаться как возможно менее, равномерно отдалить от советов обоих пол немцов“ (РТ: 720). Герцен высоко ценил защиту национальных интересов России, к которой императрица, несмотря на допущенные противоречия, всегда стремилась. В ее автобиографии публицист нашел столь нужные ему иллюстрации пагубных последствий, что могло бы иметь для страны неправильное воспитание людей, предназначенных когда-то ею управлять. Ему дорога была также идея, что каждый властитель, несмотря на его эмоциональные привязанности, должен считаться с национальными традициями страны, которой управляет, ставя над всем патриотические и человеческие идеалы.

Герценовская публикация „Собственноручных записок“ Екатерины II привела к возобновлению интереса к реальным достижениям императрицы и ее настоящей, а не вымышленной и дополненной слухами жизни и к основанным на фактах, а не на мифах, ее свершениям. Безусловно, встречи в 1858 и 1859 гг. в Лондоне Герцена, первого публикатора ее мемуаров, с молодым тогда профессором А. Н. Пыпиным, первая из которых состоялась чуть позже выхода в свет книги<sup>33</sup>, повлияли на интерес ученого к личности и творчеству императрицы. В начале XX века он подготовил к изданию и опубликовал, следуя строгим научным критериям, полное собрание ее сочинений, среди которых были все найденные автобиографические тексты. С другой стороны, текст использовался Герценом как один из самых весомых аргументов в социальной полемике и революционной пропаганде, которую он вел из далекого Лондона против русского самодержавия. Кауза, в которой позиция

---

<sup>33</sup> См. воспоминания Тучковой-Огаревой: „Не могу вспомнить теперь, с кем приезжал в это время еще очень молодой профессор А. Н. П[ыпин]. Герцен уже знал его по его статьям; он был приятно поражен прекрасной, симпатичной наружностью молодого профессора“ (Тучкова–Огарева 1959: 118). А. Н. Пыпин посетил Герцена дважды – в 1858 и 1859 г. (там же, 326). К сожалению, у меня нет мемуаров самого акад. Пыпина.

обвинителя строго очерчена и бескомпромиссна, не позволила ему раскрыть целостное восприятие записок императрицы первым их публикатором. Настоящий диапазон отношения Герцена к личности Екатерины II, отразившейся в ее автобиографии, проявляется при внимательном рассмотрении целостного контекста публикаций Вольной типографии.

### **Мемуары и литературные аспекты „женского вопроса“ во II половине XIX века**

Автобиография Екатерины II и записки княгини Е. Р. Дашковой, опубликованные также Герценом, – два лучших образца ранней русской женской мемуарной прозы, не оказали прямого влияния на развитие русской литературы или даже женского авторства в период после своей публикации (Kelly 1994: 49). Как уже отмечалось, „магнетизм страха“ был настолько сильным, что даже авторитетные люди, занимающие относительно высокое положение в обществе, боялись даже намекнуть в своих личных документах на сам факт чтения автобиографии императрицы. Можно предположить, что для женской аудитории, которая также, вне всякого сомнения, читала книгу<sup>34</sup>, мешала скандальная слава мемуаристки и недопустимая, по тогдашним понятиям, степень откровенности рассказа. Трудно было бы ожидать от все еще стыдливой русской женской литературы открытого подражания интерпретированным императрицей сюжетам. В этом смысле Келли права, подчеркивая, что женщины-авторы конца XVIII – начала XIX века имели относительно большую свободу выражения, чем писательницы романтической эпохи (Kelly 1994: 25). Основную причину того, что русские авторы (и особенно писательницы) не обращаются напрямую (при такой популярности) к высочайшим мемуарам, следует искать не только в страхе быть уличенным в чтении недозволенной цензурой литературы, но и в том, что автобиография Екатерины II оказывается в

---

<sup>34</sup> Еще в первой половине XIX века копию екатерининских мемуаров читала А. О. Смирнова-Россет, благодаря которой стало известно, что Николай I велел отобрать у представителей дворянской элиты восемь списков (Иванов 2007б, II: 47).

затрагиваемых ею темах, как это ни парадоксально, [...] слишком радикальной и эмансипированно настроенной. Наряду с другими обстоятельствами, сопровождавшими текст (нелегальность, скандальность), это его качество ставит проблемы перед его творческой рецепцией. С этой точки зрения текст трудно было адаптировать к поискам русских писателей того времени и предлагаемым ими интерпретациям наболевшего вопроса о положении женщин в обществе. Несмотря на это, у автобиографии императрицы наблюдается типологическое сходство с рядом произведений русской литературы второй половины XIX века, независимо от их „мужского“ или „женского“ авторства. Описанные в екатерининской автобиографии модели женского поведения могут, со своей стороны, найти аналогию в наступивших изменениях быта того времени. Недостаточные документальные материалы, которые имеются в моем распоряжении, не позволяют мне вывести категорических обобщений, позволяющих полнее осветить этот вопрос. Поэтому точкой отправления мне послужит именно круг вопросов, которые рассматриваются в русской литературе, критике и публицистике эпохи.

Опубликованные Герценом в конце 1858 мемуары Екатерины II попадают в проблематику, связанную с набирающим силу в России того времени „женским вопросом“, который подверг оживленной дискуссии традиционные семейные ценности; проблему девического воспитания; образования и реализации женщины – дома, в кругу семьи, и в обществе; супружеские отношения (право самостоятельного выбора спутника в жизни по взаимной склонности, верность и измену, право на развод и пр.)<sup>35</sup>. Другой важный

---

<sup>35</sup> Подробную информацию по истории „женского вопроса“ в России см. в: Пушкарева 2002; Тишкин 1984; Stites 1978; Alpern Engel 2000; 2004. Некоторые проблемы, связанные с этим вопросом, ставятся в трудах, посвященных изучению русского общественного движения во второй половине XIX веке и деятельности его лидеров: Паперно 1996; Brower 1978. Литературные аспекты „женского вопроса“ дискутируются в книгах: Heldt 1987; Кафанова 1998; Савкина 1998; 2001; 2007; Kelly 1994; Barker, Gheith 2002; в сборниках: *Women Writers in Russian Literature* (1994); *Women and Russian Culture* (1998); немецко-русской серии сборников „Пол. Гендер. Культура“ (1999–2002) и др. Этот краткий перечень, разумеется, не претендует на исчерпательность.

момент дискуссий – способность и право женщины на творчество, авторство и публикации, как и проблема интеллектуального равенства полов. Многие исследователи указывают в качестве ведущей причины возникновения активной общественной дискуссии по „женскому вопросу“ социально-экономические перемены, наступившие в России после проведения комплекса реформ в конце 50-х – начале 60-х годов XIX века. Первое место по значимости, безусловно, имеет отмена крепостного права, изменения в образе жизни дворянства, нужда, заставившая многих дворянок из обедневших семей работать и, вследствие этого, стараться получить солидное образование в государственных образовательных институтах и, соответственно, профессию. Но это скорее следствия главной реформы, предпринятой Александром II. До нее он учредил женские гимназии (1858), где девушки получали современные знания, сходные с образовательной программой мужских гимназий, и постепенно порывали с образовательной практикой домашнего или пансионатного воспитания, содержание которых чаще всего сводилось к обучению языкам, наиболее общим знаниям по гуманитарным наукам и приобретению светских умений. С начала XIX века даже изменилась первоначальная концепция, заданная институтам благородных девиц Екатериной II при их основании, которая подразумевала ознакомление девочек в доступной форме с новейшими достижениями тогдашней науки. „История стремительно развивавшейся в XVIII в. России насыщена нехарактерными для той эпохи социальными феноменами. Одним из них было большое количество высокообразованных европеизированных женщин. В эпоху императрицы Елизаветы и, особенно, в царствование Екатерины II в обеих столицах России появилось множество начитанных, остроумных, литературно одаренных, владеющих несколькими языками дам, которые успешно конкурировали с российскими кавалерами, стремившимися быть более французами, чем сами французы. Екатерина Великая, немка по происхождению, стала примером для многих женщин, стремившихся к вершинам европейской культуры и образования, хотя зачастую это стремление носило поверхностный характер и было, скорее, необходимым антуражем светской дамы,

чем основой для творческой деятельности“, – обобщает особенности женского воспитания в XVIII – первой половине XIX века известный исследователь проблемы Р. Стайтс (Рус. перевод: Стайтс 2004: www). В начале XIX века акцент был возвращен на более традиционные ценности в девическом воспитании (Alpern Engel 2000: 23–24).

Б. Альперн Энгл рассматривает три подхода к „женскому вопросу“, имевшие место в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX века: 1) стремление к либерализации семейных отношений и отношений между полами и расширение женских прерогатив в публичной жизни в допустимых границах; 2) „нигилизм“ с его стремлением к более радикальным мерам, в результате которых женщина освободилась бы от ига семьи и нашла бы альтернативу патриархального порядка; 3) радикальные учения, которые отлагают на более поздние времена, после победы социалистических идей, решение всех вопросов, связанных с неравенством, в том числе по отношению к женщине (Alpern Engel 2000: 46). Исследовательница отмечает, что в начале правления Александра II эти три аспекта частично совпадают, но с течением времени круг дозволенной активности женского движения сужается, а также становятся меньше способы его поддержки со стороны единомышленников. Еще в конце 50-х годов была восстановлена цензура на определенные сюжеты, и были установлены новые ограничения на дискуссии по проблемам эмансипации. Режим рестрикций усилился, особенно после реформы 19 февраля 1861 г. (там же, 46–47)<sup>36</sup>. Строгая цензура подорвала поддержку женщин, стремившихся изменить жизнь своих сестер. Многие из либерально настроенных сторонников каузы начинают вести себя намного внимательнее, а нигилизм теряет позиции за счет засилья левых сил (там же, 47–48). Естественно, в такой атмосфере нельзя говорить об открытых ссылках на столь опасный и компрометирующий своего читателя текст.

Русская аудитория была в большой степени подготовлена к наступившим в общественной жизни конца 50-х и начала 60-х гг.

---

<sup>36</sup> См. выше недовольство Никитенко по поводу установления новых цензурных правил.

переменам и к общественным дискуссиям о творчестве и участии женщин, которые неизменно присутствуют в сюжетах литературных текстов, особенно принадлежащих перу писательниц, которые, хотя и робко и под мужским покровительством (как это часто было и в XVIII веке), нередко используя псевдонимы или подписываясь инициалами, осмеливаются печатать свои поэтические и прозаические сочинения (см. подробно Файнштейн 1989; Савкина 1998; Кафанова 1998; Kelly 1994). В России, как это было веком раньше в Западной Европе, каузу защитников и пропагандистов прав женщин поддерживают преимущественно мужчины. Центром общественной дискуссии, в которой можно встретить целый спектр мнений (от резко отрицательных до „мадригально“ (Савкина) комплиментарных и снисходительных; от компромиссных, симпатизирующих до яростно отстаивающих эмансипацию) в течение предыдущих в отношении реформ десятилетий, становится рецепция творчества Жорж Санд<sup>37</sup>.

„Какова была реакция русского общества в 1830–1840-х гг. на идеи Жорж Санд? Первой и не вполне определенной реакцией было неодобрение со стороны консерваторов. Еще до выхода в свет первого романа Жорж Санд на русском языке, ярые поборники нравственности, Булгарин и Греч, настраивали против нее читающую публику. Другой „подхалим“, Сенковский, назвал ее мисс Егор Занд или госпожа Спередка (каламбур, основанный на

---

<sup>37</sup> В своем глубоком и исчерпательном исследовании этой проблемы О. Б. Кафанова подробно рассматривает этапы создания мифа о Жорж Санд в Россия, где влияние писательницы было, может быть, сильнее, чем на ее родине (по этому поводу см. также: Van Dijk 1998; Hoogenboom 1998). Кафанова исследует распространение в России романов Санд, особенности их переводов, читательскую рецепцию, реакцию обоих противоборствующих лагерей ее противников и сторонников, подражание развязкам и поведению персонажей в тогдашнем быту, проблемы интертекста в творчестве ряда выдающихся русских писателей: Белинского, Лермонтова, Дружинина, Панаева, Тургенева, Герцена, Боткина, Ф. М. и М. М. Достоевских, Л. Толстого, Писемского, Гончарова, Чернышевского и др. Автор анализирует также влияние Санд на некоторых писательниц, такими как Е. Ган, М. Жукову, Е. Ростопчину. Эта проблема занимает также И. Савкину, К. Келли и др. исследовательниц русской женской литературы XIX века.

ее настоящей фамилии Дюдеван, что означает „спереди“). Он подробно описывал все грязные слухи, которые распространялись о ее образе жизни, о том, как она носила брюки и курила сигары“, – пишет Р. Стайтс о начальном восприятии творчества писательницы в России (Стайтс 2004 [www](http://www)).

Яблоком раздора между непримиримыми лагерями традиционалистов (респ. противников „жоржсандизма“) и почитателей писательницы (сторонников различной степени эмансипации) была „аморальность“ интерпретированных французской романисткой сюжетов о проблемах женщин в браке и своеобразной форме протеста, какой является уход из семьи. Другой особенно популярный сюжетный мотив, лежащий в основе романа Санд „Жак“, – самоустранение супруга, понявшего, что он нелюбим женой и „уступающего“ ее сопернику. Среди самых ярких интерпретаций этого мотива в русской литературе – повесть „Полинька Сакс“ А. Дружинина, роман „Что делать?“ Чернышевского, драма „Живой труп“ Л. Толстого. Полемика „за“ и „против“ Санд усиливалась слухами о ее личной жизни, манере одеваться (в мужское платье), поведении, любовных отношениях. Интересно в этом случае то, что в России 30-х – 40-х годов XIX века был свой блистательный пример эмансипантки: кавалериста-девицы Надежды Дуровой, автобиографию которой издал Пушкин в 1836 г. на страницах „Современника.“ К этому времени Дурова была еще жива и до конца своих дней поддерживала привычный для нее мужской облик (мужской костюм, коротко подстриженные волосы, публичное высказывание о себе в мужском роде). Но может быть, Георгиевский крест Дуровой, проявленный ею завидный героизм во время антинаполеоновских кампаний, покровительство самого Александра I и, может быть, то, что она „своя“, позволяли относиться к ней как к эксцентричке, как к исключению, которое подтверждает правило. Французенка Жорж Санд воспринималась первоначально консервативными русскими кругами, следуя стереотипным представлениям о французском, как о воплощении фривольности, легкомыслия. Сюжеты ее текстов и накопленная отрицательная мифология об эпатирующем господствующим нормам стиле жизни Санд влияли на восприятие ее творчества на русско почве до конца



столетия. „Всёобщее восхищение и массовый восторг“ (Айзеншток 1939: 807) каждым новым романом французской писательницы соседствуют со слепым подражанием. Как всегда, существовала мода „на Жорж Санд“ со стороны самых смелых представительниц нежного пола, о которой пишет в мемуарах И. А. Гончаров: „О Жорже Занде тогда говорили беспрестанно, по мере появления ее книг читали, переводили ее; некоторые женщины даже буквально примеряли на себе ее эмансипаторские заповеди, поставив себя в положение тех или других ее героинь, чего, конечно, без нее им бы и в голову не пришло, или пришло бы, как всегда, просто, без участия головы“ (там же). Так или иначе, противники эмансипации еще долгое время продолжали видеть в авторе „Индианы“ и „Лелии“ фактор, который рушит общественную нравственность и устои общества. Первоначально таким было восприятие творчества и личности Жорж Санд даже одним из самых ревностных ее сторонников – В. Г. Белинским, который прошел длинный путь от своих ранних статей середины 30-х годов до утверждений, что французская писательница – это „Иоанна д'Арк нашего времени“, „первый поэт и первый романист нашего времени“, высказанных в течение следующего десятилетия (Кафанова 1998: 33; 132–154).

Примечательнее всего то, что, с точки зрения рассматриваемой в этой книге проблематики, что в какой-то момент в сознании некоторых противников эмансипации образы обеих великих женщин – Екатерины II и Жорж Санд контаминируют. Об этом пишет известный критик В. В. Стасов, который сравнивает императрицу с „черной овцой“, какая есть и „старая блудница“ Жорж Санд, они обе без стыда меняли любовников, оправдываясь каузой воображаемого идеализма, а на самом деле отдаваясь бесконечной плотской похоти (Dixon 2004: 206). Это суждение было высказано в письме племяннице Стасова, В. Д. Комаровой-Стасовой, автору фундаментального четырехтомного труда о Жорж Санд (1899)<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Труд В. Д. Комаровой-Стасовой был опубликован под псевдонимом Владимир Каренин, под которым видный литературовед, сотрудник Пушкинского дома и музыковед, печатала свои литературные вещи. Работа первоначально появилась на русском языке („Жорж Санд, её жизнь и произведения“, СПб., 1899)

По-видимому, „основания“ для подобных мнений давали разработанные Санд сюжеты супружеской измены со стороны женщины, выбирающей „свободную любовь“ перед вынужденной жизнью с нелюбимым мужем, и мотив свободного выбора женщиной отцов ее детей (повесть „Лукреция Флориани“), которые корреспондируют с самопризнаниями императрицы о ее изменах, а также слух о сомнительном отцовстве ее сына, мотив, которым воспользовался также Герцен. Но в любом случае наблюдается смешение обоих отрицательных мифов.

На этом фоне интересно рассмотреть интерпретацию этого сюжета екатерининской автобиографии в обширной статье известного французского критика середины XIX века Сент-Бева, который видит в русской императрице прежде всего необыкновенную и сильную женскую личность. К предполагаемому материнскому „греху“ Екатерины критик относится терпимо и предлагает дипломатическое решение, чтобы русские сами решали этот вопрос (Sainte-Beuve 1884: 206). Сент-Бев особенно не комментирует также обе признанные любовные связи великой княгини. Однако он старается выявить „дух эмансипации“, который владеет личностью мемуаристки, и сочувственно излагает испытания, через которые автобиографу пришлось пройти. Акцент в статье французского критика падает не на скандальное, а на неконвенциональное в поступках Екатерины, и прежде всего на ее работу над собой, духовную эволюцию, подготовившую ее необыкновенную государственную карьеру.

В России автобиография Екатерины II – один из малочисленных текстов конца 50-х – начала 60-х гг. XIX века, в котором открыто обсуждается подобный сюжет, считающийся скандальным и недопустимым в литературе. Еще важнее то, что рассказ постро-

---

и была удостоена Пушкинской премии, а потом была напечатана по-французски: Wladimir Karénine. *George Sand, sa vie et ses oeuvres*. Vol. 1–4. Paris, Plon, 1899. О В. Д. Комаровой и ее книге см. Hoogenboom 1998; Закирова 2011.

Официальное мнение ее дяди о Жорж Санд, высказанное в написанной им биографии его сестры, Надежды Стасовой, одной из активисток женского движения в России, конечно, заметно отличается от высказанного в частном письме и содержится в себе похвалы в адрес французской писательницы (см. Стасов 1899 [www](http://www)).

ен в 1 л. ед. ч., в форме автопризнания. Такие любовные автопризнания скандального характера, сделанные женским персонажем, есть только в романе „Пригожая повариха, или приключения развратной женщины“ (1770) М. Чулкова, но героиня в нем представлена как жертва обстоятельств (она осталась без средств и опоры) и по этой причине вступает на „эротическое поприще“ после того, как остается вдовой в 18 лет, т.е. в этом раннем русском романе не эксплуатируется сюжет супружеской неверности<sup>39</sup>. До середины XIX века мотив супружеской измены был редким сюжетом интерпретаций и встречался исключительно в сатирических текстах, высмеивающих современные нравы (например, „Почта духов“ И. А. Крылова, „Модная жена“ И. И. Дмитриева), или же присутствует в второстепенных эпизодах и приписывается второстепенным женским персонажам, причем часто используются намеки, умолчания (например, Вера в „Герое нашего времени“ Лермонтова). Мотив считался абсолютно недопустимым, например, в комедийном жанре (Вольперт 1998: 284). А. С. Пушкин одним из первых планировал разработку мотива измены замужней женщины в качестве основного в своих незаконченных прозаических текстах (там же, 281, 283). Конец 50-х гг. XIX века отмечен появлением первых русских произведений на эту тему (если исключить тексты на „жоржсандовский“ мотив самоустранения нелюбимого, но благородного супруга), в которых изменившая супружескому долгу женщина представляется сочувственно, как жертва среды, в которой она живет, но и как борец с закосневшими нормами жизни. В тот же 1859 год, когда появился русский перевод екатерининских мемуаров, драма „Гроза“ Александра Островского становится центром общественной дискуссии между непримиримыми идеологическими лагерями, спорящими как о проблемах эмансипации,

---

<sup>39</sup> Заслуживает внимания факт, однако, что сюжетные мотивы этого романа присутствовали в литературной памяти противников Жорж Санд в России. Это видно по заглавию сатирической статьи Ф. В. Булгарина „Петербургская чухонская кухарка, или женщина на всех правах мужчины. La femme emancipée des st. simoniens. Эпилог к философическим глупостям XIX века“ (1834), начало которого является парафразой заглавия романа Чулкова.

так и о назревающих радикальных общественных переменах. Эти тексты расчищают дорогу для интерпретации этого мотива у Льва Толстого.

Однако, может быть, наиболее парадоксальной аналогией между бытовым поведением персонажей, разделенных друг от друга целым веком, отраженным и в литературе, и в публицистике конца 50-х – начале 60-х годов XIX века, является вариация мотива измены, так называемая „ménage à trois“. Наиболее известный текст русской литературы, интерпретирующий этот мотив и превратившийся, в свою очередь, в модель организации личных отношений для многих представителей русской интеллигенции и преимущественно для радикально настроенных молодых людей эпохи („нигилистов“), – роман Н. Г. Чернышевского „Что делать?“ (1863). Распространение этой протестной по своему характеру практики происходит опять-таки в значительной степени под влиянием романов Жорж Санд, которая, со своей стороны, заимствовала этот сюжет у своего любимого писателя Руссо<sup>40</sup>. Именно желанием реализовать на практике заимствованную из романов Жорж Санд теорию тройственного союза американская исследовательница Б. Альперн Энгл объясняет прежитую Натальей и Александром Герценами и немецким поэтом Гервегом семейную драму, разыгравшуюся в 1848–1849 г. (Alpern Engel 2000: 41; см. также Фреде 2001). Е. Н. Дрыжакова, в глубине исследовавшая этот вопрос, отмечает сильное увлечение семьей Герценов романами писательницы, но и разочарование публициста в конце жизни<sup>41</sup> (Дрыжако-

---

<sup>40</sup> Практика совместного сожительства на супружеских началах была сильно распространена среди западноевропейской интеллигенции середины XVIII века. Среди самых известных „трио“ были Руссо – г-жа д’Урто-Сен Ламбер (см. „Исповедь“); Вольтер – г-жа де Шатле-Сен Ламбер (опять!) (См. Vadinter 1983 и др.). Широко распространенная практика нашла отражение в романных сюжетах (см. выше топос совместного проживания под одной крышей жены и любовницы ее мужа). Иногда наблюдались и любовные „квартеты“, каким был описанный Екатериной в одном из планов автобиографии.

<sup>41</sup> Е. Н. Дрыжакова цитирует письмо Герцена к дочери 1870 г., в котором Искандер жалуется на то, что романы Санд уже ему скучны: „Для Герцена Жорж Санд была и осталась писателем и деятелем 1840-х годов, как и он сам. Оба они

ва 1999: 254–260). Другие известные „ménages à trois“ в русской культуре, кроме оба „трио“ с участием Герцена, это И. Панаев – А. Панаева – Н. А. Некрасов; один из самых радикальных идеологов женской эмансипации в России М. Л. Михайлов – Людмила и Николай Шельгуновы<sup>42</sup>. Н. Г. Чернышевский, исключительно сильно повлиявший на молодую аудиторию своим романом „Что делать?“, не только вдохновил ее на пересмотр семейных отношений и на своеобразную мифологизацию их организации по этой модели. На ее основе, еще до женитьбы, он создал свою теорию, которую последовательно проводил в личной жизни<sup>43</sup>. В любом случае, однако, „свободный союз“ имел целью духовное освобождение женщины от ретроградных норм традиционного патриархального быта и ее интеллектуальное развитие, часто под покровительством и наставничеством мужчины. Переосмысление семейных отношений и воздвижение в культ свободной воли

---

принадлежали к поколению, прошедшему через восторженный романтический социализм, в котором видели начало нового и прекрасного справедливого мира. К концу 1860-х гг. оба не могли не убедиться в абсолютной утопичности своих мечтаний“, – указывает исследовательница на причины изменения отношения (Дрыжакова 1999: 291–292).

<sup>42</sup> Практика тройственного сожительства была широко распространена среди интеллигенции в России в первые десятилетия XX века.

<sup>43</sup> Проблема подробно проанализирована И. Паперно. Она подчеркивает тесное и на практике едва уловимое переплетение теории и жизни в творчестве, быту, этических воззрениях Чернышевского, создавшего на основе просветительских медицинских учений собственные представления о жизненной „гигиене“ и семейных отношениях, основанных на полной свободе в поведении женщины и терпимости со стороны мужчины. Личная жизнь Чернышевского удивляет даже его близких соратников последовательным соблюдением им же придуманных норм. Среди заслуживающих внимания экстралитературных фактов, хотя и находящихся в стороне от основной задачи этого труда, тот, что двоюродным братом Н. Г. Чернышевского был будущий крупнейший русский литературный историк и издатель всего литературного наследия Екатерины II А. Н. Пыпин, сестры которого, со своей стороны, были в числе первых слушательниц высших женских курсов в 60-е годы. А. Н. Пыпин берет на себя заботу об Ольге Сократовне Чернышевской и ее детях во время ссылки Чернышевского (Паперно 1996: 110). Сам Чернышевский дважды встречался с Герценом в Лондоне во время издания мемуаров, т.е. вероятно он также знал текст (см. Тучкова-Огарева 1959: 157).

женщины в середине XIX века шло рука об руку со стремлением многих молодых женщин получить современное образование – мотив, занимающий ведущее место в автобиографии Екатерины II, а также в другой известной женской автобиографии, изданной Герценом, – княгини Дашковой. Интересно в этом смысле отметить сходство между аналогичными моментами в автобиографии Екатерины (например, переодевание в мужскую одежду, выход в город без сопровождающего, занятия в саду) и бытовым поведением и кругом чтения одной из первых прогресисток в России, Марии Трубниковой. Она принадлежала не к вызывающим „нигилисткам“, а к неконформисткам, предпочитавшим не эпатировать общественное мнение и выбирать для своей деятельности более обычные средства, например, последовательную и активную благотворительность (Alpern Engel 2000: 57).

В литературном отношении автобиография Екатерины могла бы выглядеть очень непривычно в глазах тогдашних русских читателей, воспитанных в духе возвышенной литературной эстетики, рядом других своих особенностей, прежде всего описанием своей личности как живого человеческого существа. Это рассказы об испытанных физических страданиях, нерасположениях, представленных иногда слишком натуралистично, идеями о динамическом в чисто физическом отношении быте, который бы порвал со статикой и „хрупкостью“ женского существования<sup>44</sup>. Таким образом, текст оказывается созвучным с поисками писателей-реалистов, начавшихся еще в 40-е годы, с их ориентацией на науку и естественные и экономические дисциплины (нейрофизиологию, политэкономия), и продолжавшихся в 60-те годы XIX века (Паперно 1996: 13). В нем тогдашний читатель, ищущий новой литературной эстетики, мог бы найти импонирующий ему рационализм в поведении рассказчицы. Предложенный Екатериной II способ повествования, в особенности соотнесенный с женским персонажем, неконвенционален для эпохи. Он также по-своему готовил чита-

---

<sup>44</sup> О том, что в этом отношении Россия была в ногу с консерватизмом Викторианской Англии, можно судить по недавним публикациям на эту тему (см. Алябьева 2004).

телей для открытий больших имен русской литературы во второй половине XIX века. Таким образом этот воскрешенный из архивов текст, несмотря на то, что не оказал прямого воздействия на поиски писателей того времени, стал частью литературного фона и вписался как в литературные тенденции, так и в содержание общественных дискуссий эпохи великих реформ, растрясших в глубине русскую национальную жизнь. То, что могли прочесть на страницах подпольно добытого или найденного герценовского издания думающие русские читатели, диаметрально отличалось от официозных романов на сюжеты из екатерининской эпохи, которые появлялись с 1858 г. по 90-е годы XIX века из-под пера плодовитого исторического романиста – „литературного фабриканта“, по удачному замечанию Е. Пенской, Григория Данилевского (Dixon 2004: 203; Кръстева 2013: 269–272; Пенская 2012: 462)<sup>45</sup>. Несущие в себе множество суждений, сюжетов, идей, звучавших актуально на фоне бурлящей национальной жизни, „Собственнооручные записки“ Екатерины II выходили за контуры официозного екатерининского мифа и предлагали читателям неожиданные представления о личности своего автора, провоцировали осмыслить происходящие перемены, как в обществе, так и в сознании людей второй половины девятнадцатого столетия, и, может быть, в этом кроется одна из причин их долговременной нелегальности.

Сложные перипетии, сопутствовавшие публикации и читательской рецепции автобиографии Екатерины II не позволили тексту занять подобающее место в истории русской литературы, в которой мемуарные жанры воспринимались как маргинальные по отношению к канону. Новые современные подходы к литературному наследию прошлого дают основания надеяться, что такие яркие, незаурядные и новаторские произведения будут оценены по достоинству.

---

<sup>45</sup> Диксон указывает на романы Данилевского „Екатерина Великая на Днепре“, „Потемкин на Дунае“, „Мирович“, „Княжна Тараканова“, некоторые из которых были переведены на другие языки.

## **ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

ИРПЛ – История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1. Проза. Köln–Weimar–Wien, 1995.

ЛН – Литературное наследство.

ЛЖТГ – Летопись жизни и творчества Герцена. Т. 2–5. М., Наука, 1976–1990.

ИЖЗ – История женщин на Западе. Под общей ред. Ж. Дюби и М. Перро. Т. 3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения. СПб., Алетейя, 2008.

НЛО – Новое Литературное обозрение.

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи с 1648 года. СПб., 1830. Т. XVIII (1767–1769).

РЕЛС – Русско-европейские литературные связи. XVIII век. Энциклопедический словарь. Статьи. СПб., Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008.

РТ – Записки императрицы Екатерины Второй. Репринтное воспроизведение издания 1907 года. Орбита. Моск. филиал, 1989. Все цитаты из текста на русском языке даются по этому изданию. Расширения Б, Ч, СРЗ соответственно обозначают редакции екатерининской автобиографии, посвященные графине Брюс (РТ–Б), барону Черкасову (РТ–Ч) и позднейшую редакцию „Собственноручные записки“ (РТ–СРЗ).

СИРИО – Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1867–1908.

HFO – Histoire des femmes en Occident. Т. 3, XVI–XVIII siècles; t. 4, XIX siècle. Sous la dir. de Nathalie Zemon Davis et Arlette Farge, Roma, 1991.

RHLF – Revue d'histoire littéraire de la France.

SATOR – Société d'analyse de la Topique Romanesque.

SVEC – Studies on Voltaire and Eighteenth Century, Oxford, Voltaire Foundation.



## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Автограф мемуаров. Первая страница редакции 1771 г., посвященной графине П. А. Брюс (с. 37).
2. Автограф мемуаров. Первая страница редакции 1791 г., посвященной барону Черкасову (с. 43).
3. Великая княгиня Екатерина Алексеевна с орденом „Св. Екатерины“. Художник Георг Кристоф Гроот, 1745 г. Государственный Эрмитаж (с. 89).
4. Иоганна-Елизавета Голштейн-Готторпская, княгиня Ангальт-Цербстская. Мать Екатерины II (с. 121).
5. Христиан-Август Ангальт-Цербстский. Отец Екатерины II. Художник Антуан Пэн. 1725 (с. 125).
6. Императрица Елизавета Петровна. Художник Вергилиус Эриксен. 1757. Екатерининский дворец. Царское село (г. Пушкин) (с. 147).
7. Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Художник Луи Каравак, 1745 г. Музей „Гатчина“ (с. 148).
8. Петр III. Художник А. Антропов, 1762 г. Государственная Третьяковская галерея (с. 167).
9. Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны в охотничьем костюме. Художник Г.-Х. Гроот, 1740-е гг. Государственный художественный музей, Нижний Новгород (с. 200).
10. Екатерина II верхом на коне Бриллианте. Художник Вергилиус Эриксен, 1762 г. Дворец-музей Петергоф (с. 214).
11. Ворота крепости Петерштадт в Ораниенбауме, г. Ломоносов. (с. 232). Фото В. Г. Богданова, [www.spb-rf.ru](http://www.spb-rf.ru)
12. Сергей Салтыков (с. 245).
13. Станислав-Август Понятовский (с. 269).
14. Павел I. Художник С. С. Шукин, 1797 г. Государственный Эрмитаж (с. 280).

15. Портрет великих князей Александра (будущего Александра I) и Константина. Художник Р. Бромптон. Около 1781 г. Государственный Эрмитаж (с. 293).
16. Екатерина II в коронационном платье. Художник С. Торелли, 1762 г. Государственный Русский музей (с. 300).
17. Екатерина II как Минерва. Памятная медаль по случаю восхождения на престол, 1762 г. (с. 315).
18. Петр I (с. 325).
19. Французская гравюра Паке последней трети XVIII века, на которой Екатерина II изображена как Минерва. Надпись гласит: „От союза Власти и Просвещения Народы должны ждать своего счастья“ (с. 333).
20. Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия. Художник Д. Г. Левицкий, 1783 г. Государственная Третьяковская галерея (с. 337).
21. Титул русского издания „Наказа“ (с. 341).
22. Вольтер (с. 358).
23. Фридрих Великий (с. 365).
24. Николо Макиавелли (с. 376).
25. Ф.-М. Гримм (с. 387).
26. Программа брачного фейерверка 30.08.1745 г. (с. 412).
27. Большая императорская корона Екатерины II. Алмазный фонд РФ (с. 416).
28. Дидро. Художник Д. Левицкий. 1773–1774. Музей искусства и истории, Женева (с. 427).
29. Мармонтель (с. 430).
30. А. П. Бестужев-Рюмин. Художник Луи Токе, 1757 г. Государственная Третьяковская галерея (с. 442).
31. Портрет Екатерины II в профиль. До 1762 г. Художник В. Эриксен. Государственный Эрмитаж (с. 450).

32. Екатерина II в Царскосельском парке на фоне Чесменской колонны. Художник В. Л. Боровиковский, 1794 г. Государственная Третьяковская галерея (с. 457).
33. Петру I Екатерина II. „Медный всадник“ Фальконе, 1782 г. (с. 556).
34. Памятник Петру I Растрелли (с. 558).
35. Титул публикации мемуаров Герценом (с. 572).
36. Памятник Екатерине Великой в Санкт-Петербурге. Скульптор М. Микешин. 1873 г. (с. 580).

Все изображения заимствованы из общедоступных публичных сетевых ресурсов. По мере возможности указывается местонахождение и место хранения артефакта.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Екатерина II 1907: Сочинения императрицы Екатерины II.* На основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями акад. А. Н. Пыпина. Т. 1–5. СПб., 1901–1907, 7–12.
- Екатерина II 1989: Записки императрицы Екатерины Второй.* Репринтное воспроизведение издания 1907 года. Орбита. Моск. филиал, 1989. Для этого издания в тексте используется аббревиатура РТ (русский текст).
- Записки... 1990а: Записки императрицы Екатерины II.* Репринтное воспроизведение издания А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Лондон, 1859 г. Автор предисловия к репр. изд. Е. В. Анисимов. М., Книга, 1990.
- Записки... 1990б: Записки императрицы Екатерины II.* – В: Россия XVIII столетия в изданиях Вольной типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Записки императрицы Екатерины II, 1859, Лондон. Репринтное воспроизведение. М., Наука, 1990.
- Екатерина II 1990: Екатерина II.* Сочинения. Составление, вступ. статья и прим. В. К. Былина и М. П. Одесского. М., Современник, 1990.
- Сочинения... 1990: Сочинения Екатерины II.* Сост. и вступ. статья О. Н. Михайлова. М., Советская Россия, 1990.
- Екатерина II и Вольтер 1802: Екатерина II и Вольтер.* Философическая и политическая переписка. 1763–1778. Ч. 1–2. СПб., 1802.
- Екатерина II 1893: Екатерина II.* Сочинения литературные. Под редакцией Арсения Введенского. СПб., 1893.
- Екатерина II 2003: Екатерина II.* Памятник моему самолюбию. М., Эксмо, 2003.
- Екатерина II и д-р Циммерман 1887: Письма императрицы Екатерины II к И. Г. Циммерманну.* – В: Русская старина, 1887, т. 55. – № 7, 279–320.
- Екатерина II и Потемкин 1996: Екатерина II и Г. А. Потемкин.* Личная переписка (Под ред. В. С. Лопатина). М., 1996.
- Correspondence... 1928: Correspondence* of Catherine the Great when Grand Duchess, with Sir Charles Hanbury-Williams and Letters from Count Poniatowski. Introd. By S. Goriaïnov. Ed. by Earl of Ilchester, Thornton Butterworth, London, 1928.

- Memoirs of Catherine the Great 2006: Memoirs of Catherine the Great. A new translation by Mark Cruse and Hilde Hoogenboom. New York, Modern Library of Random Haus, 2006.*
- Voltaire – Catherine II 2006: Voltaire – Catherine II. Correspondance 1763–1778. Texte présenté et annoté par Al. Stroeuv. Paris, Non lieu, 2006.*
- Аверинцев 1973: Аверинцев, С. С. Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., Наука, 1973.*
- Аверинцев 1996: Аверинцев, С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., Языки рус. культуры, 1996.*
- Автобиографическая практика 2006: Автобиографическая практика в России и во Франции. Сб. Статей под ред. К. Вьолле и Е. Гречаной. М., ИМЛИ, 2006.*
- Автухович 1995: Автухович, Т. Риторика и русский роман. Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, 1995.*
- Айзеншток 1939: Айзеншток, И. Французские писатели в оценках царской цензуры. Ч. IV. Жорж Санд. – В: ЛН. Т. 33–34, 1939, 807–816.*
- Акимова 2013: Акимова, Т. И. Роль литературного творчества Екатерины II в становлении дворянского самосознания конца XVIII – начала XIX века. Саранск, Изд-во Мордовского ун-та, 2013.*
- Акимова 2015: Акимова, Т. И. Литературное творчество Екатерины II: „Галантный диалог“ в системе авторских стратегий (истоки, функции, жанры). Дисс. на соискание уч. степени доктора филологических наук. М., ИМЛИ, 2015. – На: [http://www.imli.ru/upload/docs/Dissertatciya\\_Akimova.pdf](http://www.imli.ru/upload/docs/Dissertatciya_Akimova.pdf).*
- Алексеева, М. 2013: Алексеева, М. А. Театр фейерверков в России XVIII века. – В: Алексеева, М. А. Из истории русской гравюры XVII – начала XIX в. М.–СПб., Альянс-Архео, 2013, 267–282.*
- Алексеева, Н. 2005: Алексеева, Н. Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. М., 2005.*
- Алябьева 2004: Алябьева, Л. Как воспитать „Организатора совершенного дома и будущую мать крепких и красивых детей“: дискуссии о женщине и спорте в Викторианской Англии. – В: НЛЮ, 70 (6), 2004, 94–128.*
- Анисимов 1990: Анисимов, Е. В. „Записки“ Екатерины II: силлогизмы и реальность. – В: Записки императрицы Екатерины II. Репринтное воспроизведение издания А. И. Герцена и Н. П. Огарева, Лондон, 1859 г. Автор предисловия к репр. изд. Е. В. Анисимов. М., Книга, 1990.*

- Анисимов 1986*: **Анисимов, Е. В.** Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., Мысль, 1986.
- Анисимов 1999*: **Анисимов, Е. В.** Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., НЛЮ, 1999.
- Артемьева 2005*: **Артемьева, Т. В.** От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. СПб., Алетейя, 2005.
- Архангельский 1897*: **Архангельский, А. С.** Императрица Екатерина II в истории русской литературы и образования. СПб., 1897.
- Бабушкина азбука 2004*: **Екатерина II. Бабушкина азбука** великому князю Александру Павловичу. М., МГИ им. Дашковой, 2004.
- Бартенев 1881*: **Бартенев, П. И.** Любовные записочки высокой особы XVIII века. К графу З. Г. Чернышову. – В: Русский Архив. Т. 46, 1881, вып. 6.
- Берлин 2001*: **Берлин, И.** Герцен и Бакунин о свободе личности. – В: Берлин И. История свободы. Россия. М., НЛЮ, 2001.
- Билинкис 1995*: **Билинкис, М. Я.** Русская проза XVIII века. Документальные жанры. Повесть. Роман. СПб., СПбГУ, 1995.
- Бильбасов 1884*: **Бильбасов, В. А.** Дидро в Петербурге. СПб., 1884.
- Бильбасов 1900*: **Бильбасов, В. А.** История Екатерины II. Т. 1–2. Берлин, б. г. [1900].
- Бицилли 2005*: **Бицилли, П.** Общественный подъем в конце царствования Николая I. – В: Бицилли, П. У истоков русской общественной мысли. Публикация, редакция и комментарий Галины Петковой. Варна, Электронное издательство LiterNet, 2005 – на [www.liternet.bg](http://www.liternet.bg).
- Благой 1950*: **Благой, Д. Д.** История русской литературы XVIII века. М.–Л., 1950.
- Брагоне 2012*: **Брагоне, М.-К.** Фенелон в России: к истории трактата „De l'éducation des filles“. – В: Век Просвещения. Вып. IV. Античное наследие в европейской культуре XVIII века. М., Наука, 2012, 295–306.
- Брикнер 1885*: **Брикнер, А. Г.** История Екатерины Второй. Сочинение А. Брикнера. СПб., Суворин, 1885. Ч. 1–4.
- Бурдые 2005*: **Бурдые, П.** Мужское господство. Пер. с фр. Марковой, Ю. В. – В: Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб., Алетейя, 2005, 286–364. Русскоязычный источник: Социологическое пространство Пьера Бурдые <http://bourdieu.name> (22.06.2015).
- Былинин, Одесский 1990*: **Былинин, В. К., Одесский, М. П.** Екатерина II: Человек, государственный деятель, писатель. – В: Екатерина II. Со-

- чинения. Составление, вступ. статья и прим. В. К. Былинина и М. П. Одесского. М., Современник, 1990, 3–21.
- Вагеманс 2015*: **Вагеманс, Э.** Слово государево или вся власть пословицам. – In: „A Century Mad and Wise“. *Russia in the Age of the Enlightenment*. Papers from the IX International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Leuven 2014. Edited by Emmanuel Waegemans, Hans van Koningsbrugge, Marcus Levitt and Mikhail Ljustrov. Groningen 2015, 435–444.
- Валишевский 1989*: **Валишевский, К.** Роман императрицы. Екатерина II, Императрица всероссийская. Репринтное воспроизведение с издания А. С. Суворина. Вся Москва, 1989.
- Валишевский 2002*: **Валишевский, К.** Елизавета Петровна. Дочь Петра Великого. М., АСТ-Астрель, 2002.
- Вальденберг 2004*: **Вальденберг, В. Е.** Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях. – В: Философский век. История идей в России: исследования и материалы. Под ред. Т. В. Артемьевой и М. И. Микешина. Вып. 26. СПб., Санкт-Петербургский центр истории идей, 2004, 259–276.
- Вачева 1999*: **Вачева, А.** Поэма-бурлеск в русской поэзии XVIII века. С., Акад. изд-во „Марин Дринов“ & Карина М, 1999.
- Вачева 2000*: **Вачева, А.** Нарративные модели в русской женской мемуаристике XVIII – начала XIX века: к постановке проблемы. – В: Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. В 2 ч. Гродно, 2000, Ч. II, 226–232.
- Вачева 2001*: **Вачева, А.** Классицистский дискурс в мемуарах Екатерины II. – В: Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. В 2 ч. Гродно, 2001, 114–120.
- Вачева 2003*: **Вачева, А.** „Святые места в переписке Екатерины II и Вольтера“. – В: *Jews and Slavs. Vol. 10 Semiotics of Pilgrimage*. Jerusalem, 2003, 183–188.
- Вачева 2005a*: **Вачева, А.** Романские пространства в мемуарах Екатерины II. – В: Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. В 2 ч. Гродно, 2005, Ч. II, 336–341.
- Вачева 2005б*: **Вачева, А.** „... Я страшно люблю верховую езду“. Топос амазонки в автобиографии Екатерины II. – *Болгарская русистика*, 2005, № 3–4, 48–59.

- Вачева 2006а: Вачева, А.* Топика женственности в автобиографии Екатерины II. – В: *Художественный текст и текст в массовых коммуникациях*. Вып. 3. Ч. 2. Смоленск, Изд-во Смоленского ГУ, 2006, 12–19.
- Вачева 2006б: Вачева, А.* „Автобиографический пакт“ в „Записках“ Екатерины II. – В: Юбилеен сборник послучай 60-годишнината на спец. „Руска филология“ в СУ. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2006, 219–228.
- Вачева 2006в: Вачева, А.* „Не судите обо мне как о других женщинах...“: Мемуары Екатерины II и „Письма мисс Фанни Батлер“ г-жи Риккони. – В: НЛО 80/2006, 111–130.
- Вачева 2007: Вачева, А.* Ментор и принцесса (Образ воспитателя в автобиографии Екатерины II. – В: *Реката на времето*. Сборник в памет на проф. Людмила Боева. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, 199–207.
- Вачева 2008: Вачева, А.* „Романът на императрицата“. Романовият курс в автобиографичните записки на Екатерина II. Ракурси на четене през XIX век“. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2008.
- Вачева 2011: Вачева, А.* „Разговори с Эмилией“. Г-жа д'Эпине и Екатерина II о воспитании девиц. – В: *Западный сборник*. В честь 80-летия П. Р. Заборова. СПб., Изд. Пушкинского дома, 2011, 52–64.
- Вачева 2012: Вачева, А.* В търсене на комедийния канон. „Московските“ комедии на Екатерина II. – В: „Класика и канон в руската литература. Българският поглед“. – София, Факел, 2012, 31–37.
- Вачева 2013а: Вачева, А.* София-Екатерина. Имя и мифология в автобиографии Екатерины II. – В: *Сб. XVIII век № 27*. СПб., Наука, 2013, 49–68.
- Вачева 2013б: Вачева, А.* Макиавелли в юбке и короне: „Бытовая политика“ в мемуарах Екатерины II. – In: *History and Literature in Eighteenth-Century Russia*. Ed. by S. Bogatyrev, S. Dixon, J. Hartley. SGEER, London, 2013, 29–44.
- Вачева 2013в: Вачева, А.* Мемуары А. Е. Лабзиной: между житием и нравоучительным трактатом. – В: *Аонида*. Сборник статей в честь Н. Д. Кочетковой. СПб., Альянс-Архео, 2013, 145–153.
- Вачева 2014: Вачева, А.* „Познавать самого себя, познавать людей...“: нравы в мемуарах Екатерины II. – In: *Russian Literature, Volume 75, Issues 1–4*, 1 January–15 May 2014, 511–533.
- Вачева 2015: Вачева, А.* Диалог образов. Проблема просвещенного монарха в мемуарах Екатерины II. – In: „*A Century Mad and Wise*“. *Russia in the Age of the Enlightenment*. Papers from the IX International



Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Leuven 2014. Edited by Emmanuel Waegemans, Hans van Koningsbrugge, Marcus Levitt and Mikhail Ljustrov. Groningen 2015, 65–77.

*Введенский 1893*: **Введенский, А.** Литературная деятельность императрицы Екатерины II. – В: Сочинения императрицы Екатерины II: Произведения литературные. СПб., 1893.

*Век Екатерины II 1998*: **Век Екатерины II**: Россия и Балканы (Под ред. И. И. Лещиловской). М., 1998.

*Век Екатерины II 2000*: **Век Екатерины II**: дела Балканские (Под ред. В. Н. Виноградова). М., 2000.

*Вигасин&Прокорович 1996*: **Вигасин, А. А., М. В. Прокопович** Книжное собрание Екатерины Великой в фондах библиотеки Московского университета. – В: Екатерина Великая. Эпоха Российской истории. Тезисы докладов. СПб., 1996.

*Вигель 2000*: **Вигель, Ф. Ф.** Записки. М., Захаров, 2000.

*Вольперт 1998*: **Вольперт, Л. И.** Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. Пушкин и Стендаль. М., Языки русской культуры, 1998.

*Всякая всячина 1769*: **Всякая всячина** (ред. Г. В. Козицкий), № 1–51, Санкт-Петербург, 1769.

*Вульф 2003*: **Вульф, Л.** Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., НЛЮ, 2003.

*Вяземский 2003*: **Вяземский, П. А.** Старая записная книжка. М., Захаров, 2003.

*Гаврилов 1985*: **Гаврилов, А. К.** Марк Аврелий в России. – В: Марк Аврелий Антонин. Размышления. Л., Наука, 1985, 116–169.

*Гакстгаузен 1914*: **Гакстгаузен, Г. К.** Донесения датского посланника Гакстгаузена о царствовании Петра III и перевороте 1762 года. – В: Русская старина. 1914. Т. 160. С. 262–283.

*Герцен 1954*: **Герцен, А. И.** Собрание сочинений в 30-ти томах. М., АН СССР, 1954–1965.

*Герцен 1975*: **Герцен, А. И.** Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. IV–VI, 1857–1859, вып. 2. М., Наука, 1975.

*Герцен 1986*: **Герцен, А. И.** Былое и думы. Киев, Дніпро, 1986.

*Глинский 1899*: **Глинский, Б. Б.** Царские дети и их наставники. Исторические очерки Б. Б. Глинского. М., 1899.

*Горницкая 2012*: **Горницкая, Л. И.** Мифологема острова в русской литературе: генезис, структура семантика. Автореферат на соискание...

канд. филолог. наук. Волгоград, 2012. – На: <http://cheloveknauka.com/mifologema-ostrova-v-russkoy-literature-genezis-struktura-semantika#ixzz3mSE4mmzN> (22.07.2015).

*Греч 1990*: **Греч, Н. И.** Записки о моей жизни. М., Книга, 1990.

*Гречаная 1999*: **Гречаная, Е. П.** Французские тексты женщин аристократического круга (конец XVIII – начало XIX в.) и взаимодействие культур. – В: Известия АН. Серия Литературы и языка, 1999, т. 58, № 1, 33–44.

*Гречаная 2010*: **Гречаная, Е. П.** Когда Россия говорила по-французски: русская литература на французском языке (XVIII – первая половина XIX века). М., ИМЛИ РАН, 2010.

*Грибовский 1847*: **Грибовский, А. М.** Записки о императрице Екатерине Великой полковника, состоявшего при ее особе статс-секретарем Адриана Моисеевича Грибовского. М., 1847.

*Гриффитс 2013*: **Гриффитс, Д.** Екатерина II и ее мир: статьи разных лет. М., 2013.

*Грот 1881*: **Грот, Я. К.** Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб. 1881.

*Гуковски 1947*: **Гуковский, Г. А.** Екатерина II. – В: История русской литературы. Т. 4, ч. II: Литература XVIII века. М.–Л. 1947, 364–380.

*Гуковски 1998*: **Гуковский, Г. А.** Русская литература XVIII века. М.–Л., 1939, изд. II, М., Аспект Пресс, 1998.

*Гуськов 2008*: **Гуськов, Н. А.** Макиавелли, Махиавель, Макиавель. – В: Русско-европейские литературные связи. XVIII век. СПб., 2008, 138–140.

*Гюбиева 1969*: **Гюбиева, Г. Е.** Этапы развития русской мемуарно-биографической литературы XVIII в. Автореферат на соискание... канд. ист. наук. М., 1969.

*Денисова 2014*: **Денисова, М. П.** Источники по истории административно-хозяйственного управления Царским селом (1801 – вторая половина 1860-х гг.). Дисс. На соискание канд. Ист. Наук. СПб., СПбГУ, 2014.

*Десятерик 1994–1996*: **Десятерик, В.** Екатерина II. Наставление к воспитанию внуков (под ред. В. Десятерик). М., 1994 и 1996.

*Джакоубс 1997*: **Джакоубс, М.** Жената, която чете жената (която чете). – ВЪв: Времето на жените. С., 1997.

*Доватур 1985*: **Доватур, А. И.** Римский император Марк Аврелий Антонин. – В: Марк Аврелий Антонин. Размышления. Под ред. А. И. Доватура, А. К. Гаврилова, Яна Унта. Л., Наука, 1985, 76–93.

*Дрыжакова 1999*: **Дрыжакова, Е. Н.** Герцен на Западе. В лабиринте надежды, славы и отчаяния. СПб., Академический проект, 1999.

- Дурова 2002*: **Дурова, Н.** Русская амазонка. Записки. М., Захаров, 2002.
- Евстратов 2009*: **Евстратов, А. Г.** Екатерина II и русская придворная драматургия в 1760-х – начале 1770-х годов. М., 2009 (Дисс. на соиск. канд. фил. наук).
- Екатерина Великая 1996*: **Екатерина Великая.** Эпоха Российской истории. Тезисы докладов. СПб., 1996.
- Екатерина II в воспоминаниях... 1998*: **Екатерина II в воспоминаниях современников**, оценках историков (Сост., вст. статья и прим. М. Рахматуллина). М., Терра, 1998.
- Екатерина II о воспитании... 1994*: **Екатерина II о воспитании** и образовании внуков. Под ред. Г. И. Смагиной, СПб., 1994.
- Екатерина Павловна www*: **Великая княгиня Екатерина Павловна**, королева Вюртемберга (1818–1819) – на <http://www.rok-stuttgart.de/v3/ru/menu-ohne/68--1788-1819.html> (16.05.2015).
- Елизаветина 1967*: **Елизаветина, Г. Г.** Русская мемуарно–автобиографическая литература XVIII в. и А. И. Герцен. – В: Известия АН СССР, Сер. литературы и языка, № I/1967, 40–51.
- Елизаветина 1982a*: **Елизаветина, Г. Г.** „Последняя грань в области романа...“ (русская мемуаристика как предмет литературоведческого исследования). – В: Вопросы литературы, № 10/1982, 147–171.
- Елизаветина 1982b*: **Елизаветина, Г. Г.** Становление автобиографии и мемуаров. – В: Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., Наука, 1982, 235–263.
- Елисеева 1999*: **Елисеева, О. И.** „Зрячее счастье“. Екатерина II. М., Мануфактура, 1999.
- Елисеева 2010*: **Елисеева, О. И.** Молодая Екатерина. М., Вече, 2010.
- Елисеева 2010*: **Елисеева, О. И.** Тайна смерти Петра III. М., Вече, 2010.
- Желвакова 1974*: **Желвакова, И.** Рассекречивание прошлого в годы первой революционной ситуации (на примере публикации „Исторических сборников“ Вольной русской типографии в Лондоне о дворцовом перевороте 1801 г.). – В: Революционная ситуация в России 1859–1861 гг. М., Наука, 1974, 207–223.
- Женетт 1998*: **Женетт, Ж.** Фигуры. Т. 1–2. М., Изд. им. Сабашниковых, 1998.
- Живов 1996*: **Живов, В. М.** Язык и культура в России XVIII века. М., Языки русской культуры, 1996.
- Живов 2002*: **Живов, В. М.** Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века. – В: Живов, В. М. Разыс-

- кания в области истории и предыстории русской культуры. М., Языки славянской культуры, 2002, 439–460.
- Живов 2007: Живов, В. М.* „Всякая всячина“ и создание Екатерининского политического дискурса. – В: Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Wittenberg 2004. Berlin, LitVerlag, 2007, 251–265.
- Живов 2009: Живов, В. М.* Дисциплинарная революция и борьба с суевением в России XVIII века: „провалы“ и их последствия. – В: Антропология революции. М., НЛЮ, 2009, 327–360.
- Живов 2014: Живов, В. М.* Дисциплинировать и просвещать: две модернизационные стратегии и пространство между ними. – В: Центры и периферии европейского мироустройства. М., РОССПЭН, 2014, 145–164.
- Жоли 2004: Жоли, М.* Разговор в аду между Макиавелли и Монтескье. СПб., 2004.
- Закирова 2011: Закирова, Е. Х.* Вл. Каренин (В. Д. Комарова-Стасова) и Жорж Санд (К вопросу о русско-французских литературных связях. – В: Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Филологические науки. 2011. № 2, 19–26. – Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/vl-karenin-v-d-komarova-stasova-i-zhorzh-sand-k-voprosu-o-russko-frantsuzskih-literaturnyh-svyazyah#ixzz3i2nIWfb4> (6.08.2015).
- Записки и воспоминания русских женщин 1990: Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX века* (Подг. текста, вст. статья и комментарий Г. Н. Моисеевой). М., 1990.
- Зорин 2002: Зорин, А. Л.* „Кормя двуглавого орла...“ Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., НЛЮ, 2002.
- Зорин 2006: Зорин, А. Л.* „Редкая вещь“ („Сандуновский скандал“ и русский двор времен Французской революции). – В: Новое литературное обозрение, № 80, 2006, 91–110.
- Зелов 2002: Зелов, Д. Д.* Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII – первой половины XVIII века: История триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002.
- Земскова 2005: Земскова, Е.* Малоизученная страница русско-немецких отношений: Екатерина II в переписке с доктором Циммерманом. – In:

Toronto Slavic Quarterly №13/2005. – На: <http://www.utoronto.ca/tsq/13/zemskova13.shtml> (08.05.2014).

*Зимин, Павлова 2007:* **Зимин, И., Павлова, А.** „Верному другу...“ О кладбищах домашних животных. – В: Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 067 от 13.04.2007 – на [http://old.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10241945@SV\\_Articles](http://old.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10241945@SV_Articles) (7.03.2015).

*Ибнеева 2006:* **Ибнеева, Г. В.** Путешествия Екатерины II: Опыт „освоения“ имперского пространства. Казань, Казанский ГУ, 2006.

*Ибнеева 2009:* **Ибнеева, Г. В.** Имперская политика Екатерины II в зеркале венценосных путешествий. М., Памятники исторической мысли, 2009.

*Иванов 2007а:* **Иванов, О. А.** Екатерина II и Петр III. История трагического конфликта. М., Центрполиграф, 2007.

*Иванов 2007б, I:* **Иванов, О. А.** Судьба „династических документов“. Вып. I. Герцен-издатель. М., МГГорнУ, 2007.

*Иванов 2007б, II:* **Иванов, О. А.** Судьба „династических документов“. Вып. II. К истории публикации „Записок Екатерины II“. М., МГГорнУ, 2007.

*Иванов 2007б, III:* **Иванов, О. А.** Судьба „династических документов“. Вып. III. Петр Иванович Бартенев и „Записки Екатерины II“. М., МГГорнУ, 2007.

*Иванов 2007б, IV:* **Иванов, О. А.** Судьба „династических документов“. Вып. IV: Тайны „Древлехранилища“ М. П. Погодина. М., МГГорнУ, 2007.

*Иванов 2007б, V:* **Иванов, О. А.** Судьба „династических документов“. Вып. V: П. В. Долгоруков и лондонские издатели. М., МГГорнУ, 2007.

*Иванов 2009:* **Иванов, О. А.** Смерть Петра III. М., Роликс, Т. 1–3.

*Ивинский 2009а:* **Ивинский, А. Д.** Литературная политика императрицы Екатерины II: „Собеседник любителей русского слова“. М., 2009 (Дисс. на соиск. канд. фил. наук).

*Ивинский 2009б:* **Ивинский, А. Д.** Литературная политика Екатерины Великой и Фридриха II. – В: Филологические науки № 5/2009. Научные доклады высшей школы, 112–119.

*Ивинский 2013:* **Ивинский, А. Д.** Екатерина Великая и Фридрих II: к вопросу об источниках „Наказа“. – В: А. М. П. Памяти А. М. Пескова. М., 2013, 127–132.

*ИЖЗ 2008:* **История женщин на Западе.** Под общей ред. Ж. Дюби и М. Перро. Т. 3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения. СПб., Алетейя, 2008.

- Илиев 2000*: **Илиев, С.** Женский вопрос – мъжка трагедия. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2000.
- Илчева 2007*: **Илчева, Р.** Лапидарность российского XVIII века (к разгадке одной надписи). – В: Реката на времето. Сборник в памет на проф. Людмила Боева. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, 174–182.
- ИРИЛ 1995*: **История русской** переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1. Проза. Köln–Weimar–Wien, 1995.
- История 1996*: **История** жизни благородной женщины. М., НЛЮ, 1996.
- Кагарлицкий 2010*: **Кагарлицкий, Ю. В.** Мужество как историко-семантическая и историко-культурная проблема. – В: Именослов. История языка. История культуры. Труды центра славяно-германских исследований. Т. 1. СПб., Алетейя, 2010, 206–227.
- Калугин 2015*: **Калугин, Д.** Репрезентации власти в „официальной“ биографии второй половины XVIII–первой половины XIX века. – В: НЛЮ № 131 (1/2015) <http://www.nlobooks.ru/node/5831> (20.03.2015).
- Каменски 1992*: **Каменский, А. Б.** „Под сению Екатерины...“ Вторая половина XVIII века. М., 1992.
- Каменски 1997*: **Каменский, А. Б.** Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997.
- Каменски 1999*: **Каменский, А. Б.** Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., НЛЮ, 1999.
- Канторович 2005*: **Канторович, Э. Х.** Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 2005.
- Карамзин 1984*: **Карамзин, Н. М.** Сочинения в 2 т. Л., Художественная литература, 1984.
- Карп 1998*: **Карп, С. Я.** Французские просветители и Россия. Исследования и новые материалы по истории русско-французских культурных связей второй половины XVIII века. М., 1998.
- Карп 2013*: **Карп, С. Я.** Просвещение и власть. – В: Всемирная история. Т. 4. Мир в XVIII веке. М., Наука, 2013.
- Каррер д’Анкосс 2005*: **Каррер д’Анкосс, Э.** Императрица и аббат. Незданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д’Отероша. М., ОЛМА-Пресс, 2005.
- Каррер д’Анкосс 2006*: **Каррер д’Анкосс, Э.** Екатерина II. Золотой век в истории России. М., РОССПЭН, 2006.
- Каус 2002*: **Каус, Г.** Екатерина Великая. Биография. М., Захаров, 2002.
- Кафанова 1998*: **Кафанова, О. Б.** Жорж Санд и русская литература XIX века. Мифы и реальность. Томск, 1998.

- Келли 2010*: **Келли, К.** Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами в России после эпохи Просвещения. – В: Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций. М., НЛЮ, 2010, 51–77.
- Кирова 2007*: **Кирова, М.** Една библейска история и два начина да имаш родина. Электронная версия: LiterNet, 11.02.2007, № 2 (87) <http://lilernet.bg/publish2/mkirova/edna.htm> (2.01.2011).
- Кислова 2011*: **Кислова, Е. И.** „Слово на день рождения Петра Федоровича“ Симона Тодорского. – В: Acta Philologica: Филологические записки. 2007. № 1, 308–335.
- Кислова 2011*: **Кислова, Е. И.** „Божие особое благословение“ Симона Тодорского 1745 г. – проповедь на бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. – В: Ломоносовский сборник. М., 2011, 133–182.
- Клейн 2005*: **Клейн, И.** Литература и политика: „Недоросль“ Фонвизина. – В: Клейн, И. Пути культурного импорта. Труды по русской литературе XVIII века. М., Языки славянской культуры, 2005, 478–488.
- Клейн 2006*: **Клейн, И.** „Немедленное искоренение всех пороков“: о моралистических журналах Екатерины II и Новикова. – В: Сб. XVIII век. № 24 (2006), 153–165.
- Клейн 2010*: **Клейн, И.** Русская литература в XVIII веке. М., 2010.
- Ключевский 1991*: **Ключевский, В. О.** Императрица Екатерина II (1729–1796). – В: Ключевский, В. О. Литературные портреты. М., Современник, 1991.
- Ключевский 2000*: **Ключевский, В. О.** Русская история. Полный курс лекций. Т. 3. Ростов-на-Дону, Феникс, 2000.
- Кнабе 1999*: **Кнабе, Г. С.** Русская Античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., РГГУ, 1999.
- Кобеко 1883*: **Кобеко, Д.** Екатерина II и Ж.-Ж. Руссо. – В: Исторический вестник. Т. 12, № 6, 1883, 603–617.
- Комлев 2006*: **Комлев, Н. Г.** Словарь иностранных слов. М., 2006.
- Копанев 1986*: **Копанев, Н. А.** Распространение французской книги в Москве в середине XVIII в. – В: Французская книга в России XVIII века. Л., Наука, 1986, 59–172.
- Копанев 1988*: **Копанев, Н. А.** Французская книга и русская культура в середине XVIII века. Из истории международной книготорговли. Л., Наука, 1988.

- Копанев 1996*: **Копанев, Н. А.** Проблема восстановления „комнатной“ библиотеки Екатерины II и библиотеки Д. Дидро. – В: Екатерина Великая. Эпоха Российской истории. Тезисы докладов. СПб., 1996.
- Корнилович 1914*: **Корнилович, О.** Записки императрицы Екатерины II. – В: Журнал Министерства народного просвещения, 1914, июль, 37–74.
- Костина 1993*: **Костина, Е. Л.** К истории ранних комедий Екатерины II. – В: Сб. XVIII век, № 18. СПб., 1993, 299–312.
- Кръстева 2013*: **Кръстева, Д.** Политически метафори и сюжети в руската литература на XVIII–XIX век (Литература – Идеологическа история-Неофициални разкази за Двореца). Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013.
- Крючкова 2009*: **Крючкова, М. А.** Мемуары Екатерины II и их время. М., 2009.
- Крючкова 2013*: **Крючкова, М. А.** Триумф Мельпомены. Убийство Петра III в Ропше как политический спектакль. М., Русский мир, 2013.
- Лавров 2000*: **Лавров, А. С.** Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. М., Древлехранилище, 2000.
- Ланской 1956*: **Ланской, Л. Р.** Газетные и журнальные вырезки в архиве Герцена. – В: Литературное наследство. Т. 63. Герцен и Огарев III. М., 1956, 793–830.
- Левитан 1956*: **Левитан, И. И.** Письма, документы, воспоминания. М., Искусство, 1956.
- Левитт 2015*: **Левитт, М.** Визуальная доминанта в России XVIII века. М., НЛО, 2015.
- Лежен 2000*: **Лежен, Ф.** В защиту автобиографии. Эссе разных лет. Пер. с фр. Б. Дубина. – В: Иностранная литература № 4/2000. – на [www.magazines.russ.ru](http://www.magazines.russ.ru).
- Лежен 2012*: **Лежен, Ф.** От автобиографии к рассказу о себе. Пер. с фр. Ю. Ткаченко. – В: Неприкосновенный запас № 3 (83)/2012. – на [www.magazines.russ.ru](http://www.magazines.russ.ru).
- ЛЖТГ 1976–1990*: **Летопись жизни и творчества Герцена.** Т. 2–5. М., Наука, 1976–1990.
- Лиштенан 1999*: **Лиштенан, Ф.-Д.** Вольтер: Фридрих II или Петр I. – В: Вольтер и Россия. Под ред. А. Д. Михайлова и А. Ф. Строева. М., Наследие, 1999, 79–89.
- Лиштенан 2000*: **Лиштенан, Ф. – Д.** Россия входит в Европу. Императрица Елизавета Петровна и война за Австрийское наследство. 1740–1750. М., О.Г.И., 2000.



- Лиштенан 2014*: **Лиштенан, Ф.** – Д. Елизавета Петровна: портрет женщины у власти. – В: Россия в XVIII веке. Вып. 4. Отв. ред. Е. Е. Рычаловский. М., Древлехранилище, 2013, 48–65.
- Ломоносов 1986*: **Ломоносов, М. В.** Избранные произведения. М., 1986 (Библиотека поэта).
- Лотман 1958*: **Лотман, Ю. М.** Радищев и Мабли. – В: Сб. XVIII век № 3. Л., Наука, 1958, 276–308.
- Лотман 1990*: **Лотман, Ю. М.** Из комментариев к „Путешествию из Петербурга в Москву“. – В: Лотман, Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Таллин, Александра, 1990. Т. 2. 124–133.
- Лотман 1994*: **Лотман, Ю. М.** Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., Искусство, 1994.
- Лотман 1996*: **Лотман, Ю. М.** Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века. – В: Из истории русской культуры. Т. 4 (XVIII – начало XIX века). М., Языки русской культуры, 1996, 537–573.
- Мадам де Лафайет 2007*: **Де Лафайет, М.-М.** Сочинения. М., Ладомир, 2007.
- Мадариага 2002*: **Мадариага, И. де.** Россия в эпоху Екатерины Великой. М., НЛЮ, 2002.
- Макиавелли 2006*: **Макиавелли, Н.** Государь. Харьков, 2006.
- Мамаева 2010*: **Мамаева, О. В.** Феномен женской автобиографической литературы в русской культуре второй половины XVIII – начала XIX века. СПб., Свое издательство, 2010.
- Марасинова 1999*: **Марасинова, Е. Н.** Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века. (По материалам переписки). М., РОССПЭН, 1999.
- Марасинова 2008*: **Марасинова, Е. Н.** Власть и личность: очерки русской истории XVIII века. М., Наука, 2008.
- Марасинова 2014*: **Марасинова, Е. Н.** „Непременные государственные законы“ в России второй половины XVIII в. (Опыт Begriffsgeschichte). – In: Russian Literature LXXV (2014), 363–389.
- Мариенгоф 1994*: **Мариенгоф, А.** Екатерина. – В: А. Мариенгоф. Это вам, потомки. Записки сорокалетнего мужчины. Екатерина. СПб., Петро-Риф, 1994.
- Марк Аврелий 1985*: **Марк Аврелий Антонин.** Размышления. Под ред. А. И. Доватура, А. К. Гаврилова, Яна Унга. Л., Наука, 1985.
- Мармонтель 1785*: **Велизер.** Сочинения господина Мармонтеля, члена Французской Академии, переведен на Волге. Третьим тиснением. В Москве, в Университетской Типографии у г-на Новикова, 1785.

- Мартин 2015*: **Мартин, А.** Просвещенный метрополис. Созидание имперской Моквы. 1762–1855. М., НЛЮ, 2015.
- Мартурель 2005*: **Мартурель, Ж.** Тирант Белый. М., Ладомир-Наука, 2005.
- Массон 1996*: **Массон, Ш.** Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. М., НЛЮ, 1996.
- Мезин 2003*: **Мезин, С. А.** Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов, 2003. – На <http://annuaire-fr.narod.ru/bibliotheque/Mezin-book/Glava-3.html> (2.03.2015).
- Мерво, К. 1999*: **Мерво, К.** Портреты Екатерины II в переписке Вольтера. – В: Вольтер и Россия. Под ред. А. Д. Михайлова и А. Ф. Строева. М., Наследие, 1999, 90–97.
- Мерво, М. 1997*: **Мерво, М.** Стихотворение Огарева „Пашпорт“. – В: Литературное наследство Т. 99. Герцен и Огарев в кругу родных и друзей. Ч. 1. М., ИМЛИ, 1997, 247–250.
- Мерво, М. 1999*: **Мерво, М.** „Анекдоты о царе Петре Великом“ Вольтера: Генезис, источники и жанр. – В: Вольтер и Россия. Под ред. А. Д. Михайлова и А. Ф. Строева. М., Наследие, 1999, 67–89.
- Михайлов, А. 1988*: **Михайлов, А. В.** Античность как идеал и культурная реальность XVIII – XIX вв. – В: Античность как тип культуры. М., Наука, 1988, 308–324.
- Михайлов, О. 1990*: **Михайлов, О.** Екатерина II – императрица, писатель, мемоарист. – В: Сочинения Екатерины II. М., Советская Россия, 1990.
- Михневич 1990*: **Михневич, В. О.** Русская женщина XVIII столетия. Исторические этюды Вл. Михневича. Южно-русское книгоиздательство Ф. А. Иогансона, Киев, 1895. Репринт. М., Панорама, 1990.
- Монтескье 1999*: **Монтескье, Ш.-Л.** О духе законов. М., Мысль, 1999.
- Мораччи 2007*: **Мораччи, Дж.** Комедии Екатерины II и Вольтер. Новые заметки к теме. – В: Реката на времето. Сборник в памет на проф. Л. Боева. София, УИ „Св. Климент Охридски“ 2007, 189–198.
- Морозов www*: **Морозов, Д.** Российские императорские регалии. – на [http://www.wolfnight.ru/forum/forum\\_theme.php?theme=224&page=1](http://www.wolfnight.ru/forum/forum_theme.php?theme=224&page=1) (30.05.2015).
- На российском престоле 1993*: **На российском престоле.** М., 1993.
- Наумов 1993*: **Наумов, В. П.** Петр III. Удивительный самодержец: загадки его жизни и царствования. – В: На российском престоле. М., Интерпракс, 1993, 281–326.
- Никитенко 1955*: **Никитенко, А. В.** Дневник. Т. 1–3. М., Гослитиздат, 1955.

- Никифорова 2006: Никифорова, Л. В.* Дворец в истории русской культуры. Опыт типологии. Спб., Астерион, 2006.
- Николина 2002: Николина, Н. А.* Поэтика русской автобиографической прозы. М., Флинта, 2002.
- О муже(Н)ственности 2002: О муже(Н)ственности.* М., НЛО, 2002.
- Оснадцатый век 1869: Оснадцатый век.* Исторический сборник, издаваемый П. А. Бартевым. Кн. 4. М., 1869.
- Павленко 2000: Павленко, Н.* Екатерина Великая. М., 2000.
- Павлова 1975: Павлова, Ж. К.* Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II. – В: Труды Государственного Эрмитажа. Т. 16, 1975, 6–32.
- Павлова 1987: Павлова, Ж. К.* Императорская библиотека Эрмитажа. 1762–1917. New York, Tenaflly, 1987.
- Павлова 1999: Павлова, Ж. К.* Библиотеки и книжные знаки российских императоров. – В: История библиотек. Исследования, материалы, документы. Вып. 2, Спб., 1999, 82–103.
- Панченко 1996: Панченко, А. М.* Русская культура в канун Петровских реформ. – В: Из истории русской культуры. Т. 3 (XVII – начало XVIII века). М., Языки русской культуры, 1996.
- Паперно 1996: Паперно, И.* Семиотика поведения: Николай Чернишевский – человек эпохи реализма. М., НЛО, 1996.
- Партридж 1959: Партридж, М.* Александр Герцен и английская периодическая печать. – Вопросы литературы, № 4/1959, 141–146.
- Пенская 2012: Пенская, Е. Н.* Русский исторический роман XIX века. – В: Историческая культура имперской России. Формирование представлений о прошлом. М., ВШЭ, 2012, 418–474.
- Петр Великий 2006: Петр Великий в русской литературе XVIII века.* Тексты и комментарии. Отв. ред. С. И. Николаев. Спб., Наука, 2006. – на <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5927>.
- Петров, А. 2012: Петров, А. В.* Эпиталама в русской литературе XVIII века. Очерки по исторической поэтике жанра. Магнитогорск, Магнитогорский ГУ, 2012.
- Петров, В. 1990: Петров, В. П.* Ода на великолепный карусель, представленный в Санкт-Петербурге 1766 года. – В: Русская литература. Век XVIII. Т. 1. Лирика. Отв. ред. Н. Д. Кочеткова. М., Художественная литература, 1990.
- Писаренко 2003: Писаренко, К. В.* Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., Молодая гвардия, 2003.

- Письма 1980: Письма русских писателей XVIII века.* Л., Наука, 1980.
- Плутарх 1961: Плутарх.* Сравнительные жизнеописания. Изд. подготовили С. П. Маркиш и С. И. Соболевский. Т. 1–3. М., 1961.
- Плутарх 1987: Плутарх.* Избранные жизнеописания. Т. 1–2. М., 1987.
- Пол...: Пол. Гендер. Культура* (М. РГГУ, 1999, 2000, 2002).
- Понятовский 1915–1916: Понятовский, С.-А.* Из записок короля Станислава Августа Понятовского. – В: Русская старина, 1915. Т. 164, № 12, 364–378; Русская старина, 1916. Т. 165, № 2, 271–285.
- Приказчикова 2009: Приказчикова, Е. Е.* Культурный миф о романе-развратителе и способы его преодоления в русской литературе эпохи Просвещения. – Филологические науки, № 4/ 2009, 74–87.
- Приказчикова 2009: Приказчикова, Е. Е.* Античность в литературном и бытовом сознании XVIII – первой трети XIX века через призму мифориторической культуры. – В: Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки, 2009, № 1/2 (63), 102–113.
- Приказчикова 2010: Приказчикова, Е. Е.* Культурные мифы и утопии русского Просвещения. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010.
- Проскурин 1999: Проскурин, О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., НЛО, 1999.
- Проскурина 2003: Проскурина, В.* Миф об Астрее и русский престол. – НЛО, 63 (5)/2003, 153–185.
- Проскурина 2006: Проскурина, В.* Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., НЛО, 2006.
- Проскурина 2010: Проскурина, В.* Спор о „свободоязычии“: Фонвизин и Екатерина II. – Новое литературное обозрение № 105 (2010).
- ПСЗРИ 1830: Полное собрание законов Российской империи с 1648 года.* СПб., 1830. Т. 18 (1767–1769).
- Путятин 2004: Путятин, И.* Образ Софии Константинопольской в русском храме эпохи классицизма. – В: II Московские областные образовательные Рождественские Чтения. 2004. – На: <http://chtenia.pavlovskayasloboda.ru/clauses/76-putyatin-sophia.html> (22.08.2015).
- Пушкарева 2000: Пушкарева, Н. Л.* У истоков женской автобиографии в России. – Филологические науки, № 3/2000, 62–69.
- Пушкарева 1997: Пушкарева, Н. Л.* Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX века). М., Ладомир, 1997.
- Пушкарева 2012: Пушкарева, Н. Л.* Частная жизнь русской женщины XVIII века. М., Ломоносов, 2012.

- Пушкарева 2002*: **Пушкарева, Н. Л.** Русская женщина: история и современность. Два века изучения женской темы русской и зарубежной наукой (1800–2000). Материалы к библиографии. М., Ладомир, 2002.
- Пушкин 1969*: **Пушкин, А. С.** Письмо Пушкиной Н. Н., 20 и 22 апреля 1834 г. Петербург. – В: Пушкин: Письма последних лет, 1834–1837. АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). Л., Наука. Ленингр. отд-ние, 1969, 36–37.
- Пчелов 2009*: **Пчелов, Е. В.** Династия Романовых: генеалогия и антропология. – В: Вопросы истории, № 6, Июнь 2009, 76–83.
- Пчелов 2013*: **Пчелов, Е. В.** Романовы. История великой династии. М., Вече, 2013 – на: [www.booksgoogle.ru/books?id=e7ee7jp](http://www.booksgoogle.ru/books?id=e7ee7jp) (11.08.2015).
- Пыпин 1903*: **Пыпин, А. Н.** История русской литературы. Т. 4. Времена Екатерины II – до Гоголя. СПб., 1903.
- Радищев 1938*: **Радищев, А. Н.** Полное собрание сочинений. Т. 1. М.–Л., АН СССР, 1938.
- Райан 2006*: **Райан, В.** Баня в полночь. Исторический обзор магии и гаданий в России. М., НЛО, 2006.
- Рак 1998*: **Рак, В. Д.** Русские литературные сборники и периодические издания второй половины XVIII века. СПб., Академический проект, 1998.
- Рейно 1999*: **Рейно, Ж. М.** Екатерина II в зрительной трубе Вольтера. – В: Вольтер и Россия. Под ред. А. Д. Михайлова и А. Ф. Строева. М., Наследие, 1999, 98–105.
- Рейтблат 2001*: **Рейтблат, А. И.** Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., НЛО, 2001.
- Рейтблат 2009*: **Рейтблат, А. И.** От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., НЛО, 2009.
- РЕЛС 2008*: **Русско-европейские литературные связи. XVIII век.** Энциклопедический словарь. Статьи. СПб., Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. (РЕЛС).
- Ровинский 1903*: **Ровинский, Д. А.** Обзор иконописания в России до конца XVII века. Описание фейерверков и иллюминаций. СПб., Суворин, 1903.
- Роже 2003*: **Роже, Ф.** Счастье. – В: Мир Просвещения. Исторический словарь. Под редакцией В. Ферроне и Д. Роша. М., Памятники исторической мысли, 2003, 51–60.
- Романович-Славатинский 1870*: **Романович-Славатинский, А.** Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. Киев, 1870.

- Российская Академия 2009: **Российская Академия** (1783–1841): язык и литература в России на рубеже XVIII–XIX веков. Под ред. А. А. Костина, Н. Д. Кочетковой, И. А. Малышевой. СПб., 2009.*
- Россия XVIII века... 1989: **Россия XVIII в.** глазами иностранцев. Л., Лениздат, 1989.*
- Ростовский 1764: **Свт. Димитрий Ростовский.** Книга житий святых. Книга первая: сентябрь, октябрь, ноябрь. Киево-Печерская лавра, 1764, л. 454.*
- Русские писательницы... 1995: **Русские писательницы** и литературный процесс в XVIII – первой трети XIX века (Сост. М. Ш. Файнштейн). Wilhelmshorst, Göpfert, 1995.*
- Руссо 1968: **Руссо, Ж.-Ж.** Юлия, или Новая Элоиза. М., Художественная литература, 1968.*
- Руссо 2011: **Руссо, Ж.-Ж.** Исповедь. М., Эксмо, 2011.*
- Рюльер 1989: **Рюльер, К.-К.** История и анекдоты революции в России в 1762 г. – В: Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., Лениздат, 1989.*
- Сабурова 2012: **Сабурова, Т. А.** „Места памяти“ русских образов общества первой половины XIX века. – В: Историческая культура имперской России. Формирование представлений о прошлом. М., ВШЭ, 2012, 235–257.*
- Савельева 2003: **Савельева, М. Ю.** Мифический характер монаршей власти в России на рубеже XVII–XVIII вв. – В: Человек между Царством и Империей: Сб. материалов междунар. конф. РАН. Ин-т человека; Под ред. М.С. Киселевой. – М., 2003, 75–87.*
- Савельева 2006: **Савельева, М. Ю.** Философ на троне. Штрихи к портрету Екатерины Великой. Киев, Парапан, 2006.*
- Савельева 2007: **Савельева, М. Ю.** Монархия как форма самоопределения личности. Российский опыт становления феномена „сакральное“. Киев, Парапан, 2007.*
- Савкина 1998: **Савкина, И.** Провинциалки русской литературы (женская проза 30–40-х гг. XIX века). Wilhelmshorst, Göpfert, 1998.*
- Савкина 2001: **Савкина, И.** „Пишу себя...“ Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. Academic Dissertation. University of Tampere, Tampere, 2001.*
- Савкина 2007: **Савкина, И.** Разговоры с зеркалом и зазеркальем. Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М., НЛЮ, 2007.*

- Сазонова 2006*: **Сазонова, Л. И.** Литературная культура России. Раннее Новое время. М., Языки славянских культур, 2006.
- Сафонов 2001*: **Сафонов, М. М.** „Сексуальные откровения“ Екатерины II и происхождение Павла I. – В: Reflection on Russia in the Eighteenth Century. Ed. by J. Klein, S. Dixon, M. Fraanje. Köln, Bohlau Verlag, 2001, 96–111.
- Сахаров 2000*: **Сахаров, В. И.** Иероглифы вольных каменщиков. Массонство и русская литература XVIII–начала XIX века. М., Жираф, 2000.
- Светлов 1951*: **Светлов, Л. Б.** Из разысканий о деятельности *Герцена*. А. И. Герцен и П. И. Бартенева. – В: Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1951, т. 8, № 6, 542–544.
- Сегюр 1989*: **Сегюр, Л.-Ф.** Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II. – В: Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., Лениздат, 1989.
- Сейте 2003*: **Сейте, Я.** Роман. – В: Мир Просвещения. Исторический словарь. Под редакцией В. Ферроне и Д. Роша. М., Памятники исторической мысли, 2003, 304–324.
- Семенников 1923*: **Семенников, В. П.** Радищев. Очерки и исследования. Москва–Петроград, 1923.
- Семенов 2014*: **Семенов, В. А.** Категория читателя: „Были и небылицы“ русской императрицы Екатерины II и традиция Лоренса Стерна. – В: Вестник Тверского ГУ. Серия „Филология“. 2014, № 2, 378–382.
- Серман 1973*: **Серман, И. З.** Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л., Наука, 1973.
- Серман 1998*: **Серман, И. З.** История и утопия в русской общественной мысли и литературе XVIII века. – В: Философский век. Вып. 5. Идея истории в российском Просвещении. СПб., Санктпетербургский центр истории идей, 1998, 215–236.
- Серафимова 2001*: **Серафимова, М.** Писмото и романът, 2001.
- СИРИО 1867, 1*: **Сборник Императорского русского исторического общества.** Т. 1. Переписка Екатерины II с г-жой Жоффрен. СПб., 1867, 254–291.
- СИРИО 1871, 7*: **Сборник Императорского русского исторического общества.** Т. 7. СПб., 1871.
- СИРИО 1874, 13*: **Сборник Императорского русского исторического общества.** Т. 13. СПб., 1874.
- СИРИО 1876, 17*: **Сборник Императорского русского исторического общества.** Т. 17. Переписка Екатерины II с Фальконетом. СПб., 1876.

- СИРИО 1878, 23*: **Сборник Императорского русского исторического общества**. Т. 23. Переписка Екатерины II с Гриммом. СПб., 1878.
- СИРИО 1885, 44*: **Сборник Императорского русского исторического общества**. Т. 44. Переписка Гримма с Екатериной II. СПб., 1885.
- Сиповский 1909*: **Сиповский, В. В.** Очерки из истории русского романа. Т. 1. Вып. 1–2. XVIII век. СПб., 1909.
- Скоробогатов 2005*: **Скоробогатов, А. В.** Цесаревич Павел Петрович. Политический дискурс и социальная практика. М., РГГУ, 2005.
- Смилянская 2003*: **Смилянская, Е. Б.** Православный пастырь и его суеверная паства (к изучению народной религии в России первой трети XVIII в.). – В: Человек между Царством и Империей: Сб. материалов междунар. конф./РАН. Ин-т человека. Под ред. М. С. Киселевой. М., 2003, 407–415.
- Смилянская & со 2012*: **Смилянская, И. М., Е. Б. Смилянская, М. Б. Велижев.** Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. Под общ. ред.: Е. Б. Смилянская. М., Индрик, 2011.
- Соколова 2004*: **Соколова, Т. А.** Декоративное садоводство. Древодводство. М., Academia, 2004.
- Соловьев 1959*: **Соловьев, С. М.** История России с древнейших времен: В 15 кн. М., Соцэкгиз, 1959–1966.
- Стасов 1899*: **Стасов, В. В.** Надежда Васильевна Стасова. СПб., 1899. – на <http://www.a-z.ru/women/texts/stasovr.htm> (6.08.2015).
- Стегний 2009*: **Стегний, П.** „Прощайте, мадам Корф“. Из истории тайной дипломатии Екатерины Великой. М., Международные отношения, 2009.
- Стенник 1983*: **Стенник, Ю. В.** Драматургия русского классицизма. Трагедия. – В: История русской драматургии. Т. 1. М., 1983.
- Стерн 1966*: **Стерн, Л.** Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии, М., Художественная литература, 1966.
- Строев 1998*: **Строев, А.** „Те, кто поправляет Фортуну“. Авантюристы Просвещения. М., НЛО, 1998.
- Тамарченко 1999*: **Тамарченко, Н. Д.** (составитель). Теоретическая поэтика: понятия и определения. М., РГГУ, 1999.
- Тартаковски 1991*: **Тартаковский, А. Г.** Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX века. От рукописи к книге. М., Наука, 1991.
- Теория... 2001*: **Теория през границите**. Въведение в изследванията на рода. Съставители М. Кирова и К. Славова. С., Полис, 2001.



- Теребенина 1969*: **Теребенина, Р. Е.** Копия "Записок Екатерины II" из архива Пушкина. – В: Временник Пушкинской комиссии, 1966. Л., Наука, 1969. С. 8–22.
- Тишкин 1984*: **Тишкин, Г. А.** Женский вопрос в России в 50–60 гг. XIX в. Л., ЛГУ, 1984.
- Топоров 2001*: **Топоров, В. Н.** Из истории русской литературы. Т. 2. Русская литература второй половины XVIII века. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Книга I. М., Языки русской культуры. М., 2001.
- Трачевский 1877*: **Трачевский, А.** Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II и Иосифа II. 1780–1790. СПб., 1877.
- Труайя 2004*: **Труайя, А.** Екатерина Великая. М., Эксмо, 2004.
- Тураев 2008*: **Тураев, С. В.** Екатерина II и Европа. – В: Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Литературные источники последней трети XVIII века. Вп. 3. М., ИМЛИ РАН, 2008, 7–38.
- Тургенев 1919*: **Тургенев, А. М.** Записки. – Былое, 1919, № 14.
- Туробойский 1979*: **Туробойский, И.** Преславное торжество свободолюбивой Ливонии... 1704 г. – В: Панегирическая литература Петровского времени. М., Наука, 1979, 151–180.
- Тучкова-Огарева 1959*: **Тучкова-Огарева, Н. А.** Воспоминания. М., Гослитиздат, 1959.
- Тютчева 2004*: **Тютчева, А.** Воспоминания. М., Захаров, 2004.
- Унт 1986*: **Унт, Я.** „Размышления“ Марка Аврелия как литературный и философский памятник. – В: Марк Аврелий Антонин. Размышления. Под ред. А. И. Доватура, А. К. Гаврилова, Яна Унта. Л., Наука, 1985, 94–115.
- Унт 1986*: **Унт, Я.** Экзагетический комментарий. – В: Марк Аврелий Антонин. Размышления. Под ред. А. И. Доватура, А. К. Гаврилова, Яна Унта. Л., Наука, 1985, 170–218.
- Уортман 2002*: **Уортман, Р. С.** Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I. М., ОГИ, 2002 (2. изд. 2004).
- Уортман 2004*: **Уортман, Р. С.** Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2. От Александра II до отречения Николая II. М., ОГИ, 2004.
- Фавье 2003*: **Фавье, Ж.-Л.** Русский двор в 1761 году. – В: Екатерина II. Путь к власти. М., Фонд С. Дубова, 2003, 193–206.
- Фаизова 1999*: **Фаизова, И. В.** „Манифест о вольности“ и служба дворянства в XVIII столетии. М., Наука, 1999.

- Файнштейн 1992*: **Файнштейн, М.** Писательницы пушкинской эпохи. М., 1992.
- Файнштейн 2002*: **Файнштейн, М. Ш.** „И славу Франции в России превзойти...“ Российская Академия (1783–1841) и развитие культуры и гуманитарных наук. М.–СПб., Дм. Буланин, 2002.
- Фасад и задворки 2005*: **Екатерина П.** Фасад и задворки империи. М., Фонд Сергея Дубова, 2007.
- Фатеева 2007*: **Фатеева, А. В.** „Mémoires“ Екатерины II в контексте эпохи Просвещения. Дисс. на соискание канд фил. наук. М., 2007.
- Федорова 1996*: **Федорова, В. И.** Библиотеки Екатерины II в Зимнем дворце. – В: Екатерина Великая. Эпоха Российской истории. Тезисы докладов. СПб., 1996.
- Федорченко 2003*: **Федорченко, В.** Дворянские роды, прославившие отечество. Энциклопедия дворянских родов. Красноярск, Бонус–Москва, Олма-Пресс, 2003.
- Финкенштейн 2000*: **Финкенштейн К.-В. фон.** Общий отчет о русском дворе. – В: Лиштенан, Ф.-Д. Россия входит в Европу. Императрица Елизавета Петровна и война за Австрийское наследство. 1740–1750. М., О.Г.И., 2000.
- Флоренский www*: **Флоренский, П.** Имена (София). – На: <http://philologos.narod.ru/florensky/6-sofia.htm> (10.08.2015).
- Флоренский www*: **Флоренский, П.** Имена (Екатерина). – На: <http://philologos.narod.ru/florensky/12-ekaterina.htm> (10.08.2015).
- Франковский 1966*: **Франковский, А.** Лоренс Стерн. – В: Стерн, Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии, М., Художественная литература, 1966.
- Французская книга... 1986*: **Французская книга** в России XVIII века. Л., Наука, 1986.
- Фреде 2001*: **Фреде, В.** История коллективного разочарования: дружба, нравственность и религиозность в дружеском кругу А. И. Герцена – Н. П. Огарева 1830–1840-х гг. – В: НЛО 49 (3) 2001, 159–190.
- Фридрих Великий 2009*: **Фридрих Великий.** Анти-Макиавелли, или Опыт возражения на Макиавелиеву науку об образе государственного правления. – В: Книга государя. Антология политической мысли. СПб., Амфора, 2009. (Серия „Александрийская библиотека“), 290–416.
- Фридрих Великий 2014*: **Фридрих Великий.** Наставление о военном искусстве к своим генералам. Анти-Макиавелли. М., Эксмо, 2014.

- Хотеев 1986: Хотеев, П. И.* Французская книга в Библиотеке Петербургской Академии наук (1714–1742). – В: Французская книга в России XVIII века. Л., Наука, 1986, 5–58.
- Храповицкий 1990: Храповицкий, А. В.* Памятные записки А. В. Храповицкого. Репринт издания 1862 г. М., 1990.
- Черкасов 2001: Черкасов, П. П.* Екатерина II и Людовик XVI. Русско-французские отношения. 1774–1792. М., Наука, 2001.
- Черкасов 2010: Черкасов, П. П.* Елизавета Петровна и Людовик XV. М., 2010.
- Шаркова 1979: Шаркова, И. С.* „Анти-Макьявелли“ Фридриха II и его русские переводы. – В: Проблема культуры итальянского Возрождения. Л., 1979, 106–111.
- Шартье 2003: Шартье, Р.* Книги, читатели, чтение. – В: Мир Просвещения. Исторический словарь. Под редакцией В. Ферроне и Д. Роша. М., Памятники исторической мысли, 2003, 295–303.
- Шарф 2015: Шарф, К.* Екатерина II, Германия и немцы. М., НЛЮ, 2015.
- Шарыпкин 1977: Шарыпкин, Д. М.* Радищев и роман Мармонтеля „Велизарий“. – В: XVIII век. Выпуск 12. А. Н. Радищев и литература его времени. Л., Наука, 1977, 166–182.
- Швидковский 2001: Швидковский, Д.* Китайский дворец – собственная дача Ее Величества. – В: Rossica, Summer 2001, 73–74.
- Шенкер 2010: Шенкер, А. М.* Медный всадник. Памятник и его творцы. СПб., Дмитрий Буланин, 2010.
- Шилов 1999: Шилов, Л. А.* К вопросу о судьбе императорских библиотек: неосуществленный проект. – В: История библиотек. Исследования, материалы, документы, вып. 2. СПб., 1999, 104–114.
- Шкловский 1933: Шкловский, В.* Чулков и Левшин. Л., 1933.
- Шлобах 2000: Шлобах, Й.* Фридрих Мелхиор Гримм и Екатерина II. – В: Русские и немцы в XVIII веке. Встреча культур. М., Наука, 2000.
- Шмурло 1929: Шмурло, Е. Ф.* Вольтер и его книга о Петре Великом. Прага, Орбис, 1929.
- Шодерло де Локло 1982: Шодерло де Лакло.* Опасные связи. М., Терра, 1997.
- Штелин 2003: Штелин, Я.* Записки о Петре III – В: Екатерина II. Путь к власти. М., Фонд С. Дубова, 2003, 11–50.
- Штеллнер 2013: Штеллнер, Ф.* Династическая политика в начале правления Елизаветы Петровны. – В: Россия в XVIII веке. Вып. 4. Отв. ред. Е. Е. Рычаловский. М., Древлехранилище, 2013, 114–129.

- Щебальский 1869: Щебальский, П. К.* Екатерина II как писательница. – Заря, 1869, № 2, 99–146.
- Щербатов 1986: Щербатов, М. М.* О повреждении нравов в России. – В: Столетье безумно и мудро. М., Молодая гвардия, 1986, 317–390.
- Эджертон 1997: Эджертон, В.* Герцен, Чарльз-Годфри Лиленд и „Средиземное море будущего“. – В: ЛН. Т. 99. Герцен и Огарев в кругу родных и друзей. 1997, кн. 2, 750–752.
- Эйдельман 1984: Эйдельман, Н. Я.* Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII–XIX вв. и Вольная печать. М., Мисль, 1984.
- Элиас 2002: Элиас, Н.* Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии. М., Языки славянской культуры, 2002.
- Юсим 1990: Юсим, М. А.* Этика Макиавелли. М., 1990.
- Юсим 1998: Юсим, М. А.* Макиавелли в России. Мораль и политика на протяжении пяти столетий. М., 1998.
- Юханнисон 2011: Юханнисон, К.* История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь. М., НЛЮ, 2011.
- Alcover 1981: Alcover, M.* Poullain de la Barre: une aventure philosophique. Biblio 17. Papers on French Seventeenth Century Literature, Paris–Seattle–Tuebingen, 1981.
- Alexander 1989: Alexander, J.* Catherine the Great. Life and Legend. New York/Oxford, 1989.
- Alexander 2003: Alexander, J.* Bubonic Plague in Early Modern Russia. Public Health and Urban Disaster. Oxford, Oxford Univ. Press, 2003.
- Alpern-Engel 2000: Alpern-Engel, B.* Mothers and Daughters: Women of the Intelligentsia in Nineteenth Century Russia. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2000.
- Alpern-Engel 2004: Alpern-Engel, B.* Women in Russia, 1700–2000. Cambridge University Press, 2004.
- Amburger 1933: Amburger, E.* Katharina II. und Graf Gyllenborg. Zwei Jugendbriefe der Princessin Sophie von Zerbst, Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte, Band VII (Neue Folge, Band III), Berlin, 1933, 87–98.
- Andrew 1988: Andrew, J.* Women in Russian Literature, 1780–1863. London, 1988.
- Atkinson 1977: Atkinson, D.* Society and the Sexes in the Russian Past. – In: Women in Russia, Stanford, 1977, 3–38.

- Aucouturier 1973*: **Aucouturier, M.** Herzen et Dostoievski. – In: *Autour d'Alexandre Herzen*. Geneve, Droz, 1973, 303–306.
- Badinter 1983*: **Badinter, E.** Emilie, Emilie. L'ambition féminine au XVIII siècle. Paris, Flammarion, 1983.
- Baehr 1991*: **Baehr, St. L.** The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia. Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture. Stanford, Stanford Univ. Press, 1991.
- Bahner&Bergmann 1996*: **Bahner, W.** Bergmann, H. Introduction. – In: *Voltaire. Oeuvres complètes. Anti-Machiavel. Vol. 19.* Oxford, Voltaire Foundation, 1996, 3–101.
- Barker, Gheith 2002*: **Barker, A., J. Gheith** (eds). A History of Russian Women's Writing. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- Bayle 1740*: **Bayle, P.** Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, 5th edn, Amsterdam, Leiden, The Hague and Utrecht, 1740.
- Bayle 1966*: **Bayle, P.** Oeuvres diverses. T. 1–4, Hildesheim, 1966 (Репринт).
- Bayle 1982*: **Bayle, P.** Choix d'articles, tirés du Dictionnaire Historique et Critique, Georg Olms Verlag. Hildesheim–New York, 1982.
- Beaujour 1980*: **Beaujour, M.** Miroirs d'encre. Rhétorique de l'autoportrait. Paris, Seuil, 1980.
- Beugnot 1996*: **Beugnot, B.** Le discours de la retraite au XVII siècle. Loin du monde et de bruit. Paris, PUF, 1996.
- Beugnot 1994*: **Beugnot, B.** La mémoire du texte. Paris, 1994.
- Bonolas 1987*: **Bonolas, Ph.** Fénelon et le luxe dans le „Télémaque“. – In: *SVEC. T. 249.* Oxford, Voltaire Foundation, 1987, 81–90.
- Bonträger 1991*: **Bonträger, E.** Katharina II. „Selbstherrscherin aller Reussen“. Das Bild der Zarin und ihrer Ausseenpolitik in der westlichen Geschichtsschreibung. Freiburg, 1991.
- Breuillard 1997*: **Breuillard, J.** Catherine II traductrice: le „Belisaire“ de Marmontel. – In: *Catherine II et l'Europe. Sous la dir. d'A. Davidenkoff.* Paris, Inst. d' Etudes Slaves, 1997. 71–84.
- Brower 1978*: **Brower, D.** Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Russia. Cornell University Press, Ithaca and London, 1978.
- Bruss 1976*: **Bruss, E. W.** Autobiographical acts: The Changing Situation of a Literary Genre. Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, 1976.
- Bushkovitch 2008*: **Bushkovitch, P.** The Clergy at the Russian Court, 1689–1796. – In: *Monarchy and Religion.* Ed. By M. Schaich. Oxford, Oxford Univ. Press, 2007, 105–128.
- Bushkovitch 2008*: **Bushkovitch, P.** The Roman Empire in the Era of Peter the Great. – In: *Rude & Barbarous Kingdom Revisted. Essays in Russian*

- History and Culture in Honor of Robert O. Crummey. Slavica. Bloomington, Indiana, 2008, 155–172.
- Catherine II...* 1966: **Catherine II de Russie**. Coll. Génies et réalités. Paris, Hachette, 1966.
- Catherine II...* 1997: **Catherine II et l'Europe** (Anita Davidenkof éd.). Paris, 1997.
- Catherine II...* 1999: **Catherine II, lectrice de Jean-Jacques Rousseau**. Chemins des Lumières en Val d' Oise. Montmorency, 20.09.1998–21.03.1999.
- Chappe d'Auteroche 2004: Chappe d'Auteroche, J.* Voyage en Sibérie, fait par l'ordre du Roi en 1761. Introduction, appareil critique par M. Mervaud, M. Pinault Sørensen. Oxford, Voltaire Foundation, 2004, T. 1–2 (SVEC 2004: 3 et 4).
- Coirault 1975: Coirault, Y.* Autobiographie et mémoires (XVII–XVIII siècles) ou existence et naissance de l' autobiographie. – In: RHLF, 6/1975, 937–953.
- Conrad 1978: Conrad, P.* Shandyism: The Character of Romantic Irony. New York, Barnes & Nobles, 1978.
- Cornette 1997: Cornette, J.* Absolutisme et Lumières. 1652–1783. Paris, Hachette, 1997.
- Coulet 1967: Coulet, H.* Le roman jusqu'à la révolution. T. 1. Paris, Armand Colin, 1967.
- Cragg 1989: Cragg, Olga B.* Marie-Jeanne Riccoboni. Histoire du Marquis de Cressy. Introduction. – In: Studies on Voltaire & Eighteenth Century. Vol. 266. Oxford, Voltaire Foundation, 1989.
- Cross 2001: Cross, A.* Catherine the Great and the British. A Pot-pourry of Essays, Nottingham, 2001.
- Davison 1996: Davison, R.* Introduction. – In: Mme d'Épinay. Les Conversations d' Emilie. Texte présenté par R. Davison, SVEC. T. 342. Oxford, Voltaire Foundation, 1996, 1–43.
- Delon 1997a: Delon, M.* Bonheur. In: Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997, 165–167.
- Delon 1997b: Delon, M.* Boudoir. In: Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997.
- Demay 1977: Demay, A.* Marie – Jeanne Riccoboni ou la pensée féministe chez une romancière du XVIII siècle. Paris, La pensée universelle, 1977.
- Dictionnaire...* 1997: **Dictionnaire** Européen des Lumières. Sous la dir. de Michel Delon, Paris, PUF, 1997.
- Diderot 1875: Diderot, D.* Oeuvres complètes. Ed. Asezat-Tourneux, Paris, 1875.

- Diderot 1959: Diderot, D.* Correspondance. Publiée par G. Roth et J. Varloot, Paris, Éd. des Minuit, 1959.
- Diderot 1963: Diderot, D.* Entretiens avec Catherine II. – In: Diderot. Oeuvres politiques. Éd. par P. Vernière. Paris, Garnier, 1963.
- Didier 1995: Didier, B.* Quand Diderot faisait le plan d'une université. – In: Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie. Volume 18/1995, 81–91.
- Di Salvo 2014: Di Salvo, M.* Felix Catharina Regnet! Felix Catharina Vincat! Panegyrics Dedicated to Catherine II by White Catholic Schools. – In: Russian Literature, Volume 75, Issues 1–4, 1 January–15 May 2014, 111–120.
- Dixon 1999: Dixon, S.* The Posthumous Reputation of Catherine II in Russia (1797–1837). – In: Slavonic and East European Review, Vol. 77, N 4, 1999, 646–679.
- Dixon 2001: Dixon, S.* Catherine the Great. London, Longman, 2001.
- Dixon 2004: Dixon, S.* Catherine the Great and the Romanov Dynasty: The Case of the Great Duchess Mariia Pavlovna (1854–1920). – In: R. Bartlett, L. Hughes (Eds.). Russian Society and Culture and the Long Eighteenth Century. Essays in Honour of Anthony G. Cross. Muenster, Lit Verlag, 2004, 195–208.
- Dixon 2007: Dixon, S.* Religious Ritual at the Eighteenth-Century Russian Court. – In: Monarchy and Religion. Ed. By M. Schaich. Oxford, Oxford Univ. Press, 2007, 217–248.
- Donnels O'Maley 2006: Donnels O'Maley, L.* The Dramatic Works of Catherine the Great. Theatre and Politics in Eighteenth-Century Russia. Ashgate, 2006.
- Doubrovsky 1988: Doubrovsky, S.* Autobiographiques: de Corneille à Sartre. Paris, PUF, 1988.
- Dulac 1985: Dulac, G.* Diderot et la “civilisation” de la Russie. – In: Diderot (1713–1784). Colloque international (4–11.07.1984). Paris, Aux amateurs des livres, 1985, 161–172.
- Dulac 2001: Dulac, G.* Diderot et le „mirage russe“: quelques préliminaires à l'étude de son travail politique de Pétersbourg. – In: Le Mirage russe au XVIII siècle. Textes publiés par S. Karp et L. Woolf. Fernay-Voltaire, 2001, 149–192.
- Fabre 1952: Fabre, J.* Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières. Etude de cosmopolitisme. Paris, 1952.
- Fauchery 1972: Fauchery, P.* La destinée féminine dans le roman européen du 18e siècle: 1713–1807. Essai de gynécomythie romanesque. Paris, Armand Colin, 1972.

- Fedyukin & Zitser 2011*: **Fedyukin, I., E. A. Zitser.** „For love and fatherland“: Political clientage and the Origins of Russia's first female order of chivalry. – In: Cahiers du monde russe, 2011/1 Vol. 52, 5–44.
- Feminism,... 1991*: **Feminism**, Bakhtin, and the Dialogic. Ed. by D. M. Bauer and S. Jaret McKinstry. New York, State University of New York Press, 1991.
- Fénelon 1927*: **Fénelon**. Les aventures de Télémaque. Sous la dir. d' A. Cahen. T. 1–2. Paris, Hachette, 1927.
- Fénelon 1983*: **Fénelon**. De l'éducation des filles. – In: Fénelon. Oeuvres. Ed. Établie par J. Le Brun. T. 1. Paris, Gallimard, 1983.
- Fictions in Autobiography 1985*: **Fictions in Autobiography**. Studies in the Art of Self-Invention. Princeton, 1985.
- Finkelstein 2011*: **Finkelstein, M.** Im Namen der Schwester. Studien zur Rezeption der Regentin Sof'ja Alekseevna bei Katharina der Grossen, E. Rostopchina und M. Cvetaeva. Muenchen–Berlin, Verlag Otto Sagner, 2011.
- Flaux 1995*: **Flaux, M.** La fiction selon Mme Riccoboni. – Dix-huitième siècle, 1995, N 27, 425–437.
- Fleishauer 1958*: **Fleishauer, Ch.** Introduction. – In: L' Anti-Machiavel, par Frédéric II, Roi de Prusse. Édition critique ... publiée par Ch. Fleishauer. Studies on Voltaire & the Eighteenth Century, vol. 5, Oxford, 1958.
- Fleishman 1983*: **Fleishman, A.** Figury of Autobiography. Berclcy, 1983.
- Fontenelle 1740*: **Fontenelle, B.** Eloges des académiciens avec l'histoire de l'Academie Royale des Sciences. T. 2. A la Haye, MDDXL (1740).
- Fontenelle 1785*: **Œuvres de M. de Fontenelle** des Académies Française, des Sciences, et des Belles-Lettres, et de la Société Royale de Londres. T. 2. Londres, MDDCCLXXXV (1785).
- Frede 2014*: **Frede, V.** Atheizm in the Russian Enlightenment. – In: Russian Literature LXXV (2014), 121–162.
- Frédéric II 1958*: **Frédéric II.** La réfutation du Prince de Machiavell. – In: L' Anti-Machiavel, par Frédéric II, Roi de Prusse. Édition critique ... publiée par Ch. Fleishauer. SVEC 5. Oxford, Voltaire Foundation, 1958.
- Freeman 1993*: **Freeman, M.** History, Memory, Narrative. New York–London, Routledge, 1993.
- García-Martínez 1996*: **García-Martínez, I.** The Eighteenth-Century Novel: a vehicle for the making of the modern woman. – In: Studies on Voltaire and Eighteenth Century, 348 (Transactions of IX International Congress of the Enlightenment, Muenster 1995, t. 3), Oxford, Voltaire Foundation, 1996.



- Gareth Jones 1984: Gareth Jones, W.* Nikolay Novikov, Enlightener of Russia. Cambridge, 1984.
- Garry Harris 1990: Garry Harris, J.* Autobiographical statements in XX-century Russian Literature. New Jersey Princeton, Princeton Univ. Press, 1990.
- Gender and Russian Literature:... 1996: Gender and Russian Literature: New Perspectives.* Ed. by R. Marsh, Cambridge, 1996.
- Genette 1969: Genette, G.* Figures III. Paris, Seuil, 1969.
- Gilbert 1982: Gilbert, S. M.* Costumes of the Mind: Transvestism as Metaphor in Modern Literature, – In: Writing and Social Difference (Elizabeth Abel ed.), Chicago, 1982.
- Golburt 2014: Golburt, L.* The First Epoch. The Eighteenth Century and the Russian Cultural Imagination. Wisconsin, Wisconsin Univ. Press, 2014.
- Gooch 1966: Gooch, G. P.* Catherine the Great and Other Studies. Archon Books, Connecticut, 1966.
- Göpfert 1996a: Göpfert, F.* Katharina-Lesebuch: Literarishes aus der Feder der russischen Zarin Katharina II. Hrsg Fr. Göpfert. Wilhelmhorst, F. K. Göpfert, 1996.
- Göpfert 1996b: Göpfert, F.* Katharina II. Eine russische Schriftstellerin. Hrsg Fr. Göpfert Wilhelmhorst, F. K. Göpfert, 1996.
- Göpfert, Fainshtein 1998: Göpfert, F., M. Fainshtein.* Hrsg. Предстательницы муз: русские поэтессы XVIII века. Wilhelmhorst, 1998.
- Göpfert, Fainshtein 1999: Göpfert F., M. Fainshtein.* Hrsgs. Мы благодарны любезной сочинительнице..., Fichtenwalde, 1999.
- Gorbatov 2006: Gorbatov, I.* Catherine the Great and the French Philosophers of the Enlightenment. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot and Grimm. Bethesda, Academica Press, 2006.
- Granderoute 1985: Granderoute, R.* Le roman pédagogique de Fénelon à Rousseau. Genève, 1985.
- Gretchanaia 2004: Gretchanaia, E.* Les écrits autobiographiques des femmes russes du 18e siècle rédigés en français. – In: Dix-huitième siècle № 36/2004 (Femmes des Lumières), 131–154.
- Greenleaf 2004: Greenleaf, M.* Performing Autobiography: The Multiple Memoirs of Catherine the Great (1756–1796). – The Russian Review 63 (July 2004), 407–426.
- Griffiths 1973: Griffiths, D. M.* Catherine II: The Republican Empress. – In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 21/1973, 323–344.
- Griffiths 1982: Griffiths, D. M.* Castera-Tooke: The first western biographers of Catherine II. – In: Study Group Eighteenth-Century Russia Newsletter, 10/1982, 50–62.

- Griffiths 1988*: **Griffiths, D. M.** To Live Forever: Catherine II, Voltaire and the Pursuit of Immortality. – In: Russia and the World of the Eighteenth Century. Eds R. Bartlett et al. Columbus, OH, Slavica, 1988, 446–468.
- Grimm 1878*: **Grimm, F.-M.** Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, Etc. Notices, notes, table générale par Maurice Tourneux. Paris, Garnier frères, 1878.
- Grimm 2010*: **Grimm, F.-M.** Correspondance littéraire. T. 4. 1757. Edition critique par Ulla Kölving. Centre International d'étude du XVIII siècle, Ferney-Voltaire, 2010.
- Grodek 2000*: **Grodek, E.** éd. Ecriture de la ruse, Rodopi, Amsterdam, 2000.
- Gukovskij 1972*: **Gukovskij, G.** The Empress as Writer. – In: M. Raeff, Ed. Catherine The Great. A Profile, New York, 1972, 64–89.
- Gusdorf 1956*: **Gusdorf, G.** Conditions et limites d'autobiographie. In: Formen der Selbstdarstellung. Anketen zu einer Geschichte des literarischen Selbstportraits. Festgabe für Fritz Neubert, Berlin, Dunker & Humbold, 1956, 105–123.
- Gusdorf 1975*: **Gusdorf, G.** De l'autobiographie initiale à l'autobiographie genre littéraire. – RHLF, 1975, N 6, 957–994.
- Hammarberg 1991*: **Hammarberg, G.** From the Idyll to the Novel: Karamzin's Sentimentalist Prose. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1991.
- Hammarberg 1994*: **Hammarberg, G.** The Feminine Chronotope and Sentimentalist Canon Formation, in: Literature, Lives and Legality in Catherine Russia, A. G. Cross and G. S. Smith (eds). Nottingham, 1994, 103–120.
- Hammarberg 2002*: **Hammarberg, G.** Gender Ambivalence and Genre Anomalies in Late 18th – Early 19th-Century Russian Literature. – In: Russian Literature, LII (I/II/III), Amsterdam, 2002, 229–326.
- Hartmann 1998*: **Hartmann, P.** Le contrat et la séduction. Essai sur le subjectivité amoureuse dans le roman des Lumières. Paris, Honoré-Champion, 1998.
- Heldt 1987*: **Heldt, B.** Terrible Perfection. Women and Russian Literature. Indiana, 1987.
- HFO 1991*: **Histoire** des femmes en Occident. T. 3, XVI–XVIII siècles; t. 4, XIX siècle. Sous la dir. de Nathalie Zemon Davis et Arlette Farge, Roma, 1991.
- Histoire... 1987*: **Histoire de la vie privée.** Sous la dir. de Ph. Ariès et G. Duby, T. 3–4. Paris, 1985–1987.
- Herold 1998*: **Herold, K.** Russian Autobiographical Literature in French: Recovering a Memoristic Tradition (1770–1830). A dissertation... for the PhD degree, University of California, Los Angeles, 1998.
- Hipp 1976*: **Hipp, M.-T.** Mythes et réalités. Enquête sur le roman et les mémoires. 1600–1700. Paris. Klincksieck, 1976.

- Hoogenboom 1998: Hoogenboom, H.* Wladimir Karénine and her Biography of George Sand: One Russian Woman Writer Responds to Sand. Le siècle de George Sand (David A. Powel ed.), Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1998, 225–235.
- Hoogenboom&Cruse 2006: Hoogenboom, H. & M. Cruse.* Catherine the Great and Her Several Memoirs. – In: Memoirs of Catherine the Great. A new translation by Mark Cruse and Hilde Hogenboom. New York, Modern Library, 2006, pp. IX–LXIX.
- Hughes 2007: Hughes, L.* The Funerals of the Russian Emperors and Empresses. – In: Monarchy and Religion. Ed. By M. Schaich. Oxford, Oxford Univ. Press, 2007, 395–420.
- Ivleva 2015: Ivleva, V.* Catherine II as Female Ruler: The Power of Enlightened Womanhood. – In: Вивлююйка: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies, Vol. 3 (2015), 22–46.
- Jamerai Duval 1784: Jamerai Duval, V.* Œuvres de Valentin Jamerai Duval, précédées par les mémoires de sa vie. St Petersburg-Strasbourg. T. 1–2. 1784.
- Jimack 1979: Jimack, P. D.* The Paradox of Sophie and Julie: Contemporary Response to Rousseau’s ideal wife and ideal mother. – In: Woman and society in XVIII century France. London, 1979, 152–165.
- Jimack 1991: Jimack, P. D.* Some 18–century imitations of Rousseau’s Emile. – SVEC, 1991, N 284, Oxford, Voltaire Foundation, 83–105.
- Johnson 1978: Johnson, N. R.* Louis XIV and the Age of Enlightenment: the Myth of the Sun King from 1715 to 1789. Oxford, Voltaire Foundation, 1978 (SVEC CLXXII).
- Jones 1973: Jones, R. E.* The Emancipation of the Russian Nobility. Princeton, Princeton University Press, 1973.
- Kahn 2002–2003: Kahn, A.* „Блаженство не в лучах порфира...“. Histoire et fonction de la tranquillité (spokoistvie) dans la pensée et la poésie russes du XVIII siècle, de Kantemir au sentimentalisme. – In: Revue des études Slaves. Tome 74, Fasc. 4 Le sentimentalisme russe. Paris, 2002–2003, 669–688.
- Kahn 2002–2003: Kahn, A.* Readings of Imperial Rome from Lomonosov to Pushkin. – In: Slavic Review, Vol. 52, No. 4 (Winter, 1993), 745–768.
- Kapp 1982: Kapp, V.* Télémaque de Fénelon. La signification d’une oeuvre littéraire à la fin du siècle classique. Tubingen–Paris, 1982.
- Katharina II. in ihren Memoiren 1972: Katharina II.* in ihren Memoiren. Einleitung und Nachwort von Hedwig Fleischhacker. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1972.
- Kaus 1935: Kaus, G.* Katharina die Grosse, 1935.

- Kavanagh 1993*: **Kavanagh, T.** Enlightenment and the Shadow of Chance. The Novel and the Culture of Gambling in Eighteenth-Century France. Baltimore&London, John Hopkins Univ. Press, 1993.
- Kegan Gardiner 1982*: **Kegan Gardiner, J.** On Female Identity and Writing by Women, in: Writing and Sexual Difference, Writing and Sexual Difference (Elizabeth Abel ed.). Chicago, 1982.
- Kelly 1994*: **Kelly, C.** A History of Russian Women's Writing 1820–1992. Oxford, 1994.
- Kibedi Varga 1977*: **Kibedi Varga, A.** Romans d'amour, romans de femmes, à l'époque classique. – Revues des sciences humaines, T. 44, 1977, N 168 (Écriture, féminité, féminisme).
- Konstantinovic 1989*: **Konstantinovič, I.** Montaigne et Plutarque. Genève, Droz, 1989.
- Kristeva 1984*: **Kristeva, J.** My Memory Hyperbole. – In: The Female Autograph, New York Literary Forum, 12–13, New York, 1984, 261–276.
- Lafon 1992*: **Lafon, H.** Les décors et les choses dans le roman français du 18 siècle de Prevost à Sade (SVEC, 297). Oxford, Voltaire Foundation, 1992.
- Lafon 1997*: **Lafon, H.** Espaces romanesques du XVIII siècle. 1670–1820. De Madame de Villedieu à Nodier. Paris, Presses Universitaires de France, 1997.
- Lancer 1992*: **Lancer, S.** Fictions of Authority. Womens Writers and Narrative Voice. Ithaca & London, 1992.
- Larivière 1895*: **Larivière, Ch. de.** Catherine II et la Révolution française. Paris, Soudier, 1895.
- Le Blond 1912*: **Le Blond, A.** Charlotte Sophie, Countess Bentinck. Her Life and Times, 1715–1800 Vol. I–II. London, 1912. – на: [https://archive.org/stream/charlottesophie01lebliala/charlottesophie01lebliala\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/charlottesophie01lebliala/charlottesophie01lebliala_djvu.txt) 6.11.2013.
- Leborgne 1997*: **Leborgne, E.** Roman, in: Dictionnaire européen des Lumières. Paris, PUF, 1997.
- Lecarme, Lecarme-Tabone 1997*: **Lecarme, J., E. Lecarme-Tabone.** L'autobiographie. Paris, Armand Colin, 1997.
- Lejeune 1971*: **Lejeune, Ph.** L'autobiographie en France. Paris, 1971.
- Lejeune 1975*: **Lejeune, Ph.** Le pacte autobiographique. Paris, 1975.
- Lejeune 1978*: **Lejeune, Ph.** Je est un autre. Paris, 1978.
- Lejeune 1984*: **Lejeune, Ph.** Women and Autobiography at Autor's Expense. – The Female Autograph, New York Literary Forum, 12–13, New York, 1984, 247–260.

- Lenglet-Dufresnoy 1970*: **Lenglet-Dufresnoy, N.-A.** De l'usage des romans, où l'on fait voir leur utilité et leurs différents caractères. T. 1–2. Reimpression de l'édition de Paris, 1734. Slatkine Reprints, Genève, 1970.
- Leonard 1976*: **Leonard, C. S.** A Study of the Reign of Peter III of Russia. PhD Dissertation, 1976.
- Leonard 1993a*: **Leonard, C.** The Reputation of Peter III. – In: Russian Review. Vol. 47 N 3 (July 1993), 263–292.
- Leonard 1993b*: **Leonard, C.** Reforms and Regicide. The Reign of Peter III of Russia. Blomington, Indiana University Press, 1993.
- Lestringant 2002*: **Lestringant, F.** Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la genèse à Jules Verne. Genève, Droz, 2002.
- Levitt 2009*: **Levitt, M.** Early Modern Russian Letters: Texts and Contexts. Boston, Academic Studies Press, 2009.
- Levitt 2011*: **Levitt, M.** The Visual dominant in Eighteenth-Century Russia. NIU Press De Kalb, 2011.
- Lobytzyna 1998*: **Lobytzyna, M.** Schandyism in The Context of Russian Memoirs, 1760–1790. – Study Group of Eighteenth-Century Russia Newsletter, 1998, N 26, 13–17.
- Lortholary 1951*: **Lortholary, A.** Les Philosophes du 18 siècle et la Russie. Le mirage russe en France au XVIII siècle. Paris, 1951.
- Madame d'Épinay 1996*: **Madame d'Épinay.** Les Conversations d'Emilie. Texte présenté par R. Davison, SVEC. T. 342. Oxford, Voltaire Foundation, 1996.
- Madame Riccoboni 1976*: **Madame Riccoboni's letters** to David Hume, David Garrick and sir Robert Liston. 1764–1783. Ed. J. C. Nicholls. SVEC. Vol. 149. Oxford: Voltaire Foundation, 1976.
- Madame Riccoboni 1979*: **Madame Riccoboni.** Lettres de Mistriss Fanni Butlerd. Intr. et notes par J.H.Stewart, Genève, Librairie Droz, 1979.
- Madame Roland 1990*: **Roland de la Palatière, J.-M.** An Appeal to Impartial Posterity. 1795. Oxford–New York, Woodstock Book, 1990.
- Madariaga 1981*: **Madariaga, I. de.** Russia in the Age of Catherine the Great. London, 1981.
- Madariaga 1990*: **Madariaga, I. de.** Catherine the Great. A Short History. New Haven/London, 1990.
- Marana 1742*: **Marana, J.-P.** L'Espion Turc dans les Cours des Princes Chrétiens... A Londres, Aux dépens de la Compagnie, 1742.
- Margairaz 1997*: **Margairaz, D.** Luxe. – In: Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997, 662–665.

- Marker2007*: **Marker, G.** Imperial Saint: The Cult of St Catherine and the Dawn of Female Rule in Russia. Northern Illinois Univ. Press, De Kalb, 2007.
- Marmontel 1994*: **Marmontel, J.-F.** Bélisaire. Edition établie, présentée et annotée par R. Granderoute, Paris, 1994.
- Marsden Gillis 1979*: **Marsden Gillis, Ch.** Private room and public space: the paradox of form in Clarissa. – In: SVEC, 1979, 176, Oxford, Voltaire Foundation, 153–168.
- Martin 2013*: **Martin, A.** Enlightened Metropolis. Constructing Imperial Moscow, 1762–1855. Oxford, Oxford University Press, 2013.
- Mauzi 1960*: **Mauzi, R.** L'Idée du bonheur au XVIII siècle. Paris, Armand Colin, 1960.
- May 1963*: **May, G.** Le dilemme du roman au XVIII siècle. Étude sur les rapports du roman et de la critique (1715–1761), New Haven–Paris, Yale University Press–Presses universitaires de France, 1963.
- May 1978*: **May, G.** Autobiography and the Eighteenth Century. – In: The Autor in His Work. Essays on a problem in criticism Ed. by Louis L. Marz and A. Williams, intr. by Patricia Meyer Spaaks. New Haven and London, Yale Univ. Press, 1978.
- May 1979*: **May, G.** L'autobiographie. Paris, PUF, 1979.
- McBurney 2014*: **McBurney, Erin.** Art and power in the reign of Catherine the Great: The state portraits. New York, Columbia University, Department of History, 2014.
- Mc Niven 1973*: **Mc Niven Hine, E.** The Woman question in early eighteenth-century French literature: the influence of François Poulain de la Barre. – Studies on Voltaire & Eighteenth Century, 1973, N 116, Oxford, Voltaire Foundation, 65–79.
- Menant 2004*: **Menant, S.** Des Goncourt au 21<sup>e</sup> siècle: mythes et réalités. – In: Dixhuitième siècle № 36/2004 (Femmes des Lumières), 7–13.
- Mervaud 1985*: **Mervaud, C.** Voltaire et Frédéric II: une dramaturgie des Lumières. 1736–1778. Oxford, Voltaire Foundation 1985. (SVEC 234).
- Mervaud Ch.&Mervaud M. 2001*: **Mervaud, Ch., Mervaud, M.** Le Pierre le Grand et la Russie de Voltaire: histoire ou mirage. – In: Le Mirage russe au XVIII siècle. Textes publiés par S. Karp et L. Wolff. Centre international d'étude du XVIII siècle. Fernay-Voltaire, 2001, 11–35.
- Meyer Spaaks 1976*: **Meyer Spaaks, P.** Imagining a Self: Autobiography and Novel in Eighteenth-Century England, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1976.

- Miller 1991*: **Miller, N. K.** Getting personal: feminist occasions and other autobiographical acts. 1991.
- Miller 1995*: **Miller, N. K.** French Dressing. Women, Men, and Ancien Régime Fiction. New York–London, Routledge, 1995.
- Misch 1949–1969*: **Misch, G.** Geschichte der Autobiographie, Frankfurt, 1949–1969.
- Modern... 1978*: **Modern Language Notes**, 1978, N 4, 5.
- Mohrenschild 1972*: **Mohrenschildt, D. S. von.** Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. Reprinted. New York, Octagon books, 1972.
- Montesquieu 1951*: **Montesquieu, Ch.-L.** Esprit des Lois. – In: Montesquieu, Ch.-L. Œuvres complètes. T. 7. Paris, 1951.
- Montesquieu 2000*: **Montesquieu, Ch.-L.** Reflexions sur la monarchie universelle. Introduction et notes par M. Poret. Geneve, Droz, 2000.
- Moracci 1996*: **Moracci, G.** Catherine II's comedies of 1772 as an illustration of her policy of that time. – В: Международная конференция „Екатерина Великая: эпоха российской истории. Тезисы докладов“. Санкт-Петербург, 26–29 августа 1996 г. СПб., 1996, 148–149.
- Moracci 2002a*: **Moracci, G.** К изучению комедий Екатерины II. Проблема авторства – In: Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter. 2002, No. 30, December, 12–17.
- Moracci 2002b*: **Moracci, G.** „Более труда нежели смеха“. Письмо Екатерины II Льву Александровичу Нарышкину. – В: Russian Literature, LI (I/II/III), 2002, Amsterdam, 243–249.
- Moracci 2007*: **Moracci, G.** Performing History: Catherine II's Historical Dramas. – In: Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Wittenberg 2004. Berlin, LitVerlag, 2007, 121–130.
- Mortier 2000a*: **Mortier, R.** Les reflexions sur le bonheur dans les écrits de Diderot pour Catherine II. – In: Mortier, R. Les combats des Lumières. Centre International d'Étude du 18 siècle Fernay-Voltaire, 2000, 183–193.
- Mortier 2000b*: **Mortier, R.** Les ambiguïtés du machiavelisme au XVIII siècle français. – In: Mortier, R. Les combats des Lumières. Centre International d'Étude du 18 siècle Fernay-Voltaire, 2000, 344–353.
- Nicholls 1976*: **Nicholls, J. C.** Introduction. – In: Madame Riccoboni's letters to David Hume, David Garrick and sir Robert Liston. 1764–1783. Ed. J.C. Nicholls. Studies on Voltaire & Eighteenth Century. Vol. 149. Oxford, Voltaire Foundation, 1976.
- Oehler 1997*: **Oehler, D.** Autobiographie. In: Dictionnaire européen des Lumières. Paris, PUF, 1997, 119–127.

- Oldenbourg 1966*: **Oldenbourg, Z.** Femme et souveraine. – In: Catherine de Russie. Coll. Génies et réalités. Paris, Hachette, 1966, 169–187.
- Olney 1980*: **Olney, J. ed.** Autobiography. Essays Theoretical and Critical. Princeton, Princeton Univ. Press, 1980.
- Parker 1981*: **Parker, A.** Louise d'Épinay's account of female epistemology and sexual politics. – French Review, 1981, N 60, 43–51.
- Partridge 1958*: **Partridge, M.** Alexander Herzen and the English Press. – The Slavonic and East European Review, vol. XXXVI, 1958, N 87, 453–470.
- Pascal 1960*: **Pascal, R.** Design and Truth in Autobiography. Cambridge, 1960.
- Pénisson 1996*: **Penisson, P.** L'imaginaire européen de Johann Gottfried Herder. – In: Philologiques IV. Transferts culturels triangulaires France-Allemagne-Russie. Ed. par K. Dmitrieva et M. Espagne. Paris, MSH, 1996, 141–155.
- Piau-Gillot 1984*: **Piau-Gillot, C.** L'écriture féminine? A propos de Marie-Jeanne Riccoboni. – Dix-huitième siècle, 1984, N 16, 369–386.
- Piau-Gillot 1997*: **Piau-Gillot, C.** Femmes de lettres et féminisme. – In: Dictionnaire européen des Lumières. Paris, PUF, 1997.
- Piau-Gillot 1999*: **Piau-Gillot, C.** L'„Histoire de Miss Jenny“: entre réalité et la fiction. – In: Riccoboni, M-J. Histoire de Miss Jenny, Paris, Indigo&Côté-femmes éditions, 1999.
- Plavinskaïa 2003*: **Plavinskaïa, N.** Catherine II et le grand-duc Alexandre Pavlovitch: l'institution du prince russe au siècle des Lumières. – In: L'Institution du prince au XVIII siècle. Actes du VIII colloque franco-italien des sociétés française et italienne d'étude du XVIII siècle (Grenoble, octobre 1999), édités par G. Luciani et C. Volpillac-Augier, Centre International d'Etude du XVIII siècle Ferney-Voltaire, 2003, 175–180.
- Poirier 1992*: **Poirier, R.** Le thème du mariage (ou ménage) à trois dans oeuvre et la vie de Saint Lambert. – In: Transactions of VIII Intern. Congress of the Enlightenment. T. 3 (Voltaire Foundation, SVEC, N 305). Bristol 1991, Oxford, 1992, 1716–1718.
- Pomerleau 1980*: **Pomerleau, C.** The Emergence of Women's Autobiography in England. – In: Women's Autobiography (Estelle Jelinek ed.) Blomington, 1980, 21–38.
- Poulain de la Barre 1984*: **Poulain de la Barre, Fr.** De l'égalité des deux sexes. Paris, Fayard, 1984.
- Prince de Ligne 1809*: **Oeuvres choisies, littéraires, historiques et militaires du maréchal Prince de Ligne.** T. 1. Genève, 1809.
- Prince de Ligne 1990*: **Prince de Ligne, Ch.-J.** Portrait de feu. Sa majesté Impériale de toutes les Russies (Catherine II). – In: De Ligne, Ch.-J. Mes écarts. Choix établi par R. Mortier. Ed. Labor, Bruxelles, 1990.



- Prince de Ligne 2001*: **Prince de Ligne, Ch.-J.** Fragments de l'histoire de ma vie. T. 1–2. Établ. du texte, introd. et notes par Jeroom Vercreyusse. Paris, Honoré-Champion, 2001.
- Pulcini 1998*: **Pulcini, E.** Amour-passion et amour conjugal. Rousseau et l'origine d'un conflit moderne. Paris, Honoré Champion, 1998.
- Raeff 1972*: **Raeff, M.** Catherine The Great. A Profi le (Mark Raeff ed.), New York, 1972.
- Rambaud 1874*: **Rambaud, A.** L' Impératrice Catherine II dans sa famille d'apres des documents recemment publiés en Russie. – In: Revue des Deux Mondes. T. 1. 1874, 567–622.
- Ransel 1975*: **Ransel, D. L.** The Politics of Catherinian Russia. The Panin Party. New Haven & London, Yale University Press, 1975.
- Ransel 1978*: **Ransel, D. L.** ed. The Famyly in Imperal Russia. Urbana, Ill., 1978.
- Rasmussen 1978*: **Rasmussen, K.** Catherine II and the Image of Peter III. – In: Slavic Review. Vol. 37. N 1 (Mar., 1978), 51–69).
- Reissner 1963*: **Reissner, E.** Alexander Herzen in Deutschland. Academie-Verlag–Berlin, 1963.
- RHLF 1975*: **Revue d' histoire littéraire de la France**, 1975, N 6.
- RHLF 1977*: **Revue des sciences humaines**, T. 64, N 168, 1977 (Écriture, féminité, féminisme).
- Riazanovsky 1985*: **Razanovsky, N.** The image of Peter the Great in Russian History and Thought. New York–Oxford, Oxford UniversityPress, 1985.
- Rossllyn 2000*: **Rossllyn, W.** Making their Way into Print: Poems by Eighteenth-century Russian Women. – South and East European Review, Vol. 78, N 3, July 2000, 407–438.
- Rossllyn 2003*: **Rossllyn, W.** ed. Women and Gender in 18-th century Russia (Women and Gender in the Early Modern World), Aldershot, Ashgate Publishing, 2003.
- Russian Literature 1976*: **Russian Literature in the Age of Catherine the Great.** A collection of essays. Oxford: Willem A. Meeuws, 1976.
- Russland 1998*: **Russland** zur Zeit Katharinas II. Absolutismus – Aufklärung – Pragmatismus, Köln–Weimar–Wien), Bohlau Vg 1998 (Beitrage zur Geschichte Osteneuropas, Bd. 26).
- Sainte-Beuve 1884*: **Sainte-Beuve, C.-A.** Mémoires de l'Impératrice Catherine II écrits par elle-même. – In: Sainte-Beuve, C.-A. Nouveaux lundis. T. 2, VI éd., Paris, Calman-Lévy, 1884, 178–226.
- Scharf 1996*: **Scharf, Cl.** Katharina II., Deutschland und die Deutschen, Mainz, Philipp von Zabern, 1996.

- Schlobach 1997: Schlobach, J.* Correspondance littéraire. – In: Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997, 274–277.
- Schlobach 1997: Schlobach, J.* Correspondance littéraire. – In: Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997, 274–277.
- Schwartz 1984: Schwartz, L. F. M.* Grimm and the Eighteenth-Century Debate on Women. – *The French Review*, Vol. LVIII, N 2, December 1984, 236–243.
- Schwartz 1989: Schwartz, L.* Madame d’Epinay’s „Emilie“: a woman’s answer to Rousseau’s „Emile“. – In: SVEC. T. 264. Oxford, Voltaire Foundation, 1989 (Transactions of The VII International Congress of the Enlightenment, t. 2), 722–723.
- Sermain 1985: Sermain, J.-P.* Rhétorique et roman au XVIII siècle. Prévost. Marivaux. – In: *Studies on Voltaire & Eighteenth Century*, N 233, Oxford, Voltaire Foundation, 1985.
- Showalter 1985: Showalter, E.* ed. *The New Feminist Criticism*. New York, Panteon, 1985.
- Shumaker 1954: Shumaker, W.* *English Autobiography*, 1954.
- Simmons 1980: Simmons, S.* Héroïne ou fi garante? La femme dans le roman du XVIII siècle en France. – In: *Studies on Voltaire & Eighteenth Century*, N 193 (Transactions of the V Congress on the Enlightenment, t. IV), Oxford, Voltaire Foundation, 1980, 1918–1924.
- Smith 1987: Smith, S.* *A Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the Fiction of Self-Representation*. Blomington, 1987.
- Spengemann 1980: Spengemann, W.* *The Forms of Autobiography: Episodes in the History of a Literary Genre*. New Haven, 1980.
- Stanton 1984: Stanton, D.* Autogynography: Is the Subject Different? – In: *The Female Autograph*, New York Literary Forum, 12–13, New York, 1984, 5–22.
- Starobinski 1970: Starobinski, J.* Le style d’ autobiographie. – *Poétique*, 1970, N 3, 257–265.
- Stelling-Michaud 1973: Stelling-Michaud, S.* Herzen et Thomas Carlyle. – In: *Autour d’Alexandre Herzen*. Geneve, Droz, 1973, 325–329.
- Stewart 1979: Stewart, J.* Introduction. – In: *Madame Riccoboni. Lettres de Mistriss Fanni Butlerd*. Intr. et notes par J.H.Stewart, Genève, Librairie Droz, 1979.
- Stewart 1993: Stewart, J. H.* *Gynographs. French Novels by Women of the late Eighteenth Century*, Lincoln, Londres, University of Nebraska Press, 1993.
- Stites 1978: Stites, R.* *The Women’s Liberation Movement in Russia. 1860–1930*. Princeton, Princeton University Press, 1978.

- Stroev 2004*: **Stroev, A.** Les amazones des Lumières. – In: Dix-huitième siècle № 36/2004 (Femmes des Lumières), 29–47.
- Stroev 2006*: **Stroev, A.** L'impératrice et le patriarche. – In: Voltaire – Catherine II. Correspondance 1763–1778. Texte présenté et annoté par Al. Stroev. Paris, Non lieu, 2006.
- Tanner 1979*: **Tanner, T.** Adultery in the Novel: Contract and Transgression. Baltimore, John Hopkins University Press, 1979.
- Tax Choldin 1985*: **Tax Choldin, M.** A Fence Around the Empire. Russian Censorship of Western Ideas under the Tsars. Duke University Press, Durham, 1985.
- The Autor in... 1978*: **The Autor in His Work.** Essays on a problem in criticism Ed. by Louis L. Marz and A. Williams, intr. by Patricia Meyer Spacks, New Haven and London, Yale Univ. Press, 1978.
- The Femal Autograph 1984*: **The Femal Autograph.** (New York Literary Forum, 12–13), New York, 1984.
- The Times 1859: **The Times**, Friday, January 7, 1859. Catherine Of Russia. – In: <http://www.newspapers.com/newspage/33061019/>.
- Thibodet 1936*: **Thibodet, A.** Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours. Paris, Stock, 1936.
- Thyrêt 2001*: **Thyrêt, I.** Between God and Tsar: Religious symbolism and the Royal Women of Muscovite Russia. De Kalb, 2001.
- Thomas 1989*: **Thomas, Ch.** La Reine scélérate. Marie-Antoinette dans les pamphlets. Paris, Seul, 1989.
- Thomas 1986*: **Thomas, Ruth P.** „... et je puis dire que je suis mon ouvrage“: Female Survivors in the Eighteenth-Century French Novel. The French Review, Vol. 60, N 1, October 1986, 7–19.
- Tosi 2002/03*: **Tosi, A.** L'amazone russe: les traits subversifs d'une héroïne sentimentale. Revue des études Slaves, T. 74, Fasc. 4 (Le sentimentalisme russe). Paris 2002–2003, 819–834.
- Van Crugten-André 1997*: **van Crugten-André, V.** Le roman du libertinage. 1782–1815. Redécouverte et réhabilitation. Paris, Honoré-Champion, 1997.
- Van Djik 1998*: **van Djik, S.** George Sand et les mouvements d'émancipation féminine: lectures étrangères. In: Le siècle de George Sand (David A. Powel ed.), Amsterdam–Atlanta, Rodopi, 1998, 131–145.
- Van Djik 2000*: **van Djik, S.** Les mal marié(e)s: narration et 'gender'. – In: Ecriture de la ruse. Textes édités par E. Grodek. Amsterdam–Atlanta, Rodopi, 2000, 98–100.

- Vatcheva 2002*: **Vatcheva, A.** Les „Mémoires“ de Catherine la Grande: entre féminité et la masculinité narratives. – In: Féminités et masculinités dans le texte narratif avant 1800. La question du „gender“. Actes du XIV colloque de la SATOR (Amsterdam/Leyde, 2000). Éd. par S. van Dijk et M. van Strien-Chardonneau, Louvain, Peeters, 2002, 73–86.
- Viatnikova-Prizel 1978*: **Viatnikova-Prizel, Z.** Russian Memoir Literature: Critical Analysis and Bibliography, East Lansing, 1978.
- Voltaire 1768*: **Voltaire, F.** Histoire de Charles XII, roi de Suède, divisée en huit livres, avec l'Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand, en deux parties divisées par chapitres. Genève, Cramer, 1768.
- Voltaire 1965*: **Voltaire.** Correspondance. Vol. 2. 1739–1748. Texte établi et annoté par T. Besterman, Paris, 1965.
- Voltaire 1996*: **Voltaire.** Oeuvres complètes. Anti-Machiavel. Vol. 19. Oxford, 1996.
- Von Sybel 1880*: **von Sybel, H.** Katharina II. von Russland. in: Kleine historische Schriften, Bd. 1, Stuttgart, 1880.
- Vowels 1994*: **Vowels, J.** The „Feminisation“ of Russian Literature: Women, Language and Literature in 18-century Russia. – In: Women Writers in Russian Literature (ed. By Toby W. Climan, and Diana Green). London, 1994, 35–60.
- Vroon 2014*: **Vroon, R.** Poetry Speaks to Power: Panegyric Responses to Peter III, Catherine II and the Coup d'état of 1762. – In: Russian Literature LXXV (2014), 563–590.
- Waegemans 2010*: **Waegemans, Em.** De filosofe op de troon. Het literaire werk van Catherina II van Rusland. Antwerpen, Benerus, 2010.
- Whittaker 2003*: **Whittaker, C. H.** Russian Monarchy. Eighteenth-Century Rulers and Writers in Political Dialogue. De Kalb., Northern Illinois University Press, 2003.
- Wilberger 1976*: **Wilberger, C.** Voltaire's Russia: A Window on the East. Oxford, Voltaire Foundation, 1976 (Studies on Voltaire & Eighteenth Century 137).
- Women's... 1980*: **Women's Autobiography** (Estelle Jelinek ed.) Blomington, 1980.
- Women... 2003*: **Women and Gender** in 18–th century Russia. Ed. W. Rosslin (Women and Gender in the Early Modern World). Aldershot, Ashgate Publishing, 2003.
- Women... 1998*: **Women and Russian Culture**: projections and self-perceptions. Ed. by Rosalind Marsh. Oxford–New York, Berghahn Books, 1998.

*Women's Writing... 1986: **Women's Writing**: a challenge to theory* (Maira Monteith ed.). Brighon, Harvester Press, 1986.

*Wortman 1978: **Wortman, R.** The Russian Empress as Mother, in: The Family in Imperial Russia. Ed. By D. L. Ransel. Urbana, Illinois, 1978, 60–76.*

*Wormster-Migot 1966: **Wormster-Migot, O.** Impératrice de la publicité. – In: Catherine de Russie. Coll. Génies et rédlités. Paris, Hachette, 1966, 203–227.*

*Writing... 1982: **Writing and Sexual Difference** (Elizabeth Abel ed.). Chicago, 1982.*

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН<sup>1</sup>

- Абеляр – 237  
Аверинцев, С. С. – 313, 460–462, 499, 548  
Август (Октавиан Август) – 340, 343  
Августин, св. – 49  
Автухович, Т. Е. – 118  
Агесилай – 115  
Адлерберг – 607  
Адодуров, В. – 218  
Адольф-Фридрих, шведский кронпринц – 116  
Айзеншток, И. – 616  
Акимова, Т. И. – 20, 311, 351, 440, 451, 498  
Аксаков, шут – 521  
Аксаков, И. С. – 582  
Алеگزандр, Дж. – см. Alexander, J.  
Александр Великий, Александр Македонский – 329, 340, 342, 370  
Александр I, Александр Павлович, император – 81, 145, 191, 202, 221, 274, 276, 285, 293, 330, 334, 342, 343, 387, 391, 470, 560, 585, 605, 615  
Александр II, император – 571, 575, 579, 585, 596, 599–602, 612, 613  
Александр III, император – 581, 588, 597, 600  
Александра Федоровна, императрица, супруга Николая I – 596, 601  
Алексеев, В. – 338  
Алексеева, М. А. – 413  
Алексеева, Н. Ю. – 318, 505  
Алексей Михайлович – 342, 394, 395, 407, 413, 548  
Алексей Петрович, царевич, сын Петра I – 340, 353, 407, 476, 512, 595  
Алябьева, Л. – 621  
Амвросий Юшкевич, архиепископ Новгородский – 406  
Амвросий Зертис-Каменский, епископ Московский – 533  
Амио (Amyot), Ж. – 111, 317, 326  
Анисимов, Е. В. – 23, 26, 156, 221, 229, 233, 234, 342, 410, 507, 520, 528, 543, 548, 549

---

<sup>1</sup> В указатель не вошли имена Екатерины II (Софии-Августы-Фредерики, принцессы Ангальт-Цербстской, в православии Екатерины Алексеевны) и Петра III (Карла-Петра-Фридриха, в православии Петра Федоровича) по причине их частого упоминания в тексте.

- Анна Иоанновна, императрица, до восхождения на престол герцогиня Курляндская – 42, 94, 168, 319, 369, 474, 488, 508, 521, 592
- Анна Лепольдовна (Брауншвейгская), регентша – 157, 221, 474, 592
- Анна Петровна, великая княжна, герцогиня Голштейн-Готторпская, дочь Петра I и Екатерины I, сестра Елизаветы Петровны и мать Петра III – 488
- Анна Петровна, великая княжна, дочь Екатерины II – 221
- Анакреон – 318
- Анри (Генрих) IV – 110, 116, 270, 504
- Антонин Пий – 345
- Антонины, императорская фамилия в Древнем Риме – 345
- Апраксина, А. Л. – 486
- Арайя, Ф. – 154
- Ариосто, Л. – 111
- Аристид – 115
- Аристотель – 30, 113, 318, 372, 418, 419
- Арним, см. г-жа Арним
- Арсеньев, К. – 571
- Артемяева, Т. В. – 332, 336, 337
- Архангельский, А. С. – 18
- Афанасьев, А. Н. – 589
- Афанасий Петрович, самозванец – 595
- Баер, С., см. Baehr, S.
- Бакуляр д'Арно – 100
- Балк, придворная дама, в замужестве за А. П. Сумароковым – 471
- Барклай – 95
- Барониус (Бароний), Ц. – 110, 343
- Барр, отец – 110, 116, 117
- Барсков, Я. Л. – 22–24, 33, 41, 42, 44, 303, 422, 436, 445, 577
- Бартенев, П. И. – 24, 261, 262, 433, 572, 578, 589
- Батулин, А. – 293, 480, 481, 530, 531
- Бахтин, М. М. – 95, 273
- Безбородко, А. А. – 579
- Бейль, П., см. Bayle
- Бекетов, Н. – 511, 538
- Бекингхемшир, Дж., английский посол – 150
- Белинский, В. Г. – 614, 616

- Бельзэнс, Э., в замужестве графиня де Бюэй – 190–192  
Бенкендорф – 583, 607  
Бентинк, Ш., графиня – 128, 194–198  
Бенуа, А. Н. – 362  
Берг(х)ольц – 466, 467  
Бернарден де Сен-Пьер – 78  
Берни, граф, австрийский дипломат – 494  
Бестужев-Рюмин, А. П., граф, канцлер – 36, 79, 84, 124, 134, 139, 144, 161, 264–268, 271, 402, 441, 442, 463, 465, 494, 513, 515, 516, 530, 531, 532  
Бецкой, И. И. – 525, 551, 552, 579  
Бибиков, А. И. – 434  
Билинкис, М. – 55  
Билиштейн, барон – 78  
Бильбасов, В. А. – 18, 44, 104, 111, 115, 117, 123, 404, 406, 407, 568, 580, 581, 590  
Бирон, Екатерина Ивановна, см. принцесса Курляндская  
Бирон, И.-Е., фаворит Анны Иоанновны – 42, 168, 483, 592  
Бицилли, П. И. – 576  
Благой, Д. Д. – 332  
Блудов, Д. Н., граф – 46, 571, 581  
Бобринский, А. Г., побочный сын Екатерины II – 238, 349  
Болотов, А. Т. – 61, 462, 477  
Большаген – 132  
Бомарше П. О. – 78  
Боссюэ – 115  
Боткин – 614  
Брагоне, М.-К. – 101  
Брантом (Brantôme) – 110, 116, 117  
Бретлах, австрийский посол – 519  
Брикнер, А. Г. – 18, 502, 567, 568, 590  
Брокдорф – 290, 495  
Бронте, Ш. – 64  
Брут – 115, 372, 560, 583  
Брюль, граф, саксонский министр – 407  
Брюммер, воспитатель Петра III – 164, 465–468  
Брюс, Е., см. Bruss, E.  
Брюс (ур. Румянцева), П. А., графиня – 36, 37, 41, 42, 45, 69, 163, 277, 311, 399, 404, 408, 414, 425, 465, 482, 560, 581



- Брюс, Я. А., граф – 41  
Буало, Н. – 95, 97  
Булгарин, Ф. В. – 614, 618  
Бургав, д-р – 178, 179  
Бурдые, П. – 208, 567  
Бьелке, см. г-жа Бьелке  
Былинин, В. К. – 23, 107, 108
- Вагеманс, Эм., см. Waegemans, Em.  
Валишевский, К. – 17, 21, 75, 76, 104, 111, 112, 115–117, 155, 156, 261, 262  
Валуев, П. А. – 583  
Вальденберг, В. Е. – 355  
Ван Дюрен – 357, 367, 368, 377  
Введенский, А. – 18, 32  
Вебер, Марк – 428  
Веселовский, И. – 467  
Вигасин, А. – 238  
Вигель, Ф. Ф. – 586  
Виктория, королева – 604  
Виланд – 237  
Вильбуа, А. – 560  
Вильгельм I, король Вюртембергский – 391  
Виниус, А. – 319  
Виргилий – 318, 388, 420  
Виртемберг (Вюртемберг), принцове – 609  
Владимир Александрович, великий князь, дядя Николая II – 588  
Владимир Мономах – 83, 377, 379  
Владимир Святославич – 403  
Владиславова, П., придворная дама – 211, 219, 222, 225, 443–445, 475, 483, 486, 488, 489, 537  
Вовчок, М. – 595  
Воланд, С. – 372  
Волков, Д. В. – 463, 495, 543  
Волочков, С. С. – 319, 343  
Вольперт, Л. И. – 618  
Вольтер, Ф.-М., см. Voltaire  
Воронцов, М. И., граф, канцлер – 441, 486, 495, 532  
Воронцов, М. С., граф – 570

- Воронцов, Р. И., граф – 258, 495  
Воронцова, А. К., графиня, ур. Скавронская, супруга М. И. Воронцова – 486  
Воронцова, Ек. Р., см. Дашкова, Е. Р.  
Воронцова, Ел. Р., фаворитка Петра III – 168, 169, 495, 500, 517  
Воронцовы – 463, 513  
Вул(ь)ф, В., см. Ульф, В.  
Вульф, Л. – 165, 205, 217, 306  
Вяземский, П. А., князь, писатель – 582, 583, 587
- Гаврилов, А. К. – 340, 341, 343, 351  
Гагарина, княжна, придворная дама – 151, 257  
Гакстгаузен, прусский посол – 516, 517  
Галиани, аббат – 188, 371  
Гамильтон – 92  
Ган, Е. – 614  
Гаррик, Д. – 239, 242  
Гассе – 342  
Гезиод – 318  
Гельвеций – 72  
Генрих IV, см. Анри IV  
Георгий Армато́л – 342  
Гепферт, Ф., см. Göpfert, F.  
Гервег, Г. – 619  
Гердер – 71, 165  
Геродот – 205  
Герцен, А. И. – 22–25, 31, 36, 44, 45, 233, 263, 311, 567, 569, 571–577, 581–584, 587–595, 597–611, 614, 617, 619–621  
Герцен, Н. А. – 619  
Гете, И.-В. – 192, 236  
Гийераг – 268, 270  
Глебов, А. И., генерал-прокурор Сената – 463, 527  
Глебов, С. – 319  
Глинка, С. Н. – 587  
Глинский, Б. Б. – 82  
Гоголь, Н. В. – 576  
Голеневский – 411  
Голицын, А. М. – 560  
Головина, В. Н. – 56, 117, 477

- Головкина, графиня – 440  
Гольбах, барон, энциклопедист – 239  
Гольмер – 494  
Гомер – 28, 318, 388, 419  
Гончаров, Д. Н. – 570  
Гончаров, И. А. – 614, 616  
Гораций – 318  
Горницкая, Л. И. – 229  
Горчаков, А. М. – 601  
Г-жа Арним – 198, 199, 201, 202  
Г-жа Бьелке – 203, 308, 384, 525, 578  
Г-жа Гомес – 92  
Г-жа д'Эпине (Madame d'Épinay) – 82, 103, 109, 188–193, 195  
Г-жа д'Удто – 619  
Г-жа де Жанлис – 190  
Г-жа де Лафайет – 104, 111, 171, 268  
Г-жа де Ментенон – 240  
Г-жа де Севинье (Mme de Sévigné) – 69, 104, 105, 114, 240, 294  
Г-жа де Сталь – 102  
Г-жа де Тенсин – 92  
Г-жа де Шатле – 619  
Г-жа Жоффрен – 308, 525, 578  
Г-жа Котен – 235  
Г-жа Лепренс де Бомон – 190  
Г-жа Риккобони (Mme Riccoboni, Marie-Jeanne) – 29, 103, 122, 172, 186, 233, 235–244, 246, 247, 251–254, 258–261, 269–271, 298  
Готтшед – 128  
Греч, Н. И. – 294, 295, 594, 605, 614  
Гречаная, Е. П. – 55, 451  
Грибовский, А., секретарь Екатерины II – 326, 526, 527  
Гринлиф, М., см. Greenleaf, M.  
Гримм, А.-Т. Фон – 600, 601, 605  
Гримм, Ф.-М., см. Grimm, F.-M.  
Гриффитс (Griffiths), Д. – 81, 125, 309, 326, 330, 485, 560, 561, 587  
Грот, Н. П. – 71  
Грот, Я. К. – 578  
Гудович, адъютант Петра III – 501  
Гуковский, Г. А. – 18, 431, 435

- Густав III, шведский король – 304, 560  
Густав Ваза – 345  
Гуськов, Н. А. – 355, 356, 382  
Гууч, Дж. П., см. Gooch, G. P.  
Гюбиева, Г. Е. – 55, 58, 59  
Гюлленборг (Гюлленборг, Gyllenborg), Х.-А., граф – 38, 136–140, 142–146, 326, 375, 402, 408, 419, 468, 470  
Гюсдорф, Ж., см. GUSDORF, G.
- Д'Аламбер – 81, 138, 434, 470, 553, 560  
Д'Аржанс – 92  
Даллио – 342  
Данилевский, Гр. – 622  
Дасье, А. см. Dacier, André  
Дашкова (ур. Воронцова), Е. Р., кн. – 34, 45, 86, 117, 364, 372, 381, 423, 448, 462, 477, 495, 579, 587, 589, 591, 599, 610, 621  
Де Боарне, Ф. – 102  
Д'Еон, кавалер – 78  
Декарт, Р. – 137  
Де Лафон, С. – 241  
Делиль де Саль – 318  
Де Линь, (De Ligne) принц, военачальник, писатель, мемуарист, см. Ligne  
Делон, М., см. Delon, M.  
Демаи, А., см. Démau, A.  
Де Ман, П. – 50, 64  
Де Монпансье, герцогиня – 451  
Де Муи – 92  
Денер, Б., художник – 127  
Денин, аббат – 74, 354, 562  
Денисова, М. П. – 403  
Державин, Г. Р. – 19, 46, 86, 152, 155, 276, 331, 353, 450, 523, 580  
Дестуниус, С. – 319  
Джакоубс, М. – 118  
Дидро, Д., см. Diderot, D.  
Диккенс, Ч. – 64  
Диксон, С., см. Dixon, S.  
Дмитриев, И. И. – 422, 618  
Дмитриев, С. С. – 48

Д'Обиньяк, Ф. – 230

Д-р Циммерман – 108, 185, 308, 578

Долгорукая (Долгорукова), А. С., княжна – 212, 213

Долгорукая, Е. (княгиня Юрьевская), морганатическая супруга Александра II – 597

Долгорукая (Долгорукова), Н. Б., ур. Шереметьева, княгиня, мемуаристка – 31, 48, 55

Долгоруков, П. В., князь – 572

Домашнев, С. С. – 434, 502

Домашнева, Анна – 539, 540, 542

Достоевский, М. М. – 614

Достоевский, Ф. М. – 614

Дружинин, А. В. – 614, 615

Дрыжакова, Е. Н. – 619

Дубин, Б. – 66

Дубровский, С., см. Doubrovsky, S.

Дурова, Н. А. – 56, 123, 135, 192, 615

Дюкло – 100

Д'Юрфе, О. – 111, 230, 240

Евреинов, Т. – 444, 471

Евстратов, А. Г. – 20, 424, 445, 486

Екатерина I (Марта Скавронская), императрица, супруга Петра I и мать Елизаветы Петровны – 156, 204, 395, 403, 410, 411, 413, 417, 476, 502, 505, 506, 548, 591

Екатерина Алексеевна, сестра Петра I – 394, 395

Екатерина Павловна, великая княжна, в замужестве королева Вюртембергская – 391, 392

Елагин, И. П. – 92, 430

Елена Павловна, великая княгиня – 570

Елизабет, принцеса Ангальт-Цербстская, сестра Екатерины II – 127

Елизаветина, Г. Г. – 22, 55, 57, 59, 589–591

Елизавета Петровна, императрица – 35, 36, 79–81, 84, 85, 87, 123, 124, 126, 127, 130, 134, 142, 147, 154–158, 164, 177, 183, 184, 196, 197, 199, 203, 204, 207, 213, 215–218, 221, 225, 226, 263–266, 271, 284, 288, 292, 313, 315, 335, 342, 343, 347, 351, 353, 368, 369, 393, 397, 404, 407, 408, 410, 413, 415, 418, 438–441, 445, 448, 452, 453, 455, 462, 464, 465, 473, 474, 476–478, 485, 486, 488, 494–496, 502–517, 519–525, 527–532, 536–540, 542–551, 554, 561, 569, 570, 587, 592, 612

- Елизавета Алексеевна, императрица, супруга Александра I – 570  
Елисеева, О. И. – 21, 311  
Ефимовская, графиня – 519  
Ефремов, П. А. – 589
- Жан-Поль – 237  
Жанна д'Арк (Иоанна д'Арк) – 616  
Желвакова, И. А. – 588, 590  
Жеребцова, О. А., сестра П. А. Зубова – 587  
Женетт, Ж., см. Genette, G. Живов, В. М. – 19, 20, 323, 424, 430–432, 533–536, 541  
Жоли, М. – 373  
Жукова, М., писательница – 614  
Жукова, М. П., придворная – 437, 438, 471, 472  
Жуковский, В. А. – 343, 392, 576
- Заборов, П. Р. – 369  
Завадовский, П., фаворит – 354  
Загряжская, ур. Разумовская, Н. К. – 587  
Закирова, Е. Х. – 617  
Занович, Ст. – 78  
Зелов, Д. Д. – 341, 548  
Земскова, Е. – 185  
Зимин, И. – 547  
Зорин, А. Л. – 20, 87, 204, 205, 217, 343, 385, 389, 393, 402  
Зубов, П. А., фаворит – 587  
Зыбелин, С. Г. – 434
- Ибнеева, Г. В. – 21, 533  
Иван Антонович, император – 221, 592  
Иван Грозный – 584  
Иванов, О. А. – 20, 33, 39, 45, 46, 311, 570, 572, 583–585, 610  
Ивинский, А. Д. – 20, 351, 361, 363, 364, 382, 401, 437, 448  
Измайлова – 225, 440  
Илчева, Р. – 83, 395, 555, 557, 558, 561  
Иоанна, папесса – 76  
Иоганна-Елизавета, принцесса Ангальт-Цербстская (ур. принцесса Голштейн-Готторпская), мать Екатерины II – 116, 121, 127, 128, 130, 131, 144, 407

- Иосиф II, австрийский император – 304, 560  
Искандер, псевдоним А. И. Герцена, см. Герцен, А. И.  
Истомин, Карион – 395
- Кавелин, К. Д. – 582, 601  
Кагарлицкий, Ю. В. – 479, 480  
Казанова, Дж. – 78  
Казот – 96  
Каин, придворная дама – 536  
Кайлюс – 112  
Калиостро, Жозеф Бальзамо, граф де, авантюрист – 78  
Калугин, Д. – 498  
Каменский, А. Б. – 20, 26, 83  
Канторович (Kantorowitz), Э. – 307, 414, 415, 461, 507  
Капнист-Скалон, С. В. – 56  
Карамзин, Н. М. – 98, 192, 230, 231, 334, 422, 570, 583, 584, 587  
Кардель, Ел. (Бабет), гувернантка Екатерины II – 136, 350, 399, 468, 469, 470  
Каренин, Вл., см. Комарова-Стасова  
Карл III, испанский король – 304  
Карл XII, шведский король, военачальник – 311, 326, 362, 380, 563  
Карл-Фридрих, герцог Голштинский, отец Петра III – 290, 496  
Карлейл, Т. – 573  
Карп, С. Я. – 238, 239, 241, 304, 578  
Каррер д'Анкосс (Carrer d'Encosse), Э. – 20, 485, 505  
Кастера – 462, 587  
Катков, М. – 582  
Катон – 113, 281, 583  
Каус (Kaus), Г. – 21, 76, 122, 123, 127, 129  
Кафанова О. Б. – 611, 614, 616  
Каченовский – 538  
Кашкин, А. – 471  
Келли, К., см. Kelly, С.  
Кибеди-Варга, А., см. Kibedi-Varga, A. – 172, 173, 188  
Кирова, М. – 392  
Кислова, Е. И. – 411  
Клейн, И. – 19, 20, 424  
Клейнмихель, П., министр – 607

- Ключевский, В. О. – 18, 57, 106, 133, 326, 590  
Кнабе, Г. С. – 327  
Княжнин, Я. Б. – 19, 106, 334  
Княжнина (ур. Сумарокова), Е. А. – 106  
Кобеко, Д. – 111  
Кобенцель, австрийский посол – 209  
Козачинский, М. – 351  
Козицкий, Г. В. – 430  
Козмин, С. М. – 434  
Козодавлев, О. П. – 435  
Комаров, М. – 230  
Комарова-Стасова, В. Д. (Владимир Каренин) – 616, 617  
Комлев, Н. Г. – 383  
Константин Великий – 113  
Константин Павлович, великий князь, внук Екатерины II – 82, 145, 202, 221, 276, 285, 293, 385  
Копанев, Н. А. – 99, 238, 240, 319, 343, 357  
Корвенский, принц-епископ – 132  
Корнелий Непот – 110, 318  
Корнель, П. – 111  
Корнилович, О. – 25, 33, 36, 38  
Кост, П. – 327  
Костина, Е. Л. – 445  
Кочеткова, Н. Д. – 353  
Кочубей – 582  
Кошелева, придворная – 446, 519  
Кребийон – 92, 100  
Крез – 318  
Кристина (Христина), шведская королева – 137  
Кросс, А., см. Cross, А. – 20, 71, 274  
Крузаз – 101  
Крузе (придв. дама) – 440, 478, 486, 487, 539  
Крузе, М., см. Cruse, М.  
Крузиус, академик – 411  
Кръстева, Д. – 154, 351, 364, 369, 451, 490, 551, 622  
Крылов, И. А. – 362, 618  
Крючкова, М. А. – 20, 33, 35, 45, 46, 73, 84, 183, 234, 258, 261, 262, 267, 268, 303, 310, 311, 365, 469, 488, 559, 560, 570



- Ксенофон – 318  
Куайе, аббат – 230  
Куле А., см. Coulet, Н.  
Куракин, А. Б., князь, приближенный Павла I – 569  
Куракина, Е. С. – 495  
Курганов, Н. – 343  
Курляндская, принцесса (Е. И. Бирон, дочь И.-Э. Бирона и супруга барона А. И. Черкасова) – 42, 168, 169, 321, 475, 483, 592  
Курциус, Е. Р. – 30
- Лабзина, А. Е., мемуаристка – 48  
Лабрюйер – 101, 115, 326  
Лавров, А. С. – 535, 541, 542  
Лагарп – 470  
Ла Калпренед, см. La Calprenède – 104  
Ламберти – 133, 537  
Ландэ – 467  
Ланской, А. В., фаворит – 185  
Ланской, Л. С. – 573, 581  
Ларнак, Ж. – 104  
Ларош, С. – 237  
Ла Соль – 100  
Лафон А., см. Lafon Н. – 217, 228, 229, 233, 243, 286  
Ла Шетарди, маркиз де, французский посол – 512, 513, 592  
Левашов, сержант – 478  
Левин, Ю. Д. – 239  
Левитан, И. И. – 582  
Левитт (Levitt), М. – 20, 85, 86, 182, 184, 185, 305, 308, 423, 491, 534, 537, 568  
Левицкий, Д. Г., художник – 322  
Лежен, Ф., см. Lejeune, Ph.  
Лейбниц – 324  
Лемке, М. – 572  
Ленгле-Дюфреноа, см. Lenglet-Dufresnoy, N. – 99, 100  
Ленин, В. И. – 604  
Лентин, Э. – 304  
Леопольд II – 304  
Лермонтов, М. Ю. – 614, 618

- Лессаж – 92  
Лесток – 151, 522, 592  
Лесюэр – 115  
Ливен, Д. Х., графиня – 391  
Лиланд, Т. – 573, 575, 597, 599  
Листон, Р. (Liston, R.) – 243  
Лиштенан (Liechtenhan), Ф.-Д. – 368, 369, 491  
Лобыцина, М., см. Lobysyna, M. – 274–276, 280  
Локатели – 212  
Ломоносов, М. В. – 97, 323, 324, 343, 369, 411, 502, 504–506, 543  
Лонгинов, М. – 318  
Лопухина, Евдокия, первая жена Петра I – 156  
Лопухина, М. Т. – 437  
Лопухина, Н. Ф. – 155, 156  
Лопухины – 156  
Лортолари, А., см. Lortholary, A.  
Лотман, Ю. М. – 47, 188, 329, 334  
Луве де Кувре (Louvét de Couvray) – 166  
Людовик (Луи) XIII, французский король – 543  
Людовик (Луи) XIV, французский король – 116, 240, 358, 380, 524  
Людовик (Луи) XV, французский король – 376, 441  
Людовик (Луи) XVI, французский король – 167  
Луиза-Ульрика, прусская принцесса – 139  
Луций Коммод, римский император, сын Марка Аврелия – 345, 353  
Л'Эрмит, Т. – 230
- Мабли – 331, 334, 335, 563  
Мадариага, И. де (Madariaga, I. de) – 20, 111, 127, 135, 187, 355, 361, 370, 560, 594  
Мадмуазель де Скюдери – 230  
Мадмуазель Люссан – 92  
Мадонис – 342  
Майков, В. И. – 502  
Мальро, А. – 64  
Маккартни, английский посол – 272  
Макиавелли, Н. – 72, 116, 314, 345, 349, 353–359, 362, 363, 366, 367, 369–376, 378–382, 488, 543, 562  
Мамаева, О. В. – 20, 55, 311, 326

- Марана, Дж.-П. – 113, 240, 419  
Марасинова, Е. Н. – 498, 522  
Маргарита де Валуа – 451  
Мардефельд, прусский посол – 406, 407  
Марианна, принцесса Брауншвейг-Бевернская – 132, 161  
Мариво, П. – 92, 100, 187, 235  
Мариенгоф, А. – 590  
Мария, тайная дочь, приписываемая Екатерине II, воспитывавшаяся в семье В. Шкурина, см. Павла – 262  
Мария-Антуанетта, французская королева – 71, 167  
Мария Александровна, императрица, супруга Александра II – 575, 596, 600–605, 608  
Мария Павловна, великая княгиня – 588  
Мария Терезия, императрица Священной Римской империи – 304, 568  
Мария Федоровна (София-Доротея Вюртембергская), императрица, супруга Павла I и мать Александра I и Николая I – 385, 388, 570, 605  
Марк Аврелий Антонин – 182, 184, 185, 316, 340–353, 379, 494, 554, 562–564  
Маркер, Г. см. Marker, G.  
Мармонтель, см. Marmontel  
Марта Скавронская, см. Екатерина I  
Мартин (Martin), Ал. – 454, 455  
Мартурель, Ж. – 111–113  
Массон, Ш. – 81, 117, 362, 587  
Медведев, Сильвестр – 395  
Медичи, К. – 504  
Мезин, С. – 340, 369, 380  
Мейбуа, граф – 242  
Мейстер – 103, 238  
Мельгунов, А. – 463  
Меншиков, А. Д. – 592  
Мерво, К., см. Mervaud, С.  
Мерво, М., см. Mervaud, М.  
Мерси д'Аржанто, австрийский посол – 479  
Мерсье де ла Ривиер – 331  
Мессалина – 233  
Мещеринов, И. – 438  
Миних, обер-гофмейстер – 116

- Миних, фельдмаршал – 592  
Мирович – 622  
Михаил Павлович, великий князь, брат Александра I и Николая I – 570, 605  
Михаил Федорович, царь – 548  
Михайлов, А. В. – 313, 320  
Михайлов, М. Л. – 620  
Михайлов, О. Н. – 23, 264  
Мишле (Michelet), Ж. – 595  
Мози, Р., см. Mauzi, R.  
Мольер – 111, 115, 441  
Монс, В. – 156  
Монтень, М. – 111, 281, 326, 327  
Монтескье, Ш.-Л., см. Montesquieu  
Мораччи, Дж., см. Moracci, G.  
Морозов, Д. – 557  
Мэ, Ж., см., May, G.
- Нани – 115  
Нагалья Алексеевна (Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская) великая княгиня, первая супруга Павла Петровича – 385  
Нарышкин, А. В. – 430  
Нарышкин, Л. А. – 210, 211, 255, 257, 258, 263, 448, 449, 463, 545, 559, 593  
Нарышкин, С. – 502  
Нарышкина, А. Н. – 210, 211, 225  
Нарышкина, М. П. – 519  
Нарышкины – 434, 435, 477  
Некрасов, Н. А. – 620  
Нессельроде, министр – 607  
Никитенко, А. В. – 198, 573–576, 583, 605, 613  
Никифорова, Л. В. – 223, 229, 472  
Николаи, немецкий писатель – 111, 192  
Николай I, император – 24, 46, 567, 569–571, 573, 575, 583, 586, 596, 597, 600, 601, 602, 605, 607, 610  
Николай II, император – 588, 597  
Николай Александрович, престолонаследник, сын Александра II – 600, 601  
Николина, Н. А. – 55, 440

Николс, Дж., см. Nicholls, J.

Новиков, Н. И. – 19, 336, 434, 439, 588

Овидий – 113, 115, 318

Огарев, Н. П. – 23, 24, 572, 577, 588, 594, 607

Одесский, М. П. – 23, 107, 108

Ойлер, Д, см. Oehler, D.

Олни, Дж., см. Olney, J.

Орлов, А. Г. – 39, 45, 46, 570, 579

Орлов, Г. Г., фаворит – 111, 238, 349, 430, 560

Островский, А. Н. – 618

Павел I, Павел Петрович, император, сын Екатерины II – 39, 45, 48, 71, 72, 80–82, 120, 128, 219, 221, 238, 258, 280, 294, 295, 341, 353, 361, 362, 420, 470, 477, 482, 502, 517, 537, 554, 558, 569, 570, 584, 586, 593–598, 605

Павла, инокиня, см. Мария

Павленко, Н. И. – 20, 213

Павлова, Ж. К. – 111, 238

Павлова, А. – 547

Панаев, И. – 614, 620

Панаева, А. – 620

Панин, В. Н., граф, министр – 582

Панин, Н. И., граф, воспитатель Павла Петровича, государственный деятель – 39, 81, 363, 465, 560, 570

Панин, Н. П., граф – 570

Панин, П. И. генерал – 560, 570

Панченко, А. М. – 388

Паперно, И. – 594, 611, 620, 621

Партридж (Partridge), М. – 573

Пекарский, П. – 48

Песне, А., художник – 127

Пенская, Е. Н. – 587, 622

Перефикс – 110, 116, 270, 504

Перро, Ш. – 82

Паскал, Р., см. Pascal, R. – 49, 63

Песталоцци – 190

Петров, А. – 411, 413

- Петров, В., поэт – 204, 331
- Петр I, Петр Великий – 28, 58, 79, 106, 154, 156, 205, 221, 290, 291, 305, 306, 310, 311, 315, 316, 321, 323–326, 332, 340, 341, 343, 353, 362, 363, 366, 368, 369, 379–382, 384, 387, 393, 394, 402, 406, 410, 411, 413, 416, 417, 443, 450, 454, 468, 473–476, 478, 484, 495, 496, 500–502, 504, 505, 507, 508, 512, 517, 523, 528, 534, 536, 538, 540–544, 547, 559, 561, 563, 564, 578, 579, 584, 591, 592, 607, 608
- Петр II, император – 592
- Пехлин – 493, 531
- Пикуль, Вл. – 21, 590
- Пиндар – 28
- Писарев, С. – 319
- Писаренко, К. В. – 116, 437, 438, 543
- Писемский, Д. – 614
- Плавинская, см. Plavinskaïa, N.
- Плавт – 383
- Платон – 110, 316, 318, 337, 418, 419
- Плутарх – 110, 115, 140, 144, 315–321, 326–332, 334–336, 338–340, 342, 343, 372, 419, 460–462, 499, 503, 548, 562
- Погодин, М. П. – 572, 601
- Половцов, А. – 552
- Полоцкий, Симеон – 154, 318, 395
- Понятовский, С.-А., граф, король Польши, фаворит Екатерины II – 35, 36, 41, 120, 124, 137, 149, 150, 151, 168, 169, 210, 211, 225, 261, 266–269, 308, 399, 404, 448, 463, 475, 476, 482, 516, 593, 598
- Попи – 367, 376, 377
- Порошин, С., переводчик – 92
- Потемкин, Г. А., фаворит и государственный деятель – 21, 35, 39, 187, 204, 263, 363, 402, 403, 578, 579, 622
- Прево, аббат, писатель – 92, 100, 110, 111, 166, 235, 240
- Прийма, Ф. Я. – 369
- Приказчикова, Е. Е. – 20, 55, 94, 96, 97, 311, 318–321, 326
- Прокопович, М. – 238
- Проскурин, О. А. – 315
- Проскурина, В. А. – 20, 87, 109, 196, 212, 213, 339, 351, 364, 380, 381, 385, 389, 393, 448, 450, 505, 506, 522, 523, 551
- Пугачев, Ем. – 589
- Пуговишников – 516

- Пулен де ла Барр, см. Poulain de la Barre, Fr.  
Путятин, И. – 403  
Пушкарева, Н. Л. – 55, 611  
Пушкин, А. С. – 315, 362, 570, 583, 584, 587, 588, 594, 615  
Пушкина, Н. Н. – 570  
Пчелов, Е. В. – 385, 394  
Пыпин, А. Н., академик – 18, 21, 23, 25, 33, 35, 42, 48, 404, 433, 577, 609, 620
- Рабле, Ф. – 111  
Радищев, А. Н. – 334, 403, 435, 456, 554, 556, 557, 574, 589  
Раев, М, см. Raeff, M. – 18  
Разумовская, см. Загряжская, Н. К.  
Разумовский, А. Г., морганатический супруг Елисаветы Петровны – 440, 514, 537, 587  
Разумовский, К. Г., последний гетман Украины, брат А. Разумовского, отец Н. К. Загряжской – 587  
Райан, В. (Rian, W) – 535, 540, 542  
Рак, В. Д. – 236  
Рамбо, А., см. Rambaud, A.  
Расин, Ж. – 96, 98, 100, 111  
Растрелли, К.-Б. – 341, 554, 558  
Растрелли, Ф.-Б. – 554  
Рахматуллин, М. – 581  
Рейналь (Reynal), аббат – 331  
Рейтблат, А. Л. – 93  
Репнин князь, военачальник – 289, 447  
Репнина, княжна – 519  
Репнины – 438  
Риккобони (Riccoboni), А.-Ф. – 235  
Риккобони, Л. (Riccoboni, L.) – 235  
Риккобони (Riccoboni), М.-Ж., см. г-жа Риккобони  
Римский-Корсаков, Н. А., композитор – 588  
Ринальди, А., архитектор – 228  
Ричардсон, С. – 100, 102, 111, 122, 186, 235, 236, 240  
Ришелье, кардинал – 543  
Ровинский, Д. А. – 413, 548  
Роговин, С. – 347  
Роже, Ф. – 72, 73, 84

- Роллен, Ш. – 331, 332  
Романович-Славатинский, А. – 495  
Романовы – 385, 394, 395, 501, 506, 555, 593, 594, 597, 598  
Рондо, лейди Джейн – 543  
Ростовский, Д. св. – 417–422, 536  
Ростовцев – 582  
Ростопчин, Ф. В., граф – 45, 570  
Ростопчина, Е. – 614  
Румянцев (Румянцев-Задунайский), П. А., князь, военачальник – 41, 579  
Румянцева, М., графиня, мать П. А. Румянцева и П. А. Брюс – 196, 453, 471, 472, 486, 536  
Рускони, К., скульптор – 554  
Руссо Ж.-Ж. – 29, 41, 49, 53, 54, 79, 82, 96, 103, 111, 115, 132, 172, 174, 176, 186, 188, 189, 197, 202, 220, 236, 237, 240, 273, 296, 303, 306, 316, 320, 331, 451, 470, 509, 563, 619  
Рылеев, К. Ф. – 606  
Рюльер, К.-К. – 117, 149–151, 462, 587  
Рюрик – 19, 109, 351, 448, 468  
Рюриковичи – 385, 394
- Сабурова, Т. А. – 587  
Савельева, М. Ю. – 21, 321, 323, 325, 499, 501  
Савкина, И. Л. – 20, 52, 55, 56, 69, 88, 105, 108, 209, 311, 503, 611, 614  
Сазонова, Л. И. – 383, 395  
Сакромозо – 128, 226  
Саллюстий – 318  
Салтыков, С. В., фаворит – 44, 47, 224, 226, 227, 229, 231, 233–235, 247, 245, 247, 249, 251, 252, 254–258, 260–268, 271, 282, 298, 446, 559, 593, 594, 598  
Салтыков, Н. И., граф, воспитатель великих князей Александра и Константина – 82, 285, 470  
Самарин – 572, 582  
Самборский, О. – 334  
Санд (Sand), Ж. – 190, 614–619  
Сахаров, Вс. – 155  
Светлов, Л. Б. – 24  
Свифт, Дж. – 240  
Сегюр, Л.-Ф., граф, французский посол, мемуарист – 209, 210, 546



- Сейте, Я. – 92  
Семевский, М. М. – 589  
Семенников, В. П. – 334  
Семенов, В. А. – 273  
Сенак де Мейян – 550  
Сен-Жермен, граф де – 78  
Сен-Ламбер – 619  
Сенявин – 545  
Сенявина (ур. Нарышкина) – 225, 545  
Сент-Бев, Ш.-А., см. Sainte-Beuve, Ch.-A.  
Серафимова, М. – 236  
Сервантес, М. де – 111, 112, 240  
Сергий Радонежский, св. – 535, 536  
Симеон (Симон) Тодорский (Теодорский), духовник Екатерины II – 219, 411, 487, 490, 541  
Сиповский, В. В. – 92  
Скавронские – 477  
Скоробогатов, А. В. – 82  
Скороходова, Анна, придворная – 471  
Скороходова, придворная, в замужестве за А. Кашкиным – 471  
Скотт, В. – 235  
Смилянская, Е. Б. – 21, 535  
Смирнова-Россет, А. О. – 610  
Соколова, А. И. – 322, 553  
Соколова, Т. А. – 155  
Соловьев, С. М. – 18, 221, 351, 502, 508, 509, 568, 590  
Солон – 318, 332  
Сорель – 102  
София-Доротея Вюртембергская, см. Мария Федоровна  
Спенгеман, см. Spengemann, W.  
Спринкер, М. – 66  
Стайтс, Р., см. Stites, R.  
Старобинский, Ж. – 50  
Стасов, В. В. – 616  
Стасова, Н. В. – 617  
Сташек, А. – 573  
Стегний, П. – 382  
Стендаль – 235  
Стенник, Ю. В. – 100

- Степанов, А. В. – 596  
Стерн (Sterne), Л. – 29, 111, 272–280, 282–287, 289, 290, 293, 294, 295, 298  
Строганов, А. С., граф – 456  
Строев, А. Ф. – 21, 78, 79, 109, 553, 554  
Струбе де Пирмонт – 354  
Суворин, А. С. – 23  
Суворов, А. В. – 329, 362, 579  
Сумароков, А. П. – 39, 93–95, 97–100, 106–108, 334, 423, 441, 453, 471, 502  
Сутерланд, банкир – 546, 547  
Сципион Африканский – 340
- Талеман (Тальман, Talleman), П. – 91, 94, 230  
Тамарченко, Н. Д. – 30  
Тамерлан – 560  
Танцини, аббат – 356  
Тараканова, княжна – самозванка – 78, 622  
Тартаковский, А. Г. – 46, 48, 55–59, 569, 570  
Тацит – 110, 275, 318, 326, 372  
Тереза, св. – 51  
Тит, римский император – 155, 342, 344, 350, 351  
Тит Ливий – 371  
Титов, В. П. – 601  
Тишкин, Г. – 611  
Ткаченко, Ю. – 63, 66  
Тодоров, Цв. – 50  
Толстой, Л. Н. – 45, 615, 616, 619  
Тома, А. – 343, 353  
Топоров, В. Н. – 91, 92, 94, 95, 98  
Трачевский, А. – 73, 74  
Траян, римский император – 344  
Тредиаковский, В. К. – 91, 94, 97, 99, 100, 229, 319, 332, 334, 430, 431  
Труайя, А. – 21, 193  
Трубникова, М. – 621  
Трюбнер – 575, 597, 598  
Тураев, С. – 492  
Тургенев, А. И. – 266, 343, 570, 587  
Тургенев, А. М. – 264, 266  
Тургенев, И. С. – 582, 583, 614  
Туробойский, И. – 355, 356

Туук, см. Tooke

Тучкова-Огарева, Н. А. – 24, 573, 576, 577, 578, 583, 594, 609, 620

Тюмель – 111

Тютчев, Ф. И. – 603

Тютчева (Аксакова), А. Ф. – 602, 603, 605, 606, 608

Ульф, В. – 221

Уолпол, Х., см. Walpole, Н.

Уортман, Р. (Wortman, R.) – 16, 20, 82, 87, 145, 155, 204, 322, 331, 343, 351,  
364, 389, 393, 505, 506, 551, 579, 580, 585, 586, 596, 597, 600–602

Уиттакер, Ц., см. Whittaker, С. Н.

Фавье, Ж.-Л., французский дипломат и мемуарист – 511, 528, 529

Фаизова, И. В. – 495

Файнштейн (Fainstein), М. – 106, 614

Фальконе (Falconet), Э. – 308, 552–555, 558–560, 564, 578

Фатеева, А. В. – 20, 310–312, 316, 326, 380, 460

Федорова, В. И. – 238

Федорченко, В. – 42

Федюкин, И. – 357, 416

Фенелон, Фр., вж Fénelon F.

Фердинанд Брауншвейгский, принц – 400, 401

Филипп Македонский – 340

Фильдинг – 111, 237

Финкенштейн, К., прусский посол – 528

Фитц-Герберт, австрийский посол – 209

Флейшман, см. Fleishman

Флери – 101

Флоренский, П. О. – 396–399

Фонвизин, Д. И. – 39, 101, 107, 343, 353, 448, 588

Фон Зибель, Х. (von Siebel, Н.) – 573

Фонтенель, см. Fontenelle

Фошри, П., см. Fauchery, Р.

Франковский, А. – 278, 286

Фреде, В., см. Frede, V.

Фридрих II Великий (Friedrich der Grosse; Frédéric II), король Пруссии –  
73, 74, 161, 291, 304, 331, 344, 345, 354–370, 372, 373, 375–377, 379,  
380, 382, 400, 401, 463, 479, 499, 560, 562, 568

Фридрих-Вильгельм, герцог Курляндский, супруг Анны Иоанновны – 319  
Фридрих-Вильгельм I, король Пруссии, отец Фридриха II – 74, 127, 399

Хаммарберг, Г., см. Hammarberg, G.

Херасков, М. М. – 331, 334, 336, 339, 434, 435, 502

Хитрово – 351

Хорошкевич, Я. – 357, 363

Хотеев, П. И. – 319

Храповицкий, А. В. – 90, 105, 106, 554, 571

Христиан-Август, герцог Ангальт-Цербстский, отец Екатерины II – 123,  
125, 126, 384, 404, 407

Хугенбум, Х., см. Hoogenboom, H.

Хэнбери-Уильямс, Ч. (Hanbury-Williams, Ch.), английский посол, корреспондент Екатерины II – 36, 120, 137, 213, 217, 354, 365, 494

Царевна Софья, регентша, сестра Петра I – 393–395, 402

Царь Соломон – 113, 369

Цезарь, см. Юлий Цезарь

Цейц – 492, 493

Цицерон – 30, 110, 140, 144, 316, 318, 419

Черкасов, А. И., барон – 36, 41–45, 69, 112, 120, 124, 168, 169, 277, 292,  
311, 408, 425, 426, 463, 504, 517, 560

Черкасов, П. П. – 167, 504, 508

Черкасова (Бирон), Е. И., баронесса, см. принцесса Курляндская

Чернышев, З. Г., граф, государственный деятель – 258, 261, 262, 430, 559,  
560

Чернышев, И., граф – 519

Чернышевская, О. С. – 620

Чернышевский, Н. Г. – 614, 615, 619, 621

Чернышевы – 541

Чехов, А. П. – 582

Чингиз хан – 560

Чичагов, адм. – 579

Чоглоков, Н. Н., гофмейстер – 225, 227, 230, 247, 255, 290, 446, 448, 519,  
538, 545, 559

Чоглокова, М. С., гофмейстерина – 124, 151, 178, 179, 254, 263, 268, 349,  
446, 447, 483–485, 518, 519, 536, 593

Чоглоковы – 184, 198, 226, 227, 284, 438, 444–446, 483, 519

Чулков, М. Д. – 105, 618

Шапп д'Отрош (Chappe d'Auteroche) – 433, 485

Шаркова, И. С. – 357–359, 363

Шарлотта Вольфенбютельская, принцесса, супруга царевича Алексея Петровича – 407

Шартье, Р. – 92

Шарф (Scharf), К. – 20, 84, 111, 126–128, 131, 137, 175, 196, 197, 304, 306, 307, 312, 354, 360, 366, 439, 469, 492, 568, 569

Шарышкин, Д. М. – 435, 436

Шафирова, М. – 546

Шафтсбери – 73

Швидковский, Дм. – 228, 229

Шекспир – 109, 111

Шельгунов, Н. – 620

Шельгунова, Л. – 620

Шенк, придворная дама – 471, 472

Шенкер, А. – 454, 554, 555, 557

Шереметьев, граф – 477

Шереметьева, Н. кн., см. Долгорукая, Н. Б.

Шеридан, Р. – 111

Шетарди де ла, маркиз, французский посол, см. Ла Шетарди

Шилов, Л. – 238

Шишкин, И. – 92

Шкловский, В. Б. – 93, 94

Шкурин, В. – 264, 351

Шлобах, И., см. Schlobach, J.

Шмурло, Е. Ф. – 340, 362, 363, 369, 379, 380

Шодерло де Лакло – 96, 172, 187, 236, 244, 268

Штелин, Я. – 342, 411, 462, 466–469, 473, 479, 488, 492, 517, 527

Штеллнер, Ф. – 161

Шуазель (Choiseul), Э.-Ф. – министр иностранных дел Франции 554

Шувалов, А. И. граф, гофмаршал великокняжеского двора, начальник Тайной канцелярии – 441, 530, 539

Шувалов, А. П. – 32, 430, 434

Шувалов, И. И., фаворит Елизаветы Петровны – 35, 225, 369, 447, 448, 514, 531, 545

- Шувалов, П. И., граф, фельдмаршал – 85, 225, 227  
Шувалова, Е. И., графиня, супруга А. И. Шувалова – 219, 438, 440, 441, 448  
Шуваловы – 184, 219, 257, 290, 448, 513, 530, 538, 539, 551  
Шумакер, У., см. Shumaker, W.
- Щебальский, П. К. – 18, 572, 575, 576  
Щербатов, М. М., князь – 334, 495, 543, 574, 589
- Эджертон, В. – 573, 575, 598, 599  
Эйдельман, Н. Я. – 39, 584, 588–590, 595, 599, 600  
Элендсгейм – 494  
Элиас, Н. – 428, 472, 524, 525  
Эмин, Ф. А. – 91, 93, 105  
Эмин, Н. Ф. – 237  
Эриксен, В., художник – 496  
Этингер – 522
- Юлий Цезарь – 113, 331, 336, 342, 374  
Юль, Г. – 466  
Юрьевская, княгиня (Е. Долгорукова), морганатическая супруга Александра II – 596  
Юсим, М. А. – 355, 356, 369  
Юсупов, князь – 576  
Юханнисон, К. – 178–180
- Ян Собиеский – 345  
Ясинский, Варлаам – 395
- Abel, E. – 51  
Alexander, J. – 20, 77, 331, 354, 538  
Alpern Engel, B. – 611, 613, 619, 621  
Amburger, E. – 136, 138, 144, 145  
Andrew, J. – 106
- Badinter, E. – 189, 619  
Baehr, S. – 322, 323, 331, 506  
Bahner, W. – 367, 375–377

- Barker, A. – 106, 611  
Bayle, P. – 74–76, 102, 309, 331, 354, 355, 370, 418, 419, 533  
Beaujour, M. – 61  
Bergmann, H. – 367, 375–377  
Bonolas, Ph. – 141  
Bonträger, E. – 20  
Breuillard, J. – 431  
Brower, D. – 611  
Bruss, E. – 49  
Bushkovitch, P. – 340, 341
- Chappe d'Auteroche, J., см. Шапп д'Отрош  
Coirault, Y. – 54  
Conrad, P. – 286  
Cornette, J. – 472  
Coulet, H. – 270, 271  
Cragg, O. – 268  
Cross, A. – 20, 71, 272  
Cruse, M. – 21, 23, 33, 34, 36, 45, 71, 79, 80, 118, 127, 137, 138, 144, 263, 326, 460, 594
- Dacier, André – 317–319, 343  
Dacier, Anne – 343  
Davison, R. – 189, 190  
Delon, M. – 72, 73, 224  
Démay, A. – 259, 270  
Diderot, D. – 73, 100, 102, 103, 111, 117, 122, 187, 188, 238, 239, 241, 243, 309, 355, 371, 372, 427, 433, 434, 553, 560, 563  
Didier, B. – 241  
Di Salvo, M. – 533  
Dixon, S. – 20, 571, 579, 583, 586–588, 596, 616, 622  
Donnels O'Maley, L. – 20, 486  
Doubrovsky, S. – 63, 66, 67
- Fainstein, M., см. Файнштейн, М. Ш.  
Falconet, E., см. Фальконе, Э.  
Fauchery, P. – 27, 52, 64, 87, 122, 135, 150, 152, 160, 166, 171, 172, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 211, 220, 236, 283, 284, 393  
Fedyukin, см. Федюкин, И.

- Fénelon, Fr. de la Mot Salignac – 82, 94, 95, 97, 101, 111, 140–142, 145, 157,  
172, 370, 427, 429, 431  
Finkelstein, M. – 393, 402  
Fleischauer, Ch. – 356, 358, 373  
Fleishman, A. – 49, 64  
Fontenelle, B. – 115, 324  
Frede, V. – 490, 619  
Frédéric (Friedrich) II, см. Фридрих II Великий
- García-Martínez, I. – 102  
Gareth Jones, W. – 20  
Garry Harris, J. – 55  
Genette, G. – 50, 64, 65  
Gheith, J. – 106, 611  
Golburt, L. – 587  
Gooch, G. P. – 20, 273, 360, 423  
Göpfert, F. – 20, 106  
Granderoute, R. – 433  
Greenleaf, M. – 33, 36, 44, 45, 116, 213, 270, 370, 420, 421, 503, 509, 555,  
556  
Grell, Ch. – 317, 318, 335  
Griffiths, D., см. Гриффитс, Д.  
Grimm, F.-M. – 79, 90, 103, 117, 188, 189, 191, 192, 238–241, 243, 272, 308,  
328, 329, 371, 384, 385, 387, 388, 391, 468, 553, 560, 578  
Gretchanaia, E., см. Гречаная, Е.  
Gukovskij, Gr., см. Гуковский, Г. А.  
Gusdorf, G. – 49, 63, 64, 67
- Hammarberg, G. – 28, 91, 93, 223  
Hanbury-Williams, Ch., см. Хэнбери-Уильямс, Ч.  
Hartmann, Ph. – 152  
Heldt, B. – 105, 611  
Herold, K. – 55  
Hipp, M.-Th. – 64  
Hoogenboom, H. – 21, 23, 45, 69, 79, 80, 118, 127, 137, 138, 144, 263, 326,  
460, 594, 614, 617
- Ivleva, V. – 528



Jameray Duval, V. – 322, 533

Johnson, N. R. – 524

Jones, R. E. – 495

Jelinek – 50

Kahn, A. – 283

Kavanagh, T. – 70

Kegan Gardiner, J. – 51, 52

Kelly, C. – 106, 174, 190, 594, 610, 611, 614

Kibedi Varga, A. – 171, 172, 187

Konstantinovic, I. – 327

La Calprenède – 104

Lafon, H. – 216, 226–228, 230, 284

Lancer, S. – 52

Larivière, Ch. – 568

Le Blond – 128, 196

Leborgne, E. – 95, 100, 101, 103

Lecarme, J. – 40, 50, 51, 53, 64, 67, 68, 120, 132

Lecarme-Tabone, E. – 40, 50, 51, 53, 64, 67, 68, 120, 132

Lejeune, Ph. – 27, 31, 40, 46, 49, 52–54, 60–68

Lenglet-Dufresnoy, N. – 99, 100, 102

Leonard, C. – 463, 492, 495, 501, 502

Lestringant – 230

Levitt, M., см. Левитт, М.

Ligne, prince Ch.-J. de Ligne – 214, 499, 608

Lobytzyna, M. – 272–274, 278

Lortholary, A. – 28, 111, 323, 324, 332, 340, 363, 369, 507

McBurney, E. – 21, 322

Mc Niven Hine, E. – 101

Mme Riccoboni, см. г-жа Рикобони

Mlle de Gournay – 327

Margairaz, D. – 428

Marker, G. – 394, 396, 402, 403, 413, 417

Marmontel, см. Мармонтель – 106, 109, 111, 239, 314, 428, 429–434, 436, 438, 443, 533, 563

Marsden Gillis, Ch. – 186

- Mauzi, R. – 72  
May, G. – 54, 60, 61, 63, 68, 69, 92, 95, 96, 99, 101, 102, 104  
Menant, S. – 585  
Mervaud, Ch. – 340, 367, 382  
Mervaud, M. – 340, 607  
Meyer Spaaks, P. – 52, 64  
Miller, N. K. – 52  
Misch, G. – 54  
Mohrenschild, D. von – 340, 380  
Monteith, M. – 51  
Montesquieu, Ch.-L. – 110, 140, 144, 305, 309, 316, 326, 331, 354, 355, 371, 372, 418, 419, 549, 553  
Moracci, G. – 20, 210, 486  
Mortier, R. – 372
- Nicholls, J. – 235, 239, 243
- Oehler, D. – 17, 28, 53, 54  
Olney, J. – 49
- Partridge, M., см. Партридж М.  
Pascal, R. – 49, 64  
Pénisson – 165  
Piau-Gillot, C. – 102, 103, 235  
Plavinskaïa, N. – 82, 145, 202, 285  
Pomerleau, C. – 51  
Poulain de la Barre, Fr. – 101, 117  
Pulcini, E. – 171, 172
- Raeff, M. – 18  
Rambaud, A. – 161, 407, 573, 598  
Ransel, D. L. – 39, 81, 502  
Rasmussen, K. – 384, 549, 550, 551  
Reissner, E. – 573  
Riazanovsky, N. – 332, 369, 549–551, 552  
Rosslyn, W. – 106
- Sainte-Beuve, Ch.-A. – 573, 598, 617  
Shapiro, S. – 49

Scharf, Cl., см. Шарф, К.  
Schlobach, J. – 239, 240  
Schwartz, L. – 101, 189  
Shumaker, W. – 49  
Simmons, S. – 188  
Smith, S. – 50, 66  
Spengemann, W. – 49, 64  
Sprinker (Спринкер), М. – 66  
Stewart, J. H. – 52, 64, 236, 242, 243  
Stites, R. – 611, 613, 615  
Stroev, A., см. Строев, А.

Tax Choldin, M. – 586  
Thibodet, A. – 63  
Thyrêt, I. – 402  
Thomas, Ch. – 167  
Thomas, R. – 187  
Tooke – 462, 587  
Tosi, A. – 192

Van Crugten-André, V. – 167

Van Dijk, S. – 614

Viatnikova-Prizel – 55

Voltaire, F.-M. – 21, 32, 35, 72, 79, 90, 96, 110, 111, 114, 116, 126, 128, 138,  
139, 165, 217, 294, 305, 306, 308, 309, 311, 314, 316, 325, 326, 331, 334–  
346, 353, 356–359, 362, 363, 365–370, 375–377, 379, 380, 384–390, 411,  
416, 418, 431, 448, 475, 476, 478, 507, 520, 533, 552, 553, 554, 557, 558,  
560, 563, 564, 567, 568, 586, 608, 619

Vroon, R. – 502

Waegemans, Em. – 20, 445

Walpole, H. – 122

Wilberger, C. – 323

Whittaker, C. – 28, 339, 423, 435

Wortman, R., см. Уортман, Р.

Zitser, E. – 416

## РЕЗЮМЕ

### КЪМ ПОТОМСТВОТО ЕКАТЕРИНА II. ИДЕИ И НАРАТИВНИ СТРАТЕГИИ В АВТОБИОГРАФИЯТА НА ИМПЕРАТРИЦАТА

Изследването обединява двете книги на автора, в които се проследяват относително автономни аспекти на сложната поетика на автобиографията на руската императрица Екатерина II (1729–1796). Мемоарите на царствената авторка, разглеждани в научната литература предимно като исторически документ, тук се възприемат като художествен текст, съчетаващ по уникален начин литературност и публицистичност. Първата книга беше публикувана на български език през 2008 г. със заглавие „Романът на императрицата“. Романовият дискурс в автобиографичните записки на Екатерина II. Ракурси на четене през втората половина на XIX век“ (София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“). В настоящото издание е запазена структурата на предходното, но са внесени съществени допълнения, като се отчита натрупаният изследователски опит в проучването на текста и на руската мемоарна литература през последните години. Ако първата книга изследва автобиографията на императрицата във връзките ѝ с поетиката на западноевропейския роман, то втората книга – „Проблемът за „просветения монарх“ в автобиографията на императрица Екатерина II“, е посветена на публицистичните послания в мемоарния текст, свързани с един от най-важните философски проблеми на Просвещението – търсенето на идеалния просветен владетел, способен и чрез личността си, и в управлението си да осъществи съюза на знанието и политиката и да постигне създаването на хармонично общество.

Първата книга – „Романът на императрицата“. Романовият дискурс в автобиографичните записки на Екатерина II“, представлява опит за литературоведски прочит на текст, смятан по презумпция за документален и нефикционален. Обект на анализ е „романовият дискурс“ в поетиката на автобиографията на Екатерина II, основан на използването на универсалния и космополитен „език“ на просвещенческия роман, състоящ се от устойчиви и повтарящи се сюжетни ситуации, мотиви, персонажни характеристики и отношения, пространствени топоси, натоваре-

ни със съответна семантика. Този „романов дискурс“ съседства в мемоарите на руската императрица с „публицистичен“. Автобиографичните записки на императрица Екатерина II се отличават със сложна поетика, дължаща се на уметлото съчетаване на традиционни публицистични послания, характерни за общия дискурс на руската литература от XVIII век (проблема за просветения владетел, неговото възпитание и отговорности пред обществото; дворянския дълг и поведение, критика на общочовешките пороци), с проблематиката на романа и автобиографията в западноевропейските литератури. Тези два неканонични и нови ключови жанра на Просвещението поставят в центъра на литературната вселена човека, неговата духовна еволюция, силата на неговия характер, уменията му да твори собствената си съдба, въпреки обстоятелствата и трудностите, които среща по жизнения си път.

Активната и добре осмислена употреба на характерната за романа топка от страна на авторката в повествованието за нейния живот подчертава избора ѝ на жанрова концепция на създадения от нея текст, който демонстрира неприемането на предложеното от Русо виждане за автобиографията като изповед.

В Глава първа – *„Автобиография, политически трактат или роман. Проблеми на жанра“*, се прави преглед на различните редакции на разглеждания текст. Основен обект на анализ са жанровите характеристики на автобиографията на Екатерина II, които се определят въз основа на теориите на жанра и неговата история и еволюция в руската и западноевропейската литература. Потърсени са особеностите на повествованието, които отличават мемоарите на императрицата от зараждащото се тогава модерно руско и западноевропейско автобиографично писане. Отчетени са и джендърните характеристики във възприятието на собственото „аз“ в автобиографията, както и изработването на особена автоматология.

Оригиналната поетика на текста, представляващ един от най-добрите образци на ранната руска мемоарна проза, се изяснява на фона на теоретичното осмисляне на жанра на автобиографията от съвременното литературознание и в контекста на еволюцията му в руската и западноевропейската литература. Екатеринината автобиография е един от първите текстове на руската мемоаристика като цяло, в който се наблюдава отказ от националната „летописна“ традиция, както и от характерното за руската култура желание да бъде написано „поучение“, адресирано единствено към преките потомци. Водена от западноевропейския опит, Екатерина II замисля автобиографията си не само като история на своята собствена

личност, а и като текст, предназначен за публикация, макар и отложена във времето. За този замисъл говори и изборът на език на писане. Френският език, на който се спира авторката, е не само „дамският“ език от епохата в Русия (и в Европа), но и универсален космополитен общ език на образованите и мислещите хора по онова време. Той е и най-авторитетният и разпространен тогава „романов“ език. Взаимодействието и взаимопроникването на жанровете на автобиографията и романа дават основание поетологичните особености на текста да бъдат потърсени в доброто познаване от страна на авторката на романовия репертоар на нейната съвременност.

От изключително значение за еволюцията на авторския замисъл е възприемчивостта към философския дискурс на Просвещението с новите за времето проблеми. На първо място това е тезата за неповторимата човешка индивидуалност, проявяваща се в резултат на полученото възпитание и самовъзпитание, в които основна роля е отделена на интелектуалния труд, развиващ природните заложби. Друг такъв проблем през епохата е щастието като философски концепт, пътят към което се разглежда като плод на личните усилия на човека, а не като резултат на фатално предопределение. Тези актуални за епохата идеи са заложени в „автобиографичния пакт“ на най-късната по време редакция на Екатеринбургските мемоари и определят до голяма степен тяхната поетика, съчетаваща чертите на философския трактат, романа в различните му разновидности (политическия, на възпитанието, семейния и пр.) с конвенциите на автобиографичното писане.

Мемоаристката се обръща към разпространената топка, представяща съдбата на жената в западноевропейския роман от XVII–XVIII век, за да илюстрира своя собствен житейски път до изработването на нейния завършен характер, съчетаващ „мъжки“ качества с „женска“ приветливост и привлекателност.

В Глава втора – „*Романовата топка в автобиографичните записки на Екатерина II*“, се анализира последователното използване на традиционни романови топове в представянето на различни етапи от живота на повествователката – детството (нежеланата и нелюбимата дъщеря, пренебрегването от страна на майката, семейството, обичайното женско възпитание); зрялата възраст (основна роля тук принадлежи на топоса на нещастния брак в различните му вариации; топиката на женствеността; формите на съпротива и самоутвърждаване – хипохондрия, уединение, четене, физическа активност (топосът на амазонката), преобличането

в мъжки дрехи и възприемането на черти от „мъжествено“ поведение). При всеки удобен случай авторката подчертава своето различие от конвенционалните решения: развитието и самовъзпитаването на „философски“ ум от най-ранна възраст, четенето на „мъжка“ литература, избора на свой собствен стил в облеклото и поведението, акцента върху физическата активност и пр. Прави впечатление еволюцията в използването на едни и същи топови в различните по време на написване редакции на текста, отказът от най-графаретните – предсказания за щастлива съдба, чудесни изцеления и пр., и преосмислянето на други в посока на последователно изграждане на автмитология, подчертаваща силния и рационален натюрел на героинята. По същия начин се процедира и със заимстваните от романа пространствени топови, които са подчинени на основната идея: подчертаването на силната духом и постоянно укрепваща достойнствата си женска личност, нейната последователна подготовка за главната мисия на живота ѝ – управлението на държавата в противовес на „немъжественото“, „детинско“ и безотговорно поведение на нейния съпруг, великия княз Петър Фьодорович, недостоен, според зададената в мемоарите концепция на неговия образ, за високото си още по рождение предназначение.

В автобиографията на Екатерина II се установяват и интертекстуални зависимости от конкретни текстове на романи. Това е предмет на Глава трета – *„Романовият интертекст в автобиографията на Екатерина II“*. Играта с читателските представи и разпознаването на чужди текстове е характерна особеност на автобиографичното писане на Екатерина II. Имитацията на популярни през епохата романи служи за своеобразна маска на определени деликатни събития и отношения в живота на авторката. Хипотезата за подражанието на романа „Писмата на мис Фани Бътлър“ от г-жа Рикобони в описанието на любовната история със Салтиков се основава на подробни текстологични паралели между двата текста. Разказът в този епизод на автобиографията кореспондира в основни линии с основните събития във фабулата на романа на г-жа Рикобони: ухажването и първоначалната съпротива, смущението от осъзнаването на чувствата и борбата на героинята със самата себе си, мимолетното любовно щастие, постепенното охлаждане и отдалечаване на любимия, накрая неговата благодарност. Екатерина II се отказва от следването на двата архетипа на аристократичния роман от XVII и XVIII век, представени от „Клевската принцеса“ от г-жа Дьо Лафайет и „Португалски писма“ на Гийераг. От първия тя вече е заимствала в мемоарите си топоса за невъзможността на любовта в брака, а концепцията на главния женски образ във втория

(изоставената любима) не съответства на автобиографичния замисъл. Другите образци на съвременния ѝ великосветски сантиментален роман, в чийто жанрови рамки по принцип се вмести разказът за първата ѝ любовна връзка, отново не ѝ предоставят подходящи за имитация модели. В тях жената или е само жертва, или пък е представена като съблазнителка и носителка изключително на отрицателни конотации. Имитацията на образа на силната, действена и изпълнена с чувство за собственото си човешко достойнство натура на Фани Бътлър, героиня на един от първите и най-популярни феминистки романи на Просвещението, дава възможност на мемоаристката както да замаскира неблагоприятните обстоятелства около любовната история със Салтиков (тя има всички основания да подозира, че е жертва на интрига, продиктувана от „висши държавни съображения“, целящи раждането на дългоочакван престолонаследник), така и да постави необходимите ѝ акценти в старателно изграждания идеализиран собствен образ.

Препратките към конкретни романи засилват желаната митологизация на собствената личност и антимита в образа на съпруга съперник. За това допринася и отчетливият интертекст на романа „Животът и мненията на Тристрам Шенди, джентълмен“ от Л. Сърн в текста на автобиографията. Подражанията на известния английски роман се проследяват както на композиционно ниво с обединяването в едно цяло на разнородни по произход жанрови елементи (например „романови“ епизоди, публицистичен дискурс, нравоописателна сатирична проза, анекдоти, биографии и пр.), така и в образите на персонажите (стоицизмът и шендианството като възприета от мемоаристката жизнена философия, от една страна и от друга, инфантилното поведение на великия княз Петър Фьодорович, обсебен, подобно на чичо Тоби от романа на Сърн, от страстта си към военни упражнения).

Втората книга – „**Проблемът за „просветения монарх“ в автобиографията на Екатерина II**“ (с. 303–565), продължава започнатото в предходния труд, но в същото време е изследователски проект, преследващ напълно автономни задачи. Предмет на изследване са философско-публицистичните идеи на високопоставената мемоаристка, свързани с проблема за личността на идеалния монарх, които тя илюстрира с примери от собствения си живот и закодирани в текста алузии за основните събития и успехи на своето управление. Значимостта на този проблем във философските контексти на епохата е свързана с факта, че на практика монархическата форма на управление, въпреки различните ѝ вариации,



тогава е актуална във всички европейски страни. Руската императрица, известна със своя интензивен диалог с водещите умове на Европа, е една от претендентките за „званието“ „философ на трона“. Практическото измерение на нейната амбиция е активната законодателна дейност, получила одобрението на философите. Екатерина II замисля автобиографията си като своего рода трактат за владетеля и политическо завещание, предназначено не само за нейните собствени наследници, но и за потомството. Предназначен по презумпция за посмъртна публикация, мемоарният текст би трябвало да потвърди в съзнанието на бъдещите поколения положителната митология, свързана с личността на императрицата, да заличи отрицателната и да ѝ осигури безсмъртие. В контекста на сложните исторически събития в Европа и Русия през първата половина на 90-те години на XVIII век, откогато датира най-късната редакция на текста, това е и препотвърждаване на легитимността на династията. Поради тази особеност на авторския замисъл текстът съдържа препратки към властовите сценарии на управлението на императрицата и към митологията на руския царстващ дом, водеща фигура в която е личността на Петър Велики. Посланията на Екатеринината автобиография се анализират на фона на цялостния обществен и културен живот на Русия от последната трета на XVIII век, моделиран от управлението на мемоаристката. Отчита се цялостният контекст на литературното ѝ творчество и лансираната от нея, включително и чрез лично участие, културна политика. Проследяват се промените в авторския замисъл и в интерпретацията на отделните епизоди и образи в отделните редакции на текста, настъпили с оглед на промяната на политическия контекст.

Първата глава – *„Личността на монарха в теоретичните представи на Просвещението и в автобиографията на Екатерина II“*, поставя автобиографията на руската императрица в контекста на теоретичните виждания на европейските философи от XVII и XVIII век за личността на владетеля, отговорностите му пред обществото и проблемите за неговото възпитание. През епохата на Просвещението философите илюстрират собствените си разсъждения с добре познатите на всеки образован човек тогава сюжети и персонажи от античната литература. Адресираността на написаните на френски език мемоари на Екатерина II не само към образованата руска аудитория, но и към западноевропейската публика води до самоидентификации на авторката с легендарни образи на законодатели (Ликург и Нума Помпилий от „Сравнителните животописи“ на Плутарх), с Марк Аврелий, признат за първия „философ на тро-

на“ и автор на „Към себе си“. Подобни отъждествявания са характерни и за символния език на тържествените церемонии и официозните литературни жанрове от нейната епоха и тази на предшественицата ѝ, императрица Елисавета Петровна. Предмет на идеологически спор с Фридрих Велики и Волтер е отношението на мемоаристката към наследството на Макиавели, към което тя пристъпва и като привърженик на „промакиавелистите“ в Европейското просвещение (Бейл, Фонтанел, Монтескьо, Дидро), и от гледна точка на държавническата си практика. Друг важен момент в теоретичното осмисляне на образа на владетеля е отношението към Петър Велики, в когото философите виждат гениален реформатор, преобърнал из основи живота на страната си, воден от стремежа да наложи рационални норми на държавно управление, но и варварин, който налага волята си със сила. Екатерина II използва мемоарите си, както за да утвърди приемствеността на своето управление с легендарния първи руски император, така и да заяви претенциите си да бъде истинската просветена реформаторка на Русия, изцяло съобразяваща се с просвещенските възгледи за държавата и монарха, както и да бъде обединяващото звено между Изтока и Запада на континента, роля, която ѝ е вменявана от Волтер и кръга на енциклопедистите.

В Глава втора – „*Символният капитал на царското име*“, се разглежда използването в мемоарите на символния капитал, закодиран в двете имена на императрицата – рожденото (София) и придобитото при конверсията ѝ в православие (Екатерина). От една страна, авторката следва контекста на руската монархическа традиция, свързана с дома на Романови, и въвежда редица препратки към житието на св. Екатерина, име, сравнително ново за царското семейство и свързано с определени политически послания. Освен мотивите за мъдростта на светицата, състезанието ѝ с мъдреците, в което тя побеждава, небесната годеница и пр., за мемоаристката е особено важно това, че небесната ѝ покровителка е фигура, еднакво тачена от всички църкви. Това още веднъж потвърждава идеята на философите за собствената личност на Екатерина II като обединяващо звено между двете части на континента. В същото време императрицата „държи в джоба си“ (израз от писмо до Ф.-М. Грим) рожденото си име София, което дава основания за осмислянията на нейната персона в руската и европейската култура от епохата като Минерва на Севера, Семирамида и пр. В същото време добре познаващата теологичните тълкувания на имената си императрица въвежда препратки към такова осмисляне на името си като строителка и въвеждаща рационален ред. Така

чрез тълкуванията на имената си руската владетелка отново препраща в автобиографията си към универсалните ценности на Просвещението, като ги свързва и с националната традиция.

Глава трета – *„Владетелят и дворянът“*, разглежда интерпретацията в мемоарния текст на актуалния за руския социум проблем през Екатерининската епоха – отношенията на монарха и дворянския елит, предявяващ все по-осезаеми претенции за пълноправно участие в управлението на държавата. Императрицата отново използва натрупания си писателски опит, въвеждайки в епизодите с описания на придворния живот скрити препратки към организираната от нея превод на романа на Мармонтел *„Велизарий“*, в който тя превежда концептуалната IX глава, посветена на личността на владетеля. Критиката на нравите пък е съзвучна както с общите за руската литература на XVIII век сатирични тенденции, така и с мотивите в собствената журналистическа и комедиографска практика на самата Екатерина II.

В четвъртата глава – *„Между практиката и мита. Диалогът на образи в Екатеринината автобиография“*, се анализира търсенето на политическо и историческо безсмъртие чрез връзката на автобиографичния образ с мита за Петър Велики. Митологизирането на собствената личност на мемоаристката се постига посредством сложна система от отношения между главните действащи лица в автобиографичното повествование. Концепцията на персонажната система Екатерина II заимства от *„Сравнителните животописи“* на Плутарх. Подражанието на античния текст дава възможност на височайшата авторка да съотнесе автобиографичния образ в своеобразни „диади“ не само с тези на съпруга си Петър Фьодорович (образец на недостойния носител на династичното право и бъдещ тиран) и на императрица Елисавета Петровна (представена амбивалентно – и положително, и отрицателно като непоследователна наследница на своя баща), но също и с мита за Петър Велики, формирайки „тетрада“. Всичко това прави автобиографичните записки (memoirs) изключително сложен и майсторски композиран и изпълнен текст, който използва възможностите, които му предоставя неканоничният и нов тогава жанр на автобиографията, и съчетава посланията на политико-философския трактат за владетеля, жанра на романа на възпитанието с топиката на западноевропейския семейно-битов роман и традиционните за руската литература сатирични теми и мотиви, илюстрирайки ги с епизодите от младостта на мемоаристката. Разкриването на комплекса от теми и особеностите на поетиката на автобиографията на императрица Екатерина II

съставлява основният принос на предприетото изследване, което цели да представи на аудиторията един от най-ярките мемоарни текстове от епохата на Просвещението, незаслужено дълго оставал извън читателското и изследователското внимание.

В Приложението – „**Ракурси на четене през II половина на XIX век**“, е поместено изледване на рецепцията на първата публикация на автобиографията на Екатерина II, осъществена от А. И. Херцен през 1858 г. То бе публикувано по-рано като заключителна IV глава на първата книга. В приложението се поставя проблемът за възможните прочити на автобиографичния текст след неговата публикация, когато произведенията от този жанр живеят своя втори живот, но в друг социален и културен контекст. Досега рецепцията на автобиографията на Екатерина II по време на първата ѝ публикация – 60-те години на XIX век, и през следващите десетилетия не е била обект на научен интерес. Превратната съдба на мемоарите на императрицата има своите причини в натрупаната митология (положителна и отрицателна) върху нейния образ в съзнанието на следващите поколения. Именно акумулираните митове в руската и европейската култура правят текста неудобен за преките наследници на Екатерина II, пренебрегващи нейната памет в сценариите на собствените си управления. От друга страна, натрупаната митология превръща мемоарите на императрицата в действено оръжие в ръцете на руската политическа опозиция, чийто най-ярък представител в средата на XIX век е публикаторът на „Собственоръчните записки“ – А. И. Херцен, който активно използва текста в борбата си за миналото и бъдещето на Русия. Инкримираността на Екатеринината автобиография от царската цензура прави недостъпни за съвременния изследовател много от реакциите на първите читатели на текста, публикуван от Херцен. За отзвук на записките у руските читатели може да се съди единствено по малобройни и разхвърляни документални източници (дневници, мемоарни свидетелства), в които по правило царят недомлъвките. В премълчаването, намеците, имитирането на чужди свидетелства силно се проявява чувството за самосъхранение на авторите на подобни бележки. Нетрадиционните за руската литература и в средата на XIX век сюжети превръщат мемоарите на императрицата в част от културния фон, на който се разгръща полемиката за еманципацията на жените (т.нар. „женски въпрос“) през 60-те години на XIX век, като в тях тогавашният руски читател би могъл да намери редица паралели с новите етически и естетически търсения на времето в деликатната и сложна област на семейните отношения и осъзнаване на социалната роля на жената.

Сложните перипетии на обнародването и читателската рецепция на автобиографията на Екатерина II не позволяват текстът да заеме подобаващо място в историята на руската литература, спрямо чийто канон мемоарните жанрове се възприемат като маргинални. XX век налага своите нови цензурни ограничения по идеологически причини. Едва през последните две десетилетия автобиографията на Екатерина II се радва не само на любопитството на многобройните читатели, но и на повишен изследователски интерес.

## SUMMARY

### **FROM CATHERINE THE GREAT TO POSTERITY. IDEAS AND NARRATIVE STRATEGIES IN THE EMPRESS' MEMOIRS**

Two studies by Angelina Vacheva lay at the foundations of this book. Each of them is comparatively autonomous in its approach and perspective towards the complex poetics of the memoirs of the Russian Empress Catherine II (1729–1796). The memoir has often been regarded in the scholarly works on the subject as a solely historical document. The present study perceives it as a fictional text that intertwines publicistics and literary methods. The first book was published in Bulgarian language in 2008. It was entitled ‘The novel of the Emperess. ‘The novel discourse’ in Catherine the Great’s memoirs. Approaches to reading in the second half of the 19<sup>th</sup> century (Sofia, Sofia University Publishing house, 2008). The structure of this study is kept in the present publication. However, substantial additions have been made as a result of the author’s experience that was accumulated after thorough and extensive work with the text, and in consideration with some recent studies on Russian memoir literature. While the first book dwells upon the connections between Catherine II’s memoirs and the Western European novel, the second book embraces the notion of the ‘Enlightened Monarch’ in the Empress’s Catherine the Great’s memoirs’. It focuses on the autobiography’s capacity to convey messages that contain publicistical potential. These messages are related to one of the most important philosophical problems of the Enlightenment – the search of the Enlightened Prince, governing in such a way as to combine knowledge with politics for the achievement of a harmonious society.

The first book ‘**The novel discourse’ in Catherine the Great’s memoirs’** presents an attempt for literary interpretation of a text that is generally considered to be documentary and nonfictional. The object of analysis is the ‘novel discourse’ in the poetics of Catherine II’s autobiography which is based on the use of the universal and cosmopolitan language of the Enlightenment novel. It consists of steady and repetitive plot situations, motifs, characters’ features and relationships, spatial topoi bearing correspondent semantics. In the memoirs of the Russian Empress, the ‘novel discourse’ is found side by side with the ‘publicistic’ one. The autobiographical notes of Catherine

the Great are notable for their complex poetics stemming from the skilful combining of publicistic issues that are traditional for the general discourse of the 18<sup>th</sup> century Russian literature (the enlightened ruler, his education and social responsibilities; the duties and conduct of the nobles; the criticism of common human vices, etc.) with the typical topics of Western European novels and autobiographies. These two non-canonical and new key genres of the Enlightenment place the individual in the centre of the literary universe. They deal with the birth of subjectivity, the self-power of the individual and the ability to shape his/her own destiny in spite of all hardships and perils they encounter in their life journey.

The active and well-justified use of novel-specific topics in the author's narrative about her life emphasizes her choice of genre conception for the created text, which shows her unacceptance of Rousseau's view on the autobiography as a confession.

Chapter I '*An autobiography, a political treatise or a novel. Some genre issues*', contains a review of different versions of the analyzed text. The main object of study is the genre of Catherine II's autobiography. It is explored by means of genre theory and in consideration with the history and evolution in Russian and Western European literatures.

The specific features of the narrative that distinguish the Empress's memoirs from the incipient modern Russian and Western European autobiographical writing are revealed. Gender aspects of the perception of the self in the autobiography and the development of a special self-mythology are also taken into account.

The original poetics of the text, which is one of the best examples of the early Russian memoiristic prose, is brought to light in the background of the theoretical recognition of the genre of autobiography in contemporary literary studies and in the context of its evolution in Russian and Western European literature. Catherine the Great's autobiography is one of the first texts in Russian memoiristic literature which abandons the national 'chronicle-writing' tradition and the culture-specific tendency for moral reproach. Being led by her own Western European experience, Catherine II has conceived her autobiography not only as a personal history but also as a text designed to be published some day. The choice of language provides evidence for this. The French language is not only 'the ladies' language' of the period (both in Russia and Europe) but also a cosmopolitan universal language of the educated and thinking people of the time. It is the most widely recognised language for writing novels. The interaction of the genres of autobiography and novel allows

explaining the poetic features of the text by the author's good knowledge of the contemporary novel repertoire.

The author's awareness of philosophical discourse of the Enlightenment bringing up the new issues of the time is of great importance for the evolution her creative conception. These include primarily the thesis of the uniqueness of human individuality which comes as a result of one's own upbringing and self-education. The intellectual work that develops inner talents is essential.

Happiness as a philosophical concept is another primary concern for the author. The way to happiness is considered to be the fruit of one's personal efforts and not a result of fatal predestination. These topical issues of the day are laid down in 'the autobiographical pact' of the latest version of Catherine II's memoirs and determine to a great extent their poetics combining the features of philosophical treatise and novel of different types (political, educational, family, etc.) with the conventions of autobiographical writing.

The author refers to the common topic of woman's destiny in Western European novel of the 17<sup>th</sup>–18<sup>th</sup> centuries to present her own life journey up to the point of the complete development of her character which unites 'male' qualities with 'female' kindness and attractiveness. Chapter II '*The novelistic topic in the autobiographical notes of Catherine II*' presents an analysis of the consistent use of traditional novelistic topoi introducing different stages of the writer's life: her childhood (unwanted and disfavoured daughter, her mother's disregard for her, family relationships, the conventional female education) and her maturity (the topos of unhappy marriage in its different variations, the topos of femininity, the various types of resistance and self-assertion – hypochondria, seclusion, reading, physical activity (the amazon topos), disguise in men's clothes and adoption of some features of male behaviour. The authoress takes every opportunity to emphasize her own nonconventionality, the development of a 'philosophical mind' since her very infancy, the 'male' literature reading, the choice of her own style of dressing and conduct, her focusing on physical activities, etc.

The usage of these topoi in different versions of the text can be regarded from an evolutionary perspective. The study reveals the abandonment of the most trivial ones (prediction of good fortune, miraculous healings, etc.) and reconsideration of other topoi in terms of coherent building of a self-mythology that highlights the powerful and rational nature of the female character. The same is the case with the spatial topoi borrowed from the genre of the novel. They are conformed to the general idea: to put an emphasis on the woman of strong personality who constantly builds up her accomplishments and



systematically prepares for the main mission of her life – the ruling of the state, in contrast to the ‘unmanly’, ‘childish’ and irresponsible behaviour of her husband, the Grand prince Peter Fedorovich, who, according to the author’s creative conception, is unworthy for the high destination assigned to him by birth.

Catherine the Great’s memoirs contain direct intertextual references to certain novels from the period. Chapter 3 *‘Novelistic intertext in Catherine II’s autobiography’* deals with these intertextual linkages. Playing with the reader’s insight and abilities to recognize already existing texts is a distinctive feature of Catherine II’s autobiographical writing. The imitation of popular novels of the time serves as a kind of mask for some delicate events and relationships in the author’s life. The study suggests a mimetic resemblance between *‘Letters of Miss Fanny Butler’* by Madame Riccoboni the description of Catherine the Great’s romance with Saltykov. This episode from the memoirs generally corresponds to key events from the plot of Madame Riccoboni’s novel: the courtship and initial resistance, the embarrassment and internal struggle of the female character, her short happiness during her love affair, her lover’s gradual cooling off and withdrawal, and finally, his ingratitude. Catherine II refuses to follow utterly two of archetypal aristocrat novels of the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries, namely *‘Princesse de Clèves’* by Madame de La Fayette and *‘Lettres portugaises’* by Guilléragues. From the former she has borrowed partially the topos of the impossibility of love in marriage. As for the latter, its main character type – the abandoned woman does not suit the general idea of the autobiography. There are no other examples of high-society sentimental novels of her time, which she could imitate in her efforts to present her own story of first love in similar terms. The female character in those novels is presented either as a victim or as a female seducer – an image of high negative connotations in Catherine II’s typology of personages.

The imitation of the character from one of the first and of the most famous feminist novels of the Enlightenment – Fanny Butler – an active woman full of dignity, suits well Catherine II’s intentions. One of them is to veil the vague circumstances that stood behind her love affair with Saltykov. She rightfully believed to be a victim of an intrigue, performed by ‘supreme state interests’ and aiming at the birth of the long-expected heir to the throne. Another intention for the intertextual connections with the image of Fanny Butler could be Catherine II’s intentions to idealize her image in her memoirs.

The references to specific novels intensify the mythologization of the self and the parallel anti-mythologization of the image of her husband and

rival. The novel *The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman* by Laurence Sterne can be recognized as a source for achieving this goal on an intertextual level in the autobiography. The similitudes to the famous novel can be traced on several levels – composition, generic mixtures (novel episodes, publicistic discourse, moralistic satirical prose, anecdotes, biographies, etc.), and characters' depiction. The stoicism and 'shandyism' as a life philosophy are adopted in the memoirs. On the level of character resemblance one can make parallels between the infantile behaviour of the Grand prince Peter Fedorovich in the autobiography, and uncle Toby from Sterne's novel. Both of them are infantile grown-ups, obsessed by the passion for military exercises.

The second book **'The notion of the 'Enlightened Monarch' in the Empress's Catherine the Great's memoirs'** deepens the exploration of the same matter, yet it follows completely different and autonomous aims. The philosophical and publicistically bound ideas about the personality of the Ideal Prince are illustrated by examples from the Empress's own life and encoded in the interpretation of the main events in her life and her major achievements as a ruler. The significance of this notion for the philosophical contexts of the time comes from the fact that despite its variations, monarchy prevails as a ruling regime in all European countries. The Russian Empress is famous for her intensive dialogue with the great European minds of that time and is justly entitled as a *'philosopher on the throne'*. The practical dimension of her ambition is the implementation of the notion of the 'Enlightened Monarch' into the national legislature. This idea was highly approved by the philosophers with whom she often consulted on matters of power. Catherine the Great envisions her autobiography as a form of a treatise about the Prince that is designed to serve as a political heritage both to her contemporaries and also for the future generations. The general presumption is that the memoir should be read postmortem and that it should function as a confirmation of an already created myth about the Empress. It presents her positive side and eliminates all events that could deny her grandeur, so that she is granted with eternity. Read in the context of the complex historical events in Europe and Russia in the first half of the 1790 (the time of the last edition of the text), this gesture is meant to reaffirm the dynastic legitimacy. As a consequence of this, the author's intention contains references to 'scenarios of power' created by the Empress and leading directly to the existing mythology of the Russian house of kings whose leading figure is Peter the Great. Therefore, the messages of the memoir should be analyzed in view of the entire social and cultural life in Russia from the last decades of the 18<sup>th</sup> c. that is shaped enormously by the governing style of the writer of the

memoir – Catherine the Great. In addition to her contributions to the philosophy of governance, the autobiography sheds light on the personal contribution of the Empress to the realm of literature and her ways of designing and participating in cultural policies. The study traces the dynamics in the writer's notion of the 'Enlightened Monarch' and its impact on the interpretation of some episodes and characters, which is tuned in accordance with the change of concrete political circumstances from that time period.

The first chapter – *'Perceptions of the personality of the Monarch during the Enlightenment and in the memoirs of Catherine II'* situates the text within the frameworks of distinguished European philosophers from 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> c. concerning the figure of the Prince - his education and his responsibilities towards the society. During the Enlightenment period the philosophers illustrate their notions with plots and mythological characters from Antiquity, familiar to any educated person from that age. The memoirs, written in French, were meant to reach not only the enlightened Russian audience but also the Western European readership. To the latter she conveyed the message that the Russian Empress can be regarded in line with past legendary law-makers, such as Lycurgus and Numa Pompilius from Plutarch's 'Paralell lives', Marcus Aurelius, the author of *'The Meditations'*, acknowledged as the first 'philosopher-king'. Such parallels are typical of the symbolic style of official ceremonics and of formal literary genres from that period, as well as from the previous one – during the rule of her predecessor Elisaveta Petrovna. In her autobiography Catherine II includes her contribution to the famous dispute of the time between Frederick The Great and Voltaire on Machiavelli and his legacy in envisioning 'The Prince'. The distinguished woman writer takes the side of the pro-machiavellians from the Enlightenment era, such as Bayle, Fontenelle, Montesqueiu and Diderot and builds her perspective on her governing experience.

The theoretical perception of the image of the Prince in relation to Peter the Great is another significant element in the creation of the image of the 'Enlightened Monarch'. The emperor represents the philosophers' idea of a genius reformer, who made groundbreaking changes in his country in his efforts to impose reason over governing. Yet, his image also includes barbarianism as all reforms were implemented forcefully. Catherine II uses her autobiographical text to confirm the succession of her rule with the figure of that great reformer, and to infer her claims to be the real 'Enlightened Monarch' of Russia – a notion, which she so wholeheartedly embraced. In addition she represented herself as the ruler who connects The East and The West

appropriating an image that was attributed to her by Voltaire and the circle of writers of the Encyclopedia.

In chapter two *'The symbolic capital invested in the Monarch's name'* the main focus is the symbolic capital, encoded in the original name of the Empress, given by birth – Sophia, and the one she received after her conversion to orthodox religion – Catherine. She follows the Russian royal tradition in the house of Romanov and makes specific references to the hagiographical narrative about st. Catherine. This name is comparatively new for the royal symbolic tradition and quite intentionally it is chosen to convey to the readers the connection between the martyr's qualities and Catherine II's political endeavors. Among the important aspects from the narrative of this saint is her wisdom, her competition with the philosophers which she wins, her status of heavenly bride. But the most important feature of this martyr which serves the authors own goals is that her sacred patron is cherished equally by all religious confessions. In such a way Catherine the great's own image as equally approved Empress received a confirmation from the real world where she received the support of the philosophers for being a symbol of unity between the East and the West, and the heavenly one – where stands her patron. At the same time the Empress 'keeps in her pocket' (an expression from a letter to F.-M. Grimm) the potential of her birthname – Sophia. She is symbolically associated as a Northern Minerva or as Semiramida. Fluent in her knowledge of theological symbolism, Catherine II invests in her name also the connotations of constructing and creating orderly spaces. The Empress uses her memoir to convey the universal values of Enlightenment by appropriating the connotations of her names with the European antiquity and hagiography, yet adding new connections of these names to the Russian national tradition.

The third chapter *'The Monarch and the Court'* deals with the interpretation of the memoir within the social space at the time of Catherine II's rule. The main emphasis of the piece is the interaction between the Monarch and the elite in her court, which claims a larger role in the governance of the state. The distinguished woman writer uses her literary experience as a patron and contributor to the translation of Marmontel's novel 'Bélisaire' to provide hidden references to the court life. This is evident especially in the conceptual chapter IX of the autobiography, which is devoted to the personality of the Monarch. The criticism of manners and court morals is in accordance with the general satirical tendencies in the Russian literature of the 18<sup>th</sup> c. But it also adheres to the motives included in Catherine II's own practice as a journalist and writers of comedies.

*'Between the practice and the Myth. The dialogue between images in Catherine the Great's autobiography'* is the title of the fourth chapter. It analyses the political and historical foundations of eternity in the composition of the image of the Empress in accordance with the mythological image of Peter the Great and the archetypal image – about the Enlightened Monarch. The strategies of mythmaking are achieved through a complex system of interactions between the main characters of the autobiographical narration. The conceptual framework of this part of the memoir is borrowed from Plurarch's 'Paralell lives'. The mimetic connection with the classical text provides the opportunity to relate her autobiographical image in specific dualist reference schemes ('dyads') not only with her husband – Peter Fedorovich (who represents the unworthy successor or dynastic law and incapable Monarch) and with the image of Empress Elisaveta Petrovna (who is presented in an ambivalent way partially in positive and negative light as an inconsistent heir of her influential father). In fact if adding the myth of Peter the Great the scheme becomes 'quadrical'. All these efforts make the memoirs a very complex and text, composed in a masterful way and capable of conveying the messages by means of a new and non-canonical genre for the period – that of the autobiography. It combines the characteristics of the political and philosophical treatise with the genre of the *Bildungsroman* and with the topical scope of the Western European familial novel. In addition it also includes the heritage of Russian satirical traditions and figurative repertoire which is skillfully used for presenting the younger life of the Empress.

The main contribution of this study is the display of the thematic scope and poetical specificities of the autobiography of Catherine II. Its goal is to present to the audience one of the most remarkable writings from the Enlightenment period, which has been left for a long time in the shadow of the attention of readers and researchers.

The supplement **'Approaches to reading in the second half of the 19<sup>th</sup> century'** includes the reception of the first publication of Catherine II's autobiography, published by A. I. Herzen in 1858. Its primary announcement was made already in the first book of Angelina Vacheva as a concluding fourth chapter of this previous scholarly work. In this supplement the main problem is possible reading interpretations of the autobiographical text after its publication, when the works of this genre live their second life in another social and cultural context. So far, the reception of Catherine the Great's autobiography in the time of its first publication – the 60<sup>ies</sup> of the 19<sup>th</sup> century and the following decades, has not been an object of study.

The adverse destiny of the memoirs of the Empress has its roots in the mythology (both positive and negative) that is associated with her image in the minds of the succeeding generations. The accumulated myths in Russian and European cultures make the text 'inconvenient' for Catherine II's direct descendants, who disregard her memory in the scenarios of their own reign. On the other hand, the accumulated mythology makes the memoirs of the Empress a powerful weapon in the hands of Russian political opposition. Its most eminent representative in 19th century Alexander Herzen is the first publisher of the final autobiographical notes ('Sobstvennorruchnye zapiski'). He uses the text intensively in political struggle for the past and future of Russia. The incrimination of Catherine's autobiography by the tsarist censorship makes many of the first readers' reactions to the text of memoirs published by Herzen inaccessible to contemporary literary study. One can judge only from scarce documentary sources (diaries, memoirs) where understatements are quite common. The extensive use of hints, allusions and presentation of one's own judgments as someone else's shows the sense of self-protection of the authors of these notes. The plots untypical of Russian literature (even in the middle of 19<sup>th</sup> century) make the Empress's memoirs a part of the cultural background of the polemics about the emancipation of women (so-called 'women's problem') in the 60<sup>ies</sup> of the 19<sup>th</sup> century. The readers of that time can find in them a lot of parallels with contemporary ethical and aesthetical issues in the delicate and complicated field of family relationships and recognizing women's role in society. The impediments and difficulties connected with Catherine II's autobiography's publishing and readers' reception do not allow the text to take its deserved place in the history of Russian literature, according to whose conventions the genre of memoirs is considered to be marginal. 20<sup>th</sup> century imposes new strong restrictions for ideological reasons. However, in last two decades Catherine II's autobiography attracts not only the curiosity of numerous readers, but also a strong scholarly interest.



**Ангелина Вачева**

**ПОТОМСТВУ**

**ЕКАТЕРИНА II**

**Идеи и нарративные стратегии  
в автобиографии императрицы**

Българска

Първо издание

Редактор *Олга Лазова*

Коректор *Елка Миленкова*

Формат 60x84/16

Печатни коли 45

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

[www.press-su.com](http://www.press-su.com)



